КЛАССИЧЕСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

КЛАССИЧЕСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

«РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»



УНИВЕРСИТЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ПОЛИТОЛОГИЯ

КЛАССИЧЕСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

Перевод с французского
М.М.Федоровой

Москва
РОССПЭН
2000

ББК 66.1(0)
К 47

Издание осуществлено при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека»

This edition is published with the support of the Open Society Institute within the framework of «Pushkin Library» megaproject

Редакционный совет серии «Университетская библиотека»:
Н.С.Автономова, Т.А.Алексеева, М.Л.Андреев, В.И.Бамхин, М.А.Веденяпина, Е.Ю.Гениева, Ю.А.Кимелев, А.Я.Ливергант, Б.Г.Капустин, Ф.Пинтер, А.В.Полетаев, И.М.Савельева, Л.П.Репина, А.М.Руткевич, А.Ф.Филиппов

«University Library» Editorial Council:
Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail Andreev, Vyacheslav Bakhmin, Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva, Yuri Kimelev, Alexander Livergant, Boris Kapustin, Frances Pinter, Andrei Poletayev, Irina Savelieva, Lorina Repina, Alexei Rutkevich, Alexander Filippov

Перевод с фр. *М.М.Федоровой*

К 47 **Классический французский либерализм:** Сборник / Пер. с фр. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. — 592 с.

Издание включает переводы наиболее известных работ крупнейших представителей французского либерализма первой половины XIX в.: «Принципы политики, пригодные для всякого правления» Б.Констана, «О средствах правления и оппозиции в современной Франции» и «Политическая философия: о суверенитете» Ф.Гизо. Публикуемые работы рассматривают и решают такие вопросы, как реконструкция постреволюционного общества, соотношение человека и гражданина, гражданского общества и государства, не утратившие своей актуальности и в наши дни.

ISBN 5-8243-0059-0

© «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000.
© Федорова М.М., перевод, 2000.

Классический французский либерализм первой четверти XIX века

Само сочетание определений «классический» и «французский» в отношении либерализма на первый взгляд кажется не совсем корректным, поскольку традиционно в истории политической мысли определение «классический» относится скорее к английской ветви этого политического течения. По мнению некоторых исследователей, развитие либеральной философии во Франции, начало которой положили идеи Просвещения, было прервано специфическим поворотом исторических событий в ходе Великой французской революции, в результате чего французские либералы являли собой лишь «малочисленное семейство, подозрительное и всеми презираемое»*. И хотя в политической жизни Франции либералы играли заметную роль действительно лишь в период Реставрации и в первое десятилетие Июльской монархии, в идейном отношении они тем не менее оставили богатое наследие. Либерализм на французской почве сумел стать значительной идейной силой, имеющей собственное лицо и специфическую окраску и сыгравшей свою роль в становлении западно-европейской политической философии. Цель настоящего издания — познакомить российского читателя с образцами этой разновидности либеральной мысли, известной многим лишь по отдельным упоминаниям в общих курсах по истории политической философии.

Главной отличительной особенностью французского либерализма является то, что он был связан не с социально-экономическим развитием своей страны, как это имело место, например, в Англии, но со специфическим характером развития исторической реальности — в первую очередь с особенностями француз-

---

* См.: Chaunu P. La liberté. P., 1987. P. 269—271.

ской революции, которая ввела разрыв в ткань понимания исторического и политического, поставив принципиальный вопрос о смысле демократического идеала. Поэтому основной темой французского либерализма выступает проблема соотношения демократии, воплощенной в идее народного суверенитета, и либерализма с его принципом свободы, проблема взаимоотношений между гражданским обществом и его политической властью. Английская либеральная традиция более единообразна: Д.Локк, Д.Юм, А.Смит, Дж.Ст.Милль при всех различиях своей ориентации создают единое концептуальное поле, сконцентрированное вокруг главного объекта — идеи правового государства. Ничего подобного мы не наблюдаем во французской политической мысли: поколение либералов первой четверти девятнадцатого столетия прекрасно осознает, что не может следовать выводам Ж.-Ж.Руссо.

Этот либерализм открыто принимает общество, созданное французской революцией, пытается сформировать его правление на основе рациональных принципов, которые бы вместе с тем отличались от принципов и теорий, во имя и от имени которых было разрушено старое общество. «Наше несчастье состоит в том, — писал Ламартин, — что мы родились в то проклятое время, когда все старое рушится и когда еще не существует ничего нового»*. Поэтому основная задача, стоящая перед либералами данного периода, носила одновременно теоретический и сугубо практический характер. Она состояла в одновременном завершении политического процесса, начало которому положила революция, и тем самым в предотвращении разрыва между утверждением свободы и развитием демократии и в создании прочных основ представительного правления, формировании политических институтов, способных выступить гарантом политической свободы. То была задача выработки не только новых концептуальных средств для осмысления новой исторической реальности, но и новых перспектив политического дей-

* Lamartine A. Lettre de 19 août 1919 à marquise de Raigecount // Correspondance de Lamartine P., 1873. V. II. P. 399.

ствия, задача не просто разработки теории, но и перевода ее в практический план. Речь шла о сокращении дистанции между ученым и политиком, поэтому и основные работы либеральных теоретиков в этот период по своему характеру, форме и стилю резко контрастируют с формой политического трактата, характерного для развития политической теории в XVIII веке: они носят чисто ситуативный характер, сочетают в себе политическую рефлексию и накопленный опыт государственного управления. В каждой из этих работ автор выступает одновременно и как теоретик, и как историк, и как человек, непосредственно вовлеченный в политическое действие. Именно таковы две из представленных в настоящем издании работ: книга «Принципы политики, пригодные для всякого правления» Б.Констана, написанная им в 1815 г. и содержащая анализ основных принципов представительного правления на примере анализа Хартии 1814 г., и книга Ф.Гизо «О средствах правления и оппозиции в современной Франции», относящаяся к 1821 г.

Главный исходный момент у обоих мыслителей одинаков: революция создала новое общество, однако средства правления, традиционный государственный аппарат являются малопродуктивными. Как сделать управление обществом эффективным, сохранив при этом свободу и основные правовые гарантии граждан, — вот основной вопрос, на который ищут ответ оба мыслителя. Но ответы на этот вопрос они дают различные, хотя и не во всем противоположные друг другу.

Гизо рисует нам исторический фон своей эпохи: слабость вновь созданного правительства, власть отворачивается от завоеваний революции, хотя считает невозможной контрреволюцию; вокруг правительства все движется, социальное развитие продолжается, его направленность не изменилась. Он отмечает тот факт, что новое общество, вышедшее из недр революции, предстает обществом деперсонализированным: «Сила покинула индивидов, семьи; она покинула очаг, в котором некогда обитала; она распространилась во всем обществе в целом; она циркулирует в нем, едва заметная в каждом конкретном месте, но присутствующая

повсеместно. Она связана с общественными интересами, идеями, чувствами, которыми никто конкретно не располагает, которые никто даже не способен охватить во всей полноте...», — пишет он в своей работе «О смертной казни». Кроме того, общество еще и усложнилось: на смену старому дуалистическому разделению общества (аристократия — народные массы) пришло общество, в котором «все существования тесно переплетены», в котором существует «общность условий», «паритет шансов», в котором наиболее сильные различия прошлого постепенно сглаживаются. Это — результат медленной работы цивилизации, считает Гизо, и это — главный факт, сделавший неэффективными прежние политические методы управления. Основную свою задачу он видит в определении искусства правления, адекватного современному обществу и способного взаимодействовать с массами. Нынешнее правительство, считает Гизо, смешивает власть и командование. Оно воображает, будто существует вне или над обществом, и с этих позиций пытается определить свою политику по организации общества. Власть исходит из ложного, иллюзорного понимания своего воздействия на общество как умножения административного аппарата. Главное в ее глазах — добиться подчинения индивидов и групп тем указаниям, которые, по ее мнению, должны обеспечить единство всего общества. Оппозиция же, как правило, думает лишь о защите свобод и отступает перед идеей осуществления реальной власти, так что и она также сводит отправление власти к одному лишь командованию и принуждению.

Следовательно, формулирует Гизо свою задачу, нужно прояснить отношение между властью и обществом, понять процесс возникновения власти из недр общества, а также тот факт, что общество обретает свою форму и устойчивость только под воздействием власти. Здесь мысль Гизо уже переходит от анализа конкретной ситуации к осмыслению взаимосвязанности и взаимозависимости политического и социального. С одной стороны, говорит он, факты учат нас различать обе эти сферы; но с другой — это различие не влечет за собой разделения двух этих сфер, установле-

ния между ними непреодолимых преград, поэтому общество не достигает своего наиболее полного выражения, если испытывает дефицит власти, препятствующий самоидентификации элементов нового порядка. Подлинные средства правления Гизо определяет как «внутренние» в противовес старым политическим средствам, определяемым им как «внешние» по отношению к обществу. Средства правления сосредоточены в самом обществе и не могут быть отделены от него. Человеческое общество нельзя уподобить полю, которое вспахивает его хозяин, оно живет собственной жизнью, оно само воспроизводит средства правления и охотно передает их тому, кто сумеет ими воспользоваться.

Таким образом, по Гизо, вся работа цивилизации состояла в медленном и постепенном изменении отношений между социальной и политической сферами общества, между общественной и частной жизнью. Власть не может более представлять собой полюс регулирования и организации, внешний по отношению к обществу, автономный инструмент по наведению порядка и урегулированию отношений. Политическое представляет собой отдельную от общества инстанцию только тогда, когда само общество оказывается органически и структурно разделенным. В современном же обществе, отмеченном равенством условий, власть, напротив, слита с социальным. Это общество структурируется динамичным переплетением мнений, страстей, интересов, и правление эффективно только в том случае, если оно взаимодействует со всеми этими элементами, управляющими поведением масс. Социальный мир — мир жизни и разума. Поэтому и власть деятельна только тогда, когда черпает свои средства из социального движения: ее цель — не окружить себя и подчинить себе как можно больше социальных агентов, но оставить их на своих местах и лишь использовать их силу и их разум в своих целях.

Итак, Гизо утверждает взаимопроникновение социального и политического. Однако при этом он не стремится минимализировать воздействие управляющих государственных механизмов, как это делает тот же Констан; он выступает с критикой известной максимы Тюрго «laissez passer, laissez faire». Он убежден, что

связь гражданского общества и государства не может быть сформулирована в традиционных терминах противопоставления активности и пассивности, субъекта и объекта. В связи с этим идея автономии политического, столь характерная для философской мысли XVII—XVIII веков, не находит места в концепции Гизо. Для него существует единое пространство, которое как бы раздваивается: политическое воплощается в социальном, а социальное — в политическом. В связи с этим хотелось бы обратить особое внимание читателя на используемое Гизо для определения власти, включенной в общество, понятие социальной власти («pouvoir social»), которое в полной мере будет позднее развито А. де Токвилем в его известной книге «Демократия в Америке».

Уже здесь совершенно очевидно, какая дистанция отделяет концепцию Гизо, да и вообще всех либералов этого периода, от предшествующей философской традиции, хотя Гизо, в отличие от Констана, этого разрыва не подчеркивает и не акцентирует на нем внимание специально. Всей своей теорией соотношения общества и государства Гизо опровергает демократическую утопию общества, согласно которой совокупная общественная воля способна выражать и конструировать из себя совокупное бытие, сознательно строить общественную связь. Он отвергает демократию в той степени, в какой она связана с суверенитетом большинства, но он фактически признает ее в той степени, в какой она выражает социальное состояние, в котором гарантированы свободы и уважаются гражданские права.

Проблему соотношения принципа суверенитета народа и идеи свободы можно назвать центральной проблемой всего творчества Бенжамена Констана: «В течение сорока лет я защищал один и тот же принцип — свободу во всем: в религии, в философии, в литературе, в промышленности, в политике, подразумевая под свободой защиту личности от власти, желающей управлять посредством деспотизма, и от масс, настаивающих на подчинении себе меньшинства»*. Основная

* Цит. по: Châtelet F., Duhamel O., Pisier-Kouchner E. Histoire des idées politiques. P., 1982. P. 73.

идея представляемой читателю книги «Принципы политики» заключается в утверждении, что фактором, детерминирующим политический порядок, являются не институциональные формы, но нормы, регулирующие взаимоотношения между обществом и государством. И если найдены верные принципы, касающиеся атрибутов и ограничений власти, то остальное в обществе произойдет как бы само собой, и наоборот, как это подтверждают уроки французской революции, государственные институты, теоретически опирающиеся на идеи свободы, могут на деле обернуться тиранией из-за отсутствия твердого определения условий этой свободы.

Критика руссоистской идеи общей воли и ее теоретического коррелята — понятия суверенитета народа — представляет собой ядро всего французского либерализма первой трети XIX века, но наиболее полное свое развитие она нашла в политическом творчестве Констана, в частности в представленной в настоящем издании работе «Принципы политики...». По мнению Констана, идея суверенитета народа, несмотря на вводимую им свободу, создает условия для возникновения тирании и деспотизма нового рода, более широкого, чем тирания старого порядка. Он полагает, что если общая воля и суверенитет народа выступают в качестве единственного принципа легитимности, то они могут быть использованы властью во вред всему социальному целому. Поэтому для него это отклонение в развитии политического сообщества выступает не только в образе якобинской диктатуры, но и в образе наполеоновского деспотизма. Констан считает, что, как бы ни были различны оба эти типа правления, у них один источник, одна политическая логика, и бонапартизм представляет собой лишь иной лик узурпации народного суверенитета. Основной феномен революции состоял в уничтожении политических институтов, основанных на наследственной передаче власти и освященных Богом, в переходе власти в руки всего сообщества; но эта власть, так хорошо обрисованная в теории, в руках взявших ее людей оказывается зыбкой и всегда готовой ускользнуть. Таков формулируемый Констаном парадокс демократии: народ-суверен в

высшей степени подвержен опасности отчуждения суверенитета.

В чем корни этого явления, — вот вопрос, более всего волновавший мыслителя. По его мнению, якобинцы совершили очень серьезную ошибку. Общество, рожденное революцией 1789 г., в основе своей было индивидуалистическим и базирующимся на принципе свободы, характерном для новой открывающейся эпохи. Но по отношению к этому обществу теория Руссо, как она изложена им в «Общественном договоре», вдохновлявшем политические свершения Робеспьера и теоретические искания Сен-Жюста, была анахронизмом: Руссо исходил из эгалитаристских и индивидуалистских предпосылок, но вместе с тем утверждал принцип преобладания целого над частями, свойственный античной форме демократии, сохранял волюнтаристскую в своей основе идею власти как причины общества, хотя у него преобладание целого над частями материализуется не в личности государя, но ассимилируется в целостности, имманентной социальному целому — в общем виде.

Констан — и в этом его точка зрения сходится с утверждениями Гизо — предлагает отказаться от волюнтаристского мифа, в соответствии с которым общество может распасться, если не будет постоянно поддерживаться внешней по отношению к нему властью-причиной (не важно, воплощена ли она в монархическом или в демократическом правлении). Власть не может выступать в качестве причины социального, она, напротив, является его следствием. Реальность нового зарождающегося общества принципиально иная, чем реальность общества старого порядка: оно обладает собственным существованием, не во всем подвластным политическому решению; более того, политическая власть существует только через социальное: ведь индивиды вступают в отношения друг с другом не благодаря законам, но, напротив, законы представляют собой выражение предсуществующих им отношений. Таким образом, по Констану, смысл произошедшей революции сводится к возникновению нового типа социальности, что приводит к разделению

собственно гражданской сферы и возникающей из ее недр политической инстанции.

Итак, Констан и Гизо идут разными путями — первый исходит из анализа только что свершившейся революции, второй — из реалий уже возникшего на ее основе нового общества, — но их выводы относительно соотношения гражданского общества и государства достаточно близки. Эти выводы французских либералов означали существенный поворот в развитии политической мысли, разделяющий две эпохи, два типа постановки проблемы человека и общества. Мы имеем здесь дело с решительным разрывом с теорией общественного договора как основным концептуальным средством развития политической теории от Гоббса до Руссо. В теории общественного договора, представлявшей собой основу интеллектуального развития политической мысли в рамках абсолютизма, политическая инстанция была органом, при помощи которого человеческое сообщество удерживалось в единстве. Идеальной моделью общества оставалась модель, основанная на полном и точном совпадении социального целого с принципом его организации. Элементы индивидуализма и социального представительства, имеющиеся в концепциях политических мыслителей XVII—XVIII веков, были связаны с их намерением восстановить в полной мере согласие между индивидом и обществом; но эти элементы, характерные для политического мышления Нового времени, еще оставались включенными в старые рамки, структурированные фундаментальной зависимостью по отношению к внешней политической инстанции. Разрыв, осуществленный либералами начала XIX века, в принципе лишь перевел на язык теории то, что уже произошло в реальности: был разрушен идеал сообщества, находящегося в полном единстве со своей нормой; отныне каждый гражданин должен был сам определять свои цели, свою идею блага, сам распоряжаться своей жизнью; индивидуализм, превратившийся в практический принцип, разрушил схему однородного сообщества, преследующего единую цель.

В самом общем плане основная задача либералов состояла теперь в разделении того, что пыталась объ-

единить идея естественного права, — общества и власти, изначальной институционализации социального целого и его реального функционирования. Политическая власть у либералов предстает не как непосредственное осуществление принципа суверенитета народа (античная модель демократии), но как делегирование этого суверенитета и контроль за его осуществлением. И вот в этом вопросе единство в исходной установке у Гизо и Констана сменяется различием их точек зрения на конкретные пути взаимодействия между гражданским обществом и государством.

Для Констана главной проблемой выступает иллюзорность единства и целостности, задаваемых развитием социальности; для него важно прояснить отношения между властью и обществом, пытаясь помешать одновременно как подмене общества властью, так и поглощению власти обществом, т.е. регулирование дистанции между обществом и властью. И основным средством здесь выступает ограничение «безграничной социальной юрисдикции»: «Там, где начинается независимое личное существование, юрисдикция суверенитета народа заканчивается. Если общество переходит эту грань, оно становится столь же повинным, как и деспот ...общество не может расширять поле своей компетенции, иначе это становится узурпацией власти большинством; когда вся нация угнетает хотя бы одного гражданина, власть ее перестает быть легитимной»*. Таким образом, права индивида — личная свобода, свобода совести, мнения, прессы, юридические гарантии против произвола — предшествуют и остаются внешними по отношению к сфере действия власти. «Принципы политики» дают нам примеры, исчерпывающим образом подтверждающие этот вывод. Современному человеку, скажет Констан несколько позднее в своей статье «О свободе у древних и у современных людей», чуждо античное понятие о свободе как о «постоянном и деятельном участии в коллективном осуществлении власти», для него свобода — это прежде всего «мирное пользование личной независимостью».

* Constant B. De la liberté chez les Modernes. P., 1980. P. 271.

Свобода в древности обеспечивала гражданам наибольшее участие в осуществлении общественной власти. Современная же свобода, говорит Констан, это гарантия независимости всех граждан перед лицом власти. И основная проблема современного человека — научиться пользоваться и сочетать обе свободы — и личную, и политическую. Таким образом, политическая власть в обществе ограничена в силу тех специфических функций, которые она выполняет: поддержание общественного спокойствия, обеспечение безопасности для каждого из граждан этого общества; обеспечение необходимого взаимодействия граждан и их защиты в случае внешней агрессии. Сфера государственного, политического отделена от сферы частного, а общие цели государства — от личных целей составляющих его граждан.

Развиваемые Констаном на страницах «Принципов политики» идеи относительно прав человека и ограничения с их помощи всевластия народного суверенитета представляют собой не что иное, как утверждение либерального принципа индивидуализма в полном объеме. Все внимание мыслителя обращено против полного растворения индивидуального «я» в коллективной целостности, на отстаивание самоценности и значимости этого «я», поэтому он не замечает тех негативных — и для общества в целом и для самого индивида — последствий, которые заключает в себе этот принцип. На это обратят внимание другие представители либерального крыла французской философии — Ройе-Коллар и в особенности Токвиль. Для них индивид, вышедший из бесчисленного множества песчинок, — «человек, затерянный в толпе».

Гизо же в этом вопросе занимает особую позицию. Для него социальная эволюция идет не от общества как иерархизированного монолитного целого к обществу изолированных индивидов, но от социальной изоляции к взаимодействию. Поэтому для него в процессе цивилизации рождается индивидуальность нового типа — социальный индивид, представляющий собой не изолированный атом и не простую составляющую социального целого, но момент и субъект социального взаимодействия.

Радикально отлична от констановской и точка зрения Гизо в отношении принципа суверенитета народа. Как мы могли убедиться, Констан критикует руссоистскую идею суверенитета народа, выступая за ограничение последнего в реальной социальной и политической жизни. Гизо совершенно иначе походит к этой проблеме, и это со всей наглядностью демонстрирует третья из помещенных в настоящем издании работ — «Политическая философия: о суверенитете». В отличие от двух других книг, эта работа по форме представляет собой классический политический трактат, напоминающий соответствующие труды XVIII века. Гизо приступил к работе над ней в начале двадцатых годов (предположительно в 1820—1823 гг.), но рукопись так и осталась незавершенной и была опубликована во Франции только в 1985 г. Один из наиболее известных исследователей творчества Ф.Гизо, П.Розанваллон, объясняет незавершенность этой рукописи двумя причинами. Во-первых, по его мнению, большинство из политических сочинений Гизо имеет непосредственное отношение к какому-либо конкретному событию или определенной исторической ситуации; форма же классического политического трактата была для него несколько непривычной и чуждой его живому уму и стилю историка. А во-вторых, к середине 20-х годов Гизо разуверился в том, что его политические работы способны оказать какое-либо воздействие на реальное развитие политической ситуации, а потому предпринял попытку «опосредованного» воздействия на власть — при помощи исторических сочинений (в 1823 г. он публикует «Очерки по истории Франции», продолжает прерванную работу над сочинением по истории представительного правления, затем обращается к истории английской революции, первые два тома которой выйдут в 1826—1827 гг.).

Как бы то ни было, рукопись осталась незавершенной. Но даже в таком виде она представляет огромный интерес для развития политической теории, поскольку именно здесь Гизо обращается к центральной проблеме, волновавшей политическую мысль в первой половине XIX века, — к проблеме суверенитета. Позицию Гизо можно коротко выразить в следующем тезисе:

никакая абсолютная власть не является легитимной, на земле не существует суверенитета по праву. «Я не верю ни в божественное право, ни в суверенитет народа, как их почти всегда понимают. Я вижу в этих понятиях лишь узурпацию власти при помощи силы. Я верю в суверенитет разума, справедливости, права — вот законный суверен, которого ищет мир и которого он всегда будет искать, ведь разум, истину и справедливость нигде нельзя найти полностью и непогрешимыми», — пишет Гизо. Таким образом, подобно Констану, он выступает против деспотизма и всевластия как единоличного правителя, так и толпы. Но в отличие от Констана свой отказ от земного суверенитета он основывает вовсе не на принципе нерушимости прав индивида.

Гизо исходит из того, что любая земная власть является несовершенной и способной заблуждаться, поскольку она всегда отделена определенной дистанцией от трансцендентного разума и справедливости. Таким образом, если Констан в своей критике идеи суверенитета народа сосредоточен главным образом на проблеме границ суверенитета, Гизо избирает в качестве мишени вторую ипостась руссоистской идеи суверенитета народа — непогрешимость. При помощи какого софизма, какой аберрации мы переходим от констатации принципа свободы народа к идее его (народа) непогрешимости? — спрашивает он. Ведь когда философы рассматривали человека самого по себе, единственно в отношении его действия к разуму, развивает он эту мысль на страницах своей работы «Политическая философия: о суверенитете», никто не смел утверждать, что воля человека является для него единственным легитимным законом, т.е. что любое действие человека, будучи свободным и направляемым волей, является одновременно разумным и справедливым. Иными словами, из свободы человека невыводима его непогрешимость и, следовательно, легитимный характер его неограниченной власти. Но если мы отвергаем нечто как абсурдное и неприемлемое по отношению к отдельному индивиду, то почему же мы должны признать эти качества за обществом в целом? Рассуждая таким образом, Гизо ставит проблему легитимности

власти в прямую зависимость от ее подчинения Разуму. И его публикуемая в настоящем издании рукопись представляет собой развитие теории суверенитета Разума, которая была настолько популярна в начале XIX века, что ее по праву называли «теорией века».

Отметим, что Гизо не был первооткрывателем идеи суверенитета Разума, — она принадлежит Виктору Кузену. Но в отличие от последнего Гизо идет к построению своей теории не от метафизики, но от политики, о чем он открыто заявляет на страницах своей работы («Я хотел бы устраниться от каких бы то ни было метафизических дискуссий»). По его мнению, всякая власть несовершенна, пока сохраняется «зазор» между нею и высшим Разумом. Иными словами, суверенитет не существует ни как принцип, ни как цель политики, и при этом любое политическое действие должно соотноситься с разумом, моралью, справедливостью, истиной, сосредоточенными в трансцендентном бытии. Поэтому ни народ в целом, ни государь не могут присвоить себе суверенитет. Они вынуждены постоянно его открывать. «Вера людей в суверенитет, — пишет Гизо, — непреодолима, люди беспрестанно стремятся к его установлению, к подчинению его законам; они льстят себе убеждением, будто бы достигли его, и вновь возобновляют свой путь, как только их заблуждение проявляется; наконец, ненасытна их воля подчиняться суверену и только ему. Итак, суверен существует. Этот суверен — единственно легитимный по своей природе и перед лицом вечности — есть разум, истина, справедливость или, выражаясь языком философии, это незыблемое Бытие, чьим законом является разум, справедливость, истина».

Таким образом, критика руссоистского принципа непогрешимости суверенитета народа приводит Гизо к отрицанию идеи о смыслообразующей роли человеческой воли — индивидуальной или коллективной, — что ставит мыслителя в совершенно особое положение в стане либералов, поскольку центральный вопрос либеральной философии — вопрос о свободе личности — перед ним не стоял. «Неверно полагать, — говорит Гизо, — будто бы человек является абсолютным хозяином самого себя, а его воля — законным сувереном;

будто бы в какой бы то ни было момент, под каким бы то ни было предлогом человек имеет право распоряжаться самим собой по своему усмотрению». «Свобода для человека, — развивает он ту же мысль в другой работе, — является лишь возможностью покориться признаваемой им истине и соотносить с ней свои действия. В таком своем качестве свобода достойна всяческого почитания, но она достойна почитания только в таком качестве»*. Такова специфика либерализма Гизо, обусловленная его концепцией суверенитета Разума: его концепция либеральна в той мере, в какой она разоблачает все формы деспотизма и абсолютизма, но она отказывается от решения вопроса о личной свободе и личных правах индивида в принципе, хотя, как наглядно демонстрируют нам соответствующие главы из его книги «О средствах правления...», в практическом плане эти вопросы (в частности, вопрос о свободе совести, о свободе печати, общественного мнения и др.) решаются Гизо вполне в духе либеральных традиций.

И еще одна особенность либеральной концепции Гизо, связанная с его теорией суверенитета Разума. Речь идет о попытке соединить в рамках единой политической теории философию политическую и философию религиозную. Читая «Принципы политики» Констана, мы встречаемся с горячим отстаиванием принципов свободы совести и веротерпимости, но Констан нигде не предпринимает попытки использовать религиозно-философские взгляды для обоснования политических принципов управления обществом. По-иному относится к этой проблеме Гизо. По его мнению, в современном ему обществе христианство представляет собой единственный прочный и стабильный элемент в меняющемся послереволюционном мире, способный сообщить единство и связность всей истории в условиях социальных разделений. Органическое единство средневекового общества притягивает мысль Гизо. Но в отличие от консервативной традиции, связанной во

* Guisot F. Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'Empire Romain jusqu' à 1789. V. 1. P., 1829. P. 141.

Франции с именами де Местра и де Бональда, приоритет религиозного принципа не приводит его к отождествлению политической и религиозной власти в обществе. Выступая против абсолютизации власти Церкви, он приветствует Реформацию и полагает, что отсутствие прочной протестантской традиции в истории Франции отрицательно сказалось на ее политическом развитии. В частности, именно тем, что протестантизм не прижился на французской почве, объясняет Гизо столь мучительные поиски разрешения дилеммы свободы и равенства в истории французского народа.

При этом Гизо не сомневается в необходимости процесса секуляризации всех сфер общественной жизни, не стремится он и к установлению союза «престола и трона», провозглашенного консервативной идеологией. Его задача иная — он пытается наполнить современные ему политические и социальные отношения духовностью и силой разума. Его концепция «секуляризированного спиритуализма» коренным образом отличается как от констановской идеи разделения свободной религии и «религии священников», так и от кантовской идеи «позитивной религии», которая, по мнению Гизо, лишь возрождает теократические идеалы. Поэтому основа провозглашаемого им суверенитета Разума — формирование в рамках политической власти коллективной интеллектуальной силы, которая должна стать моральным фундаментом объединения новых политических сил.

В заключение хотелось бы обратить внимание читателя на еще одну особенность данного этапа развития либеральной мысли. Речь идет об отношении к демократии, со всей очевидностью прослеживающемся в публикуемых в настоящем издании работах. Во французской раннелиберальной мысли понятие демократии имеет двоякое употребление. С одной стороны, мы обнаруживаем ретроспективно-академическое понимание демократии по античному (в первую очередь аристотелевскому) образцу как совокупность свободных граждан, непосредственно принимающих участие в правлении. А с другой стороны, в общественном сознании первой половины XIX века отношение к демократии было отмечено определенной долей пренебре-

жения — она часто соотносится с анархией, разрушением государственности, «бунтом черни», т.е. со всеми теми негативными явлениями, которыми, по мнению либералов, чревато неограниченно применение принципа народного суверенитета в государственном правлении. Они неоднократно вспоминают в этой связи Монтескье, который предостерегал от смешения понятий «власть народа» и «свобода народа», настаивая на тесной связи «свободы» и «закона». Принцип суверенитета народа логически был связан, с одной стороны, с идеей представительства и с идеями парламентаризма — с другой. Но поскольку принцип суверенитета народа, идея республиканского, демократического правления в сознании французов несли на себе негативный отпечаток, связанный с особенностями протекания буржуазной революции, то во французской либеральной традиции упрочивается идея представительства вне всякой связи с идеей народного суверенитета и демократии. Поэтому все французские либералы начала века, включая, разумеется, Констана и Гизо, выступают с резкой критикой демократии и выказывают себя приверженцами такой формы правления, как конституционная монархия. И даже А. де Токвиль, чье творчество завершает период «классического либерализма», давший принципиально новое определение демократии не просто как формы политического правления, но и как специфической социальной связи, признавался в своем двойственном отношении к демократии, характерном для всех либералов начала века. «Разумом я склоняюсь к демократическим институтам, — писал он в своих дневниках, — но по инстинкту я аристократ, т.е. я презираю толпу и боюсь ее. Я страстно люблю свободу, законность, уважение прав, но не демократию. Такова сущность человека».*

Таковы основные узловые моменты доктрины классического французского либерализма, как он представлен на страницах настоящего издания. Хочется надеяться, что современный читатель проявит к

* Цит. по: Touchard J. Histoire des idées politiques. V. 2. P., 1959. P. 326.

публикуемым сегодня работам либералов XIX века не только чисто академический интерес. Почти 200 лет тому назад Гегель писал: «Опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого этого состояния... Блеклое воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с жизнеспособностью и свободой настоящего»*. С этим утверждением трудно не согласиться. И тем не менее «блеклое воспоминание прошлого» настойчиво вмешивается в наше настоящее, и даже не столько из-за того, что история повторяется — будь то в виде фарса или в виде трагедии — и всегда существуют некоторые аналогии в ткани событийности или в ее символическом осмыслении, сколько из-за того, что между самой этой тканью реальности и ее осмыслением всегда существует некий «зазор», заставляющий вновь и вновь возвращаться к уже готовым рецептам и вновь искать новые ответы на уже поставленные вопросы. Можно сказать, что история учит нас не столько своими ответами, сколько поставленными ею вопросами, которые человечество мучительно пытается разрешить, и каждое поколение возвращается к этим вопросам и дает на них новые ответы, которые не схожи с ответами поколения предыдущего и, конечно же, не будут устраивать последующие поколения.

* Гегель Г.В.Ф. Философия истории // Соч. Т. VIII. М.; Л., 1935. С. 7—8.

Бенжамен КОНСТАН

ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ВСЯКОГО ПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тот факт, что нынешняя конституция даже после ее одобрения французским народом могла быть улучшена во многих своих положениях, кажется общепризнанным. Я полагаю, что, внимательно изучив эту конституцию, мы увидим, что лишь немногие из ее статей не соответствуют охранительным принципам человеческих сообществ и неблагоприятны для свободы. Но тем не менее было бы полезным и разумным оставить за созданными властями возможность совершенствования документа, определяющего их свойства и устанавливающего отношения между ними.

Я давно уже говорил, что, поскольку конституция является гарантией свободы народа, то относящееся к свободе, конституционно, но конституционным не является ничего из того, что не соотносится со свободой; распространение конституции на все означает превращение всего в опасность для конституции и создание рифов, окружающих ее; существуют серьезные основания, которых не могут касаться никакие власти; но объединение этих властей способно делать все, непротиворечащее этим основам*.

---

* См.: Réactions politiques. P., 1797. P. 95-96. Семнадцатью годами позже я проповедовал те же взгляды. «Счастье обществ и безопасность индивидов основываются на определенных позитивных и незыблемых принципах. Эти принципы верны для всех климатических условий, на всех широтах. Они никогда не могут быть изменены, какова бы ни была протяженность страны, ее нравы, ее вероисповедание, ее обычаи. Для деревушки в тридцать домов, равно как и для тридцатимиллионного народа, неоспоримо, что ни один человек не может быть произвольно арестован, подвергнут наказанию без суда, что каждый может быть

Таким образом, я думаю, было бы нелишним исследовать нашу конституцию как в совокупности, так и в деталях, поскольку, облеченная национальным доверием, она еще может быть усовершенствована.

В публикуемом мною ныне исследовании вы найдете не только те же идеи, но и те же слова, что были в моих предшествующих работах. Я изучаю политические воззрения около двадцати лет, и все это время я проповедую одни и те же взгляды, высказываю одни и те же пожелания. И прежде я требовал индивидуальной свободы, свободы печати, отсутствия произвола, уважения к правам всех. Того же самого я требую и сегодня с не меньшим рвением и с не меньшей надеждой.

Несомненно, если мы анализируем положение Франции лишь поверхностно, мы склонны поверить в грозящие ей опасности. Против нас объединяются

осужден лишь на основе ранее принятых законов и предписанных форм, что никому нельзя помешать развивать свои физические, моральные, интеллектуальные и промышленные способности безвинным и мирным образом. Эти основополагающие права индивидов не могут быть нарушены всеми властями вместе взя-тыми; но объединение этих властей должно быть достаточно компетентным, чтобы высказывать свое мнение относительно всего, что не противоречит этим нерушимым и неписаным правам. Так, в Англии совместные действия короля и обеих палат при помощи всех средств правления и администрации могут произвести изменения, кажущиеся им необходимыми. Аксиома английских дворян «мы не желаем изменять законы Англии» гораздо более разумна, нежели утверждение «мы не можем их изменить». Отказ изменить законы на том основании, что люди этого не желают, объясняется внутренней добротностью этих законов либо неуместностью их немедленного изменения. Но подобный же отказ, объясняемый неизвестно какой таинственной невозможностью, кажется совершенно непонятным.

Конституции редко когда устанавливаются волею людей. Их творит время. Они вводятся постепенно и незаметным образом. Тем не менее существуют обстоятельства, когда принятие конституции необходимо. Но в этом случае делайте лишь то, что является необходимым: оставьте простор времени и опыта, чтобы обе эти реформационные силы направляли ваши уже созданные власти с целью улучшения того, что уже создано, и завершения того, что еще предстоит сделать». — Réflexions sur les constitutions et les garanties. P., 1814. P. 159-166.

многочисленные армии. Народы, как и их лидеры, кажутся ослепленными собственными воспоминаниями. Остатки национального духа, вдохновлявшего их еще два года назад, придают управляющим ими усилиям национальную видимость. Но всмотревшись пристальнее, мы увидим, что эти угрожающие симптомы теряют в некоторой степени свою значимость. Сегодня эти народы защищают уже не свое собственное отечество: они подвергают нападкам нацию, замкнувшуюся в своих границах, которые она не пытается преодолеть, нацию, требующую одной лишь внутренней независимости и права самой назначать себе правление подобно тому, как того требовала Германия, выбирая Рудольфа Габсбургского, Англия — призывая дом Бронсвиков, Португалия — отдавая корону герцогу Браганскому, Швеция — выбирая Густава Ваза; одним словом, подобно тому, как каждый из европейских народов делал это в какой-то — обычно наиболее прославленный период — своей истории[1].

Умам свойственна естественная разумность, которая в конце концов всегда заставляет признать очевидное, и народы очень скоро устанут проливать кровь за чуждое им дело. Что же касается нас, то подавляющее большинство французов объединяют два чувства — жажда свободы и ненависть к иностранному господству. Всем нам известно, что свобода не может прийти извне. Всем нам известно, что правительство, которое вытупило бы под иностранными знаменами, оказалось бы в оппозиции по отношению к нашим интересам, равно как и нашим правам.

К этому убеждению, пронизывающему сегодня все души, прибавились еще и воспоминания, способные всколыхнуть национальную гордость, поскольку слава наша померкла, наши провинции завоеваны, варвары охраняют подступы к Парижу и плохо скрываемая дерзость победителей возмущает каждого француза, который видит иностранные флаги над нашими башнями и должен взывать к милости русского или выдержке пруссака, чтобы пройти по нашим улицам или посещать наши спектакли.

Конечно, у наших врагов короткая память. Возрождаемый ими язык уже заставил пошатнуться их престолы двадцать три года назад. Тогда, как и ныне, они нападали на нас, поскольку мы возжелали иметь наше собственное правление, поскольку мы избавили крестьянина от десятины, протестанта — от нетерпимости, мысль — от цензуры, гражданина — от незаконного задержания и ссылки, плебея — от оскорблений привилегированных лиц. Но между двумя этими эпохами существует то различие, что ранее наши враги воевали лишь с нашими принципами, сегодня же они объявили войну нашим интересам, которые время, привычка и бесчисленные соглашения отождествили с нашими принципами. То, что тогда в нас существовало как предчувствие, сейчас превратилось в опыт. Мы изведали контрреволюцию. Мы попытались примирить ее с гарантиями, которых требовали. Мы упорствовали, и я долее, чем кто-либо другой, в своей вере в чистосердечие, поскольку потребность в нем была очевидна. События последних дней доказали, что ненависть к свободе куда сильнее, чем сама любовь к сохранению традиций. Мы не надругались над несчастием: мы уважаем возраст и беды. Но опыт уже имеется, принципы противоположны, интересы восстали, связи оборваны.

Глава первая
О СУВЕРЕНИТЕТЕ НАРОДА

Наша нынешняя конституция формально признает принцип суверенитета народа, т.е. главенство общей воли по отношению к любой отдельной воле. Действительно, принцип этот неоспорим. В наши дни его пытались очернить, и все порожденные им болезни, и все преступления, совершенные под предлогом осуществления общей воли, придают видимую силу рассуждениям тех, кто стремится иначе определить источник могущества правительств. Тем не менее все эти рассуждения не могут противостоять простому определению используемых понятий. Закон должен быть вы-

ражением либо общей воли, либо воли некоторых членов общества. Но каково же происхождение той исключительной привилегии, которой вы наделяете эту небольшую группу? Если это сила, то сила принадлежит тому, кто ею обладает; она не является основанием права, и если вы признаете ее легитимной, то она таковой и является, вне зависимости от того, чьи руки ею завладеют, и любой захочет захватить ее в свою очередь. Если же вы предполагаете, что власть небольшой группы санкционирована согласием всех, то власть эта превращается в общую волю.

Этот принцип применим ко всем институтам. Теократия, королевская власть, аристократия, господствующие в умах, суть общая воля. Если же они не владеют умами, они суть не что иное, как сила. Одним словом, в мире существует только две власти: одна из них незаконная — это сила; другая легитимная — это общая воля. Но одновременно с признанием прав этой воли, т.е. суверенитета народа, необходимо немедленно как следует осмыслить его природу и определить его широту. Без ясного и отчетливого определения победа этой теории могла бы обернуться катастрофой при ее применении. Абстрактное признание суверенитета народа никоим образом не увеличивает сумму свобод индивидов; и если придать суверенитету широту, которой он не должен иметь, свобода может быть утрачена вопреки этому принципу или даже благодаря ему.

Предосторожность, которую мы рекомендуем принять и которую мы предпримем, тем более необходима, что политики, сколь бы ни были чисты их намерения, всегда опасаются ограничивать суверенитет. Они рассматривают себя в качестве заранее обозначенных его наследников и лелеют свою будущую собственность, даже если та находится в руках своих врагов. Они опасаются того или иного рода правления, того или иного класса правителей; но позвольте им организовать власть по-своему, подождите, когда они доверят ее назначенным ими же должностным лицам, — и они будут думать, что власть еще недостаточно обширна.

Когда установлено, что суверенитет народа не ограничен, в человеческом обществе создается и броса-

ется наугад порция власти, которая сама по себе слишком велика и представляет собою зло, в чьих бы руках она ни оказалась. Доверьте эту власть одному, или многим, или всем, — она равным образом будет злом. Вы будете упрекать носителей власти, вы будете поочередно обвинять монархию, аристократию, демократию, смешанные правления, представительную систему. Вы заблуждаетесь; следует обвинять количество силы, но не тех, кто ею обладает. Высказывать негодование следует против оружия, а не против руки, которая его держит. Существуют вещи, чересчур тяжелые для рук человеческих.

Заблуждение тех, кто в своей любви к свободе от чистого сердца наделил суверенитет народа безграничной властью, проистекает из того способа, каким формировались их идеи в сфере политики. Они видели в истории небольшое число людей или даже одного человека, обладающего громадной властью и причиняющего немало зла; но их гнев был направлен против обладателей власти, а не против самой власти. Вместо того, чтобы разрушить власть, они думали лишь о том, что ее нужно переместить. То было стихийное бедствие, но они рассматривали его как завоевание. Они наделили им все общество в целом. Оно неизбежно перешло от общества к большинству, от большинства — в руки нескольких, а зачастую даже в руки одного человека; оно творило столько же зла, что и раньше, и примеры, замечания, аргументы, факты, обращенные против всех политических институтов, множились день ото дня.

Совершенно очевидно, что в обществе, основанном на суверенитете народа, суверенитет не принадлежит никакому индивиду, никакому классу, который подчиняет все оставшееся общество своей частной воле; но неверно, что все общество в целом обладает в отношении всех своих членов безграничным суверенитетом.

Сувереном является всеобщность граждан в том смысле, что ни один индивид, ни одна группировка, ни одна ассоциация, объединяющая часть граждан, не может присвоить себе суверенитет, если он ей не делегирован. Но из этого не следует, что всеобщность

граждан либо те, кто от ее имени облечен суверенитетом, могут суверенно распоряжаться частным существованием индивидов. Напротив, есть сфера человеческого существования, которая, в силу необходимости, индивидуальна и независима и которая по праву остается вне всякой социальной компетенции. Суверенитет существует лишь ограниченным и относительным образом. В той точке, где начинается независимость и личное существование, юрисдикция суверенитета останавливается. Если общество переходит эту грань, оно оказывается столь же повинным, как и деспот, действующий лишь карающим мечом; общество не может превысить свои полномочия, не превратившись в узурпатора, большинство — не став мятежным. Согласия большинства совершенно недостаточно, чтобы в любом случае легитимизировать его действия: существуют и такие действия, которые ничто не может санкционировать; когда подобные действия совершаются какой-либо властью, то совершенно не важно, из какого источника эта власть проистекает, немного значит и то, называется ли она индивидом или нацией; и даже если вся нация в целом угнетает одного гражданина, она не будет более легитимной.

Руссо недооценивал этой истины, и его ошибка превратила «Общественный договор», на который столь часто ссылаются сторонники свободы, в самого ужасного пособника всех видов деспотизма. Он постулирует изначальный договор между обществом и его членами, полное отчуждение индивида со всеми его правами и без каких-либо уступок в пользу сообщества. Для того, чтобы успокоить нас относительно последствий такого полного отказа от всех частей нашего существования в пользу абстрактного существа, Руссо объявляет нам, что суверен, т.е. общественное тело, не может нанести вреда ни совокупности своих членов, ни кому-либо из них в отдельности; что, поскольку каждый отдает всего себя, то условия равны для всех и что никто не заинтересован в том, чтобы сделать эти условия непереносимыми для других; что каждый, отдавая себя всем, не отдает себя никому; что каждый приобретает в отношении всех членов сообщества те же права, что отдает, и тем самым получает эквива-

лент того, что утрачивает, но наделенный еще большей силой, дабы сохранить то, что имеет. Но Руссо забывает, что все защитные качества, которыми он наделяет абстрактное существо, именуемое им сувереном, проистекают из того, что существо это состоит из всех индивидов без исключения. Таким образом, как только суверен должен употребить силу, коей он обладает, т.е. как только нужно приступить к практической организации власти, и поскольку суверен не способен отправлять власть сам, он ее делегирует, и все эти качества исчезают. Получается так, что, поскольку действие, осуществляемое от имени всех, в силу необходимости волей-неволей находится в распоряжении одного или нескольких, то неверно, что, будучи отдано в распоряжение всех, оно не находится в распоряжении кого-либо; напротив, оно отдается в распоряжение тех, кто действует от имени всех. Отсюда следует, что, отдавая всего себя без остатка, мы не обретаем равные для всех условия, ибо эти несколько человек пользуются исключительным правом, пожертвованным всеми остальными; неверно, что никто не заинтересован сделать непереносимыми условия существования других, поскольку существуют члены сообщества, находящиеся вне общих условий. Неверно, что все члены сообщества приобретают те же самые права, что они передают в общее пользование; не все они получают эквивалент утраченного, и результатом их жертвы является или может явиться укрепление силы, которая забирает у них все, что они имеют.

Сам Руссо испытывал страх перед этими последствиями; ужаснувшись видом громады созданной им социальной власти, он не знал, в чьи руки передать эту чудовищную власть, и не нашел защиты от опасности, неотделимой от подобного суверенитета, за исключением лишь одного средства, которое делало невозможным воплощение этого суверенитета. Он провозгласил, что суверенитет не может быть ни отчужден, ни делегирован, ни представлен. Иными словами, это означало провозглашение того, что суверенитет не может найти воплощения; это означало фактическое уничтожение провозглашенного им принципа.

Но взгляните: сторонники деспотизма более откровенны в своих действиях, когда исходят из той же аксиомы, поскольку она служит для них опорой и содействием. Человек, остроумнейшим образом возведший деспотизм в систему, — Гоббс — поспешил признать суверенитет безграничным, чтобы вывести отсюда легитимность абсолютного единоличного правления. Суверенитет, говорил он, абсолютен; эта истина признавалась во все времена и даже теми, кто побуждал к мятежу или разжигал гражданские войны: их лейтмотивом было не отрицание суверенитета, но перемещение его действия в иное место. Демократия есть абсолютный суверенитет в руках всех; аристократия есть абсолютный суверенитет в руках нескольких; монархия есть абсолютный суверенитет в руках одного. Народ мог отказаться от этого абсолютного суверенитета в пользу монарха, который в таком случае становился его законным обладателем.

Мы со всей ясностью видим, что абсолютный характер, которым Гоббс наделяет суверенитет народа, есть основа его системы. Это понятие *абсолютного* искажает весь вопрос и вовлекает нас в новую серию следствий; это та точка, в которой писатель оставляет путь истины, чтобы с помощью софизма добраться до цели, которую он поставил перед собой в начале пути. Он доказывает, что коль скоро соглашения людей недостаточно для соблюдения их обязательств, то требуется еще и сила принуждения, чтобы заставить людей их соблюдать; что коль скоро общество должно защищать себя от внешних нападений, ему требуется общая сила, которая встала бы на защиту всех; что коль скоро люди разделены в своих требованиях, то требуются законы, дабы улаживать их права. По первому пункту он заключает, что суверен имеет абсолютное право карать; по второму — что он имеет абсолютное право вести войну; по третьему — что суверен является абсолютным законодателем. Не существует ничего более ложного, чем эти выводы. Суверен имеет право карать, но только преступные деяния; он имеет право вести войну, но только в том случае, если общество подверглось нападению; он имеет право устанавливать законы, но только тогда, когда законы эти необходи-

мы, и в той степени, в какой они соответствуют справедливости. Таким образом, в этих прерогативах нет ничего абсолютного, ничего беззаконного. Демократия есть власть, переданная в руки всех, при этом для безопасности сообщества необходима только вся сумма власти; аристократия представляет собой ту же власть, но вверенную некоторым; монархия — власть, отданная в руки одного. Народ может отказаться от этой власти в пользу одного человека или небольшой группы людей; но их власть является точно так же ограниченной, как и власть народа, который их этой властью наделил. Посредством отсекания одного только слова, безосновательно включенного во фразу, рушится вся ужасающая система Гоббса. Напротив, вместе со словом *абсолютный* ни свобода, ни, как мы увидим в дальнейшем, спокойствие, ни счастие невозможны ни при каких институтах.

До тех пор, пока суверенитет не ограничен, нет никакого средства дать индивидам защиту от правления. Впустую будете вы пытаться подчинить правления общей воле. Именно они и диктуют эту волю, и все предосторожности становятся иллюзорными.

Народ, говорит Руссо, суверен в одном отношении, а подданный — в другом; но на практике оба отношения смешиваются. Власти очень легко притеснять народ в качестве подданного, чтобы принудить его в качестве суверена демонстрировать свою волю, продиктованную ему той же властью.

Никакая политическая организация не способна устранить эту опасность. Напрасно будете вы разделять власти: если общая сумма власти не ограничена, разделенным властям остается лишь создать коалицию — и деспотизм будет неизлечим. Для нас важно не то, чтобы наши права не могли быть нарушены какой-либо властью без одобрения другой, но чтобы такое нарушение было запрещено для любой из властей. Нам недостаточно, чтобы исполнители испрашивали дозволения законодателя, нам нужно, чтобы законодатель мог разрешить им совершить действие лишь в законной для них сфере. Нам мало, если исполнительная власть не имеет права действовать без опоры на закон, если мы не установим границ этой опоры, если

не провозгласим, что она относится к тем вещам, в отношении которых законодатель не имеет права издавать закон, либо, другими словами, что суверенитет ограничен и что существуют волеизъявления, которые ни народ, ни его представители не имеют права иметь.

Вот что следует декларировать; это — важнейшая истина, вечный принцип, который необходимо установить.

Никакая власть на земле не является безграничной — ни власть народа, ни власть людей, называющих себя его представителями, ни власть королей, под каким бы именем они ни правили, ни власть закона, который, в зависимости от формы правления являясь лишь выражением воли народа или государя, должен быть вписан в те же границы, что и власть, из которой он проистекает.

Граждане обладают индивидуальными правами, не зависящими от любой социальной или политической власти, и всякая власть, нарушающая эти права, становится беззаконной. Правами граждан являются индивидуальная свобода, религиозная свобода, свобода мнения, в которую включена и гласность, пользование собственностью, гарантии против любого произвола. Никакая власть не может посягнуть на эти права, не нарушив при этом своих собственных оснований*.

Поскольку суверенитет народа не является неограниченным, а воли народа недостаточно, чтобы сделать легитимным все, что он пожелает, то и власть закона, представляющая собой ни что иное, как подлинное или предполагаемое выражение этой воли, также не безгранична.

Ради общественного спокойствия мы должны пойти на большие жертвы; в глазах морали мы выглядели бы чересчур виноватыми, если бы благодаря жесткой привязанности к своим правам сопротивлялись всем законам, которые, с нашей точки зрения, способны нанести этим правам ущерб; но никакое обязательство не связывает нас с этими так называе-

* См.: Приложение 1.

мыми законами, развращающее влияние которых таит в себе угрозу самым достойным элементам нашего существования, с этими законами, которые не только ограничивают наши легитимные свободы, но и принуждают нас совершать действия, противные вечным принципам справедливости и милосердия, которые человек не может перестать соблюдать, не извратив своей природы и не противореча ей.

До тех пор, пока закон, даже дурной, не пытается развратить нас, до тех пор, пока наступление власти требует лишь жертв, которые не делают нас ни подлыми, ни жестокими, мы можем соглашаться и с этим законом, и с этой властью. Мы идем на соглашение с ними лишь ради самих себя. Но если закон предписывает нам растоптать либо наши привязанности, либо обязанности; если под предлогом исполинской, но напускной преданности тому, что он поочередно называет то монархией, то республикой, закон запрещает верность нашим несчастным друзьям; если он предписывает нам коварство в отношении наших союзников или даже преследование побежденных врагов, — то свод несправедливостей и преступлений, скрывающийся таким образом под именем закона, следует предать проклятию.

Фактическая, не имеющая никаких ограничений общая обязанность состоит в том, чтобы всякий раз, когда закон представляется несправедливым, не превращаться в его исполнителя. Такая сила инерции не влечет за собой ни потрясений, ни революций, не беспорядков.

Ничто не может оправдать человека, оказывающего содействие закону, который он считает несправедливым.

Террор не является оправданием, более действенным по сравнению с другими низкими страстями. Горе всем, кто являются покорными и ревностными орудиями, постоянно подавленными, как они утверждают, неутомимым агентам всех существующих тираний и посмертным разоблачителям всех свергнутых тираний!

В тяжелые времена нам говорили, что мы превращаемся в действующую силу несправедливых законов

лишь для того, чтобы ослабить их строгость, что власть, чьими носителями мы согласились выступать, причинила бы еще больше зла, если бы оказалась в менее чистых руках. Обманчивое соглашение, открывавшее безбрежное поприще для преступлений всякого рода! Каждый вступал в сделку со своей совестью, и несправедливость находила достойных исполнителей на любом уровне. Я не вижу преград к тому, чтобы в этой системе можно было по неведению превратиться в палача под предлогом более бережного удушения жертвы.

Теперь изложим вкратце следствия, вытекающие из наших принципов.

Суверенитет народа не является безграничным; он вписан в границы, очерченные справедливостью и правами индивида. Воля народа в целом не может сделать справедливым то, что является несправедливым. Представители нации не имеют права сделать то, что не вправе сделать сама нация. Никакой монарх, какие бы принципы он ни провозглашал, опирался ли он на божественное право, на право завоевания или на согласие народа, не обладает безграничным могуществом. Если Бог и вмешивается в дела человеческие, то санкционирует только справедливость. Право завоевания есть лишь сила, которая не является правом, поскольку переходит к тому, кто ею завладевает. Согласие народа не смогло бы легитимизировать то, что является беззаконным, поскольку народ не может никому делегировать власть, которой он не имеет.

Против ограничения суверенитета выдвигается следующее замечание. А можно ли ограничить суверенитет? Существует ли сила, способная помешать ему перейти через установленные границы? Нам скажут, что при помощи искусных комбинаций можно ограничить власть, разделив ее. Различные ее составляющие можно поставить в положение оппозиции или равновесия друг к другу. Но при помощи какого средства можно сделать так, чтобы их сумма не была безграничной? Можно ли иначе, как при помощи власти, ограничить суверенитет?

Несомненно, абстрактного ограничения суверенитета недостаточно. Нужно искать такие основания по-

литических институтов, которые бы сочетали как интересы различных носителей власти, так и наиболее выраженное, наиболее устойчивое и обеспеченное их преимущество, заключающееся в том, чтобы каждый из них оставался в границах своих относительных прерогатив. Но первейшим вопросом является отнюдь не область компетенции и ограничение суверенитета; ведь прежде чем придать вещи какую-либо форму, следует определить ее природу и протяженность.

Во-вторых, не желая преувеличивать влияния истины, как это зачастую делают философы, можно утверждать, что когда определенные принципы полностью и отчетливо доказаны, они в некотором роде служат гарантией самим себе. В отношении очевидности формируется всеобщее мнение, которое очень скоро одерживает верх. Если признается, что суверенитет не является безграничным, т.е. что на земле не существует неограниченной власти, то никто и никогда не осмелится требовать подобной власти. Это доказывает и опыт. Например, никто уже не наделяет общество в целом правом без суда решать вопрос о жизни и смерти. Точно так же ни одно из современных правительств не пытается пользоваться подобным правом. И если тираны античных республик кажутся нам более разнузданными, чем правители новой истории, то это отчасти объяснимо именно названной причиной. Самые чудовищные деяния единоличного деспотизма чаще всего обязаны своим существованием именно доктрине безграничной власти всех.

Таким образом, ограничение суверенитета представляется реальным, и оно возможно. Оно будет гарантировано прежде всего силой, которая выступает гарантом всех признанных истин, — мнением; затем оно будет гарантировано и более определенным образом — распределением и равновесием властей.

Но начните же с признания этого ограничения спасительным для общества. Без этой предварительной предосторожности все будет бесполезно.

Если вы заключите суверенитет народа в его истинные границы, вам нечего будет более опасаться; вы лишите деспотизм — будь то деспотизм индивидов или деспотизм объединений — видимых санкций, ко-

торые, по его мнению, он черпает в общем согласии, коим руководит, ведь вы докажете, что это согласие, даже если оно реально, не имеет власти что-либо санкционировать.

Народ не имеет права покарать хотя бы одного невиновного, назвать виновным хотя бы одного обвиняемого, не имея на то законных оснований. Он не может, таким образом, передать подобное право никому. Народ не имеет права покушаться на свободу мнения, на религиозную свободу, на юридическую защиту, на предохранительные формы. Никакой деспот, никакое объединение, таким образом, не могут осуществлять подобное право, утверждая, что им его наделил народ. Следовательно, любой деспотизм незаконен; его ничто не может санкционировать, даже если он ссылается на волю народа. Ведь от имени суверенитета народа он присваивает себе власть, которая не содержится в этом суверенитете, и в данном случае мы имеем дело не только с незаконным перемещением власти, но и с созданием власти, которой не должно существовать.

Глава вторая

О ПРИРОДЕ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ В КОНСТИТУЦИОННОЙ МОНАРХИИ

Устанавливая ответственность министров, наша конституция отчетливо отделяет правительственную власть от власти королевской. Данное разделение устанавливается одним только фактом, что монарх неприкосновенен, а правительство подотчетно. Невозможно отрицать тот факт, что министры не обладают той властью, которая до определенной степени им принадлежит; если бы их рассматривали лишь как пассивных и слепых исполнителей, их ответственность носила бы абсурдный и несправедливый характер, либо по крайней мере они должны были бы нести ответственность перед монархом за точное исполнение его приказов. Но конституция желает, чтобы они отвечали перед нацией и чтобы в определенных случаях приказы монарха не могли служить

для них извинением. Таким образом, совершенно ясно, что они не являются пассивными исполнителями. Правительственная власть хотя и проистекает из власти королевской, имеет тем не менее действительно отдельное от последней существование: различие между властью, несущей ответственность, и властью, облеченной неприкосновенностью, существенно и фундаментально.

Поскольку различие это закреплено самой нашей конституцией, я полагаю себя обязанным дать некоторые разъяснения. Обозначенное в моей работе, опубликованной до провозглашения Хартии 1814 г.[2], оно показалось ясным и полезным людям, чье мнение является для меня очень весомым. Для меня это поистине ключ всей политической организации.

Власть главы государства, каким бы титулом он ни обладал, есть власть нейтральная. Власть же министров есть власть активная. Для того чтобы объяснить это различие, определим формы политической власти, как они были известны до сих пор.

Власть исполнительная, власть законодательная и власть судебная суть три формы власти, каждая из которых в своей области должна содействовать общему развитию; но когда эти приведенные в беспорядок власти пересекаются, сталкиваются, мешают друг другу, нужна сила, чтобы вернуть все на свои места. Эта сила не должна быть сосредоточена ни в одной из властей, поскольку в этом случае она служила бы разрушению прочих. Она должна быть вне них, в некотором роде нейтральной по отношению к ним, чтобы действие ее могло быть с необходимостью применено повсюду, где возникает в том потребность, а также для того, чтобы сила эта носила защитный и восстановительный характер, не являясь при этом враждебной.

Конституционная монархия создает такую нейтральную власть в лице главы государства. Подлинный интерес главы государства заключается вовсе не в низвержении одной власти другой, но в их взаимопонимании, взаимной поддержке и согласых действиях.

До сих пор в политических организациях различали лишь три вида власти.

Я же различаю в конституционной монархии пять видов власти, обладающих различной природой: 1) королевская власть; 2) исполнительная власть; 3) устойчивая представительная власть; 4) представительная власть мнения; 5) судебная власть.

Устойчивая представительная власть сосредоточена в ассамблее, формируемой на основе наследственного права; представительная власть мнения — в избираемой ассамблее; исполнительная власть доверена министрам; власть судебная — судам. Первые две власти издают законы, третья власть заботится об их общем исполнении, четвертая применяет законы к частным случаям. Королевская власть располагается среди всех этих четырех властей, но она выше их, обладает силой одновременно высшей и опосредующей, будучи при этом заинтересована не в нарушении равновесия, но, напротив, в его поддержании.

Конечно же, поскольку люди не всегда подчиняются своему осознанному интересу, нужно предпринять некоторую предосторожность, дабы глава государства не мог подменять собою другие власти. Именно в этом состоит различие между абсолютной и конституционной монархией.

Поскольку всегда полезно подкрепить абстракции фактами, мы приведем в пример английскую конституцию.

Ни один закон не может быть создан без обсуждения его в формируемой на основе наследственного права палате и в палате выборной, никакое действие не может быть осуществлено без подписи министра, любой приговор может быть вынесен только независимыми судами. Но взгляните, как после принятия этой предосторожности английская конституция использует королевскую власть, чтобы положить конец всякой представляющей опасность борьбе и восстановить гармонию между прочими властями. Если действие исполнительной власти опасно, король отстраняет министров. Если действие палаты пэров губительно, король задает ей новое развитие, создавая новых пэров. Если угроза проявляется со стороны выборной палаты, король либо использует свое право вето, либо распускает выборную палату. Наконец, если даже действие судеб-

ной власти становится непереносимым, поскольку она применяет к отдельным действиям слишком строгие наказания, король смягчает ее деяния, используя право помилования.

К порокам почти всех конституций можно отнести тот факт, что они не создали нейтральной власти, но поместили всю совокупность могущества, какой та должна обладать, в одну из действующих властей. Когда все это могущество оказывалось объединенным в законодательной власти, закон, который должен был бы распространяться только на определенные предметы, простирал свое могущество на все и вся. В результате мы имели безграничный произвол и тиранию. Отсюда — злоупотребления Долгого парламента[3], или народных собраний итальянских республик, или Конвента в определенные периоды его существования. Когда же вся эта совокупность могущества объединялась в исполнительной власти, мы имели деспотизм. Отсюда — узурпация, увенчавшая диктатуру в Риме.

Вообще вся римская история являет собой великий пример необходимости нейтральной власти, представляющей собой опосредующее звено между действующими властями. Мы видим, как в этой республике в разгар столкновений между народом и сенатом каждая из сторон искала своих гарантий; но поскольку она всегда перетягивала их на свою сторону, то всякий раз гарантия превращалась в орудие, направленное против другой стороны. Поскольку волнения народа грозили разрушением государства, были созданы диктаторы, должностные лица, преданные классу патрициев. Угнетение со стороны этого класса приводило плебеев в отчаяние, но диктатура не разрушалась, и одновременно был введен в действие институт трибунов — полностью народная власть. Так враги оказались лицом друг к другу; только каждый из них укреплял собственное убежище. Центурионы принадлежали аристократии, трибуны — демократии. Плебисциты, введенные без ведома сената, были не менее обязательны и для патрициев. Решения сенаторов-консулов, происходивших только из патрициев, были не менее обязательны для плебеев. Таким образом, каждая из сторон поочередно захватывала власть, которая должна была

быть передана в нейтральные руки, и злоупотребляла ею, что и должно было иметь место до тех пор, пока действующие силы не отреклись от собственного могущества с целью создания отдельной власти.

То же замечание можно сделать и относительно карфагенян: мы видим, как они последовательно создают институт градоправителей, чтобы поставить преграду на пути аристократии сената, затем образуют трибунал ста, дабы ограничить власть градоправителей. Как говорит Кондильяк, они хотели создать преграду власти и с этой целью создавали другую власть, которая также нуждалась в ограничении, сохраняя при этом то самое заблуждение, от которого пытались найти излечение.

Как я уже говорил, конституционная монархия являет нам пример этой нейтральной власти, столь необходимой любой законной свободе. Король в свободной стране есть особое существо, стоящее над разнообразием мнений, поскольку у него нет иного интереса, как поддержание порядка и свободы, поскольку он никогда не способен вернуться к общему уделу; король, следовательно, невосприимчив к действию всех страстей, порожденных этим уделом, а также и тех, которые перспектива вновь вернуться к этому уделу питает в сердцах чиновников, облеченных сиюминутным могуществом. Эта августейшая прерогатива королевской власти должна наполнить разум монарха безмятежностью, а его душу — чувством покоя, которые не могут быть разделены ни одним из индивидов, занимающим более низкое положение. Король, так сказать, реет над человеческими волнениями, и шедевром политической организации является подобное создание в самом лоне разногласий, без которых не существует свободы, нерушимой сферы безопасности, величия, беспристрастности, позволяющей этим разногласиям беспрепятственно развиваться, покуда они не переходят известных пределов, и, как только возникает какая-либо опасность, кладущей им конец при помощи законных, конституционных и свободных от какого бы то ни было произвола средств. Но люди утрачивают это огромное преимущество, либо снижая власть монарха до уровня власти исполнительной,

либо поднимая исполнительную власть до уровня власти монаршей.

Если вы смешиваете эти власти, то остаются неразрешимыми два вопроса: первый — отрешение собственно исполнительной власти, второй — ответственность.

Исполнительная власть фактически сосредоточена в правительстве, но сила, которая могла бы ее отрешить, в рамках монархии имеет тот недостаток, что является союзницей последней, а в рамках республики — ее противницей. И только при конституционной монархии она поднимается до уровня собственного судии.

Точно так же, мы видим, при абсолютной монархии не существует иного средства отставки исполнительной власти, кроме переворота, а это лекарство гораздо более страшное, чем сама болезнь; и хотя республиканские формы правления пытались создать более законные средства, последние эти часто имели тот же жестокий и необузданный результат.

Жители острова Крит придумали форму восстания, которое носило в некотором роде законный характер и при помощи которого можно было лишить власти все должностные лица; многие писатели хвалили этот способ*. Один из афинских законов разрешал каждому гражданину убить того из чиновников, кто покушался на свободу государства**. В Риме ту же цель преследовал закон Валерия Попликолы[4]. У флорентийцев была их баллиа, или исключительный совет, который был создан незамедлительно и, будучи наделенным всеми полномочиями, обладал способностью роспуска всех властей***. Но во всех этих законодательствах право смещения исполнительной власти, так сказать, трепетало в руках того, кто им завладевал, тот же, кто им завладевал, получал его не для того, чтобы его разрушить, но для того, чтобы ввести тиранию. Поэтому получалось так, что победившая сторона не довольствовалась только тем, что лишала кого-то власти, она

* Filangieri. I. 10; Montesqieu. Esprit des lois. VIII. 11.

** Peti. De Leg. Att. III. 2.

*** Machiavelli, passim.

еще и наносила удар; а поскольку она наносила удар без суда, то вместо того чтобы быть правосудием, это было убийством.

Рожденная бурей, баллиа во Флоренции несла на себе отпечаток своего происхождения. Она осуждала на смерть, заключала под стражу, обирала, потому что у нее не было иного способа лишить власти людей, которые этой властью были облечены. Точно так же, всколыхнув Флоренцию волной анархии, она стала главным инструментом могущества Медичи.

Нужна конституционная власть, которая бы обладала всеми полезными чертами баллии, но которая бы никогда не имела всего того, что та несла в себе опасного, т.е. чтобы не могла ни осуждать, ни заключать под стражу, ни лишать имущества, ни изгонять, но ограничивалась бы тем, что лишала власти людей или собрания, которые не могли далее держать в руках власть, не представляя собою угрозы.

Конституционная монархия решает эту громадную проблему; и для большей ясности я попросил бы читателя соотнести мои утверждения с реальностью. Эта реальность воплощена в английской монархии. Монархия создает эту нейтральную и опосредующую власть — это королевская власть, отделенная от власти исполнительной. Исполнительная власть может быть смещена, но при этом не подвергается преследованиям. Для того, чтобы отстранить от должности своих министров, королю не нужно убеждать их в том, что они совершили ошибку, преступление или имеют преступные намерения; он отстраняет их, не наказывая: таким образом, свершается все необходимое, но при этом оно не влечет за собой никакой несправедливости. И, как это часто случается, данное средство именно потому, что оно справедливо, полезно сегодня еще и с другой точки зрения.

Большой порок любого законодательства состоит в том, что оно ставит могущественных людей перед альтернативой: либо могущество, либо эшафот.

Между смещением исполнительной власти и ее наказанием существует такая же разница, как и между роспуском представительных собраний и обвинением их членов. Если заменить первую из этих мер второй,

то нет никакого сомнения в том, что эти собрания, поставленные перед угрозой не только их политическому существованию, но и существованию личному, самим ощущением опасности будут ввергнуты в состояние неистовства и что государство будет обречено на еще большие несчастия. То же самое происходит и с исполнительной властью. Если вы замените возможность ее смещения без преследования возможностью отдать ее под суд, вы возбудите ее опасения и ее гнев: она будет защищать свое могущество ради собственной безопасности. Конституционная монархия предупреждает эту опасность. Представители после роспуска своей ассамблеи, министры после своей отставки возвращаются в класс прочих граждан, и результаты обеих этих крупных предупредительных мер против злоупотреблений в равной степени носят действенный и мирный характер.

Соображения подобного же рода представляются нам и когда речь идет об ответственности.

Наследный монарх может и должен быть освобожден от ответственности; это совершенно особое существо, находящееся на вершине всего здания. Ему присуще особое качество, которое постоянно заключено не только в нем, но и во всем его роде, начиная с его предков и вплоть до его потомков, оно отделяет его от всех индивидов его империи. Нет ничего необычного в том, чтобы провозгласить неприкасаемым человека, коль скоро его семья, в отличие от всех прочих семей и будучи подвержена риску всех случайностей наследования, наделена властью управлять великим народом.

Сам монарх охотно соглашается на передачу ответственности своим министрам. У него есть более ценные блага, которые следует защищать, нежели та или иная деталь управления, то или иное частичное проявление власти. Его достоинство — это семейная вотчина, которую он ограждает от борьбы, формируя свое правительство. Но только тогда, когда его власть освящена таким образом, вы можете разделять ответственность и могущество.

Периодически обновляемая республиканская власть не является особым существом, она ни чем не поража-

ет воображения, не имеет никакого права на снисхождение за свои ошибки, поскольку она добивалась занимаемого положения и не имеет для защиты ничего более ценного, чем собственный авторитет, который оказывается подорванным, как только начинаются нападки на ее правительство, составленное из таких же людей, как и она сама, и с которыми она всегда фактически солидарна.

Наделение высшей власти качеством неприкосновенности означает, что министры должны взять на себя роль судей покорности, которой они ему обязаны. По правде говоря, они могут отказать высшей власти в покорности, лишь подав в отставку; но в этом случае общественное мнение, в свою очередь, превращается в судью, стоящего между высшей властью и правительством, и благосклонность естественным образом склоняется на сторону людей, которые, казалось бы, принесли свои интересы в жертву своей совести. Подобные неудобства не имеют места при наследственной монархии. Элементы, из которых состоит почитание, коим окружают монарха, препятствуют тому, чтобы монарха сравнивали с его министрами, а устойчивость его достоинства направляет все усилия его сторонников против создания нового правительства. При республиканском же строе утверждается сопоставление между высшей властью и бывшими министрами; оно может привести к возникновению желания превратить последних в высшую власть, и ничто ни в составе этой власти, ни в ее формах не может этому противостоять.

Если мы рассматриваем не несущую никакой ответственности республиканскую власть и ответственное правительство, второе должно было быть всем, тогда как первая незамедлительно признавалась бы бесполезной; отсутствие ответственности принуждает власть действовать лишь при помощи своих министров. Но в чем же тогда заключается польза высшей власти при правительстве? При монархии эта польза состоит в том, чтобы помешать всем прочим завладеть властью, а также в том, чтобы установить прочное, не подверженное никаким нападкам положение, не подвластное никаким страстям. Ничего подобного не су-

ществует в республике, где все граждане способны достичь высшей власти.

Предположим, что при конституции 1795 г.[5] Директория была бы неприкосновенной, а правительство — деятельным и энергичным. Как долго просуществовали бы пять человек, которые ничего не делали, за спиной шести, которые делали бы все? Республиканское правительство должно иметь над своим правительством власть, более абсолютную, нежели власть наследного монарха, ведь оно находится в таком положении, когда его орудия становятся его же соперниками. Но для того, чтобы республиканское правительство осуществляло такую власть, оно должно обладать в отношении самого себя ответственностью за действия, которые направляет, поскольку невозможно заставить подчиняться людей, если им не гарантировать результатов покорного поведения.

Таким образом, республики вынуждены наделить ответственностью высшую власть. Но в таком случае ответственность становится иллюзорной.

Ответственность, которая могла бы осуществляться лишь в отношении людей, чье падение прервало бы все внешние отношения и сделало бы неподвижным все внутренние механизмы государства, никогда не может быть приведена в действие. Вы хотите привести в волнение общество, чтобы отомстить за права одного, десяти, сотни, тысячи граждан, рассеянных на всех тридцати тысячах квадратных лье? Произвол будет неизлечим, поскольку лекарство всегда окажется более ужасным, нежели вялотекущая болезнь. Виновные избегут наказания либо благодаря использованию своей власти в целях подкупа, либо потому, что те, кто был бы в состоянии вынести обвинение в свой адрес, содрогнутся от потрясения, которое подобное обвинение вызовет во всем государственном устройстве. Ведь чтобы отомстить за попрание отдельного закона, нужно поставить под удар все, что служит гарантией для прочих законов. Таким образом, люди слабые и люди разумные, люди продажные и люди совестливые по разным причинам окажутся вынужденными щадить неверных обладателей чрезмерной власти. Ответственность будет сведена к нулю, поскольку ею управляли

свыше. Наконец, поскольку сущностью власти, которой можно безнаказанно злоупотреблять, является все большее ею злоупотребление, и коль скоро притеснения умножаются и становятся уже непереносимыми, ответственность будет иметь место, но, направленная против лидеров правительства, вызовет, возможно, разрушение последнего.

Я вовсе не собираюсь здесь исследовать, возможно ли при помощи новой организации общества излечить пороки, связанные с ответственностью при республиканском устройстве. Я хотел доказать, что первым необходимым условием существования ответственности является отделение исполнительной власти от власти высшей. Конституционная монархия достигает этой великой цели; но преимущество будет вновь утрачено, если обе эти власти окажутся смешаны.

Правительственная власть представляет столь реальный механизм исполнения решений при свободной общественной организации, что монарх не вносит никаких решений иначе, как при помощи своих министров: он не приказывает ничего, что не было бы скреплено подписью министров, выступающей в качестве гарантии их ответственности*.

В вопроес о назначениях монарх один принимает решение; это его право неоспоримо. Но когда встает вопрос о непосредственном действии либо только о каком-либо предложении, власть министров вынуждена выдвигаться на первый план, дабы никогда дискуссия либо сопротивление не нанесли ущерба главе государства.

Утверждалось, что в Англии королевская власть фактически совершенно неотличима от власти правительственной. В пример приводилась ситуация, когда личная воля суверена брала верх над волей его министров, отказывая католикам в привилегиях, которыми пользовались прочие подданные. Но здесь смешиваются две вещи: право поддерживать уже существующее, — право, необходимо принадлежащее королевской власти и, как я настаиваю, конституирующее ее

* См.: Приложение 2.

в качестве власти нейтральной и предохранительной, и, с другой стороны, право предлагать утверждение еще несуществующего, — право правительственной власти.

В указанных обстоятельствах речь шла только о сохранении уже существующего, ибо законы против католиков были еще в силе, хотя их исполнение несколько смягчилось. Таким образом, ни один закон не может быть отменен без ведома королевской власти. Я не изучаю здесь вопрос о том, было ли в данном конкретном случае проявление королевской власти благом или злом; я сожалею, что щепетильность, достойная уважения, поскольку она дорожит совестью, но в то же время ошибочная в принципе и пагубная в своем применении, вынудила короля Англии поддержать насильственные и жестокие меры; речь здесь идет только о том, чтобы показать, что, принимая их, королевская власть не вышла за свои пределы; а для того, чтобы окончательно убедиться в этом, перевернем эту гипотезу и предположим, что законов против католиков не существовало. Личная воля монарха не смогла бы принудить никакого министра предложить подобные законы, и я осмелюсь утверждать, что в наши дни король Англии не нашел бы ни одного министра, который смог бы их внести. Таким образом, различие между властью королевской и властью правительственной утверждается даже тем примером, который использовался, чтобы этот вопрос затемнить. Нейтральный и чисто предохранительный характер власти первого рода здесь отчетливо проявляется: совершенно очевидно, что из двух типов власти только вторая власть деятельна, ибо если она не пожелает действовать, власть первого рода не найдет никакого способа ее к тому принудить, и точно так же у нее не будет никакой возможности действовать в одиночку; заметьте, что подобное положение королевское власти имеет одни лишь преимущества и вовсе не обладает недостатками, поскольку в то время, как король Англии встретил бы в отказе своего правительства действовать непреодолимое препятствие для того, чтобы предложить законы, противные духу времени и религиозной

свободе, правительственная оппозиция также была бы бессильна, если бы пожелала помешать королевской власти предложить законы, согласные с этим духом и благоприятные для этой свободы. Королю оставалось бы только сменить правительство, и если не нашлось никого, кто бы пренебрег общественным мнением и противостоял просвещению, нашлись бы тысячи людей, готовых стать проводниками популярных мер, которые нация одобрила бы своим согласием и своим признанием*.

Я вовсе не отрицаю, что в картине более живой, более деятельной монархической власти есть нечто притягательное, но политические институты в большей степени зависят от времени, нежели от людей. Непосредственное действие монарха неизбежно ослабевает с развитием цивилизации. Многое из того, чем мы восхищались и что казалось нам трогательным в иные эпохи, сегодня неприемлемо. Представьте себе королей Франции, у подножия дуба вершащих правосудие в отношении своих подданных, вас растрогает эта картина, и вы вновь станете свидетелем августейшего и наивного проявления отеческой власти; но что бы вы усмотрели сегодня в суде, проводимом королем без помощи трибуналов? Нарушение всех принципов, смешение всех властей, разрушение судебной независимости, к которой столь живо стремятся все классы. Невозможно создать конституционную монархию, основываясь на поэтических воспоминаниях.

При свободном государственном устройстве у монархов остаются благородные, прекрасные, возвышенные прерогативы. Им принадлежит право помилования, право, обладающее почти божественной природой, которое исправляет ошибки человеческого право-

* Все то, что я говорил здесь об уважении или о благосклонности английских министров к национальному мнению, к сожалению, применимо только к их внутреннему управлению. Возобновление войны — без повода, без пощады — в ответ на более скромные требования с открыто проявляемыми мирными намерениями слишком хорошо доказывает, что в политике, проводимой на континенте, английское правительство не интересуется ни склонностями народа, ни его доводами, ни его интересами.

судия либо излишне непреклонные, жестокие действия, также являющиеся ошибочными. Монархам принадлежит и право наделять отличившихся граждан прочной славой, давая им наследственные государственные должности, право, объединяющее в себе блеск прошлого и торжественный характер высших политических функций; им принадлежит право назначать законные органы и обеспечивать общественным пользованием порядком, а невиновных — безопасностью; им принадлежит право роспуска представительных собраний, что предохраняет нацию от заблуждений ее уполномоченных, призывая ее совершить новый выбор; им принадлежит право назначения министров, назначения, обеспечивающего монарху национальное признание, если министры достойно выполняют доверенную им миссию; наконец, им принадлежит право раздавать пожалования, вознаграждения, оказывать покровительство, прерогатива одобрять взглядом или словом услуги, оказываемые государству, прерогатива, наделяющая монархию сокровищем неисчерпаемого общественного мнения, превращающая всех честолюбцев в покорных слуг, а всех властолюбцев — в платящих дань.

Таково, без сомнения обширное поприще, привлекательные качества, великая и благородная миссия монархов; и те их советчики будут недобросовестными и коварными, кто представит конституционному монарху в качестве предмета стремлений и сожалений деспотическое могущество, не имеющее границ или, скорее, сдерживающих моментов, могущество, которое было бы двусмысленным, ибо оно является неограниченным, временным, ибо оно является насильственным, и пагубным образом довлеет в равной степени над государем, ибо способно лишь заблуждаться, и над народом, ибо способно лишь обречь на мучения и опасности*.

* Примечательно также и то, что некий темный инстинкт всегда внушал людям истину, которую я развил в этой главе, хотя истина эта никогда не была высказана в отчетливой форме; но именно в силу того, что она не была явно высказана, этот темный инстинкт был причиной многих опасных заблуждений.

Глава третья

О ПРАВЕ РОСПУСКА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЙ

Существуют вопросы, которые все просвещенные люди рассматривают как уже давно решенные и к которым, следовательно, они не собираются возвращаться; но как только речь заходит о переходе от теории к практике, люди, к своему великому удивлению, обнаруживают, что вопросы эти вызывают сомнения. Можно подумать, что человеческий разум уступает очевидности лишь при условии отказа от перевода теоретических положений в практическую плоскость.

Поднимались возражения против права роспуска представительных собраний, права, которым наш конституционный акт, равно как и конституция Англии, наделяет обладателя высшей власти. Тем не менее любая политическая организация, которая не закрепляет эту способность за главой государства, обязатель-

---

Из смутного предчувствия того факта, что королевская власть по своей природе была нейтральной и, будучи заключенной в определенные границы, не несла в себе разрушительных прерогатив, было сделано заключение, будто было бы вполне уместно наделить ее подобными прерогативами; в этом случае нейтральность власти оказывалась утраченной.

Если бы было предложено дозволить министрам совершать незаконные действия в отношении индивидуальной свободы и в отношении прав граждан, все бы отвергли подобное предложение, поскольку природа правительственной власти, всегда связанной со всеми интересами, сразу же доказала бы опасность наделения этой власти правом на незаконное действие. Но очень часто такой властью наделяли королей, ибо их рассматривали как лиц незаинтересованных и беспристрастных; тем самым разрушалась та самая беспристрастность, которая служила основанием их власти.

Всякий произвол противоречит природе королевской власти. Таким образом, мы приходим к двум положениям: либо могущество произвола становится неотъемлемым качеством власти правительственной, либо сам король, утрачивая свою нейтральность, становится своего рода сомнительным министром, поскольку он присоединяет к нерушимости своей власти качества, которыми он никогда не должен обладать. В этом случае эти качества разрушают всякую возможность спокойствия, всякую надежду на свободу.

но превращается в оголтелую и несмолкающую демагогию, если только деспотизм, подменяя законные прерогативы мерами произвола, не сводит представительные собрания к пассивным, молчаливым и слепым орудиям.

Без сомнения, в большой стране, не имеющей сильных, многочисленных и независимых представительных собраний, не может существовать никакой свободы; но эти собрания могут таить в себе опасность, и ради самой свободы следует разработать надежные способы предотвращения заблуждений.

Одно только стремление собраний к бесконечному умножению числа законов оборачивается неизлечимым бедствием, если немедленное их разделение и пополнение новыми членами не остановит их стремительное и неукротимое продвижение.

Умножение законов льстит двум естественным склонностям законодателей — потребности в действии и удовольствию от непременного разрастания законодательных структур. Всякий раз, когда вы наделяете человека особой миссией, он стремится сделать скорее больше, чем меньше. Люди, которым поручено задерживать бродяг на больших дорогах, испытывают искушение искать ссоры со всеми путешественниками. Если шпионы не смогли ничего обнаружить, они начинают сами выдумывать сведения. Достаточно только создать в стране министерство, надзирающее за заговорщиками, как мы услышим бесконечные слухи о заговорах. Законодатели расчленяют человеческое существование по праву завоевания, подобно тому, как военачальники Александра делили мир. Можно сказать, что умножение законов есть болезнь государств с представительной формой правления, потому что в таких государствах все делается при помощи законов, тогда как отсутствие законов есть болезнь неограниченных монархий, потому что в таких монархиях все делается при помощи людей.

Неосторожное умножение законов в известные периоды повергало в немилость все благородное, свобо-

ду и заставляло искать прибежища во всем самом ничтожном и низменном, в рабстве.

Вето — прямое средство угнетения необузданной деятельности представительных собраний, но, применяемое часто, оно раздражает их, не лишая тем не менее, их орудия; их роспуск является единственным лекарством, эффективность которого гарантирована.

Если не поставить границ представительной власти, депутаты от народа станут не защитниками свободы, но кандидатами в тираны; когда же тирания установилась, она может быть куда более ужасной благодаря тому, что количество тиранов огромно. При государственном устройстве, частью которого выступает национальное представительство, нация свободна только тогда, когда перед ее депутатами поставлена сдерживающая сила.

Собрание, которое нельзя ни обуздать, ни сдержать в определенных рамках, в своих действиях являет собою наиболее слепое могущество, оно совершенно непредсказуемо в результатах своей деятельности даже в отношении составляющих его членов. Оно устремляется в излишества, которые на первый взгляд кажутся взаимоисключающими. Неуемная деятельность в отношении всех предметов, безмерное умножение законов, стремление понравиться наиболее подверженной эмоциям части народа, потакая всем его инстинктивным движениям или даже упреждая их, нетерпимость к встречаемому сопротивлению, подозрение в критических настроениях и в этом случае противоречие национальному чувству и упорствование в заблуждении; собранием овладевает то партийный дух, заставляющий выбирать между полярностями, то дух корпоративный, дающий силы лишь для узурпации; безрассудство или нерешительность, жестокость или усталость, благосклонность к кому-либо одному или ненависть ко всем поочередно увлекают его в чисто физические страсти, каковыми являются энтузиазм или страх; отсутствие всякой моральной ответственности, уверенность в том, что благодаря многочисленности ему удастся избежать позора трусости или опасностей отваги, — таковы пороки

этих собраний, если они не заключены в границы, которых не могли бы преодолеть*.

Собрание, чье могущество безгранично, более опасно, чем народ. Крупные объединения людей обладают благородными порывами. Почти всегда жалость берет в них верх или они оказываются ведомы справедливостью; но это оттого, что они говорят от собственного имени. Толпа может принести свои интересы в жертву своим эмоциям; но представители народа не должны принуждать ее к подобным жертвам. Их останавливает природа возложенной на них миссии. Неистовая сила народного собрания сочетается в них с бесстрастностью трибунала, и подобное сочетание не допускает излишеств, за исключением чрезмерной строгости. Люди, обычно называемые в собрании предателями, как правило, выступают в пользу снисходительности. Люди же непримиримые, даже если их порой и осуждают, никогда не вызывают подозрения.

Аристид[6] говорил собравшимся на общественном месте афинянам, что их спасение могло бы быть куплено слишком дорогой ценой несправедливого или вероломного решения. Проповедуя эту теорию, собрание могло опасаться, что его доверители, которые не получили ни необходимой ясности от рассуждения, ни благородного импульса от красноречия, обвинят его в принесении в жертву частному интересу интереса общественного.

Нечего и рассчитывать на силу разумного большинства, если это большинство не имеет гарантий в конституционной власти вне собрания. Рано или поздно хорошо сплоченное меньшинство, на стороне которого все преимущества нападающего, которое действует поочередно запугиванием или подкупом, аргументом или угрозой, возьмет верх над большинством. Натиск силы объединяет людей, ибо он ослепля-

* Должен заметить, что эти идеи относительно собраний, объединяющих в себе все власти, я начал проповедовать не сегодня. Весь этот отрывок извлечен из моих «Размышлений о конституциях и гарантиях», опубликованных в мае 1814 г., когда я находился скорее в оппозиции к существующему правительству и усматривал свободу лишь в палате депутатов.

ет в отношении всего того, что не является их общей целью. Сдержанность разделяет их, ибо она оставляет разум открытым для всех частных мнений.

Конституционное собрание было составлено из наиболее уважаемых, наиболее просвещенных людей Франции. И сколько же раз оно утверждало законы, которые отвергал их же собственный разум! В законодательном собрании не нашлось бы и ста человек, пожелавших низвергнуть трон. И тем не менее от начала до конца своей краткой и печальной деятельности оно оказалось вовлеченным в заботы, противоположные своим желаниям. Три четверти Конвента ужасались преступлениям, обагрившим кровью первые дни существования республики, и хотя авторы этих преступлений составляли меньшинство в рамках Конвента, они не замедлили подчинить последний своей воле.

Тот, кто ознакомился с подлинными документами парламента Англии начиная с 1640 г. и вплоть до его роспуска полковником Прайдом[7] незадолго до гибели Карла I, мог убедиться бы в том, что две трети членов этого парламента горячо стремились к миру, который отвергали своим голосованием, и рассматривали как губительную войну, необходимость которой они ежедневно провозглашали.

Следует ли заключить из этих примеров, что представительные собрания не нужны? Но в этом случае у народа не будет больше собственного органа, правительство не будет иметь поддержки, а народное доверие — гарантий. Народ отделится от собственного лидера; индивиды отделятся от нации, существование которой не будет ничем подтверждено. И только представительные собрания смогут ввести жизнь в политическое русло. Эта жизнь, конечно же, имеет свои опасности, и мы не обеляем их образ. Но как только правительства, дабы освободиться от них, хотят заглушить национальный дух и подменить его действием механизма, они на собственном горьком опыте понимают, что существуют и иные опасности, единственной защитой от которых является национальных дух и которые не может предотвратить самый отлаженный механизм.

Итак, должны существовать свободные, величественные, деятельные представительные собрания. Но их недостатки должны быть устранены. Значит, подавляющая их сила должна располагаться вне этих собраний. Правила, которые собрание устанавливает для себя по собственной воле, иллюзорны и бессильны. То же самое большинство, которое соглашается связать себя определенными формами, разбивает эти формы, когда ему того захочется, и берет власть, уже отрекшись от нее.

Роспуск собраний не является, как это утверждают, оскорблением прав народа, напротив, если выборы проходят свободно, он представляет призыв, обращенный к его правам и в пользу его интересов. Я сказал «когда выборы проходят свободно»: ведь когда они несвободны, не существует и представительной системы.

Какое же средство управления могло бы сохраниться между собранием, упорно не принимающим ни один закон и не удовлетворяющим ни одну потребность, и правительством, не имеющим права роспуска последнего? Если подобное средство невозможно найти в политической организации, сами события связывают его с употреблением силы. Сила всегда приходит на помощь необходимости. Без возможности роспуска представительных собраний неприкосновенность последних — лишь химера. Они потерпят поражение в самом своем существовании, так как будут лишены возможности обновлять составляющие их элементы.

Глава четвертая

О НАСЛЕДСТВЕННОМ СОБРАНИИ И О НЕОБХОДИМОСТИ НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ЧИСЛО ЕГО ЧЛЕНОВ

В наследственной монархии наследование принадлежности к классу является обязательным. Невозможно понять, каким образом в стране, где всякие различия по рождению были бы отменены, можно было бы сохранить привилегию передачи наиболее важной функции, которая самым существенным образом за-

трагивает спокойствие и жизнь граждан. Для того, чтобы существовало единоличное правление вне наследственного класса, такое правление должно быть деспотизмом. При деспотизме, основывающемся на одной лишь силе, все может идти своим чередом более или менее долго. Но все то, что удерживается деспотизмом, подвержено своим опасностям, т.е. ему угрожает свержение. Элементами единоличного правления, не опирающегося на наследственный класс, являются: человек, который руководит, солдаты, которые исполняют его приказания, народ, который покоряется. Для того, чтобы дать монархии иные точки опоры, нужны промежуточные корпуса; на этом настаивает Монтескье даже в том, что касается выборной монархии. Если вы помещаете человека на столь высокий уровень и хотите освободить его от необходимости постоянно пребывать с мечом в руках, вы должны окружить его другими людьми, заинтересованными в его защите. Опыт здесь вторит разуму. Публицисты всех мастей с 1791 г. предвидели результат уничтожения дворянства во Франции, хотя дворянство здесь и не обладало никакими политическими прерогативами, и ни один англичанин не стал бы верить в устойчивость английской монархии, если бы была уничтожена палата пэров.

Неужели оспаривающий наследственный характер первой палаты, захотел бы, чтобы дворянство существовало в стороне и отдельно от этой палаты, а также чтобы членство в этой палате было пожизненным? Но во что же превратится наследственное дворянство, не имеющее никаких функций, рядом с пожизненным чиновничеством, на которое возложены важнейшие функции? Оно станет тем же, чем было дворянство во Франции в годы, предшествовавшие революции; и именно такое положение и подготовило его гибель. В дворянстве усматривали лишь блестящую декорацию, не имеющую никакой определенной цели; дворянское звание было приятно для тех, кто им обладал, слегка унизительно для тех, кто его не имел, но оно не давало ни реальных средств, ни силы. Превосходство дворянства стало почти негативным, т.е. оно строилось скорее на основе исключений, делаемых для простолюдинов, нежели на основе действительных преиму-

ществ для привилегированного класса. Оно раздражало, но не было сдерживающим моментом. Оно не было уже промежуточным корпусом, который поддерживал народ в порядке и следил за сохранением свободы; то была корпорация, не имеющая ни основания, ни прочного места в социальном целом. Все в обществе способствовало ослаблению дворянства вплоть до просвещения и личного превосходства его членов. Будучи отделенным от феодального строя развитием идей, дворянство стало нескончаемым воспоминанием о полуразрушенной системе.

В нашем веке дворянство нуждается в том, чтобы быть вновь связанным с определенными конституционными прерогативами. Эти прерогативы уже не столь раздражают тех, кто ими не обладает, и придают больше силы тем, кто их имеет. Пэрство — если мы изберем именно это наименование для обозначения первой палаты — будет чиновничеством, и одновременно оно будет являть собой благородство; оно будет в меньшей степени подвержено нападкам и более восприимчиво к тому, чтобы получить защиту.

Заметьте, кроме того, что если первая палата не будет носить наследственного характера, то надо будет определить способ обновления ее членов. Может быть, она будет назначаться королем? Но будет ли палата, пожизненно назначаемая королем, достаточно сильной, чтобы уравновешивать другое собрание, порожденное народным выбором? При наследственном характере пэрства пэры получают силу благодаря независимости, которую они приобретают одновременно с титулом; в глазах народа они получают черты обычных представителей короны. Стремление к созданию двух палат, одна из которых назначается королем, а другая — народом, не имеющих фундаментального различия (поскольку пожизненное избрание слишком походит на всякий иной тип выборов), означало бы, что мы получили бы две власти, между которыми обязательно требуется посредник, — я имею в виду, между королем и народом.

Останемся же верными опыту. Мы являемся свидетелями существования наследственного пэрства в Великобритании, совместимого с высшей степенью

гражданской и политической свободы; все выдающиеся граждане могут достичь этого титула. Пэрство здесь не обладает одними только ненавистными чертами исключительности и наследственности. После производства простого гражданина в пэры тот пользуется теми же законными привилегиями, что и старейшие из пэров. Младшие ветви первых домов Англии вновь возвращаются в народные массы; они образуют связь между пэрством и нацией подобно тому, как само пэрство образует связь между нацией и троном.

Но почему бы, как утверждают некоторые, не ограничить число членов наследственной палаты? Никто из предлагавших такое ограничение не заметил, к какому результату это может привести.

Эта наследственная палата являет собой корпус, который народ не имеет права избирать, а правительство не имеет права распустить. Если количество членов этого корпуса ограничено, то в его недрах может сложиться партия, и эта партия, не опирающаяся на согласие ни правительства, ни народа, не может быть свергнута иначе, как при помощи свержения самого государственного устройства.

Примечательный период из анналов британского парламента со всей наглядностью подтверждает значение указанного соображения. В 1783 г. король Англии своим судом распустил коалицию лорда Норта и Фокса[8]. Почти весь парламент был на стороне этой коалиции, английский же народ придерживался иного мнения на сей счет. Роспуском палаты общин король воззвал к народу, и подавляющее большинство поддержало новое правительство. Но представьте себе, что коалиция расположила бы в свою пользу палату пэров, которую король не мог распустить; совершенно очевидно, что если бы король не был наделен прерогативой создания достаточного количества новых пэров, коалиция, отвергаемая одновременно королем и народом, вопреки мнению как первого, так и второго, сохранила бы за собой управление делами.

Ограничение числа пэров или сенаторов означало бы создание чудовищной аристократии, которая могла не бояться ни государя, ни его подданных. Любое государственное устройство, которое допустило бы по-

добную ошибку, незамедлительно оказалось разрушенным, ведь воля народа и воля государя в том случае, если они совпадают, обязательно должны встречать послушание; и когда какое-либо необходимое событие не может произойти в соответствии с конституцией, оно все равно произойдет вопреки ей.

И если только будет отмечено обесценивание пэрства благодаря назначению чересчур большого числа пэров, то я скажу, что единственным лекарством в данном случае будет интерес государя, состоящий в том, чтобы не снижать благородства окружающего и поддерживающего его класса. Когда государь устраняется от этого интереса, опыт вновь подводит его к этому*.

Глава пятая
О ВЫБОРАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЙ

Конституция поддержала избирательные коллегии только с двумя поправками, одна из которых состоит в том, что эти коллегии будут дополнены ежегодными выборами, а вторая в том, чтобы лишить правительство права назначать руководство коллегий. Необходимость незамедлительно дать нации подобные органы не позволила пересмотреть и исправить эту важнейшую, но, бесспорно, самую несовершенную часть нашего конституционного документа. Избирательные коллегии, выбираемые пожизненно, но тем не менее подверженные роспуску (поскольку это положение не было отменено), обладают всеми недостатками старых избирательных коллегий, но не имеют ни одного из их достоинств. Эти коллегии, проистекавшие из народного источника и созданные в тот момент, когда должны были произойти выборы, могли рассматриваться как более или менее точно представляющие мнение их доверителей. Однако же это мнение проникало в коллегии лишь с большим запозданием и весьма избирательно. Оно никогда не имело там большинства; когда же оно

* См.: Приложение 3.

становилось мнением коллегии, то переставало быть мнением народа. Небольшое число избирателей, таким образом, оказывало на природу выбора пагубное влияние. Собрания, призванные избирать народное представительство, должны быть столь многочисленными, что это мало совместимо с порядком. В Англии кандидаты с высокой трибуны в общественном месте либо под открытым небом, где собралось множество народа, обращаются с речью к окружающим их избирателям. Численность же избирательных коллегий ограничена, их нормы строги, здесь предписано неукоснительное молчание. Здесь не поднимается ни один из тех вопросов, которые могли бы взволновать души или мгновенно подчинить их личному эгоизму. Здесь невозможно никакое воодушевление. Ведь обыватели поступают правильно лишь тогда, когда они ведомы; повести же их за собой можно только тогда, когда, собранные в толпу, они воздействуют друг на друга. Привлечь к себе внимание тысяч своих сограждан можно только огромным богатством или широкой известностью. Завладеть большинством в собрании из двухсот-трехсот человек дают возможность дружеские связи. Для того, чтобы быть выдвинутым народом, нужно иметь сторонников, выходящих за рамки привычного окружения. Для того, чтобы быть выбранным несколькими избирателями, достаточно просто не иметь врагов. Преимущество целиком на стороне отрицательных качеств, и даже сама удача оборачивается против таланта. Поэтому-то национальное представительство у нас часто было менее развито, нежели общественное мнение по многим вопросам*.

Если мы во Франции хотим когда-либо воспользоваться плодами представительного правления, то должны принять прямые выборы. Именно такие выборы начиная с 1788 г. приводят в британскую палату общин всех просвещенных людей. Вряд ли можно назвать какого-либо знатного англичанина, отмеченного

* Я не говорю о политических вопросах, на которые в период потрясений не оказывает влияния просвещение; я говорю лишь о предметах политической экономии.

политическим талантом, которого бы не почтили выбором, если он того добивался.

Только прямые выборы способны придать национальному представительству подлинную силу и наделить его глубокими корнями в общественном мнении. Представитель, назначенный любым иным способом, нигде не находит голоса в свою поддержку. Народ как часть не принимает во внимание его отвагу, поскольку все утомлены длинной чередой испытаний, из-за которых их выбор изменил свою природу либо вовсе утратил силу.

Если вы опасаетесь французского характера, пылкого и нетерпимого к бремени закона, я бы сказал вам, что мы являемся таковыми лишь потому, что не обрели привычки обуздывать самих себя. И с выборами происходит то же самое, что и со всем, что требует порядка. При помощи ненужных предосторожностей беспорядок создается либо усиливается. Во Франции все спектакли, праздники изобилуют стражниками и штыками. Считается, что трое граждан не могут встретиться без того, чтобы их не разнимали двое солдат. В Англии же, когда собираются 20 тыс. человек, среди них не появляется ни одного солдата: безопасность каждого доверена разуму и интересу каждого, и вся масса, ощущая себя носителем общественного и личного спокойствия, тщательно заботится обо всем собрании. Впрочем, достичь более полного спокойствия в отправлении этого права народом возможно и при помощи более сложной организации, нежели организация английских выборов. Знаменитый автор, обладающий не одним титулом, блестящий писатель, искусный политик, неутомимый сторонник свободы и морали, — г-н Неккер[9] в одной из своих работ предложил способ выборов, который, казалось, встретил общее одобрение. Сто собственников, назначенных своими пэрами, должны представить в каждом округе всем гражданам, имеющим право голоса, пять кандидатов, среди которых те будут выбирать. Этот способ предпочтителен для тех, кого мы испытывали до сегодняшнего дня: все граждане будут непосредственно способствовать назначению своих представителей.

Тем не менее существует затруднение: если вы доверите сотне человек право первого предложения кандидатуры, то некий индивид, пользующийся в своем окружении большой популярностью, может оказаться исключенным из списка; и вот этого-то исключения будет достаточно для того, чтобы разочаровать голосующих, призванных выбирать из пяти кандидатов, среди которых не будет предмета их действительных стремлений и их подлинного предпочтения.

Я бы хотел, оставляя за народом право окончательного выбора, наделить его также и правом инициативы. Я бы хотел, чтобы в каждом округе все граждане, имеющие право голоса, составляли бы первый список из пятидесяти кандидатов, затем чтобы они образовывали собрание ста, которому было бы поручено выбрать из этих пятидесяти пять кандидатур, а уж затем все граждане снова будут выбирать среди пяти кандидатов.

Тем самым сто человек, которым будет доверено представление кандидатов, не смогли бы поддаться своему пристрастию к одному кандидату и выдвижению наряду с ним лишь тех конкурентов, которых просто невозможно избрать. И не говорите, что опасность эта носит воображаемый характер: мы были свидетелями того, как к подобной уловке прибегал Совет Пятисот, чтобы форсировать формирование Директории. Право представления часто равнозначно праву исключения.

Подобное затруднение можно смягчить предлагаемыми мною изменениями: 1. Собрание, представляющее кандидатов, будет вынуждено выбирать своих кандидатов из людей, уже облеченных народной волей и, следовательно, уже обладающих известной степенью народного доверия и значимости среди своих сограждан; 2. Если в первом списке окажется человек, которому его обширная известность обеспечила большинство голосов, ста избирателям будет довольно затруднительно не представить его, тогда как, напротив, если бы избиратели обладали свободой при составлении всего списка, не учитывая предварительного проявления народной воли, мотивы личной приязни или ревности могли бы заставить их исключить того, на кого эта воля указывала бы, но не имела ни малейшего средства законного назначения.

В остальном же я соглашаюсь на прямые выборы только из уважения к господствующему мнению. Будучи свидетелем внешних проявлений беспорядков в Англии во время проведения спорных выборов, я видел, насколько картина этих беспорядков была преувеличена. Конечно же, я видел, что выборы сопровождались драками, выкриками, жестокими спорами; но тем не менее выбор падал на людей, отличившихся либо своими талантами, либо своим состоянием; по окончании же выборов все встало на свои места. Избиратели из низшего класса, совсем недавно упорствующие и беспокойные, вновь стали трудолюбивыми, покорными, даже почтительными. Удовлетворенные отправлением своих прав, они тем более легко преклонят голову перед высшими классами и перед правилами общежития, что, действуя подобным образом, понимают, что подчиняются лишь разумному расчету своего просвещенного интереса. На следующий день после выборов не осталось и малейшего следа вчерашних волнений. Народ вновь взялся за свой труд, но общественный дух получил спасительное потрясение, необходимое для его оживления.

Некоторые просвещенные люди порицают сохранение избирательных коллегий исходя из мотивов, совершенно противоположных тем, на которые опираюсь я. Они сожалеют о том, что в выборах теперь не принимает участия все общество в целом, и в подтверждение своих сожалений приводят аргументы, которым стоит дать опровержение, поскольку они выглядят правдоподобными.

Народ, говорят эти люди, совершенно неспособен поставить в соответствие различным частям общественного устройства людей, чей характер и таланты способствовали бы этому наилучшим образом; он не должен делать непосредственно никакого выбора; избирательные корпуса должны создаваться не в основании, но на вершине общественного здания; выбор должен исходить не снизу, где он неизбежно причиняет зло, но сверху, где он обязательно обернется благом; ведь избиратели всегда будут больше всего заинтересованы в поддержании порядка и общественной свободы, в устойчивости институтов, в прочности здоровых принци-

пов и постепенном совершенствовании законов и управления. Когда назначение чиновников для исполнения особых функций осуществляется народом, выбор последнего носит главным образом дурной характер*. Если речь идет о выдающихся должностных лицах, низшие избирательные корпуса сами по себе производят довольно плохой выбор. В таких условиях лишь по своего рода случаю некоторые из заслуженных людей время от времени получают эти должности. Например, назначения в законодательные органы могут быть осуществлены должным образом только людьми, прекрасно понимающими предмет и общую цель всякого законодательства, которые в курсе нынешнего состояния дел и умов, которые могут, окинув взглядом все территориальные подразделения, точно очертить элиту талантов, добродетелей и просвещения. Когда же народ называет своих главных представителей без посредника, будучи многочисленным и рассеянным по обширной территории, это занятие неизбежно заставляет его разделяться на части; эти части находятся друг от друга на расстоянии, что не позволяет им ни сообщаться, ни достичь взаимного согласия. В результате мы получаем частичный выбор. Нужно искать единства выборов в единстве избирательной власти.

Эти рассуждения основываются на чрезмерно преувеличенной идее общего интереса, общей цели, общего законодательства и прочих предметов, к которым применим данный эпитет. Но что такое общий интерес, как не взаимодействие между различными частными интересами? Что такое общее представительство, как не представительство всех частных интересов, которые должны договориться относительно общих для них предметов? Общий интерес несомненно отличен от всех частных интересов, но он вовсе не проти-

* Не могу удержаться, чтобы не сравнить высказывания Макиавелли и Монтескье по этому поводу. Люди, говорит Макиавелли, хотя и обречены ошибаться в главном, никогда не ошибаются в частностях. Народ, утверждает Монтескье, достиг восхищения в своем выборе тех, кому он должен вверить частицу своей власти; конец параграфа показывет, что Монтескье имеет в виду особое назначение, определенные функции.

воречит им. Рассуждение ведется таким образом, как будто кто-то выигрывает от того, что другие теряют, тогда как общий интерес есть лишь результат сочетания всех интересов; он отличен от них подобно тому, как тело отлично от составляющих его частей. Индивидуальные интересы как раз в наибольшей степени волнуют индивидов; групповые интересы волнуют группы индивидов; но ведь именно из индивидов, из их групп и состоит социальное целое; следовательно, следует заботиться именно об интересах этих индивидов и этих групп: если мы будем заботиться обо всех них, мы отделим от каждого все то, что в нем есть губительного для других, и только благодаря одному этому мы можем получить общественный интерес. Общественный интерес есть не что иное, как индивидуальные интересы, поставленные в соответствие таким образом, что не способны принести вред. Сто депутатов, назначенных сотней групп общества, привносят в собрание групповые интересы, местные пристрастия своих доверителей; такая основа весьма полезна: обреченные на совместное обсуждение, люди очень скоро начинают замечать, какие взаимные жертвы являются необходимыми в данных условиях; они стремятся преуменьшить размеры этих жертв, и это — одно из великих преимуществ способа их назначения. В силу необходимости они всегда вынуждены объединиться в общем взаимодействии, и чем в большей степени выбор носил частный характер, тем в большей степени представительство достигает своей общей цели. Но если вы перевернете естественную иерархию, если вы поместите избирательный корпус на вершину всего здания, то тот, кто совершает назначения, будет призван высказываться относительно общественного интереса, элементы которого ему неизвестны; вы вынуждаете этих людей искать соглашения от имени групп населения, чьи потребности они не знают и пренебрегают ими. Хорошо, когда представитель группы выступает в качестве органа этой группы, когда он отказывается от своих реальных либо воображаемых прав лишь после того, как всячески старался защищать их; когда он является пристрастным в отношении интересов той группы, представителем которой он выступает,

ведь коль скоро каждый будет пристрастен в отношении своих доверителей, пристрастие каждого, объединенное и примиренное с другими пристрастиями, будет иметь преимущества общей беспристрастности.

И в какой бы степени групповой характер ни носил состав собраний, они всегда чрезмерно склонны к созданию духа коллегиальности, который отделяет их от нации. Располагаясь в столице, вдалеке от той части народа, которая их выдвинула, представители теряют из виду обычаи, потребности, образ жизни департаментов, которые представляют; они становятся пренебрежительными и расточительными в отношении всех этих предметов; что же произойдет, если эти средства выражения местных потребностей освободятся от всякой ответственности, будут навсегда поставлены над выбором своих сограждан и избраны коллегией, которая, как утверждают, расположится на вершине общественного устройства?

Чем обширнее государство, чем сильнее центральная власть, тем в большей степени недопустима единая избирательная коллегия и тем более необходимы прямые выборы. Стотысячное племя могло бы наделить сенат правом назначения своих депутатов; на это еще могут быть способны федеративные республики: по крайней мере их внутреннее управление не было бы в этом случае подвержено никаким опасностям. Но при любом правлении, которое стремится к единству, лишать части государства назначаемых ими самими выразителей их мнения означает создание корпораций, которые предавались бы бессмысленным дебатам и выводили бы из собственного безразличия к частным интересам преданность к общему интересу.

Но это не единственная помеха, создаваемая назначением депутатов от народа сенатом.

Такой способ назначения разрушает прежде всего преимущества представительного правления, состоящие в установлении постоянных связей между различными классами общества. Это преимущество может быть реализовано только при прямых выборах. Именно такие выборы заставляют могущественные классы проявлять заботу о низших классах. Вкладывая в выбор наименее богатой части собственников возна-

граждение за справедливость и доброту, возмездие за притеснения, они вынуждают богатство скрывать свое высокомерие, власть — умерять свои действия. Не следует ни с легкостью отказываться от такого обыденного средства достижения счастья и гармонии, ни пренебрегать этим основанием благополучия, которое первоначально может выступать как расчет, но скоро превращается в привычную добродетель.

Некоторые жалуются, что богатства концентрируются в столице, что деревни опустошены постоянной данью, которую они выплачивают и которая никогда к ним не возвращается. Прямые выборы направляют собственников к их собственности, от которой, не будь этих выборов, они отдаляются. Если им нечего заботиться о выборе народа, их расчет ограничивается лишь тем, что они извлекают из своих земель наивысшую продуктивность. Прямые выборы подсказывают им самый благородный расчет, причем в высшей степени полезный для тех, кто живет в зависимости от них. Вне народных выборов они нуждаются только в кредите, и потребность в нем сплачивает их вокруг центральной власти. Народные выборы создают для собственников потребность в популярности и приводят к ее источнику, упрочая корни их политического существования в собственных владениях.

Порой возносят хвалы феодализму, который удерживал сеньора среди своих вассалов и распределял богатство равномерно между всеми частями владения. Народные выборы имеют тот же желаемый результат, но не приводят к тем же злоупотреблениям.

Мы без конца слышим разговоры о поощрении, прославлении сельского хозяйства и труда. Обсуждаются размеры премий, распределяемых по чьему-либо капризу, награды, осуждаемые мнением. Было бы гораздо проще поднять значимость сельскохозяйственных классов, но значимость эта не может быть результатом декретов. Основа ее должна быть заключена в питаемом всеми чаяниями интересе признать эту значимость, во всеобщем стремлении к ее упрочению.

Во-вторых, при распределении представительных обязанностей сенатом извращается или по крайней

мере ослабевает характер тех, кто стремится к исполнению этих выдающихся функций.

И как бы мы ни осуждали интриги, усилия, необходимые для удержания в узде большинства, гораздо менее губительны, нежели окольные действия, необходимые для примирения нескольких людей, пребывающих у власти.

«Происки честолюбия, — говорит Монтескье, — опасны в сенате и в знати, но они вовсе не опасны в народе, которому свойственно действовать по влечению страсти»*.

Все, что делается, дабы увлечь за собой многочисленное собрание, должно стать явным, стыдливость же смягчает общественные деяния; но когда мы подчиняемся нескольким людям, к которым взываем в одиночку, мы раболепствуем тайно, и могущественные индивиды оказываются лишь в высшей степени склонны пользоваться униженными мольбами и угодливыми просьбами.

Существуют такие периоды, когда возникают опасения относительно всего, что напоминает энергичность: именно в такие периоды тирания стремится к своему упрочению, а раболепие еще надеется извлечь из этого выгоду. Тогда превозносят мягкость, гибкость, скрытые таланты, внутренние качества, но периоды эти являются периодами моральной слабости. Пусть же скрытые таланты станут общедоступными, внутренние качества найдут достойную награду в семейном счастии, а мягкость и гибкость найдут понимание у знати. Выбор народа — за людьми, которые привлекают внимание, которые вызывают уважение, которые обрели право на почитание, на доверие, на признательность народа, и эти наиболее деятельные люди будут также и людьми наиболее умеренными.

Посредственность всегда представляют как кротость; но она является кроткой только тогда, когда бессильна. Когда же случай собирает вместе множество посредственных людей и наделяет их некоей силой,

---

* Монтескье. О духе законов. Кн. II. Гл. 2. М., Мысль, 1999. С. 20-21.

посредственность их становится более деятельной, более завистливой, более конвульсивной в своем развитии, нежели талант, даже в том случае, если страсти вводят его в заблуждение. Просвещение охлаждает страсти, смягчает эгоизм, упрочая тщеславие.

Доводы, приводимые мною против избирательных коллегий, в равной мере справедливы и в отношении того способа обновления состава, который до сего дня использовался нашими собраниями и который нынешняя конституция недавно отменила. Я хочу сказать о периодическом обновлении третьей или пятой части собрания, в результате чего вновь пришедшие в представительную коллегию всегда оказывались в меньшинстве. Обновление собрания имело целью не только помешать представителям нации образовать отдельный класс, отделенный от всего народа, но также и найти точных выразителей изменениям общественного мнения, которые могли бы произойти между выборами. Если предположить, что выборы будут хорошо организованы, то выбранные в данный период будут представлять общественное мнение более точно, нежели выбранные в предшествующие периоды.

Ну не абсурдно ли ставить органы, выражающие существующее мнение, в положение меньшинства по отношению к не существующему уже мнению? Прочность, конечно, желательна, но не следует доводить до крайности процесс обновления, ведь еще более абсурдно сделать выборы столь частыми, что мнение не сможет проясниться в период между ними. Впрочем, у нас есть собрание, имеющее наследственный характер и обеспечивающее преемственность. Не будем же вносить элементы раздора в лоно выборного собрания, представляющего процесс совершенствования. Борьба консервативного духа и духа прогрессивного более полезна между двумя собраниями, нежели в лоне одного из них; в этом случае мы не получим меньшинства, которое бы утвердилось в качестве сражающегося; его необузданность в собрании, частью которого оно является, отступит перед спокойствием собрания, принимающего или отвергающего его предложения; непостоянство, угроза будут выступать не в качестве методов господства над большинством, на которое наводят

страх, но в качестве причин утраты уважения и доверия в глазах судей, призванных вынести решение.

Обновление собрания на третью или на пятую часть несет в себе серьезные затруднения как для нации в целом, так и для самого собрания.

Даже если будет вновь назначаться только третья или пятая часть, все чаяния все равно не смогут быть удовлетворены. Честолюбие пробуждает не множественность шансов, но существование одного из них, трудности же делают претендентов более ревностными и враждебными. Народ приходит в волнение от перевыборов третьей или пятой части состава собрания точно так же, как и от полных перевыборов. В собраниях вновь пришедшие в первый год подвергаются нажиму, но очень скоро превращаются в угнетателей. Эта истина была доказана четырьмя последовательными опытами переизбрания*.

Воспоминание о наших собраниях, не имеющих противовеса, беспрестанно волнует нас и вводит в заблуждение. Нам кажется, что любое собрание являет собой причину беспорядка, и эта причина видится более могущественной в полностью обновленном собрании. Но чем более реальной может быть опасность, тем более щепетильны мы должны быть в отношении природы принимаемых предосторожностей. Мы должны принимать лишь те из них, чья полезность подтверждена, а успех гарантирован.

Преимущество обновлений на третью и пятую часть наиболее полно и свободно от неприятных последствий при непрерывном переизбрании депутатов, которое разрешает наша конституция и которое все предшествующие конституции несправедливо исключали.

Невозможность переизбрания депутатов во всех отношениях представляет собой огромное заблуждение. Возможность непрерывного переизбрания только и дает заслугам человека достойное вознаграждение и открывает в народе множество имен, внушающих ува-

* Треть собрания, избранная в год IV (1796), была уничтожена. Треть, избранная в год V (1797), была изгнана. Треть, избранная в год VI (1798), была отвергнута. Треть, избранная в год VII (1799), оказалась победоносной и разрушающей.

жение и почтение. Влияние индивидов не может быть разрушено институтами, пробуждающими зависть. Все то, что в каждую эпоху естественным путем сумеет пережить это влияние, необходимо принадлежит данной эпохе. Так не будем же возбуждающими ревность законами обездоливать талант. Мы ничего не выиграем от того, что удалим достойных людей: природа пожелала, чтобы они возглавили человеческие объединения; искусство создания государственности состоит в том, чтобы обеспечить за ними это место таким образом, чтобы для его достижения не потребовалось нарушать общественный покой.

Ничто так не противоречит свободе и одновременно не благоприятствует беспорядку, как насильственное изгнание представителей народа после окончания выполнения ими своих обязанностей. Чем больше в собраниях будет людей, которые не могут быть переизбраны, тем больше будет людей слабых, которые захотят иметь как можно меньше враго, дабы получить компенсацию или мирно жить в отставке. Если вы воспрепятствуете непрерывному переизбранию, вы обманете надежды гения и лишите его отвагу достойного вознаграждения; вы подготовите почву для утешения и триумфа трусости и бездарности; вы поставите на одну ступень человека, который выступал в соответствии со своей совестью, и того, кто своей отвагой служил мятежникам либо своим попустительством поощрял произвол. Пожизненное выполнение обязанностей, замечает Монтескье*, имеет то преимущество, что лишает тех, кто их исполняет, периодов праздности и слабости, которые у людей, вынужденных вернуться в категорию простых граждан, предваряют окончание срока их власти. Непрерывное переизбрание имеет то же преимущество; оно благоприятствует моральному расчету. Только такой расчет и имеет устойчивый успех; но для того, чтобы иметь этот успех, им нужно время.

Впрочем, действительно ли люди цельные, неутомимые, искушенные в делах столь многочисленны, что бы нужно было намеренно отталкивать тех, кто за-

* Монтескье. О духе законов. Кн. V. Гл. 7.

служил всеобщее уважение? Новые таланты также преуспеют; народ склонен их принять; не чините на его пути в этом отношении никакого принуждения, не заставляйте его во время каждых выборов избирать новичков, которым еще предстоит удовлетворить свое честолюбие и завоевать известность. Для нации ничто не обходится так дорого, как создание репутаций. Возьмите наиболее значительные примеры: взгляните на Америку — народный выбор беспрестанно сопутствовал основателям ее независимости; взгляните на Англию — имена, ставшие знаменитыми благодаря постоянному переизбранию, стали здесь в известной степени народным достоянием. Счастливы народы, хранящие верность и способные на длительное уважение!

Наконец наша конституция приблизилась к истинным принципам, заменив жалование, предназначенное до сих пор представителям нации, более умеренным вознаграждением. Освобождая обязанности, требующие наибольшего благородства души, от всякого корыстного интереса, мы возвысим палату представителей до уровня, который предназначен ей самим нашим конституционным устройством. Всякое жалованье, связанное с исполнением представительных обязанностей, очень скоро становится самым главным предметом их интересов. Кандидаты видят в августейших обязанностях лишь возможность увеличения или приведения в порядок своего состояния, возможности перемены места, преимущества экономии. Да и сами избиратели оказываются увлеченными своего рода корпоративной жалостью, которая заставляет их отдавать свою благосклонность супругу, стремящемуся обзавестись хозяйством, неудачливому отцу, желающему дать образование своим сыновьям или выдать замуж своих дочерей в столице. Многочисленные кредиторы выдвигают своих должников, богачи — должников своих родственников, которых они хотят обеспечить за счет государства, а не из своего кармана. Как только назначения закончились, нужно сохранить то, что уже обретено, и средства здесь во всем схожи с целью. Спекуляции заканчиваются либо устойчивостью, либо молчанием.

Оплачивать представителей народа означает вовсе не создавать для них заинтересованность в тщательном выполнении своих обязанностей, а только заинтересовать их в выполнении своих функций.

Меня поражают другие соображения.

Мне не импонируют высокие условия собственности для отправления политических функций. Независимость всегда относительна: как только человек приобретает все необходимое, лишь возвышенное состояние души способно заставить его обходиться без излишеств. Тем не менее представляется весьма желательным, чтобы представительные должности были заняты в основном людьми если и не из богатого, то по крайней мере из зажиточного класса. Их исходные позиции более предпочтительны, образование более совершенно, дух более свободен, ум более подготовлен к просвещению. Бедность, подобно невежеству, имеет свои предрассудки. Таким образом, если ваши представители не получают никакого жалованья, вы укрепляете их собственность и оставляете справедливую возможность для их законного отстранения.

Сочетайте таким образом ваши институты и ваши законы, говорит Аристотель, чтобы занятие должности не смогло стать предметом корысти; в противном случае масса, которую, впрочем, мало волнует отстранение от высоких должностей, ибо она любит предаваться своим делам, проникнется завистью к почестям и выгоде. Все предохранительные меры согласованы, если должностные лица не подвержены алчности. Бедняки предпочтут более прибыльные занятия трудным и бесплатным обязанностям. Богатые же будут занимать государственные места, поскольку они не нуждаются в вознаграждении*.

Названные принципы применимы не ко всем должностям в современном государстве; некоторые из них требуют средств, которые бы превосходили любое обычное состояние; но ничто не мешает применить эти принципы к представительным обязанностям.

---

* Аристотель. Политика. V, VII. 9-10.

Уже карфагеняне определили, что за все должности, на которые назначал народ, не выплачивалось вознаграждение. За прочие же должности выплачивалось жалованье.

При государственном устройстве, в котором не собственники лишены политических прав, отсутствие жалованья для представителей нации кажется мне естественным. Не является ли оскорбительным и смешным противоречием отторгать бедняка от национального представительства, как будто бы народ может представлять только богач, и заставлять этого бедняка оплачивать своих представителей, как будто бы они бедны?

Коррупция, рожденная честолюбивыми устремлениями, гораздо менее губительна, нежели коррупция, проистекающая из бесчестного расчета. Честолюбие совместимо с изобретательностью, порядочностью, отвагой, беспристрастностью, независимостью; скупость же не смогла бы ужиться ни с одним из этих качеств. Нельзя отстранять честолюбивых людей от должности, отстраним же от должностей, по крайней мере людей алчных: тем самым мы значительно снизим количество конкурентов, те же, кого мы отстраним, окажутся наименее достойными.

Но для того, чтобы представительные обязанности могли быть бесплатными, требуется одно условие: они должны быть весомыми. Никто не захочет бесплатно выполнять обязанности, представляющиеся ребяческими из-за их незначительности и оказывающиеся постыдными, коль скоро они перестают быть ребяческими. При подобном устройстве было бы лучше, если представительные обязанности не существовали бы вовсе.

Глава шестая
ОБ УСЛОВИЯХ СОБСТВЕННОСТИ

В нашей конституции нет ни слова об условиях собственности, требуемых для отправления политических прав, ибо права эти, доверенные избирательным коллегиям, тем самым сосредоточены в руках собственников. Но если заменить избирательные коллегии

прямыми выборами, то условия собственности станут необходимыми.

Ни один народ не рассматривал в качестве граждан государства всех индивидов, так или иначе проживающих на своей территории. Здесь речь идет не о различиях, которые у древних отделяли рабов от свободных людей и которые у людей современных отделяют дворян от простолюдинов. Самая совершенная демократия устанавливает два класса: к одному из них относятся чужестранцы и те, кто еще не достиг возраста, предписанного законом для отправления гражданских прав; другой состоит из людей, достигших этого возраста и родившихся в данной стране. Таким образом, существует принцип, в соответствии с которым среди индивидов, собранных на одной территории, существуют такие, которые являются гражданами государства, и такие, которые таковыми не являются.

Совершенно очевидно, что этот принцип основан на следующем обстоятельстве: чтобы стать членом объединения, нужно иметь определенный уровень образования и общий интерес с другими членами данного объединения. Люди, не достигшие возраста гражданской зрелости, не могут обладать соответствующим уровнем образованности, иностранцы не могут руководствоваться общим интересом. Доказательством тому служит тот факт, что первые, достигнув определенного законом возраста, становятся членами политической ассоциации, вторые же становятся таковыми благодаря длительному проживанию в стране, личным качествам или связям. Предполагается, что все это дает первым образование, а вторым — обретенный интерес.

Но этот принцип нуждается в последующем расширении. В наших нынешних обществах рождения в стране и зрелости возраста не достаточно, чтобы наделять людей качествами, необходимыми для отправления гражданских прав. Те, кого нужда удерживает в вечной зависимости и обрекает на повседневный труд, не являются ни более просвещенными в общественных делах, нежели дети, ни более заинтересованными, нежели иностранцы, в национальном процветании,

основные элементы которого им не известны и плоды которого они разделяют лишь косвенным образом.

Я вовсе не хочу нанести никакого ущерба трудящемуся классу. Этот класс обладает не меньшим патриотизмом, чем все прочие классы. Зачастую он бывает готов к самым героическим жертвам, и его преданность тем более достойна восхищения, что не бывает вознаграждена ни богатством, ни славою. Но я считаю, что патриотизм, придающий отвагу умереть за свое отечество, отличен от патриотизма, делающего человека способным осознать интересы своей страны. Таким образом, требуется еще одно условие помимо рождения и возраста, предписанного законом. Этим условием является свободное время, необходимое для приобретения знаний, справедливых суждений. Свободное время обеспечивается одним только наличием собственности: только собственность делает людей способными к отправлению своих политических прав.

Можно сказать, что нынешнее состояние общества, соединяя и перемешивая множеством способов собственников и не собственников, наделяет часть людей, относящихся ко второй категории, теми же интересами и теми же средствами, что и первых; что работающий человек в не меньшей степени, чем человек владеющий, обладает потребностью в покое и безопасности; что собственники по праву и фактически являются лишь распределителями общих богатств между всеми индивидами, что все это на благо всех, что порядок и мир способствуют развитию индивидуальных способностей и средств.

Приведенные доказательства обладают тем пороком, что доказывают слишком много. Если бы они были убедительны, то не существовало бы никакого основания отказать иностранцам в праве гражданства. Благодаря торговым отношениям в Европе подавляющее большинство европейцев заинтересовано в спокойствии и счастии, которые должны царить во всех странах. Крах государства, каким бы оно ни было, столь же губителен для иностранцев, при помощи денежных спекуляций связавших свое состояние с этим государством, как он губителен и для граждан данной страны, если исключить из их числа собственников.

Это доказывают факты. В разгар самых жестоких войн торговцы некоей страны часто высказывают пожелания, а иногда и предпринимают усилия, чтобы враждебная их стране нация не была разорена. И тем не менее столь туманные соображения не покажутся достаточными, чтобы включить иностранцев в число граждан.

Заметьте, что необходимой целью не собственников является получение собственности: все средства, которые вы предоставите в их распоряжение, они употребят на достижение этой цели. Если к свободе развития способностей и промышленности, которой вы им обязаны, вы добавите политические права, которыми вы им не обязаны, права эти в руках массы неизбежно послужат захвату собственности. Массы устремятся к ней извилистой дорогой, вместо того чтобы следовать естественным путем — трудом: то будет для них путь коррупции, для государства же это явится источником беспорядков. Знаменитый писатель прекрасно заметил, что как только не собственники обретают политические права, непременно случается какая-либо одна из трех вещей: либо они получают толчок только от самих себя, и тогда разрушают общество; либо они получают этот толчок от человека или нескольких человек, находящихся у власти, и тогда выступают орудиями тирании; либо они получают его от людей, стремящихся к власти, и в этом случае становятся орудием заговора. Таким образом, необходимы условия собственности — они необходимы как для избирателей, так и для избираемых.

Во всех странах представительные собрания — как бы они ни были организованы — обязательно должны состоять из собственников. Индивид благодаря своим блестящим заслугам может завладеть вниманием толпы, но коллегии, дабы внушать доверие, должны иметь интересы, соответствующие их обязанностям. Нация всегда предполагает, что объединенные люди движимы своими интересами. Она ощущает себя в безопасности, когда любовь к порядку, справедливости и сохранению существующего возобладает в душах большинства собственников. Собственники, таким образом, полезны не только теми качествами, которые

им свойственны, но также и теми, которыми их наделяют, осторожностью, которую в них предполагают, благоприятными предубеждениями, которые они внушают. Поместите в число законодателей не собственников, какими благими ни были их намерения — и волнения собственников смешают все их начинания. Самые мудрые законы будут вызывать сомнения и, следовательно, породят непослушание, тогда как организация, построенная на противоположных началах, дала бы нам народное согласие, даже в отношении правительства, отмеченного некоторыми недостатками.

Правда, во время нашей революции собственники состязались с не собственниками в составлении абсурдных и грабительских законов. Это произошло от того, что собственники опасались не собственников, наделенных властью. Они хотели получить прощение за свою собственность. Страх утратить то, что имеешь, делает человека малодушным, и он начинает подражать ярости тех, кто стремится приобрести то, чем не владеет. Ошибки и преступления собственников имели своим следствием усиление влияния не собственников.

Но каковы же условия собственности, которые было бы справедливо установить?

Собственность может носить столь ограниченный характер, что ее владелец может выглядеть собственником лишь на первый взгляд. Человек, не обладающий земельным доходом, обеспечивающим существование на протяжении года и дающим возможность не работать на другого, не является собственником в полном смысле этого слова, говорит нам один писатель, прекрасным образом осветивший этот вопрос*. С точки зрения недостающей ему собственности такой человек оказывается в классе наемных работников. Собственники — хозяева своего существования, поскольку могут отказаться от труда. Таким образом, владелец дохода, достаточного, чтобы существовать независимо от чужой воли, может иметь гражданские

* Имеется в виду Гарнье[10].

права. Более низкий ценз собственности ошибочен; более высокий — несправедлив.

Тем не менее я полагаю, что мы должны признать собственником того, кто на правах длительной аренды имеет ферму, приносящую достаточный доход. При современном состоянии собственности во Франции фермер, который не подлежит изгнанию, в большей степени является собственником, нежели горожанин, который является собственником лишь внешне, в силу того, что обладает добром, сдаваемым в наем. Таким образом, было бы справедливо наделить обоих одинаковыми правами. Если мне на это скажут, что по истечении срока аренды фермер может утратить свое качество собственника, то я отвечу, что благодаря стечению множества обстоятельств каждый собственник в один прекрасный день может потерять свою собственность. Вы можете заметить, что я говорю только о земельной собственности, а также указать на существование множества родов собственности, среди которых собственность на землю выступает лишь одной из форм. Даже конституция признает этот принцип, поскольку допускает представительство не только от территорий, но и от промышленности.

Признаюсь, что если бы в результате этого предписания земельная собственность была поставлена на одну доску с собственностью промышленной, я не колеблясь осудил бы его.

Промышленная собственность не имеет множества преимуществ, которыми обладает собственность земельная и которые образуют консервативный дух, столь необходимый для политических объединений.

Земельная собственность оказывает влияние на характер и судьбу человека самой природой требуемых ею забот. Человек, обрабатывающий землю, предается традиционным и размеренным занятиям. Тем самым он приобретает упорядоченный характер своих привычек. Случай, который в морали выступает источником смятения, не имеет никакого значения в жизни того, кто занимается сельским хозяйством. Любая остановка для него губительна, любая неосторожность оборачивается для него неизбежными потерями. Он не добивается быстрого успеха, он не может ни ускорить его,

ни усилить приносящими удачу безрассудными поступками. Он зависит от природы и не зависит от людей. Все это создает для него состояние покоя, ощущение прочности, дух порядка, которые связывают его с призванием, коему он обязан своим покоем, равно как и своим существованием.

Промышленная собственность влияет на человека лишь фактической прибылью, которую она ему приносит либо обещает принести; она вносит в его жизнь меньше размеренности; она более подвижна и в меньшей степени незыблема, нежели собственность земельная. Операции, из которых она складывается, часто составляют случайные сделки; чаще всего успеха здесь достигают быстро, но велика также и роль случая. Промышленная собственность не имеет в качестве своего обязательного элемента постепенное и устойчивое развитие, создающее привычку, а затем и потребность в единообразии. Она не делает человека независимым от прочих людей. Тщеславие, этот плодотворный росток политических волнений, в промышленном собственнике очень часто бывает уязвлено, в земледельце — почти никогда*. Последний спокойно учитывает смену времен года, природу почвы, особенности климата. Первый рассчитывает на фантазии, гордость, роскошь богачей. Ферма представляет собой отечество в миниатюре. Здесь рождаются, получают воспитание, здесь растут вместе с окружающими деревьями. В промышленной же собственности ничто не волнует воображение, не будит воспоминания, не затрагивает моральных струн человека. Люди говорят: поле моих предков, хижина моих отцов. Но никто никогда не говорит: лавка или цех моих отцов. Развитие земельной собственности неотделимо от земли, которая эту собственность воспринимает и частью которой она становится. Промышленная собственность подвержена не развитию, но разрастанию, и это разрастание может быть по желанию перенесено в другое место.

* Pius questus, — говорит Катон о земледельце, — stabilissimus, minimeque individiosus, minimeque male cogitantes qui in eo studio occupati sunt.

В отношении умственных способностей земледелец также имеет над ремесленником большое превосходство. Земледелие требует последовательности наблюдений, опытов, образующих и развивающих суждение*. Отсюда то чувство правды и справедливости, которое удивляет нас в крестьянине. Промышленные же профессии благодаря разделению труда зачастую ограничиваются механическими операциями.

Земельная собственность привязывает человека к той стране, где он проживает, ставит преграды на пути его перемещений, заинтересованностью порождает патриотизм. Промышленность делает все страны почти равными, облегчает перемещения, отделяет интерес от патриотизма. Это преимущество земельной собственности и этот недостаток собственности промышленной в политическом отношении усиливаются в зависимости от того, насколько понижается стоимость собственности. Ремесленник почти ничего не теряет при переезде на другое место. Мелкий земельный собственник, покидая родные места, разоряется. Таким образом, именно по низшим слоям собственников следует судить о воздействии различных типов собственности, поскольку именно эти слои и составляют большинство.

Независимо от этого морального преобладания земельной собственности она благоприятствует общественному порядку самим положением, в которое она ставит ее обладателей. Ремесленники, скученные в городе, оказываются во власти мятежников; земледельцев же, рассеянных по деревням, почти невозможно собрать вместе, а следовательно, поднять на восстание.

Эти истины понимал уже Аристотель. Он показывал с большой силой различающиеся меж собой характеры земледельческих классов и классов торговых, высказываясь в пользу первых**.

Несомненно, промышленная собственность обладает громадными преимуществами. Промышленность и торговля создали для свободы новый способ защиты — кредит. Земельная собственность гарантирует устойчи-

---

* Smith A. Richesse des nations. I. 10.

** Аристотель. Политика. VI. 2.

вость институтов; промышленная собственность обеспечивает независимость индивидов.

Таким образом, отказ в политических правах коммерсантам, чья деятельность и богатство удваивают процветание страны, где они проживают, был бы несправедливостью, более того — неосторожностью, поскольку означал бы противопоставление богатства и власти.

Но, поразмыслив, можно с легкостью заметить: лишение прав коснется только промышленных собственников, что имело бы весьма неприятные последствия, ведь почти все они являются также и земельными собственниками. Что же касается тех, кто имеет только промышленную собственность, то, обреченные на механические занятия, неподвластные действиям никакого политического института, они, лишенные всякой возможности получить надлежащее образование, могут даже с самыми чистыми намерениями нанести государству урон своими неизбежными ошибками. Таких людей следует уважать, оберегать, гарантировать им отсутствие всяких притеснений со стороны богатых, устранять любые путы, мешающие их труду, насколько это возможно, сглаживать их трудовую карьеру, но не перемещать в новую для них сферу, к которой они не предназначены судьбой, в которой помощь для них будет бесполезной, страсти — угрожающими, а невежество — опасным.

Тем не менее наша конституция пожелала довести до крайности благосклонность в отношении промышленности. Она создала для нее особое представительство, но мудро ограничила число представителей этого класса примерно двадцатью семью местами в общем представительном собрании.

Некоторые публицисты полагали возможным признать третий тип собственности. Они назвали ее интеллектуальной и защищали свое мнение довольно искусным способом. Человек, отличившийся в либеральной профессии, говорили они, например юрисконсульт, не менее тесно связан со страной, в которой живет, чем земельный собственник. Последнему не легче отчуждать свое владение, чем первому изменить своей репутации. Его состояние заключено в доверии,

которое он внушает. Это доверие порождено долгими годами труда, умом, ловкостью, услугами, которые он оказывал, привычкой прибегать к его помощи в трудных обстоятельствах, знанием местных обычаев, приобретенным долгим опытом. Экспатриация лишила бы его всех этих преимуществ. Он разорился бы только потому, что оказался неизвестным на чужой земле.

Но эта так называемая интеллектуальная собственность существует только во мнении. Если позволено завладеть ею, все, без сомнения, не преминут этим воспользоваться, поскольку политические права станут не только социальной прерогативой, но и свидетельством таланта, и отказ от них будет выглядеть актом редкого бескорыстия и скромности одновременно. Если интеллектуальную собственность создает мнение, то мнение проявляется лишь через успех и состояние, как его обязательное следствие. Тогда собственность естественным образом предстанет в качестве разделения между людьми, преуспевшими в своей области.

Но есть и более значимые соображения, которые следует подчеркнуть. Либеральные профессии, быть может, более, чем какие-либо другие, требуют связи с собственностью, дабы их влияние в политических дискуссиях не было губительным. Эти профессии, столь достойные уважения по многим причинам, никогда не имеют в числе своих преимуществ ту практическую справедливость, которой наделяются идеи, когда речь заходит о фактических интересах людей. Мы видели, как во время нашей революции литераторы, математики, химики проповедовали самые крайние взгляды, хотя в других отношениях оставались людьми образованными и уважаемыми; но они жили вдали от простых людей, одни из них привыкли отдаваться воле своего воображения, другие — принимать во внимание лишь совершенно очевидные вещи, третьи — полагать, что природа, воспроизводя живые существа, кладет начало разрушению. Совершенно разными путями пришли они к одному результату — пренебрегать соображениями, выведенными из фактов, презирать реальный и чувственный мир, быть энтузиастами в рассуждениях о общественном состоянии, геометрами —

в рассуждениях о страстях и физиками — в разговорах о человеческих несчастиях.

Если то были заблуждения высокородных людей, то каковыми же будут ошибки кандидатов более низкого положения, незадачливых претендентов? Разве не нужно срочно поставить преграду на пути раненых честолюбий, озлобленных тщеславий, всех причин, порождающих горечь, возбуждение, недовольство обществом, в котором ты утратил свое место, ненависти к людям, которые кажутся несправедливыми в своей критике! Любой умственный труд несомненно почетен, должен вызывать к себе уважение. Нашим первейшим качеством, отличительной способностью является мысль. Всякий, кто ее использует, имеет право на наше уважение, даже независимо от достигнутого успеха. Всякий, кто наносит ей оскорбление или отвергает ее, лишает себя имени человека и ставит себя вне рода человеческого. Тем не менее любая наука задает разуму человека, ею занимающегося, исключительное направление, которое становится опасным в делах политических, по крайней мере если оно не находит противовеса. А противовес можно найти только в собственности. Только собственность устанавливает между людьми единообразные отношения. Она предупреждает их о неосторожности принесения в жертву чужого счастия и спокойствия, вкладывая в эту жертву их собственное благополучие и принуждая их думать о самих себе. Она заставляет их спуститься с высот химеричных теорий и неприемлемых преувеличений, устанавливая между ними и прочими членами сообщества многочисленные отношения и общие интересы.

Не думайте, что подобная предосторожность полезна только для поддержания порядка, она не менее полезна и для поддержания свободы. По странному стечению обстоятельств науки, которые при политических волнениях располагают порой людей к невероятным идеям свободы, в иных случаях делают их безразличными и покорными в отношении деспотизма. Собственно ученые редко оказываются уязвленными даже самой несправедливой властью. Власть испытывает ненависть только к мысли. Она в достаточной степени любит науки в качестве средства для управляющих и

изящные искусства — в качестве развлечений для управляемых. Таким образом, поприще, которому следуют люди, чьи исследования никоим образом не связаны с деятельными жизненными интересами, защищает их от притеснений власти, которая никогда не видит в них соперников; они часто не высказывают достаточного возмущения злоупотреблениями власти, касающимися только других классов.

Глава седьмая

О ДИСКУССИЯХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ СОБРАНИЯХ

Мы должны внести в ныне действующую конституцию существенное улучшение — восстановить общественные дискуссии в собраниях.

Конституция VIII[11] года их запрещала; королевская хартия дозволяла проведение дискуссий для одной из палат, но с многочисленными ограничениями, все же обсуждения, имеющие место в другой палате, она окружила покровом тайны, что нельзя объяснить никакими разумными доводами. Мы вернулись к простым идеям. Мы почувствовали, что люди объединяются только в надежде договориться, что для того, чтобы договориться, нужно говорить, а депутаты за редкими исключениями не были уполномочены оспаривать у своих доверителей право знать, насколько верно они толкуют их интересы.

Плодотворности дискуссий в значительной степени будет способствовать на первый взгляд малозначительная статья, осуждаемая конституцией, которой предстоит управлять нами. Это статья о речах, представленных в письменной форме. Я согласен, она носит скорее регламентарный, нежели конституционный характер, но злоупотребление этими речами имело столь серьезное влияние и настолько изменило природу наших собраний, что можно почитать за счастие, что от этого зла наконец найдено лекарство.

Подлинная дискуссия начинается вовсе не тогда, когда ораторы вынуждены говорить излишне много. Каждый, кого затронули только услышанные рассуж-

дения, естественно вынужден подвергнуть их анализу. Эти рассуждения даже бессознательно оказывают воздействие на его разум. Он не может изгнать их из своей памяти: полученные им идеи увязываются с его собственными, изменяют их и подсказывают ему ответы, представляющие вопросы с различных точек зрения.

Когда же ораторы ограничиваются тем, что читают написанное ими в тиши кабинета, они больше не дискутируют, они развивают прочитанное: они больше не слушают выступления, поскольку услышанное уже не должно изменить того, что они собираются сказать; они ждут, пока человек, которого они должны сменить на трибуне, закончит свою речь; они не анализируют защищаемое им мнение, они высчитывают время, которое тот занимает своим выступлением и которое кажется им волокитой. В этом случае дискуссии больше нет места, каждый воспроизводит уже опровергнутые замечания: он оставляет в стороне все непредвиденное, что внесло бы сумятицу в его заранее заготовленную речь. Ораторы сменяют друг друга, не пересекаясь, и если они и опровергают друг друга, то только по случаю; они похожи на две армии, которые проходят колонной в противоположных направлениях, друг подле друга, едва замечая своего противника, даже избегая на него смотреть из страха сбиться с уже проложенного пути.

Такой недостаток дискуссии, состоящей из написанных заранее речей, не является ни единственным, ни вызывающим наибольшие опасения: существует и более серьезный недостаток.

Наибольшую опасность для порядка и свободы представляет не преувеличение, и не заблуждение, и не невежество, хотя во всем этом у нас нет недостатка, — а потребность произвести впечатление. Эта потребность, вырождающаяся в своего рода страсть, тем более опасна, что источник ее коренится не в природе человека, она — социальное порождение, запоздалый и искусственный плод древней цивилизации и громадной столицы. Следовательно, она не смягчается сама собой, как все естественные страсти, изнашивающиеся за длительный период своего существования. Ее совершенно не останавливает

чувство, поскольку у нее нет с ним ничего общего; разум не может ничего с ней поделать, поскольку речь идет не о том, чтобы в чем-то убедиться, но о том, чтобы убедить. Даже усталость не усмиряет ее, ибо человек, испытывающий эту потребность, не советуется со своими чувствами, но наблюдает за теми чувствами, которые он вызывает у других. Мнения, богатство, эмоции — все идет в ход, и сам человек превращается в инструмент собственного тщеславия.

В нации, столь подверженной действию этой страсти, нужно насколько возможно лишить посредственность надежды произвести какой-либо эффект доступными ей средствами; я говорю «какой-либо эффект», поскольку тщеславие наше скромно, но в то же время необузданно: оно стремится ко всему, оно довольствуется малым. Видя, как оно излагает свои претензии, его можно счесть ненасытным; видя, как оно довольствуется самыми малыми успехами, можно восхищаться его умеренностью.

Применим эти истины к нашему предмету. Вы хотите, чтобы наши представительные собрания были разумными? Заставьте людей, пожелавших в них блистать, быть талантливыми. Большинство из них обратится к разуму как последнему прибежищу; но если вы откроете перед этим большинством поприще, на котором каждый может сделать несколько шагов, никто не захочет отказаться от такой выгоды. Каждый возымеет свой день красноречия, свой час известности. Каждый, кто может составить письменную речь или заказать ее, будет претендовать на то, чтобы отметить свое существование в качестве законодателя, а собрания превратятся в академии с той лишь разницей, что утомительные речи академиков здесь будут распоряжаться и судьбой, и собственностью, и даже жизнью граждан.

Я отказываюсь привести невероятные доказательства существования этого стремления произвести эффект в наиболее прискорбные периоды нашей революции. Я был свидетелем того, как представители народа отыскивали сюжеты для своих речей, чтобы имя их оказалось связано с происходившими великими событиями, но как только сюжет был найден и речь написана, результат ее оказывался им совершенно безраз-

личен. Устранив заготовленные в письменной форме речи, мы создадим в наших собраниях то, чего им всегда не хватало, — молчаливое большинство, которое, будучи, так сказать, приведено к порядку превосходством талантливых людей, будет вынуждено выслушивать их за неимением возможности говорить вместо них; мы создадим большинство, которое будет просвещаться, ибо оно вынуждено проявлять скромность, и которое благодаря своему молчанию научится быть рассудительным.

Присутствие министров в собраниях будет той заключительной чертой, что придаст дискуссиям должный характер. Министры будут сами обсуждать декреты, необходимые для управления страной; они привнесут в обсуждение фактические знания, которые только и может дать процесс правления. Оппозиция не будет казаться враждебной, настойчивость не выродится в упрямство. Уступив разумным замечаниям, правительство внесет поправки в принятые предложения, разъяснит не совсем ясные редакции. Не будучи скомпрометированной, власть сможет отдать должное разуму и сама защитить себя при помощи рассуждения.

Однако же собрания не достигнут уровня совершенства, который может иметь представительная система, если в результате национальных выборов министры вместо того, чтобы присутствовать в собраниях в качестве министров, займут в них места в качестве членов собрания. Установление несовместимости между правительством и представительством было великой ошибкой всех наших предшествующих конституций.

Если представители народа никогда не смогут принимать участие в отправлении власти, то можно опасаться того, что они будут рассматривать власть как своего естественного врага. Если же, напротив, министры смогут быть приняты в лоно собраний, честолюбцы будут направлять свои усилия исключительно против конкретных людей, но прÞявлять уважение к самому институту представительства. Нападки, направленные против индивидов, будут менее опасны для всего дела в целом. Никто не пожелает разрушить инструмент, которым он сможет воспользоваться и который будет пытаться ослабить силу исполнительной

власти в том случае, если эта сила будет ему не подвластна, и оберегать эту силу, если в один прекрасный день она сможет стать его достоянием.

Пример тому мы можем наблюдать в Англии. Враги правительства усматривают в его власти собственную силу и свое будущее могущество; оппозиция щадит прерогативы правительства как свое собственное наследие и уважает в своих нынешних противниках средства, которые те будут использовать. Великий порок конституции состоит в том, что она представляет собой опосредующее звено между партиями, и каждая из них может взаимодействовать с другой только при помощи конституции. Однако же именно такое положение и имело место, когда исполнительная власть, оказавшись в руках законодателей, являла собой препятствие, но не давала надежд.

Мы не можем льстить себя надеждой исключить наличие противоборствующих группировок в политической организации, желающей сохранить все преимущества свободы. Поэтому нужно приложить все усилия, чтобы эти группировки стали максимально безвредными, и, поскольку они могут иногда одерживать победу, следует заранее предупреждать или смягчать неприятные последствия их победы.

Если министры являются членами собраний, то в случае их виновности их легче подвергать критике, не имея нужды разоблачать их, — им можно только дать ответ; им легче оправдаться, если они невиновны, потому что в любой момент они могут разъяснить и мотивировать свое поведение.

Объединяя индивидов, но не разделяя при этом властей, мы устанавливаем гармоничное правление вместо того, чтобы создавать два противоборствующих лагеря.

Кроме того в результате этих мер бездарный или попавший под подозрение министр не сможет сохранять свою власть. В Англии министр лишается своего места, если он оказывается в меньшинстве*.

---

* В 1784 г. Питт составлял исключение из этого правила на протяжении двух месяцев. Но это имело место потому, что вся нация в целом была на стороне своего министра и против палаты общин.

Глава восьмая
ОБ ИНИЦИАТИВЕ

Как мне представляется, смысл касающейся инициативы статьи конституции был понят неверно. Королевская хартия отказывала в инициативе палатам, ею же самою созданным. И депутаты только при помощи, так сказать, незаконного расширения своих прав смогли завладеть возможностью публично развивать свои предложения, а министры заявляли о своем намерении оспаривать у них эту привилегию. Когда же предложение бывало принято, медленные и тяжеловесные формы сковывали его продвижение. Одним словом, право предложения в конституции 1814 г. являло собой лишь несостоятельное средство, противоположное намерениям самой конституции и всегда подверженное опасности быть уничтоженным более строгим ее толкованием.

В нашем же конституционном акте, напротив, лишь один момент отличает инициативу палат от той, что наделен английский парламент: глава государства не обязан произносить свое вето — оно заменено молчанием. Но как долго представительная власть может противопоставлять свое молчание исходящему от народа предложению, принятия которого требует общественное мнение? Разве существенной чертой такого правительства не является следование общественному мнению? Таким образом, фактически инициатива полностью переходит к представителям нации, которые способны даже возобновлять свои предложения столь часто, сколь они найдут это нужным, а статья 21 королевской хартии лишает их этого права.

Мое мнение относительно инициативы совершенно не изменилось: как и год назад, оно кажется мне необходимой частью прерогатив национального представительства*. Несомненно, в ней нельзя отказать и министрам; им принадлежит право высказывать пожелания правительства, подобно тому, как депутаты вы-

* См.: Reflexions sur les constitutions et les garanties. Ch. IV. 4. См. также приложение 4.

сказывают чаяния народа; но естественным образом произойдет так, что правительство почти никогда не будет реализовывать свое право на инициативу. Министры, заседающие в палатах в числе представителей, в таком своем качестве будут вносить предложения, которых будут требовать обстоятельства и государственные нужды. Правительство поймет, что с его стороны будет более благородным лучше подождать, чем предупреждать события. Когда оно вносит проекты законов, то именно оно подчиняется суждению палат; если же оно ждет предложения от палат, то превращается в их судию.

Позволим же в это первое время нашему конституционному механизму упрочиться и упроститься при помощи обычая и привычки. Мы лишь умножаем трудности, полагая, что предупреждаем их: мы создаем их, когда превращаем в препятствие неуверенность, берущую свое начало в неопытности. Так введем же в действие нашу конституцию со всею искренностью; вместо того, чтобы расшатывать ее преждевременными изменениями, посмотрим, не дает ли нам тех же преимуществ использование того, что уже существует. До тех пор, пока конституция не испытана на практике, ее формы — лишь клочок бумаги: одна только практика доказывает ее действенность и определяет ее смысл. Мы слишком часто сотрясали здание под предлогом его перестройки; так воспользуемся же знаниями, которые приобретаются лишь благодаря фактам, с тем, чтобы постепенно позаботиться обо всех отдельных нуждах — размеренно, мудро, медленно, при помощи времени, этого самого мягкого и самого могущественного помощника.

Глава девятая
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МИНИСТРОВ

Нынешняя конституция, быть может, единственная, устанавливающая ответственность министров — принцип, прекрасно применимый на практике и достаточно пространный.

Министры могут быть обвинены и подвергнуты преследованию по закону в трех случаях:

1. При злоупотреблении или неверном употреблении своей законной власти.

2. При незаконных, предосудительных действиях в отношении общественного интереса, безотносительно к частным лицам.

3. При покушении на индивидуальную свободу, безопасность и собственность.

В работе, вышедшей три месяца назад*, я доказывал, что поскольку последний тип проступка не имеет никакого отношения к тем полномочиям, коими министры обладают на законных основаниях, то, совершив его, они возвращаются в класс обычных граждан и должны быть судимы обычными судами.

Совершенно очевидно, что если в порыве страсти министр увлечется чужою женою или в приступе ярости убьет человека, то он должен быть обвинен не как министр, особым образом, но как нарушитель общественных законов должен быть подвергнут преследованию в соответствии с общими законами, под которые подпадает совершенное им преступление и в соответствии с процедурой, предписанной этими законами.

Таким образом, его действия относятся ко всем действиям, осуждаемым законом, подобно похищению или убийству человека. Министр, посягающий на свободу или собственность гражданина, совершает проступок не как министр, поскольку ни одно из его полномочий не дает ему права незаконно покушаться на свободу или собственность индивида. Он, таким образом, переходит в разряд прочих виновных и должен быть подвергнут преследованию и наказанию наравне с ними.

Следует заметить, что посягательство на индивидуальную свободу зависит от каждого из нас. Это вовсе не особая привилегия министров. Я могу, если захочу, нанять четырех человек, чтобы подстеречь своего врага на углу улицы, затащить его в какое-либо темное место и держать его там взаперти, чтобы об этом

* См.: De la responsabilité des ministres. P., 1815. Ch. I.

никто не знал. Министр, заставляющий похитить гражданина, не имея на то никаких законных оснований, совершает аналогичное преступление. Его качество министра не имеет к этому действию никакого отношения и не изменяет его природы. Поскольку, повторю еще раз, качество министра не дает ему никакого права задерживать граждан в нарушение закона и всех формальных установлений, совершаемый министром проступок переводит его в ту же категорию, в какую ставят любого гражданина убийство человека, похищение или какое-либо иное частное преступление.

Конечно, законная власть министра облегчает для него средства совершения незаконных действий, но использование им своей власти является лишь еще одним проступком. Это равносильно тому, что индивид вообразит себя министром, чтобы диктовать свою волю подчиненным. Такой индивид воображал бы, что исполняет определенную миссию, и присвоил бы себе власть, коей не обладает. Министр, отдающий приказ о незаконном действии, также предполагает, что наделен властью, которая ему не дана. Следовательно, в целях защиты от всех преступлений, жертвами которых являются индивиды, последние должны обладать правом непосредственного действия, направленного против министров.

Высказывалось пожелание оспорить у обычных судов право выносить обвинительные заключения по такого рода вопросам. Мы поочередно подтверждали то слабость судов, которые опасались проявить строгость в отношении могущественных людей, то неуместность доверить этим судам то, что называли секретами государства.

Последнее замечание проистекает из устаревших представлений. Оно является наследием системы, допускавшей, что безопасность государства могла потребовать использование произвола. Но раз произвол не может быть оправдан, ибо предполагает отсутствие фактов и доказательств, способных сделать закон достаточным, стали утверждать, что здесь необходима тайна. Когда министр заставляет незаконно задержать и заключить под стражу гражданина, то его апологетам

проще всего объяснить это притеснение мотивами тайны, которые известны одному только министру и которые он не может раскрыть, не покушаясь на общественную безопасность. Что касается меня, то я не признаю общественной безопасности, которая была бы лишена индивидуальных гарантий. Я полагаю, что общественная безопасность оказывается подорванной именно тогда, когда граждане усматривают во власти не защиту, но угрозу. Я считаю, что произвол — подлинный враг общественной безопасности; что покров тайны, в который облачается произвол, лишь усугубляет опасности; что общественная безопасность состоит в справедливости, что справедливость существует лишь благодаря законам, а законы действуют благодаря формальным процедурам. Я считаю, что свобода одного гражданина в достаточной степени представляет интерес для социального целого, чтобы причины принятых против него строгих мер рассматривались обычными судьями. Я считаю, что это — основная цель, цель, священная для любого политического института, и что, поскольку никакая конституция не может обрести полной законности вне себя, то тщетно разыскивать силу и определенную стабильность где-либо, кроме как в конституции.

И если кто-то утверждает, что суды не будут иметь достаточной силы против виновных чиновников, то это оттого, что мы представляем себе эти суды в состоянии неуверенности и страха, в которое их повергла революция. Правительства, чьи права вызывают сомнения, чьи интересы находятся под угрозой, порожденные игрой группировок, — жалкие наследники ненависти, внушенной этими группировками, — не могли ни создать, ни испытать на себе действие независимых судов.

Наша конституция, установив отныне несменяемость судей, наделила их независимостью, которой они так долго были лишены. Они будут знать, что, верша правосудие над министрами, как над всеми прочими обвиняемыми, они не подвергнутся никакому конституционному порицанию, что им не грозит никакая опасность, и их безопасность зародится одновременно с их беспристрастностью, умеренностью и отвагой.

Это не означает, что представители нации не имеют никакого права и не обязаны восставать против посягательств министров на свободу, если граждане, являющиеся жертвами этих посягательств, не осмеливаются выразить протест против министров. Статья, позволяющая выдвинуть обвинения против министров, подрывающих безопасность или честь государства, обеспечивает нашим доверенным лицам возможность обвинять министров, если те используют в своем правлении все то, что может противоречить безопасности или чести всякого правления, — я имею в виду произвол. Нельзя отказывать гражданину в праве требовать исправления несправедливости, жертвой которой он стал, но люди, наделенные доверием граждан, также должны взять на себя защиту гражданина. Такая двойная гарантия одновременно законна и необходима.

Наша конституция неявно закрепляет эту гарантию. Теперь остается только примирить ее при помощи законодательства с гарантией, которую также должны иметь и министры, в большей степени, нежели простые обыватели, подверженные досаде уязвленных страстей и имеющие право обрести в законах и формальных процедурах достаточную и справедливую защиту.

Совсем иначе обстоит дело с не имеющими прямого отношения к частным лицам незаконными действиями, наносящими вред общественному интересу, или со злоупотреблением власти, которой облечены министры на законных основаниях.

Существует множество незаконных действий, наносящих урон общественному интересу. Совершенно очевидно, что эти действия должны быть разоблачены и преследуемы представительными собраниями. Ни один индивид не заинтересован и не в праве заниматься подобным преследованием.

В том, что касается злоупотребления законной властью, также совершенно ясно, что только представители народа в состоянии судить, имеет ли место злоупотребление, и только особый суд, наделенный особыми полномочиями, способен высказаться относительно серьезности такого злоупотребления.

Таким образом, наша конституция в высшей степени мудра, когда дает нашим представителям самое широкое право выносить обвинения и когда она она наделяет неограниченной властью суд, который должен вынести решение по этому вопросу.

Существует множество способов развязать несправедливую или бесполезную войну, со слишком большой поспешностью, либо медлительностью, либо небрежностью вести уже развязанную войну, проявить чрезмерную твердость или чрезмерную мягкость в переговорах, подорвать доверие либо посредством рискованных операций, либо плохо продуманной экономии, либо нечестных поступков, таящихся за иными именами. Если бы каждый из этих способов нанесения вреда государству был обозначен и определен законом, то кодекс ответственности превратился бы в историко-политический трактат, но и в этом случае его положения коснулись одного лишь прошлого. Министры же с легкостью нашли новые способы устранить их в будущем.

Точно так же и англичане, которые, впрочем, в предметах, подчиняющихся общему закону, столь скрупулезно связаны с буквальным применением закона, обозначают проступки, влекущие за собой ответственность министров, лишь очень неясными словами *high crimes and misdemeanours** — словами, не уточняющими ни степень, ни природу преступления.

Вероятно, кто-то может подумать, что мы ставим министров в крайне невыгодное и опасное положение. Тогда как для простых граждан требуются сохранение наибольшей точности и гарантия соблюдения буквы закона, министры обречены на своего рода произвол со стороны их обвинителей и судей. Но подобный произвол принадлежит к самой сути явления; неприятные его последствия должны быть смягчены торжественностью процедуры, величественным образом судей и умеренностью наказаний. Но должен быть установлен сам принцип: лучше утвердить в теории то, чего нельзя избежать на практике.

---

* Серьезные преступления и проступки *(англ.)* — *Прим. перев.*

Даже не отходя от буквы фактического закона, министр может причинить столько зла, что если вы не подготовите конституционных средств для его подавления и для наказания либо отстранения виновного (поскольку речь идет скорее о лишении власти нарушающих свои обязанности министров, нежели об их наказании), возникнет потребность изыскать эти средства даже вне конституции. Люди, вынужденные прибегать к крючкотворству в отношении используемых терминов либо обходить формальную процедуру закона, проникнутся ненавистью, коварством и жестокостью. Не видя перед собой проторенного пути, они изыщут другой, который будет более коротким, но также и более хаотичным и опасным. В действительности же существует сила, на которую долгое время нельзя закрывать глаза. Направляя против министров одни только законы в их строгой формулировке, никогда необъемлющей всей совокупности действий и тенденций управления, вы фактически избавляете от всех законов, их не будут более судить в соответствии с вашими мелочными и неприменимыми установлениями: они будут наказаны в соответствии с теми волнениями, причиной которых они явились, в соответствии с тем злом, которое они причинили, и степенью злопамятности, которая явится следствием всего этого.

Самым убедительным доказательством моего враждебного отношения к произволу выступает тот факт, что, постулируя в качестве аксиомы положение, в соответствии с которым закон об ответственности министров не может быть столь же детальным, как и общие законы, и что это — политический закон, природа и применение которого в какой-то степени произвольны, я, как уже говорил, вижу перед собой пример англичан: у них не только на протяжении уже ста тридцати четырех лет существует лишенная бурь и волнений свобода, но также из всех министров, несущих бремя ответственности и постоянно разоблачаемых оппозицией, лишь небольшое число оказалось под судом, и никто не был подвергнут наказанию.

Наши воспоминания не должны вводить нас в заблуждение. Мы проявляли ярость и неистовство, подобно рабам, разбивающим свои цепи. Но сегодня мы

стали свободным народом; и если мы продолжаем им оставаться, если мы смело и открыто строим институты свободы, то скоро станем спокойными и мудрыми, подобно любому свободному народу.

Я не буду здесь останавливаться на доказательстве того момента, что преследование министров должно быть доверено представителям нации, но я хочу подчеркнуть преимущество нашей конституции перед всеми ее предшественницами. Обвинение, преследование, следствие, суд — все может носить публичный характер, тогда как ранее если и не декретировалось, то по крайней мере допускалось, что все эти процедуры должны протекать в обстановке секретности.

Поскольку у людей, облеченных властью, существует постоянная предрасположенность окружать себя тайной, которая, по их мнению, прибавляет им значительности, я воспроизведу некоторые рассуждения, на которые уже ссылался в другой работе*, выступая в пользу публичного характера предъявленных обвинений.

Некоторые утверждают, что публичный характер обвинений отдает во власть неосмотрительных ораторов государственные секреты, что честь министров будет без конца компрометироваться случайными обвинениями, что, наконец, даже если будет доказан ложный характер этих обвинений, они приведут общественное мнение в состояние опасного волнения.

Но государственные секреты не столь многочисленны, как это любят утверждать шарлатаны и как этому любят верить невежды: секретность необходима лишь в редких и непродолжительных обстоятельствах, в отношении какой-либо военной экспедиции, например, или в отношении решающего альянса в эпоху кризиса. В прочих случаях власть стремится к секретности только для того, чтобы действовать без помех, и большей частью, совершив это действие, она сожалеет о помехах, которые бы ее чему-нибудь научили.

В тех случаях, когда секретность необходима, вопросы, относящиеся к области ответственности, не замедлят ее развеять. Ведь их начинают обсуждать лишь

* De la responsabilité des ministres. Ch. IX.

тогда, когда породивший их предмет стал достоянием общественности.

Право заключать мир или объявлять войну, проводить военные операции, переговоры, подписывать договоры принадлежит исполнительной власти. И лишь после того, как война развязана, с министров можно спросить за законность ее характера. Только после того, как предпринятая операция имела успех или была провалена, можно требовать отчета о ней у министров. И только по заключении договора можно изучить его содержание.

Таким образом, дискуссии открываются по уже известным вопросам. Они не раскрывают никаких фактов. Они лишь позволяют взглянуть на ставшие публичными факты с иной точки зрения.

Честь министров требует не столько того, чтобы выдвинутые против них обвинения были облечены покровом тайны, скорее, она настоятельно просит открытого проведения расследования. Министр, оправданный втайне, никогда не является полностью оправданным. Обвинения невозможно скрыть. Диктующие их амбиции приводят инициирующих обвинения к полному обнародованию последних. Но будучи упомянутыми даже в самых малозначимых разговорах, они приобретают то значение, которое пытается вложить в них страсть. Истина не допускается к их опровержению. Вы не сможете помешать обвинителю говорить, вы сможете помешать только тому, чтобы он получил ответ. Противники министров пользуются покровом, скрывающим то, что есть на самом деле, чтобы заставить поверить в то, чего нет. Полное и публичное разъяснение, при помощи которого институты нации просветили бы весь народ относительно поведения обвиняемого министра, быть может, могло бы доказать одновременно умеренность и невиновность последнего. Тайные дискуссии позволяют витать над ним обвинению, которое было отвергнуто тайным расследованием, над ним довлеет видимость сговора, слабости или пособничества.

Те же рассуждения применимы и к потрясениям в общественном мнении, которых вы опасаетесь. Наделенный властью человек не может быть обвинен без

того, чтобы это мнение пробудилось и любопытство было возбуждено. Избежать этого невозможно. Поэтому нужно успокоить первое, а это можно сделать, лишь удовлетворив второе. Невозможно предотвратить опасности, скрывая их от глаз. Они, напротив, лишь возрастают от того мрака, коим их окружают. Предметы увеличиваются в объеме с наступлением сумерек. В темноте все кажется враждебным и огромным.

Опрометчивые речи, необоснованные обвинения сами собой утрачивают силу, доверие к себе и в конце концов затихают только под воздействием мнения, которое осуждает и клеймит их. Они представляют опасность только при деспотизме или при демагогических правлениях, не имеющих конституционного противовеса: при деспотизме в силу того, что они распространяются вопреки ему, они благоприятствуют всему, что ему противостоит; в демагогоческих режимах в силу того, что все власти объединены и смешаны, как при деспотизме, абсолютным властителем является тот, кто завладевает властью, подчиняя себе толпу при помощи слова. Это тот же деспотизм, только под другим именем. Но когда власти уравновешивают друг друга, когда они удерживаются друг при помощи друга, слово не имеет уже того скорого и неумеренного воздействия.

В Англии в палате общин также есть краснобаи и неугомонные. И что из этого? Они говорят; их не слушают, и они замолкают. Интерес, проявляемый собранием к собственному достоинству, научает собрание обуздывать своих членов таким образом, что не возникает необходимости затыкать им рот. Народ учится также и на оценке яростных проповедей и необоснованных обвинений. Так позвольте же ему получить свое образование. Оно должно иметь место. Приостанавливая, мы лишь замедляем его. Понаблюдайте, если пожелаете, за его непосредственными результатами. Пусть закон предотвращает волнения, но вы убедитесь, что гласность является самым надежным средством их предотвращения, она привлечет на вашу сторону большинство нации, которое в противном случае вы должны были бы подавлять, быть может, бороться против него. Это большинство оказывает вам помощь.

Вы вправе иметь помощника, но для того, чтобы получить от него помощь, его не следует держать в неведении, напротив, его следует просветить.

Вы хотите быть уверенным в том, что народ будет мирно настроен? Расскажите ему о его интересах все, что вы можете ему сказать. Чем больше он будет знать, тем более здраво и с тем большим спокойствием он будет судить обо всем. Он испытывает страх перед тем, что от него утаивают, и от этого страха приходит в негодование.

Конституция назначает особый суд для министров. Она использует институт пэрства в качестве судьи министров во всех случаях, когда потерпевший индивид не заявляет себя в качестве обвинителя. Пэры действительно являются единственными судьями, чье образование достаточно, а беспристрастность незыблема.

Предъявление обвинения министрам является по сути дела процессом между исполнительной властью и властью народа. Таким образом, для того чтобы довести его до конца, нужно прибегнуть к услугам суда, чей интерес был бы отличен одновременно от интереса народа и интереса правительства и который бы тем не менее был связан при помощи иного интереса с интересом правительства и интересом народа.

Пэрство объединяет в себе оба эти условия. Его привилегии отделяют от народа индивидов, которым эти привилегии принадлежат. Пэры не могут больше вернуться к общему уделу. Таким образом, их интерес отличен от народного интереса. Но поскольку количество пэров всегда выступает препятствием к тому, чтобы большинство из них могло принимать участие в правительстве, то большинство это обладает интересом, отличным от интереса правительства. В то же время пэры заинтересованы в свободе народа: если свобода народа будет уничтожена, то исчезнет и свобода пэров, и их звание. Они заинтересованы также и в поддержке правительства, поскольку в том случае, если правительство будет свергнуто, вместе с ним рухнет и институт пэрства.

Таким образом, палата пэров в силу своей независимости и нейтральности является подходящим судьей для министров. Обладая положением, которое естест-

венным образом внушает занимающим его консервативный дух; подготовленные своим воспитанием к пониманию крупнейших государственных интересов; допущенные к секретам управления благодаря исполняемым ими функциям, пэры получают от своего социального положения еще и значимость, наделяющую их зрелостью анализа и мягкостью нравов, которая, располагая их к осторожности и обходительности, дополняет фактический закон утонченной скрупулезностью этикета.

Призванные надзирать за использованием власти и действиями государственной администрации и в той или иной степени допущенные к деталям переговоров, поскольку по окончании оных министры обязаны давать о них отчет, представители нации, на первый взгляд, подобно пэрам, также кажутся в состоянии решить, заслуживают ли министры одобрения либо осуждения, снисхождения либо возмездия. Но представители нации, избранные на ограниченный отрезок времени и нуждающиеся во внимании своих доверителей, всегда помнят о своем народном происхождении и о своем существовании, связанном с отправлением обязанностей в точно установленные сроки. Такая ситуация ставит их в двойную зависимость — от собственной популярности и от благосклонности народа. Впрочем, чаще всего они призваны выказывать себя антагонистами министров, и уже в силу того, что могут выступать их обвинителями, они не могут быть судьями.

Что же касается обычных судов, то они могут и должны судить министров, повинных в посягательствах на индивидов, но члены судов мало способны высказываться относительно дел, носящих скорее политический, нежели юридический характер; им так или иначе чужды дипломатические познания, знание военных комбинаций, финансовых операций: они имеют лишь поверхностное понимание положения дел в Европе, они изучали лишь кодексы действующих законов, в силу своих повседневных обязанностей они оказываются вынужденными советоваться лишь с мертвой буквой закона и требовать лишь его строгого применения. Утонченный дух юриспруденции проти-

востоит природе крупнейших вопросов, которые следует представлять с государственной, национальной, порой даже европейской точки зрения и в отношении которых пэры должны высказывать свое мнение в качестве высших судей в соответствии со своими образованием, честью и совестью.

Ведь конституция наделяет пэров неограниченной властью не только для того, чтобы охарактеризовать правонарушение, но и для того, чтобы наложить наказание.

На самом деле правонарушения, в которых можно обвинить министров, не состоят ни из одного действия, ни из серии фактических действий, каждое из которых подпадает под точный закон; эти действия усугубляются или смягчаются нюансами, которые нельзя выразить словом и которые тем более не могут быть охвачены законом. Любая попытка составления точного и детального закона об ответственности министров, подобного тому, каким должны быть уголовные законы, неизбежно является иллюзорной; совесть пэров — правомочный судья, и эта совесть должна иметь возможность свободно выносить приговор относительно возмездия, как и относительно преступления.

Я бы только хотел, чтобы конституция повелела, чтобы никакое позорящее наказание никогда не постигло министров. Позорящие наказания имеют общие неприятные последствия, которые становятся еще более тягостными, когда постигают людей, коих все имели возможность созерцать в блестящей обстановке. Всякий раз, когда закон присваивает себе право распределения почестей или позора, он неумело вторгается в область мнения, а последнее предрасположено требовать собственного превосходства. Поэтому-то и возникает борьба, которая всегда оборачивается в ущерб закону. Эта борьба в особенности должна иметь место, когда речь заходит о политических правонарушениях, в отношении которых мнение обязательно пристрастно. Мы ослабляем моральный дух человека, если от имени власти приказываем ему уважать или презирать кого-либо. Этот недоверчивый и тонкий дух уязвлен насилием, которое пытаются над ним совер-

шить, и в конце концов народ уже не понимает, что должно вызывать уважение, а что — презрение.

Направленные даже в перспективе против людей, которых подобает на время исполнения их обязанностей окружать вниманием и почетом, позорящие наказания в некотором роде заранее унижают этих людей. Вид министра, который должен был бы подвергнуться позорному наказанию, в глазах народа унизит министра, еще пребывающего у власти.

Наконец, род человеческий слишком склонен к попранию падшего величия. Воздержимся же от поощрения этой склонности. То, что после падения министра назовут ненавистью к преступлению, чаще всего будет лишь остатками зависти и презрения к несчастию.

Конституция никак не ограничила право помилования, принадлежащее главе государства. Он может, таким образом, проявлять его и в отношении осужденных министров.

Мне известно, что это положение внесло смятение не в один недоверчивый разум. Монарх, говорят, может приказать своим министрам совершить преступные действия, а затем простить их. Таким образом, утверждением безнаказанности мы поощряем рвение раболепствующих министров и отвагу министров тщеславных.

Для того, чтобы вынести суждение по поводу данного замечания, следует вернуться к первому принципу конституционной монархии, я имею в виду неприкосновенность. Неприкосновенность предполагает, что монарх не может причинить зла. Совершенно очевидно, что эта гипотеза представляет собой законный вымысел, который в действительности не лишает человеческих чувств и слабостей индивида, пребывающего на троне. Но мы поняли, что этот законный вымысел необходим в интересах порядка и даже свободы, поскольку, не будь его, все обернется хаосом и вечной борьбой между монархом и борющимися группировками. Если вы хотя бы на мгновение от него откажетесь, то вновь подвергнетесь всем тем опасностям, которых старались избежать. Но вы тем не менее отказываетесь от него, ограничивая прерогативы мо-

нарха под предлогом ограничения его намерений, ведь это означает, что намерения его могут быть подозрительными. В этом случае вы разрушаете гипотезу, на которой в общественном мнении основана его непогрешимость. И тогда принцип конституционной монархии оказывается под ударом. В соответствии с этим принципом за действиями власти всегда нужно видеть только министров; они существуют для того, чтобы отвечать за эти действия. Монарх располагается в башне, которая стоит особняком и является священной; она не доступна ни вашим взглядам, ни вашим сомнениям. Монарх не имеет ни намерений, ни слабостей, он не может быть заодно с министрами, потому что он не является человеком*, это — нейтральная и абстрактная власть, которая выше всех мирских бурь.

И если метафизику обвиняют в конституционной точке зрения, с позиций которой я рассматриваю этот вопрос, я охотно опущусь на почву практического применения морали и скажу также, что отказ от предоставления главе государства права помилования провинившихся министров представляет собой и другую помеху, которая будет тем более серьезной, чем более серьезны будут сами основания для ограничения прерогатив государя.

На самом деле может случиться так, что, прельщенный безграничной любовью к власти, государь будет побуждать своих министров к преступным козням, направленным против конституции или свободы. И вот интриги раскрыты, преступные чиновники изобличены и обвинены; приговор вынесен. Что делаете вы, оспаривая у государя право приостановить занесенный меч, готовый поразить орудия тайной воли, и принуждая его подтвердить необходимость возмездия? Вы ставите его в положение, когда он должен выбирать

* Сторонники деспотизма утверждали, что король не является человеком, но из этого они заключали, что он способен делать все и что его воля подменяет собой законы. Я утверждаю, что конституционный король не является человеком, но только потому, что он ничего не способен сделать без своих министров, а его министры ничего не способны сделать без законов.

между своим политическим долгом и самыми святыми обязанностями признательности и привязанности. Неправильно употребленное усердие тем не менее является усердием, и люди не могут наказывать принятую ими же самими преданность, не проявив при этом неблагодарности. Таким образом, вы вынуждаете государя к трусости и коварству; вы заставляете его испытывать угрызения совести, вы унижаете его в его собственных глазах, вы роняете его в глазах его собственного народа. Именно так поступили англичане, заставив Карла I подписать указ о казни Страффорда[12], и королевская власть, которой был нанесен ущерб, вскоре была разрушена.

Если вы желаете сохранить одновременно монархию и свободу, отважно боритесь за отстранение министров от занимаемой должности, но уважайте в государе человека, проявив к нему уважение как к монарху. Уважайте в нем его сердечные привязанности, ибо сердечные привязанности всегда достойны уважения. Не подозревайте его в ошибках, которые конституция принуждает вас игнорировать. В особенности не заставляйте исправлять их строгостью, которая, будучи направленной против слепо преданных служителей, обернется преступлением.

И заметьте, что если мы представляем собою нацию, если у нас есть свободные выборы, то подобные заблуждения никогда не опасны. Оставшись безнаказанными, министры тем не менее окажутся лишенными своего оружия. И даже если государь, используя свою прерогативу, проявит к ним милость и они получат прощение, преступление будет тем не менее признанным, и власть ускользнет из рук провинившегося, поскольку тот не сможет ни продолжать управлять государством, большинство граждан которого обвиняет его, ни завоевать на новых выборах новое большинство, ибо во время этих выборов народное мнение в рамках собрания заменит обвиняющее большинство.

Но если бы мы не были нацией, если мы не смогли провести свободные выборы, все наши предосторожности оказались бы напрасными. Мы никогда не

употребили бы конституционные средства, которые подготовили. В самые страшные периоды мы могли бы одержать триумф при помощи жестокого насилия; но мы бы никогда не смогли надзирать, обвинить или осудить министров. Мы смогли бы только подвергнуть их проклятию уже тогда, когда они будут смещены.

Когда министр уже осужден, когда он уже претерпел наказание, вынесенное ему по приговору, либо король помиловал его, на будущее его следует оградить от разного рода преследований, которые победившие партии под разными предлогами направляют против побежденных. Для оправдания жестких мер эти партии пользуются излишним страхом. Они знают, что страх этот лишен основания и что предполагать, будто бы человек является горячим сторонником павшей власти, означало бы слишком уважать его. Но под покровом малодушия скрывается ненависть, и для того, чтобы, не испытывая стыда, измываться над беззащитным человеком, его нужно представить как объект, вызывающий ужас. Я хотел бы, чтобы закон поставил непреодолимое препятствие на пути всех этих запоздалых суровых мер и чтобы, покарав виноватого, впоследствии он взял бы его под свою защиту. Я хотел бы, чтобы было установлено, что министр, приняв свое наказание, не мог быть сослан, подвергнут заключению либо удален от своей семьи. Я не знаю ничего более постыдного, чем эти продолжающиеся проскрипции. Они либо приводят нации в возмущение, либо развращают их. Они примиряют с жертвами все сколько-нибудь возвышенные души. Некий министр, чьему наказанию аплодировало общественное мнение, оказывается предметом общей жалости, если законное возмездие усиливается произволом.

Из всех этих положений следует, что министры чаще всего будут разоблачены, порой обвинены, но почти никогда не будут наказаны. На первый взгляд, людям, полагающим, что проступки министров, как и проступки индивидов, совершенно справедливо и абсолютно необходимо должны быть подвергнуты самому строгому и реальному возмездию, такой результат

может показаться недостаточным. Я не разделяю подобного мнения. По моему мнению, ответственность должна преследовать две цели: лишение виновных министров власти и поддержание в нации духа аналитичности, интереса, обычного для сохранения государственного устройства, постоянного участия в делах, одним словом, живого ощущения политической жизни при помощи гласности дискуссий, свободы прессы, применимой к анализу всех правительственных действий.

Таким образом, в отношении ответственности, речь идет не о том, чтобы, как обычно, следить за безопасностью невиновных и за тем, чтобы преступление никогда не оставалось безнаказанным. В вопросах подобного рода преступление и невиновность редко являются совершенно очевидными. Здесь нужно только, чтобы поведение министров легко могло быть подвергнуто самому тщательному исследованию, и в то же время министры должны иметь множество средств, дабы избежать последствий такого расследования, если их преступление, даже будучи доказанным, не настолько ужасно, чтобы не заслужить никакого прощения, и не только в соответствии с реальными законами, но и в глазах всеобщей справедливости, более снисходительной, нежели писаные законы.

Такая мягкость в практическом применении принципа ответственности является лишь необходимым и справедливым следствием общего принципа, на котором основана вся эта теория.

Я показал, что она никогда не является полностью свободной от известной степени произвола; произвол же в любых обстоятельствах является серьезной помехой.

Если он касается простых граждан, ничто не может его оправдать. Договор граждан с обществом прост и формален. Они согласились блюсти законы, общество пообещало им их разъяснять. Если они остаются верными своим обязательствам, общество не может ничего более от них требовать. Они имеют право ясно понимать, каковыми будут последствия их действий, и каждое из этих действий должно рассматриваться в от-

дельности и судиться в соответствии с точным текстом закона.

Министры же заключили с обществом иной договор. Они добровольно и в надежде на будущую славу, могущество или состояние взяли на себя обширные и сложные обязанности, образующие компактное и неделимое целое. Ни одно из правительственных действий не может рассматриваться в отдельности. Министры, таким образом, дали согласие на то, чтобы об их поведении судили в целом. Но ведь это целое не подпадает ни под один точный закон. Следовательно, в отношении них должна быть проявлена власть, зависящая от личного усмотрения судей.

Но скрупулезной справедливостью общества, его неукоснительным долгом является привнесение в отправление министрами их обязанностей всех смягчающих мер, какие подразумевает безопасность государства. Отсюда вытекает необходимость в особом суде, составленном таким образом, чтобы его члены были неподвластны народным страстям. Отсюда — возможность этого суда высказывать свое мнение, лишь руководствуясь собственной совестью, и выбирать либо смягчать наказание. Отсюда, наконец, и возможность прибегнуть к милосердию государя, которое обеспечено для всех его подданных, но которое в силу личных отношений в большей степени распространяется на министров, чем на кого-либо иного.

Да, министры будут претерпевать наказание в редких случаях. Но если устройство общества свободно, а нация — деятельна, то какое значение имеет наказание министра, коль скоро тот в соответствии с торжественным решением суда был низведен до ранга простого обывателя и обладает властью не более, чем простой гражданин, ибо его повсеместно преследует и сопровождает осуждение? Ведь свобода так или иначе не пострадала от его действий, общественный дух претерпел спасительное потрясение, которое его оживляет и очищает, а общественная мораль получила наглядную дань уважения власти, введенной в ее собственные границы и заклейменной приговором морали.

Гастингс[13] не был наказан, но этот угнетатель Индии оказался на коленях перед палатой пэров, и голоса Фокса, Шеридана и Берка и столь долго попираемое чувство человеческой мести пробудили в душе английского народа чувство справедливости и вынудили меркантильный расчет умерить свою алчность и прекратить жестокости.

Лорд Мелвил[14] также не был наказан, и я не намерен оспаривать его невиновность. Но пример человека, состарившегося в привычной сноровке и ловкости спекуляций и тем не менее разоблаченного вопреки своей искусности, осужденного вопреки мощной поддержке, напоминал людям, идущим тем же путем, что и в беспристрастности есть польза, а в справедливости — безопасность.

В отношении лорда Норта даже не было вынесено обвинения. Но угрожая ему обвинением, противники вопроизвели принципы конституционной свободы и провозгласили право каждого из институтов государства исполнять лишь те обязанности, которые он для себя избрал.

Наконец, еще более давний пример: для преследователей Уилкса[15] наказание ограничилось одним лишь штрафом; но развернутое преследование и суд укрепили гарантии индивидуальной свободы и упрочили аксиому, в соответствии с которой дом каждого англичанина является его убежищем и его крепостью.

Таковы преимущества ответственности, а не каких бы то ни было заключений под стражу или казней.

Ни смерть, ни даже пленение человека никогда не были необходимыми условиями спасения народа, поскольку спасение народа заключено в нем самом. Нация, которая испытывает страх перед жизнью или свободой министра, лишенного своей власти, есть презренная нация. Она походит на рабов, убивавших своих хозяев из страха, что те вновь возникнут перед ними с кнутом в руке.

Если же строгие меры против министров, объявленных виновными, хотят сделать примером для будущих министров, то я бы сказал, что боль от обвинения, которое отдастся эхом по всей Европе, позор

суда, лишение выдающейся должности, одиночество, которое последует за немилостью и возбудит угрызения совести, достаточно строгое наказание для честолюбия и гордости и достаточно поучительный урок.

Следует заметить, что снисходительность в отношении министров в том, что касается их ответственности, никоим образом не наносит вреда правам и безопасности индивидов, ведь проступки, касающиеся этих прав и угрожающие безопасности, подчинены иной формальной процедуре, судятся другими судьями. Министр может заблуждаться относительно законного характера и полезности войны; он может заблуждаться относительно необходимости уступки в договоре; он может ошибиться в финансовых операциях. Поэтому его судьи должны быть наделены неограниченной властью, чтобы оценить его мотивы, т.е. взвесить все неопределенные вероятности его поступка. Но министр не может ошибаться, когда он незаконно покушается на свободу гражданина. Он знает, что совершает преступление. Он знает это так же хорошо, как и любой индивид, который был бы повинен в том же насильственном действии. Поэтому снисходительность, оправданная при рассмотрении политических вопросов, должна отступить, когда речь идет о незаконных или произвольных действиях. В этом случае в силу вступают общие законы, решение должны выносить обычные суды, наказание должно быть точно определенным, а исполнение — неукоснительным.

Несомненно, король может отменить наказание. Он может сделать это и в данном случае, как и во всех прочих. Но его милосердие в отношении виновного совершенно не лишает потерпевшего индивида права на возмещение убытков, которое было определено судом*.

---

* Я не счел необходимым отвечать здесь на упрек в медлительности, адресованный процедурам, предписанным конституцией в деле обвинения и осуждения министров. Весьма странная спешка, если считать сорок дней слишком долгим сроком, когда речь идет об изучении наиболее сложных вопросов и вынесении решения относительно судьбы людей, державших в своих руках судьбу Европы.

Глава десятая

О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ МИНИСТРОВ НЕДОСТОЙНЫМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ

В представленных в минувшем году проектах относительно ответственности министров формальное обвинение предлагалось заменить внешне более мягким средством в тех случаях, когда дурное управление нанесло ущерб безопасности государства, достоинству короны или свободе народа, при этом, однако ж, не нарушив непосредственным образом ни одного действующего закона. Было высказано пожелание наделить представительные собрания правом провозглашать министров недостойными общественного доверия.

Но я бы прежде всего заметил, что такое провозглашение недоверия в отношении министров имеет место всякий раз, когда они утрачивают большинство в собраниях. Когда у нас будет то, чего мы до сих пор не имеем, но то, что нам совершенно необходимо, — я имею в виду действующее согласованно правительство, прочное большинство и оппозицию, четко отделенную от этого большинства, — ни один министр не сможет удержаться, если не будет иметь за собой наибольшее число голосов, если только он не будет взывать к народу при помощи новых выборов. И тогда новые выборы станут пробным камнем доверия к этому министру. Таким образом, в предлагаемом провозглашении недоверия вместо обвинения я вижу лишь подтверждение факта, который и так уже доказан, не будучи провозглашенным. Но, кроме того, я вижу, что по самой своей природе это провозглашение недоверия будет щедро расточаться только из-за того, что оно предстанет менее торжественным и покажется менее строгим, нежели формальное обвинение. Если вы опасаетесь, что сами обвинения будут выдвигаться слишком часто, то это оттого, что вы предполагаете, будто собрание взбунтуется. Но если собрание действительно взбунтуется, то оно скорее будет склонно к тому, чтобы заклеймить министров, нежели обвинить

их, поскольку оно сможет заклеймить их, не компрометируя, при помощи провозглашения недоверия, которое министров ни к чему не обязывает, которое, не призывая ни к какому расследованию, не дает ни одного доказательства, которое, наконец, представляет собой лишь крик мести. Если же собрание не является мятежным, то зачем нужно изобретать формулировку, бесполезную при вышеозначенной гипотезе и опасную при всякой другой?

Во-вторых, когда министры обвинены, судить их поручено суду. Этот суд самим своим приговором, каким бы тот ни был, восстанавливает гармонию между правительством и народными институтами. Но не существует никакого суда, который бы вынес приговор относительно объявления недоверия, о котором идет речь. Вынесение недоверия является актом враждебности, тем более досадным в своих возможных последствиях, что оно не имеет точного и обязательного результата. Король и представители народа будут противопоставлены друг другу, и вы лишитесь огромного преимущества в лице нейтральной власти, которая могла бы рассудить их.

В-третьих, вынесение недоверия — это прямое посягательство на королевскую прерогативу. Оно оспаривает у государя свободу его выбора. Совсем иначе дело обстоит с обвинением. Министры могут совершить преступление, монарх же совершенно независимо может ошибочно назначить их еще до того, как они совершили проступок. Когда вы выносите обвинение в адрес министров, то вы выступаете только против них; но когда вы объявите их недостойными общественного доверия, то виновным окажется уже государь — либо в своих намерениях, либо в недостаточном знании вопроса, что никогда не должно иметь места при конституционном правлении.

Сущностью королевской власти при представительной монархии является независимость в назначении на должность, которая входит в обязанности монарха. Король никогда не действует от своего собственного имени. Будучи помещенным на вершину всех властей, он создает одни из них, умеряет другие, управляя тем

самым политическим действием, смягчая его, но не принимая в нем участия. Именно отсюда и проистекает его непогрешимость. Поэтому-то и следует оставить за ним эту прерогативу, не затрагивая ее и проявляя к ней уважение. Никогда не следует оспаривать его право выбора. Собрания не должны присваивать себе право смещения с должности, право, упорство в отстаивании которого подразумевает в конечном итоге и право назначения.

Я полагаю, что меня нельзя обвинить в чрезмерной благосклонности к абсолютной власти. Но я бы хотел, чтобы королевская власть была наделена всем могуществом, окружена всем почитанием, которые необходимы ей для поддержания процветания народа и достоинства престола.

Пусть дискуссии в собраниях будут совершенно свободными; пусть их вдохновляет и просвещает помощь печати, лишенной каких бы то ни было оков; пусть оппозиция использует преимущества самой смелой дискуссии; не отказывайте ей ни в каком конституционном средстве для лишения правительства его большинства в собрании. Но не прокладывайте для нее путь, на который, вступив однажды, она будет беспрестанно устремляться. Предлагаемое вами провозглашение недоверия обернется то непоследовательной формулировкой, то оружием в руках борющихся группировок.

Добавлю, что для самих министров было бы лучше иногда иногда быть обвиненными, быть может, в легкой форме, нежели постоянно находиться под угрозой расплывчатого объявления недоверия, от которого их очень трудно оградить. В устах защитников министра простое выражение «Объявите его виновным!» — сильный аргумент.

Я уже говорил, и повторяю: доверие, которым пользуется министр, или недоверие, которое он внушает, доказываются существованием большинства, либо поддерживающего министра, либо его отвергающего. Это — законное средство, это проявление конституционности. И было бы излишним искать чего-то иного.

Глава одиннадцатая

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИЗШИХ ЧИНОВНИКОВ

Установить ответственность министров еще недостаточно: если эта ответственность не начинает действовать одновременно с непосредственным исполнителем действия, которое выступает ее предметом, то она и не существует вовсе. Она должна довлеть надо всеми звеньями конституционной иерархии. Если нет законного пути вынесения обвинения в адрес всех чиновников, каждый из который может его заслуживать, то пустая видимость ответственности — лишь ловушка, губительная для тех, кто готов в нее поверить. Если вы наказываете только министра, отдающего незаконный приказ, но не орудие, которое этот приказ исполняет, то вы возносите возмездие столь высоко, что зачастую его невозможно достичь: вы поступаете подобно человеку, который предписывает подвергнувшемуся нападению наносить обидчику удары только по голове, но не по рукам под предлогом того, что рука является лишь слепым инструментом, тогда как голова есть средоточие воли, а следовательно, и преступления.

Но, возражают нам, если низшие чиновники могут быть в определенных обстоятельствах подвергнуты наказанию за свое послушание, то вы вменяете им в обязанность судить о мерах правительства еще до того, как они начали содействовать их исполнению. В силу одного только этого любое действие может быть запутано. Где же найти чиновников, если их послушание представляет для них опасность? В какое беспомощное положение ставите вы всех тех, на кого возложено управление? В какую неуверенность повергаете вы тех, кому доверено исполнение?

Прежде всего я бы ответил так: если вы предписываете всем исполнителям высшей воли абсолютный долг неявного и пассивного повиновения, вы создаете в человеческом обществе орудия произвола и угнетения, которые слепая либо жестокая власть может пробудить когда угодно. Какое же из двух зол является более страшным?

Я полагаю необходимым вернуться здесь к некоторым более общим моментом, определяющем природу и возможности пассивного повиновения.

Благодарение небесам, подобное повиновение, каким нам его расхваливают и рекомендуют, совершенно недосягаемо. Даже в воинской дисциплине это пассивное повиновение имеет свои границы, установленые самой природой вещей вопреки всем софизмам. Неверно утверждать, что военные люди должны быть машинами и что разум солдата — в приказах его капрала. Должен ли солдат по приказу своего нетрезвого капрала выстрелить в капитана? Таким образом, солдат должен различать, трезв его капрал или пьян; он должен осознавать, что капитан представляет собой власть, высшую по отношению к капралу. Вот вам разум и способность к анализу, которые требуются от солдата. Должен ли капитан по приказу полковника вместе со своею ротою, столь же послушной, как и он сам, арестовывать военного министра? Вот вам пример разумности и способности к анализу, требуемых от капитана. Должен ли полковник по приказу военного министра поднять руку на личность главы государства? Это уже разумность и способность к анализу, требуемые от полковника*. Превознося пассивное повиновение, мы не думаем о том, что чересчур покорные орудия могут попасть в любые руки и быть обращены

---

* Против моего мнения относительно пассивного повиновения выдвигались рассуждения, которые я считаю полезным здесь воспроизвести, поскольку, на мой взгляд, они добавляют очевидности к принципам, которые я пытался установить.

Я задавал вопрос, *должен ли солдат по приказу капрала выстрелить в капитана.* Мне отвечали: *совершенно очевидно, что солдат в силу того же принципа повиновения испытывает к капитану большее уважение, нежели к капралу.* Но я также говорил: *солдат должен понимать, что капитан является более высокой властью, чем капрал.* Разве это не та же самая мысль? Быть может, вас пугает слово понимание? Но если солдат совершенно не понимает различия в чинах, разделяющих двух человек, равным образом призванных управлять им, то как он сможет применить принцип подчинения? Для того, чтобы знать, что одного из двоих он обязан уважать больше, он должен осознавать разделяющую их дистанцию.

против первых своих господ, что разум, подталкивающий человека к анализу, служит ему также и для различения права от силы, а также того, кому принадлежит управление, от того, кто его узурпирует.

Пусть в качестве общего положения дисциплина будет необходимой основой всякой военной организации, пусть пунктуальность в исполнении полученных приказов будет обязательным средством любой гражданской организации — никто это не ставит под сомнение. Но данное правило имеет свои пределы: эти пределы не поддаются описанию, ибо невозможно предвидеть все случаи, которые могут представиться, но они осознаются, и разум каждого человека предупреждает о них. Человек является судьей в этом вопро-

---

Я говорил, *что поскольку в соответствии с общим положением дисциплина является необходимым основанием всякой военной организации и что если это правило имеет свои границы, то границы эти не могут быть описаны, они должны ощущаться.* Что же мне возражали? *Что подобные случаи редки и что они обозначаются внутренним чувством, а также что они не составляют препятствия для общего правила.* Не считаете ли вы, что здесь имеется не просто сходство принципов, но их дословное повторение? Не является ли *внутреннее чувство* эквивалентом выражения *границы, которые не могут быть описаны, но должны ощущаться!* И разве *общее правило* представляет собой что-то иное, нежели *общее положение*?

Я говорил также, что *жандарм или офицер, способствовавший незаконному задержанию гражданина, не может быть оправдан приказом министра.* Заметьте: *незаконному задержанию.* Что же мне возражали? *Что низшие чины должны различать лишь две вещи.* Попутно взвесьте это выражение: *различать* две вещи. Значит, когда я утверждаю, что *анализ* неизбежен, то я прав, поскольку защитники пассивного повиновения также возвращаются к этому понятию, хотя и не используют его. Эти две вещи, которые нужно различать, суть: *знание того, действительно ли отданный приказ происходит от власти, от которой они зависят, и действительно ли выдвинутое требование применимо к вещам, касающимся обязанностей того, кто это требование выдвинул.* Это как раз то, о чем я спрашивал. Вы делаете вид, будто смешиваете задержание невиновного с незаконным арестом. Невиновный может быть арестован на очень законных основаниях, если его в чем-то подозревают. Исполнитель приказа на арест, будь то военный или гражданский, не должен размышлять, действительно ли предмет полученного им приказа заслуживает задержания.

се, и притом, в силу необходимости, единственным судьей: он выступает здесь судьей на свой страх и риск. И если он ошибается, то несет за это наказание. Но невозможно сделать так, чтобы человек мог стать абсолютно чуждым анализу, обойтись без разума, которым природа наделила его, дабы он мог поступать правильно, и от употребления которого его не может освободить ни одна профессия*.

Конечно же, вероятность получить наказание за свое повиновение порой будет повергать низших чиновников в состояние мучительной неопределенности.

Его интересует лишь, чтобы приказ носил законный характер, т.е. чтобы он происходил от власти, которая имеет право такой приказ отдать, и чтобы он происходил в соответствии с предписанными формальностями. Такова моя теория, но это также и теория моих так называемых оппонентов. Поскольку они заявляют об этом собственными словами: *Жандарм или судебный исполнитель... никогда не должны заниматься выяснением того, получили ли они задание от компетентной или не компетентной власти, соответствует это задание или противоречит обычному ходу вещей и употребимым процедурам правосудия и управления. За исключением этого они будут исполнять с закрытыми глазами полученные приказы, и будут поступать правильно.* Конечно же, они будут поступать правильно. Кто с этим спорит? Но разве для того, чтобы узнать, является ли власть, отдающая приказ, компетентной и действительно ли приказ соответствует порядку вещей и процедурам правосудия, не нужно анализировать, сравнивать, рассуждать? Я делаю это замечание не для того, чтобы ответить на давно забытую газетную статью, но для того, чтобы доказать, что положение о пассивном повиновении не может быть выдвинуто и что его предполагаемые защитники вынуждены отказаться от него, что напрасно они помещают человеческий разум вне дел человеческих.

* Было бы неплохо заметить, что у нас во Франции нет недостатка в еще существующих законах, которые, назначая наказания исполнителям незаконных приказаний, не исключая, но даже формально включая военных, тем самым принуждают этих военнослужащих сравнивать с данными законами приказания, полученные от высших чинов. Статья 165 закона от 13 жерминаля VI года гласит: «Любой офицер, унтер-офицер или жандарм, который отдаст, подпишет, исполнит или заставит исполнить приказ арестовать индивида или действительно задержит его, чтобы препроводить к офицеру полиции, если только этот человек не застигнут на месте преступления, либо за исключением случаев, предусмотренных законом, будет подвергнут уголовному

Для них удобнее быть старательными автоматами или учеными собаками. Но в любом человеческом деле присутствует неопределенность. Для того, чтобы избавиться от неуверенности, человек должен перестать быть моральным существом. Рассуждение есть лишь сравнение аргументов, возможностей и шансов. Тот, кто говорит о сравнении, говорит и о возможности ошибки и, следовательно, о неуверенности. Но в прочно обустроенной политической организации от неопределенности есть лекарство, которое не только предупреждает ошибки индивидуального выбора, но и защищает человека от слишком губительных последствий этих ошибок, когда они не носят преступного характера. Таким лекарством, возможность пользования которым должна быть обеспечена для чиновников администрации, равно как и для всех граждан, является суд присяжных. Суд присяжных совершенно необходим во всех вопросах, имеющих моральную подоплеку и обладающих сложной природой. Например, свобода печати никогда не смогла бы существовать без суда присяжных. Только присяжные могут определить, яв-

---

преследованию и наказан как виновный в преступлении незаконного задержания». Таким образом, жандарм или офицер, прежде чем повиноваться, оценивают, действительно ли индивид, которого они должны арестовать, застигнут на месте преступления, либо здесь имеет место иной случай, предусмотренный законом. В соответствии со статьей 166 то же наказание назначается и за содержание индивида под стражей в месте, по закону либо по общему признанию не предназначенном для того, чтобы служить тюрьмой либо домом правосудия. Таким образом, жандарм или офицер должны оценить, действительно ли то место, куда они должны препроводить арестованного индивида, является признанным законом или общественностью местом заключения. Статья 169 гласит, что за исключением тех определенных законом случаев, когда индивид застигнут на месте преступления, жандармерия может арестовать человека только на основании либо постановления об аресте, либо ордера на арест в соответствии с предписанной процедурой, либо приказа об аресте, либо обвинительного акта или обвинительного заключения. Я полагаю, что это достаточное количество случаев, когда вооруженная сила призвана советоваться с законами, а для того, чтобы советоваться с законами, она должна использовать свой разум.

ляется или нет известная книга в известных обстоятельствах отклонением от закона. Писаный закон не способен проникнуть во все нюансы, чтобы охватить их все. Эти нюансы может оценить общий разум, естественный здравый смысл. Точно так же писаный закон крайне недостаточен в тех случаях, когда требуется решить, дурно или хорошо поступил тот или иной находящийся в подчинении у министра чиновник, ослушавшийся или исполнивший приказ. Здесь также должен судить здравый смысл. Таким образом, в подобных случаях необходимо прибегать к суду присяжных — единственных выразителей здравого смысла. Только они способны взвесить все мотивы, которыми руководствовались эти чиновники, а также определить степень их невиновности, их заслуг, а также преступный характер их сопротивления или содействие.

Не надо бояться, что орудия власти, рассчитывая на снисходительность судей в целях оправдания собственного неповиновения, будут излишне склонны к непослушанию. Их естественной склонностью, подкрепленной также интересом и самолюбием, всегда выступает повиновение. Залог тому — благосклонность власти. У нее есть столько тайных средств, чтобы возместить неудобства, связанные с усердием! Если бы этот противовес и имел какой-либо недостаток, то им была бы недейственность; но это не основание, чтобы данный противовес устранять. Сами присяжные не будут с преувеличенным рвением защищать независимость государственных чиновников. Потребность в порядке вообще внутренне присуща человеку, у людей же, исполняющих государственные обязанности, эта склонность подкрепляется чувством важности и значимости, которым они себя окружают, демонстрируя свою скрупулезность и строгость. Здравый смысл присяжных легко усвоит, что в целом субординация необходима, и их решения, как правило, будут склоняться в пользу субординации.

Меня поражает одно соображение. Мне скажут, что я позволяю присяжным идти на произвол; но вы

наделяете такой же властью министров. Повторяю: совершенно невозможно все упорядочить, все написать, превратить жизнь и отношения людей в отредактированный заранее протокол, куда остается только вписать имена и который освобождает на будущее все последующие поколения от всякого анализа, всякого мышления, всякого использования разума. И вот, если в человеческих делах так или иначе остается нечто, несущее в себе произвол, то я спрашиваю, не лучше ли было бы, чтобы отправление власти, которой требует эта зависимость от личного усмотрения, было доверено людям, которые употребили бы эту власть только в одних обстоятельствах, которые не были бы ни развращены, ни ослеплены привычкой к господству и которые были бы также заинтересованы в свободе и порядке, — не лучше ли было бы доверить эту власть таким людям, чем вы доверите ее тем, кто постоянно заинтересован в частных прерогативах.

Повторяю еще раз: вы не сможете поддерживать проповедуемый вами принцип пассивного повиновения, не ограничивая его. Иначе он подверг бы опасности все то, что вы хотите сохранить; он представлял бы угрозу не только свободе, но и власти, не только для тех, кто должен повиноваться, но и для тех, кто отдает приказания, не только для народа, но и для монарха. Вы также не сможете точно обозначить каждый случай, когда повиновение перестает быть долгом и превращается в преступление. Вы скажете, что любой приказ, противоречащий установленной конституции, не должен быть приведен в исполнение? Но вы же вопреки самим себе обратились к анализу того, что противоречит установленной конституции. Анализ же для вас является тем замком Стрижилина, в который рыцари всегда возвращались несмотря на их попытки отдалиться от него. Итак, кому же будет поручен этот анализ? Я полагаю, что не власть отдала тот приказ, который вы хотите проанализировать. Таким образом, вы должны будете создать средство для вынесения решения в каждом случае, притом лучшее из средств — это доверить право выносить решение наиболее бес-

пристрастным людям, чьи личные интересы в наибольшей степени совпадают с интересами общественными. Такими людьми выступают присяжные.

Ответственность чиновников признается в Англии начиная с самого низшего эшелона власти и вплоть до самых высоких кругов, причем таким образом, что не оставляет никаких сомнений. Это доказывается одним весьма любопытным фактом, и я привожу его с тем большей охотой, что человек, хваставшийся в этой ситуации принципом ответственности всех чиновников, будучи неправым в частном вопросе, способствовал тому, чтобы значение принципа ответственности проявилось еще более явно.

Во время спорного избрания Уилкса один из лондонских чиновников, понимая, что палата общин в ряде решений превысила свои полномочия, заявил, что ввиду того, что в Англии не существует более легитимной палаты общин, отныне выплата налогов в соответствии с законами, принятыми ставшей нелегитимной властью, не является обязательной. Поэтому он отказался платить все налоги, позволил сборщику наложить арест на движимое имущество, а затем обвинил сборщика в незаконном нападении на жилище и захвате имущества. Тот факт, что сборщик может подвергаться наказанию, если власть, от имени которой он действует, не является более законной, ни у кого не вызывал сомнений: и председатель суда, лорд Мэнсфилд, настойчиво добивался только доказательства присяжным, что палата общин не утратила своего легитимного характера; откуда следует, что если бы сборщик был убежден в том, что выполнял приказания незаконные либо вытекающие из нелегитимного источника, он был бы наказан, хотя и выступал только орудием министра финансов и соответственно отвечал только перед этим министром*.

* Я мог привести в том же деле и другой факт, еще более значительный. Один из четырех министерских служащих, преследовавших Уилкса, вместе с четырьмя государственными посланниками захватили все бумаги последнего и арестовали еще четыре или пять человек как его сообщников; Уилксу удалось получить

До сих пор наши уложения содержали статью, разрушающую ответственность чиновников, и королевская хартия Людовика XVIII заботливо ее сохранила. В соответствии с этой статьей невозможно получить компенсацию ни за один проступок, совершенный самым незначительным носителем власти, без формального согласия на то власти. Если какой-то гражданин встретил дурное обхождение, был оклеветан или ему тем или иным образом был нанесен ущерб мэром его городка, то конституция встает между ним и его обидчиком. Таким образом, только эта категория неприкасаемых чиновников насчитывала по меньшей мере сорок четыре тысячи человек, и, быть может, их было еще двести тысяч на других ступенях иерархии. Эти непогрешимые чиновники могли делать все, и при этом ни один суд не мог возбудить против них дело до тех пор, пока высшая власть хранила молчание. Конституционный документ, которым мы сейчас обладаем, упразднил это чудовищное положение; то же самое правительство, что закрепило свободу печати, которую пытались похитить у нас министры Людовика XVIII, — то же правительство, что формально отказалось от возможности ссылки, которой требовали министры Людовика XVIII, — то же правительство вернуло гражданам возможность законного действия против государственных чиновников.

тысячу фунтов стерлингов в качестве компенсации за действия этого чиновника, который в любом случае поступал в соответствии с приказами министра. Этот чиновник потерпел поражение в своих правах собственности и был вынужден выплачивать всю сумму из своих доходов. Четверым государственным посланникам со стороны других задержанных также был предъявлен иск в общем суде, и они были осуждены на штраф в две тысячи фунтов. Что касается остального, то в предыдущем примечании я доказал, что у нас во Франции действуют подобные же законы против исполнителей незаконных приказаний, каковыми являются жандармы или тюремщики в области личной свободы или сборщики общественных податей в области налогообложения. Тот, кто полагал, что обращает свои возражения против меня, на самом деле обращал их против нашего кодекса, как он действует и как он ежедневно должен соблюдаться.

Глава двенадцатая

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНЫХ ВЛАСТЯХ И О НОВОМ РОДЕ ФЕДЕРАЛИЗМА

Конституция ничего не говорит относительно муниципальной власти или состава местных властей в различных частях Франции. Этим должны будут заняться представители нации, как только мир принесет покой, необходимый для совершенствования нашей внутренней организации: после национальной безопасности это самый важный предмет, на котором они могли бы сосредоточиться. Таким образом, и нам уместно затронуть его здесь.

Управление делами всех принадлежит всем, т.е. представителям и делегатам ото всех. Дела, представляющие интерес для какой-то одной фракции, должны быть разрешены этой фракцией; все, что имеет отношение только к индивиду, и должно быть передано в ведение индивида. Не следовало бы слишком часто повторять, что общая воля не более почитаема, чем частная воля, как только та выходит за пределы собственной сферы.

Представьте себе нацию, состоящую из миллиона индивидов, объединенных в известное число общин: в каждой из этих общин каждый из индивидов будет иметь интересы, касающиеся только его одного и, следовательно, не находящиеся в ведении общины. Будут там и другие интересы, касающиеся иных обитателей общины и находящиеся в общинном ведении. Эти общины, в свою очередь, обладают своими внутренними интересами, а также интересами, простирающимися на округ. Первые будут находиться исключительно в компетенции общины, вторые же — в компетенции округа и так далее, вплоть до общих интересов, свойственных каждому из индивидов, образующих миллион, из которого и состоит все племя. Очевидно, что только в отношении интересов последнего рода все племя в целом или его представители имеют законную юрисдикцию и что если они вмешиваются в интересы округа, общины или индивида, то превысят свои полномочия. То же самое можно сказать и об округе,

вторгающемся в особые интересы общины, или об общине, которая затронула бы исключительно частный интерес одного из своих членов.

Власть национальная, власть округа, власть общины должны оставаться каждая в своей сфере, и это подводит нас к истине, которую мы рассматриваем как фундаментальную. До сих пор местная власть считалась зависимой ветвью исполнительной власти: местная власть никогда не должна быть оковами для власти исполнительной, но, напротив, она не должна от нее и зависеть.

Но если интересы фракций и интересы государства оказываются вверены в одни руки, или носителей интересов первого рода превращают в подчиненных носителей интересов второго рода, это порождает различные помехи, и будут даже одновременно существовать помехи, которые внешне должны были бы исключать друг друга. Исполнение законов очень часто наталкнется на препятствия, ибо исполнители этих законов, являясь в то же время и носителями интересов своих подчиненных, захотят защищать интересы, которые они призваны защищать, в ущерб законам, исполнение которых на них возложено. Также часто окажутся уязвленными интересы управляемых, поскольку управляющие захотят понравиться высшей власти, и, как правило, оба этих зла будут иметь место одновременно. Общие законы будут плохо исполняться, а частные интересы плохо соблюдаться. Тот, кто размышлял над организацией муниципальной власти при различных, имевшихся у нас, государственных устройствах, мог убедиться, что со стороны исполнительной власти всегда требовалось усилие, дабы заставить исполнять законы, и что в муниципальной власти всегда существовала глухая оппозиция или, по крайней мере, инерционное сопротивление ей. Постоянное давление со стороны первой из названных властей и глухое сопротивление со стороны второй были неизбежными причинами разложения. Мы помним еще о жалобах исполнительной власти при конституции 1791 г. на постоянную враждебность со стороны муниципальной власти, а при конституции года III — на то, что местная власть пребывала в состоянии застоя и бесплод-

ности. А все это от того, что при первой из этих конституций в местных органах управления не было чиновников, действительно подчиненных исполнительной власти, а при второй эти органы находились в зависимости, результатом которой были апатия и упадок духа местной власти.

До тех пор, пока вы будете превращать членов муниципальной власти в чиновников, подчиненных власти исполнительной, вы должны будете наделять последнюю правом роспуска первой, так что ваша муниципальная власть будет лишь пустым фантомом. Если же вы возложите ее назначение на народ, то назначение это послужит лишь видимостью народной миссии, что поставит муниципальную власть во враждебные отношения с высшей властью и наложит на нее обязанности, которые она не сможет исполнить. Народ назначит своих администраторов лишь затем, чтобы впоследствии отказаться от своего выбора, и беспрестанно оказываться уязвленным действием чуждой силы, под предлогом соблюдения общего интереса вмешивающейся в интересы частные, которые должны быть наиболее независимы от нее.

Необходимость давать объяснение отставкам будет для исполнительной власти лишь досадной формальностью. Поскольку никто не является судией ее мотивов, то это обязательство вынуждает ее лишь очернить тех, кого она отправляет в отставку.

Муниципальная власть в сфере управления должна занимать такое же место, какое занимают мировые судьи в сфере правосудия. Она является властью только для своих управляемых, или, точнее, она представляет собой уполномоченного в делах, которые касаются их одних.

И если бы мне возразили, что управляемые не захотят подчиняться муниципальной власти, поскольку у той не слишком много сил, я бы ответил, что они будут ей подчиняться, поскольку это в их интересах. Находящиеся в тесных отношениях друг с другом люди заинтересованы не навредить друг другу, не отталкивать друг от друга взаимные привязанности и, следовательно, соблюдать правила общежития и, так сказать, законы семьи, им предписанные. Наконец,

если бы неповиновение граждан было обращено на предметы общественного порядка, исполнительная власть вмешалась бы в качестве блюстителя порядка, но она бы сделала это при помощи своих непосредственных чиновников, отличных от муниципальных правителей.

В остальном же делается совершенно безосновательное предположение, что люди склонны к сопротивлению. Их естественной склонностью является послушание, если их не притесняют и не раздражают. В самом начале революции в Америке с сентября 1774 г. по май 1775 г. конгресс представлял собой лишь депутацию законодателей от различных провинций и не имел другой власти, кроме передаваемой ему на добровольных основах. Он не выдвигал и не утверждал законов. Он довольствовался изданием рекомендаций собраниям провинций, которые были вольны им не следовать. В его работе не было ничего принуждающего. И тем не менее ему повиновались с большей радостью, нежели какому-либо правительству в Европе. Я привожу данный факт не в качестве образца, но в качестве примера.

Я не колеблясь заявляю: следует ввести в наше управление больше федерализма, но федерализма отличного от того, какой был нам известен до сих пор.

Федерализмом называли объединение правительств, сохранивших свою взаимную независимость и объединенных вместе лишь внешнеполитическими связями. Этот институт был совершенно порочным. Объединенные в федерацию государства требовали, с одной стороны, в отношении индивидов или частей их территории юрисдикции, которой они вовсе не должны были бы иметь, а с другой, — в отношении центральной власти претендовали на сохранение независимости, которой не должно было существовать. Тем самым федерализм был совместим то с деспотизмом во внутренней политике, то с анархией в политике внешней.

Внутреннее устройство государства и его внешние отношения очень тесно связаны. Совершенно абсурдно разделять их и подчинять вторые главенствующему началу федеральной связи, оставляя первое в полной

независимости от нее. Индивид, готовый войти в сообщество с другими индивидами, имеет право, заинтересован и обязан получать сведения о частной жизни этих индивидов, поскольку от их частной жизни зависит исполнение их обязательств на его счет. И точно так же общество, желающее объединиться с другим обществом, имеет право, заинтересовано и обязано получить сведения относительно внутреннего устройства того общества. Между ними даже должно установиться взаимовлияние в отношении этого внутреннего устройства, потому что от принципов их организации может зависеть исполнение взаимных обязательств, безопасность страны, например, в случае внешнего вторжения; следовательно, каждое общество, составляющее часть большого сообщества, каждая часть последнего должны пребывать в большей или меньшей зависимости друг от друга даже в том, что касается их внутреннего устройства, общего объединения. Но в то же время внутренние устройства отдельных частей сообщества в том, что не имеет никакого влияния на общее объединение, должны оставаться в полной независимости, и, подобно индивидуальному существованию, часть их жизни, не представляющая никакой угрозы общественному интересу, должна быть свободной, равно как и все, что не наносит ущерба целостности в существовании ее частей, должно пользоваться той же свободой.

Таков федерализм, который мне кажется полезным и возможным установить среди нас. Если мы в этом не преуспеем, мы никогда не получим мирного и устойчивого патриотизма. Патриотизм, рожденный в отдельных местностях, единственно истинный, в особенности в наше время. Повсеместно мы обнаруживаем пользование общественной жизнью; невозможно обнаружить только воспоминания и привычки. Поэтому нужно привязать людей к той местности, которая предоставляет им воспоминания и привычки, и для достижения этой цели в рамках их жилища, их общин, их округов людям нужно дать столько политической самостоятельности, сколько можно, не нанося при этом ущерба общей связи.

Природа будет помогать правительствам в этом стремлении, если ему не воспротивятся. Местный патриотизм возрождается как бы из пепла, как только рука власти хоть на мгновение облегчает его действие. Должностные лица самых маленьких общин испытывают удовольствие, украшая их. Они проявляют заботу о древних памятниках. Почти в каждой деревеньке есть свой знаток, который любит пересказывать деревенские истории и которого с уважением слушают. Жители находят удовольствие во всем, что дает им видимость, — пусть даже обманчивую, — того, что они образуют целостность нации и объединены особыми связями. Совершенно понятно, что если бы они не остановились в развитии этой невинной и благотворной склонности, очень скоро у них образовалось бы нечто вроде, так сказать, общинной чести, чести города, чести провинции, которая была бы одновременно утехой и добродетелью. Привязанность к местным обычаям связана со всеми бескорыстными чувствами, благородными и благочестивыми. Политика, сопротивляющаяся им, есть политика, достойная сожаления. Что происходит в этом случае? В государствах, где разрушается всякая частная жизнь, образуется в центре некое малое государство; в столицу стекаются все интересы, здесь же будут приходить в волнение все честолюбия; все остальное пребывает в неподвижности. Индивиды, потерянные в своей противоестественной изоляции, чужие в своем родном местечке, не имеющие связи с прошлым, живущие одним лишь скоротечным настоящим и, подобные атомам, на огромной и гладкой равнине, они отрываются от отечества, которого нигде не видят и которое как целое им совершенно безразлично, ибо их чувства не способны остановиться ни на какой из его частей*.

---

* С особым удовольствием я обнаруживаю, что в этом пункте мое мнение сходится с мнением одного из моих коллег и самых близких друзей, чьи знания столь же обширны, сколь достоин почтения его характер, — с мнением г-на де Жерандо[16]. В одной из своих любезно предоставленных мне рукописей, он говорит, что дух местности вызывает страх. У нас есть свои страхи: мы боимся всего неясного, неопределенного из-за того, что оно носит общий характер. Мы не верим, подобно схоластам,

Глава тринадцатая

О ПРАВЕ ЗАКЛЮЧАТЬ МИР И ОБЪЯВЛЯТЬ ВОЙНУ

Упрекавшие нашу конституцию в недостаточном ограничении прерогативы правительства в отношении права заключать мир и объявлять войну очень поверхностно подошли к этому вопросу и позволили себе увлечься воспоминаниями, вместо того чтобы рассуждать в соответствии с принципами. В отношении легитимности войн, развязанных правительствами, общественное мнение почти никогда не ошибается, однако же установить здесь какие-то принципы не представляется возможным.

Сказать, что следует придерживаться оборонительной тактики, означает не сказать ничего. Глава государства оскорблениями, угрозами, враждебными приготовлениями с легкостью может вынудить соседа совершить нападение, и в этом случае виноватым будет не напавший, но тот, кто заставил другого искать спасения в агрессии. Таким образом, оборонительная тактика может иногда быть лишь искусным лицемерием, а нападение превратится в меру законной защиты.

Запрет правительству продолжать нападение за пределами границ собственного государства также является иллюзорной предосторожностью. Следует ли, остановившись перед некоей воображаемой линией,

---

в реальность универсалий самих по себе. Мы не думаем, что в государстве существуют иные реальные интересы, кроме местных интересов, объединенных, когда они одинаковы, уравновешенных, когда они различны, но во всех случаях осознанных и прочувствованных... Отдельные связи укрепляют общую связь вместо того, чтобы ослаблять ее. В иерархии чувств и идей человек привязан прежде всего к своей семье, затем к своему городу, затем — к своей провинции, затем — к государству. Разрушьте промежуточные звенья, и вы не укоротите цепь, но оборвете ее. Солдат носит в своем сердце честь своей роты, своего батальона, своего полка и тем самым способствует славе армии в целом. Умножайте, умножайте связи, объединяющие людей. Олицетворяйте отечество во всем многообразии его отношений в ваших местных институтах, чтобы оно отражалось в них, как в бесчисленных верных зеркалах.

давать врагу время пополнить потери и возобновить свои усилия, коль скоро он напал на нас, не имея к тому никаких оснований?

Единственной возможной гарантией против бессмысленных и несправедливых войн является деятельность представительных собраний. Они утверждают набор рекрутов, дают согласие на сбор налогов. Значит, нужно довериться им и направляемому ими национальному чувству с тем, чтобы либо поддержать исполнительную власть, если война справедлива и враг должен быть изгнан с территории, либо принудить ту же исполнительную власть заключить мир, когда цель оборонительных мероприятий достигнута и обеспечена безопасность.

На сей счет наша конституция содержит все необходимые установления, притом установления единственно разумные.

Она не оставляет за представителями народа права на ратификацию договоров за исключением тех случаев, когда речь идет об отчуждении части территории, и не без основания. Такая прерогатива, вверенная собраниям, служит лишь навлечению на них немилости. После заключения договора его разрыв всегда представляется жестоким и ненавистным: он является в некотором роде нарушением права наций, которые общаются между собой только при посредстве правительств. Собранию всегда недостает знания фактов. Следовательно, оно не может выступать в качестве судьи в вопросе о необходимости заключения мирного договора. Когда же конституция превращает его в такого судью, министры способны навлечь на собрание народный гнев. Одна только статья, умело вставленная в условия заключения мирного договора, ставит собрание перед альтернативой либо продолжать войну, либо санкционировать меры, посягающие на свободу и честь нации.

В этом отношении Англия также заслуживает того, чтобы выступить для нас образцом. Договоры здесь изучаются парламентом не для того, чтобы отвергнуть или принять их, но чтобы определить, исполнили ли министры свой долг в ходе переговоров. Отказ в утверждении договора имеет своим следствием лишь

снятие с должности или обвинение в адрес министра, дурно служившего своей стране. Этот вопрос не восстанавливает жаждущие покоя народные массы против собрания, которое могло бы выглядеть как оспаривающее у народа его право на мир, но эта возможность всегда сдерживает министров при заключении договоров.

Глава четырнадцатая

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В КОНСТИТУЦИОННОМ ГОСУДАРСТВЕ

Во всех странах, и в особенности в крупных современных государствах, существует сила, не являющаяся конституционной властью, но представляющая собой страшную власть, — это армия.

Затрагивая сложный вопрос ее организации, мы ощущаем себя в замешательстве прежде всего перед множеством славных воспоминаний, окружающих и поражающих нас, перед сильным чувством признательности, увлекающим и покоряющим нас. Конечно же, противопоставляя военной силе недоверие, которое возымели все законодатели, доказывая, что нынешнее состояние Европы усугубляет существовавшие во все времена опасности, раскрывая, сколь трудно армиям, каковы бы ни были их изначальные элементы, невольно не усвоить дух, отличный от духа народа, мы не хотим нанести оскорбление тем, кто столь славно защищал национальную независимость, тем, кто при помощи стольких бессмертных подвигов заложил основы французской свободы. Когда враг осмеливается совершить нападение на народ на его же территории, все граждане превращаются в солдат, чтобы дать отпор врагу. Те, кто освободил наши границы от чужеземцев, поправших эти границы, те, кто поверг в прах королей, бросивших нам вызов, были гражданами, они были первыми из граждан. И добытую ими славу они еще увенчают новой славою. Несправедливейшее из нападений, которое они отразили двадцать лет назад, призывает их к новым усилиям и новым победам.

Но чрезвычайные обстоятельства не имеют никакого отношения к обычной организации вооруженных сил, а мы поведем речь о постоянном, стабильном положении страны.

Мы начнем с того, что отбросим химерические планы роспуска всякой постоянной армии, планы, зачастую предлагаемые нам в сочинениях мечтателей-филантропов. Даже если бы этот план можно было реализовать, он все равно никогда не был бы исполнен. Мы же пишем не для того, чтобы развивать пустые теории, а для того, чтобы, по возможности, установить некоторые практические истины. Поэтому в качестве первого основания мы полагаем, что состояние современного мира, отношения народов между собой, одним словом, нынешняя природа вещей требует, чтобы все правительства и все нации обладали наемными войсками, постоянно пребывающими в готовности.

Поскольку автор «Духа законов» не поставил вопрос таким образом, он и не смог его разрешить. Прежде всего он утверждает*, что армия должна быть народной и обладать духом народа, а для того, чтобы наделить ее этим духом, он предлагает, чтобы люди, используемые в армии, обладали досточными благами, дабы отвечать за свое поведение, и чтобы они рекрутировались только на один год; оба эти условия совершенно невозможны в нашем положении. Монтескье желает, чтобы существующий корпус постоянных войск исполнительная власть могла распустить по своему усмотрению. Но будет ли этот корпус безропотно подчиняться моральной власти, если он лишен всякой материальной поддержки со стороны государства? Монтескье устанавливает то, что должно быть, но не дает никакого средства к тому, чтобы все это можно было реально осуществить.

В Англии свобода удерживалась на протяжении ста лет, так как здесь не было никакой необходимости в использовании вооруженных сил внутри страны; это обстоятельство, характерное для островной страны,

* Монтескье. О духе законов. XI. 6.

совершенно неприменимо на континенте. Конституционное собрание обсуждало эту почти неразрешимую трудность. Оно почувствовало, что передача в распоряжение королю двух тысяч человек, приведенных к присяге и подчиненных командирам, назначаемым также королем, означала бы угрозу для любой конституции. Поэтому оно настолько ослабило дисциплинарные связи, что армия, образованная в соответствии с этими принципами, походила не столько на вооруженные силы, сколько на анархическое сборище. Наши первые неудачи, необходимость вести неслыханную в анналах истории борьбу исправили ошибки конституционного собрания, но вооруженные силы стали грозными как никогда.

Армия, состоящая из граждан, возможна, только если нация замкнута в узких границах. Тогда солдаты данной нации могут быть покорными и тем не менее оспаривать свою покорность. Когда они располагаются в своей родной стране, у своего очага, между правителями и управляемыми, их разум в какой-то степени подчиняется им самим, но обширная империя делает это предположение совершенно химерическим. Обширная империя требует от солдат подчинения, которое превращает их в пассивных и бездумных агентов. Как только они меняют свое местонахождение, они утрачивают всякие предшествующие сведения, которые могли бы направлять их разум. Как только армия, из каких бы элементов она ни состояла, оказывается перед лицом неизвестного, она представляет собой лишь силу, которая способна либо служить, либо разрушать. Пошлите в Пиренеи обитателя Юры или жителя Вара в Вогезы — эти люди, подчиненные дисциплине, изолирующей их от своих земляков, будут видеть лишь своих начальников и подчиняться им одним. Будучи гражданами в том месте, где они родились, они станут солдатами в любом другом месте.

Следовательно, посылать их вглубь страны означает подвергать эту страну всем тем неприятностям, которыми крупные вооруженные силы угрожают свободе, и именно это погубило столько свободных народов.

Такие правительства для поддержания внутреннего порядка применили принципы, подходящие лишь для

внешней обороны. Вернув на родину солдат-победителей, от которых вне своей территории они с полным основанием требовали пассивного повиновения, эти правительства продолжали требовать от них того же повиновения и в действиях против своих сограждан. Однако то был совсем иной вопрос. Почему солдаты, выступающие против враждебной армии, лишены всякой способности к рассуждению? Да потому, что один только цвет знамен этой армии со всей очевидностью доказывает враждебность ее намерений, и эта очевидность заменяют любой анализ. Но когда речь идет о своих согражданах, такой очевидности не существует: в этом случае отсутствие рассуждения принимает совсем другой оборот. Существуют виды оружия, запрета на использование которых требует общечеловеческое право, даже по отношению к нациям, пребывающим в состоянии войны; вооруженные силы между правителями и управляемыми должны быть тем же, чем является это запрещенное оружие; средство, способное поработить целую нацию, слишком опасно для того, чтобы быть употребленным против преступлений индивидов.

Вооруженные силы имеют три различные цели.

Первая состоит в том, чтобы отражать чужестранцев. Разве не естественно было бы разместить войска, предназначенные для достижения этой цели, как можно ближе к этим чужестранцам, т.е. около границ? Мы не имеем никакой нужды обороняться от врага там, где его нет.

Второй целью вооруженных сил является подавление отдельных правонарушений, совершенных внутри страны. Сила, предназначенная для подавления этих правонарушений, должна быть совершенно отличной от линейной армии. Американцы это поняли. На их обширной территории нет ни одного солдата для поддержания общественного порядка; всякий гражданин должен помогать должностным лицам в осуществлении этих функций, но эта необходимость имеет то неудобство, что навязывает гражданам тягостные для них обязанности. В наших многонаселенных городах, с умножившимися связями, активностью жизни, дел, занятий и развлечений осуществление подобного зако-

на было бы притеснительным или, скорее, невозможным; ежедневно арестовывалось бы по сто граждан за отказ в помощи при аресте одного, — поэтому нужно, чтобы эти печальные обязанности добровольно взяли на себя люди, которых бы нанимали за плату. Конечно, создание класса людей, специально предназначенных для преследования себе подобных, — большее несчастие; но это зло куда менее значительное, нежели корежить душу всех членов общества, принуждая их оказывать содействие мерам, справедливость которых они не могут оценить.

Таким образом, мы имеем уже два типа вооруженных сил. Один из них будет состоять из собственно размещенных у границ солдат, которые обеспечат внешнюю защиту; он будет разделен на различные корпуса, подчинен командирам, не имеющим отношений друг с другом, и расположен таким образом, чтобы в случае нападения мог объединиться под единым началом. Вторая часть вооруженных сил будет предназначаться для помощи полиции. Этот второй род не будет подвержен тем же опасностям, что и крупное военное образование; он будет рассеян по всей территории государства, поскольку его невозможно объединить в одной точке, — ведь иначе иные преступники окажутся безнаказанными. Такая войсковая группа сама будет определять собственное предназначение. Поскольку она привыкла скорее к преследованию, нежели к сражению, скорее к слежке, нежели к завоеванию, поскольку ей неведомо опьянение победой, то имена ее командиров не увлекут ее за рамки своих обязанностей, и все власти в государстве будут для нее священными.

Третья цель вооруженных сил — подавление волнений, бунтов. Войска, предназначенного для подавления обычных правонарушений, здесь недостаточно. Но к чему прибегать к услугам линейных войск? Разве у нас нет национальной гвардии, состоящей из собственников и граждан? Я составлю себе весьма неблагоприятное впечатление о моральном облике и счастии народа, если такая национальная гвардия продемонстрирует свою благосклонность к бунтовщикам или

откажется от того, чтобы вернуть их к законному послушанию.

Заметьте, что причины, обусловливающей употребление специальных войск против частных правонарушений, не существует, когда речь идет о государственных преступлениях. Самым неприятным в подавлении преступления является не нападение, не сражение, не опасность — но слежка, преследование, необходимость выступать вдесятером против одного, арестовывать, захватывать даже виновных, когда те безоружны. Но против более серьезных беспорядков — бунтов, народных скоплений — поспешат оказать услуги все граждане, которые будут любить конституцию своей страны, ибо их владения и их свободы будут гарантироваться ею.

Быть может, мне возразят, что в результате снижения численности военной силы на границах соседние народы захотят на нас напасть. Но это снижение численности, которое во всех случаях не следует преувеличивать, тем не менее приведет к созданию ядра армии, вокруг которой для отражения нападения объединятся уже обученные отряды национальной гвардии; и если ваши институты свободны, не сомневайтесь в старании этих отрядов. Граждане всегда без промедления встанут на защиту своего отечества, поскольку отечество у них одно; они спешат поддержать свою внешнюю независимость, если внутри страны обладают свободой.

Таковы, как мне представляется, принципы, которые должны упрочиться при организации вооруженных сил в конституционном государстве. Примем же наших защитников с признательностью и энтузиазмом, но только пусть они перестанут быть солдатами для нас, пусть они будут нам братьями и во всем равными; всякий воинственный дух, всякая теория пассивного подчинения, все то, что делает наших воинов опасными в глазах наших врагов, должно быть оставлено у границ свободного государства. Эти средства хороши, только если они обращены против чужестранцев, с которыми мы всегда пребываем если и не в состоянии войны, то по крайней мере в состоянии недоверия, граждане же страны, даже виновные в соверше-

нии преступления, обладают незыблемыми правами, коих не имеют чужестранцы.

Глава пятнадцатая
О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ СОБСТВЕННОСТИ

В первой главе этой работы я говорил, что все граждане обладают индивидуальными правами, не зависящими от любой социальной власти, и что права эти суть личная свобода, религиозная свобода, свобода мнения, гарантии против произвола и право пользования собственностью*.

Тем не менее я отличаю право собственности от всех прочих прав индивидов.

Мне кажется, что многие из тех, кто защищал собственность при помощи абстрактных рассуждений, впали в серьезную ошибку: они представляли себе собственность как нечто таинственное, предшествующее обществу, независимое от него. Ни одно из этих утверждений не является истинным. Собственность не предшествует обществу, ибо без объединения, дающего ей гарантии, она была бы лишь правом первого оккупанта, другими словами, правом силы, т.е. правом, которое таковым не является. Собственность не является независимой по отношению к обществу, ибо общественное состояние, хотя и в крайне незначительной своей части, может быть понято как лишенное собственности, тогда как невозможно представить себе собственность вне общественного состояния.

Собственность существует от имени общества; общество сочло, что для его членов наилучшим способом пользования благами, общими для всех либо оспариваемыми всеми до образования этого общества, была передача каждому члену сообщества какой-то части этих благ или, скорее, удержание каждого в пределах той части, которою тот уже обладал, гарантируя ему пользование ею при всех тех изменениях, которые

* См.: Приложение 5.

это пользование могло претерпеть либо благодаря усилению роли случая, либо благодаря неравномерности в развитии промыслов.

Собственность есть не что иное, как общественное соглашение, но из того, что мы понимаем ее таким образом, вовсе не следует, что мы представляем ее как менее священную, менее неприкосновенную, менее необходимую, чем ее рисуют писатели, принимающие иную систему. Некоторые философы рассматривали установление собственности как зло, а ее уничтожение принимали как весьма вероятное; но в подтверждение своих теорий они прибегали ко множеству предположений, часть которых никогда не будет реализована, а наименее химеричные относятся к эпохе, которую нам даже не дозволено предвидеть: эти философы не только приняли в качестве основания уровень просвещения, которого человек, быть может, когда-либо достигнет, но на котором совершенно немыслимо основывать наши нынешние институты, но они также установили как доказанное снижение количества труда, ныне требуемого для всего рода человеческого, причем это снижение превосходит всякое воображение. Конечно же, каждое из наших открытий в области механики, заменяющих физическую силу человека инструментами и машинами, является завоеванием мысли; и в соответствии с законами природы эти завоевания, по мере своего умножения делающиеся все более легкими, должны следовать друг за другом во все убыстряющемся темпе; но оттого, что мы уже сделали, и даже того, что мы можем вообразить в этой области, далеко до полного искоренения ручного труда. Тем не менее это искоренение крайне важно для того, чтобы сделать возможным уничтожение собственности, если только мы не хотим, как того требуют некоторые из этих писателей, распределять труд равномерно между всеми членами общества; однако само это распределение, даже если бы оно не было воображаемым, было бы направлено против своей же собственной цели и лишило бы мысль досуга, призванного ее усилить и углубить, промысел — упорства, направляющего его к совершенству, а все классы — преимуществ привычки, единства цели и централизации сил. Лишенный собст-

венности род человеческий пребывал бы в состоянии застоя на самой грубой и дикой ступени своего существования. Каждый человек, вынужденный в одиночку преследовать свои цели, ради их достижения распределял бы свои силы и, согбенный под гнетом своих многочисленных забот, не продвинулся бы ни на шаг. Уничтожение собственности было бы губительно для разделения труда — основы совершенствования всех искусств и всех наук. Способности, являющиеся залогом прогресс — излюбленной мечты писателей, против которых я выступаю, — были бы утрачены ввиду отсутствия времени и независимости, и грубое и вынужденное равенство, которое эти писатели нам рекомендуют установить, поставило бы непреодолимую преграду для постепенного воцарения подлинного равенства, равенства в счастии и в образованности.

Собственность как общественное соглашение находится в ведении и под юрисдикцией общества. Общество обладает в отношении нее правами, коих оно не имеет в отношении свободы, жизни и взглядов своих членов.

Но собственность теснейшим образом связана с другими частями человеческого существования, одни из которых не подчинены коллективной юрисдикции, а другие находятся лишь в весьма ограниченном подчинении ей. Общество поэтому должно ограничить свое воздействие на собственность, поскольку оно не смогло бы воздействовать на нее в полной мере, не посягая на предметы, ему не подчиненные.

За произволом в отношении собственности вскоре следует произвол в отношении личностей, во-первых, потому, что произвол заразителен, а во-вторых, потому, что нарушение права собственности обязательно провоцирует сопротивление. В этом случае власть восстает против угнетенного, оказывающего сопротивление, и, вознамерившись лишить человека его благ, она вынуждена посягнуть и на его свободу.

В этой главе я не буду касаться вопросов незаконной конфискации имущества и прочих посягательств на собственность в политических целях. Подобные насильственные меры нельзя рассматривать как общепринятую практику верных праву правительств; по своей природе они схожи с любыми незаконными ме-

рами, они составляют их часть, причем часть неотъемлемую; презрение к состоянию людей вплотную следует за презрением к их безопасности и к их жизни.

Я бы только заметил, что, используя подобные меры, правительства не столько выигрывают, сколько теряют. «Короли, — говорит Людовик XIV в своих мемуарах, — являются абсолютными сеньорами и, естественно, могут в полной мере и свободно распоряжаться всем достоянием своих подданных». Но когда короли рассматривают себя как абсолютных сеньоров в отношении всего того, чем обладают их подданные, подданные либо прячут, либо растрачивают все, чем обладают; если они прячут свое имущество, то тем самым наносят урон земледелию, торговле, промышленности, всем видам благосостояния; если же они растрачивают его на легкомысленное, грубое и бесплодное времяпрепровождение, то тем самым также закрывают путь для полезного использования своего имущества и финансовых операций, умножающих капитал. Без подобных операций экономика превращается в обман, а умеренность — в неосторожность. Коль скоро все имущество может быть отнято, нужно стремиться захватить как можно больше, поскольку в этом случае есть хоть какой-то шанс уберечь что-то от разграбления. Коль скоро все может быть отнято, то нужно стремиться растратить как можно больше, ибо все то, что тратишь, тем более оказывается вырванным из рук произвола. Людовик XIV полагал, что произнес слова, оказывающие покровительство богатству королей; на самом же деле его слова должны были разорить королей, разорив их народы.

Существуют и другие, косвенные способы ограбления, о которых я считаю полезным рассказать более подробно*. Правительства позволяют себе прибегать к

* Я должен предупредить читателя, что в этой главе то тут, то там разбросаны высказывания лучших авторов в области политической экономии и государственного кредита. Я переписывал иногда их собственные слова, не считая возможным их изменять, дабы не сказать меньше, чем говорили они. Но я не мог приводить их в качестве цитат, поскольку писал эту главу по памяти, не имея перед собой моих заметок.

этим мерам, чтобы уменьшить свои долги или увеличить собственные средства порой под предлогом необходимости, порой под предлогом справедливости, но всегда ссылаясь на интересы государства. Ведь подобно тому, как самые старательные проповедники суверенитета народа полагают, будто бы общественная свобода выигрывает от оков, налагаемых на свободу индивидуальную, так и многие из нынешних финансистов думают, что государство обогащается за счет разорения индивидов. Следует воздать все почести нашему правительству, отвергшему подобные софизмы и наложившему запрет на подобные ошибки, введя соответствующую статью в нашем конституционном документе*.

Косвенные посягательства на собственность, вынуждающие индивидов прийти к следующим заключениям, разделяются на два класса.

К первому классу я отношу частичные или полные банкротства, снижение национальных долгов либо в виде капиталов, либо в виде интересов, выплату этих долгов в государственных ценных бумагах, стоимость которых ниже их номинальной стоимости, подделку монеты, вычеты и т.д. Ко второму классу я отношу действия власти, направленные против людей, заключивших договоры с правительством на поставку предметов, необходимых для развития военных или гражданских предприятий, созданные задним числом законы или меры, обращенные против обогатившихся людей, строптивых палат парламента, а также аннулирование контрактов, концессий, торгов, совершенных государством в пользу частных лиц.

Некоторые писатели рассматривали государственные долги как основание для процветания; я же придерживался другого мнения. Государственные долги создали новый род собственности, который совершенно не связывал обладателя этой собственности с землей, как это делала земельная собственность, не требовал ни упорного труда, ни серьезных финансовых

* Ст. 65: Все поручения в отношении государства неприкосновенны.

расчетов, как это делала промышленная собственность, такой вид собственности, наконец, который совершенно не предполагал выдающихся талантов, каких требовала собственность, называемая нами интеллектуальной. Кредитор государства заинтересован в процветании своей страны лишь в той мере, в какой любой кредитор заинтересован в богатстве своего должника. Он довольствуется лишь тем, чтобы последний только выплачивал ему свой долг; передача векселя, имеющая целью обеспечить ему выплаты, всегда кажется ему в достаточной степени хорошей, сколь бы разорительной она ни была для должника. Возможность продать свое долговое обязательство делает его безразличным к существующей, хотя и отдаленной вероятности национального разорения. Он не имеет клочка земли, мануфактуры или производства, за ослаблением которых он беззаботно наблюдал бы столь долго, сколь это позволяли ему иные средства, способствовавшие покрытию расходов*.

Собственность на государственные ценные бумаги обладает исключительно эгоистической и склонной к самоизоляции природой, которая с легкостью обращается во враждебные настроения, поскольку существует только за счет других. Поскольку естественным интересом всякой нации является наибольшее снижение налогов, сложнейшая организация современных обществ имеет своим примечательным следствием тот факт, что создание государственного долга приводит к возникновению у части нации заинтересованности в возрастании налогов**.

Но сколь бы ни были неприятны последствия государственных долгов, это неизбежное зло современных крупных государств. Те, кто покрывает национальные расходы за счет налогов, почти всегда вынуждены жить за счет будущих доходов, и это их предварение и образует долг; кроме того, при первой же чрезвычайной ситуации они вынуждены прибегать к заимствованию. Что же касается тех, кто принял

---

* Smith A. Richesse des nations. V. 3.

** Necker. Administration des finances. II. 378-379.

систему заимствований как предпочтительную по сравнению с системой налогов и кто устанавливает обложение только для того, чтобы противостоять интересам своих заимодавцев (такая или примерно такая система действует в наши дни в Англии), то государственный долг неотделим от их существования. Таким образом, было бы пустым делом советовать современным государствам отказаться от средств, которые предлагает им их кредит.

Итак, уж если национальный долг существует, то есть только одно средство смягчить его разрушающие последствия — это тщательно соблюдать его условия. Тем самым долгу придается своего рода прочность, которая ассимилирует его в другие виды собственности в той степени, в какой это позволяет сделать его природа.

Недобросовестность не способна ничего излечить. Невыплата государственных долгов добавляет к аморальным последствиям собственности, создающей для своих обладателей интересы, отличные от интересов нации, частью которой эти обладатели являются, последствия, еще более губительные из-за их неустойчивости и произвольности. Произвол и неустойчивость являются первыми причинами того, что называют биржевой игрой. Она развивается с тем большей силой и энергией, когда государство попирает свои обязательства: в этом случае все граждане вынуждены обращаться к случайным спекуляциям, к какому бы возмещению убытков ни принудила их власть.

Любое различие между кредиторами, любое расследование коммерческих сделок между индивидами, любые поиски путей, которые пришлось преодолеть государственным ценным бумагам, а также рук, в которых они побывали вплоть до своего срока платежа, ведут к банкротству. Государство заключает договор о долге, а людям, которым оно должно деньги, в качестве платы вместо них дает ценные бумаги. Люди вынуждены продавать ценные бумаги, выданные государством. С чего начнет кредитор эту продажу, чтобы оспорить стоимость ценных бумаг? Чем больше он будет оспаривать их стоимость, тем больше они потеряют в цене. Он будет опираться на это новое понижение

стоимости, чтобы получить их вновь, только по еще более низкой цене. Эта двойная прогрессия, оборачивающаяся против самой себя, очень скоро сведет кредит к нулю, а частных лиц приведет к разорению. Изначальный кредитор мог делать со своими бумагами все, что хотел. Если он продал свое долговое поручительство, то в том, что его к тому принудила необходимость, ошибка не его, а государства, не выплачивавшего ему по ценным бумагам, которые он оказался вынужденным продать. Если он продал свои ценные бумаги за бесценок, то вина в том не покупателя, который приобрел их при неблагоприятных условиях, — это также ошибка государства, создавшего эту неблагоприятную ситуацию, поскольку бумаги не упали бы в цене, если бы государство внушало доверие.

Устанавливая, что ценные бумаги падают в цене при переходе во вторые руки на определенных условиях, о которых государство не должно знать, ибо они являются условиями свободными и независимыми, мы превращаем в причину обнищания циркуляцию бумаг, которая всегда рассматривалась как средство обогащения. Как же можно оправдать эту политику, отказывающую своим кредиторам в том, что она им должна, и дискредитирующую то, что она им дает? С какой стати суды осуждают должника, который сам является кредитором обанкротившейся власти? И что же? Брошенный в тюрьму, лишенный всего, что мне принадлежало, из-за того, что я не смог расплатиться с долгами, нажитыми на общественном доверии, я предстану перед судом, откуда и произошли все грабительские законы. На одной стороне заседает власть, которая меня обирает, на другой — судьи, которые наказывают меня за то, что я оказался обобранным.

Любые номинальные платежи являются банкротством. Как говорит один достойный уважения французский автор, любой выпуск бумаг, которые по желанию не могут быть конвертированы в наличные деньги, является грабежом*. И тот факт, что занимающие-

* Say J.-B. Traité d'Economie politique. II. 5. А теперь примените это положение к нынешней стоимости банковских билетов Англии и подумайте.

ся этим люди обличены государственной властью, совершенно не меняет природы этого факта. Власть, которая платит гражданину воображаемые платежи, вынуждает и его к подобным же выплатам. Для того, чтобы не обесценить собственные операции и сделать их тем самым невозможными, она вынуждена узаконить все подобные операции. Помещая одних в положение зависимости, она всем дает прощение. И эгоизм, более тонкий, более ловкий, более скорый, более многоликий, чем власть, устремляется по данному сигналу. Быстротой, сложностью и многообразием своего мошенничества он спутывает все меры предосторожности. Если коррупция может оправдать себя необходимостью, она не имеет более границ. Если же государство хочет ввести различие между своими собственными сделками и сделками индивидов, несправедливость оказывается еще более возмутительной.

Кредиторы нации составляют лишь часть этой нации. Когда в целях покрытия государственного долга вводится налог, то этот налог довлеет надо всей нацией, ведь кредиторы государства как налогоплательщики платят и свою долю этих налогов. Сокращая долг, его переносят на одних только кредиторов. Следовательно, из того, что долг очень тяжел для всего народа, мы заключаем, что его легче будет снести четверти или восьмой части народа.

Любое принудительное снижение выплат по долгам есть банкротство. С индивидами заключили договор на свободных условиях; индивиды выполнили эти условия; они предоставили свои накопления; они забрали их из предприятий, которые сулили им прибыль; им следует вернуть все, что было обещано; исполнение обещаний есть законное восполнение тех жертв, того риска, которому люди подвергались. И если какой-то министр сожалеет о том, что предложил кабальные условия, то вина за это ложится на него, а не на тех, кого заставили эти условия принять. Это вдвойне его ошибка, ибо кабальными условия сделали главным образом предшествующие нечестные поступки министра; если бы он внушал полное доверие, ему удалось бы добиться лучших условий.

Если выплаты по долгам снижаются на четверть, кто мешает снизить их на треть, на девять десятых или вовсе отменить? Какие гарантии можно дать своим кредиторам или самому себе? Первый шаг в любую сторону облегчает второй шаг. Если бы строгие принципы вынудили власть исполнить свои обещания, она искала бы средств в порядке и экономии. Но она испробовала средства обмана, она приняла их на вооружение, ведь они освобождают ее от какого бы то ни было труда, от любых лишений, любых усилий. Она беспрестанно будет возвращаться к этим средствам, поскольку более не обладает неподкупной совестью, чтобы сдерживать себя.

Наступающее вслед за отказом от справедливого разрешения вопроса ослепление таково, что порой создается впечатление, будто бы в случае решения властей о снижении выплат по долгам возможно возродить кредит, казалось пришедший в упадок. При этом исходили из принципа, который был либо плохо понят, либо плохо применен. Считалось, что чем меньше долг, тем больше он внушает людям доверие, поскольку государство в состоянии расплатиться по своим долгам; но при этом смешивались последствия легитимной либерализации и последствия банкротства. Недостаточно того, чтобы должник мог выполнить свои обязательства, — нужно, чтобы он этого еще и хотел или чтобы имелись средства его к тому принудить. Тот же факт, что государство использует свою власть, дабы аннулировать часть своего долга, доказывает лишь, что оно не хочет платить. И если его кредиторы не имеют возможности его к тому принудить, то какое значение имеют его ресурсы?

С государственным долгом дело обстоит совсем иначе, чем с продуктами первой необходимости: чем их меньше, тем больше их стоимость. Ведь они имеют внутреннюю ценность, и их относительная стоимость возрастает вследствие уменьшения их количества. Стоимость же долга, напротив, зависит только от верности слова должника. Стоит только поколебать эту верность, и стоимость долга окажется сведенной к нулю. Бесполезно уменьшать долг на половину, четверть или на восьмую часть, остаток долга от этого будет не

меньше дискредитирован. Никому не нужно и никто не хочет давать в долг тому, кто не платит. Когда речь идет о частных лицах, их способность выполнить свои обязательства является главным условием, поскольку закон сильнее их. Но когда речь идет о правительствах, то основным условием выступает их воля.

Но есть банкротства и иного рода, в отношении которых правительства, казалось бы, испытывают еще меньше угрызений совести. Оказавшись вовлеченными в разорительные предприятия благодаря либо честолюбию, либо неосторожности, либо в силу необходимости, они заключают с коммерсантами договоры о предметах, необходимых для данных предприятий. Совершенно ясно, что договоры эти являются для них невыгодными: интересы правительства никогда не защищаются с тем же рвением, что интересы частных лиц; это общая неизбежная судьба всех сделок, которые стороны сами не способны соблюдать. В этом случае власть начинает испытывать ненависть по отношению к людям, провинившимся лишь тем, что воспользовались выгодой, которую сулило их положение; власть возбуждает против этих людей общественный протест и клеветнические нападки, она аннулирует заключенные сделки, откладывает или отменяет обещанные платежи по этим сделкам, она предпринимает меры общего характера, которые, дабы поразить некоторых подозрительных лиц, направлены без разбора против всего класса. Чтобы хоть как-то сгладить несправедливость, данные меры пытаются представить как направленные исключительно против тех, кто стоит во главе предприятий, у которых отбирают выручку; против нескольких наиболее одиозных лиц возбуждается неприязнь народа. Но ведь ограбленные таким образом люди не одиноки, они не все делали своими руками — они использовали труд ремесленников, владельцев мануфактур, поставлявших им настоящие товары, и именно на последних и распространяется ограбление, казавшееся направленным против совсем других людей, и тот же всегда доверчивый народ выражает удовлетворение разрушением отдельных состояний, кажущаяся громада которых его раздражала, не видя, что все эти состояния, основан-

ные на труде, орудием которого и является народ, имеют отношение и к нему и что их разрушение лишает его самого какой-то части стоимости своего труда.

Правительства всегда испытывают большую или меньшую потребность в людях, заключающих с ними сделки. Совершая покупку, государство не может рассчитаться наличными, как это делают частные лица; оно должно или оплатить покупку заранее, что обычно на практике не применяется, либо предметы, в которых оно нуждается, ему следует предоставить в кредит. Что же происходит, если оно наносит ущерб людям, предоставившим ему кредит, или унижает их? Честные люди отступают, не желая заниматься постыдным ремеслом, остаются только люди опустившиеся; они поднимают плату за свой позор и, предвидя, что им будут платить плохо, платят себе сами. Правительство слишком медлительно, слишком стеснено, затруднено в своих движениях, чтобы следовать за тонким расчетом и быстрыми действиями индивидуального интереса. Когда оно бесчестными средствами пытается бороться с частными лицами, бесчестные действия последних всегда оказываются куда более проворными. Единственная политика силы — ее верность.

Первым последствием немилостивого отношения к определенному роду коммерции является отстранение от него всех коммерсантов, которых не прельщает алчность. Первым последствием системы произвола является внушение всем честным людям желания не сталкиваться с произволом и избегать любых сделок, способных привести к взаимоотношениям с этим ужасающим могуществом*.

Сбережения, основанные на нарушении общественного доверия, нашли во всех странах неизбежное возмездие в последовавших за ними сделках. Интерес к беззаконию, несмотря на его произвольное ослабле-

* В отношении последствий аннулирования и разрывов заключенных договоров см. превосходную работу: Ganilh M. Revenu public. I. 308.

ние и его жестокие законы, всегда оплачивался сторицею по сравнению с тем, чего стоила верность.

Быть может, я должен был причислить к посягательствам на собственность и установление любого бесполезного или чрезмерного закона. Все, что превышает реальные потребности, говорит писатель, чей авторитет в этой области неоспорим, перестает быть законным. Между узурпацией частных лиц и узурпацией со стороны власти нет другого различия, кроме того, что несправедливость первой проистекает из простых идей, которые каждый способен легко усвоить, тогда как вторая связана с сложными комбинациями, судить о которых можно только по обстоятельствам.

Всякий бесполезный налог есть посягательство на собственность, тем более ненавистное, что оно осуществляется со всей торжественностью закона, и тем более возмутительное, что оно осуществляется богатым против бедного, вооруженной властью против безоружного индивида.

Любой налог, к какому бы виду он ни принадлежал, оказывает в той или иной степени досадное влияние*; это неизбежное зло, но оно сродни любому неизбежному злу, и поэтому его следует сделать по возможности наименьшим. Чем больше средств остается в распоряжении промысла, сосредоточенного в руках частных лиц, тем более процветающим является государство. И только в силу того, что налог лишает этот промысел какой-то части его средств, он неизбежно губителен для него.

Руссо, не имевший никаких познаний в области финансов, вслед за другими повторяет, что при монархических правлениях «роскошь государя поглощает чрезмерные излишки у подданных; ибо лучше, чтобы этот излишек был поглощен Правительством, чем растрачен частными людьми»**. В этой доктрине мы обнаруживаем абсурдную смесь монархических предрассудков и республиканских идей. Роскошь государя не

---

* По поводу применения этой общей истины к каждому конкретному налогу см.: Smith A. Liv. V.

** Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре. Кн. III. Гл. 8. С. 267.

столько обескураживает индивидов, сколько служит для них вдохновением и примером. Не следует думать, будто бы, подвергая их разграблению, государь сокращает их расходы. Он может обречь их на нищету, но не может удерживать их в простодушии. Просто нищета одних сочетается с роскошью других, и из всех имеющихся комбинаций эта — самая прискорбная.

Чрезмерность налогов ведет к подрыву справедливости, распаду морали, разрушению индивидуальной свободы. В борьбе слабости против насилия, бедности против алчности, нужды против ограбления ни власть, отбирающая у трудящихся классов их добываемые с таким трудом средства к существованию, ни угнетенные классы, видящие, что эти средства оказываются вырванными у них из рук ради обогащения алчных хозяев, не могут оставаться верными законам справедливости.

И мы бы оказались ввергнутыми в заблуждение, если бы предположили, что пагубные последствия чрезмерных налогов ограничиваются лишь нищетой и лишениями народа. Эти налоги обусловливают и другое, не меньшее зло, которому, как представляется, до сих пор не уделяли должного внимания.

Обладание слишком большим состоянием порождает в частных лицах необузданные желания, капризы, фантазии, которые никогда не возникли бы у них в более скромном положении. То же самое происходит и с людьми, пребывающими у власти. На протяжении пятидесяти лет именно чрезмерная легкость в получении огромных богатств благодаря высоким налогам внушала английским министрам преувеличенные и необузданные претензии. Излишек богатства опьяняет подобно излишку силы, ибо богатство и есть сила, притом самая реальная; отсюда — планы, честолюбивые стремления, проекты, которые никогда не возникли бы у правительства, владей оно только самым необходимым. Таким образом, народ является не только нищим, поскольку он платит не по средствам, но он является тем более отверженным из-за использования уплаченных им средств. Его жертвы оборачиваются против него самого. Он не платит более налогов, чтобы жить в мире, обеспеченном хорошей системой

защиты. Он платит их, чтобы велась война, ибо власть, гордая своими сокровищами, стремится растратить их со славою. Народ платит не для того, чтобы внутри страны воцарился порядок, но, напротив, для того, чтобы фавориты, обогатившиеся на его ограблении, нарушали общественный порядок своими безнаказанными действиями. Таким образом, ценой своих лишений нация покупает страдания и несчастия, и при таком положении дел правительство развращается благодаря своему богатству, а народ — благодаря своей бедности.

Глава шестнадцатая
О СВОБОДЕ ПЕЧАТИ

Вопрос о свободе печати с некоторых пор был столь хорошо разъяснен, что по этому поводу можно сделать лишь очень незначительное количество замечаний*.

Первое из них состоит в том, что наша нынешняя конституция отличается от всех предшествующих тем, что устанавливает единственно действенный способ пресечения проступков печати при сохранении ее независимости, — я имею в виду суд присяжных. Это великое доказательство лояльности и просвещенности. Проступки печати отличны от всех прочих проступков тем, что они включают в себя не столько позитивный факт, сколько намерение и результат. И только суд присяжных способен вынести решение в отношении намерения в соответствии со своими моральными убеждениями и определить результат посредством анализа и сравнения всех обстоятельств. Любой другой суд, вынося решение в соответствии с точно установленными законами, с необходимостью оказывается перед альтернативой — либо допустить произвол, либо покарать невиновных.

Затем я хочу заметить, что предсказание, которое я осмелился сделать год назад, полностью сбылось.

---

* См.: Приложение 6.

«Предположим, — говорил я, — существует общество, предшествующее изобретению языка и заменяющее это быстрое и легкое средство общения средствами менее легкими и более медлительными. Изобретение языка произвело бы в этом обществе внезапный взрыв. В этих еще новых звуках люди узрели бы гигантские опасности, и множество осторожных и мудрых умов, крупных чиновников, старых администраторов сожалели бы о добрых временах, исполненных мирной и полной тишины; но удивление и страх постепенно улетучились бы. Язык превратился бы в средство, ограниченное в своих воздействиях; плод опыта — спасительное недоверие — предохранило бы слушателей от необдуманных увлечений; наконец, все вернулось бы к порядку с той лишь разницей, что общественные средства общения, а следовательно, и совершенствование всех искусств, уточнение всех идей обрели бы еще одно средство своего развития»*.

Конечно, сегодня мы имеем неоспоримое доказательство истинности данного утверждения. Никогда ранее свобода или, скорее, вольности печати не были столь безграничны, никогда еще способы выражения не приобретали столь многочисленные формы, так старательно не предоставлялись в распоряжение всех любопытных. И в то же время никогда еще этой достойной презрения продукции не уделялось меньше внимания. Я совершенно серьезно думаю, что сегодня сочинителей пасквилей гораздо больше, нежели читателей.

И тем не менее я сказал бы, что вопреки беззаботности и презрению публики и в интересах самой печати уголовные законы, составленные осмотрительно, но и справедливо, должны уметь быстро различать безвинное от преступного, дозволенное законом от запрещенного им. Подстрекательства к убийству, к гражданской войне, призывы, обращенные к врагу, прямые оскорбления в адрес главы государства непозволительны ни в одной стране. Я очень рад, что опыт доказал бессилие подобных подстрекательств и оскорблений. Я

* Constant B. Réflexions sur les Constitutions et les garanties. Ch. VIII.

воздаю должное человеку, достаточно сильному, чтобы сохранить мир во Франции вопреки разнузданному неистовству партии, лишенной каких бы то ни было средств. Я восхищаюсь человеком, достаточно великим, чтобы остаться бесстрастным среди стольких личных выпадов, направленных против него. Но в Англии — а Англия, несомненно, является классической страной со свободной печатью, — королю не может быть нанесено оскорбление ни в каком сочинении, и за одно только переиздание направленных против него прокламаций должно быть вынесено самое строгое наказание. Эта предписанная законом сдержанность основана на соображениях огромной значимости.

Нейтральность королевской власти — непременное условие любой конституционной монархии, к которой я беспрестанно возвращаюсь, ибо вся прочность здания основана на этом фундаменте, — требует, чтобы власть не действовала против граждан и чтобы граждане равным образом не оказывали противодействия власти. Король в Англии, император во Франции, носитель монархической власти у всех народов находятся вне сферы политической агитации. Они — не люди, они — воплощение власти. Но точно так же, как им не следует вновь превращаться в людей, вследствие чего их функции изменят свою природу, они не должны подвергаться нападкам, подобно другим людям. Закон гарантирует гражданам ограждение от нападок со стороны властей, но он должен также давать гарантии от нападок на власть со стороны граждан. Получив личное оскорбление, глава государства вновь превращается в человека. Если вы посягаете на человека, человек будет защищаться, и конституция будет нарушена*.

---

* Поскольку я не хочу быть обвиненным в отказе от собственных воззрений, напомню здесь, что, защищая свободу печати, я всегда требовал наказания для сочинителей пасквилей и взрывоопасных сочинений, поэтому повторю мои собственные слова.

«Принципы, коими должно руководствоваться правительство в этом вопросе, просты и ясны. Авторы несут ответственность за свои сочинения, коль скоро те публикуются, подобно тому, как любой человек отвечает за свои слова, когда те про-

Глава семнадцатая

О РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЕ

Нынешняя конституция вернулась к единственно разумной идее, касающейся религии, — идее закрепить свободу культов без ограничения, без каких бы то ни было привилегий, даже не принуждая индивидов декларировать одобрение ими того или иного отдельного культа, если только они соблюдают чисто внешние законные формы. Нам удалось обойти риф гражданской нетерпимости, которой хотели подменить собственно религиозную нетерпимость, поскольку сегодня развитие идей восстает против последней. В поддержку этого нового рода нетерпимости часто приводят высказывания Руссо, который бережно относился ко всем теориям свободы и который дал повод любым претензиям на тираническое правление.

«Существует, следовательно, — говорит он, — исповедание веры чисто гражданское, статьи которого надлежит устанавливать суверену, и не в качестве догматов религии, но как правила общежития, без которых невозможно быть ни добрым гражданином, ни верным подданным. Не будучи в состоянии обязать кого бы то ни было в них верить, он может изгнать из Государства всякого, кто в них не верит, причем не как нечестивца, а как человека, неспособного жить в обществе, как человека, неспособного искренне лю-

---

изнесены. Оратор, проповедующий кражу, убийство или грабеж, должен быть наказан за свои слова. Таким образом, писатель, проповедующий убийство, грабеж или кражу, должен быть наказан». (De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux. 2-e éd. P., 1814. P. 72). В другом месте я говорил: «Долгий парламент провозгласил принципы свободы прессы, наделив их чрезмерной широтой и совершенно ложной направленностью, поскольку он воспользовался ими, дабы предоставить свободу авторам пасквилей, осужденным судами, что совершенно противоречит тому, что мы понимаем под свободой прессы, поскольку все желают, чтобы суды самым строгим образом наказали писак» (Observations sur le discours de M. de Montesquiou. P., 1814. P. 45). В данном случае, как и во всех прочих, я думаю то же, что и думал, и требую только того, что требовал.

бить законы, справедливость и жертвовать в случае необходимости жизнью во имя долга»*.

Что есть государство, решающее, какие чувства следует испытывать? Какое мне дело до того, что суверен не принуждает меня верить, если он наказывает меня за мое безверие? Какое мне дело до того, что он не карает меня как нечестивца, если он карает меня как человека, неспособного жить в обществе? Разве имеет для меня значение, что власть не входит во все тонкости теологии, коль скоро она погружается в столь же утонченную гипотетическую мораль, не менее чуждую естественной юрисдикции.

Я не знаю другой системы рабства, которая бы закрепляла свои самые мрачные заблуждения, как это делает вечная метафизика «Общественного договора».

Гражданская нетерпимость столь же опасна, более абсурдна и в особенности более несправедлива, чем нетерпимость религиозная. Она столь же опасна, ибо достигает тех же результатов, используя иные предлоги; она более абсурдна, поскольку не мотивируется убеждениями; она более несправедлива, потому что причиняемое ею зло является для нее не долгом, но расчетом.

Гражданская нетерпимость облекается во множество форм, содержится во множестве пунктов, чтобы укрыться от рассуждения. Потерпев поражение как принцип, она оспаривает свое применение. Известны примеры, когда люди, подвергавшиеся преследованию

---

* Руссо Ж.-Ж. Об Общественном договоре. Кн. IV. Гл. 8. Руссо прибавляет: «Если же кто-либо, признав уже публично эти догматы, ведет себя, как если бы он в них не верил, пусть он будет наказан смертью; он совершил наибольшее из преступлений: он солгал перед законами» (с. 320). Но тот, кто имеет несчастие не верить в эти догматы, не может признаться в своих сомнениях, не рискуя подвергнуться изгнанию; и если его удерживают привязанности, если у него есть семья, жена, дети, которых он не решается оставить, чтобы удалиться в изгнание, то не вы ли единолично вынуждаете его совершить то, что вы называете величайшим из преступлений, — солгать перед законами? В остальном же я бы сказал, что в этих условиях ложь представляется мне весьма далекой от преступления: когда так называемые законы требуют от нас правды только для того, чтобы нас проклясть, мы не должны говорить истины.

на протяжении почти тридцати столетий, говорили правительству, снявшему с них проклятие, что если государству надобно иметь несколько позитивных религий, то тем не менее надобно помешать тому, чтобы вероисповедания, в отношении которых проявлена терпимость, разделившись, произвели бы новые вероисповедания*. Но разве каждое вероисповедание, в отношении которого проявлена терпимость, не является само подразделением более древнего вероисповедания? На каком основании оно будет оспаривать у будущих поколений права, за которые оно заступалось у предыдущих поколений?

Высказывалось предложение, чтобы ни одна из признанных церквей не могла бы изменить свои догматы без согласия на то властей. Но если бы благодаря какому-либо случаю эти догматы были отвергнуты большинством религиозного сообщества, то разве власть могла бы заставить их проповедовать? Таким образом, в области мнения права большинства и права меньшинства одинаковы.

Под нетерпимостью понимают навязывание всем одного вероисповедания; такая точка зрения по крайней мере последовательна. Ее сторонники могут верить, что удерживают людей в святилище истины. Но когда дозволены два воззрения, одно из которых обязательно ложно, разрешить правительству заставлять исповедующих каждое из этих воззрений индивидов придерживаться своей веры либо разрешить ему принуждать вероисповедания никогда не изменять своих концепций означает разрешение правительству оказывать формальное покровительство заблуждению.

Полная и совершенная свобода всех культов в той же мере благоприятствует развитию религии, в какой соответствует справедливости.

Если бы религия всегда пользовалась совершенной свободой, она бы, как я думаю, всегда была только предметом уважения и любви. Люди никогда не измыслили бы странного фанатизма, который саму религию превратил в предмет ненависти и недоброжела-

* Discours des Juifs au gouvernement français.

тельности. Это обращение существа несчастного к существу справедливому, существа слабого к существу доброму, на мой взгляд, должно было бы породить лишь интерес и симпатию даже у тех, кто рассматривает его как химерическое. Человек, относящийся ко всем религиозным чаяниям как к заблуждениям, как никто другой, должен быть растроган всеобщим согласием страдающих существ, криками боли, устремляющимися со всех уголков земли к жестокому небу, чтобы не получить ответа, а также спасительной иллюзией, принимающей за ответ неясный шум стольких молитв, повторенных на далеких небесах.

Причины наших несчастий многочисленны. Власть может нас проклясть, ложь — оклеветать; нас ранят связи совершенно неестественного общества; непреклонная природа убивает то, что нам дорого; к нам приближается старость, это мрачное и торжественное время, когда все предметы меркнут и, кажется, отступают, и какой-то холод распространяется на все, что нас окружает.

Мы повсеместно ищем утешения от несчастий, и все наши главные утешения являются религиозными. Когда мы подвергаемся преследованию со стороны людей, создаем для себя некое прибежище вдали от людей. Когда мы видим, как рушатся самые дорогие наши чаяния, справедливость, свобода, отечество, мы льстим себя надеждой, что где-то есть некое существо, которое воздаст нам за то, что вопреки превратностям нашего века мы были верны справедливости, свободе, отечеству. Когда мы печалимся о предмете любви, то перебрасываем мостик через пропасть и мысленно преодолеваем ее. Наконец, когда жизнь ускользает от нас, мы устремляемся к иной жизни. Таким образом, религия по самой своей сути — верная спутница, изобретательная и неутомимая подруга обездоленных.

Это еще не все. Утешая нас в несчастии, религия в то же время является самой естественной из наших эмоций. Все наши физические ощущения, все наши моральные чувства заставляют ее возрождаться в нашем сердце без нашего ведома. Все, что представляется нам безграничным и зарождает в нас понятие о безмерности — вид неба, тишина ночи, обширные

морские пространства, все, что вызывает у нас умиление или энтузиазм — осознание добродетельного поступка, благородная жертва, отважно преодоленная опасность, излечение или облегчение чужой боли, все, что поднимает из глубин нашей души первейшие элементы нашего естества — презрение к пороку, ненависть к тирании, — все это питает религиозное чувство.

Это чувство сродни всем благородным, тонким и глубоким страстям; как и во всех этих страстях, в нем есть нечто таинственное, ибо здравый смысл не способен объяснить удовлетворительным образом ни одну из них. Любовь — это исключительное предпочтение в отношении предмета, без которого когда-то мы могли долго обходиться и на который похожи столько других предметов; потребность в славе — эта жажда известности, которая должна пережить нас самих; утехи, которые находим в самопожертвовании, утехи, противоположные привычному инстинкту нашего эгоизма; меланхолия — эта беспричинная грусть, в основе которой лежит необъяснимое удовольствие; множество других ощущений, которые невозможно описать и которые наполняют нас смутными впечатлениями и неясными эмоциями, необъяснимыми для строгого разума, — все они родственны религиозному чувству. Все эти чувства благоприятны для развития морали: они заставляют человека выйти из узкого круга его интересов; они наделяют душу той гибкостью, той деликатностью, тем величием, которую заглушает привычка к совместной жизни и порождаемый последней расчет. Любовь представляет собой смешение всех этих страстей, ибо она имеет своей целью определенное наслаждение, цель эта рядом с нами, и она ведет к эгоизму. Религиозное чувство в силу обратных причин является самой чистой из всех страстей. Оно не покидает нас вместе с юностью, иногда оно крепнет в зрелом возрасте, как будто небеса даровали его нам, чтобы утешить в самый обездоленный период нашей жизни. Один гениальный человек говорил, что вид Аполлона Бельведерского или картины Рафаэля возвышает его. И действительно, в созерцании прекрасного в любом его виде есть нечто, позволяющее нам оторваться от самих себя, заставляющее нас почувствовать, что со-

вершенство гораздо выше нас, и, при помощи этого убеждения внушая нам на мгновение бескорыстие, пробуждает способность к самопожертвованию, являющуюся источником всякой добродетели. В эмоциях, какова бы ни была их причина, есть нечто, заставляющее быстрее бежать кровь в наших жилах, дающее нам ощущение благополучия, удваивающее чувство нашего существования и наши силы и тем самым делающее нас способными на благородство, отвагу, привязанность, превышающие наши обычные предрасположенности. Даже испорченный человек становится лучше, если он взволнован, и он остается таковым, пока им владеют эмоции.

Я не хочу сказать, что отсутствие религиозного чувства в любом индивиде доказывает отсутствие в нем морали. Существуют люди, главной чертой которых является разум, способный уступить лишь совершенной очевидности. Эти люди, как правило, предаются глубоким размышлениям и не подвержены большинству развращающих искушений благодаря утехам, которые они находят в своих изысканиях, и привычке к мышлению; вследствие этого они способны испытывать глубокие моральные чувства. Но отсутствие религиозного чувства у множества простых обывателей, лишенных подобных оснований, чаще всего, я думаю, говорит о черством сердце, легкомысленном уме, о душе, поглощенной мелкими и низкими интересами, о великой бесплодности воображения. Я исключаю тот случай, когда преследования ожесточили этих людей. Прямым результатом преследования является бунт людей против того, к чему оно понуждает, и может случиться так, что люди чувствительные, но гордые, возмущенные навязываемой им религией, без разбора отбрасывают все, что имеет к ней отношение; но данное исключение — дело случая и ничего не меняет в общем утверждении.

Я не нашел бы ничего дурного в просвещенном человеке, если бы мне представили его как чуждого религиозному чувству, но не способный к подобному чувству народ показался бы мне лишенным весьма ценного качества и от природы обездоленным. Если бы меня здесь обвинили в том, что я недостаточно

точно определил религиозное чувство, я бы спросил, каким образом можно с точностью определить эту неотчетливую и глубинную часть наших моральных чувствований, которая по самой своей природе не поддается никаким усилиям нашего языка. Как определите вы ощущение темной ночи, древнего леса, ветра, стонущего среди руин или над могилами, океана, простирающегося дальше, чем видит глаз? Как определите вы чувства, вызываемые песнями Оссиана[17], собором Св. Петра, размышлениями о смерти, гармонией звуков или форм? Как вы определите мечту, этот внутренний трепет души, в котором объединяются и затем умирают в таинственном смешении все силы чувств и мысли? Нечто религиозное есть в основе любой вещи. Все прекрасное, все затаенное, все благородное имеет самое непосредственное отношение к религии.

Она — тот общий центр, в котором над воздействием времени и вне пределов досягаемости порока объединены все идеи справедливости, любви, свободы, сострадания, в этом повседневном мире составляющие достоинство человеческого рода; она — устойчивая традиция всего прекрасного, великого и доброго среди унижений и несправедливости столетий, вечный глас, отвечающий на своем языке добродетели, призыв настоящего к будущему, земли — к небу, торжественно протянутая рука помощи ко всем униженным во всех обстоятельствах, последняя надежда приносимой в жертву невинности и попираемой слабости.

Почему же эта постоянная союзница, эта необходимая опора, этот единственный свет среди окружающего нас мрака во все века была мишенью непрекращающихся и яростных нападок? Почему же класс, провозгласивший себя ее врагом, всегда был самым просвещенным, самым независимым, самым образованным? Да потому, что природа религии была искажена; человек подвергался гонению в этом своем последнем прибежище, в этом сокровенном святилище своего существования: в руках власти религия превратилась в грозный институт. Породив большинство из наших самых кровоточащих ран, власть возымела претензии управлять человеком даже в его утешениях. Догматическая религия, сила враждебная и карающая,

пожелала подчинить своему игу даже воображение во всех его мечтах и сердце во всех его потребностях. Она превратилась в бедствие более страшное, нежели те, для забвения которых она была предназначена.

Отсюда и то, существовавшее во все времена, когда люди требовали своей моральной независимости, сопротивление религии, которое казалось направленным против самого нежного из всех чувств и которое на самом деле было обращено против самой жестокой из тираний. Нетерпимость, поместив силу рядом с верой, поставила отвагу на одну доску с сомнением; ярость верующих воспламенила тщеславие нечестивцев, и человек пришел к тому, чтобы поставить себе в заслугу систему, которую он естественным образом должен был бы рассматривать как зло. Преследование порождает сопротивление. Власть, угрожающая какому бы то ни было воззрению, возбуждает выражение этого воззрения во всех хоть сколько-нибудь сильных умах. В человеке заложен принцип сопротивления всякому интеллектуальному принуждению. Этот принцип может дойти до исступления; он может стать причиной многих преступлений, но он проистекает из всего самого благородного в глубинах нашей души.

Я часто с трепетом грусти и удивления читал «Систему природы»[18]. Эти продолжительные и упорные попытки старца закрыть себе всякое будущее, эта необъяснимая жажда разрушения, эта слепая и почти яростная ненависть к кроткой и утешительной идее казались мне удивительным безумием; но тем не менее они были мне понятны, ибо я вспоминал об опасностях, коими власть окружила этого писателя. Во все времена власть нарушала покой размышлений неверующих людей: у них не было времени или свободы спокойно осмыслить собственные воззрения, всегда представлявшие для них собственность, которую у них хотели похитить; эти люди думали не столько о том, чтобы углубить свои воззрения, сколько о том, чтобы их оправдать или защитить. Но стоит их только оставить в покое, и очень скоро они окинут грустным взглядом мир, который лишили разума и высшей доброты; они сами поразятся своей победе; воодушевление борьбы, жажда вновь завоевать свое право на

поиск, — все эти причины экзальтации перестанут поддерживать их; их воображение, некогда всецело занятое успехом, а ныне праздное и как бы опустошенное, вновь обратится к самому себе; они увидят человека в одиночестве на земле, которая должна его поглотить. Мир лишен жизни: временные, преходящие, одинокие поколения появляются здесь, страдают, умирают; между этими поколениями не существует никакой связи, их удел в этом мире — страдание, а затем и небытие. Всякая связь между прошлым, настоящим и будущим оказывается разорванной: ни один голос не откликается здесь более живым расам, и глас живых рас также должен однажды утонуть в вечном молчании. Кто не понимает, что если бы неверие не столкнулось с нетерпимостью, то все удручающие моменты этой системы воздействовали бы на душу ее приверженцев и таким образом поддерживали бы их в апатии и молчании?

Повторяю: до тех пор, пока власть будет предоставлять религии полную независимость, никто не будет заинтересован в нападках на последнюю, ни у кого не возникнет даже такой мысли; но если власть станет ее защищать и в особенности если она захочет превратить религию в свою союзницу, то независимый разум не замедлит ополчиться против религии.

Каким бы образом власть ни вмешивалась в дела, касающиеся религии, она равным образом совершает зло.

Она совершает зло, когда хочет направить религию против исследовательского духа, поскольку власть не может оказывать воздействия на убеждения, она действует только на интерес. Чего добивается она, проявляя благосклонность к людям, проповедующим священные взгляды? Устранения тех, кто признается в своих взглядах, кто, следовательно, по крайней мере откровенен; прочие же, легко солгав, умеют избегать предосторожностей, предпринятых властью; предпринятые властью меры достигают лишь людей совестливых и бессильны против тех, кто был или стал развращенным.

Какими же средствами обладает правительство, чтобы поддерживать определенные воззрения? Оно

может доверить исключительно приверженцам этих взглядов важнейшие государственные функции? Но отвергутые люди возмутятся против подобного предпочтения. Оно выступит с речью или письменным сочинением в пользу защищаемого им воззрения? Но в этом случае другие выскажутся, устно или письменно, в противоположном смысле. Оно ограничит свободу сочинений, выступлений, красноречия, рассуждений, даже иронии или декламации? И вот ему уже сыскалось новое поприще: оно занимается теперь не столько тем, что оказывает милости и убеждает, сколько тем, что затыкает рот и наказывает. Неужели оно полагает, что его законы смогут вникать во все нюансы и умножаться в зависимости от них? Его репрессивные меры будут носить мягкий характер? Но тогда ими будут бравировать, они будут лишь озлоблять, никого не пугая. Они будут суровыми? Так вот же преследователь. Раз ступив на этот скользкий и наклонный путь, он никогда не сможет остановиться.

Но разве от гонений можно ожидать какого-либо успеха? Насколько мне известно, ни один король не пользовался таким авторитетом, как Людовик XIV. Почести, тщеславие, мода, всемогущая мода покорно разместились под сенью его правления. Он поддерживал религию силой трона и своего собственного примера. Он связывал спасение своей души с проведением самых строгих ритуалов и сумел убедить своих придворных, что спасение души их короля было делом особой важности. Тем не менее, несмотря на его все возрастающее одиночество, несмотря на строгие нравы старого двора, несмотря на воспоминания о покрытых славою пятидесяти годах, сомнение проникло в умы еще даже до смерти Людовика. Мы обнаруживаем среди записок того времени перехваченные письма, написанные усердными льстецами Людовика XIV, письма, которые, как говорит мадам де Ментенон, были в равной степени оскорбительны для Бога и для короля. Король скончался. Движение, заданное философией, смело все преграды; рассудок вознаградил себя за притеснения, которые он нетерпеливо сносил, и плодом длительного давления стало безверие, переходящее все пределы.

Власть не творит большего зла и не является более беспомощной, как в том случае, когда в разгар эпохи скептицизма она стремится восстановить религию. Религия должна возрождаться исключительно из потребности, которую к тому испытывает человек; и если его раздражают чуждыми ему воззрениями, то ему мешают ощутить вновь всю силу этой потребности. Некоторые утверждают, и я также склоняюсь к этому мнению, что религия носит естественный характер, поэтому не следует заглушать ее голос голосом власти. Вмешательство правительства в дело защиты религии в период, когда общественное мнение к религии неблагосклонно, имеет то неприятное последствие, что религию защищают люди, которые в нее не верят. Правители, как и управляемые, подчинены общему развитию человеческих идей; когда сомнение проникло в души просвещенной части нации, оно зарождается и в самом правительстве. Поэтому-то во все времена мнения или же тщеславие более сильны, нежели интересы. И напрасно носители власти убеждают себя в том, что благосклонность в отношении религии идет им на пользу; они могут поставить ей на службу все свое могущество, но не сумеют заставить себя засвидетельствовать ей свое уважение. Они находят некоторое удовольствие в том, чтобы посвятить публику в свои скрытые мысли, но побоятся продемонстрировать свою убежденность из страха прослыть жертвой обмана; и если первая их фраза посвящена тому, чтобы отдать приказ верить, то вторая предназначена, чтобы вернуть себе все почести сомнения; тот же, кто стремится встать над проповедуемой им верой, является плохим миссионером*.

Таким образом устанавливается аксиома, что народу нужна религия, аксиома, удовлетворяющая тщеславие тех, кто ее повторяет, ибо, повторяя ее, они отделяют себя от того самого народа, которому нужна религия.

---

* Эта тенденция со всей отчетливостью была подмечена у многих должностных лиц, даже тех, кто стоял во главе Церкви в период правления Людовика XV и Людовика XVI.

Эта аксиома ложна сама по себе, поскольку подразумевает, что религия в большей степени необходима трудящимся классам общества, нежели классам праздным и зажиточным. Если религия необходима, то она необходима в равной степени всем людям и на всех уровнях просвещенности. Преступления беднейших и малообразованных классов более жестоки, более ужасны, но в то же время их легче раскрыть и пресечь. Закон объемлет их, он с легкостью их раскрывает и подавляет, поскольку преступления эти касаются его самым непосредственным образом. Развращенность высших классов многолика, разнообразна, она ускользает от позитивных законов, пренебрегает их духом, избегая их форм, противопоставляя им, с другой стороны, доверие, влиятельность, власть.

Странное умозаключение! Бедняк ничего не может; его окружают преграды, он связан по рукам и ногам; он лишен покровителей и поддержки; он может совершить единичное преступление, но как только оказывается виновным, против него восстает буквально все; он не находит никакого снисхождения в судьях, всегда выбранных из чуждого ему класса; его связи столь же слабы как и он сам, и у него нет никакого шанса избежать наказания; его поведение никоим образом не влияет на судьбу общества, частью которого он является; и вот именно против него одного требуете вы таинственных гарантий религии! Богатый же, напротив, судим своими же пэрами, своими же союзниками, людьми, которые всегда в большей или меньшей степени отводят от него все наказания, которые они ему вменяют. Общество оказывает ему помощь; из-за одного только его богатства на его стороне все материальные и моральные возможности: он может и в дальнейшем оказывать влияние, может все перевернуть или извратить; и вот это-то могущественное и лелеемое существо вы хотите освободить от бремени, которое вы считаете совершенно необходимым взвалить на существо слабое и безоружное!

Я высказал по этому поводу очень простую гипотезу, что религия особенно ценна в качестве средства, укрепляющего уголовные законы; но это не мое мнение. Я ставлю религию гораздо выше. Я не рассматри-

ваю ее всего лишь как дополнение виселицы и колеса. Существует заурядная мораль, которая основана на расчете, интересе, безопасности и которая в крайнем случае способна обходиться без религии. Она может обойтись без религии у богатого, поскольку тот склонен к размышлениям; она может обойтись без религии у бедняка, поскольку тот страшится закона и, с другой стороны, поскольку его занятия предопределены заранее и привычка к постоянному труду оказывает на его жизнь то же воздействие, что и размышление; но горе народу, обладающему лишь такой заурядной моралью! Именно для создания более возвышенной морали религия кажется мне желательной: я взываю к ней не для того, чтобы карать преступления, но для того, чтобы возвысить все добродетели.

Защитники религии зачастую полагают, что совершили чудо, представив религию главным образом как полезную; что бы они говорили, получив доказательства оказания религии самой дурной услуги?

Точно так же, усматривая во всех прелестях природы одну лишь позитивную цель, непосредственную выгоду, применение к повседневной жизни, мы обесцвечиваем все очарование ее великолепия; без конца приписывая религии самую заурядную полезность, мы ставим ее в зависимость от пользы. Религия в этом случае находится на вторых ролях, она предстает лишь в качестве средства и именно благодаря этому обесценивается.

Аксиома, гласящая, что народу нужна религия, обладает всем тем, что необходимо для разрушения всякой религии. Благодаря достаточно верному инстинкту народ предупрежден о том, что происходит наверху. Основа этого инстинкта та же, что и инстинкта проницательности у детей и у всех зависимых классов. Интерес просвещает их относительно тайных мыслей тех, кто распоряжается их судьбами. Мы слишком рассчитываем на простодушие народа, когда надеемся, что он долго будет верить в то, во что отказываются верить его руководители. Единственным плодом их хитрости является то, что народ, видя их собственное безверие, отходит от религии, сам не понимая почему. Отрицая всякое обсуждение, можно помешать народу

стать просвещенным, но не нечестивым. Народ становится нечестивым благодаря подражанию; он относится к религии как к чему-то простоватому и как к надувательству, и каждый отсылает ее к более низкой социальной категории, которая, в свою очередь, спешит столкнуть ее еще ниже. Так с каждым днем религия опускается все ниже; она в меньшей степени оказывается в опасности, когда со всех сторон подвержена нападкам. В этом случае она может укрыться в глубине чувствительных душ. Тщеславие не боится принести доказательства глупости и унизить своим уважением.

Разве можно в это поверить! Власть причиняет зло даже тогда, когда хочет подчинить своей компетенции принципы терпимости, поскольку она навязывает терпимости строго установленные формы, противные ее природе. Терпимость есть не что иное, как свобода исповедовать любые вероисповедания — существующие и будущие. Император Иосиф II[19] пожелал установить толерантность и, будучи либеральным в своих взглядах, начал с того, что велел составить обширный список всех религиозных воззрений, исповедуемых его подданными. Я не знаю, сколько культов попало в этот список, дабы быть допущенными к пользованию его покровительством. Что же произошло затем? Вдруг заявил о себе культ, который забыли зарегистрировать, и Иосиф II, этот толерантный государь, объявил, что тот возник слишком поздно. Деисты Богемии подверглись гонениям ввиду их происхождения, и монарх-философ враждебно отнесся и к герцогу Брабантскому, который требовал исключительного господства католицизма, и к несчастным жителям Богемии, требовавшим свободы своих верований.

Эта ограниченная терпимость скрывает особое заблуждение. Только воображение способно удовлетворить потребности воображения. Если в рамках империи вы и проявили терпимость в отношении двадцати вероисповеданий, то вы еще ничего не сделали для сторонников двадцать первого. Правители, воображающие, что предоставили достаточную свободу действий своим подданным, позволив им выбирать между определенным числом религиозных верований, похо-

жи на француза, который приехав в немецкий город, жители которого хотели выучить итальянский язык, предоставил им выбор между баскским и нижнебретонским.

Это приводящее в ужас множество вероисповеданий целительно для религии; благодаря ему религия не перестает быть чувством, чтобы превратиться в простую форму, в почти механическую привычку, сочетающуюся со всеми пороками, а порой и с преступлениями.

Когда религия вырождается подобным образом, она утрачивает всякое влияние на мораль; она, так сказать, располагается в том отделении человеческих голов, где остается в полной изоляции. Мы видим, что в Италии убийству предшествует месса, а за ним следует исповедь, покаяние отпускает грехи, и человек, таким образом освобожденный от всех угрызений совести, готовится к новым убийствам.

Нет ничего проще. Для того чтобы воспрепятствовать разделению вероисповеданий, нужно помешать тому, чтобы человек размышлял над своей религией; ему, следовательно, нужно запретить заниматься ею; религию нужно свести к повторению символов, к соблюдение обрядов. Все приобретает исключительно внешний по отношению к человеку характер, все должно проходить бездумно, и очень скоро все будет протекать именно таким образом, даже без проявления интереса и внимания.

Древние моголы, обреченные своим культом на частые молитвы, убедили себя в том, что в их молитвах богам доставляют удовольствие колебания воздуха, возникающие из-за движений губ, что доказывало богам, будто бы человек беспрестанно занимается ими. Как следствие эти народы изобрели небольшие мельнички для молитв, которые определенным образом производили колебания воздуха, постоянно поддерживая желаемое движение; и пока эти мельницы вертелись, каждый, будучи уверенным в том, что боги удовлетворены, спокойно занимался своими делами или предавался удовольствиям. Очень часто религия многих европейских наций напоминает мне эти мельнички древних моголов.

Умножение вероисповеданий имеет большое преимущество для морали. Все зарождающиеся культы стараются отличить себя от культов, от которых они отделяются, при помощи самой щепетильной морали, и очень часто вероисповедание, обнаруживающее в своем лоне новое подразделение, побуждаемое достойным уважения соперничеством, не желает оставаться в этой области позади новаторов. Так, возникновение протестантизма изменило нравы католического духовенства. Если бы власть совсем не вмешивалась в дела религий, вероисповедания множились бы до бесконечности: каждая новая конгрегация пыталась бы доказать добропорядочность своего учения чистотой своих нравов, и каждая оставляемая конгрегация захотела бы защищаться тем же оружием. Из этого проистекало бы счастливое соперничество, в котором успех связывался с более строгой моралью; нравы без труда улучшались бы вследствие естественного толчка и достойного соперничества. Именно этот процесс можно наблюдать в Америке и даже в Шотландии, где терпимость далека от совершенства, но где тем не менее существует множество разветвлений пресвитерианства.

До сих пор возникновение вероучений сопровождалось далеко не благими последствиями и почти всегда было отмечено возмущениями и несчастьями. Причина тому — вмешательство власти. При ее попустительстве и благодаря ее бестактным действиям малейшие расхождения во взглядах, доселе невинные и даже полезные, превращались в семена раздора.

Фридрих Вильгельм, отец Фридриха Великого, удивленный отсутствием в религии своих подданных той же дисциплины, что царила в его казармах, в один прекрасный день возжелал объединить лютеран и реформистов: он отбросил из соответствующих положений все то, что порождало разногласия, и приказал обоим вероучениям прийти к соглашению. До сих пор оба вероучения существовали порознь, но в полном взаимопонимании. Будучи принужденными к объединению, они сразу же начали яростную борьбу, обрушили друг на друга град нападок и начали сопротивляться власти. После кончины своего отца взошел на трон Фридрих II; он предоставил свободу всем воззрениям;

оба вероучения вели войну, не привлекая его внимания; они говорили, не будучи услышанными; очень скоро они утратили и надежду на успех, и раздражение, порожденное страхом; они умолкли, различия между ними продолжали существовать, но разногласия улеглись.

Противясь умножению вероучений, правительства недооценивают свои собственные интересы. Когда в одной стране существует множество вероучений, они взаимно поддерживают друг друга и освобождают суверена от необходимости вступать в договор с одним из них. Когда же существует одно господствующее вероучение, власть вынуждена прибегать к тысяче уловок, дабы не испытывать перед ним никакого страха. Когда имеется два или три вероучения, каждое из которых достаточно сильно, чтобы представлять угрозу для других, над ними требуется постоянный надзор и принятие мер подавления. Примечательный метод! Вы говорите, что хотите поддержать мир и вследствие этого чините препятствия свободе воззрений, ибо те разделяли людей на небольшие слабые или неприметные объединения, — и устанавливаете три-четыре крупных враждующих корпуса, которые ставите друг перед другом и которые благодаря вашим стараниям сохранить их могущественными и многочисленными готовы по первому же знаку напасть друг на друга.

Таковы последствия религиозной нетерпимости; но антирелигиозная нетерпимость не менее губительна.

Власть никогда не должна осуждать религию, даже когда считает ее опасной. Пусть власть карает преступные действия, которые совершает религия, но не ее религиозные действия, причем наказывает их именно как преступные: ей легко удастся их подавить. Но если она будет преследовать эти действия как религиозные, то возведет их в долг, а если пожелает дойти до источника этих воззрений, то вступит в лабиринт нарушений и беззаконий, которому не будет конца. Единственный способ ослабить какое-либо воззрение — это установить свободу совести. Таким образом, установление свободы совести означает отдаление от всякого рода власти, отсутствие любого коллективного вмешательства: свобода эта носит исключительно индивидуальный характер.

Для того, чтобы гонениям, которые естественным образом возбуждают умы и связывают их с преследуемым верованием, удалось, напротив, разрушить это верование, нужно развратить души; тем самым удар наносится не только по религии, которую хотят разрушить, но и по моральному чувству и добродетели. Для того, чтобы убедить человека презреть или покинуть одного из себе подобных, имеющего несчастье придерживаться некоего воззрения, для того, чтобы принудить его сегодня отказаться от учения, которое он проповедовал вчера, из-за того, что оно стало опасным, нужно заглушить в этом человеке всякую справедливость и всякую гордость.

Ограничить меры преследования одними только священниками, представляющими данную религию, как это часто делают у нас, означает установить иллюзорные границы. Эти меры очень скоро постигнут и тех, кто проповедует данное учение, а затем коснутся и всех тех, кто сочувствует несчастиям гонимых.

«Не убеждайте меня, — говорил де Клермон-Тоннер[20] в 1791 г., и последующие события вдвойне подтвердили его предсказание, — в том, что, беспощадно преследуя так называемых непокорных священников, можно уничтожить всю оппозицию; я надеюсь на обратное, и я надеюсь на это из уважения к французскому народу, ведь любой народ, уступающий силе в вопросах совести, является народом столь ничтожным, столь развращенным, что от него нечего ожидать ни в области духа, ни в области свободы».

Суеверие губительно только тогда, когда его защищают либо ему угрожают: не озлобляйте его несправедливостями, лишите его только любого способа наносить вред своими действиями, и тогда оно превратится в невинную страсть и вскоре затухнет, лишенное возможности вызвать интерес своими страданиями или обрести доминирующее положение благодаря поддержке власти.

Будучи ошибочным или истинным, мышление человека есть его самое священное свойство, и тираны в равной степени повинны, когда они подвергают гонениям заблуждение или истину. Тот, кто от имени философии выступает за упразднение спекулятивного

суеверия, и тот, кто от имени Бога выступает за изгнание независимого разума, в равной степени заслуживают проклятия честных людей.

Позвольте мне в заключение еще раз привести высказывание Клермон-Тоннера. Его нельзя обвинить в чрезмерной принципиальности. Хотя он и был сторонником свободы, его почти всегда отвергали обе партии конституционного собрания; он пал жертвой собственной сдержанности; его мнение, как я полагаю, имеет некоторый вес.

«Религия и государство — две вещи, совершенно различные, совершенно отделенные друг от друга, и их объединение может лишь изменить природу как одной, так и другого. Человек вступает в определенные отношения с Создателем; он составляет себе или воспринимает те или иные идеи относительно этих отношений; эту систему идей называют религией. Таким образом, религия каждого человека есть воззрения относительно его отношений с Богом. Если воззрения его свободны, он волен избрать или не избрать ту или иную религию. Мнение меньшинства никогда не может быть подчинено мнению большинства; следовательно, никакие воззрения не могут управляться социальным пактом. Религия существовала во все времена, во всех странах, при всех правлениях; ее прибежищем является совесть человека, и совесть человека есть единственное его качество, которое он никогда не приносит в жертву общественному договору. Общественное целое не должно управлять никаким вероисповеданием; оно не должно отвергать ни одно из них».

Но из того, что власть не должна ни отвергать вероисповедания, ни управлять ими, вовсе не следует, что она не должна их субсидировать; и в этом вопросе наша конституция также осталась верна истинным принципам. Очень дурно противопоставлять религиозные чувства человека и его денежный интерес. Принуждать гражданина непосредственно оплачивать того, кто в некотором роде является выразителем его идей перед Богом, которого он обожает, означает дать этому гражданину возможность быстро извлечь выгоду в случае отказа от своей веры; это означает сделать обременительными чувства, которые и так уже сильно

подрывают мирские развлечения одних или труды других. Утверждая, что лучше пахать поле, чем платить священнику или строить храм, люди полагали, что высказали философскую мысль; но что означает построить храм или заплатить священнику, как не признать, что существует благое, справедливое и могущественное существо, с которым приятно вступать в общение? Я бы хотел, чтобы государство, субсидируя, я не говорю духовенство, но священников всех не столь уж многочисленных конфессий, я бы хотел, повторяю, чтобы государство тем самым провозгласило это общение бесконечным, чтобы земля не отвергала небеса.

Возникающие вероучения не нуждаются в том, чтобы государство брало на себя поддержку их священников. Они пребывают во всей горячности зарождающегося воззрения и глубокой убежденности. Но как только вероучению удалось объединить у своих алтарей хоть сколь-либо значительное число членов общего объединения, это объединение должно оплачивать новую церковь. В случае субсидирования всех вероучений бремя выплат оказывается равным для всех, и вместо того, чтобы быть привилегией, оно становится общей ношей, распределяемой на всех...

С религией нужно поступать как с большими дорогами: я бы хотел, чтобы государство поддерживало их, только я оставлял за каждым право выбирать собственные тропинки.

Глава восемнадцатая
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СВОБОДЕ

Все конституции, данные Франции, одинаково гарантировали индивидуальную свободу, и под сенью этих конституций индивидуальная свобода без конца попиралась. Ведь простых деклараций здесь недостаточно; нужны позитивные меры защиты; нужны достаточно мощные опосредующие звенья, дабы обратить в пользу угнетаемых средства защиты, закрепляемые писаным законом. Наша нынешняя конституция — единственная создавшая эти меры защиты и наделившая промежуточные корпуса достаточным могущест-

вом. Свобода печати, помещенная выше всяческих посягательств благодаря суду присяжных; ответственность министров и в особенности ответственность их низших чиновников; наконец, существование многочисленного и независимого представительного корпуса — таковы оплоты, которыми окружена сегодня свобода.

Эта свобода в действительности является целью любого человеческого объединения; на нее опирается общественная мораль и мораль частная; на ней основан расчет в промышленности; без нее у людей нет ни мира, ни достоинства, ни счастья.

Произвол разрушает мораль, ведь не существует морали без безопасности, не существует нежной привязанности без того, чтобы предмет этого чувства находился в безопасности под покровительством собственной безвинности. Когда произвол беспощадно поражает людей, вызывающих у него подозрения, он подвергает гонениям не только индивида, — он сначала приводит в негодование, а затем унижает целую нацию. Люди всегда стремятся избежать боли; когда опасность грозит тем, кого они любят, они либо отрекаются от них, либо их защищают. В городах, пораженных чумою, говорил де Поу, нравы быстро развращаются, здесь люди грабят умирающих; произвол для сферы морали выступает тем же, чем является чума в отношении тела.

Он является врагом всех домашних связей, ведь утверждение домашних связей — это обоснованная надежда на то, чтобы жить вместе, жить свободными, под защитой, которую правосудие гарантирует гражданам. Произвол принуждает сына взирать на притеснения его отца, не будучи способным его защитить, супругу — молчаливо переносить содержание под стражей своего мужа, друзей и близких — отказаться от самых святых чувств.

Произвол — враг соглашений, на которых основано процветание народов; он заставляет пошатнуться кредит, уничтожает торговлю, поражает все виды безопасности. Когда индивид страдает, не будучи признан виновным, под угрозой оказывается все, что еще не лишено разума, и не без причин, поскольку разрушены гарантии, последствия этого отражаются на всех

заключенных сделках, земля сотрясается, и люди не могут сделать ни шагу без страха.

Когда к произволу проявляют снисходительность, он распространяется таким образом, что самый безвестный гражданин может неожиданно столкнуться с ним, когда тот во всеоружии. Совершенно недостаточно держаться от него в стороне и позволять ему поражать других. Множеством связей соединены мы с себе подобными, самому беспокойному эгоизму не удается разбить их все. Вы считаете, что неуязвимы в своей добровольной безвестности; но у вас есть сын, его будоражит молодость; ваш брат, менее осторожный, чем вы, позволит себе возроптать; ваш старый недруг, которому вы некогда нанесли обиду, сумел приобрести некоторое влияние. Как вы поступите в этом случае? С горечью осудив всякие возражения, отвергнув все жалобы, вы в свою очередь будете жаловаться? Вы заранее будете осуждены и вашей собственной совестью, и тем униженным общественным мнением, формированию которого вы сами способствовали. Вы уступите без сопротивления? Но разве вам позволят уступить? Разве не будет устранен, не будет подвергнут гонениям надоевший субъект — свидетельство несправедливости? Вы видели угнетенных; вы сочли их виновными, тем самым вы проложили дорогу, на которую ступили сами в свою очередь.

Произвол несовместим с существованием правительства, рассматриваемого с точки зрения его институтов, ведь политические институты суть лишь соглашения; природа соглашений состоит в установлении точных границ; произвол же является противоположностью того, что составляет договор, он подрывает любой политический институт в его основе.

Произвол опасен для правительства, рассматриваемого с точки зрения его действий, поскольку, хотя он и ускоряет эти действия и порой придает им видимость силы, он тем не менее лишает действия правительства точности и устойчивости.

Говоря народу: ваши законы недостаточны, чтобы управлять вами, вы даете этому народу право ответить: если наши законы недостаточны, мы хотим других законов; этими словами любая законная власть ставится

под сомнение, ведь остается одна лишь сила; ведь это означало бы также верить в большей степени в возможность обмануть людей, нежели в возможность сказать им: вы согласились принять то или иное притеснение для обеспечения себе такой защиты. Мы лишаем вас этой защиты, но мы оставляем вам притеснение; вы будете, с одной стороны, терпеть все бремя общественного состояния, а с другой — вы будете подвержены всем случайностям дикой жизни.

Произвол не способен ничем помочь правительству и с точки зрения безопасности последнего. Ведь все то, что правительство может обратить против своих врагов при помощи закона, враги эти не способны обратить против правительства при помощи закона, поскольку закон точен и формален; но то, что правительство обращает против своих врагов при помощи произвола, враги также могут обратить против правительства при помощи того же произвола, ведь произвол не имеет ясных очертаний и границ*.

Когда следующее законам правительство позволяет себе прибегнуть к произволу, цель своего существования оно приносит в жертву мерам, которые употребляет ради сохранения этого существования. Почему мы хотим, чтобы власть подвергала преследованию тех, кто посягает на нашу собственность, нашу свободу или нашу жизнь? Потому что мы желаем, чтобы эти блага были нам обеспечены. Но если наше состояние может быть разрушено, наша свобода поставлена под угрозу, в нашу жизнь может вмешаться произвол, то какие блага мы извлечем из нашего содействия власти? Почему мы хотим, чтобы она наказывала тех, кто что-то замышляет против государственного устройства? Потому что мы опасаемся, что законная организация общества будет подменена угнетающей силой. Но если власть сама использует эту угнетающую силу, то какие преимущества она сохраняет? Быть может, на какое-то время эти преимущества будут действительными. Меры произвола, используемые прочным правительством, всегда менее многочисленны, нежели

* См.: Constant B. Réactions politiques. P., 1797, P. 85-87.

меры, используемые мятежными группировками, которым еще предстоит установить свое могущество, но даже и это преимущество утрачивается по причине царящего произвола. Как только подобные меры были применены единожды, они оказываются столь быстро действующими, столь удобными, что других и не желают употреблять. Представленный вначале в качестве исключительного средства, употребимого в крайне редких обстоятельствах, произвол превращается в решение всех проблем и в повседневную практику.

От произвола предохраняет соблюдение установленного порядка. Установленный порядок есть ангел-хранитель человеческих сообществ; установленный порядок — единственный защитник безвинных, установленный порядок — единственная связь людей между собой. Все иное погружено во мрак: все отдано во власть одинокого сознания, колеблющегося мнения. Один только порядок очевиден, и только к нему может взывать угнетенный.

От произвола излечивает ответственность чиновников. Древние полагали, что места, запятнанные преступлением, должны пройти через очищение, я же считаю, что в будущем земле, осквернённой актом произвола, для очищения потребуется громкое наказание виновного, и всякий раз, когда я буду свидетелем того, что какой-то народ незаконно заключил под стражу какого-либо гражданина, и не увижу скорого возмездия за это нарушение порядка, я скажу: этот народ может желать быть свободным, он может заслужить быть им, но он еще не познал первейших основ свободы*.

Многие усматривают в осуществлении произвола лишь полицейские методы, и поскольку, по всей видимости, они всегда надеются выступить в них в роли тех, кто их осуществляет, но никогда не в роли объектов этих мер, то они находят произвол прекрасно рассчитанным методом поддержания общественного спокойствия и доброго порядка; другие же, хотя и более недоверчивые, видят в произволе лишь отдельные

* См.: Constant B. Discours au Cercle constitutionnel en 1798.

притеснения; опасность же носит куда более серьезный характер.

Наделите носителей исполнительной власти властью посягать на индивидуальную свободу, и вы уничтожите все гарантии, являющиеся первым условием и единственной целью объединения людей под властью законов.

Вы хотите независимости судов, судей и присяжных. Но если члены судов, присяжные и судьи могут быть незаконно задержаны, то чего стоит их независимость? Что же произойдет, если произвол будет дозволен против них, и не из-за их общественного поведения, но по неким тайным причинам? Конечно же, правительственная власть не диктовала бы им постановления, когда бы они заседали на своих скамьях под внешне нерушимой защитой, куда их поместил закон. Если бы они подчинялись одной своей совести наперекор желаниям власти, она даже не осмелилась задерживать их или высылать как присяжных или судей. Но она бы их задерживала или подвергала ссылке в качестве подозрительных индивидов. Самое большее, она могла подождать, пока вынесенное ими решение, составляющее преступление в ее глазах, забудется, чтобы найти какой-то иной мотив для принятия против них карающих мер. Таким образом, вы бы отдали во власть произвола полиции не несколько темных личностей, но все суды, всех судей, всех присяжных, всех обвиняемых, которых вы вследствие этого отдаете ей на милость.

В стране, где министры без суда ведают арестами и ссылками, как мне представляется, было бы пустым делом в интересах просвещения давать прессе какой-либо простор для деятельности или гарантии. Если писатель, всецело согласуясь с законами, вступит в противоречие с мнением власти или будет критиковать ее действия, его задержат, его сошлют не как писателя; его задержат и сошлют как опасного индивида, без указания причин.

К чему продолжать развивать на примерах столь явную истину? Любая общественная функция, любая частная ситуация в равной степени окажется под угрозой. Докучливый кредитор, который имел должни-

ком представителя власти, несговорчивый отец, отказавший ему в руке своей дочери, неудобный супруг, защищающий наперекор ему целомудрие своей жены, или надзиратель, чья бдительность явилась для него предметом тревоги, без сомнения, будут задержаны и сосланы не как кредиторы, как отцы, как супруги, как надзиратели или соперники. Но если власть может задержать или сослать их по тайным мотивам, то где гарантия, что она не придумает этих тайных мотивов? Чем она рискует в данном случае? Ведь считалось бы, что с нее нельзя требовать никакого отчета; что же касается объяснения, которое из осторожности власть считала бы себя должной дать общественному мнению, то, поскольку ничто не может быть подвергнуто анализу или проверке, легко предвидеть, что клевета окажется достаточной для объяснения преследований*.

Нельзя уберечься от произвола, коль скоро однажды к нему проявили терпимость. Его не может избежать ни один институт. Он поражает все институты в их основании. Он обманывает общество при помощи установленных порядков, которые он делает бессильными. Все обещания оборачиваются клятвопреступлениями, все гарантии — ловушками для несчастных, которые им доверились.

Когда к произволу проявляют снисхождение или когда хотят сгладить представляемую им опасность, обычно рассуждают так, будто граждане имеют отношения лишь с высшим носителем власти. Но ведь граждане неизбежно и непосредственно связаны и со всеми второстепенными приспешниками произвола. Когда вы одобряете ссылку, заключение под стражу или какое-либо иное притеснение, не дозволяемое никаким законом и не санкционированное никаким судом, вы помещаете граждан не под сень власти монарха или власти правительства, но под жезл второстепенной власти. Эта власть способна поразить всех при помощи какой-либо временной меры и оправдать эту меру лживыми словами. Она одерживает победу пото-

* См.: Constant B. De la responsabilité des ministres. Ch. XIV.

му, что обманывает, а уж способность обманывать ей обеспечена. Ведь в той мере, в какой счастливое положение государя и министров способствует их руководству общими делами и усилению и процветанию государства, его достоинства, его богатства и его могущества, в той же мере обширность этих важнейших функций закрывает для них возможность детального изучения интересов индивидов, интересов мелких и неприметных, если сравнивать их с общими интересами, но, однако же, не менее святых, поскольку они касаются жизни, свободы, безопасности и невиновности. Поэтому забота об этих интересах должна быть передана в руки того, кто способен ими заниматься, — судам, на которые возложена исключительная задача по изучению претензий, проверке жалоб, расследованию преступлений; судам, у которых есть время, равно как и обязанность, все углубленно изучить, все взвесить на точных весах; судам, которые имеют на то особую миссию и которые одни только и способны ее исполнить.

В своих размышлениях я совершенно не отделяю ссылки и незаконные аресты от заключения под стражу. Неправомерно рассматривать ссылку как мягкое наказание. Нас обманывают традиции нашей старой монархии. Высылка нескольких известных людей вводит нас в заблуждение. Наше воображение рисует нам г-на де Шуазеля[21], окруженного почестями благородных друзей, и ссылка представляется нам победным торжеством. Однако же опустимся к низшим классам и перенесемся в иные времена. И в этих низших классах мы увидим, как ссылка отрывает отца от своих детей, супруга — от жены, торговца — от его предприятий, как она вынуждает родителей прервать воспитание своих детей или передать их в корыстолюбивые руки, как она разделяет друзей, нарушает привычки стариков и предприимчивых людей, мешает таланту в его трудах. Мы увидим, что ссылка связана с бедностью, что нужда преследует жертву в незнакомом месте, где нет возможности удовлетворить первейшие потребности, позволить себе малейшие утехи. Мы увидим, что ссылка связана с немилостью, окружающей тех, на кого падают подозрения и недоверие, повергая их в атмосферу отчуждения, подвергая их поочередно

то холодности со стороны первого из чужестранцев, то дерзости со стороны последнего из чиновников. Мы увидим, что ссылка в зародыше замораживает все чувства, что усталость отнимает у ссыльного последнего последовавшего за ним друга, что забвение лишает его всех друзей, воспоминание о которых символизировало в его глазах утраченную родину, что эгоизм принимает обвинения за апологию безразличия, что оставленный всеми ссыльный тщетно пытается удержать в глубинах своей одинокой души хоть какие-то, пусть несовершенные, следы своей прежней жизни.

Нынешнее правительство первым из всех правительств Франции формально отвергло эту ужасную прерогативу в предложенной им конституции*. И только закрепляя таким образом все права, все свободы, только обеспечивая нации все, к чему она стремилась в 1789 г. и к чему она стремится еще и сегодня, все, чего она требует с невозмутимым упорством на протяжении двадцати пяти лет всякий раз, как только получает возможность заставить себя услышать, — только так правительство сумеет пустить самые глубокие корни в сердцах французов.

Глава девятнадцатая
О СУДЕБНЫХ ГАРАНТИЯХ

Хартия 1814 года очень неясно высказывалась в отношении несменяемости судей. Она объявляла несменяемыми лишь тех судей, что назначались королем, не устанавливая строгого правила облечения королевским назначением судей, уже исполнявших свои обязанности вследствие предшествовавших назначений. Эта зависимость, в которой оказалось достаточно много людей, была небесполезна для тогдашнего правительства.

* См. 61-ю статью конституции: «Никто не может быть подвергнут преследованию, аресту, заключению или ссылке за исключением случаев, предусмотренных законом».

Более откровенное и более твердое в своих действиях нынешнее правительство в новой конституции отказалось от всякой двусмысленной прерогативы. Оно закрепило несменяемость судей начиная с определенного и достаточно близкого периода.

И действительно, любое временное назначение либо правительством, либо народом, любая возможность отзыва, если только она осуществлена не на основе действительного судебного решения, в равной степени являются посягательством на независимость судебной власти.

Высказывались серьезные возражения против продажи должностей. То было злоупотребление, но это злоупотребление имело преимущество, сожалеть о котором нас заставляет сменивший его порядок отправления правосудия.

Почти на протяжении всего периода революции ни суды, ни судьи, ни судебные решения не были свободны. Различные партии поочередно завладевали инструментами и установленной формой закона. Нашим чиновникам с трудом хватало отваги неустрашимых воинов при вынесении приговоров в соответствии с их совестью. Храбрость, заставляющая бравировать смертью во время боя, была более легким делом, нежели публичное отстаивание независимого мнения под угрозами тиранов и мятежников. Судья, которого можно заменить или отозвать, более опасен, чем судья, купивший свою должность. Покупка должности является вещью менее развращающей, нежели постоянные опасения эту должность потерять. С другой стороны, я считаю, что мы пришли к установлению и закреплению института суда присяжных, гласности судебных процедур, к существованию строгих законов против недобросовестных судей. Но коль скоро меры эти приняты, судебная власть должна пользоваться совершенной независимостью: любая власть должна запретить себе любые инсинуации против судов. Ничто не наносит большего ущерба общественному мнению и морали, как эти вечные речи, повторяемые нами по любому поводу и во все времена и направленные против людей, которые должны либо быть неприкосновенными, либо подвергнуться суду.

Тот факт, что при конституционной монархии право назначения судей должно принадлежать государю, является очевидной истиной. При таком правлении королевскую власть следует наделить всем влиянием и даже всей популярностью, которую несет в себе свобода. Народ способен часто ошибаться при выборе судей. Ошибки же королевской власти в силу необходимости крайне редки. Она никоим образом не заинтересована в их совершении; она испытывает насущную потребность уберечь себя от подобных ошибок, поскольку судьи несменяемы и поскольку речь идет не о временных поручениях.

Для полных гарантий независимости судей, быть может, стоит однажды повысить им жалованье. Общее правило: выплачивайте за исполнение общественных обязанностей жалованье, которое соответствует значимости тех, кто эти функции исполняет, либо сделайте отправление этих обязанностей вообще бесплатным. Выдающиеся представители народа, которые могут надеяться на известность, не нуждаются в том, чтобы им платили, но обязанности судей по своей природе не относятся к бесплатно выполняемым обязанностям, а всякая нуждающаяся в вознаграждении обязанность презираема, если это вознаграждение очень скромно. Уменьшите количество судей, установите округа, которые они будут курировать, и назначьте им значительное жалованье.

Несменяемости судей было бы недостаточно, чтобы дать невиновным меры защиты, которые они имеют право требовать, если к этим несменяемым судьям не прибавить институт присяжных, этот столь порицаемый, но, однако же, и столь благотворный институт, несмотря на несовершенства, от которых ему еще не удалось полностью избавиться.

Мне известно, что у нас институт присяжных подвергался нападкам при помощи рассуждений о недостатке старания, о невежестве, беззаботности, французском легкомыслии. Тем самым обвиняли не институт, но всю нацию. Но кто может не замечать, что институт, на первых порах кажущийся мало подходящим для нации в силу своей непривычности, с течением

времени становился необходимым и целительным для нее, если сам по себе он был хорошим и если нация благодаря этому институту обретала способности, коих не имела доселе? Я всегда отказывался верить, что нация может быть беззаботной в отношении первейшего из своих интересов — управления правосудием и соблюдения гарантий для обвиняемой невиновности.

«Французам, — говорит противник суда присяжных, быть может единственный из всех, чья направленная против этого института работа производит впечатление наиболее глубокой, — всегда будет недоставать образования и твердости, необходимых для того, чтобы суд присяжных выполнил свою задачу. Наше безразличие ко всему, что имеет отношение к общественному управлению, власть эгоизма и частного интереса, мягкость, бесплодность общественного духа таковы, что закон, устанавливающий подобный тип судебной процедуры, у нас невыполним». Но нам нужно иметь общественный дух, который бы преодолевал эту мягкость и этот эгоизм. Неужели вы думаете, что подобный дух существовал у англичан вне совокупности их политических институтов? В стране, где введение института присяжных без конца откладывалось, где нарушалась свобода судов, где обвиняемые передавались суду комиссий, подобный дух не может зародиться; в отсутствии этого духа упрекают институт присяжных, но упрекать в этом следовало бы посягательства на данный институт.

«Суд присяжных, — говорят нам, — не сможет, как того требует дух института, отделить свою внутреннюю убежденность от документов, свидетельств, признаков; все эти вещи не являются необходимыми, когда существует убежденность, но они совершенно недостаточны, когда такой убежденности не существует». Но ведь нет никакой причины отделять эти вещи друг от друга; напротив, они являются элементами убежденности. Дух института стремится только к тому, чтобы суд присяжных был вынужден произносить приговор на основании не математического расчета, но того впечатления, какое произвела на него совокупность документов, свидетельств или признаков. Таким образом,

просвещенности на уровне простого здравого смысла вполне достаточно, чтобы присяжный, выслушав свидетелей, прочитав все документы, сравнив признаки, сумел объявить, убежден он в виновности подсудимого или нет.

«Если присяжные, — продолжает цитируемый мною автор, — находят закон чересчур суровым — они оправдают обвиняемого и объявят факт преступления недействительным вопреки своей совести»; автор предполагает случай, когда человек мог быть обвинен в том, что дал убежище своему брату, и благодаря этому своему действию подвергнуться смертной казни. На мой взгляд, этот пример свидетельствует не против суда присяжных, но, напротив, в высшей степени воздает ему похвалу; он доказывает, что этот институт ставит препятствие на пути исполнения законов, противоречащих человечности, моральной справедливости. Прежде чем быть присяжным, человек является человеком; поэтому я далек от того, чтобы осуждать присяжного, который в этом случае не исполнил своего долга присяжного, и похвалю его за то, что он исполнил свой долг человека, за то, что он, используя все находящиеся в его распоряжении средства, пришел на помощь обвиняемому, уже готовому понести наказание за поступок, являющийся не преступлением, но добродетелью. Этот пример не доказывает, что суд присяжных не нужен; он доказывает лишь то, что не нужны законы, требующие смертной казни за предоставление убежища своему брату.

«И тогда, — продолжает наш автор, — когда наказание будет чрезмерным или покажется таковым присяжному, он примет обвинение вопреки своей убежденности». Я отвечу, что присяжный, как гражданин и как собственник, заинтересован в том, чтобы не оставлять безнаказанным посягательства, угрожающие безопасности, собственности или жизни всех членов социального целого; этот интерес возобладает в нем над минутной жалостью; Англия дает нам тому, быть может, прискорбное доказательство. Строгие наказания здесь применялись к проступкам, которые определенно их не заслуживали; и присяжные не оставляли своих убеждений, даже испытывая жалость к тем, кого

их приговор обрекал на муки*. В человеке есть определенное уважение к писаному закону; ему нужны очень серьезные основания, чтобы это уважение преодолеть. Когда такие основания существуют, то виноваты в том законы. Если наказания кажутся присяжным чрезмерными, то они таковыми и будут, поскольку, повторяю еще раз, присяжные совершенно не заинтересованы считать их таковыми. В самых крайних случаях, т.е. тогда, когда присяжные окажутся в положении между неодолимым чувством справедливости и человечности, с одной стороны, и буквой закона — с другой, то, осмелюсь заметить, они устранятся не от зла; не должно существовать закона, возмущающего человечность большинства людей в такой степени, что присяжные, представляющие нацию, не смогли бы решиться содействовать применению этого закона; и институт постоянных судей, которых привычка примирит с этим варварским законом, будет не преимуществом, но бедствием.

Присяжные, говорят нам, изменят своему долгу либо из страха, либо из жалости; если они сделают это из страха, то виновна в том будет излишне небрежная полиция, не умеющая защитить присяжных от личной мести; если они совершают это из жалости, то повинен в том будет излишне строгий закон.

Французская беззаботность, безразличие, легкомыслие являются результатом порочных институтов, а обычно приводят в пример последствия, дабы упрочить порождающие их причины. Ни один народ не может быть безразличен к собственным интересам, если ему дозволено ими заниматься: если эти интересы ему безразличны, это значит, что его от них отторгают. Институт присяжных, с этой точки зрения, тем более необходим французскому народу, что в настоящий момент он кажется совершенно бездарным: в суде присяжных французы найдут не только частные преимущества, какие дает политический институт, но

* Я был свидетелем того, как в Англии присяжные признали виновной девушку, укравшую кисеи на тринадцать шиллингов. Они прекрасно знали, что их приговор повлечет за собой смертную казнь.

также и общее и наиболее важное преимущество — возможность восстановить свое моральное воспитание.

К несменяемости судей и неприкосновенности присяжных следует прибавить также постоянное и тщательное соблюдение юридических процедур.

Из-за странной логической ошибки на протяжении всего периода революции людей, которые должны были предстать перед судом, заранее объявляли убежденными преступниками.

Судебная процедура в этом отношении является спасением, сокращение же судебной процедуры есть уменьшение значения или утрата этой спасительной меры*. Сокращение процесса является, таким образом, наказанием. И если мы подвергаем обвиняемого такому наказанию, значит, его преступление заранее доказано. Но если его преступление доказано, то зачем нужен суд, каким бы он ни был? Если же его преступление не доказано, то по какому праву вы причисляете обвиняемого к особому классу изгнанников и на основании одного лишь подозрения лишаете его преимущества, которым пользуются все члены общества?

Но это не единственная абсурдность. Судебная процедура либо необходима, либо бесполезна для доказательства: если она бесполезна, то зачем вы сохраняете ее в обычных процессах? Если она необходима, то почему вы сокращаете ее в процессах, наиболее значительных? Когда речь идет о мелком проступке, наказание за который не представляет угрозы ни жизни, ни чести обвиняемого, его дело рассматривается со всей торжественностью; но когда вопрос стоит об ужасном злодеянии и, следовательно, о бесчестии и смерти, то одним росчерком пера уничтожаются все предохранительные меры, закрывается Кодекс законов, формальные процедуры сокращаются, как будто все считают, что чем серьезнее обвинение, тем менее оно нуждается в изучении!

Вы утверждаете, что преимуществ полноты судебной процедуры вы лишаете только разбойников, убийц, заговорщиков; но не следует ли прежде, чем

* См.: Приложение 7.

признать их таковыми, установить фактическую сторону дела? Судебная же процедура как раз и является средством установления фактов. Если существуют лучшие или более быстрые средства, воспользуйтесь ими, но прежде установите их в качестве оснований. Почему может существовать группа фактов, в отношении которой соблюдается излишняя медлительность, и другая группа фактов, в отношении которой решения принимаются с опасной поспешностью? Дилемма очевидна. Если поспешность не представляет опасности, медлительность излишня; если же медлительность не является излишней, поспешность опасна. Неужели вы скажете, что по внешним и безошибочным признакам до суда можно отличить невинных людей от людей виновных, тех, кто должен пользоваться преимуществами судебной процедуры, от тех, кто может быть лишен этого преимущества? Именно потому, что таких признаков не существует, и необходимы судебные процедуры; именно потому, что судебные процедуры оказались единственным средством для отличения безвинного от виновного, все свободные и гуманные народы потребовали их введения. Сколь бы ни были несовершенны судебные порядки, они обладают способностью защитить, которой их можно лишить, лишь разрушив; они — врожденные враги, несгибаемые противники тирании, народной или какой-либо иной. До тех пор, пока они существуют, суды противопоставляют произволу более или менее благородное сопротивление, которое служит сдерживанию произвола. При Карле I английские суды оправдали многих сторонников свободы вопреки угрозам двора; при Кромвеле суды, хотя и находились под влиянием протектора, очень часто признавали невиновными обвиненных в приверженности монархии; при Якове II Джефрейс был вынужден попрать судебную процедуру и нарушить независимость судей, назначенных им же самим, дабы подвергнуть бесчисленным мукам жертвы собственного гнева. В судебных процедурах есть нечто величественное и точное, что заставляет судей уважать самих себя и следовать справедливости и порядку. Ужасный закон, который при Робеспьере объявил доказательства излишними и упразднил защитников, яв-

ляется данью судебной процедуре. Этот закон доказывает, что судебные порядки, измененные, изуродованные, во всех отношениях превратно истолкованные гением борющихся группировок, еще сдерживали тщательно выбранных из лона всего народа людей, лишенных всяких угрызений совести и всякого уважения к общественному мнению*.

Наконец, я перейду к рассмотрению права помилования, которым наша конституция облекает императора, в качестве последней меры защиты, дарованной невиновному.

Этому праву противопоставлялась одна из тех острых дилемм, которые, казалось бы, упрощали вопросы, ибо искажали их. Если закон справедлив, говорили нам, никто не должен иметь права помешать его исполнению; если закон несправедлив, его следует изменить. Этому рассуждению недостает только одного условия: необходим закон для каждого конкретного случая.

Чем более общий характер носит закон, тем больше он отдаляется от отдельных деяний, в отношении которых он тем не менее должен выносить приговор. Закон может быть совершенно справедливым только в отношении одного обстоятельства; когда же он применим к двум случаям, даже незначительно отличающимся друг от друга, он является более или менее несправедливым в отношении одного из них. Факты имеют бесконечное множество нюансов; законы не могут учитывать их все. Таким образом, предложенная нам дилемма является ошибочной. Закон может быть справедлив как общий закон, т.е. он может справедливо определять наказание за определенное действие; и однако же закон может быть несправедлив в его применении к конкретному случаю; т.е. то или иное дей-

* Статья нынешней конституции, ограничивающая военное правосудие рассмотрением только военных проступков, а не распространяющаяся, как это было раньше, на проступки военных, просто великолепна. Ведь на основании предыдущей статьи то военных лишали возможности следовать всем судебным порядкам, то гражданских людей судили в соответствии с процедурой военного суда.

ствие, фактически являющееся действием, предусмотренным законом, в реальности может отличаться от него, хотя законом это различие и не определено. Право на помилование является не чем иным, как законно неопределимым. Право на помилование есть не что иное, как примирение общего закона и отдельной несправедливости.

Потребность в таком примирении тем более настоятельна, что во всех странах, где право на помилование отвергнуто, его подменяют всякого рода уловками. У нас некогда кассационный суд пользовался им в некоторых случаях. В приговорах, выносивших слишком суровые наказания, он выискивал нарушения процедуры, которые влекли за собой отмену приговора; для достижения этого он очень часто прибегал к кропотливым формальностям; то было злоупотребление, хотя в основе его и лежали вполне извинительные причины. Конституция 1815 г. совершенно справедливо вернулась к более простой идее возвратить верховной власти одну из ее наиболее трогательных и естественных прерогатив.

Глава двадцатая
ПОСЛЕДНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Нашим представителям еще предстоит заняться многими из тех вопросов, которые я затронул в этой работе. Как я уже говорил в начале, само правительство позаботилось провозгласить возможность улучшения конституции. Остается только пожелать, чтобы за это дело взялись не торопясь, с охотой, без нетерпения и не стараясь обогнать время. Если настоящая конституция не лишена недостатков, то это лишнее доказательство того, что самые благонамеренные люди никогда не могут предвидеть последствий каждой из статей конституции. То же самое может произойти с тем, кто захочет ее полностью переделать, чтобы исправить. Очень просто сделать более удобным свое жилище, когда вносишь в него только частичные изменения: они тем более мягки, что являются почти неощутимыми; но очень опасно ломать свое жилище,

чтобы его перестроить, особенно когда пока нет другого прибежища.

На нас взирают жители других стран, они знают, что мы являемся сильной нацией. Если они увидят, что мы пользуемся конституцией, пусть и несовершенной, они поймут, что мы являемся и нацией рассудительной, и наш разум будет для них более внушительным, нежели наша сила. Жители других стран взирают на нас, они знают, что нас возглавляет первый генерал столетия. Если они увидят, что мы сплотились вокруг него, они заранее сочтут себя побежденными; но оставаясь разделенными, мы погибнем.

Много похвал возносилось великодушию наших врагов. Это великодушие не помешало им вознаградить себя за убытки, понесенные во время войны. Они лишили нас Бельгии и Рейна, которые в результате долгого обладания и торжественных договоров отождествлялись с Францией. Великодушие сегодняшних победителей могло бы подтолкнуть их к новому возмещению ущерба. Они бы отобрали у нас Франш-Конте, Лотарингию и Эльзас. Почему брюссельские соглашения будут соблюдаться лучше, нежели франкфуртские?

Император дал самое бесспорное доказательство искренности своих намерений; он собрал вокруг себя шестьсот двадцать девять свободно избранных представителей нации, на выборы которых правительство не смогло оказать никакого влияния. В момент их торжественного собрания он был диктатором. Если бы он стремился только к деспотизму, он мог бы попытаться его сохранить.

Это противоречило его интересам, скажут нам. Несомненно; но не означает ли это, что его интересы согласуются со свободою? Не является ли это основанием для доверия?

Он первый со времен Конституционного собрания собрал вместе представителей всей нации. Еще до того, как конституция вошла в силу, он уважал безграничную свободу печати, чьи бесчинства являются самым яркой данью уважения его благородному решению. Он восстановил для значительной части народа право выбирать должностных лиц.

Очень скоро после этого он увидел цель, он обозначил путь. Лучше любого другого человека он осознал, что коль скоро ты принимаешь систему, то ее следует принимать всю целиком; что свобода должна быть полной; что она является гарантией, равно как и границей власти; и ощущение своей силы поставило его над всеми затаенными мыслями, двойственными и малодушными, которые привлекают узкие умы и которые разделяют слабые души.

Таковы факты, и факты объясняют такое поведение нам, связанным с нынешним правительством, в момент кризиса; нам, оставшимся чуждыми властелину мира и объединившимся вокруг создателя свободной конституции и защитника отечества.

Когда его появление гремело по всей Европе, мы видели в нем лишь завоевателя мира, а мы желали свободы. И действительно, кто тогда не говорил, что было бы лучше, если бы свобода начала свой путь от робости и слабости, нежели от огромной, почти волшебной силы?

Признаюсь, я тогда тоже так считал, и, согреваемый этой надеждой, после десяти месяцев отсутствия каких бы то ни было отношений с правительством, которое пало, поскольку все время пребывало в противоречии с принимаемыми им мерами в отношении свободы печати, ответственности министров, пассивного подчинения, я приблизился к нему как раз в момент его падения. Я без конца повторял правительству, что для спасения ему нужна только свобода, что сами министры могут уцелеть только ценой свободы. Впредь таковой будет судьба всех правительств во Франции. Но мои беспомощные слова приводили в ужас тех, кто не привык их слушать.

Кое-кто говорил о конституции, но не было предпринято ни одной меры национального характера, ни одно прямое действие не подкрепило колеблющееся общественное мнение. Все пребывало в хаосе, замешательстве, смятении. Было от чего разочароваться в успехе дела и провозгласить его безнадежным. А все потому, что свобода, подлинная мера спасения, была ненавистна правительству.

Это правительство ушло в прошлое. Что должны были мы делать? Следовать за партией, которая была не нашей партией, а партией, против которой мы боролись, когда она еще казалась сильной, каждое намерение, каждая мысль которой находилась в противоречии с нашими мнениями и устремлениями, партией, которую мы некоторое время защищали только как средство, как переход к свободе? Но тогда мы не достигли бы ни одной из целей всех наших усилий. Можем ли мы ожидать, что из-за рубежа к нам придет конституционная монархия? Конечно же, нет. То будет либо раздел Франции, либо зависимая администрация, покорная исполнительница приказаний, которые она будет получать от иностранцев.

Когда Яков II покинул Англию, англичане объявили его бегство отречением от престола: именно с этого времени они стали свободными.

Нет, я не хотел присоединиться к нашим врагам и смиренно испрашивать резни французов, чтобы во второй раз восстановить то, чему суждено вновь пасть.

Пытаться защищать правительство, которое само себя оставляет, не означает дать обещание вместе с ним покинуть отечество; доказать свою преданность безнадежной и бессильной слабости не означает отречься от земли своих предков; смело встречать опасности в борьбе за дело в надежде сделать его правым после его спасения не означает еще быть преданным этому делу, когда оно, полностью переродившись, призывает иностранцев в качестве союзников и в качестве средства резни и пожара. Не скрыться не означает еще быть перебежчиком. Конечно же, давая эти торжественные свидетельства, мы еще испытываем горькие чувства. Не без удивления и не без труда, которые не может смягчить новизна делаемого нами открытия, мы узнаем, до какой степени уважение может быть тяжелым бременем для сердец и насколько можно быть счастливым, осудив человека, казавшегося безупречным, но переставшего быть таковым.

Будущее ответит на все вопросы, поскольку это будущее, каким бы мрачным оно ни казалось, принесет свободу. И тогда, после того как на протяжении двадцати лет я требовал прав для рода человеческого, без-

опасности индивидов, свободы мысли, гарантий собственности, уничтожения всякого произвола, я бы осмелился поздравить себя с тем, что еще до их полного торжества я примкнул к институтам, закрепляющим все эти права. Тогда я мог бы сказать, что исполнил дело всей своей жизни.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Об индивидуальных правах

Писатель, очень уважаемый за глубину, справедливость и новизну своих мыслей, Иеремия Бентам, выступил против идеи прав, в особенности против идеи прав естественных, неотчуждаемых и неотъемлемых; он утверждал, что это понятие способно лишь ввести нас в заблуждение и что его следует заменить понятием пользы, которое кажется ему более простым и понятным.

Поскольку избранный путь привел его к результатам, в высшей степени сходным с моими, я бы не хотел обсуждать здесь используемую им терминологию. И тем не менее я вынужден выступить против нее, поскольку принцип пользы, как нам представляет его Бентам, на мой взгляд, имеет неприятные последствия, общие для всех неясных выражений, и кроме того, он скрывает еще и опасность особого рода.

Никакого сомнения в том, что если понятие пользы определить надлежащим образом, то из него не удастся вывести тех же самых следствий, какие вытекают из понятий естественного права и справедливости. Внимательно изучив все вопросы, которые, на первый взгляд, противопоставляют пользу справедливости, мы обязательно обнаружим, что несправедливое никогда не бывает полезным. Но совершенно неверно, что понятие пользы в его самом обычном употреблении соотносимо с совсем иными понятиями, нежели понятие справедливости или права. Таким образом, когда общее употребление и здравый смысл связывают с понятием определенное значение, то изменять это

значение опасно. Потом мы тщетно будем объяснять, что хотели сказать: слово остается, а его значение забывается.

«Невозможно, — говорит Бентам, — рассуждать с фанатиками, вооруженными идеей естественного права, которую каждый понимает как ему нравится, и применяет как ему удобно». Но, по его же собственному признанию, принцип пользы поддается самым противоречивым интерпретациями и применениям. «Польза, — говорит он, — часто очень плохо применялась; понимаемая в узком смысле, она дала свое имя преступлениям. Но не следует распространять на принцип ошибки, которые наносят ему вред и исправлению которых только он один и может способствовать». Как эту апологию можно применить к пользе и не является ли она применимой и к естественному праву? Принцип пользы обладает еще одной опасностью, которую избегает принцип права: он пробуждает в умах людей надежду на извлечение выгоды, а не чувство долга. Подсчет же выгоды произволен: здесь все зависит от воображения. Но ни заблуждения, ни капризы воображения не смогли бы изменить понятия долга. Действия не могут быть более или менее справедливыми, но они могут быть более или менее полезными. Причиняя вред себе подобным, я нарушаю их права; это неоспоримая истина; но если я сужу об этом нарушении только на основании пользы, я могу ошибиться в своих расчетах и найти пользу в нарушении. Следовательно, принцип пользы является менее ясным, чем принцип естественного права. Не приемля терминологии Бентама, я хотел бы, насколько это возможно, отделить идею права от понятия пользы. И, как я уже говорил, это различие касается не только терминов, оно гораздо более важно, чем можно подумать.

Право является принципом, тогда как польза есть лишь результат. Стремиться к подчинению права пользе означает стремиться подчинить вечные правила арифметики нашим повседневным интересам.

Несомненно, для сделок людей между собой полезно, что между числами существуют незыблемые отношения; но если мы будем утверждать, что эти отноше-

ния существуют только потому, что полезны, то у нас не будет недостатка в случаях, когда нам докажут, что будет гораздо более полезным заставить эти отношения отступить. Мы забыли бы, что их постоянная полезность проистекает из их незыблемости, а перестав быть незыблемыми, они перестали бы быть и полезными. Таким образом, из-за того, что польза толковалась преимущественно с внешней стороны и превратилась в причину вместо того, чтобы оставаться следствием, она вскоре сама совершенно исчезнет. То же самое относится к морали и праву. Вы разрушаете пользу тем, что помещаете ее на первый план. Только когда правило доказано, можно показать, какую оно приносит пользу.

Я бы обратился с вопросом к тому же автору, чьи утверждения отвергаю. Разве выражения, которые он стремится запретить нам использовать, не напоминают идеи более точные и определенные, чем те, которыми он стремится их заменить? Если вы скажете человеку: «Вы имеете право не быть незаконно подвергнутым смерти или тюремному заключению», то создадите у него совсем иное чувство безопасности и гарантий, чем если бы вы сказали ему: «Ваш незаконный арест или смерть не являются полезными». Можно доказать, и я признаю это, что действительно данные обстоятельства никогда не могут принести пользы. Но говоря о праве, вы представляете идею, независимую от какого бы то ни было расчета. Говоря же о пользе, вы, казалось бы, предлагаете усомниться в вещи, подвергая ее новой верификации.

«Что можно найти более абсурдного, — восклицает изобретательный и мудрый женевский единомышленник Бентама, Дюмон, — чем неотъемлемые права, которые никогда не имели силы!» Но заявляя, что права эти неотчуждаемы или неотъемлемы, мы просто утверждаем, что они не должны быть отчуждены, что они не должны утратить свою силу. Мы говорим о том, что должно быть, а не о том, что есть.

Сводя все к принципу пользы, Бентам обрек себя на принудительную оценку всего того, что является результатом человеческих действий, оценку, противоречащую самым простым и самым привычным поня-

тиям. Говоря о подлоге, краже и т.д., он вынужден согласиться, что, когда с одной стороны имеет место утрата, с другой стороны имеет место выигрыш; и в этом случае, дабы не одобрять подобные поступки, его принцип должен гласить, что благо от выигрыша не эквивалентно злу от потери. Но поскольку добро и зло разделены, совершающий кражу человек будет считать, что его барыш для него важнее утраты другого. И в силу того, что для него не будет стоять никакого вопроса о справедливости и он будет подсчитывать лишь собственный барыш, он скажет: «Мой выигрыш — нечто большее, нежели эквивалент утраты другого». Таким образом, его будет удерживать лишь страх быть обнаруженным. Эта система уничтожает всякие моральные основания поступков.

Отвергая первый принцип Бентама, я далек от того, чтобы недооценивать заслуги этого писателя; его работа исполнена новых идей и глубоких взглядов; все выводимые им из его принципа следствия, сами по себе истинны. Это происходит от того, что принцип его ложен только с точки зрения терминологии, и как только автору удается избавиться от последней, он в удивительном порядке объединяет самые здравые понятия относительно политической экономии, относительно предосторожностей, которые должно предпринять правительство, чтобы вмешиваться в дела индивидов лишь тогда, когда это действительно необходимо, относительно народонаселения, религии, торговли, уголовных законов, относительно зависимости возмездия от совершенного проступка; но с ним произошло то же, что и со многими уважаемыми авторами, — для своего открытия он избрал определенную форму изложения и все принес в жертву этой форме.

Таким образом, я остаюсь верным привычному способу изложения, поскольку по сути считаю его более точным, а также более понятным.

Я утверждаю, что индивиды обладают правами и что права эти независимы от общественной власти, которая не может посягнуть на них, не будучи обвиненной в узурпации.

Власть в чем-то схожа с налогом; каждый индивид дает согласие пожертвовать часть своего состояния,

чтобы покрыть общественные расходы, направленные на обеспечение этому индивиду мирного пользования всем тем, что он имеет; но если бы государство потребовало́ от каждого все его состояние целиком, то предлагаемые им гарантии стали бы иллюзорными, ибо не имели более применения. Точно так же каждый индивид соглашается пожертвовать частицу своей свободы ради обеспечения остального; но если бы власть завладела всей свободой, жертва была бы бесцельной.

И однако же, что нужно делать, когда власть завладевает ею? Мы подходим к вопросу о подчинении закону, одному из самых трудных, какие только могут привлечь внимание людей. Какое бы решение мы ни позволили себе принять в этой области, мы встанем перед неразрешимыми трудностями. Нам скажут, что законам следует подчиняться лишь в том случае, если они справедливы? Тем самым будет дозволено самое бессмысленное или самое преступное сопротивление; повсюду воцарится анархия. Нам скажут, что следует подчиняться закону как таковому, независимо от его содержания и его источника? В этом случае мы будем обречены подчиняться самым жестоким указам и самым незаконным властям.

Величайшие гении, самые сильные умы потерпели поражение в своих попытках разрешить эту проблему.

Паскаль и канцлер Бэкон полагали, что нашли ее решение, когда утверждали, что следует подчиняться закону без раздумий. «Исследуя основания законов, — говорил последний, — мы ослабляем их силу». Углубим же строгий смысл этого высказывания.

Всегда ли достаточно имени закона, чтобы принудить человека к подчинению? Но если несколько человек или даже один, не имеющий полномочий (и чтобы привести в замешательство тех, кто уже готов мне возразить, я персонализирую свое утверждение и скажу им: пусть это будет или Комитет общественного спасения, или Робеспьер), назовет законом выражение своей собственной воли, будут ли другие члены общества обязаны ей следовать? Утвердительный ответ абсурден; но отрицательный ответ подразумевает, что не одно только имя закона налагает обязанность послу-

шания и что эта обязанность предполагает предварительное изучение источника, из которого проистекает этот закон.

Захотим ли мы, чтобы такое изучение было дозволено, когда речь пойдет о том, чтобы установить, проистекает ли из законной власти то, что представлено нам под именем закона, но чтобы, как только этот момент будет прояснен, исследование не коснулось самого содержания закона?

Что мы выиграем от этого? Власть легитимна только в своих пределах; муниципальные власти, мировой судья суть законные власти до тех пор, пока они не выходят из сферы своей компетенции. Но однако же они перестают быть таковыми, если присваивают себе право издавать законы. Таким образом, во всех системах следовало бы согласиться с тем, что индивиды могут использовать свой разум не только для того, чтобы узнать характер властей, но и для того, чтобы судить об их действиях; отсюда вытекает необходимость исследовать содержание закона столь же тщательно, как и его источник.

Заметьте, что даже те, кто провозглашает неявное подчинение законам, каковыми бы те ни были, строгое и абсолютное следование долгу, всегда исключают из этого правила то, к чему сами проявляют интерес. Паскаль исключал из него религию; он не подчинялся власти гражданского закона в том, что касается религии, и своим непослушанием в этом отношении пренебрежительно относился к преследованиям.

Английский автор, которого я цитировал выше, установил, что только закон порождает проступки и что любое действие, запрещенное законом, становится преступлением. «Правонарушение, — говорит он, — есть действие, из которого проистекает зло; значит, связывая наказание с действием, закон делает так, что из него проистекает зло». В этом отношении закон может связать наказание с фактом спасения мною жизни моего отца, с тем, что я вырываю его из рук палача. Достаточно ли это для того, чтобы превратить в преступление сыновнюю любовь? И это пример, сколь бы страшным он ни был, не является пустой гипотезой. Разве мы не знаем, что во имя закона

отцов обвиняли за то, что они спасали своих детей, а детей — за то, что они оказывали помощь своим отцам?

Бентам опровергает самого себя, когда говорит о воображаемых правонарушениях. Если закона было достаточно, чтобы создать правонарушения, то ни один из проступков, порожденных законом, не носил бы воображаемого характера. Все, что он провозглашал бы проступком, таковым бы и являлось на самом деле.

Английский автор пользуется сравнением, очень подходящим для прояснения вопроса. «Некоторые сами по себе невинные действия, — говорит он, — классифицируются как правонарушения подобно тому, как у отдельных народов священная пища считается рыбой». Не следует ли отсюда, что подобно тому, как заблуждение этих народов не превращает в рыбу эту священную пищу, ошибочное толкование закона не превращает в проступки безобидные действия? Все время происходит так, что коль скоро о законе говорят абстрактно, то предполагают, что он таковым и является; а когда занимаются тем, что он есть на самом деле, то обнаруживают, что он является чем-то совсем иным; отсюда вечные противоречия в системах и их толкованиях.

Бентам запутался в противоречиях подобного рода из-за своего принципа пользы, который, как я считаю, я опроверг выше.

В своей системе законодательства он захотел полностью абстрагироваться от природы и не заметил, что лишает законы одновременно их санкций, их основы и их границ. Он дошел до утверждения, что любое действие, сколь бы нейтральным оно ни было, могло быть запрещено законом, что именно закону мы обязаны свободою садиться или оставаться стоять, входить или выходить, принимать или не принимать пищу, поскольку закон может все это нам запретить. Мы обязаны этой свободой закону подобно тому, как визирь, который ежедневно возносит благодарность Его Высочеству за то, что еще хранит на плечах свою голову, всем обязан своему султану за то, что тот его не обезглавил. Но закон, который высказывался бы по

поводу этих нейтральных действий, был бы не законом, но деспотом.

Слово «закон» столь же неопределенно, как и слово «природа»; злоупотребляя законом, мы опрокидываем общество; злоупотребляя природой, мы терзаем ее. Если бы нужно было выбирать между ними обоими, то я бы сказал, что понятие природы по крайней мере будит у всех людей примерно одну и ту же идею, тогда как понятие закона может быть применено к противоположным идеям.

Когда в самые ужасные периоды нам приказывали идти на убийство, оговор, шпионаж, то нам не приказывали делать это во имя природы, все понимают, что между этими понятиями есть противоречие. Нам приказывали поступать так во имя закона, и здесь не было никакого противоречия.

Подчинение закону есть долг; но, как и все обязанности, он не абсолютен, он относителен; он основан на предположении, что закон проистекает из легитимного источника и заключен в справедливых границах. Это долговое обязательство действует до тех пор, пока закон отходит от правила лишь в некоторых отношениях. Мы обязаны общественному спокойствию многими жертвами; мы бы были виновны в глазах общественной морали, если бы из-за слишком упорной привязанности к своим правам нарушили спокойствие, как только бы нам показалось, что на права посягнули во имя закона. Но никакой долг не связывает нас с законами, которые, например, были созданы в 1793 г. или даже еще позднее и порочное влияние которых представляет угрозу для самых достойных частей нашего существования. Никакой долг, видимо, не будет связывать нас с законами, которые не только ограничили бы наши законные свободы, но и противоречили действиям, которые они не имеют права запрещать, и предписывали нам действия, противоречащие вечным принципам справедливости и милосердия, которым человек не может перестать следовать, не изменив своей природе.

Английский публицист, чье мнение я оспаривал выше, сам согласен с этой истиной. «Если закон, — гворит он, — не является тем, чем он должен быть, то

следует ли ему подчиняться или его нужно нарушать? Следует ли оставаться нейтральным по отношению к закону, предписывающему совершение зла, а также по отношению к морали, запрещающей следование этому закону? Нужно посмотреть, являются ли возможные несчастия, причиненные следованием закону, меньшими, нежели возможные несчастия, проистекающие из неподчинения ему». Таким образом, этими словами он признает право на индивидуальное суждение, право, которое в другом месте он оспаривал.

Теория безграничного послушания закону в период тирании и эпоху революционных бурь принесла, быть может, больше несчастий, чем все прочие ошибки, которые ввели людей в заблуждение. За этой формулировкой, внешне бесстрастной и непредвзятой, скрывались самые отвратительные страсти, готовые обернуться всякого рода крайними мерами. Вы хотите объединить в единой точке зрения все последствия этой теории? Вспомните, что римские императоры издавали законы, что Людовик XI издавал законы, что Ричард III издавал законы, что Комитет общественного спасения издавал законы.

Таким образом, необходимо точно определить, какие права связанное с известными действиями имя закона дает этим действиям в отношении нашего подчинения, а также, что тоже важно, какие права дает закон в помощь нам. Необходимо также указать, какие качества заставляют закон перестать быть законом.

Первым из таких качеств является обратное действие закона. Люди соглашаются принять на себя бремя закона лишь для того, чтобы связать со своими действиями определенные следствия, в соответствии с которыми они могли бы управлять собой, выбирать линию поведения, которой они хотели бы следовать. Обратное действие закона лишает их этой возможности. Оно нарушает условия общественного договора. Оно отнимает у них цену жертвы, которую закон заставил их принести.

Второй чертой беззакония законов является предписание действий, противоречащих морали. Закон, предписывающий оговор, доносительство, не является законом; всякий закон, предписывающий посягатель-

ства на склонность, заставляющую людей дать убежище тому, кто просит у них защиты, не является законом. Правительство создано, чтобы надзирать; у него есть свои средства, чтобы выносить обвинение, вскрывать преступление, преследовать виновных, наказывать их; но у него нет никакого права обрушиваться на индивида, не выполняющего никакой из этих необходимых, но тяжелых обязанностей. Оно должно уважать в гражданах благородство, заставляющее их быть милосердными и без разбора приходить на помощь слабому, обиженному сильным.

Именно для того, чтобы сделать личное милосердие неприкасаемым, мы наделили величием государственную власть. Мы пожелали сохранить в себе чувства привязанности, придав власти самые строгие полномочия, которые могли бы затронуть или заставить померкнуть эти чувства.

Всякий закон, разделяющий граждан на классы, наказывающий их за то, что от них не зависит, возлагающий на них ответственность за чужие действия, всякий подобный закон не является законом. Законы против дворян, против священников, против отцов дезертиров, против родителей эмигрантов не являлись законами.

Таков принцип; но не следует предвосхищать следствия, которые я из него вывожу. Я вовсе не претендую на то, чтобы рекомендовать неподчинение. Оно должно быть запрещено, но не из-за почтительности по отношению к узурпирующей власти, а из уважения к гражданам, которых опрометчивая борьба могла лишить преимуществ общественного состояния. До тех пор, пока закон, хотя и дурной, не приносит нам вреда; до тех пор, пока власть требует от нас лишь жертв, которые не делают нас ни подлыми, ни жестокими, — мы можем им подчиняться. Мы заключаем сделку лишь с собственной совестью. Но если закон предписывает нам, как он часто делал это в годы волнений, если он, повторяю, предписывает нам попрать наши привязанности и наши обязанности; если под абсурдным предлогом огромной и надуманной преданности тому, что поочередно именовалось то республикой, то монархией, он налагает запрет на преданность

нашим друзьям, попавшим в беду; если он побуждает нас к коварству по отношению к нашим союзникам или даже к преследованию в отношении наших поверженных врагов, — то все собрание несправедливостей и преступлений, скрывающееся за именем закона, должно быть предано анафеме и неподчинению!

Всякий раз, когда закон кажется несправедливым, нашим действительным долгом, долгом общим и лишенным каких бы то ни было ограничений, является неисполнение такого закона. Эта сила инерции не влечет за собой ни потрясений, ни революции, не беспорядков; и если бы во времена правления несправедливости мы стали бы свидетелями того, как преступные власти понапрасну издают бесчеловечные законы, предписывающие массовые ссылки, постановления о депортации, и не находят в огромном и безмолвствующем народе, изнемогающем под их господством, исполнителя их несправедливостей, сообщника в их злодеяниях, то нам бы открылась поистине великолепная картина.

Ничто не может служить оправданием человеку, оказывающему содействие закону, считающимся несправедливым; судье, заседающему в суде, который он считает беззаконным или который выносит приговор, им отвергаемый; министру, заставляющему исполнить постановление против собственной совести; телохранителю, арестовывающему человека, чья невиновность ему известна, дабы передать его в руки палачей.

И страх не является более подходящим оправданием, нежели все прочие постыдные страсти. Горе всем вечно угнетенным людям, всему тому, что говорят нам они, неутомимые агенты всех существующих тираний, запоздалые разоблачители всех свергнутых тираний! В ужасные времена нам доказывали, что исполнителем несправедливых законом становятся лишь для того, чтобы ослабить их силу, и что власть, носителем которой вы согласились стать, причинила бы еще больше зла, если бы она оказалась в менее чистых руках. Это лживая сделка, открывающая безграничное поприще для преступлений всякого рода! Каждый заключает договор со своей совестью, и на каждой сту-

пени несправедливости находятся свои исполнители. И при таком подходе я не вижу причин к тому, чтобы стать палачом невиновного под тем предлогом, что ты причинишь жертве меньше страданий.

Даже в том, что говорят нам эти люди, они обманывают нас. Во время революции мы имели тому бессчетное множество доказательств. Они никогда не смоют клейма, которое согласились принять; никогда душа их, пораженная рабской покорностью, не сможет вновь обрести своей независимости. Напрасно из расчета, из сочувствия или из жалости мы будем делать вид, что слушаем их невнятную мольбу о прощении; напрасно будем мы стараться убедить себя в том, что благодаря какому-то необъяснимому чуду они вдруг обрели давно исчезнувшую отвагу; они сами в это не верят. Они сами утратили способность надеяться; и их голова, склоненная под бременем, которое они несут, по привычке безропотно склоняется еще ниже, чтобы принять на себя новое бремя.

Приложение 2

О предложении законов от имени одних только министров

Некоторое время тому назад я счел себя обязанным выступить со всей силой, какую только могу почерпнуть в истине и в том, что представляется мне разумным, против работы де Шатобриана «Монархия в соответствии с хартией»[24]. Но выступая против практической части его системы, которая казалась, да и сейчас кажется мне опасной, я и тогда еще, не колеблясь, признавал, что на первых ста страницах этой книги он высказал совершенно верные и в основе своей конституционные идеи. Я рассматривал как несчастье, обусловленное временем, тот способ, при помощи которого, внезапно посреди пути обретая новый поворот, он выводил самые очевидные и самые мудрые принципы — следствия, прямо противоположные тем положениям, из которых они вытекали. Сегодня, когда эти следствия утратили большую часть своей опасности, поскольку невозможность воплотить их на

практике с каждым днем становится все очевиднее, мне бы хотелись поддержать этого знаменитого писателя, поскольку я беру истину повсюду, где нахожу ее, и поскольку было бы полезно доказать, что сила вещей приводит все просвещенные умы к принятию одних и тех же фундаментальных идей, сколь бы различными ни были их исходные точки и, возможно, их желаемая конечная цель.

Таким образом, я бы сказал по поводу статьи, которой посвящено данное примечание, что достаточно прочитать главу VI «Монархии в соответствии с хартией»[22], чтобы убедиться в том, что предложения законов, исходящие от министров, должны делаться от имени одних только министров и что имя короля должно быть произнесено только тогда, когда закон принят и королевская власть облекает его своими санкциями.

«Министры, — говорит Шатобриан, — вносят в палаты свои проекты законов в королевском ордонансе. Этот ордонанс начинается словами *Людовик, милостью Божьей*, и т.д. Тем самым министры вынуждены заставить говорит короля от первого лица; они заставляют его сказать, что он в своей мудрости замыслил проект закона, который он своей властью посылает палатам; затем следуют поправки, принимаемые королевской властью; милость Бога, мудрость и могущество короля получают формальное опровержение. Нужен второй ордонанс, дабы во второй раз провозгласить милостью Божьей, мудростью и могуществом короля, что король (то есть министры) ошибся.

Нужно сохранить ордонанс для окончательного варианта закона, являющегося произведением короны, которой содействовали в этом две другие ветви законодательной власти, а не применять его к проекту закона, представляющему собой лишь творчество министров.

Имя короля, вынесенное перед упоминанием о министрах, со временем приведет к одному из двух серьезных заблуждений: оно либо внушит такое уважение, что в обеих палатах исчезнет свобода и мы получим правительственный деспотизм; либо оно не будет

сковывать волеизъявления, что приведет к непочтительному отношению к королевской власти».

И действительно, использование имени короля в дискуссии по проекту закона означает выведение королевской власти из присущей ей сферы, призыв к ее вмешательству в разноголосицу высказываемых мнений. В то время как конституция желает, чтобы министры были ответственны перед королем, это означало бы, что король должен быть ответственным перед министрами. С присущей ей мудростью конституция поместила правительство между королем и народом, с тем чтобы министры служили щитом для монарха во всех политических размолвках, вы же помещаете имя монарха между народом и правительством, как будто монарх должен служить защитой для своих министров. Какая же польза от такого извращения идей? Ведь вы же не хотите, чтобы проекты законов не могли быть отклонены? К чему же приписывать их королевской власти и поступать таким образом, чтобы неприятные последствия отклонения закона пали именно на нее? Из почтения к королевской власти, равно как и из уважения к здравому смыслу нужно все оставить на своих местах и не компрометировать то, что вы проповедуете как подлежащее сохранению. Кто выигрывает от того, что министры, предлагая свои законы, прикрываются именем короля? Конечно не король, который выиграл бы от этого, если бы проекты должны были быть приняты без поправок. Но поскольку они могут быть отклонены или изменены какими-то поправками, он не выигрывает, напротив, он только теряет от такого положения дел. Нация в целом также не имеет от этого никаких преимуществ. Конечно же, нет никакой пользы в том, что проекты, которые, как предполагается, могут иметь какие-то недостатки, поскольку они еще подлежат обсуждению, вносятся в палаты в предлагаемой форме, которая ослабляет сопротивление им, стесняет выносимые по поводу них суждения. Выигрывают от этого только министры, если они желают установить обременительные, неконституционные или порочные законы. В этом случае для них очень удобно укрыться за спиной короля,

перенести на неприкосновенную власть, которую непозволительно подвергать непредвиденным волнениям дискуссий, все узкие взгляды, ложный расчет, тайные намерения, свое алчное стремление к власти, которая была бы выгодна только им, ведь конституционная королевская власть только ослабевает, если ее министры являются деспотами.

Конечно, если в результате какого-либо события, к которым обычно приводят революции, горстка из пятнадцати-двадцати человек возьмет в свои руки власть в правительстве; если эта группа окажется отрезанной и от своих былых воспоминаний и от новых воззрений; если она нанесет оскорбление всем интересам и если при помощи этих своих действий она попытается удержать равновесие между партиями; если, выступив в качестве притесняющей по отношению ко всему обществу, она возвысится над требоаниями всех и поставит это себе в заслугу, как будто беспристрастность выступает не к качестве справедливости, но в качестве несправедливости в отношении всех; повторяю, если подобная группа завладеет правительством, она будет в восхищении от того, что сумеет сделать это с именем короля на устах и заменить этим почитаемым именем все те имена, которые не пользовались бы никаким уважением в общественном мнении; но то будет великим несчастием и для короля, и для нации. Привязанность к королю угаснет; нация не будет знать, кому она сможет доверять. Все государственное устройство и государство в целом окажутся в опасности. Но не к этому стремится разум, и я докажу, что не этого желала хартия.

В статье 16 хартия говорит: *король предлагает закон.* Она вовсе не говорит: *король предлагает проекты законов.* Автор хартии прекрасно чувствовал, что сказать, будто бы король предлагает законы, которые могут быть отвергнуты либо изменены, означало бы принизить королевское величие. Хартия говорит: *король предлагает закон;* это означает: король предлагает издать закон относительно такого-то предмета; и именно в этом смысле следует понимать статью, непосредственно следующую за приведенной выше: *внесение за-*

конов в палату пэров либо в палату депутатов принадлежит ведению короля; заметьте, *ведению короля*, но не *от имени короля.* Чем обусловлено это изменение выражений, если хартия не подразумевала того, что, коль скоро речь идет о проектах, вынесенных для критики, обсуждения, дополнений или отклонения, имя короля не должно фигурировать?

Так пусть же не противопоставляют хартию моему мнению; хартия целиком на стороне установленной мною истины. Все должны стремиться к тому, чтобы хартия соблюдалась; но для того, чтобы ее соблюдение было нам гарантировано, сама хартия должна получить гарантии от правительственных интерпретаций и ухищрений.

Подписание постановлений правительственной власти одними только министрами

Все доводы, доказывающие, что представление законов должно исходить от имени министров, равным образом доказывают, что одни только министры и должны подписывать постановления правительственной власти. Не является ли компрометацией августейшей подписи добавление королевской подписи к постановлениям, которые должны еще пройти процедуру анализа со стороны палат и могут быть подвергнуты возражениям со стороны частных лиц? Король неприкасаем. Каким же образом, на каком основании, с какой целью от него хотят, чтобы он подписывал то, за что не отвечает? Кто-то полагает, что его беспрестанные действия, вмешательство во все детали управления служит возрастанию его авторитета; но если его действия носят лишь видимый характер, а вмешательство является иллюзорным, то оно оборачивается для него лишь вредом, а вовсе не пользою. Представьте себе, что постановление является незаконным, а министр, его составивший, предстал перед судом; не является ли злом, что королем подписано то, что составляет основу злодеяния, разбираемого на процессе, привлекающем внимание всей Франции и всей Европы? Не следует ли из этого неизбежно страшное смя-

тение в умах части народа, мало знакомой с конституционными понятиями? Разве не следует опасаться того, что эти люди подумают, будто обвинению подлежит король? Наконец, разве мы не стремимся к тому, чтобы все французы всегда верили, что ничто неправомерное, неконституционное, угнетающее не может быть порождено королем? Министры желают его подписи, только чтобы получить прощение за то, что были вынуждены скреплять своей подписью это постановление.

Сколько раз в прошлом мы были свидетелями того, как министры, враждебно относившиеся к главе государства и к нации, выражали лицемерное сожаление и жаловались, будто вынуждены пойти на притеснения, которые сами и спровоцировали! К преступлению, заключающемуся в том, что они совершили злодеяние, они добавляли почти столь же значительное преступление, состоящее в том, что они приписывали совершенное зло высшей власти. Они были агентами несправедливости, но провозглашали себя восстановителями справедливости. Они были бедствием народа, но заявляли о своей поддержке его. Они клеветали на власть, представляли ее как вечно жестокую, незаконную, тираническую и заставляли благословлять облегчение судьбы нескольких угнетенных, тогда как при этом угнетали тысячи других людей. Для того, чтобы положить конец этим постоянным уловкам министров, нужно наконец констатировать, что король не может сделать ничего, что было бы уязвимым или незаконным. При свободном правлении защитником нации может выступать только закон. Как далеки от нас второстепенные средства защиты, осуществляемые по воле случая силой каприза и сопровождаемые дерзостью! Как далеки от нас эти исключительные меры, эти меры освобождения, эти отдельные милости, оплачиваемые публичным порабощением! При конституционной монархии королевская власть не должна ни претерпевать посягательств со стороны какого-либо индивида, ни посягать на свободу любого из них. Удел частных лиц был бы слишком ужасен, если бы они могли опасаться воздействия неприкасаемой власти,

восстание против которой являлось бы покушением на нее, предъявление ей требований рассматривалось бы как ее оскорбление, а в отношении ее действий ни один суд не посмел бы вынести приговора. Так отделите же действия министров от имени короля с тем, чтобы их ответственность выступала более явственно, а неприкасамость королевской власть была более священной.

Мне могут возразить, что хартия провозглашает, что *король составляет уложения и постановления.* Но кто не замечает, что данная статья означает просто, что при назначении министров им вменяется в обязанность составление этих уложений и постановлений? Хартия ничего не говорит о том, что король подписывает их: она тщательно воздерживается от этого. Составители хартии почувствовали, что король должен оставаться чистым перед лицом любого испытания, любых жалоб, любого суда.

Приложение 3

О наследственном характере пэрства

Из всех наших конституционных установлений наследственный характер пэрства является, пожалуй, единственным институтом, который общественное мнение отвергает с настойчивостью, которую до сих пор ничто не могло победить. Всякий раз, когда оно обнаруживает, что свобода вновь заставила о себе говорить, или как только оно вновь ощущает надежду увидеть этот институт видоизмененным, оно восстает против всех наследственных привилегий с такой силой и с таким единодушием, что им нельзя пренебречь. К моему великому сожалению, я имел случай убедиться в этом, когда вышло дополнительное постановление, составление которого ошибочно приписывают мне. Те, кто усматривал в моем участии в этой переделке предшествующих конституционных актов своего рода гарантию соблюдения либеральных принципов, в допущении существования наследственного класса уви-

дели отказ от принципов, которые я до сих пор проповедовал.

Даже Бонапарт, лишенный чувства свободы, но инстинктивно ощущающий популярность той или иной меры, заметил это общую предрасположенность. Он говорил в отношении пэрства следующее:

«Остерегайтесь того, чтобы оно не вошло в противоречие с нынешним состоянием умов. Оно ранит гордость армии, оно обманет ожидания сторонников равенства, восстановит против меня множество индивидуальных притязаний. Где должен я найти те элементы аристократии, которых требует пэрство? Владельцы прошлых крупных состояний являются врагами, новые же состояния постыдны. Здесь недостаточно пяти-шести известных имен. На чем будет основываться мое пэрство, лишенное прошлого, исторического блеска, крупных владений? Совсем иное дело английские пэры. Они стоят над народом, но никогда не выступали против него. Это благородные англичане, принесшие Англии свободу. От них исходит великая хартия. Они росли вместе с государственным устройством и составляют с ним единое целое. Но пока на протяжении тридцати лет из моих выскочек-пэров получатся лишь солдаты или камергеры. Мы будем находиться либо на поле боя, либо в прихожей».

Несмотря на эти замечания, я настаиваю на своем убеждении в том, что для поддержания конституционной монархии наследственный характер пэрства является необходимым. Изложу свои доводы.

Никто не выступал против наследования столь же активно, как я; кое-кто захотел навредить мне и сбить с толку, вновь опубликовав то, что я писал о наследовании при республике, но эти люди обманулись. Я говорил — и я далек от того, чтобы отрицать это, — что идея равенства представляет собой идею, которую невозможно искоренить из сердца человека; что не существовало ни одной религии, которая бы при своем зарождении не провозглашала этой идеи; что род человеческий приближался к ней, разбивая вдребезги все старые институты; что он переходил от кастового

строя* к рабству, от рабства — к феодализму, от феодализма — к дворянству; что дворянство, феодализм, рабство, кастовый строй составляют части единой системы, имеющей одну основу; и что если мы хотим избежать постоянно возобновляемых ужасных потрясений, то должны наконец закрепить равенство. Но в той же работе и даже в той же главе, где я излагал эти принципы, я также высказывался в пользу республиканского правления и объединял все доводы, способные заставить предпочесть республику монархии. Республика пала; разумеется, я не содействовал этому и не выражал ликования по поводу ее краха. Я защищал республику при Бонапарте; нет ни одной моей речи в трибунате, в которой бы я не упоминал ее имени и не защищал ее принципов; в работе, написанной при владычестве королей, объединившихся против Франции, я говорил также о «глубоком чувстве, испытываемом всеми сколько-нибудь сильными душами при мысли о древних республиках, в которых способности человека развивались на столь обширном поприще и с такой энергичностью и благородством. Казалось, что древние элементы природы, так сказать предшествующей нашей, просыпаются в нас при этих воспоминаниях»,** — говорил я. Но республика в конце концов пала. С этого момента я должен был употребить все силы своего разума, чтобы раскрыть, каким образом можно было бы примирить монархию и свободу. Я был убежден, что такой союз не является невозможным и что при полной и формально признаваемой нейтральности королевской власти конституционная

---

* Кастовый строй отличен от рабства тем, что устанавливает две расы людей, одна из которых является высшей по отношению к другой в силу божественного к ней расположения и в силу некоей таинственности ее природы. Гражданское рабство основано на неравенстве силы, кастовый строй — на ошибочном разделении (см.: Esprit de conquête, 4 ed. P. 71.). Раб воина или земледельца — такой же человек, как и тот, только более слабый или менее избалованный судьбой. Раб священника — совсем иной человек, нежели сам священник. По своей внутренней сути он гораздо ниже своего владельца.

** Constant B. Esprit de conquête. P. 71.

монархия не будет противостоять мирной свободе, которая соответствует новым временам. Единожды убедившись в этом, я также должен был принять все условия, налагаемые монархией. Среди них условие существования наследственного класса, служащего оплотом династии, казалось мне самым главным. И тем не менее я решился на этот вывод не без колебаний. Я искал в отношениях королевской власти той нейтральности, которая бы полностью изменила природу монархии, средства освобождения ее от удела обременительности и непопулярности. Но, как мне кажется, эта нейтральность власти еще не достаточно хорошо осознана, чтобы престол в наши дни перестал быть целью всех устремлений, всех попыток честолюбцев. Несомненно при подлинно конституционной монархии личное тщеславие должно предпочесть блестящую роль депутата даже августейшему званию короля. Отдавая должное вызывающим уважение качествам Георга III, я предпочел бы быть лучше Фоксом, нежели английским монархом. Но мы не достигли еще того времени, когда общественное спокойствие сможет быть основано на подобной философской оценке вещей; и поэтому до тех пор, пока престол будет служить предметом зависти, его следует окружить защитными институтами.

Второе соображение, как мне представляется, должно подкрепить первое. Выше мы рассматривали вопрос о том, насколько необходимо разделение представительной власти на две палаты. Таким образом, при предположении о наличии двух избираемых палат, одна из которых будет носить пожизненный характер, следовало бы допустить, что либо король может распускать и ту и другую палаты, либо что он по своему желанию может увеличивать одну из них; ведь если будет существовать одна из палат, защищенная от роспуска и обновляемая в определенные, достаточно отдаленные периоды, то она превратится в корпус, независимый не только от конституционной власти, но и от самой нации. Если же теперь мы допустим, что король может увеличивать по своему выбору численность первой палаты, то она окажется в более тесной

зависимости от него. В ней не будет существовать наследственный элемент, который, помещая отдельные семьи выше милостей двора, превратил бы эту палату в центр оппозиции более прочной, что она была бы спокойной и уравновешенной. Взгляните на Девонширов, Портландов, Бедфордов в палате пэров Англии — вот где сила сопротивления! Новые же пэры — эти Ливерпули, Лонсдейлы, Колчестеры — совершенно открыто являются правой рукой короны, выражением ее помыслов.

С другой стороны, если бы король мог распустить обе палаты, то ни одна из них не обладала бы той прочностью, которая служит противовесом демократическим тенденциям.

Не представляет ли опасности возможность существования таких периодов, в которые не существовало бы никакой другой власти за исключением власти короля и его министров? Правда, сейчас, в момент ее отделения от палаты депутатов, палата пэров бездействует; но она существует, а это уже кое-что, это гораздо больше, чем мы думаем.

Все эти соображения заставили меня склониться в пользу существования палаты, которая бы носила наследственный характер. И если они не склоняют моих читателей к такому же выводу, то они по меньшей мере должны убедить их в том, что я желаю введения подобного института не в противовес свободе. Напротив, я усматриваю в нем еще одну гарантию свободы.

В остальном же я не скрываю от самого себя трудностей, которые нужно преодолеть сегодня при введении палаты наследственного характера. Я развил свои соображения относительно этих трудностей в тот период, когда самый могущественный человек нашего столетия работал над созданием подобной власти.

«В головах тех, кто говорит о преимуществах уже признанных наследственных титулов, чтобы сделать вывод о возможности создания наследственного класса, — говорил я, — имеет место своего рода смешение идей. В том, что касается человека и его предков, дворянство связано с уважением поколений, и не только будущих, но и его современников. Последний момент

является наиболее трудным. Можно допустить существование соглашения подобного рода, когда при рождении человека оно уже санкционировано; но быть свидетелем его заключения и подчиняться его условиям невозможно, если вы не выступаете в качестве выигрывающей от этого стороны. На протяжении столетий наследные дворяне происходили из простых людей и завоевателей; но дворянство нельзя институировать в странах, уже достигших известного уровня цивилизации. В этом случае оно способно сохраняться, но никак не возникать заново. Все институты, связанные с престижем, не могут проистекать из чьей-либо воли; они являются творением обстоятельств. Все искусственно созданные участки земли измеряются при помощи геометрических мер; одна только природа создает ландшафт и живописные эффекты. Наследственные титулы, не опирающиеся на традицию, почитаемую и почти таинственную, не завладеют нашим воображением. Страсти не останутся безоружными: напротив, они с еще большей силой восстанут против внезапно возникшего у них на глазах и на их иждивении неравенства. Можно создать новых дворян, когда в них отражена слава всего общества. Но если вы создаете одновременно и общество и его членов, то где же будет источник славы?»

Конечно, у нас есть исторические имена; и, на первый взгляд, было бы естественно надеяться, что эти исторические имена распространят и на своих новых коллег немного окружающей их известности. Но исторические роды в большей или меньшей степени пострадали от злосчастных обстоятельств. Я вовсе не говорю о том, что дворяне сделали во вред себе при Людовике XIV и Людовике XV. Я предоставляю самому доблестному защитнику дворянства — графу де Монтлозье[23] — скорбную заботу описания того, как гиганты феодализма постепенно превратились в карликов, находя развлечение в детских одеяниях, в которые они обряжали свои съежившиеся тела. Я ограничусь лишь тем, что ближе всего к нам, что происходило на наших глазах.

Имперское правление, к сожалению, оставило дворянство не в столь чистом виде, в каком оно нашло

его; с чрезмерной мудростью дворянство было вынуждено уступить обстоятельствам. Оно позволило незаконной власти вознаградить себя за преданность власти законной. Оно было удостоено реституций, оно принимало милости. По правде говоря, в момент реставрации, вопрос стоял не о недавно полученных репарациях, но о давно совершенных пожертвованиях, и, при столь часто раздающихся жалобах на давление со стороны одного порядка и неблагодарность со стороны другого большим утешением было бы понимание того, что некоторые из знаменитостей воспользовались как тем, так и другим. Отвергая сегодня воспоминания об имперской блгосклонности как ненавистные следы необдуманных действий своей юности, дворянство вычеркивает из собственной истории этот странный эпизод; но национальная память хранит его, и таким образом частица уважения и славы, которые, казалось бы, самым естественным образом могли служить поддержкой нового пэрства, предоставляют нам лишь весьма двусмысленные и недейственные средства. Что же делать? Ждать и желать того, чтобы то, как пэры будут исполнять возложенные на них конституцией обязанности, рассеяло предубеждения, которые до сих пор носят скорее достойный сожаления, нежели несправедливый характер. Некоторые из пэров уже сделали для примирения нации с занимаемым ими высоким положением гораздо больше, чем восемь веков дворянских традиций. Возможно, это не те пэры, которых большинство их коллег рассматривает в качестве наиболее преданных интересам своего сословия, но, между тем, именно они сделают его вновь популярным и тем самым спасут.

Приложение 4

Палаты обладают правом законодательной инициативы наряду с исполнительной властью

Замечания. — Одним из выдающихся достижений того, что называлось конституцией VIII года, было лишение представителей народа законодательной инициативы. Мне доводилось слышать, как это странное по-

ложение доказывали примерами из жизни древних наций. Но у них законодательное право осуществлялось народом в целом, и инициатива там была доверена сенату. Приблизительно то же самое имело место и в Женеве; сформированные власти составляли законы и вносили их в Генеральный совет, т.е в собрание всех граждан, чтобы те решили его судьбу, высказавшись за или против. Но нельзя не заметить, что подобный институт принадлежит чистой демократии, при которой численность граждан мешает им обсуждать проблемы. Демократия в значительной степени отлична от представительного правления; при последнем, каким бы ни было количество представителей нации, оно никогда не приближается к количеству граждан.

Целью представительного собрания является выражение интересов народа. На представительный орган возлагается эта миссия, так как считается, что его члены, избранные из лона самого народа, знают все потребности последнего. Но если им отказано в законодательной инициативе, то к чему им эти знания? Какую пользу могут принести представительные органы, если они способны лишь отвечать и обречены на молчание, когда к ним не обращаются?

Когда речь идет об издании закона, то объединение значительного числа законодателей оказывается полезным, потому что законы должны быть плодом множества идей; люди, различающиеся своими привычками, отношениями и социальным положением, должны объединить результаты своих размышлений и своего опыта. Но совсем иначе обстоит дело с отвержением предложенных законов. Знание порочных сторон закона есть акт суда. Исполнительная власть лучше осведомлена о том, что может принести зло; законодательная власть лучше знает, что может принести благо; таким образом, первой принадлежит особое право воспрепятствовать, тогда как право предлагать принадлежит второй.

Это не означает, что исполнительной власти должно быть отказано в инициативе. О нуждах правительства следует заботиться так же, как о нуждах народа. Министры должны обладать инициативой, как и пред-

ставители народа*. И это вовсе не причина для разногласий, это — средство достижения согласия. Власти подобны индивидам: излишние притеснения превращают их в недругов, достаточная свобода — в союзников.

Лишенные инициативы, министры превратились бы в рабов. Представители народа могли бы сделать их ненавистными, заставив их при помощи одной-единственной статьи отбросить законы, спасительные в иных обстоятельствах. Но, с другой стороны, если бы представительный корпус был лишен инициативы, он мог бы подвергнуться той же опасности. Коль скоро исполнительная власть одна обладала правом составления законов, она бы поставила собрания представителей перед альтернативой отвергнуть благо или одобрить зло; в адрес собраний выдвигались бы более суровые упреки за законы, которые они одобрили, нежели в адрес министров, лишь предложивших эти законы. В одобрении усматривалось бы окончательное действие, и в довершение всего представителям народа было бы запрещено исправлять их собственные ошибки. Опыт впустую освещал бы пороки принятых ими законов; законы продолжали бы существовать вопреки всем сожалениям и угрызениям совести их создателей.

Подобная организация походила бы на наше прежнее и ненавистное законодательство в отношении эмигрантов, находящихся под судом; власть, обладающая способностью вносить в список, была лишена возможности вычеркивать из него кого бы то ни было; то был прекрасный способ сделать несправедливость непоправимой!

---

* Все равно естественным образом случится так, что министры почти никогда не будут пользоваться правом инициативы в качестве министров. Заседая в палатах среди представителей народа, они, подобно этим представителям, будут вносить лишь те предложения, каких потребуют обстоятельства или потребности государства. Правительство поймет, что в его интересах лучше подождать, нежели опередить события. Когда оно предлагает проекты законов, оно подчиняется суду палат. Когда же оно ожидает предложения от палат, то само превращается в их судью. (См.: Принципы политики... Гл. 9). Как раз в тот момент, когда я переписывал эти строки и полный текст этой главы, меня обвинили в том, будто бы я поддержал положение дополнительного акта, лишающее палаты инициативы.

Добавим также, что в отношении законодательной инициативы Франция пребывает в особом положении. Продолжают существовать все революционные законы. Нет ни одного простого и законного действия, ни одного естественного чувства, которые бы не подпадали под уголовный закон; нет ни одной обязанности, исполнение которой не было бы запрещено законом; ни одной добродетели, которую бы не осудил закон, ни одной измены, которую бы закон не оплатил, ни одного преступления, которое он бы не предписывал. Существуют законы, провозглашающие смертную казнь тому, кто распространяет случайную новость, смертную казнь тому, кто предоставляет убежище незнакомцу, смертную казнь тому, кто общается со своим отцом или помогает ему за пределами страны.

Конечно, нынешнее правительство не намерено использовать эти законы; однако же они существуют, справедливо ли, можно ли отказывать органам народа в праве требовать их отмены? Перестав быть бедствием, эти законы продолжали бы быть позором*.

Кто-то опасается чересчур оживленного характера собраний, несвоевременности их предложений, пылкого стремления выделиться со стороны каждого из их членов? Но ведь законы нуждаются в одобрении; собрания могут быть распущены, можно принять и другие меры предосторожности, можно наделить собрания даже правом высказываться относительно уместности предложений, которые хотят внести в палаты.

---

* Эти законы существуют как бы без ведома сменяющих друг друга законодателей. Они накапливаются в кодексах, выходят из употребления; подданные забывают о них, но они еще витают в их умах, окутанные облаком, власть же, наследующая эти опасные орудия, заранее находит в них оправдание любым несправедливостям. Одним из главных оснований тирании Тиберия, говорит Монтескье (О духе законов. VII. 13), было злоупотребление древними законами. Я часто думал о том, что в любой стране полезной предосторожностью был бы пересмотр всех законов, принятых в определенные эпохи. Тем самым власть заставили признать, что́ она собирается поддерживать. Ведь все кодексы содержат законы, используемые правителями только потому, что законы эти существуют; но правители сгорели бы от стыда, если бы им пришлось взять на себя ответственность за их новое одобрение.

Именно таким образом английский парламент устраняет бесполезные и опасные дискуссии; но лишение права законодательной инициативы не усмирит собрания, а лишь разрушит основания и природу представительства.

Приложение 5

О свободе развития промышленности

Поскольку общество не имеет в отношении индивидов иных прав, кроме права воспрепятствовать нанесению ими взаимного вреда, то оно может распространить свою юрисдикцию на промышленность, только если возможно предположить, что промышленность эта вредна. Но промысел индивида не причиняет вреда другим людям до тех пор, пока этот индивид для поддержки своих занятий и во вред занятиям других не обратится к помощи совсем иного порядка. В природе промышленности заложена борьба с соперничающим промыслом благодаря свободной конкуренции при помощи усилий, направленных на достижение внутреннего превосходства. Все средства иного рода, которые она попыталась бы использовать, относились бы не к промышленности, но были бы средствами притеснения и обмана. Общество обладало бы правом и даже было бы обязано их подавить; но из этого права, коим обладает общество, следует, что оно не обладает правом использовать в поддержку промысла одного человека и против промысла другого средства, которые оно равным образом должно запретить использовать всем.

Воздействие власти на промышленность может идти по двум направлениям: запреты и поощрения. Привилегии не должны отделяться от запретов, поскольку они их обязательно подразумевают.

Итак, что же является привилегией в области промышленности? Употребление силы всего социального целого для обращения на пользу нескольким людям преимуществ, которые общество должно было бы гарантировать всем своим членам; именно так поступала Англия, когда еще до своего союза с Ирландией за-

прещала ирландцам почти все виды внешней торговли; именно так она поступает и сегодня, когда запрещает всем англичанам торговать с Индией независимо от компании, завладевшей этой обширной монополией; именно так поступали буржуа Цюриха, когда еще до швейцарской революции принуждали сельских жителей только им продавать все продовольствие и все вещи, которые те изготавливали.

Этот принцип откровенно несправедлив. Но полезно ли его применение? Если привилегия является уделом небольшого числа людей, то, несомненно, для этого ограниченного кружка польза есть; но подобная польза непременно сопутствует любому ограблению. Не такая польза ставится в качестве цели, или по крайней мере мы признаем, что она выдвигается в качестве цели. Существует ли национальная польза? Конечно, нет, ведь, во-первых, от получения прибыли отстранена большая часть нации. Во-вторых, та ветвь промышленности или торговли, которая является объектом привилегии, разрабатывается более небрежно или менее экономичным способом людьми, чей барыш обеспечен одним только фактом существования такой монополии; дела бы здесь велись совсем иначе, если бы конкуренция вынуждала всех соперников наперегонки превосходить друг друга деятельностью и ловкостью. Таким образом, национальное богатство не извлекает из этой ветви промышленности всего того, что могло бы извлечь. Следовательно, для нации в целом это — относительная потеря. Наконец, средства, которыми власть должна пользоваться, чтобы поддерживать привилегию и выводить из конкурентной борьбы не пользующихся привилегией индивидов, неизбежно являются угнетающими и притесняющими. Итак, опять же для нации в целом мы имеем потерю свободы. Таковы три реальные потери, которые влечет за собой подобного рода запрет, а компенсация за эти потери достается лишь горстке привилегированных лиц.

Запреты в области промышленности и торговли, как и все прочие запреты, и, быть может, даже в большей степени, нежели все прочие запреты, возбуждают

в индивидах враждебное отношение к власти. Они создают рассадник людей, готовых на любые преступления, привыкших нарушать законы, людей, привыкших к подлости и живущих несчастием себе подобных*.

Торговые запреты не только искусственно порождают преступления, но и благодаря выгоде, извлекаемой из мошенничества, побуждают людей к совершению этих преступлений. Это еще одно лишнее неудобство запрещающих законов**. Они чинят помехи для неимущего класса — класса, и так уже окруженного чрезмерным количеством неодолимых искушений, класса, о котором не без оснований говорят, что все его действия носят поспешный характер***, поскольку нужда торопит его, поскольку бедность лишает его образования, а невежество — собственного мнения.

Многие придают свободе промышленности куда меньшее значение, чем прочим видам свободы. Тем не менее, привносимые сюда ограничения влекут за собой столь жестокие законы, что последствия их испытывают все остальные. Возьмите в Португалии привилегию винной компании давать повод к мятежам, следствием которых являются жестокие казни, самой картиной этих казней приводить в уныние торговлю и, наконец, посредством череды жестокостей и принуждений заставлять множество собственников самих уничтожать свои виноградники и в порыве отчаяния разрушать источник собственного богатства, дабы он не служил более предлогом для всякого рода притеснений****. Посмотрите, в Англии исключительная при-

---

* Количество контрабандистов, пойманных во Франции во времена монархии, достигало в обычные годы 10700 человек, из них 2300 — мужчины, 1800 — женщины, 6600 — дети. (Necker. Administration des finances. II. 57). Численность же бригады, которой было поручено преследование контрабандистов, превышала 2300 человек, и на эти цели расходовалось от 8 до 9 млн. (Ibid. P. 82).

** Smith A. Op. cit. Vol. 5. P. 274 et suiv.

*** Necker. Administration des finances. II. P. 98.

**** Воспоминания маркиза де Помбаля. Португальское правительство ввело войска, дабы помешать собственникам вырубать виноградники. Что же это за система, которая принуждает власть защищать собственность от отчаяния собственнников?

вилегия индийской компании для того, чтобы удержаться, влечет за собой разного рода строгости, насилие, беззаконные действия*.

Откройте своды законов этой нации, человечной и либеральной во всем остальном; вы обнаружите в них, что смертная казнь распространяется на действия, которые невозможно рассматривать в качестве преступлений**. Если мы посмотрим историю английских уложений в Северной Америке, то увидим, что введение каждой так называемой привилегии сопровождалось эмиграцией непривилегированных индивидов. Поселенцы бежали от торговых ограничений, бросая земли, которые они только что закончили возделывать, дабы обрести свободу в лесах и испросить у дикой природы защиты от преследований со стороны общественного состояния***.

Если запретительная система не уничтожила всей национальной промышленности, которую она стесняет и терзает, то только потому, что, как замечает Адам Смит****, естественное стремление каждого индивида к улучшению своей судьбы выступает в качестве восстановительного принципа, который во многом излечивает дурные последствия предписываемого уложениями управления подобно тому, как в физическом организме человека жизненная сила зачастую успешно борется с болезнями, порожденными страстями, невоздержанностью или ленью.

---

* См.: Baert.

** По уложению, изданному Елизаветой на восьмом году ее царствования, тот, кто вывозит овец, ягнят или баранов, на первый раз должен быть наказан пожизненной конфискацией всего имущества, тюремным заключением сроком на один год, а по истечении этого времени — отсечением левой руки в базарный день в городе, где эта рука и останется прибитой. При повторном совершении тех же действий он должен быть подвергнут смертной казни. Законодательными актами тринадцатого и четырнадцатого года правления Карла II экспорт шерсти провозглашался главным преступлением (Smith A. Op. cit. IV. 8).

*** Franklin. Mémoires sur les Etats-Unis.

**** Smith A. La richesse des nations. IV. 9.

В этом примечании я могу лишь выдвинуть принципы; детали вывели бы меня далеко за рамки моей работы. Тем не менее я бы добавил несколько слов относительно двух видов запретов или привилегий, которые осуждались уже на протяжении тридцати лет и которые пытаются восстановить в последнее время. Я хочу сказать о главах ремесленных гильдий, мастерах, учениках — системе не менее несправедливой, чем абсурдной: несправедливой, ибо индивиду, нуждающемуся в том, чтобы трудиться, она не дает работы, которая одна только и может уберечь от совершения преступления; абсурдной, так как под предлогом усовершенствования производства она чинит препятствия конкуренции, являющейся самым верным средством совершенствования всех ремесел. Интерес покупателей — гораздо более прочная гарантия доброкачественности продукции, чем произвольные уложения, порожденные властью, обязательно смешивающей все предметы, уложения, которые недостаточно хорошо различают профессии и часто предписывают одинаково долгий срок обучения как для наиболее одаренных, так и для самых трудных учеников.

Было бы странно представить себе, что люди неправильно судят об используемых рабочих и что правительство, у которого столько дел, лучше других знает, какие следует принять меры, чтобы оценить их заслуги. В этом вопросе оно может лишь положиться на мнение людей, которые, образуя в рамках государства особый корпус, имеют интерес, отличный от интереса массы народа, и которые, работая, с одной стороны, над понижением числа производителей, а с другой — над повышением цены товаров, делают эти товары одновременно менее совершенными и более дорогостоящими. Опыт повсеместно высказался против предполагаемой полезности этой мании регламентации. В Англии, где промышленность более развита, лишь те города за короткое время совершили большой скачок в своем развитии и достигли высшей степени совершенства в труде, в

которых не было никаких хартий* и не существовало никаких корпораций**.

Еще более возмутительным притеснением, ибо оно носит более открытый и менее замаскированный характер, является точная фиксация стоимости рабочего дня. Эта фиксация, говорит Смит, представляет собой жертвование большей частью в пользу меньшей. Я еще добавлю, что это жертвование части бедняка в пользу части богатого, части, добытой трудом, в пользу части, получаемой праздностью, по меньшей мере путем сравнения части, уже натерпевшейся от жестоких законов общества, с частью, которой благоприятствуют и судьба, и общественные институты. Без сожаления невозможно представить себе эту борьбу нищеты против алчности, борьбу, в которой бедняк, уже стесненный своими потребностями и потребностями своей семьи, не имеющий иной надежды, кроме надежды на свой труд, не способный ждать, поскольку это угрожает его жизни и жизни его близких, встречается с богатым, сильным не только своим состоянием и возможностью уничтожить своего противника, отказав ему в труде, являющемся для того единственным средством к жизни, но также и вооруженным притесняющими законами, фиксирующими заработную плату без учета

---

* Например, Бирмингем, Манчестер (см. работу Баэрта).

** Самой священной и самой неприкасаемой из всех видов собственности человека является собственность на свой вид промысла, ибо этот промысел является первейшим источником всех прочих видов собственности. Достояние бедняка — в силе и ловкости его рук; все попытки помешать ему употребить эти силу и ловкость так, как он находит нужным, и до тех пор, пока он не причиняет никому неудобств, являются открытым попранием этой первейшей собственности. Это кричащая узурпация в отношении законной свободы как рабочего, так и тех, кто намеревается предоставить ему работу; это попытка помешать одному работать как ему вздумается, а другому — выбрать то, что ему по душе. Можно совершенно спокойно довериться осмотрительности нанимающего рабочего, чтобы удостовериться в том, заслуживает ли работы данный рабочий, поскольку это в интересах нанимателя. Забота, проявляемая законодателем в отношении того, чтобы предупредить использование неспособных к труду рабочих, столь же абсурдна, сколь и угнетающа. (См.: А.Смит, а также Бентам. Принципы гражданского кодекса. Ч. 3. Гл. 1).

обстоятельств, умения и усердия работающего. Только не подумайте, что такая фиксация заработной платы необходима для подавления чрезмерных претензий и преувеличения стоимости рабочих рук. Бедность скромна в своих требованиях. Разве за спиной бедняка не стоит голод, вынуждающий его торопиться, не дающий ему и минуты для оспаривания своих прав, заставляющий продавать свое время и свои силы гораздо ниже их настоящей стоимости? Разве конкуренция не поддерживает цену на труд на самом низком уровне, едва ли совместимом с физическим выживанием? У афинян, как и у нас, оплата труда наемного рабочего составляла стоимость пищи для четырех человек. К чему же все эти регламентации, коль скоро сама природа вещей создает закон, свободный от притеснения и насилия?

Фиксация стоимости рабочего дня, столь ненавистная для индивида, вовсе не дает никаких преимуществ обществу. Между обществом и рабочим встает безжалостный класс — класс мастеров. Они платят меньше и требуют больше возможного, в одиночку играя таким образом на потребностях класса неимущего и класса зажиточного. Какое странное усложнение социальных институтов! Существует извечное основание равновесия между ценой товара и ценой труда, основание, свободно действующее таким образом, чтобы все цены были разумными, а все интересы удовлетворены. Таким основанием выступает конкуренция; но ее почему-то отвергают. На пути конкуренции воздвигают препятствие в виде несправедливых регламентаций и хотят восстановить равновесие при помощи иных регламентаций, не менее несправедливых, которые к тому же нужно поддерживать путем наказаний и принятия строгих мер.

Система наград и поощрений имеет меньше неудобств, чем система привилегий. Однако же она кажется мне опасной во многих отношениях.

Во-первых, здесь следует опасаться того, чтобы власть, однажды присвоившая себе право вмешательства — пусть даже путем поощрений — во все, имеющее отношение к промышленности, очень скоро, когда этих поощрений ей будет уже не хватать, не ока-

залась бы вынужденной прибегнуть к принуждению и суровым мерам. Власть редко когда соглашается не взять реванша за неуспех своих предприятий; подобно игроку, она гонится за выигрышем. Но если игроки полагаются на волю случая, власть часто взывает к силе.

Во-вторых, можно опасаться, как бы власть чрезмерными поощрениями не отвернула бы капиталы от их естественного предназначения, которое всегда наиболее предпочтительно. Капиталы сами собой устремляются к употреблению, сулящему им наибольшую прибыль. Для привлечения их к этой области не нужны никакие поощрения; для тех же областей, в которых можно потерпеть потери, использование поощрений было бы губительным. Любой промысел, не способный существовать независимо, вне помощи власти, в конце концов оказывается разорительным*. В этом случае правительство платит индивидам, чтобы те работали в убыток. Оплачивая их таким образом, оно, казалось бы, возмещает им понесенные убытки; но поскольку возмещение убытков может выплачиваться только из средств, полученных за счет взимания налогов, то в конечном счете их ноша ложится на плечи индивидов. Наконец, поощрения власти наносят существенный урон моральному состоянию промышленных классов. Мораль составляется из естественной последовательности причин и следствий. Нарушить эту последовательность означает погубить мораль. Все, что привносит в отношения людей характер случайности, развращает их. Все, что не является непосредственным, необходимым, привычным следствием известной и предвидимой причины, в той или иной степени порождено природой случая. Наиболее действенной причиной моральности труд делает независимость трудящегося человека от других людей и его зависимость от его собственного поведения и порядка, от последовательности, правильного характера, которые он привносит в свою жизнь. Такова подлинная причина моральности классов, занятых однообразным

* См.: Smith A. Op. cit. IV. 9.

трудом, и аморальности, столь частой у нищих и игроков. Из всех людей эти последние чаще всего являются самыми аморальными, поскольку они более всего рассчитывают на случай.

Поощрения или помощь правительства — своего рода игра. Невозможно предположить, что власть никогда не дает вспомоществования или поощрения людям, которые их не заслуживают, или никогда не дает больше того, чем того заслуживают объекты ее милости. Одна-единственная ошибка такого рода превращает эти поощрения в лотерею. Достаточно единственного шанса случаю проникнуть во все расчеты и тем самым изменить их природу: вероятность удачи не играет здесь никакой роли, поскольку вероятностью распоряжается воображение. Надежда на помощь власти — даже самая отдаленная, самая неопределенная — вносит в жизнь и в расчеты трудящегося человека элемент, совершенно отличный от всего его существования. Изменяется его положение, усложняется его кругозор, его интерес поддается своего рода ажиотажу. Перед нами уже не мирный торговец или промышленник, ставивший свое процветание в зависимость от разумного ведения своих коммерческих спекуляций, от доброкачественности своих товаров, одобрения со стороны своих сограждан, основанного на упорядоченности своего поведения и своей признанной осторожности; перед нами человек, непосредственным интересом и насущным желанием которого является привлечение внимания власти. Природа вещей во благо рода человеческого поставила почти непреодолимую преграду между основной массой нации и носителями власти. Только небольшое количество людей обречено вращаться в сфере власти, спекулировать на ее милостях, обогащаться за счет интриг. Остальные же спокойно следуют своею дорогою, испрашивая от правительства лишь гарантий для собственного спокойствия и развития способностей; но если власть, мало удовлетворенная этими целительными обязанностями, при помощи либеральных мер или обещаний предстанет перед всеми индивидами, заронит надежду и породит несуществующие доселе страсти, то тогда все окажется смещенным. Благодаря

этому в среде промышленного класса обязательно распространится новый род деятельности; но то будет порочная деятельность, деятельность, заботящаяся в большей степени о произведенном ею внешнем эффекте, нежели о прочности собственного дела, ищущая не столько успеха, сколько блеска, ибо успех может заключаться в блеске, пусть даже обманчивом; наконец, этот род деятельности превращает целую нацию, некогда экономную и трудолюбивую, в нацию безрассудную, беспокойную, алчную.

И не думайте, что меньше зла можно причинить, заменив денежные поощрения мотивировками, порожденными тщеславием. Правительства в качестве одного из средств слишком часто прибегают к шарлатанству и с легкостью готовы уверовать, что одно только их присутствие, подобно солнцу, оживляет всю природу. Поэтому-то они и демонстрируют себя, публично говорят, улыбаются, а их труды, по их мнению, должны прославить их в веках; но это также означает попытку отвратить трудящиеся классы от их естественного призвания; это означает дать им потребность в доверии; это означает внушить им стремление заменить торговые отношения на отношения изворотливости и покровительства. Они заимствуют пороки придворных, не приобретя элегантности, которой двор по крайней мере прикрывал свои пороки.

Очевидно, есть два предположения, благоприятных для употребления системы поощрений и вспомоществований со стороны власти: первое — это учреждение ветви промышленности, еще неизвестной в данной стране и требующей больших вложений; второе — содействие, оказываемое определенным промышленным или земледельческим классам в тех случаях, когда непредвиденные бедствия лишили их значительной части средств.

И тем не менее я не уверен, что в этих двух случаях, за исключением, может быть, каких-то крайне редких обстоятельств, для которых невозможно установить строгие правила, вмешательство государства сулит больше преимуществ, нежели неприятностей.

В первом случае нет никакого сомнения, что новая отрасль промышленности, которой таким образом

оказывается покровительство, будет развиваться быстрее и с большим размахом; однако же, поскольку она будет опираться не столько на сметливость частных лиц, сколько на помощь правительства, ее основания окажутся менее прочными. Частные же лица, чьи возможные убытки будут заранее возмещены, не привнесут в свое дело того же старания и заботы, как если бы они опирались на собственные силы и могли ожидать лишь заслуженного успеха. Они не без основания будут тешиться надеждой, что правительство, ощущая себя в некоторой степени обязанным благодаря первым пожертвованиям, на которые оно пошло, дабы не потерять результата первых принесенных пожертвований, вновь придет на помощь, если эти люди потерпят неудачу, и эта задняя мысль, имеющая совсем иную природу, нежели мысль, способная служить стимулом для развития промышленности, в большей или меньшей степени, но всегда достаточно ощутимо будет наносить вред их деятельности и предпринимаемым ими усилиям.

Впрочем, в странах, с легкостью привыкших к ложной помощи власти, некоторые воображают, будто то или иное предприятие превосходит индивидуальные силы, и это является второй причиной для ослабления частного предпринимательства; последнее ожидает, пока правительство подтолкнет его, ибо оно привыкло получать первый толчок от власти.

Едва только в Англии становится известно о каком-то открытии, как множество подписчиков дают изобретателям все средства к его разработке и применению. Единственно только подписчики изучают выгоды, которые данное изобретение сулит им, более скрупулезно, чем бы это могло сделать правительство, поскольку в интересах всех индивидов, пускающихся в предприятие на свой страх и риск, не дать себя обмануть, тогда как интерес тех, кто спекулирует на государственной помощи, заключается в том, чтобы обмануть правительство. Труд и успех — единственное средство первых. Для вторых же преувеличение и милости представляют более надежные и быстрые средства достижения цели. И в этом отношении принцип системы поощрений ведет к аморальности.

Может случиться так — и я этого не отрицаю, — что индивидуальное предприятие, лишенное чужой помощи, остановится перед каким-либо препятствием; но прежде оно обратится к иным предметам, и можно рассчитывать, что со второго раза оно соберет свои силы, чтобы рано или поздно вернуться к своему бремени и преодолеть трудности. Таким образом, я утверждаю, что отдельные и кратковременные неприятности от этой отсрочки несопоставимы с общим ущербом от беспорядка и хаоса, какой привносит в идеи и расчеты всякая искусственная помощь.

Похожие доводы можно применить и ко второму предположению, которое, на первый взгляд, кажется еще более законным и благоприятным, чем первое. Приходя на помощь промышленным или земледельческим классам, потерпевшим урон в результате непредвиденных и неизбежных бедствий, правительство прежде всего ослабляет в этих людях чувство, которое в наибольшей степени придает человеку энергию и моральность, — ощущение обязанности всем самому себе и надежду на собственные силы; во-вторых, надежда на эту помощь заставляет пострадавших преувеличивать свои потери, укрывать свои средства и тем самым приучает людей лгать. Я согласен с тем, чтобы данная помощь распределялась с осторожностью и бережливостью; но результат этой помощи для их благосостояния будет совсем иным, нежели для их морального состояния. Власть приучит их рассчитывать не столько на свои собственные силы, сколько на других. Затем она обманет их чаяния; но их деятельность будет уже ослаблена; их правдивость уже пострадает от подмены. Если они не получат помощи от правительства, так только потому, что не сумеют выпросить ее с достаточной ловкостью. Наконец, правительство рискует оказаться обманутым своими нечестными чиновниками. Оно не способно проследить во всех деталях за исполнением мер, которые приказало исполнить, хитрость же всегда более ловка, чем надзор. Фридрих Великий и Екатерина II приняли систему финансовой помощи для земледелия и промышленности. Они часто сами посещали провинции, которым, как считалось, оказывали помощь. В этом случае на их пути выставляли хо-

рошо одетых и сытых людей, являвших собой очевидные доказательства зажиточности, проистекающей из щедрот государей; людей ради этого специально собирали раздатчики пожертвований, тогда как настоящие обитатели края, как и прежде, страдали в своих хижинах от нищеты, ничего не ведая о намерениях своих суверенов, считавших себя их благодетелями.

В странах, имеющих свободное государственное устройство, вопрос о поощрениях и помощи может быть рассмотрен и под другим углом зрения. Является ли благотворным тот факт, что правительство связывает определенные классы своих подданных щедротами, которые, даже будучи справедливыми в своем распределении, обязательно по природе своей произвольны? Разве нет оснований опасаться, что эти классы, соблазненные возможностью получения непосредственной и действительной выгоды, могут стать безразличными к нарушениям индивидуальной свободы и справедливости? В этом случае их можно было бы рассматривать как подкупленные властью.

Прочитав сочинения многих авторов, можно склониться к мысли, что не существует на свете ничего более глупого, более непросвещенного, более беззаботного, чем индивидуальный интерес. Эти авторы совершенно серьезно говорят нам, что, если правительство не будет поощрять развитие земледелия, то все свободные руки обратятся в промышленное производство и поля останутся невозделанными; либо, если правительство не будет поощрять развитие мануфактур, все свободные руки останутся в деревнях, и тогда количество продуктов земледелия будет превышать потребности в них, а страна зачахнет без торговли и промышленности*, как будто бы не ясно, что, с одной стороны, земледелие всегда будет основываться на потребностях народа, поскольку ремесленникам и промышленным рабочим нужно чем-то питаться; а с другой стороны, мануфактурное производство поднимется только тогда, когда продуктов земледелия будет в достаточном количестве, ибо личный интерес будет тол-

* См. работы Филанжери и многих др.

кать людей к применению их силы в более прибыльном труде, нежели умножение продуктов питания, избыток которых снизит их стоимость. Правители никоим образом не могут изменить физические потребности людей; умножение и нормы продуктов, какого бы рода они ни были, всегда согласуются с потребностью в этих продуктах. Абсурдно полагать, будто бы для того, чтобы какой-то род трудовой деятельности стал общеупотребимым, недостаточно ее полезности в глазах тех, кто ею занимается. Если количество рабочих рук превышает потребность в них для того, чтобы сделать землю плодородной, то жители естественным образом обратят свою деятельность к другим отраслям промышленности. Безо всяких предупреждений со стороны правительства они поймут, что конкуренция, переходя за известную черту, уничтожает всякую прибыль, получаемую от их труда. Безо всяких поощрений со стороны власти частный интерес будет в достаточной степени стимулироваться собственным расчетом к поиску более выгодного рода занятий. Если природные условия некоего участка земли требуют значительного количества обрабатывающих его рук, то количество ремесленников и промышленных рабочих не будет увеличиваться, поскольку первейшей потребностью народа является потребность в выживании, следовательно, народ никогда не будет пренебрегать заботами о своем выживании. Впрочем, поскольку состояние земледелия является более насущной потребностью, то оно в силу одного только этого будет более прибыльным, чем какой-то иной род деятельности. Когда не существует необоснованных привилегий, изменяющих естественный порядок, то преимущества той или иной профессии всегда обусловлены ее абсолютной пользою и относительной редкостью. Производители стараются выйти на уровень потребностей безо всякого вмешательства властей*. Когда какой-то род производства мало распространен, цена на его товары поднимается. Если цена поднимается, то производство, получающее больше средств, привлекает к себе внимание промыш-

* См.: Smith A. Op. cit. I. 7; Say. Economie politique.

ленности и капиталы. В результате такое производство становится весьма распространенным. Когда оно становится распространенным, его цены понижаются; а когда цены падают, промышленность и капиталы направляются в другую сторону. А когда производство становится более редким, его цены поднимаются вновь, к нему вновь обращается промышленность, и так вплоть до того момента, пока производство и его цена не достигнут совершенного равновесия. Подлинным поощрением для любого рода труда является испытываемая в нем потребность. И для того, чтобы поддерживать их в благотворном и точном соответствии, нужна одна лишь свобода.

Писателей чаще всего вводит в заблуждение и удивление слабость и стесненность в средствах, испытываемые трудящимися классами нации при незаконных правлениях. Они не ищут причин зла, но воображают себе, будто бы это зло можно излечить непосредственными действиями власти в пользу страдающих классов. Так, например, в том, что касается земледелия, когда несправедливые и обременительные институты позволяют привилегированным классам подвергать земледельцев притеснениям, деревни очень скоро придут в упадок, поскольку население в них уменьшается. Земледельческие классы как можно быстрее устремляются в города, дабы укрыться там от рабства и унижения. И вот неумные мыслители советуют действительно совершить частичные поощрения земледельцев. Они не видят, что в человеческих обществах все взаимосвязано. Уменьшение количества населения в деревнях есть следствие дурной политической организации. Помощь нескольким индивидам или какие-либо иные искусственные и разовые паллиативы не излечат зла; единственное средство для этого — свобода и справедливость. Почему же к ним прибегают в последнюю очередь?

Порой нам говорят, что нужно улучшить земледелие, возвысить его, сделать занятие им почетным, ведь именно на нем основано процветание наций. Эту идею развивали достаточно образованные люди. Ее без устали повторял один из самых глубоких, но и самых своеобразных умов прошлого века — маркиз де Мира-

бо[24]. Другие говорили то же самое в отношении развития мануфактур; но улучшают нечто лишь за счет различий, причем не иначе как за счет искусственно привнесенных различий. Если труд приносит пользу, то пока он будет давать прибыль, он будет общеупотребимым. Каким же образом можно выделить то, что является общеупотребимым? С другой стороны, необходимый труд всегда прост. Поэтому власть не может оказать такое влияние на общественное мнение, чтобы оно наделило редкими заслугами то, что любой человек может делать одинаково хорошо.

Из всех отличий, какие только могут пожаловать правители, действительно заслуживают уважения отличия, свидетельствующие о власти, поскольку они реальны и поскольку скрывающаяся за ними власть может действовать во благо и во зло. Отличия, основывающиеся на заслугах, всегда оспариваются мнением, так как мнение только за собой оставляет право судить о заслугах. Оно вынуждено признавать власть вопреки всему, но что касается заслуги, то оно может ее отрицать. Именно поэтому голубая лента вызывала уважение. Она свидетельствовала о том, что ее владелец — большой вельможа, а власть в высшей степени способна заставить считать кого-либо большим вельможей. Напротив, черная лента вызывала смех. Она объявляла, что ее носитель — литератор, отличившийся артист. Власть же не способна назначать ни литераторов, ни артистов.

Почетные отличия для земледельцев, для ремесленников, промышленных рабочих еще более иллюзорны. Земледельцы, ремесленники, промышленные рабочие стремятся достичь зажиточности или богатства благодаря труду, а покоя — благодаря гарантиям власти. Им не нужны ваши искусственные отличия, если они к ним и стремятся, то только потому, что вы извратили их ум, наполнили головы ложными идеями. Позвольте же им спокойно пользоваться принадлежащими им плодами их трудов, равенством прав, свободой действий. Не расточая ни милостей, ни несправедливостей, вы сделаете для них больше, чем если бы вы притесняли их, с одной стороны, а с другой — пытались ввести для них отличия.

Приложение 6

О свободе печати

У людей есть два способа выразить свою мысль: слово и сочинения.

Было время, когда власть считала себя обязанной распространять свой надзор на слово. И действительно, если рассматривать слово как незаменимое орудие всех заговоров, как необходимый предвестник всех преступлений, средство сообщения всех порочных намерений, то можно понять стремление к ограничению его использования таким образом, чтобы упразднить связанные с ним неудобства, оставив лишь его полезные стороны. Почему же в конце концов отказались от всяких попыток достижения этой заветной цели? Да потому, что опыт доказал, что меры, способные ее достичь, порождают зло еще большее, чем то, которое собирались излечить. Фискальство, подкуп, оговор, клевета, обман доверия, предательство, взаимные подозрения родственников, распри между друзьями, тесная связь между безразличными друг другу людьми, подкуп неверной прислуги, продажность, ложь, вероломство, беззаконие — таковы элементы, из которых составлялись действия власти, обращенные против слова. И тогда власть почувствовала, что это слишком высокая цена за преимущества, даваемые надзором. Она также осознала, что придавала чрезмерное значение тому, что такового значения не имело; что фиксируя неблагоразумие, его делали враждебным; что если остановить на лету готовые сорваться слова, то за ними последуют дерзкие действия; что было бы лучше, проявляя строгость к проступкам, к которым могло привести слово, позволить улетучиваться всему тому, что не имело никаких следствий.

В результате за исключением некоторых крайне редких обстоятельств, за исключением периодов явных бедствий или правлений, настроенных подозрительно и не скрывающих своего тиранического характера, власть закрепила отличие, делающее ее ведение словом более мягким и более легитимным. Выражение мнения в отдельном случае способно произвести столь

непреложный эффект, что это мнение следует рассматривать как действие. Таким образом, если это действие является преступным, то слово должно быть наказано.

То же самое относится и к сочинениям. Сочинения, как и слово, как и самые простые движения, могут составлять часть действия. О них следует судить как о части этого действия, коль скоро последнее является преступным. Но если они не входят ни в какое действие, то, подобно слову, они должны пользоваться полной свободой.

Так следует отвечать и некоторым безумцам, которые и в наши дни хотели доказать, что необходимо снести известное число голов, на которые они укажут, и затем оправдывали себя, заявляя, будто бы лишь высказывали свое мнение; а также и инквизиторам, которые хотели бы создать свое положение на основе этого безумия, дабы подчинить выражение всякого мнения ведению власти.

Если вы допускаете необходимость подавления выражения мнений как таковых, то нужно, чтобы государственный обвинитель действовал юридически, в соответствии с установленными законами, либо вы должны установить запретительные меры, которые освободили бы вас от следования юридическими путями.

В первом случае от ваших законов будут уклоняться. Для общественного мнения нет ничего проще, как выражаться в столь различных формах, что они будут не подвластны никакому точному закону.

Материалисты зачастую противопоставляли учению о чистом разуме замечание, утратившее свою силу лишь после того, как менее безрассудная философия заставила нас признать существующую для нас невозможность познать то, что мы называем *материя,* или то, что мы называем *дух.* Чистый дух, говорили они, не может воздействовать на материю. С еще большим основанием и не теряясь в утонченной метафизике, можно заметить, что в области правления материя никогда не может воздействовать на дух. Таким образом, власть как таковая может использовать только материю. Позитивные законы относятся к области материи. Мысль и выражение мысли неуловимы для нее.

Если, переходя ко второму способу, вы наделяете власть правом запрещать выражение мнений, вы придаете ей право определения их последствий, выведения заключений, право приводить доводы, одним словом, подменять факты своими рассуждениями: это означает закрепление произвола во всей его свободе действий.

Вы никогда не выйдете из этого круга. Разве люди, которым вы доверяете право судить о мнениях, не являются столь же восприимчивыми к несправедливости или по крайней мере к ошибке, как и все прочие?

Говорят, что безличные глаголы ввели в заблуждение политических писателей. Они полагали, что высказывали какие-то утверждения, говоря «нужно подавлять высказывание мнения людьми», «не нужно позволять людям разглагольствовать относительно всего, что им приходит на ум», «следует предохранять мышление людей от заблуждений, в которые их могут увлечь софизмы». Но разве эти слова — *должно, нужно, не следует* — не относятся ко всем людям? Разве речь в них идет о каком-то особом роде людей? Все эти фразы сводятся к одному: люди должны подавлять высказывание мнения людьми; люди должны помешать людям предаваться разглагольствованиям; люди должны предохранять мысль людей от опасных заблуждений. Кажется, безличные глаголы убедили нас в том, что орудием власти является нечто иное, нежели люди.

Дозволяемый вами произвол в отношении мысли способен, таким образом, как заглушить самые необходимые истины, так и подавить самые мрачные заблуждения.

На пути любого мнения может быть поставлено препятствие, или это мнение может быть наказано. Вы предоставляете власти возможность совершать дурные поступки, только бы она позаботилась о дурных помыслах.

Когда моральные и политические вопросы трактуют лишь с одной стороны, то легко нарисовать ужасную картину заблуждений наших способностей; но когда эти вопросы рассматривают со всех точек зрения, то картина несчастий, причиненных властью, ог-

раничивающей эти способности, безусловно, оказывается не менее устрашающей.

Теория власти состоит из двух отношений сравнения: польза цели, природа средств. Если учитывается только первое из этих отношений, то мы ошибаемся, поскольку забываем о давлении, оказываемом этими средствами, о препятствиях, которые они встречают, об опасностях и несчастиях борьбы, наконец, о последствиях победы, если она одержана.

Оставив в стороне все эти предметы, можно нарисовать обширную картину преимуществ, которые мы надеемся получить. До тех пор, пока мы занимаемся описанием этих преимуществ, цель видится нам прекрасной, а система — непоколебимой; но если цель недостижима либо ее можно достичь только благодаря использованию средств, причиняющих больше зла, нежели добра, к которому мы стремимся, то мы будем вынуждены понапрасну терпеть множество неприятностей.

Каков же на самом деле результат посягательств на свободу сочинений? Эти меры вывели из себя писателей, ощущавших свою независимость, неотделимую от своего таланта; они вынудили их прибегать к аллюзиям, приобретшим горький оттенок, ибо они носили косвенный характер; эти меры вызвали к жизни хождение подпольных сочинений, которые были еще более опасны; они подпитывали жадное стремление публики к анекдотам, мятежным личностям и принципам, наделяли клевету привлекательным видом отваги, наконец, придавали чрезмерное значение запрещенным работам. Пасквили всегда смешиваются со свободой прессы, и именно порабощение прессы порождает пасквили и обеспечивает им успех. Именно детальные меры предосторожности, предпринимаемые против сочинений, как будто бы те являются вражескими фалангами, именно эти меры, наделяющие сочинения вымышленным значением, и способствуют росту их действительного значения. Когда люди видят целые кодексы запретительных законов и целые армии инквизиторов, они должны предполагать, что нападки, против которых обращена вся эта сила, носят действительно грозный характер. Поскольку затрачивается

столько труда, чтобы оградить нас от этих сочинений, говорят себе люди, эти сочинения должны действительно производить очень глубокое впечатление! Они безусловно несут в себе неодолимую очевидность!

Меня всегда поражало одно соображение. Предположим, что существует общество, предшествующее изобретению языка и заменяющее это быстрое и легкое средство общения средствами менее легкими и более медлительными. Изобретение языка произвело бы в этом обществе внезапный взрыв. В этих еще новых звуках люди узрели бы гигантские опасности, и множество осторожных и мудрых умов, крупных чиновников, старых администраторов сожалели бы о добрых временах, исполненных мирной и полной тишины; но удивление и страх постепенно улетучились бы. Язык превратился бы в средство, ограниченное в своих воздействиях; плод опыта — спасительное недоверие — предохранило бы слушателей от необдуманных увлечений; наконец, все вернулось бы к порядку с той лишь разницей, что общественные средства общения, а следовательно, и совершенствование всех искусств, уточнение всех идей обрели бы еще одно средство для своего развития.

То же самое будет происходить и с печатью повсюду, где справедливая и умеренная власть не будет вступать с нею в борьбу. Английское правительство не пошатнулось из-за знаменитых писем Джуниуса. В Пруссии в период самого расцвета ее монархии свобода печати была безграничной. Фридрих на протяжении сорока шести лет своего правления ни разу не употребил свою власть против какого-либо писателя, какого-либо сочинения, и спокойствие его правления не было поколеблено, хотя страну потрясали страшные войны и борьба против объединившейся Европы. А все это оттого, что свобода наполняет душу покоем, а умы людей, без волнения пользующихся этим неоценимым благом, — разумом. Доказательство — тот факт, что после смерти Фридриха министры его преемника приняли иную линию поведения, и в результате очень скоро стало ощущаться общее брожение. Писатели вступили на путь борьбы с властью; на их защиту встали суды; и если облака, появившиеся на этом некогда

столь мирном горизонте, не обернулись бурею, то только оттого, что сами ограничения, которые пытались наложить на проявления мысли, еще несли на себе отпечаток мудрости великого Фридриха, чья благородная тень, казалось, еще хранила Пруссию. В преамбулах эдиктов, предназначенных для подавления свободы печати, воздавались почести свободе мнения, а запретительные меры смягчались традициями свободы.

Вовсе не свобода печати явилась причиной переворота 1789 г.; как известно, непосредственной причиной этих волнений были финансовые нарушения, и если бы во Франции, как в Англии, свобода печати существовала на протяжении ста пятидесяти лет, она положила бы конец разрушительным войнам и поставила бы предел разорительным порокам. Вовсе не свобода печати возбудила народное негодование против незаконных арестов и королевских указов о заточении без суда и следствия; напротив, если бы при последнем короле существовала свобода печати, все бы узнали, насколько мягким и умеренным было его правление; воображение людей не было бы поражено страшными подозрениями, правдоподобие которых подкреплялось лишь окутывающим их покровом тайны. Правители не понимают зла, какое они причиняют себе, оставляя за собой исключительную привилегию говорить и писать о своих деяниях: люди не верят ни во что из того, что утверждает власть, не позволяющая давать ей ответ; они верят всему тому, что утверждается в противовес власти, не терпящей никакого расследования.

Наконец, вовсе не свобода печати вызвала к жизни беспорядки и безумие злополучной революции; именно длительное отсутствие свободы печати сделало заурядного француза невеждой и неверующим, а тем самым — беспокойным и часто жестоким. Во всем, что именуют преступлениями свободы, я признаю лишь воспитание произвола. Поскольку в крупных объединениях нового времени свобода печати является единственным средством гласности, то, следовательно, независимо от формы правления, эта свобода является также и единственным средством защиты граждан. Коллатин[25] мог выставить на общественной площади в

Риме тело Лукреции, и весь народ знал о полученном им оскорблении; должник из плебеев мог показать своим возмущенным братьям по оружию раны, нанесенные ему алчным патрицием, его кабальным кредитором. Но в наши дни огромные размеры государств создают преграду для протестов такого рода; отдельные случаи несправедливости всегда остаются неизвестными для большинства жителей наших обширных стран. Если недолговечные правители, тиранизировавшие Францию, навлекли на себя общий гнев, то это произошло вовсе не из-за того, что они сделали, а из-за того, в чем они признались: они похвалялись своими несправедливостями, они кричали об этом в своих газетах. Впоследствии они проявили больше осторожности и больше ловкости: они молчаливо угнетали нас, а мнение, пораженное лишь глухим шумом, часто прерываемым и неотчетливо слышимым, долгое время оставалось неустойчивым, нерешительным и переменчивым.

На самом деле все гражданские, политические, правовые преграды становятся иллюзорными без свободы печати. В периоды многих революций нарушалась независимость судов, но это преступление оставалось под покровом неведения: процессуальные формы были уничтожены, но разве гарантия этих форм не является гласностью? Безвинные были закованы в кандалы, но ни одна жалоба не предупреждала граждан о грозящей им всем в равной степени опасности; в застенках под прикрытием общего молчания безнаказанно томились жертвы; национальные представления были искалечены, порабощены, оклеветаны, но поскольку печать оставалась лишь орудием власти, все государство в целом было исполнено наветов, и истина не могла найти голоса, который бы поднялся на ее защиту.

Конечно же, сегодня порабощение печати не может иметь те же неприятные последствия; но оно может иметь иные неудобства как для государя, так и для нации. Подавляя мысль боязливых и совестливых граждан, возводя всякого рода препятствия вокруг выдвижения протестов, власть сама окружает себя мраком, позволяет укорениться злоупотреблениям; она за-

крепляет деспотизм своих самых низших чиновников; ведь отсутствие свободы печати опасно тем, что высшие носители власти, я хочу сказать — министры, зачастую могут не знать всех деталей совершаемых проступков (иногда такое неведение является даже удобным). Свобода печати излечивает оба эти неприятных последствия: она просвещает власть, когда та заблуждается, и, более того, она препятствует тому, чтобы власть намеренно закрывала глаза на все происходящее.

Впрочем, когда нынче предлагают меры против свободы печати, то забывают о современном состоянии Европы — она не является более порабощенной, да и Франция, равно как и Япония, не представляет собой более остров, который железная рука отрезает от торговли со всем остальным миром. Существует ли средство помешать любознательному народу получить все то, что промышленно развитые народы поспешат ему дать? Чем тяжелее оковы, тем сильнее любознательность и тем изобретательнее промышленность: первая находит для себя пищу в трудностях, вторая — в выгоде. Разве не известно, что запретительные меры — награда для контрабандистов. Для того, чтобы задушить свободу печати, надо было воздвигнуть железную стену между нами и Англией, присоединить Голландию, заключить в оковы Швейцарию и Италию, расстрелять книгоиздателей и печатников Германии. Эти меры неприемлемы для справедливого правительства. Монтескье говорил, что для деспотизма требуются пустыни в качестве его границ: помешать развитию мысли во Франции можно, лишь окружив эту прекрасную страну интеллектуальной пустыней.

Принципы, которые должны направлять справедливых правителей в этом важнейшем вопросе, просты и ясны: авторы должны отвечать за свои сочинения, если те опубликованы, подобно тому, как любой человек отвечает за свои слова, если те произнесены, и за свои действия, если те совершены. Оратор, проповедующий воровство, убийство или грабеж, мог бы быть наказан за свои речи; но ведь нельзя представить себе, будто всем гражданам можно запретить говорить из опасения, что один из них будет проповедовать воров-

ство или убийство. Человеку, который бы злоупотребил возможностью прогуливаться, чтобы взломать дверь своих соседей, непозволительно требовать свободы прогулок; но ведь вы не будете издавать закон, запрещающий кому бы то ни было выходить на улицу из опасения, что он проникнет в чужой дом.

Приложение 7

О том, что содействие властей не делает легитимным нарушение судебной процедуры

Эту истину очень просто установить. До тех пор, пока власти, созданные конституцией, будут считать, что достаточно их сотрудничества для того, чтобы легитимизировать уничтожение юридических гарантий, обеспечиваемых этой конституцией, любая конституция будет иллюзорной. Как я говорил выше, есть действия, санкционировать которые не может ничто. Существуют предметы, в отношении которых законодатель не может издать закон. Воли целого народа недостаточно, чтобы сделать справедливым то, что несправедливо, и представители нации не имеют права делать то, чего не вправе сделать сама нация. Таким образом, совершенно определенно, что нация, пообещав каждому из своих членов по отдельности судить их в соответствии с юридическими формами, установленными еще до совершения ими каких бы то ни было проступков, не имеет права лишить их преимуществ пользования ее обещаниями. Отрицание данного положения равносильно легитимации избиения народа. Одержимое большинство, убивающее тех, на кого ему указали как на преступников, делает не что иное, как лишает их защиты со стороны юридических форм. Законодателям нации не дозволено совершить деяние, являющееся самым ужасным посягательством на нацию в целом; нарушение юридических процедур, совершенное по приказу представителей народа, является не более легитимным, чем нарушение этих процедур самим народом. Это убийство по доверенности.

Изощренность пыток

Преступники не утрачивают всех своих прав. Даже в отношении них общество не облечено безграничной властью. Оно должно подвергать их лишь тем видам мучений, которые необходимы для его будущей безопасности. Во всех случаях смерть является достаточной мерой наказания для обеспечения этой безопасности. Изощренность пыток, продление и разнообразие форм мучений представляют собой незаконное расширение прав общества в отношении своих членов. Оно может лишить их свободы, когда их свобода является губительной для общества; оно может лишить их жизни, когда их жизнь может грозить будущими злодеяниями; но тем не менее оно не имеет права спекулировать на их физической боли, так как, проявляя жестокость в отношении преступников, общество развращает невиновных.

Казалось бы, в конце прошлого века мы осознали эту истину. Люди перестали упражняться в искусстве максимального продления мучительной агонии одного из себе подобных в присутствии многих тысяч зрителей. Они не наслаждались более предварительным обдумыванием будущих жестокостей. Мы открыли, что все это варварство, бесполезное для жертвы, развращает свидетелей этих мук и что, наказывая одного преступника, мы развращали всю нацию в целом.

Я не знаю, благодаря какой досадной ошибке в рассуждениях или благодаря какому странному обожествлению прошлого кое-кто при Бонапарте предложил вдруг вернуться к этой отвратительной практике. Здоровая часть нации содрогнулась, и власть, казалось, отступила.

Тем не менее наш уголовный кодекс сохранил возмутительные следы этого возврата к отвратительным обычаям, и воспоминание о трех несчастных, изуродованных перед смертью, долгое время будет оставаться пятном на нашей конституционной истории.

И если, как того требует гуманность и как о том просит народная воля, наш кодекс в скором времени будет подвергнут тщательному пересмотру, первой заботой наших представителей должно стать устранение этой ошибки, которую я охотно назвал бы преступле-

нием, и назначение в качестве самой строгой меры закона смерти самой простой, наименее болезненной и наиболее скорой.

О смертной казни

Смертная казнь, даже сведенная к простому лишению жизни, была предметом возражений со стороны многих почтенных философов. Они оспаривали у общества право назначать эту казнь, которая, по их мнению, выходила за пределы компетенции общества. Но они не предусмотрели того, что используемые ими рассуждения будут употребляться применительно ко всем прочим сколько-нибудь строгим наказаниям. Если закон должен воздерживаться от того, чтобы положить конец жизни преступников, то он должен воздерживаться и от всего того, что может эту жизнь сократить. Но ведь содержание под стражей, принудительные работы, депортация, даже ссылка приближают конец существования человека, к которому они применяются. Наказания, которыми хотели заменить смертную казнь, как я указывал в другом месте, большей частью являются лишь тем же самым наказанием, но разделенным на постепенные этапы, почти всегда более медленным и болезненным.

Смертная казнь, кроме того, является единственным наказанием, которое не имеет того неудобства, что обрекает массу людей на ненавистные и унизительные работы. Для меня предпочтительнее несколько палачей, нежели множество тюремщиков. Я бы предпочел, чтобы несколько жалких субъектов, обладающих необходимой жестокостью, с ужасом отвергнутых обществом, посвятили себя отвратительному ремеслу предавать казни нескольких преступников, нежели если бы огромное количество людей за жалкое жалование посвятило бы себя надзору за преступниками и превращению в вечное орудие их длительного несчастия.

Но, допуская смертную казнь, надо ли мне говорить, что я признаю ее лишь в крайне редких случаях? Наш же нынешний кодекс расточает ее с возмутительной щедростью.

Простые посягательства на собственность; одно только намерение совершить преступление, какова бы ни была природа этого преступления; политические правонарушения, если только они не заставили пролиться кровь, — никогда не должны караться этим видом казни.

Когда мы обращаемся к тому состоянию нищеты или постоянных лишений, до которого во всех современных обществах низведен многочисленный и обездоленный класс; когда мы представляем себе, в скольких обстоятельствах даже труд дает этому классу лишь иллюзорную или недостаточную поддержку; когда мы размышляем о том, что обычно именно этой поддержки данному классу и недостает, тогда как именно в ней он больше всего и нуждается, о том, что чем больше бедняков, нуждающихся в работе, тем труднее им получить эту работу, которая одна только и могла предохранить их от смерти или преступления; когда наш взор рисует этих несчастных, в окружении их семей, лишенных крова, пропитания и одежды; и когда, обращаясь к глубинам собственной души, мы задаемся вопросом, что бы мы могли чувствовать, будь мы на их месте, — отвергнутые с жестокостью, пораженные дерзостью, мы становимся менее безжалостными к проступкам, которые не предполагают забвения естественных чувств, как это происходит при убийстве человека. Убийство есть надругательство над законами природы; посягательство на собственность есть надругательство над общественным согласием. Это строгое согласие должно соблюдаться. Закон должен встать на его защиту и поддерживать его, но он не должен, относясь с презрениям ко всем градациям преступления, выносить наказание, предназначенное для тех, кто в полной мере продемонстрировал свою безжалостность, по отношению к несчастному, который, быть может, утратил даже жалость к окружающим его страдальцам.

Намерение совершить преступление, приравниваемое нашим кодексом к его исполнению, отличается от последнего в том существенном моменте, что природе человека свойственно отступать перед действием, с которым он уже давно свыкся в мыслях. Чтобы убедиться в этом, откажемся на мгновение от понятия преступления и вспомним о том, что каждый из нас наверняка

испытывал, когда под давлением обстоятельств принимал решение, способное причинить большие несчастия все окружающим. Сколько раз, утвердившись в своих намерениях при помощи рассуждения, расчета, ощущения реальной или предполагаемой потребности, мы чувствуем, что силы покидают нас при одном только появлении того, кто нас оскорбил, или при виде слез, которые заставляют пролиться первые произнесенные нами слова! Сколько же связей продолжает существовать только благодаря одной этой причине! Как часто эгоизм или осторожность, поодиночке считающие себя неуязвимыми, уступают в присутствии другого! Все, что происходит с нами, когда речь идет о причинении кому-либо боли, имеет место и в самых грубых душах, в наименее образованных классах общества, когда стоит вопрос о действительном преступлении. Разве можно быть уверенным в том, что человек, мучимый нуждою или увлекшийся какой-либо страстью, замыслив преступление, не уронит свое оружие, приблизившись к жертве? Закон, смешивающий намерение и действие, по сути своей есть несправедливый закон. И законодателю не удастся примирить его со справедливостью, дополнив утверждением, что намерение подлежит наказанию только в том случае, когда преступление не имело места благодаря событиям, независящим от воли преступника. Никто не может доказать, что если бы эти обстоятельства не имели места, воля человека не привела бы к тому же результату. Человек, готовящийся совершить преступление, всегда испытывает долю беспокойства, предчувствует грядущие угрызения совести, последствия которых непредсказуемы. Подняв руку на того, кого ему предстоит поразить, он может еще отречься от решения, восстановившего его против самого себя. Не признавать существование такой возможности до самого последнего момента означает клеветать на природу человека. Не учитывать этого означает попрать справедливость.

Политические преступления, отделенные от убийства человека и открытого бунта, на мой взгляд, также не должны повлечь за собой наказание в виде смертной казни. Во-первых, я считаю, что в стране, где общественное мнение настолько противостоит прави-

тельству, что заговоры здесь были бы опасными, самым строгим законам не удалось бы помочь правительству избежать судьбы, постигающей всякую власть, против которой восстает общественное мнение. Партия, представляющая опасность только благодаря своему лидеру, не опасна даже вместе с этим лидером. Влияние индивидов в значительной степени преувеличивают; оно гораздо менее могущественно, чем это полагают, особенно в нашем столетии. Индивиды суть лишь представители мнения; когда они хотят действовать вопреки ему, они терпят неудачу. И напротив, если мнение существует, то напрасно пытаться убивать его представителей — оно найдет других, и суровые меры здесь смогут лишь озлобить мнение. Говорили, что после гражданских междоусобиц остаются только мертвецы, которые никогда не возвращаются. Но эта аксиома ложна: мертвые возвращаются, чтобы служить опорой пришедшим на их место живым всей силой своей памяти и пережитым чувством неотмщенного зла. Во-вторых, коль скоро имеют место заговоры, то происходит это оттого, что политическая система, в которой заговоры вынашиваются, страдает недостатками; но это не означает, что заговоры не следует пресекать; однако же общество должно применять в отношении преступлений, причиной которых выступают его собственные пороки, лишь необходимую в данных обстоятельствах силу; тот факт, что общество вынуждено наказывать людей, которые, будь оно лучше организовано, не стали бы преступниками, уже является в достаточной степени неприятным.

Наконец, смертная казнь должна быть сохранена только для неисправимых преступников. Политические же преступления зависят от мнения, предрассудков, принципов, одним словом, от мировоззрения, которое может примириться с самыми нежными привязанностями и самыми высокими добродетелями. Ссылка представляет собой естественное наказание, оправданное самим родом таких проступков, наказание, которое, удаляя виновного от обстоятельств, сделавших его таковым, одновременно и восстанавливает в нем состояние невиновности и наделяет его способностью поддерживать это состояние.

Умышленное убийство, отравление, поджог, все то, что говорит об отсутствии в человеке сочувствия, выступающего основой человеческих сообществ и первейшим качеством человека, живущего в обществе, — таковы преступления, которые одни только и заслуживают смертной казни; власть может покарать убийцу, но она карает его из уважения к жизни людей; но это уважение, забвение которого она так строго наказывает, она должна открыто проповедовать сама.

О лишении свободы

Из всех наказаний лишение свободы самым естественным образом первым приходит на ум и кажется наиболее простым. Оно необходимо до суда в качестве меры безопасности. Его преимуществом является защита общества от посягательств преступников, уже нарушивших его законы; совершенно очевидно, что я веду здесь речь лишь о законном лишении свободы, а вовсе не о незаконном заключении под стражу. Наконец, задержанные, отделенные от остальных граждан, окружены своего рода завесой, скрывающей их от посторонних взглядов, а затем и от чужой жалости.

Из этого следует, что из всех наказаний лишение свободы представляет собой наказание, которым злоупотребляют чаще и легче всего. Его внешняя мягкость таит в себе дополнительную опасность. Читая заключение какого-либо суда о том, что некий преступник осужден на пять лет лишения свободы, можете ли вы представить себе, сколько различных мучений заключает в себе этот приговор? Нет. Вы просто представляете себе человека, содержащегося в комнате и не имеющего возможности ее покинуть. Что бы вы сказали, если бы данное заключение гласило: этот человек на протяжении пяти лет будет не только оторван от своей семьи, лишен всех радостей жизни и низведен до состояния, когда он не сможет позаботиться о своем будущем существовании, которое из-за приостановки карьеры этого человека, каковой бы та ни была, после его освобождения, быть может, станет еще более плачевным, чем в начале его наказания; но более того, существование этого человека подчинится произвольно-

му порядку вопреки всем мерам, предпринятым в этом отношении законом; он будет терпеть капризы и издевательства со стороны грубых людей, которые самим выбором своей жестокой профессии заранее доказали, что мало способны на проявления жалости. Эти люди смогут стеснять заключенного во всех его действиях, требовать платы за малейшие послабления в его судьбе, причинять ему одно за другим множество физических страданий, которые при ближайшем рассмотрении не смогли бы оправдать самое справедливое вмешательство власти в судьбу заключенного и которые, собранные воедино, превращают жизнь в вечную пытку. Эти люди будут спекулировать на пропитании заключенного, его одежде, на размерах и чистоте камеры, в которой тот содержится. Они смогут нарушить покой, к которому он так стремится, лишить его тишины, надругаться над его страданиями, ведь их оскорбительные и жестокие слова дано услышать одному лишь заключенному. В отношении него эти люди будут облечены мрачной властью диктаторов, у которой не будет никаких свидетелей и в отношении злоупотреблений которой будут выслушиваться лишь их собственные оправдания, а они объяснят ее точным следованием своему долгу и необходимостью бдительности. И тем не менее именно таков смысл этих слов: *пять лет тюремного заключения*. Если теперь мы напомним, в чем, к несчастью, состоит суть человеческой природы; если мы подумаем о предрасположенности всех нас к злоупотреблению самой умеренной властью; если мы вспомним, что лучший из нас мгновенно меняется, как только ему доверяют неограниченную власть, что единственной преградой для деспотизма является гласность, что в недрах тюрем все происходит под покровом тайны, то я не знаю, какое воображение не придет в ужас от всего этого. Порой в одиночестве мне случалось вдруг представлять себе, сколько же людей на всем земном шаре, в самых развитых, как и в самых варварских странах подвержены этой медленной и ужасной пытке, пока я мирно наслаждался свободою; я приходил в ужас от того количества страданий, которые, казалось, сжимались вокруг меня и попрекали меня моими развлечениями и моей безжалостной беззаботностью.

Однако же лишение свободы всегда будет оставаться наиболее распространенным наказанием, и поскольку было бы справедливым сохранять смертную казнь лишь для очень небольшого числа преступлений, во многих обстоятельствах ее невозможно не заменять лишением свободы.

Но существуют правила, которые общества заставляют себя признать и которые они не могут нарушить без того, чтобы, наказывая преступников, самим не сделаться виновными.

Не следует применять одиночное заключение. Полная изоляция приводит к умопомешательству, это доказал опыт. Поэтому вы не имеете права осуждать человека на деградацию, на разрушение, распад его личности.

Не следует на долгое время отделять заключенного от его семьи. Этим противоестественным отделением вы караете не только преступление, но наказываете еще и невиновных. Дети, которых вы лишаете невеселого счастья служить утешением отцу, жена, которую вы изгоняете из тюрьмы, где содержится ее супруг, страдают тем больше, чем более глубокими и искренними являются их чувства. Они страдают тем больше, чем большую ценность они представляют собой как личности. Таким образом, наказывать их вдойне несправедливо. Вы должны проявлять уважение к естественным чувствам; каков бы ни был их предмет, эти чувства священны; они выше всяких законов.

Я бы охотно сказал: не следует применять пожизненное заключение, но я боюсь, что утверждение этого принципа сделает более частой смертную казнь. Будущее неопределенно: самое справедливое желание отомстить смягчается. Даже власть не бывает всегда беспощадной, она смягчается по мере своего укрепления. Оставьте же ей идею, что она всегда способна найти защиту от преступника, внушающего ей страх. Когда ее страхи рассеются, она, быть может, умерит наказание. Поэтому я бы сохранил пожизненное лишение свободы в качестве наказания, дающего реальный шанс на милосердие со стороны власти.

Наконец, в какой бы форме ни допускалось существование тюремного заключения и как бы оно ни было организовано нашим кодексом, следует принять

одну меру предосторожности, на которую до сих пор не обращали внимания и необходимость которой очевидна. Согласен, очень часто люди понимали, что заключенных нельзя оставлять на милость их тюремщиков и что последних следует подчинить суровому надзору. Но надзор был доверен правительственным чиновникам. Это означает сделать данную меру иллюзорной, превратить ее в своего рода жестокую насмешку. Правительство, выступающее в качестве государственного обвинителя, по результатам следствия и разоблачений которого эти узники и были осуждены, не может брать на себя защиту индивидов, которых оно покарало. Эти предохранительные обязанности могла бы выполнить только власть, независимая от правительства. Я бы хотел, чтобы наши выборщики, выразители воли народа, одновременно с избранием представителей назначали бы в каждом департаменте также и надзирателей тюрем, присваивая им титул, напоминающий о том, сколь высока данная миссия. Надзиратели будут посещать тюрьмы в определенное время; прежде всего они должны будут убедиться, что там никто не содержится незаконно, затем они должны констатировать, что к содержащимся в тюрьме на законных основаниях* не применяют никаких излишне строгих мер, что и без того незавидная судьба заключенных не усугубляется без законных оснований; и в отчете, представленном всей нации при помощи печати, надзиратели должны будут докладывать палатам о результатах своей периодической и почетной проверки.

О депортации

Быть может, из всех карательных мер учреждение колоний, в которые помещались бы преступники, в

* Можно ли совершить что-либо более абсурдное, чем довериться представителям министров, дабы убедиться, что министры не совершат никаких незаконных действий? Однако же именно это до сих пор и имело место при всех правительствах. Бонапарт также имел государственных чиновников, посещавших тюрьмы. Мне не известно, был ли освобожден хоть один человек из тех, что содержались там в нарушение закона.

наибольшей степени соответствовало бы справедливости, интересам общества и индивидов, которых общество вынуждено отдалять от себя.

Причиной большинства наших ошибок является своего рода расхождение между нами и общественными установлениями. Мы достигаем юности, часто не узнав и почти всегда не понимая этих сложных установлений. Они возводят вокруг нас преграды, которые мы преодолеваем, порой сами того не замечая. В этом случае между нами и нашим окружением возникает оппозиция, которая усиливается благодаря производимому ею впечатлению. Эта оппозиция разнообразна по своим формам, но ее можно распознать во всех классах общества; в высших классах — начиная с мизантропа, замыкающегося в себе, и вплоть до честолюбца и завоевателя; в низших классах — начиная с несчастного, ищущего забвения в пьянстве, вплоть до тех, кто идет на преступления; все эти люди находятся в оппозиции социальным институтам. Эта оппозиция развивается с большей силой там, где мы обнаруживаем больше невежества. Она ослабевает с возрастом, по мере того как угасает энергия страстей, по мере того как мы начинаем ценить жизнь в соответствии с ее действительной стоимостью, а потребность в независимости становится менее насущной, нежели потребность в покое. Но если еще до достижения этого периода покорности судьбе человек совершил какую-то непоправимую ошибку, если воспоминание об этой ошибке, сожаление, угрызения совести, ощущение того, что он был слишком строго судим и что этот приговор тем не менее не подлежит обжалованию, — все эти впечатления поддерживают исполненного ими человека в состоянии раздражения, являющемся источником новых, еще более непоправимых ошибок.

И если теперь людей, пребывающих в столь жалком положении, вдруг вывести из-под давления непреклонных институтов и столкновения извечно порочных отношений; если из всей предшествующей жизни им оставить лишь воспоминание о том, что они претерпели, и опыт, который они приобрели, то сколько из них пошло бы по иному пути! С какой поспешностью они, внезапно, словно благодаря какому-то чуду, обретя

вновь безопасность, гармонию, понимание порядка и морали, предпочли бы эти утехи мигу удовольствия, что так увлекал их ранее! Как бы они отвергали искушения, которые некогда привели их к падению! Опыт подтверждает наши утверждения. Люди, депортированные в Ботани-Бей за совершение преступных действий, вновь вернулись к общественной жизни и, отказавшись от войны с обществом, превратились в мирных и даже уважаемых членов этого общества.

И напротив, осуждение на принудительные работы, столь расхваливаемое многими нашими современными политиками, на мой взгляд, всегда приводит к неприятным последствиям разного рода.

Во-первых, мне вовсе не кажется доказанным, что общество имеет в отношении индивидов, нарушивших установленный им порядок, какое-то иное право, кроме права лишить их всякой возможности причинять зло. В это право включается и смерть, но вовсе не труд. Человек может заслуживать утраты возможности пользоваться своими возможностями, но он может отчуждать их лишь намеренно. Это не просто теория, не имеющая реального применения, ибо если вы допустите, что человека можно принудить отказаться от своих возможностей, то неизбежно придете к системе рабства.

Кроме того, принуждение к труду как наказание является опасным примером. Огромное большинство представителей рода человеческого в наших современных обществах обречено зачастую на чрезмерный труд. Что может быть более неосторожным, более политически недальновидным, более оскорбительным, чем если мы представим этим людям труд как возмездие за преступление!

Если труд осужденных действительно является наказанием, если этот труд отличен от того, каким занимаются безвинные трудящиеся классы общества, одним словом, если такой труд превосходит человеческие силы, то он становится смертельной пыткой, более медленной и более мучительной, чем все прочие истязания. Между полуобнаженным узником, который по пояс в воде тянет корабли по Дунаю, и несчастным, гибнущим на эшафоте, я вижу лишь то различие, что мучения второго менее продолжительны.

Если осуждение на общественные работы и не является утонченной смертной казнью, то только по причине испорченности. В некоторых странах Германии осужденные, с которыми обходились бережно, которых лечили от болезней, свыклись со своей судьбой, находят удовольствие в своем позоре и, работая в своем рабском положении не более, чем бы они делали это, оставаясь на свободе, демонстрируют наблюдателю образец веселости в падении, счастья — в унижении, безопасности — в стыде. Какое же воздействие должна оказывать эта картина на сердце бедняка, чья невиновность может обеспечить ему лишь не менее наполненное трудами и не более устойчивое существование?

Наконец, бряцание кандалов, облачение каторжников, все эти символы преступления и наказания, повсеместно выставленные напоказ, для людей, еще носящих в себе какое-то чувство человеческого достоинства, являются наказанием более привычным и более мучительным, нежели для преступников. Общество не имеет права окружать нас постоянным напоминанием об извращенности и бесчестии.

Комментарии переводчика

[1] *Рудольф (II) Габсбургский* — в конце XIII в. в условиях политической раздробленности германские князья присвоили себе право избирать императора. В 1273 г. этим императором был избран Рудольф Габсбургский (1273—1291).

Густав I Ваза — был избран шведским королем (1525—1560) в 1525 г. в ходе восстания шведских крестьян против владычества Дании.

герцог Браганский — Жуан IV Браганский (1640—1656), положивший начало династии Браганса на португальском престоле, стал королем в результате восстания в Португалии против испанского владычества.

[2] *Хартия,* изданная Людовиком XVIII в 1814 г., представляла собой октроированную (объявленную королем, но не учрежденную народом) конституцию, в которой провозглашались основные права граждан: свобода личности, печати, совести, представительное правление в лице двух палат, ответственность министров, несменяемость судей и т.д.

[3] *Долгий парламент* (1640—1553) — парламент, созванный английским королем Карлом I Стюартом; этот парламент сумел ликвидировать органы английского абсолютизма и пошел на

разрыв с королем, что привело к гражданской войне 1642 г.; господствующие в нем пресвитериане вынесли решение о продаже огромных земельных владений сторонников короля.

[4] *Валерий Попликола* — согласно преданию, в 510—509 гг. до н.э. вместе с Луцием Юнием Брутом был консулом.

[5] *Конституция 1795 г.* во Франции была принята Конвентом и отличалась еще меньшей демократичностью, чем якобинская конституция 1793 г. Было отменено всеобщее избирательное право и введен имущественный ценз; законодательная власть должна была перейти к двум палатам: Совету старейшин и Совету пятисот. Исполнительная власть передавалась коллегии из пяти директоров — Директории, которая назначала министров.

[6] *Аристид* (ок. 540— ок. 467 до н.э.) — афинский политический деятель и полководец.

[7] *Полковник Прайд* — во время гражданской войны между пресвитерианами и индепендентами полковник Прайд, выражая волю армии, 6 декабря 1648 г. изгнал из парламента депутатов, враждебных армии и индепендентам («прайдова чистка»), а «очищенный» таким образом парламент назначил чрезвычайный трибунал для суда над королем Карлом I.

[8] *Коалиция Норта и Фокса* — вошла в историю под именем коалиционного министерства и была заключена между лордом Нортом и лордом Фоксом в качестве противовеса союзу Питта и Шельберна.

[9] *Неккер Жак* (1732—1804) — французский финансист, крупный банкир, в 1777—1781, 1788—1790 гг. возглавлял министерство финансов.

[10] *Гарнье Жермен, граф де* (1754—1821) — французский экономист, пэр Франции и государственный министр при Реставрации.

[11] *Конституция VIII года* — эта конституция, разработанная при участии Сийеса и принятая в 1800 г., была полной противоположностью конституциям 1791 и 1793 гг. Она формально сохраняла имя республики, и для ее принятия был произведен плебисцит, но это была лишь демократическая декорация, призванная скрыть сущность бюрократической монархии. В соответствии с этой конституцией законодательная власть была ослаблена и раздроблена на несколько институтов (Государственный совет, Трибунат, законодательное собрание, сенат), в действительности же все решалось первым консулом.

[12] *...указ о казни лорда Страффорда* — Страффорд Томас Уэтворт (1593—1641) — английский государственный деятель, защитник королевской власти, ближайший советник Карла I и член Тайного совета, в глазах общественности стал

олицетворением абсолютистской системы. Нижняя палата Долгого парламента обвинила его в государственной измене, но как ни искусно вел обвинение Джон Пим, глава парламентской оппозиции, доказательств такого обвинения не удалось собрать в достаточном количестве, и парламент вынужден был прибегнуть к исключительному закону, объявившему Страффорда вне защиты права. Король вынужден был уступить и под напором общественного мнения подписать указ о казни Страффорда.

[13] *Гастингс Уоррен* (1732—1818) — первый английский генерал-губернатор Индии, отличавшийся корыстолюбием и крайне жестоким отношением к местному населению. В 1785 г. под давлением вигов (Фокса, Шеридана, Берка и др.), боровшихся против монополии Ост-Индской компании, вышел в отставку, а в 1788 г. был предан суду палаты лордов по обвинению в злоупотреблениях, закончившемуся оправданием Гастингса.

[14] *Мелвил Джеймс, лорд* (1535—1617) — советник Марии Стюарт.

[15] *Норт,* лорд — английский министр при Георге III.

Уилкс Джон (1727—1797) — английский публицист и политический деятель, депутат английского парламента. В 1763 г. опубликовал статью, содержащую резкую критику королевской речи при закрытии парламента, за что был выведен из членов парламента и приговорен к тюремному заключению. Дело Уилкса явилось толчком к народным волнениям с выражением протеста в адрес парламента.

[16] *Жерандо Жозеф Мари, барон де* (1772—1842) — французский философ-эрудит. принадлежащий школе Кондильяка.

[17] *Песни Оссиана* — Оссиан (Ойсин) — легендарный герой кельтского народного эпоса, по преданию живший в III в. С его именем связан ряд сказаний, воспевавших подвиги Финна и его сыновей Фергюса и Ойсина. В 1762—1765 гг. шотландский поэт Дж.Макферсон издал поэмы Оссиана в своей редакции; это издание, пользовавшееся в свое время большим успехом, оказало большое влияние на становление романтизма.

[18] *«Система природы»* — Констан имеет в виду работу Гольбаха (1770), в которой философ дает материалистическое истолкование природы, а нравственность определяет как предрассудок, привычку или инстинкт; моральные отношения, по его мнению, возникают как следствие общественных отношений, в которые вступают люди в ходе их совместной жизни. В основе этических воззрений Гольбаха лежала тео-

рия пользы или интереса, а факт наличия зла в этом мире он объяснял полным отсутствием божественного провидения.

[19] *Иосиф II* (1765—1790)— император Австрии (1780—1790), который, проникнувшись идеями Просвещения, хотел установить свободу совести в Астрии. По его словам, «веротерпимость рождена благородным просвещением, которое озарило Европу. Она ясно доказывает, что ум человеческий идет вперед, смело пролагая себе путь через царство суеверия. К счастью для человечества, на этот путь вступили и государи». Иосиф отменил притеснения протестантов, православных и иудеев, пытался умерить влияние католического духовенства на светскую жизнь, закрыл большую часть католических монастырей, обратив их доходы на пользу благотворительных и просветительских учреждений.

[20] *Клермон-Тоннер Станислав, граф де* (1757—1792) — депутат Национального собрания, один из лидеров конституционной партии, выражавшей интересы либерально настроенного дворянства.

[21] *Де Шуазель, герцог Амбуаз, маркиз де Стенвиль* — потомок знатных дворян, игравших видную роль при королевском дворе в XVIII веке.

[22] *«Монархия в соответствии с хартией»* — написанная в 1816 г. работа Шатобриана, в которой он развивал идею о том, что восстановлению принципа свободы должна способствовать реставрация монархической власти во Франции, пришедшая на смену якобинской республике, чьим принципом было равенство, и империи, чьим принципом выступала сила. Его идеалом была конституционная монархия, опирающаяся на представительную систему и демократические свободы.

[23] *Монлозье Франсуа Доминик, граф де* (1755—1838) — французский писатель и мыслитель, прославившийся своими сочинениями против иезуитов в газете «Драпо блан». В своей работе «Справочные записки», отметив влияние «поповской партии» на правительство, Монлозье требовал закона против вмешательства духовенства в действия светских властей.

[24] *Мирабо Виктор Рикети, маркиз* (1715—1789) — французский экономист, видный представитель школы физиократов, именовавшийся Другом Людей по названию своей работы; отец графа Оноре Габриеля Мирабо (1749—1791), видного деятеля Великой французской революции.

[26] *Коллатин Луций Тарквиний* — внук Тарквиния Древнего, вместе с Брутом был одним из первых консулов Рима.

Франсуа ГИЗО

О СРЕДСТВАХ ПРАВЛЕНИЯ И ОППОЗИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

В 1820 г. власть изменила свою систему и состояние. С этого времени она так или иначе пытается обойти и свое состояние, и эту систему, не изменяя ни того, ни другого. Это общий факт, характеризующий теперь наше политическое положение, и я попытался отыскать тому доказательства, выявить причины и следствия этого явления.

Франция пребывает в спокойствии; власть не встречает никаких препятствий на своем пути. Но Франция утратила веру, а власть лишена силы. Двоякий этот результат заслуживает изучения.

Цель и закон всякого правления — как в интересах собственно правления, так и в интересах народов — безопасность настоящего, подготавливающая и гарантирующая безопасность будущего. Но если дело обстоит иначе, то правление безусловно заблуждается; и тот же порок, что делает спокойствие бесплодным, способен сделать его также и обманчивым.

Я полагаю, что именно это и происходит у нас сегодня. И ошибка здесь — по крайней мере, я так думаю — заключена в системе правления. Когда правление приняло эту систему, оно полагало, что поступило так под давлением необходимости. Оно предвидело коренящуюся в системе опасность, но, в его глазах, необходимость существует всегда. Я собираюсь доказать, что необходимости, как ее мыслит себе правительство, вовсе не существует и что грозящая опасность куда более серьезна, чем предполагает то же правительство.

В 1820 г., пытаясь отчетливо сформулировать мучивший нас вопрос, я изложил его следующим обра-

зом: «Речь идет о сохранении законного престола и основании конституционного порядка; каким образом можно достичь этой цели: при помощи максим, практики и методов старого порядка или же руководствуясь принципами и союзами новой Франции?» С тех пор суть вопроса не изменилась. Да и я не изменил своего мнения. Однако ситуация развивалась; новый, более яркий свет пролился на факты. И я написал эту книгу с тем, чтобы обсудить поставленный вопрос во всей его полноте, чтобы как можно более широко изложить и доказать мое мнение, которое я уже высказывал ранее. Осмелюсь утверждать: я исхожу из прежних принципов, из прежних намерений. И в то же время это совсем иная работа, написанная в иной форме. Вы это увидите.

Добавлю лишь несколько слов. Я изложил в этом труде почти все, что я думаю о современной системе власти, о подлинных принципах управления нашей славной и прекрасной родиной. И пока ситуация будет оставаться неизменной, у меня, по всей вероятности, не будет больше оснований возвращаться к этому вопросу. Быть может, в другой раз я выскажусь о природе и принципах конституционного правления, о более общих вопросах и насущных интересах, хотя решение этих вопросов будет чуждо действующей политике, задействованным в ней людям и сиюминутному положению дел. Франция уже вступила на стезю свободы. Ее поступь можно замедлить, но приостановить ее мысль нельзя. Разумом мы будем стремиться к будущему, в котором нам отказывает наше правительство, поскольку, как бы то ни было, это будущее принадлежит нам.

Париж, 22 октября 1821 г.

Глава первая
ДВОЙСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Сегодня перед нами два явления, в равной степени непрочные и в равной степени вызывающие опасения за их будущее, — власть и свобода.

Откуда проистекает эта болезнь? Не имеет ли она своей причиной вечную проблему человеческих обществ — проблему примирения власти и свободы?

Дай Бог, чтобы нам нужно было решать только эту проблему! Но дел у нас гораздо больше. Над нами довлеют две противоречащие друг другу потребности, и именно их одновременное существование повергает нашу страну в беспокойство и сбивает с пути лучших ее граждан.

Когда иудеи под предводительством Иуды Маккавея возвратились в Иерусалим, они нашли там разрушенные стены, сожженные до пепла дома, полное запустение и хаос. Город предстояло полностью восстанавливать, но у ворот стоял враг. Город нужно было одновременно отстраивать заново и защищать; народ нес на себе тяготы войны и вместе с тем тяжкое бремя мирного строительства, он был вынужден постоянно менять мастерок штукатура на меч, чередуя борьбу и трудовые будни.

Аналогичная задача стоит и перед нами. Мы должны построить конституционный строй и наряду с этим разрушить старый порядок. Именно здесь завязка всей ситуации.

Революция разрушила правление старого порядка, но она не создала своего собственного правления. Подлинное правление революции — это система институтов и влияний, которые бы на всех уровнях общественного порядка могли гарантировать конституционное равенство и равную для всех свободу, повсеместно подчиняя власти общие интересы и делая их способными защитить самих себя от всяческих нападок. Но нам совершенно ясно, что подобного правления, подобной уравновешенной и сильной системы организации новой Франции не существует. Революция еще, так сказать, лишена опоры, основания; она открыта со всех сторон, не имеет никаких границ и барьеров; провозглашенные ею принципы не переросли в практические институты, в действенные законы; порожденные ею интересы еще беззащитны и не скреплены меж собою. Взгляните на сторонников партии, противостоящей революции: разве вы не найдете среди них и в огромном количестве буржуа, стяжате-

лей национальных благ, массу людей, чьи интересы и намерения служат совсем иному делу? В чем причина такого хаоса? Что породило такое расстройство совершенно естественных ситуаций? Революционная Франция не обрела еще своей основы и организации; в ней еще царят неуверенность и смятение; добро и зло, истина и ложь, элементы порядка и семена анархии еще перемешаны в ней по воле случая; наконец, она не способна предложить всем принадлежащим ей по праву интересам совершенного и взвешенного порядка вещей, некоторые из этих интересов отделяются от нее и ищут в иных сферах, даже с риском погибнуть, то, что не может дать им революция.

Если вам не достаточно этого доказательства, могу предложить еще и другое. Франция теперь имеет выборную систему, палаты, все наиболее значимые механизмы политической машины, как ее представляла себе революция; у нее есть административная система и система правовая, как их создала революция; ее кодексы, ее мельчайшие институты не претерпели ни малейшего изменения; скажу больше: наверняка большинство из тех людей, кто нынче состязается в ведении государственных дел, имело отношение к государственной службе и в период революции. И тем не менее утверждения, альянсы, язык, вся система современной администрации никак не согласуются с потребностями и стремлениями Франции, каковой ее создала революция; вся система правления, оставленная нам революцией, оказалась в руках противников последней и с легкостью была обращена против нее самой.

Конечно же, я не считаю, что революции было уготовано самой судьбой остаться без внутренней четкой организации, без прочной опоры, всегда доступной любому желающему. Тем не менее именно таково ее нынешнее состояние. Повторяю: спустя двадцать пять лет мучительных усилий революция хотя и передала нам по наследству победу над старым порядком, но не дала упорядоченного правления, которое должно было бы ее завершить и гарантировать ее успех. Систему этого правления еще предстоит создать; и это — первейшая и самая насущная из наших потребностей.

Хартия 1814 г. дала Франции общие формы правления и высшую власть. Но в тот же момент на политической арене возникла контрреволюция, и, обретя свою конституционную систему, Франция оказалась вновь вовлечена в революционную ситуацию. Отсюда — вторая настоятельная, неотложная потребность, часто вступающая в противоречие с той потребностью, о которой я говорил выше. Попытаюсь объяснить эту ситуацию.

Создание правительства, прочных оснований институтов и тенденций, которые должны управлять обновленным обществом, есть дело кропотливое, сложное, которое может быть осуществлено только при условии теснейшего союза власти и граждан. И власть здесь в самом деле является деятельным практическим средством. Именно в своем согласии с общими интересами черпает она свою силу; и именно благодаря силе власти общие интересы образуют подходящую для них систему. Это не гипотеза — соответствующие факты имели место на наших глазах. Так действовало консульское правительство, которое первым дало революционной Франции состояние и облик подлинного общества. В ту пору было создано правление, без сомнения, очень несовершенное и плохо отвечающее потребностям Франции на длительную перспективу, но оно было таким, каким того требовали сиюминутные потребности. Это правление было порождено общими интересами, сгруппированными вокруг власти, оказывавшими на нее давление своими волеизъявлениями, помогающими ей всеми средствами своего влияния и в полной мере испытывавшими все последствия действий власти. Ни в какой другой стране, ни в какое другое время становление нового порядка не происходит иным путем.

Но для достижения этой цели совершенно необходимо, чтобы общество, эту цель преследующее, пребывало бы в мире с самим собою, т.е. чтобы господствующие в нем интересы, чье спокойствие не нарушается никакими внешними факторами, испытывали бы единственно потребность в самоурегулировании и самоконституировании изнутри. Чтобы мирно предаваться своим делам, нужно быть абсолютно спокой-

ным за свою жизнь; чтобы заниматься наведением порядка в обществе, нужно пребывать и полагать себя в полной безопасности. Первым условием создания нового правления после долгих неурядиц является, таким образом, политический мир в обществе, т.е. отказ слабых от своих претензий на прошлое, безопасность сильных в настоящем и перед лицом будущего.

Таковой могла бы быть и ситуация во Франции в 1814 г. после провозглашения Хартии[1], если бы во Франции не существовало контрреволюционной партии. После первых промахов, первых ошибок, неизбежных при формировании столь нового режима, французы не замедлили бы признать, что для создания фундамента свободы необходимо конституционное правление; они почувствовали бы, что яростные декламации, чрезмерные амбиции, дух враждебности — все эти орудия разрушения и нападения — несвоевременны. Они бы поняли, что революция, хозяйствующая в стране, не имела другой более срочной задачи, чем возведение своего собственного здания, в которое следует поместить в качестве органа и руководителя этой революции сильную власть, конституированную в соответствии с принципами последней.

Но пробуждение контрреволюции помешало мирному слиянию общих интересов Франции и погубило в зародыше развитие общественного здравого смысла. Революционной Франции предстояло заняться размеренной и кропотливой работой; но взявшийся за оружие старый порядок отбросил страну на путь хаоса, насилия и мрака.

Я уже упоминал в другом месте, что наша история с 1789 по 1800 г. была историей войны. Сам этот факт не подлежит сомнению независимо от того, была эта война легитимной или нет. Вне зависимости от наших правовых воззрений совершенно очевидно, что в тот период новая Франция и старый порядок рассматривались и воспринимались как враждебные друг другу. При Бонапарте старый порядок был счастлив получить передышку. В 1814 г. он возобновил войну, считая себя в состоянии одержать победу.

Я настаиваю на той мысли, что мы имеем дело с войной и что война эта продолжается до сих пор. Мне

не хотелось бы, чтобы моим словам придавался смысл, который я в них не вкладываю, равно как и чтобы игнорировалось то значение, которое я им придаю. Остановлюсь на этот моменте подробнее.

Если революции не удалось еще создать правление, которое соответствовало бы порожденному ею обществу, ей, по крайней мере, удалось утвердить самое это общество, к которому правление старого порядка не способно приноровиться. Уже один этот факт — факт существования новой Франции — ставит на пути старого порядка самые трудные препятствия. Сделанного революцией недостаточно для нее самой, но этого достаточно для того, чтобы старый порядок не имел ни малейшего шанса на победу, если он не разрушит уже сотворенного. Несовершенные институты, в которых революция еще так плохо укоренилась и не имеет прочной защиты, наполняют тем не менее землю Франции. Старый порядок должен подвергнуть их нападению и разрушить; он должен вернуть к жизни старые принципы, полностью разрушенные Конституционным собранием и Конвентом, обратить их в законы, в практику управления, в общественные отношения, в умы людей. К этой потребности общего порядка добавляется также и потребность удовлетворить личные ущемленные корыстные интересы. Что толку выхватывать обрывки старого порядка, если это не может быть обращено на пользу людям, столь пострадавшим от падения этого строя? Мне знакомы люди, которые предаются мечтам о бескорыстной контрреволюции и возвращении былых привилегий при условии, что бывшие привилегированные слои получат лишь удовольствие от самого факта присутствия при событии. Но партии не возникают просто так, на ровном месте, и предлагать им в качестве трофея одни лишь моральные радости от одержанной победы означает насмехаться над ними. Людей старого порядка революция лишила власти, поэтому власть и должна быть им возвращена; погибло их состояние — это состояние должно снова вернуться к ним. А поскольку власть, авторитет, все социальные преимущества не существуют вне их обладателей, то все это нужно отнять у их нынешних обладателей и вернуть в руки тех, кто их утратил.

И вот я спрашиваю: что это, как не война — одна из тех внутренних войн, что потрясают общество до основания даже тогда, когда они уже перестали волновать его поверхность? Чем была в Англии борьба между католиками и реформаторами даже тогда, когда уже никто не сражался? Боссюэ[2] с сожалением улыбнулся бы, если бы ему сказали, что войны здесь никакой не было вовсе.

Итак, вот вам вторая необходимость, нависшая над новой Францией. Страна испытывает потребность в урегулировании своих дел, в самоконституировании, в создании своего правления, и одновременно она должна отразить врага, стремящегося захватить ее землю и принадлежащие ей средства, чтобы возвести на этой земле свое собственное здание, чтобы перестроить Францию на свой манер, в соответствии с иными принципами и в иных интересах.

Подобно иудеям мы должны одновременно обустраиваться и защищаться; мы испытываем потребность в войне и мире.

Кто же не видит, что обе эти потребности пребывают в противоречии и составляют препятствие одна для другой? Взгляните на факты — они прекрасно это доказывают.

Вот вам первый пример. Речь идет о том, чтобы наделить Францию одной из великих общественных свобод, например, свободой печати. Я исхожу из предположения, что эта свобода полностью восстановлена и обладает достаточными гарантиями. Сущностью конституционных свобод является то, что они принадлежат одновременно всем, и свобода печати в равной степени принадлежит партии старого порядка, как и всем прочим. Эта партия завладевает свободой печати, переходит в наступление, ибо ей предстоит одержать на этом фронте решительные победы; она не лишена ни таланта, ни отваги. Очень скоро мы начинаем удивляться, что свобода печати является орудием в руках наших бывших противников; они пользуются ею, они даже превозносят ее; но в самом использовании свободы печати партией старого порядка конституционная Франция начинает ощущать нечто враждебное и странное, что приводит ее в возмущение и по-

вергает в ужас. Яростным нападкам подвергается не только администрация; в руках этой партии печать служит и иному делу, нежели критика власти. Удары направляются против самого общества, его принципов, его организации, главных тенденций его развития; на двадцать пятом году своего существования новая Франция становится объектом оскорблений, угроз, испытывает постоянный натиск в том направлении, которым хотят завладеть противники. Война порождает войну; угроза опасности одних провоцирует на насилие, у других вызывает трепет; новая Франция приходит в волнение и разделяется. Недоверчивые умы возмущаются, люди робкие и застенчивые испытывают страх: первые, также используя свободу печати, с яростью обращают ее против своих недругов; вторые же испытывают разочарование в этой свободе и приписывают именно ей ответственность за те беспорядки, что царят вокруг них. И вот очень скоро мы имеем лишь борющихся гладиаторов и наблюдающих за ними зрителей, исполненных ужаса. Свобода, призванная быть и дарованная в качестве гарантии против власти, предстает лишь как наводящее трепет орудие в борьбе за существование самого общества. Множество мирных граждан, людей, чуждых каким бы то ни было партиям, начинают сомневаться в пользе, приносимой этой свободой, и вообще в возможности осуществления последней. И, поспешу заметить, любой значительный институт, становящийся в глазах мирных граждан, чуждых каким бы то ни было партиям, объектом сомнения или страха, только в силу одного этого оказывается искаженным и скомпрометированным, ведь подлинной целью любого из таких институтов является всеобщая безопасность.

Все сказанное мною относительно свободы печати можно сказать и о прочих наших свободах. Самой настоятельной нашей задачей является создание этих свобод, ведь они представляются гарантиями революции; но будучи только основанными, они превращаются одновременно в орудие наших врагов; эти свободы предназначены для защиты граждан от злоупотреблений власти, но их самих нужно защищать против нападок старого порядка; и, вводя в действие Хартию, мы

должны помешать тому, чтобы самое ее осуществление не обернулось для нее смертельной опасностью.

Здесь кроется великая трудность, и состоит она в том, что нам предстоит создать законный порядок и режим мирного существования в недрах военного положения, безраздельно используя любое из оружий свободы.

Посмотрим на вопрос под другим углом зрения: от установления свободы перейдем к установлению власти. Задача власти огромна; для ее выполнения власти нужны силы, и она должна найти их в институтах, в законах, в расположении общества по отношению к власти. Спорьте, торгуйтесь, неважно, — так или иначе власть должна быть вооружена и поддержана. Но что такое власть? Когда она была назначена, никто ничего об этом не говорил; ее нельзя определить одним словом. Кому она принадлежит сегодня? в чьих руках будет она завтра? Все зависит от этого, ведь власть — это тот, кто ею обладает и кому судьбой уготовано ее удержать. Вы наделите власть вообще — из уважения к теории — силами, необходимыми ей для осуществления наиболее общих потребностей ее существования? Но мы никогда не сможем этого увидеть в действительности, ведь в нашем мире, где человеческой мудрости предстоит слишком много дел, чтобы удовлетворить реальные сиюминутные потребности, это представляется абсолютно безумной затеей. Любой человек, имеющий хоть каплю здравого смысла, прежде чем переходить к решительному основанию власти, задастся вопросом о том, действует ли эта власть ему во благо или она ему угрожает, гарантирует ли она ему существование или, напротив, подрывает его. И если только вместо того, чтобы даровать успокоение, власть повергает его в тревогу или если человек видит, что власть ежесекундно может быть захвачена врагом, то он станет по отношению к власти трудновосприимчивым и скупым; со всей скаредностью будет он отмерять ту помощь, что власть требует от него. Очень скоро либо по расчету, либо инстинктивно, но всегда следуя неумолимому ходу событий, такой человек будет игнорировать наиболее законные потребности власти, откажет ей в необходимой поддержке и в

конце концов, быть может, начнет трудиться над ее разрушением.

Что же происходит, если эта болезнь поражает общество как раз в тот момент, когда свобода только зарождается и когда власть — такое же дитя, как и свобода, — не обладает еще ни свойственными конституционной системе средствами воздействия, ни упорядоченным влиянием, чтобы управлять свободным народом?

Не побоюсь сказать, что именно таковым представляется мне нынешнее состояние власти во Франции. И когда речь идет о проведении в жизнь принципов свободы, те же самые явления приводят в трепет иных добропорядочных граждан, а другим внушают ужас, когда речь заходит о конституировании власти. И те и другие озабочены состоянием войны, в котором мы пребываем; и те и другие постоянно имеют перед глазами пример борющихся группировок, всегда готовых захватить власть в свои руки и использовать исключительно в своих интересах такое оружие власти, каковым является свобода. Правительство не восстает беспрестанно против анархических идей, против силы либеральных притязаний и того духа хаоса, что пытается разложить самое общество путем уничтожения власти. Позднее я скажу, что означают, по моему мнению, эти жалобы. Но на самом деле если бы власти предстояло иметь дело только с дурными теориями, то нам бы пришлось сегодня беспокоиться отнюдь не о ней. Мы вышли из имперского режима с настолько жгучим и возвышенным стремлением к свободе, мы настолько уже освободились от воспоминаний об анархии и привычки к покорности, что правительство уже не может сомневаться и видеть в нас непокорных слепцов, когда речь идет об определении его роли. Трудность, таким образом, заключается в другом. Она состоит в том тайном инстинкте, который повергает в страх граждан, заставляя их бояться не власти, но партии, в чьих руках эта власть может оказаться. Во всяком случае, этот инстинкт довлеет над умами и понуждает их упускать из виду вопрос о праве, интересы политической организации и сосредотачивать внимание на фактах, на случайных интересах, сформировавшихся под

воздействием тех или иных обстоятельств. В такой ситуации все приходит в смешение и выявляется довольно своеобразный феномен. Со всех сторон мы слышим о намерениях создания конституционного порядка, т.е. о регулировании власти и свободы на основе принципов Хартии; но в то же время мы видим государственных мужей, наперегонки спешащих ослабить или уничтожить еще не существующие кто — свободу, а кто — власть. Иным свобода кажется слишком большой, ибо они содрогаются при мысли, что если она одержит верх, то мятежные группировки используют ее и приберут к рукам. Иным власть кажется чересчур сильной, так как они боятся, что коль скоро такая власть установится, то ею воспользуется противник. Это и порождает столкновение страхов, идентичных по своему источнику, но разнящихся по своим последствиям. Именно из этого всеми ощущаемого обстоятельства и вытекает то, что мы должны одновременно строить наше правление и вести войну.

Именно из этой двойственной потребности, составляющей суть нашей сегодняшней ситуации, и вытекают все затруднения. Именно в этом и состоит господствующий и непреложный факт, которому должна удовлетворять наша политика. Если она игнорирует его, если она не способна, с одной стороны, организовать конституционное правительство, а с другой стороны, полностью вывести из игры партию старого порядка, то такая политика ложна и губительна. И тогда, в ожидании более мрачных времен, мы будем бесконечно переживать то зло, что нас сегодня постигло; мы постоянно будем колебаться между лживым миром и вероломной войной; мы не будем ни управляемы, ни свободны, ибо исполненный надежд старый порядок будет жить среди нас, подобно разлагающейся закваске, он будет влиять на наши суждения, будоражить наши действия, он обречет нас на пользование немощной свободой, барахтающейся в руках неустойчивой власти.

Такова судьба, которую нам уготовило сегодняшнее правительство Франции, и оно вынуждает нас пребывать в таком положении, так как ее политика не удовлетворяет ни одной из двух потребностей, о которых я

упоминал. Да что я говорю? Она не только не удовлетворяет им, она закрывает на них глаза и борется с ними. Разрушение старого порядка, создание конституционного порядка — такова наша задача; правительство же ставит перед собой обратную задачу — оно пытается помешать поражению старого порядка и препятствует становлению конституционного режима. Под этим двойственным углом зрения я собираюсь рассмотреть используемые нашим правительством средства правления, установить, что они находятся в прямом противоречии с задачами нашего положения, и в то же время исследовать средства, которые были бы одновременно более законными и более действенными. Поэтому я должен прежде всего определить нашу систему правления и отчетливо представить ее характер.

Глава вторая
О НЫНЕШНЕЙ СИСТЕМЕ ПРАВЛЕНИЯ

Когда политика слаба и мелка, о ней трудно говорить, ибо применяемые к ней выражения зачастую бывают слишком сильными. Я испытываю подобную же трудность.

Бонапарт попытался основать деспотизм по признанию и в пользу революции. Современное правительство пытается удержать осколки имперского правления при помощи старого режима и в его пользу. В этом — вся его система.

Без сомнения, посыплются возражения. Как можно узреть деспотизм там, где нет деспота? ведь при конституционном режиме король никогда не был деспотом; и уж наверняка никто из членов нашего правительства не претендует на это. И тем не менее я настаиваю на своей точке зрения.

Не моя вина в том, что в нашем языке не существует столь нечетких понятий, имеющих столь узкое значение и такой неполный смысл, чтобы выразить со всей точностью, без объяснений и перифразов политику кабинета министров. Я склоняюсь к тому, что слова *старый порядок, контрреволюция, деспотизм* не отража-

ют со всей полнотой истинного положения дел; вытекающие из них идеи слишком очевидны. Но факты не перестают существовать от того, что нам не хватает слов, чтобы их описать. Я все-таки попытаюсь это сделать.

В 1820 г. власть впала в состояние тревоги. Испытывала страх также и партия старого порядка. Они заключили между собой союз. Как только союз был заключен, обе эти силы начали испытывать страх друг перед другом. Власть опасалась, как бы партия старого порядка ее не скомпрометировала, последняя же сомневалась, что власть действительно захочет ей служить. И для той и для другой стороны объединяющая их связь выступала союзом не по выбору, но по необходимости. И вот, начиная с этого момента, эта необходимость постоянно довлеет над обеими силами. Их взаимоотношения носили разнообразный и неспокойный характер. Контрреволюция проникла в правительство, чтобы через несколько месяцев покинуть его. Ришелье и де Виллель[3], представляющие правых и центр, поочередно сближались и отдалялись друг от друга. Но ситуация не изменялась. Эти мелкие перемены привлекали к себе внимание лишь отдельных личностей. По сути, правительство боялось контрреволюции, которую рассматривало как безрассудную, контрреволюция же остерегалась правительства, которое считала неустойчивым. Тем не менее они вынуждены были идти рука об руку, ибо считали, что пропадут друг без друга, что, разделившись, вновь окажутся в тревожном состоянии, подтолкнувшем их к объединению.

Как выйти из создавшегося положения? В какой мере система правления будет удовлетворять потребности союзников, которые не могут ни разделиться, ни пребывать в согласии в отношении поставленной цели? Наибольшая опасность миновала; избирательный закон, породивший общие тревоги, был побежден. Теперь нужно было управлять, т.е. составлять законы, уравновешивать разнообразные силы, наконец, продвигаться к будущему; все эти моменты предполагают движение, а движение требует управления. Это также выступало в качестве необходимости.

Разрешение сложившейся ситуации нынешнему правительству оказалось не по плечу. Для такого, каковым оно выступает, невозможен никакой прогресс, любое движение вперед для него губительно. Оно обречено оставаться в неподвижности. Оно оказалось в тупике — и попробуйте найти здесь иное выражение!

Правительство не желает выходить из тупика, и я его понимаю; оно видит смысл власти только в передаче партии контрреволюции всей Франции и короля. Возможно, эта партия способна продвигаться вперед в одиночку; у нее есть принципы, которые могут взять верх, интересы, которые следует удовлетворить, силы, которые можно использовать, т.е будущее, к которому следует стремиться, со всеми его опасностями и тяготами. Не сомневайтесь: правительство само осведомлено о той опасности, которую несет в себе передача дел партии старого порядка. Ведь министры правительства жили в союзе с этой партией, они все видели собственными глазами и могли соизмерить натиск контрреволюционных амбиций, почувствовать все безумие их чаяний, всю суетность их намерений. И несмотря на существующие разногласия среди членов этого правительства, даже если никто из них не испытывает ни малейшего личного интереса, ни малейшей склонности к отправлению власти, я уверен, что каждый из них содрогается при мысли о том, что может навечно оказаться в руках своего рокового союзника.

Итак, мы имеем правительство перед лицом мучительнейшей из альтернатив. Используя свой способ правления, оно не способно существовать без союза со старым порядком, но в союзе с ним оно не может продвигаться вперед. Оно должно либо застыть и поддерживать в неподвижности все вокруг себя, либо оно должно уйти, освободив место... революции.

Совершенно очевидно, что правительство должно было испытать путь иммобилизации; политика неподвижности оставалась единственным его выбором. Она стала политикой нашего правительства. И вот каким образом оно попыталось справиться с этой досадной необходимостью, т.е. удержаться, не продвигаясь вперед.

Об этом много говорили: покидая Францию, Бонапарт не унес с собой своего правления; он оставил богатый арсенал законов, инструментов, средств сильной власти. Какое это искушение для людей, для которых закрыта любая прогрессивная система правления, которые не умеют, да и не могут двигаться вперед! Именно к подобной ситуации имперская машина управления подходит наилучшим образом; именно для такой ситуации она и предназначена. Политика деспотизма по своей сути неподвижна, и все величие своего творчества Бонапарт обратил на то, чтобы задержать продвижение Франции по пути к свободе. Я еще могу согласиться, что такая задержка необходима на восьмом году революции; возможно, что обществу, социальные связи которого оказались ослаблены революцией, нужно было остановиться, чтобы заняться реконструкцией. Но я не обсуждаю сейчас прошлое, меня занимает одно только настоящее. Таким образом, я обнаруживаю тот факт, что приостановка политического развития, неподвижность является одновременно как необходимостью, доминирующей в ситуации с правительством, так и характернейшей чертой имперской системы. И поскольку ничего другого мне не ведомо, то я, вероятно, имею все основания утверждать, что правительство попытается приспособить столь хорошо налаженную систему к своему положению. Позднее мы увидим, что доказательств тому предостаточно. А пока что я ограничиваюсь лишь указанием самого факта.

Я уже слышу голоса людей, отрицающих это и испытывающих в том настоятельную потребность. Они противопоставляют моим утверждениям Хартию, существование палат и дебаты в них. Можно ли сказать, что у нас одерживает верх имперская система, раз мы имеем представительное правление?

По правде говоря, эти люди имеют о представительном правлении слишком высокое мнение. Несомненно, это правление представляется им чем-то вроде летнего солнышка, которое, только поднявшись над горизонтом, тут же изгоняет ночь и наполняет мир своим светом. Как никто другой я почитаю Хартию, но не настолько верю в ее силу.

Прежде всего, не является ли подлинной насмешкой утверждать, что Хартия не умерла, если мы все время плачемся, что она совершенно бесплодна? Убить Хартию, вырвать ее из наших сердец, лишить нас самого ее существования! Нет, конечно, наши министры этого не делали; они о том и не помышляли. Подобное деяние потребовало бы более возвышенных умов и более грязных рук. Деспотизм во всей грубости своей натуры, под своим собственным именем и с поднятым забралом доступен далеко не всем. Сам Бонапарт не так уж долго был в состоянии справляться с ним, а ведь Бонапарт был сильным человеком, способным завладеть воображением народов, вобрать в себя их энергию, он возбуждал их силу, ошеломлял их своей славой и для того, чтобы править Францией в качестве полновластного хозяина, бросил к ее ногам всю Европу. Вот какова цена деспотизма; но даже заплатив столь высокую цену, деспотизм имеет всего несколько лет жизни. Пользуйтесь же им, если сможете заплатить; в противном случае не поднимайте, дабы ободрить нас, орудия того зла, которое причинить не в ваших силах. Да, конечно, Хартия продолжает существовать, представительное правление не исчезло; но в то же время политика нашего правительства не следует Хартии; его правление являет собой лишь тайный и робкий макиавеллизм, рядящийся не без помощи старого порядка в ризы представительной системы.

Ведь эта система не обладает той магией, что делает ее недоступной для зла, постоянно связывая существование представительства с разумом и свободой. Ни один из человеческих институтов не может претендовать на подобное. Конституционные формы превосходны в том смысле, что рано или поздно они подводят к триумфу истины; но в то же время они не обладают привилегией опережать время или освобождать себя от работы. Тем временем они могут предаться самой ложной политике, позволить склонить себя к самому дурному употреблению.

Будучи вынуждено терпеливо принимать представительное правление, наше правительство пытается его испортить. Оно без устали трудится над тем, чтобы создать в рамках представительной системы большин-

ство, которое бы было, подобно самому правительству, преданным лишенной жизни и цели неподвижной системе, являющей собой закон нашего нынешнего положения. И вот где правительство черпает элементы такой системы.

Совершенно невозможно, чтобы после революции, подобной нашей, даже среди людей, желавших этой революции и воспользовавшихся ее плодами, страх не превратился бы во всемогущее и широко распространенное чувство. Либералы об этом совершенно забыли. Если бы наиболее упорные из них вменили себе в обязанность по меньшей мере перечитывать каждое утро по нескольку страниц, где описаны памятные моменты нашей истории с 1792 по 1800 г., они бы поняли тот слепой ужас, что охватывает стольких честных людей при малейшем упоминании, малейших симптомах, которые заставляют их мысль возвращаться к тем временам. Ничто не бывает столь же прекрасным и значительным, как свобода. Но как можно требовать от людей, чтобы они связывали с ней свою судьбу, если они еще не познали приносимые ею плоды, а их предвидение результатов от действия известных принципов наталкивается на факты, переполняющие их память? Миром правит опыт, а опыт смутен и неотчетлив в голове каждого человека; опыт воспринимает все прошлое целиком и не имеет ни возможности, ни силы выявить подлинный смысл каждого из элементов этого прошлого, соотнести каждое следствие с его причиной. Даже признавая подобный способ рассуждения совершенно неправомерным, любая хорошая политика должна видеть в нем факт, с которым обязательно нужно считаться, ибо его невозможно вдруг разрушить. Правительство завладевает этим фактом; в революционной Франции оно использует страх, еще внушаемый революцией. Но основное свойство страха состоит в том, что он повергает в неподвижность, он стремится все сковать, все остановить — и время, и мир, и жизнь. Какая удача, что власть, сама напуганная необходимостью движения, получает в руки подобное орудие! В 1820 г. страх стал первейшей опорой нашего кабинета министров; он явился тем приданым,

которое правительство принесло партии старого порядка, объединяясь с ней.

Когда стали выявляться все опасности подобного союза, когда партия вменила в обязанность своим представителям в совете непременное требование получать больше, нежели было обещано, когда правительство признало, что неподвижность есть единственный выход, который ему еще оставался, оно бросилось искать новые опоры для своей слабости, новые инструменты бездействия. В свою очередь даже после отставки де Виллеля и Корбьера[4] старый порядок предоставляет правительству возможности, которыми то спешит воспользоваться.

Как бы вызывающе эта партия ни выглядела, она совершенно лишена уверенности в себе. Она вынесла слишком много бурь, чтобы не испытывать усталости, она слишком часто терпела поражение, чтобы сохранить сильную веру в самое себя. В глубине она ощущает собственную слабость и испытывает страх перед будущим. Вопреки господствующему в ней ослеплению, вопреки встречающимся в ее рядах упорству и отваге, ей ведомо политическое малодушие и не чужды уныние и упадок духа. У контрреволюции слишком много друзей, уставших претерпевать за нее страдания, в достаточной степени склонных довольствоваться отдаленными и мелкими успехами, находясь под крылышком благожелательной власти. Такие люди в той или иной степени нашли свое правительство. Конечно, вместе с де Виллелем и Корбьером оно их больше устраивало, но они надеялись на их возвращение или на какую-то иную, еще лучшую комбинацию. Тем временем нынешнее правительство продолжает провозглашать себя их союзником; оно является для них источником тех утех честолюбия и вкуса победы, которых те долгое время были лишены; оно осыпает их своими ежедневными милостями, своими мелкими воздаяниями — разменной монетой, которой власть обычно оплачивает оказываемые ей незначительные услуги; оно надоедливо кичится их любимыми максимами и всегда по любому поводу говорит теми словами, которые угодны им. Впрочем, сторонники партии старого порядка не имеют прочно сложившихся и

строгих принципов или политических чувств; старый порядок не создал ни одной из тех отчетливых форм, ни одного из тех великих и светлых институтов, которые даже после своего падения остаются в памяти людей и внушают им властную потребность вспоминать о них в дни побед; то был смутный, обесцвеченный, смешанный порядок, не оставивший ни одного сколько-нибудь определенного объединяющего момента. Многие члены партии старого порядка неплохо приспособились к имперскому режиму. Да и к чему бы им восставать против него, если нынче он представляется им в виде, более соответствующем их воспоминаниям, — с одной стороны, он более мягок, менее тяготен, в меньшей степени противоречит общественному благополучию, а с другой — он требует от них меньше усилий, способствует развитию интриг, открывает широкие пути для получения льгот и привилегий. Нравы аристократической партии, воспоминание о ее поражениях, недавние репрессии, которым она подвергалась, — все способствует формированию в ее рядах значительного числа сторонников политики бездеятельности нынешнего правительства. Последние же, со своей стороны, не жалеют для правительства забот: они одобряют, обещают, переживают; они внушают небольшие надежды и поддерживают большие страхи; наконец, в частных отношениях они расточают весь свой запас обольстительности, покоряющей людей не столько гордых, сколько тщеславных, не столько несговорчивых, сколько чувствительных. Таким образом, даже в этой сфере, используя поочередно то страх, то личные амбиции, то недостаточность принципов, т.е все, что есть слабого, податливого, непредсказуемого в нашей природе, нынешние министры пытаются продлить положение стагнации на том не имеющем никакого выхода пути, на который они уже ступили.

Вы видите, я никого не хочу оскорбить, я умалчиваю о невероятных трусах, упорствующих пошляках, наконец, о тех униженных натурах, которые не ждут, что власть пойдет им навстречу, а сами бросаются в сети рабской покорности. Когда все это предлагается нашим правителям, они берут его, и правильно делают. Но я не думаю, что подобные люди столь много-

численны, как это принято предполагать, или что они, в особенности, имеют большой вес в делах. Не они составляют основу политической системы. В один момент можно составить определенную силу, объединив в ней только слабости и страхи. Но никакая сила не может черпать из источника низости и стыда. Власть, не имеющая иной опоры, не продержалась бы и дня.

Такова в действительности политика нашего правительства и таковы опоры его партии. Вооружившись бездействием в качестве тактики и страхом в качестве знамени, оно приглашает всех слабых, забитых, лишенных убеждений или преследующих лишь частные интересы людей разделить с ним в революционной Франции и в партии старого порядка наследие имперского правления. Такой ценой оно надеется избежать, с одной стороны, последствий претворения в жизнь Хартии, которую невозможно ни выполнить, ни уничтожить, а с другой стороны, последствий своего союза с контрреволюцией, который оно не может ни разорвать, ни воплотить в жизнь.

Я собираюсь обсудить эту презренную систему. Я проанализирую предлоги, на которые она опирается в своей деятельности, средства, которые она употребляет, надежды, которыми она вскормлена. Я покажу, насколько пуста претензия все остановить, привести все в застывшее положение, одним словом, помешать разрешению жизненных вопросов, повсеместно встающих во Франции, стремящихся к непременному раскрытию и находящихся в состоянии брожения в самом правительстве. И поскольку я попытался определить политику наших министров, каковой она мне видится, то первоначально я должен доказать свою точку зрения; я должен проследить на фактах этот союз правительства с бонапартизмом, лишенным силы, и с контрреволюцией, лишенной смелости, объединившихся, чтобы сообща эксплуатировать Францию, и обманывающих друг друга в рамках своего союза в ожидании лучшего. Я буду черпать свои доказательства в деятельности конкретных лиц и в самом ходе вещей, в порочности состава нынешнего кабинета и в управлении им страною на протяжении последнего года.

Глава третья

О ПРЕВРАТНОСТЯХ СУДЬБЫ И О СОСТАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Я испытывал колебания, стоит ли говорить о конкретных личностях. Я не ищу пустого удовольствия выставлять напоказ слабости, промахи, непоследовательность, ложные позиции общественных нравов. Более того: отдавая себе отчет в личном мнении относительно людей, управляющих нами, я высказываю опасения, как бы оно не показалось чересчур неуверенным. Представительная система являет собой противоположность справедливости подобных суждений; она проводит глубокий водораздел между партиями, подогревает страсти, порождает буйство слова и побуждает индивидов одного за другим подпитывать предубеждения, исполненные пристрастия. Настоящее захватывает их, и они судят друг о друге не по всей совокупности их поведения и нравов, но по их положению на данный год, по их действиям в течение данной недели, по их сегодняшним речам. Вовлеченная в эту борьбу публика разделяет такую предрасположенность. Нет такого человека, который, присутствуя при частных разговорах, не был бы свидетелем этих вспышек доброжелательности или раздражения, быть может, внутренне присущих развитию конституционного режима; нет также человека, который, порывшись в своей памяти, не мог бы обнаружить там различные суждения, высказанные им в различное время относительно одних и тех же людей и зависящие от ситуаций, альянсов или всех случайностей, имеющих место при столкновениях партий. Я бы отверг подобный способ суждения, и не только потому, что он является источником ошибки и несправедливости, но также и потому, что в деловой практике он способен повлечь за собой серьезные помехи. Мне известен лишь один способ сделать понятной мою мысль — это высказать ее без обиняков.

Мы живем в такое время, когда мало что является необратимым. На протяжении последних тридцати лет события были одновременно столь подвижны и столь напряженны, потребности столь многочисленны и

столь насущны, да и сейчас все еще настолько смутно и неясно, что было бы совершенным безумием утверждать, что в подобной неустойчивости всего и вся люди — эти слабые и легкомысленные существа — одни только и остались твердыми и последовательными. Таковы факты; политика должна принимать их во внимание, демонстрируя свою способность к предвидению. Кто может знать все обороты, которые примет дело, все комбинации, которые скрывает будущее? О чем не следовало забывать и что нужно будет помнить? Как знать, быть может, некий человек, бывший в глазах общественного мнения предметом неприятия или страха, в силу каких-либо превратностей судьбы станет служить этому общественному мнению и защищать его, а само общественное мнение в этом случае поспешит принять его, хотя некогда проклинало. Мне не раз доводилось слышать подобные приговоры, провозглашавшие себя не подлежащими обжалованию; я был свидетелем проявлений неприязни, казавшейся нескончаемой; но когда ситуация изменилась, когда пробил час необходимости, я видел, как пали все барьеры и как смягчились все строгие оценки. Избавим себя от затруднений, связанных со столь быстрыми эволюциями; будем не только более справедливыми, но и более дальновидными; пусть в наших глазах люди не будут целиком принадлежать их сиюминутному положению; остережемся возлагать на них ответственность за свои суждения в большей степени, нежели они сами на себя возлагают. И будем же, наконец, в состоянии извлечь пользу из всех средств, всех шансов, которые может открыть перед добрым делом переменчивость ситуаций и событий.

Я очень рассчитываю на то, что придет время, когда ситуация станет более прочной, позиции — более отчетливыми, потребности — менее насущными и менее внезапными; тогда государственные деятели получат более точную оценку и в отношении них можно будет вынести более категоричное суждение. В своих пожеланиях я призываю то время, когда мысль человека относительно политического поведения будет иметь право выглядеть более требовательной и более строгой. Но никто не властен приблизить это время; а

пока осторожность подсказывает нам то, что предписывает справедливость.

Вы увидите, я надеюсь, что все это я говорю не из слабости и не из малодушной предосторожности, а единственно в силу интереса к будущему и уважения к истине. Перехожу к фактам.

Нам известно, сколь переменчивым было правительство на протяжении последнего года. После предпоследней сессии г-н де Ришелье и его друзья, казалось, льстили себя надеждой, что им нет нужды брать в помощники своих новых коллег, взятых из лагеря их опасных союзников. Последние же демонстрировали полное безразличие; послушать их, так ни де Виллель, ни Корбьер, ни кто-либо другой не стремились к правительство. Прошли выборы 1820 г. И вот все изменилось. Возвышения де Виллеля и Корбьера было уже недостаточно, чтобы удовлетворить честолюбивые стремления партии; взлет же де Ришелье ограничился принятием в совет двух последних. Их упросили туда войти. Они колебались, ожидая согласия своей партии. Партия сначала ответила отказом; успех казался ей жалким, а двое ее бывших лидеров, пытавшихся доказать преимущества своего вхождения в правительство, уже выглядели в ее глазах подозрительными. Сколько демаршей было предпринято как со стороны бывших министров, так и со стороны двух кандидатов, сколько прошло переговоров, чтобы получить согласие на присоединение к правительству подозрительных и требовательных друзей! Наконец, поскольку де Ришелье упорствовал в принятии только двух министров, а де Виллель и Корбьер твердили, что и это уже кое-что, в один прекрасный день сделка была заключена, хотя партия не дала на это формального согласия. Радость в правительстве была огромной; Шатобриан, внезапно прервавший переговоры, как говорят, считался спасителем монархии.

Какое оскорбление для монархии связывать свое спасение с формированием правительства, со всей очевидностью осужденного оставаться бездеятельным и неустойчивым! Это правительство еще только делало свои первые шаги, но в его поведении уже просматривалось его будущее. Было ясно, что оно собрало вмес-

те все свои слабости, а вовсе не объединило силы. Соглашение свидетельствовало о двойной беспомощности; было видно, что как партия де Ришелье, так и партия де Виллеля не способны одержать верх над своим противником, но что они также не в состоянии и разделиться, побороть себя или установить более прочные связи; одним словом, в новом совете старые и новые министры в своих попытках поглотить или одержать победу над другим способны лишь нейтрализовать друг друга.

Именно в этом, без сомнения, и состояла в то время политика, проводимая г-ном де Ришелье и его предыдущими коллегами. Они приняли в свои ряды де Виллеля и Корбьера только для того, чтобы оградить себя от дальнейших шагов, и в надежде, что с помощью вновь прибывших они смогут управлять партией старого порядка, т.е. помешают ей достичь своих целей. Я затрагиваю здесь коренной порок ситуации, сложившейся в этой партии. Для любого человека, который с самого начала и на протяжении всего периода ее существования не находился бы под знаменами этой партии, не был вынужден посвятить всего себя ее судьбе, союз с ней всегда являлся лишь крайним средством; и заключая его, человек давал себе обещание всячески уклоняться от него; с контрреволюцией сближаются — но не столько для того, чтобы служить ей, сколько для того, чтобы пользоваться ею. Трудиться во имя победы конституционализма — дело разумное, которое, вопреки всем трудностям его осуществления, может предпринять здравомыслящий человек. Помогать же контрреволюции в осуществлении ее намерений — дело совершенно бессмысленное, за которое не возьмется ни один сколько-нибудь уравновешенный человек, даже если бы партия брала на себя обязательства обещать ему со своей стороны самую строгую дисциплину и самое полное послушание. Что касается нас, то мы испытываем серьезные затруднения в отношении средств; для наших же противников невозможно само осуществление цели. Один только этот факт заранее обрекает правых на ложные позиции; эта партия принимала лидеров, которые хотели ее купить, но не вести к победе. Для г-на де Ришелье

и его друзей эта партия была лишь инструментом. Для правых же де Ришелье и его друзья оставались препятствием.

На самом деле в задачи де Виллеля и Корбьера входило устранение де Ришелье. Они вошли в совет, чтобы завладеть всеми делами и передать их в руки своей партии. Но разве могут быть борцами за выполнение такого замысла люди, уже скомпрометированные, люди, которым уже грош цена, которые последние шесть месяцев, казалось, день за днем заранее выплачивали цену своего будущего возвышения! Они взяли крепость не с бою, не во главе своих солдат; заставив испытать мучительные ожидания, им приоткрыли небольшую дверцу, потребовав, чтобы они вошли туда одни; и они не только приняли это условие, но еще и взяли на себя труд заставить благосклонно принять его и солдат, которых оставили снаружи. Какое достоинство, какой авторитет могли они сохранить? Можно ли представить себе что-либо более презренное, нежели это тайное и сомнительное допущение к власти, бывшее предметом мучительных торгов между партией и ее лидерами? Совершенно очевидно, что оно унизило, оскорбило и уничтожило их как в глазах партии, так и в глазах правительства. Поэтому они с самого начала имели несколько неловкий и застенчивый вид, выдававший их слабую осведомленность и делавший их неспособными на самом деле завладеть и обратить на пользу своей партии власть, куда они с таким трудом получили разрешение проскользнуть наполовину.

Такова была общая ситуация. Мы видим, что как с одной, так и с другой стороны она предвещала политику мягкую, неуверенную, почти что неподвижную. Посмотрим же, что за люди ею занимались и предвещало ли их индивидуальное положение, их предшественники и их нрав иные результаты.

Я уже упоминал о де Ришелье; я вынужден говорить о нем еще; и вовсе не потому, что я изменил свое мнение о нем, но потому, что никогда ранее его характер, его положение, свойственный ему тип влияния не раскрывались с такой отчетливостью, столь полно, как в последнем кабинете министров. Именно вокруг

де Ришелье вращалась вся политика правительства. Я говорю, что политика вращалась вокруг него, поскольку он является скорее ее центром, нежели ее лидером. Г-н де Ришелье не принадлежит к тем людям, которые ради достижения определенной цели встают во главе других людей и направляют их; люди окружают его, но вовсе не следуют за ним, поскольку он не движется. В нем есть что-то неподвижное, часто заставляющее его служить препятствием, но никогда — целью. Препятствовать — вот в чем состоит особенность, я не скажу его политики, но его натуры. Эта особенность и обусловила его судьбу. Опасность наступает, зло обещает быть величайшим... Г-н де Ришелье приступает к делу; он вовсе не рассеивает опасность, он смягчает ее неизбежность; он не излечивает полностью зла, он даже вершит его или позволяет ему свершиться, — но предупреждает его чрезмерность. Хорошая или дурная система, хорошая или дурная партия могут использовать его, чтобы начать свою деятельность, но не более; как в истине, так и в заблуждении он останавливается и начинает сопротивляться, как только его хотят увлечь дальше и быстрее. Все это оттого, что сознание его прямолинейно, взгляд близорук, а характер слаб. Будучи открытым и преданным, с самого начала он может живо взяться за дело; но как только ситуация заходит в тупик, как только ход дел набирает обороты, он теряется, и, отрекаясь от последствий собственных действий, укрывается в бездействии. И вовсе не потому, что опасается скомпрометировать себя, а потому, что не знает, ни на что решиться, ни как действовать. Он не стремится ко злу, но ему неведомо благо. Все грубое парализует его разум, все трудное превосходит его; его неподвижность представляет собой лишь выражение его сомнения или признание его беспомощности; когда же он достигает такого состояния, им овладевает единственное чувство — своего рода досада против вещей и людей, столь плохо поддающихся управлению, столь несговорчивых и не желающих быть руководимыми честным человеком, который на самом деле мало заботится о власти и берет ее в свои руки лишь для того, чтобы служить людям.

Конечно же, призвав де Виллеля и Корбьера в кабинет министров, Ришелье надеялся получить небольшую передышку; он полагал что старый порядок завоеван и подчинен управлению, что слияние центра и правых уже свершилось. Но очень скоро он мог убедиться в том, что заблуждался. Два соперничающих авторитета поспешили вступить в спор за его разум и волю. Господа Паскье, Симеон[5] заставляли его сдерживать контрреволюцию; господа де Серр, де Виллель и Корбьер требовали дать ей свободный ход.

Франция со всей суровостью осуждает Паскье. Она всегда видела его в преддверии или на вершине власти, всегда входящим, выходящим, возвращающимся, почти неизбежным министром при той или иной форме кабинета, в той или иной его комбинации. Публика очень легко устает от столь продолжительного присутствия, но в особенности от этих уходов и возвращений, этих исчезновений и появлений вновь, которые, казалось бы, указывают на чрезмерную легковесность характера и невысокую требовательность устремлений. Для того, чтобы снискать для себя прощения у власти, ее нужно долгое время удерживать, а не без конца в нее возвращаться. Суетливость в серьезном деле вызывает у большинства наблюдателей что-то вроде неприятия и почти скуку. Она принижает, если даже не обесславливает того, кто ей следует.

Она принесла много вреда Паскье. До последнего времени его всегда видели впереди, но никогда во главе; всегда призываемым в министры, но так, что никто не может сказать, какой силой, какой партией, каким внешним влиянием он был возвышен и востребован. Министром его делали министры; его возвышение казалось делом только их рук, общество к этому непричастно. Потому-то ему приписывали мало принципиальности, много услужливости, в большей степени пристрастие к власти, нежели величие цели, одним словом, такой тип характера и духа, который зачастую делает человека полезным, но никогда — необходимым, всегда имеющимся под рукой, но и всегда отстраненным от различных сил, постоянно встречающих его на своем пути, но при этом никогда не зачисляющих в свои ряды.

Таковы факты; они неопровержимы. Но не все является истинным и справедливым в тех следствиях, которые из них выводят.

Во Франции есть класс людей, достаточно многочисленный, но слабо проявляющийся в политической жизни, поскольку у него вовсе нет никакого *credo* и все его мнения являются в некотором роде негативными. Эти люди были свидетелями революции; их здравый смысл был потрясен ее безумствами, их личная честность взбунтовалась против ее ужасов. Они вышли из революции напуганными и, главное, разуверившимися, не рассматривая политическую свободу ни в качестве возможной, ни в качестве благой, с подозрением относясь ко всякой общей идее, к любому энергичному чувству. Бонапарт долгое время их устраивал; его безрассудство совершенно не нарушало внешнего порядка, его несправедливость была совершенно неочевидной; пороки его системы были способны живо затронуть лишь возвышенную мысль, обращенную в будущее. Люди, о которых я веду речь, были искушены в этих вопросах только благодаря собственным невзгодам. Развязка их поразила; увидев падение Бонапарта, они сочли, что тот был не прав; но этот новый опыт сделал их еще более подозрительными, еще более недоверчивыми; он поколебал некоторые из убеждений, данных им Бонапартом, и этого было достаточно; они признали, что самый искусный деспотизм мог быть неосторожным, чрезмерным, что он способен заблуждаться, подобно свободе; но они не поверили в то, что может существовать лучшая или более доступная свобода; они только стали еще более враждебно относиться к любому высказанному мнению, к любой смелой попытке, любой решительной системе. Сомневаться в существовании истины, склоняться перед необходимостью, избегать трудностей, откладывать любое решение, поддерживать порядок, выжидая, — вот их наука; и они твердо уверены в том, что любое иное требование исполнено опрометчивости и опасностей.

Г-н Паскье принадлежит этой категории людей и, несомненно, является одним из наиболее заметных среди них. Говорят, что у него вовсе нет мнений; это заблуждение, одно мнение у него есть — оно состоит

в том, что следует питать недоверие к любым мнениям, проходить между ними, почерпнув что-либо в каждом: здесь можно взять то, чем ответить в другом месте, там — чем ответить здесь, и так каждый день составлять мудрость, которая бы отвечала потребностям момента. Его обвиняют в непостоянстве; на мой взгляд, он скорее дал повод для упрека, нежели действительно его заслужил. Не обладая ни устоявшимися принципами, ни прочными намерениями, Паскье действительно колеблется в обширном пространстве между двумя крайними точками; в зависимости от требований общей ситуации или расчетов собственного положения он способен перемещаться в этом пространстве то к одной точке, то к другой; но с обеих сторон существует граница, которую он никогда не перейдет; в указанных же границах сама природа его мнений позволяет ему изменять место, не очень противореча самому себе, поскольку природа эта состоит в том, чтобы ни на чем не останавливаться со всей определенностью. С 1815 г. его положение часто менялось, по-моему даже слишком часто, даже если это происходило в его собственных интересах. И тем не менее, обратитесь к его речам, приглядитесь к ним повнимательнее; на самом деле, мало кто из ораторов в меньшей степени противоречил самому себе, меньше отпирался от сказанного; у Паскье не было к тому нужды, так как он не ввязывался в дело позитивным образом; любая целостная идея ему антипатична; он хорошо говорит, ловко рассуждает и мало что утверждает; в том, что он говорит по одному поводу, выявляют то, что однажды ему приходилось говорить по другому поводу. В 1815 г. он примыкает к защитникам новой Франции, но не объявляет себя противником старого порядка; в 1820 г. он выступает под знаменами старого порядка, но при этом новая Франции не может рассматривать его как своего недруга. Он не скомпрометировал себя ни словом, ни делом; он не совершил никакого насилия, не был замешан ни в каких излишествах; и если обычно находился в стане победителей, то не преследовал побежденных. Одним словом, это здравомыслящий человек, чей здравый смысл никогда не поднимается выше осторожности,

но никогда не опускается и ниже нее; это разумный человек, чей разум довольствуется тем, что удовлетворяет его положению, когда оно приемлемо, и избегает его, когда это положение становится чересчур тягостным; это светский человек, лишенный общих принципов, но не практической морали, употребляющий свое политическое сознание на то, чтобы не скомпрометировать свой собственный характер.

Очень скоро он вынужден был признать, что призванная в помощники контрреволюция стремится занять господствующее положение и что исполненная ожиданий партия настроена захватить власть, которой в минуты общей опасности она поспешила воспользоваться. Паскье не любит партию, даже свою собственную, он очень дорожит независимостью власти. Малопомалу он отдалился от движения, попытался противостоять контрреволюции, г-ну де Виллелю, по крайней мере отделиться от него; и хотя надежды на это особой не было, ему были благодарны, особенно в тот момент, когда его сопротивление, по всей видимости, возымело некоторые результаты. Это было неожиданным. Казалось, в этой борьбе все преимущества были на стороне де Виллеля. И действительно, какая еще позиция на первый взгляд выглядела столь же ясной и простой? С 1815 по 1820 г. он служил своей партии; и, служа ей, доказал собственную разумность, как и свое постоянство. Верный в отношениях с единомышленниками, взвешенный по отношению к своим противникам, он показал себя осторожным человеком и заставил считать себя способным. На гребне волны он вознесся к власти; он прочно занял это место и со всем своим авторитетом, с ловкостью защищал дело партии, которая, продвинув его к власти, полагала, что и сама оказалась у власти вместе с ним.

Но это было заблуждение, и предыдущая сессия правительства могла бы это почувствовать; едва только г-н де Виллель стал министром, его положение стало ложным, а слабость человека проявляется одновременно с ложностью его положения. Являясь лидером старого порядка, он обрек себя на невозможное; он чувствует это и понемногу восстает против необходимости, которую он не способен ни перенести, ни стрях-

нуть. Один, предоставленный только самому себе, освободившийся от своих войск, он бы охотно стал своим в правительстве. Он принял бы сторону де Ришелье, поладил с Паскье и прекрасно приспособился бы к не слишком оживленной, не слишком сильной политике, имеющей целью только заставить себя терпеть и выиграть время. Но г-н де Виллель не может сделать того, чего бы он хотел, и точно так же он не способен сделать того, чего от него хотят. Правительство требует, чтобы он руководил своей партией; партия же требует от него, чтобы он руководил правительством; из двух этих задач первая совершенно непосильна для де Виллеля, точно так же, как и для любого другого; вторая же задача чересчур трудна для него. Для того, чтобы управлять контрреволюцией, ее нужно вести к ее цели, де Виллель же сам не верит в то, что это возможно, и не осмелится на это пойти. Чтобы полностью завладеть властью, нужна отвага, нужен размах, наконец, нужна хоть какая-то энергия разума и характера, которая при любых опасностях преследует свою цель и стремится к успеху. Ничем этим г-н де Виллель не обладает; его не вдохновляет никакая сильная страсть, им не управляет никакая великая идея; на свою мелкую тактику противостояния он израсходовал весь запас смелости и умения; пробил час великой войны, но человек оказался уже на исходе сил; совершенно очевидно, что новое его предназначение довлеет над ним, что жажда победы своей партии не сжигает его и что сам по себе он бы прекрасно довольствовался лучшей сделкой. Но что же делать? И правительство, и партия продолжают существовать; первое предполагает, что завладело г-ном де Виллелем; вторая же считает, что не утратила его полностью; и оба они в равной степени давят и стесняют его. Неспособный удовлетворить обе эти потребности и слишком слабый, чтобы выбрать между ними, он будет стараться поочередно увиливать от каждой из них; он будет слегка проправительственным с партией, немного партийным с правительством; он пообещает Ришелье покорность партии, партии же — благосклонность Ришелье; он попытается выдавать своих коллег своим друзьям и своих друзей своим коллегам. Кого

может устроить такая ситуация? С каждым днем она будет усугубляться и каждый день на одну отметку будет снижать значимость человека, который позволил себе в ней оказаться. Он не может больше, как в добрые времена своей оппозиции, поочередно выставлять напоказ доктрины контрреволюции и принципы свободы; он принят в правительство, которое почти одинаково страшится и свободы, и контрреволюции. Он не осмелится более продемонстрировать ни один из принципов любого рода, поскольку любая дискуссия, любой сколько-нибудь значительный случай обнаруживает и удваивает затруднения, в которые этот человек оказался вовлечен. И вот уже лидер партии, человек, которого с таким трудом сделали министром, вот уже он министр — неизвестный и робкий, избегающий действия, опасающийся слова, научившийся уступать дорогу и стремящийся лишь промолчать, в равной степени боязливый, застывший перед своими старыми друзьями, которых он не хочет потерять, и перед своими новыми союзниками, которых он не хочет испугать!

Эта ситуация имела свой исход. Г-н де Виллель пал; он покинул правительство. В один прекрасный день публика узнала, что ни он, ни Корбьер уже не являются министрами. Публика поинтересовалась почему. Ей изложили содержание Бог знает какого числа собраний, переговоров, на которых обсуждалась цена помощи, оказанной правительству во время сессии. Ей довелось услышать, что одна сторона многого требовала, другая — много обещала, что неоднократно создавалось впечатление, будто договор достигнут, что де Виллель, многого требовавший от имени партии, сам довольствовался очень немногим; что де Ришелье то предлагал, то отказывал, то соглашался, то отпирался; что, наконец, во взаимном порыве Ришелье отпустил министров, которых партия намеревалась отозвать. Как бы там ни обстояло дело с этими мелкими фактами, публика первоначально придавала довольно большое значение этой отставке; она полагала, что это прелюдия к изменению всей системы. Ее поспешили в этом разубедить. Правительство провозгласило намерение настойчиво придерживаться своего пути, своих

альянсов; удаление же лидеров правых показалось ему слишком незначительным фактом, чтобы оно смогло повлечь за собой разрыв с партией.

Право ли оно? Приведет ли ближайшая сессия к новым, более решительным комбинациям? Вернутся ли де Виллель и Корбьер в качестве победителей или в качестве простых помощников, покорных, хотя и недовольных? Я этого не знаю, и, по правде говоря, меня это мало волнует. Я не думаю, что правительство и правые могут обойтись друг без друга, и, следовательно, действительно разделиться. Таким образом, ситуация по сути дела не изменилась. В настоящий момент верх взяла застойная система; но контрреволюция по-прежнему стоит у порога. И с ней нужно начинать переговоры. В кабинете министров Паскье пережил де Виллеля; но Ришелье не стал более решительным, чем прежде, и де Серр остался.

Теперь де Ришелье должен будет высказаться либо за де Серра, либо за Паскье. Первый желает, чтобы правительство установило более тесные связи с правыми, второй же посоветует в большей степени опираться на центр за исключением некоторых уступок правым. Один воплощает силу падения, в которуе вовлечена власть, другой — силу инерции, которая столь велика во Франции и довлеет даже над самыми деятельными партиями. Я не знаю, ставит ли г-н де Серр перед собой еще какую-либо действительно политическую задачу, мечтает ли он еще о коренной переделке социального порядка и установлении некоторых свобод руками корпораций, о восстановлении прежней аристократии и привилегий. Я искренне надеюсь на это, поскольку уж если человек заблуждается, то пусть он это делает в мечтах. Но я в этом сомневаюсь, так как его поведение и высказывания во время последней сессии правительства закрывают все пути для воздействия какого-либо истинного или ложного принципа, какой-либо несбыточной мечты с налетом благородства. Как и многие другие, он выглядит живущим сегодняшним днем, покорным обстоятельствам, лишенным идей, планов, целей, и в этой роли, во всем схожей с природой его разума, он заставляет обращать на себя внимание лишь горячностью своих

речей. Он не был создан для того, чтобы оказаться в правительстве, не имеющем ни системы, ни будущего, занятом исключительно тем, чтобы с большей или меньшей ловкостью уклоняться от общих потребностей престола и страны. В этой игре невозможно даже сохранять приверженность партии, поскольку партии желают, чтобы с ними разделяли не только их пристрастия, но и их судьбу, и уж если невозможно вознаградить их победой, то следует разделить с ними их невзгоды. Как бы то ни было, де Серр в нынешнем кабинете из всех министров является лишь наиболее благосклонно относящимся к правым; и будь то в отношении правительства или в отношении партии, он не смог бы даже обладать авторитетом де Виллеля, который и так не велик. Его планы социальных реформ, если он еще вынашивает таковые, останутся нереализованными, как это и происходило до сих пор. Он станет слепым прислужником контрреволюции либо будет все больше и больше сгибаться под грузом этой застойной политики, которая ни к чему не стремится, ничего не может и заключается только в том, чтобы помешать тому, что должно быть, затормозить то, что произойдет. Как мы только что увидели, эта политика предопределила все превратности в формировании кабинета; она была воспроизведена в них во всех формах, пытаясь ускользнуть от контрреволюции, когда та ей служила, и продолжая ей служить, когда контрреволюция, казалось, отвергла ее. Она составила небольшой триумф Паскье, который стоял во главе ее, а также небольшое поражение де Виллеля, которого его положение обрекало на движение, хотя, если я не ошибаюсь, он был к тому мало склонен. Я обнаружил систему в людях; точно так же я смогу найти ее и в вещах. Она направляла все действия администрации как в палатах, так и вне них; она наложила на эти действия характер бесплодности и беспомощности, по необходимости свойственный политике, не способной осуществить контрреволюцию, которая не может произойти сама собой, равно как и неспособной удовлетворить потребности новой Франции, которые не могут быть удовлетворены союзниками контрреволюции.

Глава четвертая
СЕССИЯ 1820 г.

Когда открылась сессия 1820 г., новая Франция страшилась буквально всего; правительство испытывало страх; старый порядок надеялся на многое.

Когда же сессия завершилась, старый порядок ретировался, исполненный досады; правительство было цело и невредимо, но утратило всякую веру в свое будущее; новая Франция, поражаясь, что против нее не было совершено ничего из того, чего она так опасалась, по-прежнему ощущала себя в опасности.

Либо я сильно заблуждаюсь, либо именно этим и кичится правительство. Но именно в этом-то оно и ошибается. Если сессия 1820 г. не принесла старому порядку всего, что ему было обещано, она от этого не стала менее губительной для Франции.

Такова, по моему мнению, ее преобладающая черта, с необходимостью обусловленная позицией, занимаемой правительством. Сессия вычеркнула политику из числа общих интересов, чтобы подчинить ее интригам, интересам частного характера. Ни одно из предложений, ни одна из мер, предпринятых правительством, не имела принципа в качестве руководства к действию и Францию в качестве своего объекта. Права граждан, общественные потребности не играли никакой роли в поведении министров. Для них речь шла только о том, чтобы делать необходимые уступки, чтобы разделять или день ото дня успокаивать неудобных союзников, устранять тех из них, что скомпрометировали самих министров, все подчинять тайным обычаям, жертвовать всем ради потребностей их собственного положения. Представительная власть превратилась в занавес, под покровом которого презренные группки и личные амбиции вершили свои дела, всячески показывая, что заботятся о Франции.

Я совершенно не исследую здесь, каким образом проводилась в жизнь эта повседневная тактика, каковы были ее герои и ее секреты. Мне вовсе не требуется этого знать. Одна только картина хода сессии и ее результатов со всей полнотой разоблачает тот факт, что не народ был объектом рассмотрения сессии, что

интересы, совершенно чуждые его интересам и даже зачастую чуждые общим взаимоотношениям между партиями, управляли поведением администрации.

Да и кто не был удивлен тем, что столь длительная сессия не дала мало-мальски значительного результата, никакого закона, имеющего хоть какую-нибудь значимость? Надо было решить вопрос о разграничении избирательных округов; в этом состояли потребности и интересы партии. Правительство же предложило другой закон о муниципальном порядке. Я вскоре скажу об этом. Но как только закон был вынесен на рассмотрение, всем стало ясно и все согласились с тем, что проект этот даже не будет обсуждаться. Я совершенно не жалею об этом. Я только хочу подчеркнуть неспособность министров дать нам хотя бы какие-то институты, не говоря уже о тех, которые бы нам подошли. Партия, на которую опирается правительство, требовала этого точно так же, как и мы; ежедневно все ее сторонники только и твердят, что лишь при помощи институтов, при помощи определенной организации прав и влияний революция может быть побеждена. Это пожелание своей собственной партии министры не могут осуществить, равно как и все наши пожелания; в том положении, которое занимают министры, невозможно установление никаких институтов. Хорошие или дурные, эти институты имеют неизбежным своим результатом создание гарантий для самостоятельности, введение в действие различных сил; правительство же желает оставить все силы без движения, любую самостоятельность — без гарантии. Еще бы ему не желать этого! Ведь всякий институт предполагает определенные принципы, производит определенные общие результаты. Министры же попытались управлять без принципов и без результатов. Они не способны создать новую Францию, ибо в этом случае их друзья тут же восстали бы. Они не осмелились бы восстановить старый порядок, ибо боятся погибнуть от него. Идеи и интересы революции обладают могуществом, которое не способны преодолеть те, кто сражается против них; революция приводит их в ужас и парализует их усилия, направленные на ее разрушение. Сегодня мало кто настолько отважен или,

если хотите, настолько безрассуден, что осмелился бы проектировать введение привилегий среди граждан, выступать за неравенство в распределении имущества, за право старшинства, за восстановление корпораций и, наконец, всех тех институтов, которые — и не без основания — партия старого порядка считает необходимыми для утверждения своей власти. Министры не без ужаса думают о подобных планах; они смутно осознают, что нынешнее состояние общества при помощи скрытых сил мгновенно оттолкнуло, иссушило бы кощунственную руку, которая попыталась бы посягнуть на него. Итак, с этой стороны, совершенно очевидно, что какое бы то ни было создание институтов невозможно для правительства. С другой стороны, эта невозможность еще более очевидна. Система, сформировавшаяся в 1816—1820 гг., каждый год могла приносить свои плоды; права и свободы постепенно могли получить свойственные им формы и законные гарантии. Мы были свидетелями начала этого развития. В нынешней системе правительства оно остановлено безвозвратно, ведь нет ни одной свободы, ни одного права, которое, получив действительные основания и гарантии, не стало бы фатальным для самой системы. Министры вновь потребовали цензуры для газет, и опять в виде исключительного закона. То была ложь; не существует и не может более существовать исключительного закона; для правительственной же системы это постоянная и с каждым днем все более настоятельная необходимость. И пусть Франция будет спокойной и процветающей, а ее администрация умеренной; ступив однажды на этот путь, правительство никогда не дождется того дня, когда подлинная, деятельная свобода печати сможет примириться с ним. То же самое можно сказать обо всех наших свободах и обо всех наших правах. Как бы оно того ни хотело, правительство не в состоянии дать нам институты, способные вдохнуть жизнь в эти права и свободы; его политика найдет в них свою смерть. Невозможно все уничтожить, все извратить. И то, что удалось создать избирательную машину, искажающую Францию, но не подавляющую ее полностью, — уже много. Не все поддается подобным уловкам. Правительству никогда

не удастся создать подобные механизмы для суда, для печати, для личной свободы, для местной администрации. Чем более действенны и обширны институты, чем глубже проникают они в общество, тем труднее становится ложь; и я сомневаюсь, что если бы муниципальные советы были реальностью, можно было бы изобрести некую комбинацию, способную провести в них притворное и лживое большинство. Вскоре всплыли бы факты, которые потребовали бы введения соответствующих им реальных принципов. Правительство, не желающее принципов, не смогло бы предложить какого бы то ни было разрешения данной ситуации. Необходимость принуждает его разрешить эту губительную проблему в отношении избрания палаты депутатов; но оно всячески пытается обойти эту проблему во всех иных областях. Как известно, в этом году г-н министр юстиции предложил видимость реформы института судопроизводства; тут же возникла масса неразрешимых для министерства вопросов, относительно которых г-н де Серр поостерегся выдвинуть даже малейшую мысль. Конечно же, он хотел представить палатам очень простой и даже благообразный проект; но ведь дело касалось института судопроизводства; и тут же в дискуссиях вскрылись затруднения и бессилие министерства; оно было не способно выдвинуть какой-либо принцип, дать какое-либо обещание, хоть как-то приоткрыть завесу над будущим; в палате депутатов г-н министр юстиции даже не осмелился предпринять попытку ответить на серьезные возражения Ройе-Коллара![6]

Такой же будет позиция правительства всегда, когда речь будет заходить об институтах. Почти все они докучают власти; для нее все они неприемлемы. И если власть не отдает себя полностью в руки сторонников старого порядка, если она не является и простым исполнителем планов партии, она вынуждена пребывать в бездействии и пустоте, отказываться от решения любого общего вопроса, отвергать всякую идею прав, признанных и гарантированных законами, наконец, она должна поддерживать общество в состоянии разложения и инерции, в каковом оно и пребывает в настоящий момент. В несколько иных формах

восемнадцатый век дал нам нечто аналогичное. Правление было мягким; Франция процветала; заблуждения администрации, интриги двора, бездарность министров, попытки сопротивления власти совершенно не препятствовали развитию общественного благосостояния и идей. Власть зиждилась на прежних привычках повиновения, каких-то осколках былых сил, а также на ощущении всеобщего благополучия, которым пользовались народы еще до того, как оно было гарантировано. Но если от нее требовали объединиться с обществом, идти в ногу с ним, внимать и управлять возникающими у него потребностями, его возрастающей энергией, наконец, приспосабливаться к потребностям неизбежного будущего? Ее тут же охватывала досада и бессилие; она не умела, не желала, не могла; в конце концов, она оказалась чуждой и даже враждебной обществу, которое на протяжении полувека мирно жило и процветало под ее руководством.

Таковы и наши министры. Они стали наследниками государственной машины Бонапарта подобно тому, как Людовик XV унаследовал государственные институты Людовика XIV и старой монархии. Они также пользуются общей склонностью к праздности, тем состоянием процветания, которое после революций и войн обычно приносит мир. Я согласен, они вынуждены жить во взаимодействии с более серьезными и значительными политическими партиями. Но они обращаются с ними подобно тому, как раньше обращались с придворными партиями, воспринимая людей поодиночке, вступая в переговоры с личными амбициями, жертвуя многим ради частных интересов и отвергая либо придавая одну лишь видимость всему тому, что должно было бы стать всеобщим или решающим моментом.

Вот в чем секрет бесплодности последней сессии правительства, а также того зла, которое она несла в себе. Будущее вовсе не принималось в расчет; в настоящем же предпринимались все попытки обойти природу нашего правления либо извратить ее. В отношении к департаментам применялось имперское правление; в отношении к центральной власти — методы старого порядка и королевского двора; таковы были используе-

мые средства. Потребовалась помощь партии; но с партией в целом считались мало, зато много считались с теми из ее членов, которые всегда были под рукой, или с теми, с кем можно было прийти к взаимопониманию. Я не говорю здесь ни о каких тайных или незаконных сделках; я описываю политику, признанную и запечатленную в общественном поведении, политику, которая вытекала не из порочности того или иного человека, но из самой ситуации, в которой оказалась власть. Я обращаюсь к основным деяниям сессии, результаты их вы найдете повсеместно.

Нигде не проявились они столь ясно, как в проекте представленного закона об организации департаментов и коммун. Нигде более торг между имперским порядком и старым порядком не открылся нам с такой простотой. На протяжении пяти лет сторонники старого порядка, писатели и ораторы, выступали в качестве провозвестников местных свобод; они могли быть таковыми, не особенно противореча собственным политическим теориям, не компрометируя собственную партию и даже используя ее в ущерб единству представительной системы. Подобная тактика, используемая как против революции, так и против правительства, приносила свои плоды. И вот эти люди приходят к власти. На рассмотрение выносится закон, составленный, без сомнения, в их манере или по крайней мере с их согласия. Что делает власть? Она поддерживает бонапартистскую систему, только пытается передать ее в руки людей от контрреволюции. Прежняя аристократия отныне будет пребывать в лоне имперского деспотизма; таковы муниципальные свободы, которые г-н де Виллель и его друзья хотят или могут дать Франции!

Сама структура проекта выдает намерения его авторов. Он естественным образом включал в себя две части, касающиеся положения дел и людей, характеристик местных советов и способа их формирования. Прежде всего речь должна была вестись о характерных чертах местных советов. Следует определить, чем будет власть, прежде чем искать людей, способных эту власть осуществлять. Этот естественный порядок перевернут; характеристики советов отосланы в конец проекта; по-

чему? Да потому, что они ничего не значат, потому что ничто или почти ничто не изменилось в существующем порядке вещей, потому что коммуны не имеют в своих делах почти никаких гарантий, никакой самостоятельности, потому что ни один из крупных вопросов, касающихся этого предмета, не разрешен, о его существовании, казалось, и не подозревают. Здесь также преобладает политика застоя; все пребывает в бездействии, все острые вопросы обходятся.

Конечно же, составители проекта думали только о людях. Кто же будет вводить в действие имперский порядок? Вот единственный вопрос. Нужно, чтобы этим занялся старый порядок; это непременное условие. Дело это затруднительное. Мы не пребываем сейчас на вершинах социального порядка. Для того чтобы обеспечить старому порядку общие шансы на получение поддельного большинства, нужно совершить еще большее насилие над фактами, еще более грубо попрать права. Однако ничто здесь не представляет трудностей. Число избирателей сокращено сверх всяких приличий; люди, призванные избирать депутатов Франции, не достаточно хороши для того, чтобы назначать членов муниципального совета. Либеральный по смыслу принцип оказался подмененным аристократическим принципом наибольшей облагаемости налогом. Если в городах, например, из числа выборщиков не осмелились исключить классы, к которым относились с презрением, — торговцев, адвокатов и проч., — то не было установлено ни число избираемых, ни способы их состязания на выборах; авторы закона оставили за собой возможность урегулировать этот вопрос на основе договоренностей с партией или с властью в каждом конкретном месте; зато были предприняты все старания, дабы внести в проект несколько слов, которые хотя и не направлены на возрождение корпораций, но указывают на разделение общества по профессиональному признаку. Когда дело дошло до советов департаментов, возникли трудности иного рода. Эти корпуса по природе своей обладают определенной степенью сплоченности, сила которой и вызвала опасения. Таким образом, особую важность приобрело еще большее сужение двери, дабы войти в

нее смогли лишь старый порядок и власть. При помощи целой серии весьма странных комбинаций множились предосторожности и препоны. Выборы были лишены прямого характера, признанного чересчур откровенным, затем и своего окончательного характера, признанного чересчур независимым; и поскольку оставалось еще слишком много шансов на победу истины, советы департаментов, как настоящие, так и будущие, были призваны сами регулировать свое собственное переизбрание, что обеспечивало им в этом состязании влияние по меньшей мере на половину избирателей.

Я не обсуждаю этот проект; я только пытаюсь постичь характер продиктовавшей его политики; и вот каковым он читается в этом проекте: власть передает бывшей аристократии местные вольности страны при условии, что бывшая аристократия отдаст власти свою собственную независимость.

И это называют политическим институтом! Речь шла о том, чтобы собрать подлинные и естественные силы общества с тем, чтобы, упорядочив, обратить их на общее благо, с тем, чтобы консолидировать их, передав им часть дел; на деле же все усилия употребляются на то, чтобы обойти эти силы, уничтожить их, заменить силами ложными, обескровленными, которые по природе своей не наделены истиной и в своей деятельности будут лишены какого бы то ни было реального влияния!

Действительно ли этот план был разработан? Отдавали ли себе отчет его составители в том, что они хотят сделать? Я этого не знаю и думаю, что это не имеет особого значения. Когда власть встает на ложный путь, когда партия, которая не должна править, пытается узурпировать власть, ситуация, в которой они оказались, берет над ними верх, хотя они сами того не осознают. Они сами не знают, что делают; но они постоянно занимаются тем, что им нравится, причем нравится исключительно им одним. Я говорил, что правительство при нынешней своей системе было не в состоянии дать нам какой-либо политический институт; прежняя аристократия пребывает в том же бессилии. Поскольку она не лишена ни возвышенных

умов, ни благородных характеров, то порой видит себя возвращающей былые вольности и права, утверждающей их если и не в соответствии с общественным благом то, по крайней мере, в соответствии с собственной честью и удерживающей их всем своим достоинством в противовес власти. Не в ее силах уже занять таким образом высокое и независимое положение; да простят мне это выражение; она поссорилась с Францией; она ничего не способна сделать для народа, да и сама не имеет более ни одной точки опоры в борьбе против власти. Свобода, которую она потребовала бы у политических институтов, имела бы такие принципы и результаты, которых Франция вовсе не желает; она была бы вынуждена навязывать эту свободу одновременно и народу и власти. Это невиданные вещи. До тех пор, пока будет существовать партия старого порядка, она будет заключать союз с властью — такова насущная необходимость. Аристократия и власть смогут обсуждать между собой цену взаимных услуг с тем, чтобы затем заставить заплатить Францию; но в их взаимоотношениях ни одна, ни другая сторона не смогут претендовать на то, чтобы сохранить свою независимость и благородство. Им позволено объединиться, но при условии одновременного или поочередного унижения. Кто не заметил, что в палату пришло значительное число сторонников правых сил, имеющих если не патриотические, то по крайней мере достаточно возвышенные намерения, не являющихся сторонниками национальных свобод, но достаточно ревностно относящихся к своим личным правам, в достаточной степени склонных к требованию законов, способных стать основанием и гарантией этих прав? Они влились в общее движение партии и оказались в полной инерции; они были вынуждены либо отказаться от своих претензий на свободу, подобно другим, приблизившись к власти, либо остаться в стороне, в праздной и бесполезной досаде. Так того желает общая ситуация, в которой оказалась партия; она находится в полном повиновении власти, которой служит, даже когда эта власть сама повинуется партии. Что бы произошло, если бы аристократия потребовала от правительства установления местных институтов, соответствующих

правам и интересам всех? Она пришла бы к собственному краху. Таким образом, нужно было, чтобы она упросила министров помочь ей воздвигнуть ложные институты, которые были бы хороши лишь для нее одной, создать военные места, в которых она могла бы найти убежище. Министры согласились, но при условии, что места эти будут открыты также и для них, что институты, которые без них невозможно воздвигнуть, по природе своей нельзя было бы обратить против них. Факты развивались таким образом, потому что они не могли развиваться иначе; и старая аристократия, униженная, пожертвовала всеми своими мечтами о местной независимости, чтобы попытаться избежать опасности, которой ей грозили наши подлинные свободы.

Как посмотрит на такое положение дел следующая сессия? Выдвинет ли она все тот же проект закона или новый? Это не имеет большого значения. Над всеми проектами по-прежнему будет довлеть ситуация; они все будут нести на себе ту же печать. Старый порядок не изобретет никакой комбинации, которая бы освободила его от власти, не подвергнув опасности пасть перед Францией; власть не сможет найти никого, кто освободил бы ее от старого порядка, не наложив на нее национального ига. Быть может, нет ничего невозможного в том, что они сообща будут влачить какое-то время беспокойное и исполненное случайностей существование. Но возможность создать институты, которые бы сделали каждого из них сильным в своих собственных интересах и в противовес другому, обеспечили их ближайшее будущее, для них совершенно закрыта. Поодиночке они слабы; объединившись, они станут бесплодными

Чего же удивляться, что мы не видим ни одного крупного закона, ни одного подлинного института, которые явились бы результатом их союза. Эта законодательная бесплодность есть необходимое следствие их политики, а их политика есть необходимое следствие той ситуации, в которой они оказались.

Кроме того, правительство далеко от ускорения дебатов, в которых все это открылось, которые оно вынуждено было бы вести, не имея никакого — истинного

или ложного — принципа, никакого общего — легитимного или несостоятельного — интереса, дебаты, в которых природа и вынужденные последствия его альянса с правыми выплыли бы на свет божий. Правые также почувствовали ложность своего положения и, не зная, каким образом его избежать, сами были рады отложить вынесение этого положения на всеобщее обозрение. И поскольку проект закона о местной администрации был отложен, сессия была исполнена лишь дебатами, приуроченными к случаю.

Я не мог бы назвать иным словом закон, который при создании новых церковных вакансий оказывал воздействие на постепенное снижение выплат духовенству. Положение духовенства, его права, его взаимоотношения с властью и с гражданами — ничего из этого не урегулировано, как подобало бы конституционному порядку; с этим все согласны. Фундаментальный закон здесь необходим и ожидаем всеми. Если бы конкордат 1802 г. не пошатнулся, если бы органичный закон от 18 жерминаля X года[7] оставался в полной силе, необходимость эта была бы менее насущной и менее ощутимой. Неискусные правления совершают ошибку, расслабляя и истощая имеющиеся под рукой силы и установления, не заменяя их. В этом случае все окунается в неустойчивое и смутное состояние, и ни власть, ни свобода не знают более, как прийти к обоюдному согласию. Совершенно очевидно, никто не считает, что последняя сессия правительства что-либо изменила в этом досадном положении. О религии, ее управлении говорилось много; органам церковного управления был открыт политический и финансовый кредит для учреждения еще тридцати епархий. Но ничего, абсолютно ничего не было сделано для обеспечения судеб духовенства, для того, чтобы просветить как само духовенство, так и публику. Старый порядок и власть оказались и здесь в положении, которое постоянно довлеет над ними, т.е. они совершенно неспособными что бы то ни было создать, разрешить какой бы то ни было вопрос. Относительно того, каким образом эта партия обращается со своим настоящим, можно сказать, что она отдает отчет в своей узурпации и совершенно не думает о будущем. Она манипулирует

вещами подобно торопливому и расточительному человеку, пользующемуся чужим имуществом, и не помышляет ни о приращении, ни об упорядочении благ, коими располагает. Духовенству хотят оказать покровительство; вы полагаете, что будут созданы церковные учреждения, что будут исследованы общие потребности Церкви, что правительство займется определением должного места Церкви в обществе, установлением ее отношений со всеми властями, со всеми правами, наконец, что оно определит то положение, в котором Церковь должна будет жить, и таким образом, чтобы Церковь и государство смогли бы длительное время жить совместно? Ничего подобного; правительство торопится здесь учредить несколько епархий, там — назначить несколько пенсий; перед департаментами и городами ходатайствуют о выделении фондов, которых не осмеливались просить у палат, кажется, давших больше, чем у них просили. В остальном же абсолютно ничего не решается, ничего не упорядочивается, ничего не воздвигается; правительство избегает любой меры, любой общей дискуссии как невозможной или губительной. Да она и будет таковой, если в действительности мы хотим того, чего совершенно не в состоянии осуществить. Но в этом случае верит ли правительство, что его действия будут полезными, действенными? Думает ли оно, что религия, что само духовенство много выигрывает от того, что, на первый взгляд, пользуется нынешним беспорядком? Ведь духовенству нужно предложить не временные трофеи, но полноценное, законное существование, согласующееся со всей совокупностью наших институтов и наших нравов. Вы говорите, что у нас нет достаточного количества епархий; но вы не говорите, ни сколько еще их недостает, ни где они еще нужны. Ваша партия предлагает их ввести без счета; вы в страхе отступаете; и вот между вами и вашей партией возникает темный торг, не имеющий под собой никакого принципа, в котором факты не контролируют принципы, в котором речь идет единственно о том, чтобы, с одной стороны, выяснить, сколько епархий можно ввести, а с другой — от введения скольких из них можно уклониться. В этом ли суть общественных законов? Это ли

означает учитывать общественные права и интересы? Неужели не понятно, что здесь исчезла самая общественная мысль, что все решается в игре своенравных и капризных воль, направленных на то, чтобы поработить самих себя, принимая политику не за продукт разума и общей необходимости, но за состязание интриг и страстей партии?

Правительству представился случай разрешить вопрос, в котором оно ощущало себя во всеоружии, в котором не нужно было разбираться ни с каким принципом, ни с какой идеей института и с которым оно не выходило за границы той сферы частных интересов, где правительство хотело бы навсегда замкнуться. Речь идет о законе о пожалованиях. Конечно же, министры со всей поспешностью ухватились за эту возможность заручиться хоть какой-то популярностью среди людей новой Франции, не компрометируя себя (этим они кичились в меньшей степени) связью со своими друзьями из правых. О, как слабо человеческое предвидение! Личные интересы, покровительствуемые министрами, в старом порядке встретили интересы подобного же рода, поднятые волной ревности и возмущения. Открылись дебаты, в которых о Франции вовсе не шла речь, где одни оспаривали деньги у других, на карту были поставлены имена, вопрос стоял только о том, чтобы выяснить, будут ли отобраны пожалования у тех, кому они принадлежали и кому в соответствии с законом и самыми общими обещаниями они еще принадлежат, с тем, чтобы вселить в кого-либо — я не знаю, в кого именно, но в кого-то точно, — надежду на их получение. Правительство рассчитывало на политику правых сил; но вместо их политики оно столкнулось с их страстями, и эти-то страсти совершенно неожиданно поставили его в опасное положение; дабы избежать опасности, правительство вынуждено было отказаться от последних остатков принципов, на которых был основан предлагаемый закон, пожертвовать правом получивших пожалования, намекнув им, что за ними будет признан сам факт пожалования. Вот до какой степени правительство и старый порядок не способны объединиться в определенной системе, сообща следовать определенным общим

идеям! Вот до какой степени вынуждены они лишь существовать бок о бок, изо дня в день, постоянно пребывая в состоянии неспособности сделать хоть самую малость, что дало бы хоть какие-то ростки длительности, что могло бы рассматриваться как продвижение к стабильному и устойчивому порядку вещей!

Возьмите как самые незначительные, так и наиболее важные дебаты на сессии; все они — как поднятые предложениями правительства, так и спровоцированные случайными обстоятельствами — несут на себе отпечаток одной черты, все они обнаруживают забвение, оставление всякого действительно общественного принципа, всякой идеи права. Правительство определяет границы избирательных округов; не ждите от него, чтобы какая-либо общая точка зрения, какое-либо общее правило направляло эту работу; оно думает о соблюдении приличий и об интересах избирателей и публики не более, чем если бы ни избирателей, ни публики не существовало бы вовсе. Это целая череда противоречивых уловок, направленных на взаимное обвинение и осуждение сторон, уловок, в рамках которых об истине беспокоятся лишь затем, чтобы принудить ее уступить хитрости, а общество, кажется, воспринимается в качестве непокорной материи, которую следует третировать множеством разных способов, дабы повсеместно заставить ее принять форму, которую само общество отвергает, но которую ему всячески пытаются навязать. Свобода скрылась с трибуны; но здесь еще существует право, которое выказывает себя вместе с силой и властью. Но и оно будет подвержено нападкам; против него будут обращены самые безграничные, самые расплывчатые угрозы; исполнить их никто не осмелится; в конце концов будут приняты лишь те меры, которым нечего опасаться прямого воздействия права, и в этом случае злая воля также растворится в полном бессилии; но, тем не менее, будут предприняты попытки проигнорировать или обуздать право, существование которого повсеместно кажется непереносимым. Один из высших офицеров выступает против решения, которое, по его словам, в его лице наносит оскорбление принципам и законам; очевидно, с его заявлением связан самый общий вопрос; от

этого вопроса уклоняются; правительство не желает ни признать принципы, ни полностью отвергнуть их из страха вызвать более серьезное недовольство, нежели недовольство одного человека; партия, которой оно служит, постоянно оказывает ему поддержку в пользу произвола; и добропорядочный человек, г-н де Корду, стремящийся к справедливости даже по отношению к своим противникам, выказывает болезненное удивление тем, что он оказывается отделенным от своих друзей всякий раз, когда речь идет о том, чтобы вершить правосудие и уважать права. Презрение к праву, забвение об общественности, отсутствие общих взглядов, безразличие по отношению к истине и лжи, нежелание подумать о будущем, подчинение политики отдельным потребностям, частным интересам — таков, повторяю, характер поведения правительства во время сессии. Вполне достаточно сказать, что сама природа, основная цель нашего правления была забыта. Таковой целью является предписание политике общих принципов и установлений, преобладание общих интересов над интересами частными, общественного дела — над отдельными людьми и партиями. Рано или поздно политика выполнит среди нас свое предназначение; но ее продвижение замедлено; ее попытались отбросить на пути заговоров и дворцовых интриг. В соответствии с естественным и истинным порядком каждая сессия должна делать шаг к будущему и укреплять права. От системы, стремящейся служить движению, правилам и истине, потребовали, чтобы она служила неподвижности, произволу и лжи.

И нам еще говорят, что контрреволюция ни в чем не одержала победы! Прежде всего, она победила в том, что для нее было самым важным: под прикрытием конституционного занавеса она навязала правлению свою политическую практику, единственную политику, которая соответствует ее положению. Вне ее писатели могут проповедовать свои доктрины, вынашивать свои проекты, возрождать общество. Но по мере приближения к власти партия не требует многого; она отлично знает, что доктрины эти неприемлемы, проекты — химеричны, что общество не заставит себя воспринять формы, в которые хотят замкнуть его

господа де Монлозье или де Бональд[8]. Но если партия не способна перековать общество, она попытается его коррумпировать; она не будет претендовать на открытую замену принципов нового порядка своими собственными принципами, но попытается обойти все принципы вообще; она не заставит привилегии открыто бороться с правом, но попытается ослабить право, отодвинуть его в сторону, не считаться с ним; она не будет афишировать победу интересов одного класса над общими интересами, но оставит общие интересы без сил и гарантий; она попытается замаскировать грозящую им опасность, погрузив их в лоно покоя. Такова подлинная контрреволюционная тактика; все остальное — лишь мечты, годные только для того, чтобы потворствовать внешним страстям партии. Я думаю, что даже этими мерами она неспособна достичь своей цели и утвердиться; но от этого не менее истинным является факт, что таковы единственные средства, при помощи которых эта партия может продолжать существовать и пока что эксплуатировать достигнутый ею сегодня успех. Правительство служит ей, превратив эти средства в свою собственную систему правления; оно служит ей, поскольку в его политике преобладают утверждения, практики, привычки, которые подходят как контрреволюции, так и ему самому. Отказать праву в его власти, отложить создание каких бы то ни было институтов, устраниться от преобладающих общих интересов, ничего не делать ради будущего означает расчищать дорогу партии старого порядка, которая вначале не делала бы большего. Если последняя сессия правительства в палате депутатов не дала своей партии никакого позитивного и непосредственного результата, что произошло вовсе не оттого, что партия эта укрепила свою избирательную систему или выиграла в нескольких немаловажных вопросах, то, по крайней мере, она дала партии огромное преимущество. Она привнесла свой дух в правление.

Палата пэров дает совсем иную картину. Как палата законодательная она не совершила ничего примечательного. Как судебный орган она отбросила иго контрреволюции, чем в значительной степени послужила конституционным интересам. Поэтому партия и

правительство рассматривают все произошедшее в ее рамках как крупное поражение. И они имеют на то основания.

Давно уже интриги опутывают Францию. Давно уже о них судили так, как они и вершились, — по группировкам. В ином месте я уже указывал на подчинение правосудия политике, что является орудием и характерной чертой всех тираний. Я не выступаю с обвинением против намерений; но достоверным фактом является то, что мы чуть было не стали свидетелями возобновления этой попытки управлять при помощи судов — верного симптома того, что власть считает себя в большой опасности и может защититься от нее лишь посредством беззакония и угнетения. Палата лордов разрушила это роковое средство правления. Мы были свидетелями широкого политического процесса, проведенного наконец правосудием. Это прогресс, значение которого трудно поддается измерению. В мои задачи не входит ни выявление всех деталей, ни восстановление внутреннего хода этого важнейшего дела. Если верить слухам, политика прилагала усилия, чтобы проникнуть в это дело. После попыток при помощи обвинения усугубить природу преступления она со своеобразной смесью застенчивости и настойчивости попыталась расширить его сферу. В своей застенчивости она требует от первых встречных освободить ее от врагов и с трудом осознает, что ей отказывают в признании преступным всего, в чем она усматривает опасность. Она почти удивлена, увидев, что оказалась решительным образом исключенной из дебатов, к которым она испытывает интерес, и охотно посчитала бы фракционной оппозицией или преступной слабостью щепетильное сопротивление, не желающее распространять закон за пределы сферы фактов, предусмотренных и инкриминированных законом. Политическая ассамблея подала пример подлинных и легитимных юридических процедур. Она принудила обвинение замкнуться в определенных границах, сконцентрироваться на фактах точных и тех, что могли бы быть обнаружены в подзаконных текстах. Она удалила из этой сферы все общие утверждения, нелепые предположения, основанные на вероятности, индуктивные

заключения, выведенные из обстоятельств, чуждых делу, — всю эту туманность, в которой факты смешиваются, увеличиваются в размере, делаются неопределенными и изменяют свою природу; и факты сразу же сжались, уменьшились в размере и прояснились. Люди и вещи, все было поставлено на свои места, всему были возвращены подлинные черты, все сведено к своим подлинным размерам. Вопросы права обсуждались сами по себе и с тем, чтобы открыть истинный смысл законов, а не для того, чтобы подчинить право страстям или обычаям партии. Председатель суда, г-н Дамбрей, вел заседания в духе справедливости и умеренности, чему обвиняемые и их защитники беспрестанно отдавали должное уважение. Наконец, весь ход процесса и увенчавший его приговор оставили Францию в убеждении, что свершилось правосудие, что ничьи иные интересы и никакие иные силы ничего не выиграли.

Это еще не все. Справедливый приговор и добрый пример не являются единственным благом, которое породили эти длительные дебаты. В их ходе со всем авторитетом высшего и торжественного правосудия были разрешены конституционные и правовые вопросы огромной значимости. Была определена подлинная природа заговора и тем самым осуждена всякая попытка в будущем расширить границы заговора или отсечь какие-либо его черты[9]. Принципы, установленные в связи с этим случаем, уже послужили основой приговора, вынесенного судом присяжных Риома в отношении Восточного заговора, а также приговора суда присяжных Лиона по делу некоего Майара, в котором г-н Курвуазье[10] в полной мере развил эти принципы в своей замечательной обвинительной речи. И, мимоходом замечу, тем самым уже можно признать, насколько заблуждается законодатель, когда он пытается толковать законы в соответствии со своими опасениями, а не в соответствии с природой вещей. Определение заговора в уголовном кодексе было, без сомнения, продиктовано намерением поразить преступление в зародыше и наказать его в момент замышления столь же строго, как если бы оно было совершено. Таким образом, из этого следует, что если бы данное опреде-

ление применялось просвещенными судьями, беспристрастными и исполненными решимости не выходить за пределы текста законов, подлинный заговор, заговор, признанный таковым законом, почти никогда бы не существовал и его было бы почти невозможно пресечь, тогда как на нашем пути мы сталкиваемся с массой наказуемых деяний, не имеющих в законе ни определения, ни меры наказания. Следовало бы, чтобы закон, преследуя заговор в его изначальных элементах и открывая в его чисто моральных чертах *концентрированную и установленную решимость к действию,* потребовал бы по меньшей мере ясного, полного объединения всех признаков, к которым он собирается применить смертную казнь; но это объединение становится крайне редким; закон же упустил из виду действия, как, например, попытка подкупа, подстрекательство и т.д., которые сами по себе заслуживали бы менее строгого, хотя и реального наказания, но остаются безнаказанными, если не сочетаются со всеми элементами, необходимыми для формирования заговора. Замечательный пример бессилия законов, когда они хотят соорудить крупные преступления для того, чтобы иметь право выглядеть более суровыми!

Палата пэров в отсутствии целостного и, быть может, невозможного закона по праву своей собственной юрисдикции и на основе возможности действовать в качестве суда разрешила вопросы, в отношении которых до сих пор высказывались опасения, что они останутся неразрешенными. Она постановила, что сама будет определять сферу своей компетенции и что для приостановления ее деятельности недостаточно простого ордонанса. Тем самым она отвергла всякую видимость комиссии, призванной вершить суд лишь тогда, когда будет востребуема властью, и со всем достоинством сохранила свою независимость. Она также сохранила за собой право по справедливости назначать наказания; это очень важное право для суда, который не обладает обычными гарантиями, судит о фактах и правах, выносит приговор, не подлежащий никакому обжалованию, и, по всей вероятности, будет призван принимать постановления относительно людей и относительно дел, где справедливость должна обладать

огромной значимостью. Наконец, она снова подтвердила свой обычай требовать при всяком осуждении пяти восьмых голосов, этой абсолютно необходимой гарантии в любом многочисленном суде, в котором неизбежно так или иначе проявляются политические пристрастия.

В этом и состоят истинные завоевания, завоевания конституционные, залог настоящего, семена будущего. Таким образом формировались великие институты, управлявшие народами. Когда в ходе значительных событий они достойно выполняли свою миссию, удовлетворяли общественным интересам и чаяниям, устанавливали некоторые принципы, наконец, доказывали, что действовали в соответствии с правилами, посредством самых общих воззрений, что они не находились в распоряжении ни власти, ни партий, эти институты упрочивались в разуме людей и пускали здесь глубокие корни. В настоящий момент Франция может подчиниться превосходству старого порядка; в настоящий момент она, хотя и со страхом и болью, может смириться с картиной конституционного порядка, пребывающего в застое и без гарантий. Она питает надежды, доверие, раскрывается только тогда, когда видит, что старый порядок отвергнут, что конституционный порядок развивается. Всякая сессия, которая ничего не делает в рамках этого двойственного отношения, в ее глазах является пустой сессией, в которой все подозрительно и даже полная никчемность которой предстает исполненной мрачных предзнаменований. Правительство, если ему так угодно, может кичиться собственными усилиями в бездействии; эти усилия хороши лишь для него одного. Франция от этого ничего не выиграла, они ей ничего не обещают. Я не знаю, сколь долго все эти выпады против левых, вся эта демонстрация монархических доктрин и это забвение о публике, и эти уступки, совершенно не обеспечивающие будущего, будут удовлетворять правых. Я не знаю, согласятся ли правые с тем, чтобы все иные люди, кроме их собственных представителей, исполняли свои обязанности только наполовину, не потребуют ли они какого-то более полного, более решающего действия; и если они того потребуют, я еще не знаю, будут

ли они в состоянии вырвать это действие. Но совершенно определенно, что среди всего бессилия, скрывающегося за столькими горячими словами, среди всех трибунных баталий, которые, как кажется, предназначены для прикрытия посредственности достигнутых результатов, Франция, не мирясь ни с какими опасностями, не видит ничего из того, что она желает, ничего из того, в чем она нуждается и что имеет право требовать.

Глава пятая

ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА С 1820 ПО 1821 г.

«В течение всего этого времени королевство наслаждалось самим глубоким покоем и самым полным счастьем, которые когда-либо выпадали на долю народа... счастьем, тем более достойным зависти, что все прочие королевства, все остальные народы были измучены и раздираемы гражданскими неурядицами или войной. Тем не менее мы не ощущали своего благополучия и сами предпринимали все усилия, чтобы сделаться несчастными. Двор был исполнен чрезмерных претензий и предавался самому беззаботному легкомыслию; страной правили спесь, дух возмущения, недовольство. Граждане казались в большей степени озабоченными и взволнованными тем, что они именовали нарушением закона, нежели удовлетворенными и спешащими насладиться соблюдением всей остальной части Хартии; они никогда не соотносили возрастание собственного благополучия и богатства с мудростью и заслугами администрации, но беспрестанно адресовали последней всякого рода упреки»*.

Неужели это говорит Кларендон?[11] Неужели речь идет об Англии начала семнадцатого века?

Кларендон по меньшей мере видел факты в их целостности. Общественное процветание не заслоняло

* Clarendon's history of the rebellion. N.Y. P. 126-131., edit. de Bale.

ему общественного недовольства. Он удивлялся и сокрушался по поводу контраста между постановлениями и их судьбой, между моральным и материальным состоянием страны. Он не распознавал всех причин, но страстно искал их, они не были совершенно неведомы ему, но он считал, что обнаружить их нелегко.

Наши министры более доверчивы. Франция процветает; Франция не бунтует; этого им вполне достаточно. Им нечего опасаться; им нечего делать; и если вопреки их ожиданиям, вопреки их ведому случится какое-либо несчастье, то несчастье это и будет во всем повинно. Они вовсе не обязаны были его предвидеть либо помешать тому, чтобы оно приключилось.

Таков их язык. В принципе, я не считаю их столь уж доверчивыми. Процветание значительно, спокойствие реально; министры ставят себе это в заслугу; я их понимаю. Но я сомневаюсь, чтобы они считали, что их положение достаточно подкреплено этим спокойствием, что они в достаточной степени укоренены в этом процветании. Я сомневаюсь, что они сильны благодаря убеждению, будто бы все эти блага обязаны своим существованием им одним, что они ощущают себя связанными с общественным счастием тем всесильным отношением, что соединяет причину и следствие, принцип и вытекающие из него положения. Они кичатся нашим богатством, спокойствием, отрадными плодами порядка и мира. Вопреки их хвастовству их снедает страх перед глубокими волнениями, осознание временного характера их судьбы преследует их; и если они и пытаются скрыть это от нас, утаить от самих себя, то по той причине, что сами они не видят ни в своем положении, ни в своей системе никакого средства излечения и не способны найти такое средство где-то в ином месте.

И если порой министры отдают себе отчет в собственном положении, если наше процветание не всегда заслоняет вид их собственного ничтожества, то они правы. Нет ничего более обманчивого, чем материальное счастье народов. Его достаточно для того, чтобы предоставить власти сладкий покой, но недостаточно, чтобы наделить ее силой, оно ни в коей мере не гарантирует ей будущего. И только, когда моральное и

материальное состояние общества пребывают в гармонии, власть может созерцать причины собственного благополучия, одновременно наслаждаясь ими; только тогда, когда люди не только всем своим существованием, но и умом ощущают удовлетворение и благополучие, только тогда власть способна обеспечить себе могущество и безопасность. Народы не бывают ни трудными, ни легкими в управлении, как это полагают. При определенных условиях власть находит их совершенно готовыми к тому, чтобы предоставить ей все блага, коими они пользуются, и даже способными безропотно выносить мучительное напряжение и тяжелое бремя. Когда же эти условия отсутствуют, само счастье превращается в бесплодное и зыбкое состояние, когда власть выказывает удивление тем, что она остается слабой и встречает на своем пути одну лишь неблагодарность. Для того, чтобы основывать империи, требуется нечто большее, чем для того, чтобы избегать революции. Франция вовсе не стремится к потрясениям и не выказала бы доверия тому, кто захотел бы их испробовать; но она и не переносит свое доверие на правительство; она считает себя в большей степени скомпрометированной им, нежели защищенной им. Настоящее не является для нее болезненным, она пребывает с ним в мире; но она не слишком рассчитывает на будущее, и когда задумывается об этом будущем, то именно в самой себе, в сознании собственной силы, а не в правительственной системе черпает свою надежду. Отсюда же проистекает одновременно спокойствие и недоверие публики, внешняя безопасность и действительная слабость власти.

Поведение власти повсеместно несет на себе отпечаток данной ситуации. В администрации, как и в палатах, во внешней политике, как и в администрации, она обречена на бессилие; и под покровом бессилия власти контрреволюция, слабая, но более деятельная, обделывает свои дела и увлекает Францию к крушению.

Во внутренней жизни она показала себя застенчивой. Нет ничего проще: она больше всего опасается всякого движения. Должно было наступить 20 марта[12], чтобы контрреволюция осмелилась привести все в

волнение, все поставить под сомнение, коснуться стольких устоявшихся существований, стольких позитивных интересов. Она так хорошо вела себя раньше, что теперь, вновь войдя в милость, легко устранила все грубые видимые формы, отказалась от систематических чисток, действовала спокойно и терпеливо. Она постепенно просачивается в администрацию, которую некогда хотела взять приступом. Она рассчитывает на свой успех в центре, а пока что довольствуется тем, что медленно расширяет свои владения под сенью правительства. Она упрочивается в том, что правительство ей предоставляет; завтра она будет иметь то, в чем сегодня ей было отказано. Для того, чтобы каждый день отвоевывать новый клочок территории, она нуждается в мире и порядке. Она журит, не отказывая в доверии, своих одержимых сторонников, которые, по выражению одного из лидеров контрреволюции, *палят задолго до получения команды.* Выказывая себя сдержанной и единой с властью, контрреволюция пытается привлечь к себе, вселить надежду своими проектами у честных граждан, которые благоговеют перед порядком и не требуют большего, чем уверовать в обещанные превращения. Контрреволюция использует их там, где не способна еще использовать самое себя. Одним словом, она стучится во все двери, толкает те из них, которые едва приоткрыты, держится неподалеку от тех, что пока еще заперты, и прекрасно осознает, что если общая ситуация будет прежней, ей достаточно лишь везде подмечать случайности, которые она всегда сумеет использовать.

Когда такие возможности предоставляются, когда счастливый случай широко распахивает перед старым порядком двери какой-либо из частей администрации, нужно видеть, как он устремляется в открывшееся пространство и очень скоро проникает туда целиком. Такова и судьба общественного образования, руководимого Корбьером. Я не знаю, действительно ли г-н Корбьер сам управлял университетом; во время своего возвышения он играл столь незначительную роль в заседаниях кабинета, казался совершенно незаметным, по крайней мере в глазах общественности, в еще боль-

шей степени, нежели де Виллель, выказывал себя озадаченным, подавленным из-за своего положения между старыми друзьями и новыми союзниками, что мне трудно поверить, будто какое-либо предприятие могло получить от его действий мощный и энергичный толчок. Но чем меньше человек сам способен дать чему-либо толчок, тем в большей степени он склонен к тому, чтобы такой толчок получить самому; он тем скорее становится орудием, чем менее способен быть мотором. Дух партии старого порядка, ее незнание существа дела, ее игнорирование правил и прав, ее подозрения, ее предпочтения, ее усилия, смешение всего и вся, что следует по ее стопам, — вот что вдруг взялось управлять общественным образованием под именем г-на Корбьера. Основное уложение было издано 29 февраля сего года. Королевский совет, который должен был бы его подготовить, как говорят, узнал о нем лишь перед самым его появлением. И из этого постановления совет узнал, что затронуты сами основания существования университета. Университет перестает быть единственным корпусом, на который один только от имени и в соответствии с законами государства возложена миссия определять и руководить общественным образованием; его законные привилегии были распространены и на иные учреждения. Наряду с государственными коллежами должны быть созданы равные им в правах и по положению коллежи, не принадлежащие государству и в отношении которых государство не будет иметь никакого права воздействия, за исключением неясного и беспомощного права надзора за процессом обучения, поскольку сам принцип, из которого проистекает данное право, теперь не имеет никакой действенности. Произойдет ли это оттого, что законодатели захотели заменить одну систему другой, что они сочли свободную конкуренцию в деле образования более предпочтительной, нежели государственное учреждение, на которое возложены функции обучения? Ничего подобного; привилегии остаются, только государство их лишается, и они переходят к партии. Именно партия подтолкнула к принятию постановления, о котором я говорю; она надеялась им воспользоваться, и она уже извлекает из

него выгоду; а почтенное и многолюдное учреждение, отважно борющееся против всякого рода препятствий, в особенности против наступления плохо прикрытого иезуитизма, его же собственным руководителем было принесено в жертву врагам, которые пытаются его истощить, поскольку не надеются полностью поработить.

И это еще не все. Не признанными оказались не одни только права университета. Вследствие уложения от 29 февраля[13] пострадали и обойденные в нем молчанием права христиан-некатоликов, чьи дети воспитывались в королевских коллежах. Своей 14-й статьей это уложение наделяет католических священников правом надзора во всем, что касается религии, во входящих в их епархию коллежах, но оно обходит полным молчанием соответствующее право протестантских пасторов в отношении учеников их вероисповедания. Основные консистории вынесли официальные протесты в адрес Корбьера, Симеона, де Ришелье. Напоминалось, что до сих пор священникам и кюре, призванным вторгаться в религиозные аспекты либо общественного образования, либо распределения благотворительных вспомоществований или других подобных дел, всегда формально сопутствовали представители различных христианских вероисповедений, призванные блюсти интересы своей веры. Приводилось уложение от 29 февраля 1816 г. о начальном образовании и многие другие аналогичные акты. Задавались вопросы о причинах такого умолчания, которое на деле является новшеством, а в правовом отношении — нарушением конституционных принципов. Была просто заявлена просьба о поддержке предшествующих обычаев, об открытом упоминании о надзоре со стороны протестантских пасторов за своими учениками-протестантами. В своем ответе Корбьер признал, что подобный надзор правомерен и, пообещав открыть ему все двери, создать для него все условия, он отказался от общественного признания, от официального освящения этого права. Протесты возобновились, их число возросло, но успеха они не имели. О религиозном воспитании и религиозном надзоре стали говорить таким образом, что создалось впечатление, будто

бы во Франции только одна конфессия или что в королевских коллежах нет ни одного ребенка-некатолика. Я не хочу ничего предполагать, ничего предсказывать; но откуда проистекает этот ужас перед выражением права, соблюдение которого было обещано? Быть может, правители льстят себя надеждой, что им удастся замолчать это право, хотя и не осмеливаются открыто игнорировать его? Или они предполагают, что христиане, которым обеспечена равная защита, должны довольствоваться скрытой терпимостью? Или, уступив из слабости высокомерным притязаниям, они попытались хитростью обойти справедливые нарекания? Некатолические общины не могут когда-либо от них отказаться; права должны быть не только осуществлены на деле, но и признаны; они испытывают потребность в постоянном санкционировании; гласность — их наиболее прочная гарантия. Замалчивать их — значит нарушать их; и мне неизвестно ни одно право, которое, согласившись на безвестность, не оказалось бы наполовину утраченным*.

Нужно ли называть другие попытки, предпринятые администрацией и постоянно преследующие ту же цель? Это и отягощенные всякого рода оковами условия получения степени бакалавра, необходимые для поступления в школы по медицине и праву, принятые, без сомнения, в тщетной надежде закрыть для молодежи доступ к либеральным профессиям и просветить толпу, устремляющуюся в эти почтенные учреждения; и философия, обреченная вновь говорить на латыни, как будто бы латынь все еще является единственным языком научного мира, и изъятие курса истории в классах по риторике, ведь как известно, латынью совершенно невозможно пользоваться для объяснения и преподавания пространных философских доктрин, более новых по сравнению с логикой и онтологией старых школ; и странные речи, произносимые одним из членов высшей администрации во время его длительных вояжей, которые произвели такой скандал, что правители сочли себя обязанными предложить ему

* См. приложение в конце данной книги [см. с. 491-501].

отречься от них в двусмысленной форме. Я имею честь принадлежать к университету, и я полагаю, что он оказал и еще способен оказать огромные услуги Франции. Но он нуждается в славе и уважении; в нем должно видеть очаг просвещения, следует знать, что он занят передачей поколениям, которые он воспитывает, всего запаса национальных принципов, благородных чувств. Если же университет хотят превратить в орудие партии, если от него требуют не направлять, но приглушать развитие умов или направлять это развитие к цели, противоположной естественному направлению, если он будет обречен горевать о самом себе, то очень скоро лишится внутренней энергии и внешней прочности; прервется всякая сколько-нибудь прочная и сильная связь между учениками и преподавателями, преподавателями и общественностью; здесь, как и в иных местах, власть утратит средство правления, на изменение которого она претендовала.

Остерегайтесь: старый порядок обесславливает все, чего касается, растрачивает то, чем пользуется. Если позволить ему захватить всю систему нашего управления, если все составляющие ее механизмы будут работать под его диктовку, очень скоро они придут в упадок, в котором пребывает и он сам; они станут подозрительными и ненавистными для народа, который потребует от них отчета в их преступной уклончивости; и чтобы вернуть утраченное доверие, однажды нужно будет занести топор гораздо выше, чем этого, возможно, потребовал бы разум.

В этом и состоит глубинное зло, зло постоянное, причиняемое нам сегодня правительством. Будучи неспособным — через свои палаты — дать нам институты, соответствующие Хартии, оно компрометирует, оно пожирает в составе администрации институты империи, ставя их на службу нашим врагам. Я далек от того, чтобы желать им долгой жизни, в них многое следует изменить, чтобы приспособить их к подлинным национальным интересам; но в них есть и то, что нужно сохранить; и коль скоро они продолжают существовать, то в интересах блага, в интересах самого перехода, средствами которого они призваны служить, очень важно, чтобы они не были окончательно дис-

кредитированы в общественном разуме, чтобы они не оказались полностью обесчещены, раболепствуя перед старым порядком. Что ответят здравомыслящие люди людям вспыльчивым, когда в один прекрасный день те им заявят: все это ни к чему не привело; все это ввергло страну в опасность и оставило без защиты; нужно все изменить и искать где-то в ином месте средства, которые были бы менее податливыми по отношению ко всем системам, ко всем проектам. Они будут говорить об осторожности, о необходимой медлительности, о губительных изменениях; все это туманные и не внушающие доверия фразы, когда они направлены на защиту того, что не имеет более ни доверия, ни жизни. Управляемая в соответствии с национальными интересами, нынешняя система администрации могла бы дать основания для ожидания, вероятно, она содержала в самой себе средства для самореформирования, могла, наконец, предотвратить взрыв, разразившийся в 1789 г. и направленный против институтов старого порядка, поскольку ни один из этих институтов ни в качестве органа, ни в качестве гарантии не выказал себя соответствующим потребностям страны.

Все, что я только что говорил об общественном образовании, шесть месяцев назад я мог бы сказать и о судах. Их вели к гибели, требуя от них любой ценой поддержать испуганную администрацию. Теперь же заблуждение, казалось бы, отступает. То ли оттого, что правосудие почувствовало опасность, то ли оттого, что пример Верховного суда, ведавшего делами о государственных преступлениях, оказал, как я предполагаю, спасительное воздействие, правосудие кажется менее расположенным следовать по пятам за политикой. Но тем не менее и здесь нам недостает гарантий. Нынешнее зло может быть приуменьшено; но когда политика дурна, правосудие всегда в опасности; оно всегда колеблется между притеснением и слабостью. Уже неоднократно г-н министр юстиции, казалось, верил, что судьям, присяжным не хватает решительности, что они не осмелятся выступить против партий. Это одна из тех опасностей, которые угрожают власти, когда та сама вверяет себя партии. Если бушует буря, если вся сила целиком концентрируется в одной точке, эта

сила ищет и находит людей покорных или страстных, рабски покоряющихся ее порыву или выступающих со своими собственными предубеждениями, со своей собственной яростью. Как только возвращается хоть какой-то покой, как только сама политика несколько отступает, в дело вступают слабость и робость, которые страшатся будущего и не желают ввязываться в дело. Создается впечатление, что общество нуждается в некоем возмездии за недавние жестокости. И люди стремятся выглядеть столь же снисходительными, сколь ужасающими они выглядели совсем недавно. Можно подумать, будто члены администрации, судьи извиняются за усилие, которое было им предписано совершить, и отдыхают от него; своего рода всеобщая мягкость, некоторое изнеможение самих общественных деятелей следует за чрезмерным напряжением всех их сил.

Я бегло просматриваю общие постановления администрации; немногие из них заслуживают внимания. Именно при помощи инерции администрация пытается замедлить продвижение старого порядка. Она оставалась неподвижной столь часто, сколь это было возможно без осложнения ситуации. Была предпринята попытка привить имперский двор к старому аристократическому двору; казалось бы, от этой попытки ожидали многого. Позднее я скажу, что думаю по этому поводу. Обычно средства правления искали именно в практике старого порядка или в практике, заимствованной у него Бонапартом, забывая при этом, что для Бонапарта они имели значение, которого не имеют сегодня. Единственный акт, обнаруживший подлинные черты представительной системы, — это заем, открытый г-ном Роем. Там действительно была конкуренция, там царила гласность. Результаты соответствовали введенным в действие принципам.

Величайшим свершением правления была внешняя политика. Именно здесь со всей полнотой проявились природа его системы и общие последствия сложившейся ситуации.

Что говорили шесть месяцев тому назад, когда со всех сторон грохотали революции, когда в душах самых упорных недругов старого порядка с каждым

днем возрастал страх? И хотя писать об этом никто не осмеливался, но публично заявлялось, что следует признать все легитимное и необходимое в желаниях народов. Восставали против военных бунтов, против установления кортесов, но свободно пожалованные, разумно умеренные конституции превозносились; прославляли Хартию. В ней видели одновременно воплощение права и спасение.

Сила встретила на своем пути неожиданно благоприятные условия. Она сделала свое дело. Справедливость и мудрость исчезли вместе со страхом. Одна только сила праздновала победу. Что сделала Франция? Она продемонстрировала враждебность по отношению к побежденным и раболепие перед победителями.

Легко оскорблять слабых, легко насмехаться над опасностью, когда находишься в стороне от нее. Так высмеивают свои собственные тревоги; но это не важно; чем больше поколеблено доверие, тем более высокомерна победа. Однако действительно ли мы верим, что все уже закончилось, что нам уже нечего предвидеть и нечего предупреждать? Да, конечно, люди заблуждались относительно состояния их собственной страны; одни были увлечены слепыми страстями, других прельстили безумные, несбыточные мечты; здравый смысл отсутствовал; смелость нигде не возмещала недостаток здравого смысла. Но скажите мне, разве эти столь легко, столь быстро вознесшиеся правления не пали столь же легко и столь же быстро? Разве для того, чтобы охранять и защищать самих себя или защититься от европейской коалиции, у них было больше способности к предвидению, больше решимости, больше силы, нежели нам продемонстрировали народы в своем стремлении к свободе? Что представляет собой порядок вещей, при котором все поочередно то слабо, то немощно, при котором малейшее народное волнение обуздывает власть, при котором нескольких иностранных полков бывает достаточно и необходимо для покорения страны?

Всмотритесь повнимательнее: мы имеем здесь дело со странным состоянием, которое заслуживает изучения. Когда было объявлено, что конституция дурна,

что народ не способен быть свободным, ничего не было разъяснено; мы не смогли ни уяснить сути настоящего, ни познать секрета будущего. Наверняка вы не осмелитесь утверждать, что абсолютная власть являет собой благое устройство или что ее сторонники продемонстрировали в Пьемонте и Неаполе больше отваги, больше умения, нежели противники. Совершенно ясно, что преобладающая внешняя сила смело разрешила вопрос, положила конец развитию событий. Контрреволюции в еще большей степени неестественны, еще более произвольно навязываются стране, нежели революции; и если революции казались произведением неумелых партий — либо разрозненных, либо имеющих слабую поддержку, — то контрреволюции могли быть осуществлены лишь при помощи иностранных партий.

Взгляните же, куда вы переносите вопрос и какое поле действия вы избираете. Если вы хотите ограничиться рамками одной страны, если рассматриваете каждый народ изолированно и сам по себе, то дело совершенно ясное; старый порядок здесь слаб, не имеет особого влияния; потребность в конституционном порядке преобладает, его ведет доверие, сколь бы значительны ни были ошибки его сторонников, сколь бы безразличны ни казались массы к этому вопросу.

Но если нужно объять всю Европу и перенести вопрос на этот обширный театр, то — будьте внимательны! — он меняет здесь свою природу. Здесь мы имеем две империи, две громадные империи, которым не нужно отвергать или ожидать Хартии, от которых до сих пор не требуют и, быть может, не потребуют еще несколько веков конституции, — это Австрия и Россия, чуждые тому великому действу, что разыгрывается между порядком старым и порядком новым. Речь не идет о выяснении, каким образом следует обращаться — вообще и, в частности, в Европе в целом — с конституционными потребностями. Вы призываете суверенов, которым в своих странах нечего беспокоиться о том, чтобы привести правителей народов, мучимых этими потребностями, в состояние управлять таким образом, как будто бы потребностей этих не существовало вовсе. Вы хотите, чтобы император России

и император Австрии поступили бы в отношении Неаполя, Пьемонта или Испании так, как сто пятьдесят лет тому назад Людовик XIV действовал против Англии.

Вот что мы находим, когда приподнимаем эту груду декламаций и предлогов, которыми их пытаются прикрыть. Неправда, что вопрос стоит о всеобщей борьбе между порядком и анархией, законностью и узурпацией; неправда, что правления, почти повсеместно подвергаемые нападкам, нуждаются в объединении, чтобы повсюду защищать себя. Вот в чем дело. В XVII веке в Англии народ, ощутивший угрозу своей религии, сделал громадный шаг в деле политической свободы. Весь континент тогда был совершенно чужд такому повороту дел. Людовик XIV, в ту пору контролировавший положение дел на всем континенте, попытался задушить в зародыше движение, которое его оскорбляло, но угрозы со стороны которого он не чувствовал. Людовик XIV потерпел провал. Из Англии конституционный порыв перекинулся на Францию — столь же беспорядочный, ужасный, каковым он был с самого начала и как случается тогда, когда власти не хватает одновременно мудрости и силы. И вновь Европа объединилась, чтобы его подавить, и вновь безуспешно. Из Франции тот же дух, те же потребности проникли в Испанию и в Италию. Правители Восточной Европы вступили в союз, чтобы задушить их. Обстоятельства изменили свою почву, но не свой характер. Это все та же борьба против абсолютной власти и за освобождение наций. Абсолютная власть отступает с запада на восток; но именно здесь она царит безраздельно, здесь, где ничто ей не внушает опасения, она находит точку опоры, чтобы вернуться в страну, в которой сама по себе она не способна заключить полюбовное соглашение и не может долее удерживаться. За деспотизм неустойчивый всегда вступается крепкий деспотизм. И на народы, требующие свободы, всегда натравливают народы, к ней безразличные. Дело разрешается вовсе не там, где оно обсуждается; вопрос решается совсем не теми, между кем он возникает. Обычно призывают чужеземцев, которые вступают в дело, чтобы пока что вынести свое суждение по во-

просу, в котором у них нет иного интереса, кроме защиты деспотизма да безграничного страха перед свободой.

Очень важно, таким образом, вскрыть подлинную природу этого факта, дабы оценить по достоинству его значение и его последствия. Пусть европейские правительства — все вовлеченные в единое движение, все подталкиваемые едиными потребностями — объединяются, чтобы предотвратить революции, чтобы своими силами и согласованно произвести повсеместно неотложные изменения в политических институтах, в социальном состоянии; подобный союз многим покажется подозрительным; но он, по крайней мере, будет признан, его мотивы будут единообразны, а услуги — взаимны. Однако в том союзе, о котором я веду речь, все обстоит совсем иначе; он заключен между правителями, призванными удовлетворить конституционные потребности, и правителями, не имеющими к таким потребностям никакого отношения; и именно эти последние и возглавляют союз. Совершенно ясно, что разворачивающаяся здесь борьба не есть борьба между революцией и реформой, что во избежание реформы используют власть, которой нечего бояться революций.

Неаполь и Пьемонт[14] могут сказать, действительно ли они хотели только избежать военных восстаний и отвергнуть постановления кортесов.

Теперь я хотел бы спросить: если дело обстоит таким образом, то какое поведение должно быть предписано французскому правительству? Ему предписано сформулировать этот вопрос иначе, не дожидаться того, чтобы между правительствами и народами возникли распри подобного рода, и, отринув произведенные изменения, возглавить реформы в противовес как поборникам революции, так и тем, кто эти реформы проводит. В соответствии с королевской Хартией оно правит свободным народом, чье стремление к свободе вовсе не революционно, но законно. Оно могло, оно должно было претендовать на то, чтобы направлять в Западной Европе конституционное движение, на то, чтобы его урегулировать, на то, чтобы возвести Хартию не на один трон. Оно сделало Хартию и Францию

зависимыми от абсолютной власти; оно создало положение, когда невозможно противопоставить Хартию конституции кортесов; оно подчинило свободный народ народам, таковыми не являющимися, и в противовес народам, стремящимся к свободе. И все его искусство, все его усилия ограничивались попытками не говорить на том же языке, что и чистый и доверчивый деспотизм. И это поведение, столь мало достойное Хартии и Франции, столь противоречащее показаниям настоящего, советам будущего, не было даже спонтанным и свободным; оно с необходимостью вытекало из внутренней политики кабинета министров; альянсы последнего и диктовали этому поведению свой закон. Но от правительства требовали и еще большего; высказывалось пожелание, чтобы оно плелось в хвосте деспотизма, чтобы оно скомпрометировало себя перед лицом всех возможных конституций, всех будущих свобод. Оно полагало, что выказывает много осторожности, много умения, внешне избегая бурных действий; ему запрещалось проявлять себя защитником народов; ему удалось быть лишь мрачным сторонником их врагов.

Что же это за политика, которая повсеместно сеет бессилие и упадок, которая отделяет Францию от конституционализма и осуждает ее на второстепенное положение в стане абсолютной власти; что же это за политика, которая в глазах одних делает страну коррумпированной, в глазах же других — ничтожной?

Я бы не стал входить во все детали этих презренных сделок. Я придаю мало значения сомнительным слухам и неполным сведениям. Настанет день, и мы узнаем, что было сказано, что было сделано, какие возможности были упущены и посредством каких действий удалось навредить тем, кого следовало защищать, не завладев при этом в глазах тех, кому служишь, авторитетом их силы и их согласия. Вполне достаточно самых общих и широко известных фактов для характеристики постыдной системы, для которой закрыта в равной степени как конституционная жизнь внутри, так и политическая жизнь извне, которая удерживается лишь тем, что жертвует всем и вся своему бесплодному существованию, которая обходит без-

умие своих собственных союзников, всегда и везде уничтожая Францию, которая по любому случаю прибегает к одной единственной науке — науке уловок, не имеет иного прибежища, кроме сферы неподвижности.

Я не хочу оставлять эти печальные события без того, чтобы извлечь из них уроки; они были преподаны всем партиям. Во всей полноте проявилась слабость старого порядка и абсолютной власти, оставшихся один на один с конституционными потребностями. Мы также были свидетелями того, что легкомыслие, дурные доктрины, чисто агрессивные институты, дух беспорядка и авантюры чинили опасности для свободы. Те же самые основания, которые так дорого стоили французской революции, которые еще и сегодня дают столь грозное оружие в руки ее врагов, в значительной степени способствовали неуспеху революционных попыток Неаполя и Пьемонта. Было бы заблуждением думать, будто теории, чаяния и слова, в 1791 г. столь решительно всколыхнувшие Францию, еще и сегодня действенны. Многие вещи были пересмотрены и не обладают сегодня подлинным авторитетом. В области политики сформировался известный опыт, охладивший пыл масс и отдаляющий сегодня многих добропорядочных граждан от тех рискованных предприятий, в которые они некогда пускались. Мы стремимся сегодня к свободе, но у нас нет больше глубокой веры в те идеи, в те формы правления, которые ее предвещали; и даже пытаясь отыскать свободу под их знаменем, мы привносим в эти идеи сомнение и беспокойство. Мы требуем конституций, мы их составляем; и часто, приняв их, считаем дурными. Мы хотим прибегнуть к восстанию, но испытываем страх и отвращение перед анархией. В средних классах нет более того восторга, того опьянения, что ослепляло их в отношении последствий народных бунтов. Их стремления остались прежними, их воля не стала менее решительной, но разум стал более холодным, более дальновидным; они уяснили, что изменение порядка ставит под угрозу также и их свободу, само существование. Они не доверяют более обещаниям; они хотят полных гарантий, которые бы удовлетворяли всем ин-

тересам, они хотят создания не столь опасных институтов, взвешенных прав, соответствующих фактам. Но когда все вызывает у них сомнение, они в недоверии отступают, либо вяло поддаются движению, кажущемуся им подозрительным. И даже народные массы, с которыми обходились более мягко и которые были в благоприятном положении, не ощущают такого накала своих естественных страстей. Их всегда легко подтолкнуть к беспорядкам; они не являются покорными по отношению к жертвам, не расположенным совершить те же усилия. Классы, занимающие высокое положение, лучше понимают, наконец, условия свободы и не ожидают ее от одного только факта восстания; над низшими же классами потребность в вольности имеет меньше власти, чем когда-то. Все это — очевидные факты, и я со своей стороны мало о них сожалею. Революции не должны быть авантюрами, в которые можно пуститься из подражания, следуя фантазиям, не соотносясь с правами и потребностями власти, не изучив состояние страны и ее положение, не соизмерив ее силы и ее шансы. Всем партиям следует знать, что ни одна из них не может произвольно распоряжаться народами и что никому не позволено ввергать все в опасность, повинуясь одним лишь групповым побуждениям или потворствуя собственным страстям.

После всего того, что здесь сказано, Боже меня упаси присоединиться к людям, которые наносят ущерб свободе несчастных народов и приписывают одной только трусости неуспех своих предприятий! Этот упрек в трусости опасен в употреблении, поскольку без разбору применяется ко всем партиям. Конечно же, не один благородный ум, не одно отважное сердце оплакивают сегодня то состояние, в каком оказалась Италия. Я разделяю страдания этих людей, хотя мало верил в успех их планов. Я горячо желаю, чтобы Испания, будучи более сильной, оказалась бы также и более мудрой и счастливой. Ее раздирают мятежные группировки; они уравновешивают друг друга, и, быть может, все они получают поддержку из-за рубежа. Друзья подлинной свободы должны всех опасаться, пресекать все подобные попытки! Надо преследовать зло, под какими бы знаменами оно ни высту-

пало; мы ничего не выиграем, если будем его щадить; и если бы якобинцы победили в Испании, они совершили бы не меньше зла, чем во Франции. Мы до сих пор несем в себе эту боль.

Новое и значительное дело той же природы с трудом прокладывает себе путь на Востоке[15]. Каким же образом державы Европы смогли бы вмешаться в него, не отрекаясь тем не менее от своих обычных связей и предупреждений политики? я бы не осмелился разрешить этот вопрос. На что здесь можно надеяться? я не знаю. Очень трудно стряхнуть столько веков рабства, трудно наконец освободиться от иностранного влияния, которое повсюду имеет место и с которым столь долго мирились. Но когда мы слышим, как оспаривается право на предпринимательство, когда видим, как под самым варварским нажимом проституируется идея и само слово «легитимность», то скорее пожелаем всего, чего угодно, нежели триумфа этого бесчестного оскорбления всего справедливого и святого. Непримиримые соперники в V веке широко использовали силу и жестоко карали сопротивление; но в их распоряжении не было никого, кто мог бы возвести силу в закон, а сопротивление обратить в преступление; я сомневаюсь, чтобы сегодня сами турки, задушив сопротивление греков, расценили бы их бунт как покушение на божественное право. Злоупотребление силой в сто раз хуже осквернения истины. Воспримет ли европейская политика эти постыдные утверждения в качестве своих собственных? Будет ли подступающий к ней со всех сторон террор настолько сильным, что сможет заглушить одновременно простейшие понятия справедливости и наиболее естественные инстинкты честолюбия? Возможно; возможно также, что интерес Священного союза возьмет верх над всеми прочими интересами, что грекам навсегда достанется удел бунтовщиков; и если случится так, что им удастся спастись собственными силами, если они смогут освободиться собственными руками, Европа все равно вмешается, чтобы воспрепятствовать превращению чрезмерно демократической конституции в источник заразы. И наше правительство, если оно доживет до того времени, возрадуется, что ему удалось избежать необ-

ходимости занять отчетливую позицию, — даже просто протекционистскую и мирную — вплоть до того дня, когда ему будет предписано негласно действовать против новой свободы!

К этому всегда будет сводиться вся политика нашего правительства. Никакое общественное право, никакие серьезные научные воззрения не являются его правилом и его лейтмотивом. Оно вовсе не думает о поддержании европейского равновесия, о сдерживании чрезмерного разрастания той или иной империи, о заключении того или иного договора, о том, чтобы Франции стать главой той или иной комбинации, созданной общим состоянием дел или предвидением будущего. На Западе оно не является ни конституционалистским, ни *ультра*, на Востоке — ни протурецким, ни прогреческим, ни прорусским, ни проанглийским; его бездействие не является ни осмысленным, ни желаемым; это вынужденная никчемность. И какое бы дело оно ни избрало, какое бы решение ни приняло, правление такого рода неспособно выйти вовне, не изменив своей внутренней структуры; оно не может этого, оно не желает этого. Повторяю: неподвижность — неподвижность Франции в Европе, как и неподвижность правительства в самой Франции — таково требование проповедуемой им науки и закон его судьбы.

Глава шестая

ПОДЛИННЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

Почему именно эта система? Почему новая власть, открывающая народам, самой себе новое поприще, выступает с самых первых шагов как застойная и беспомощная? Вокруг нее все пребывает в движении, все действует; каким бы глубоким ни был сегодня покой, социальное движение не иссякло; оно не изменило своего направления; вовлеченные в него классы продолжают подниматься; те же классы, что отказываются принимать в нем участие, отстают от него с каждым днем; раздел собственности, развитие промышленности, быстрое обращение капиталов, распространение

идей — все эти существенные элементы нового порядка распространяются и развиваются день ото дня. Умы людей не стоят на месте и тем более не регрессируют; и какими бы безразличными ни казались они на первый взгляд, они продвигаются вперед теми же путями; испытания, из которых родилось сомнение, отдаляются; воспоминания, породившие уныние, ослабевают; утомленные поколения просвещаются и уступают место поколениям активным; будущее приближается размашистым шагом; то, что вчера было лишь смутной мыслью, сегодня выступает в качестве осознанного желания, а завтра станет насущной потребностью. Что же это за правительство, которое не движется, не желает двигаться, которое не имеет будущего и не готовит его для себя?

Недальновидная неподвижность тем не менее не противоречит особым потребностям Франции, равно как и общему ходу вещей. Поинтересуйтесь различными мнениями, различными интересами; повсюду вы услышите разговоры, ведущиеся на одном языке. Сторонники конституционного режима заявят вам, что тот не имеет никакой реальности, никаких гарантий, что он требует своих институтов и развития. Сторонники же старого порядка провозглашают невозможность надеяться на порядок и устойчивость, если сейчас же не создать системы сил и законов, которая бы обуздала стремительное течение века и предупредила его всеобщее наступление. Врачеватели власти сами сожалеют о ее неустойчивости, недостаточной вооруженности, и каждый день, просыпаясь, казалось, испытывают страх, как бы ее не поразило огромное зло.

Если я присматриваюсь еще внимательнее, если глубже проникаю в мысль скопища людей — чиновников или простых граждан, друзей или противников власти, — я сталкиваюсь с тысячей сомнений, тысячей страхов по поводу расположенности страны по отношению к правящей династии. Казалось бы, все предполагают, что сила носит временный характер; все беспокоятся о ее будущем; все, даже молча, признают, что власть должна пустить корни, более тесно слиться с Францией, связать воедино интересы, еще питающие недоверие к власти, развеять предубеждения, нанося-

щие ей вред, наконец, в моральном состоянии, в инстинктах и предчувствиях этого народа изменить те моменты, которые пока что делают саму власть если и не чужеродной, то, по крайней мере, занимающей чересчур внешнее положение по отношению к общественному состоянию, они делают ее слишком слабо укорененной в потребностях и силах, которые считаются призванными определять будущую общую судьбу.

Конечно же, такая перемена, если она необходима, не будет результатом неподвижной и бездеятельной политики; она всегда небезопасна для властей, даже состарившихся в лоне старых государств; совершенно очевидно, что она противоречит положению власти, нуждающейся в основании, в проникновении и упрочении в недрах своей страны. Народу всегда легко доказать, что он заблуждается в своем недоверии к правлению, в своей отстраненности от него, что он безо всякого риска может полностью принять правление, совершенно доверившись ему. Но для подобного союза, в том случае, если он не является плодом времени, нужно прочно овладеть обществом, повсеместно изучить все его желания, его страхи, беспрестанно воздействовать на него, наконец, развернуть по всем направлениям дальновидную деятельность, а в рамках этой деятельности долгое время проявлять настойчивость. Я сомневаюсь, что в прошлом веке политика кардинала де Флери[16] сослужила хорошую службу французской монархии, и уверен, что она не была основой последней.

Таким образом, все ясно, все убедительно; все говорит и управляет. Как партии, так и публика, как интересы дома Бурбонов, так и интересы Франции — все протестует против системы правительства; все разоблачает беспомощность, скрывающуюся за этой неподвижностью; наконец, все требует политики, которая бы не была ни застойной, ни бесплодной.

Итак, я возвращаюсь к своему вопросу: почему именно такая система? Мне известен лишь один ответ на этот вопрос. Нас к этому вынудили; и больше ничего не известно.

Двойственная убежденность владеет нашими министрами; они считают, что революцией невозможно уп-

равлять и что контрреволюция невозможна. В этом весь секрет их поведения. Либеральные идеи, новые интересы, новая Франция — все это для них союзники, с которыми невозможно ни прийти к соглашению, ни жить, которые не знают ничего, кроме беспокойства, и стремятся только к нему, которые отказываются от любого стабильного и упорядоченного положения дел. Мы уже это испробовали, говорят они; мы хотели идти в этом направлении и опираясь на эти идеи; мы потерпели поражение: были разбужены анархистские теории, революционные страсти, которые истощили власть и ждали только случая, чтобы ее разрушить. Здесь нечем управлять. С другой стороны, было бы полным слабоумием предпринять попытку контрреволюции. Ее желает одна группировка, она ставит перед собой эту цель; но можно было бы отколоть от нее немало людей, которые бы довольствовались знанием того, что революция побеждена, им бы хватило барышей, принесенных произволом. В конце концов, можно управлять, используя методы и помощь старого порядка, не восстанавливая его. Это единственное оставшееся средство, поскольку невозможно ни управлять в соответствии с разумом и в союзе с конституционным порядком, ни уничтожить последний.

Таковы подлинные основания правительственной системы. Правительство не хочет примкнуть ни к какому движению, поскольку ощущает себя неспособным возглавить какое-либо из них. Оно отказывается как продвигаться к будущему, так и вернуться к прошлому. Оно бы хотело, чтобы не было будущего, чтобы не было прошлого, чтобы угасли всякая надежда и всякое воспоминание, чтобы человеческая мысль и деятельность, как и политика, оказались замкнутыми в узком пространстве сегодняшнего дня, переживаемого момента. И оно бы хотело этого, поскольку не умеет удовлетворить любой другой потребности, не знает, каким образом можно упорядочить какое бы то ни было действие, ведь правительство не обладает ни силой подавления, ни искусством управления, поскольку дошло до такой точки, что боится жизни, не способно ее ни с кем разделить, вне зависимости от ее принципа и цели.

Свершало ли когда-либо правление подобное отречение? Видел ли кто-нибудь, чтобы власть когда-либо вынесла себе такой приговор, полностью отказалась от всякого морального существования, замкнулась полностью в своей материальной силе, наконец, до такой степени изолировала себя от общества, что не смогла бы ни управлять им, ни следовать за ним, и общество, сделав один шаг, избавилось бы от нее?

В настоящий момент я не настаиваю на ни совершенной тщетности системы, ни на описании того состояния, в каком власть однажды оставит общество, когда то потребует, наконец, от власти движения. Я хочу исследовать, существуют ли сегодня легитимные оправдания. Нужно узнать, действительно ли новая Франция не поддается правлению, действительно ли, как утверждают, конституционный режим и конституционная партия не могут служить для власти полем ее деятельности и ее союзником, действительно ли у нас есть подобный опыт и действительно ли у власти есть право сказать нам, что такой возможности нет и что виноваты в этом мы сами. В этом, я повторяю, заключен скрытый источник любой правительственной деятельности; это аргумент, на который ссылаются сами министры, когда хотят оправдать в собственных глазах практические действия, в которых их упрекают, и оградить себя от того, чтобы все возрастающие затруднения собственного положения приписывать собственной неловкости.

Глава седьмая
О СРЕДСТВАХ ПРАВЛЕНИЯ ВООБЩЕ

Вот в чем состоит вопрос, к которому я подхожу. Я предполагаю, что власть решила отвергнуть старый порядок, осуществить Хартию, и для того, чтобы в этом преуспеть, избрала новую Францию в качестве своей главной точки опоры. Я спрашиваю, каковы в данной ситуации будут используемые властью силовые средства, средства для оказания влияния, методы стабилизации; наконец, каким образом, встав, наконец,

во главе новых интересов, власти удастся создать основание для самой себя, формируя в согласии с этими интересами правительство, которое бы им соответствовало.

Повторяю: в этом вопросе вся суть дела. Ни для кого не секрет, что новые интересы очень сильны и что любому, если бы он доверял власти, понравилось бы быть управляемым ими и управлять вместе с ними. Даже сам г-н де Ля Бурдонней[17], имей он выбор, ни секунды бы не колебался.

Но революция не поддается управлению; все, что она произвела на свет, — это анархия, сдерживаемая одним лишь деспотизмом. С революцией невозможно объединиться, поскольку она нападает на тех, кто ее защищает, чернит тех, кто ей служит, одним словом, она не может стать орудием создания свободного правления, поскольку не признает и не желает испытать на себе ни условия власти, ни условия свободы.

Я считаю подобные утверждения ложными и ставлю перед собой цель доказать их ложность. Это не означает, что я собираюсь все вменять в вину, все спрашивать с самой власти. Я не скажу ей, как это часто делают: «Будь справедливой, мудрой, твердой и не беспокойся ни о чем». Власть не свободна быть столь прекрасной только благодаря самой себе. Власть не создает общество, она его находит; и если общество действительно не способно помочь власти, если в нем царят анархистские принципы, если в своих недрах оно скрывает причины собственного распада, власти здесь нечего делать; человеческой мудрости не дано спасти народ, неспособный содействовать собственному избавлению.

Но такова ли новая Франция? Я отрицаю это и для подтверждения своих слов обращусь к фактам. Я буду следовать за ними вплотную. Я устраню любое заблуждение, любое угодничество. Я не собираюсь ничего утаивать, ничего предполагать, замалчивать препятствия или мечтать о преимуществах. Нужно войти в общество, которое создала для нас революция; нужно исследовать его до дна, пройти его во всех направлениях, спросить с него суровый отчет о всех

мнениях, страстях, интересах, тенденциях и посмотреть, действительно ли во всем этом нет ни принципов порядка, ни средств правления.

Я хотел бы прежде всего объяснить, каковым, по моему мнению, является предмет подобного исследования.

Власть часто бывает захвачена одним странным заблуждением. Она полагает, что самодостаточна, что у нее есть собственная сила, собственная жизнь, не только отличные, но и независимые от силы и жизни общества, на которое она воздействует подобно тому, как воздействует хлебопашец на землю, что его кормит. Что нужно хлебопашцу? Батраки, лошади, плуги: все это нужно приложить к земле, и земля покорится. Власть полагает, что находится в тех же условиях. Министры, префекты, мэры, сборщики налогов, солдаты — вот что она называет средствами правления; и когда она ими обладает, когда по всей стране образует из них сеть, она заявляет, что управляет, и удивляется, что еще встречает какие-то препятствия, что еще не имеет власти над всем своим народом, как над своими чиновниками.

Поспешу заметить: это совсем не то, что я понимаю под средствами правления. Если бы всего вышеперечисленного было достаточно, то на что же жаловаться сегодня власти? Она в высшей степени оснащена подобными инструментами; никогда еще не видели их в таком количестве и столь добротных. И тем не менее власть повторяет, что Франция не поддается управлению, что все в ней бунт и анархия; власть погибает от слабости среди своих сил подобно Мидасу, умиравшему от голода среди своего золота.

Все это оттого, что подлинные средства правления — не в этих непосредственных и видимых орудиях воздействия власти. Они сосредоточены в недрах самого общества и не могут быть от него отделены. Именно там следует их искать, если мы хотим их найти, и также именно там и нужно их оставить, если мы хотим ими воспользоваться. Благодарение небесам, человеческое общество — не поле, которое обрабатывает хозяин; общество живет иной жизнью, нежели разви-

тие материи; оно обладает и само производит свои самые надежные средства правления; оно охотно вверяет их тому, кто умеет с ними обращаться; но для того, чтобы их получить, нужно обращаться именно к обществу. Бесполезно претендовать на управление обществом посредством сил, внешних по отношению к его силам, посредством инструментов, выставленных на его поверхности, но не имеющих корней в его недрах и не черпающих оттуда принцип своего движения.

Внутренние средства правления, которые заключает в себе и может предоставить страна, — вот чем я занимаюсь, и я хочу знать, лишена ли их новая Франция.

Когда мы рассматриваем власть — не изолированно и не самое по себе, но в теснейшем и необходимом отношении с обществом, — ее действие представляется нам в двойном аспекте. Она должна взаимодействовать, с одной стороны, со всей массой граждан в целом, которых она вовсе не видит, не встречает, но которые испытывают ее воздействие и судят о ней; с другой стороны, — с индивидами, которых то или иное дело приближает к власти и которые находятся с ней в непосредственной и личной связи либо потому, что они служат ей, выполняя свои обязанности, либо потому, что сама власть испытывает потребность воспользоваться их влиянием. Воздействовать на массы и воздействовать на индивидов — вот что означает править.

Из двух этих частей правления власть склонна пренебрегать первой. Мелкая и неотложная забота взаимодействовать с индивидами поглощает ее. Нет ничего более обыденного, чем наблюдать за тем, как власть забывает о существовании народа, причем народа, к которому ведет все, что она делает. Из всех заблуждений власти именно это является для нее губительным, поскольку только в массах, в самом народе должна она черпать главные свои силы, свои первые средства правления.

Факты — это живая истина. И вот самые последние из них.

С 1795 по 1799 г. Францией пыталась — но тщетно — править Директория. Среди причин ее падения я отмечаю следующие. То было правление, посвятившее себя индивидуальным интересам и неспособное отвлечься от них ради интересов страны. Окончательно скомпрометированные, лидеры Директории занимались лишь сами собой; та же ситуация царила и в отношении большинства чиновников. Они беспрестанно занимались тем, что взаимодействовали с индивидами, льстя одним, угрожая другим, отыскивая в прошлом сообщников, в настоящем — союзников, в будущем — покровителей. Для них все представляло собой случай или предмет для переговоров, церемоний, особых стараний. Одна только Франция пребывала в забвении. Это правление пало, презираемое и оставленное Францией, о которой оно никогда не думало.

Что сделал Бонапарт, придя к власти? Он не оставил без внимания индивидов; они также были окружены заботами; но он главным образом занимался массами. Он сделал кое-что для каждого из людей, его окружавших, многое — для народов, далеких от него. Он признавал их потребности, предчувствовал их стремления, управлял их делами, поставил их интересы на первый план и стал популярным, он использовал полученную им от народа силу, чтобы покорять одного за другим индивидов, которых он имел основание опасаться или которых он хотел завоевать. Будучи изолированными, сосредоточенными на самих себе, якобинцы не смогли защитить себя, тогда как роялисты не смогли одержать победу. Опираясь на массы, Бонапарт очень скоро разделался как с роялистами, так и с якобинцами.

Но Бонапарт сам пал. Произошло ли это оттого, что он имел меньше индивидов в своей свите, что он меньше внимания уделял своим слугам или не умел завоевывать друзей? Конечно же, нет; ни один человек не был окружен таким кортежем индивидуальных интересов; ни один человек не обладал большими средствами и большим искусством обольщения и привлечения на свою сторону людей. Но он в свою очередь забыл о Франции; в свою очередь упустил из виду

массы и отделил свои дела от их дел. Он не черпал более в общественных чувствах и интересах первейшие средства своего правления. Все окружавшие его личные чувства и интересы были не в состоянии спасти его.

Общественность, нация, страна — вот где сила, вот откуда следует ее брать. Взаимодействие с массами — вот великое средство правления. Затем идет искусство взаимодействия с индивидами; это необходимое искусство, но оно само по себе немногого стоит и дает небольшой эффект.

Именно под этим двойственным углом зрения я бы хотел взглянуть на новую Францию. Я хотел бы знать, какие средства и какие препятствия встречает власть — как в склонностях масс, так и в настроениях индивидов. Я хотел бы выяснить, действительно ли препятствия превосходят средства и действительно ли, как это утверждают, невозможно преодолеть препятствия, чтобы извлечь пользу от средств.

Прежде всего я обращусь к массам. И объясню тому причины.

С самой общей точки зрения каждый народ, каждая партия обладают мнениями или, если хотите, господствующими в их среде предрассудками, интересами, которые ими управляют, страстями, что кипят в их недрах. Именно благодаря всем этим моментам народ позволяет собою управлять; это — те ручки, за которые можно его взять; здесь и сосредоточены средства правления, которые народ предоставляет власти. Рассуждая, мы разделяем их, но мы не смогли бы разделить их в действии. Утверждать, что можно познать одни из них, а вовсе не другие, служить интересам, забывая о верованиях или не принимая в расчет страсти, было бы безумием. Общество невозможно разделить подобным образом; в нем все сцеплено, его нужно брать в его целостности и уметь пользоваться одновременно всеми его элементами, всеми настроениями.

Каковы сегодня в революционной Франции господствующие мнения, общие интересы, общественные страсти? Быть может, в этих мнениях, в этих страстях, этих интересах мы найдем лишь беспорядочные силы,

основания анархии, опасности и препятствия для власти? Какие средства правления здесь скрыты и как можно их постичь? В этом вся проблема. Поставив ее, нужно попытаться ее разрешить.

Глава восьмая
НАЦИОНАЛЬНЫЕ МНЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ

Кому не доводилось слышать: мнения ничего не стоят, действительной реальностью и могуществом обладают одни лишь интересы?

Презренная избитая фраза раболепствующей политики! Щеголяя ею, политика выдает свое невежество; она доказывает, что ничего не понимает в управлении массами и привыкла иметь дело с одними индивидами.

Не нужно долго жить на этой земле, чтобы понять, что, когда мы рассматриваем отношения человека к человеку, беря череду людей, лишь немногие из них отдают всего себя защите какой-либо идеи. Убеждения редки; жизненные интересы неотложны; соблазн имеет тысячи секретов, совесть — тысячи уловок. Да, конечно, легко привлечь на свою сторону одного человека, затем десять, двадцать, и в этом ежедневном беге по кругу мнения действительно мало чего стоят.

Но что бы вы сделали для того, чтобы привлечь на свою сторону народ? Ну же, соберите все ваши средства, раскройте всю вашу науку; не теряйте ни дня, ни часа, ни минуты. Что вы можете дать миллионам людей, которые ничего у вас не просят? Что можете вы сделать для этих народностей, которые живут вдали от ваших глаз, которые вы с трудом можете даже пересчитать и которым о вас известно одно только ваше имя? А ведь и их нужно привлечь на свою сторону; нужно, чтобы они приняли вас и отдали бы вам всех себя; ведь если вас не будет объединять могучая связь, вы никогда не сможете ими обладать, а для того, чтобы управлять народом, им нужно обладать.

Но ведь у народов также есть интересы, скажете вы, общие интересы, которые нужно удовлетворить; и таким образом, не вступая во взаимоотношения с ин-

дивидами, обычно вступают во взаимоотношения с интересами.

Я бы хотел, чтобы эти столь уверенные в своем искусстве политики научили меня четко отличать в массах интересы от мнений, чтобы на моих глазах они произвели ясное и полное их разделение, чтобы они сказали мне, где кончаются одни и начинаются другие, чтобы они мне, наконец, доказали своим воздействием на народы, что обращаются к одним только интересам, что на одних только интересах они основывают свою власть. Я полагаю, что это вызовет у них серьезные затруднения.

Ведь нет ничего более пустого, более ложного, чем эти различия, при помощи которых пытаются расчленить общество, изолировать друг от друга движущиеся в нем силы, дать каждой из них имя и, наконец, призвать к себе только те из них, которыми более удобно манипулировать. Люди, считающие, что в процессе правления им удалось совершить сей труд, заблуждаются; это невозможно. Действительно интересы могут быть отделены от мнений или мнения от интересов; неверно лишь то, что одни из них представляют собой все, другие же — ничто. И те и другие теснейшим, сильнейшим образом спаяны воедино; всем им присуща и объединяет их своего рода нервная чувствительность; и когда власть воздействует на общество, я бы поручился, что она не может зачастую сказать, достигает ли она своего результата посредством мнений или посредством интересов. Власть одновременно воздействует на все, поскольку в теле, общества, как и в человеческом теле, ничто не является бесчувственным, все пребывает в определенной взаимосвязи.

Я хочу быть понятым. Позволю себе привести один пример.

Революция не создала никакого другого, более позитивного и более специфического интереса, нежели интерес стяжателей национальных благ. Разум без труда обнаруживает, что даже если бы все доктрины, все теории революции были отброшены и упразднены, данный интерес мог бы тщательно соблюдаться, даже мог бы быть защищен от любого оскорбления, как и от любого посягательства. И тем не менее разум со-

хранил о нем лишь смутные воспоминания; этот интерес не принадлежит к числу тех новых идей, с которыми в мыслях покупателей связана безопасность продаж. Отберите у мэров и вновь верните священникам ведение книг записи актов гражданского состояния — стяжателей национальных благ охватит тревога. Вы можете провести этот опыт с любой революцией; повсеместно вы обнаружите идеи в самом сердце интересов, а интересы — под покровом идей. Принципы породили факты; факты укрываются за принципами. Именно таким образом мир моральный и мир материальный в своем теснейшем союзе взаимопорождаются и являются гарантией друг для друга. Именно таким образом мнения, даже после того как они остынут и не дышат более энтузиазмом, сохраняют свою значимость и заставляют власть признать себя либо в качестве условия, либо в качестве средства правления.

В подобной области заурядные выражения, ставшие избитыми фразы являются хорошим доказательством: в них обнаруживается общественный инстинкт. Как называют сегодня людей, усердно защищающих новые интересы? В каких словах выражается похвала и доверие? Говорят, что это люди *привязанные, преданные принципам.* Мы слышим это повсеместно, и говорят это люди, которые слабо представляют себе, о каких принципах идет речь, и которые, со своей стороны, не придают никакого значения теориям. Но принципы — знамя интересов, а именно вокруг знамени объединяются массы.

До сих пор я не считался с идеями; я представлял их лишь на службе интересов; сила, которую идеи черпают из интересов, очевидна для самых заурядных политиков. Но идеи обладают и силой другого рода, которая, будучи более возвышенной, от этого не становится менее реальной и не признается только людьми, не способными ею воспользоваться.

Не одна революция потрясла мир; но ни в одной из них мнения, порывы человеческого духа не занимали такое место, как в нашей. Странное противоречие! Мы с ожесточением нападаем на принципы, доктрины, теории; мы преследуем их как нового рода стихийное бедствие; мы приписываем им все зло, что нам до-

велось вытерпеть; и в то же время рассматриваем их как пустые мечты! Мы содрогаемся перед лицом идей, но принимаем их во внимание только для того, чтобы испытывать перед ними страх! Во всем этом есть какая-то смесь дерзости и малодушия, вызывающая одновременно гнев и насмешку. Еще можно объяснить тот факт, что Людовик XIV с высоты своего трона и в расцвете своей славы увидел в «Телемаке» лишь сатиру, а в Фенелоне[18] — недовольного мечтателя; правление Саленте было и вправду лишь в некоторой степени несбыточной утопией благородного поэта. Но — осторожно! — времена изменились, мнения, о которых вы говорите, что они не имеют особого веса, разрушали и создавали империи; уверовав в даваемые ими обещания, народы устремлялись к бурному и неопределенному будущему; короли объединялись, чтобы противостоять веянию нового духа. И если после подобных опытов и в подобном состоянии власть испытывает к идеям презрение, сродни тому, которое мог в отношении них иметь сиамский король, то я уж и не знаю, какими словами квалифицировать такое бахвальство в таком ослеплении. Конечно же, политика всегда неудачно выбирает время для нанесения оскорбления теории. И пусть она перестанет содрогаться при одном только этом слове или признает, что теория обладает силой, с которой нужно считаться. Я вовсе не требую, чтобы теориям подчинялись; мне известно все, что есть ложного, пагубного в наиболее распространенных в наши дни мнениях, и я совершенно не намерен преклонять перед ними колени. Но факт серьезный, факт насущный состоит в том движении человеческого духа, превращающего сегодня мысль в, так сказать, мировую силу; в силу чувствительную и гордую, которая хочет, чтобы ей если и не повиновались, то по крайней мере чтобы ее понимали и ее уважали. Осыпанная как теориями, так и победами, Франция сегодня, казалось бы, пребывает в состоянии застоя как на поприще идей, так и на военном поприще; но эта остановка обусловлена усталостью, а вовсе не отвращением к теориям; страна не отказалась рассуждать, равно как и побеждать; полученный и возвращенный ею удар не из тех, что оборачиваются бессилием. Дух снова воспарит и

продолжит свой путь. Таким образом, политике совершенно не позволительно подходить к мнениям с высокомерным легкомыслием, она должна относиться к ним самым серьезным образом; в них сосредоточены мощные средства правления, равно как и тяжелые препятствия; и самая серьезная ошибка, в которую могла бы сегодня впасть власть, — это пренебречь мнениями, коль скоро она не смогла удержаться от того, чтобы не бояться их.

Я полагаю, что из всех идей, рассматриваемых главным образом как распространенные в новой Франции, можно выбрать идеи, которых так опасается власть, называя их анархистскими доктринами, и которых она столь неосторожно гнушается, именуя их теориями, и свести оные к трем следующим аксиомам, образующим в довольно многочисленном классе своего рода популярное *credo* в области правления:

суверенитет народа;

никакой аристократии, никаких привилегий, никакого узаконенного и твердого разделения общества на классы;

правительство — это слуга, которого следует принимать при двух условиях, а именно: если действия его будут минимальны и если оно будет покорным, а также будет исполнять свои обязанности за гроши.

В мои задачи не входит философское обсуждение этих аксиом; они заключают в своих весьма обширных недрах все вопросы, которые никогда не переставали волновать человека и мир, вопросы, которые невозможно разрешить походя. Я хотел бы только выяснить подлинный смысл, которым наделяет эти общие утверждения проповедующая их публика, даже если, не проповедуя открыто, просто верит в них. Я хотел бы выяснить, не включают ли они в действительности анархию, не делают ли каких уступок власти, не содержат ли в себе неизвестный росток какого-либо символа веры, какого-либо политического знака, способного стать знаменем общества, стремящегося к порядку, а также доктрины, признанной властью, которая хочет быть сильной.

Прежде всего, что же понимают сегодня под суверенитетом народа те, кто провозглашает себя его за-

щитниками? Действительно ли это постоянное и непосредственное отправление власти всей совокупностью граждан? Об этом не помышляли даже самые горячие сторонники этого принципа; они провозгласили, что народ сам по себе не способен отправлять власть, и сохранили за ним лишь право ее делегировать, т.е. право отказаться от власти, за исключением тех случаев, когда ее следует вновь взять, чтобы делегировать другим. Я войду в подробности этой гипотезы. Что понимается под делегированием власти? Есть ли это всеобщее избрание всех властей при использовании в случае каждых выборов всеобщего голосования? На деле об этом наверняка никто и не помышляет; в правовом же отношении подобное изменение суверенитета народа делает его еще более абсурдным. Оно кладет в его основание принцип, согласно которому никто не обязан подчиняться власти, которую не избирал, законам, которых не принимал. Во что же превращается тогда меньшинство? Оно не только не выбирало избранной власти, не только не согласно с созданными ею законами, но оно выбирало иную власть, хотело иных законов. По какому праву большинство будет вменять ему в обязанность подчинение? По праву силы? Но сила никогда не является правом. Нам скажут, что меньшинство может удалиться? Но тогда уже не будет народа; ведь поскольку большинство и меньшинство беспрестанно меняются местами, если в каждом случае меньшинство будет удаляться, то общества больше не будет. Значит, меньшинство должно остаться и подчиниться. Итак, суверенитет народа еще раз изменил свое обличье; он есть теперь лишь суверенитет большинства. Во что же он превратился в этой новой форме? Действительно ли меньшинство обречено на положение раба большинства? Или, быть может, большинство всегда право, всегда прекрасно все знает и желает только блага? Нужно выбирать: большинство либо всегда имеет права по отношению к меньшинству, либо оно непогрешимо. С одной стороны — беззаконие, с другой — абсурд. Конечно же, люди, связывающие с догмой суверенитета народа первопричину и успех свободы, думают совсем не так и стремятся совсем не к этому.

Так что же они хотят и к чему они стремятся? Какой смысл имеет для них эта так называемая догма, которая переходит от изменения к изменению лишь для того, чтобы оказаться каждый раз все более ложной и неосуществимой? И тем не менее люди ее проповедуют или, если они на это не осмеливаются, взывают к ней в глубине души и выводят из нее всю свою политику.

Вот вам факт. На протяжении многих веков правление современными народами имело своим принципом и своим правилом одни лишь частные интересы. Огромное количество людей не только управлялось, но и находилось в полном подчинении небольшой группы, которая, будучи единственной обладательницей силы, присвоила себе также и всякое право. Постепенно сила распространилась за пределы узкого огороженного пространства, в котором она пребывала; сфера богатства, просвещения, всех реальных преимуществ расширилась. Право этого малого числа было отныне поставлено под сомнение, а поскольку право может быть подвергнуто нападкам только со стороны права, то именно в большинстве стали искать право для того, чтобы разбить в прах право меньшинства. Так родилась теория суверенитета народа; она была разумным предлогом для практической потребности, точкой соединения, предлагаемой материальным силам вследствие смещения сил моральных, и в конце концов во имя идеи вопрос о власти был уже решен на уровне факта. То было простое, деятельное, вызывающее выражение, воинственный клич, сигнал к какой-то серьезной социальной метаморфозе, теория ситуации и перехода.

Когда ситуация стала уже не та, когда переход был осуществлен, теория рухнула, т.е. слова, ее выражающие, не пробуждали более тех же идей, не несли в себе тот же смысл. О чем шла речь в нашей революции? о том, чтобы победить меньшинство. Отныне суверенитет народа означал абсолютную власть большинства над меньшинством. И пусть революция закончилась и победа ее прочна, о суверенитете народа продолжают говорить, но понимая под этим словом просто правление общих интересов в противополож-

ность правлению тех или иных частных интересов. Вот что на самом деле понимают под словом «суверенитет» те самые люди, которые считают себя тесно связанными с теорией. Убедите их свести эту теорию к точным терминам, принять ее во всей ее строгости; они будут уступать позицию за позицией, будут теряться в объяснениях, полумерах, уловках; и этот так называемый суверенитет народа, столь ужасный из-за связанных с ним воспоминаний о войне, в их собственных руках сведется к тому, что станет лишь прочным и упорядоченным господством интересов, действительно господствующих при новом социальном порядке.

Вот и все, что есть легитимного, а также все, что осталось сегодня могущественного от этого принципа, который сам по себе является абсурдным и варварским. Именно поэтому власть может им манипулировать и упрочиться в рамках доктрины, которая, казалось бы, должна порождать одну лишь анархию. Пусть власть откажется от претензий на изолированное существование ради самой себя; пусть она согласится черпать свое право в соответствии своих действий разуму, справедливости, общему благу; пусть она будет беспрестанно и со всей покорностью доказывать легитимность происхождения превосходством своей природы — большего от нее не будут требовать; суверенитет народа не будет принят на вооружение и повернут против суверенитета, который признает, что он должен осуществляться только в соответствии с истиной и при условии, что ему удастся убедить в этом публику. Проповедуя в соответствии с собственным предназначением подобные утверждения, власть должна будет еще много сражаться, я это знаю; теория суверенитета народа десять лет служила орудием войны, оставив ужасающее опустошение; следы его мы еще находим в народных предрассудках и даже во мнениях людей, считающих себя достаточно от них далекими. Она оставила нам постыдное почитание большинства, ложное раболепие перед массой, истощающие и разрушающие язык и даже самое мысль многих сторонников свободы. Часто ими оказываются заражены наши идеи в области политических прав и институтов; даже отказавшись от принципа, мы еще не отбросили всех

его последствий; они воспроизводятся в привычках нашего суждения, и, когда представляется случай, мы мучительно пытаемся вернуть их в наши законы. Зло это велико, и его нужно лечить; но в чем же еще состоит призвание власти? *Я пришел ради тех*, говорит Христос, *кто болен, а не ради тех, кто здоров*[19]. Миссия власти состоит в том же; она должна иметь дело именно с социальными болезнями. Ее искусство заключается в том, чтобы найти в самом обществе нужную ей точку опоры. Однако здесь точка опоры совершенно ясно отмечена; она не существует ни в старой теории божественного права, ни в теории пассивного подчинения, ни в таинстве послушания власти. Это как раз и есть — да простят мне это выражение — прогнившие доски, которые не удержат власть в случае наводнения. Суверенитет справедливости, разума, права — вот принцип, который следует противопоставить принципу суверенитета народа; и последний рано или поздно отступит перед доктриной, полностью удовлетворяющей подлинным намерениям, равно как и законным потребностям общества.

И пусть власть не заблуждается на сей счет — ей не позволено оставаться в нерешительности и молчании в этом деле. Что же это за власть, которая не имеет никакого мнения о самой себе, которая не знает, ни что она есть, ни откуда она происходит, ни на каком основании она управляет? Двусмысленные ситуации — наихудшие. Вы выступаете в качестве помазанника Божьего? Скажите об этом смело; для того, чтобы заставить себе поверить, нужно верить в себя. Вы считаете себя избранником народа? Напишите это на своем лбу; для того, чтобы извлекать из этого пользу, этим нужно гордиться. Но прежде всего узнайте, что́ вы есть; открыто признайте ваше право. Ведь если вы мудро решили искать его в единственном источнике, из которого оно могло бы сегодня проистекать, если вы намереваетесь положить в основание вашей власти уважение общественных прав и интересов, не колеблясь, обращайте их себе во славу: не будьте снисходительны к предрассудкам прошлых веков, не бойтесь предрассудков революции. Общество нетерпеливо стремится к некоей более высокой и

более истинной доктрине относительно природы своего правления. Заявите, что ее принципом является одновременно легитимность и разрушение абсолютной власти, под каким бы именем эта власть ни скрывалась и где бы она ни располагалась. Такова истина; и признавая, проповедуя ее, вы обретете в тысячу раз больше силы, нежели представ вечно в тревоге перед суверенитетом народа, как будто бы вы сами верите в него — всегда ревниво стремящегося урвать еще хоть кусочек божественного права — и вы предполагаете связать с ним свою судьбу.

Я перехожу к второму из народных верований, от которого, по всей видимости, неотделима анархия и с которым так сложно обращаться.

Никакой аристократии, никаких привилегий, никакой узаконенного и твердого разделения общества на классы.

Именно в этом разумные люди, объявившие войну новому порядку, видят самое крупное препятствие установлению сильного общества и упорядоченной власти. Нет нечего более антиобщественного, нежели равенство, говорят они; оно не является ни естественным, ни возможным; всякая свобода есть привилегия, всякое превосходство — зародыш аристократии; свободы и превосходства стремятся получить гарантии и основания в виде законов: первые, чтобы стать правами, вторые — чтобы превратиться в средства порядка и правления. Таким образом, нужно, чтобы все ранги, сословия, профессии, общество в целом были иерархически классифицированы и конституированы. Без этого возможен только социальный распад, обусловленный независимостью индивидов, или равное унижение всех под эгидой деспотизма.

Прежде всего я хотел бы заметить, что если мы подходим к вопросу таким вот образом, то речь в данном случае идет совсем об иной вещи, нежели о мнении — речь идет о факте. Общественное мнение во Франции не только отвергает эту законную и твердую классификацию — здесь отвергается состояние самого общества. Люди, о которых я веду речь, это очень хорошо подметили; они сказали, что нужно бороться против наших нравов, изменить законы, перевести

привилегию из разряда политического в разряд гражданский, восстановить субституции, воссоздать корпорации, одним словом, переплавить все общество, без чего, как они заявляют, оно никогда не будет свободным и может даже умереть.

Я не собираюсь обсуждать эту теорию. Я вовсе не исследую, можно ли переделать Францию и как это следовало бы сделать. Что касается настоящего, то она в нем уже существует; я беру ее такой, как она есть, и занимаюсь только изучением того, как власть может взаимодействовать с определенными верованиями, народными мнениями, чтобы устранить препятствия, которые те ставят на ее пути, и даже найти в них средства правления. Я бы только сделал одно замечание. Если бы в VII веке в разгар анархии, нищеты, сокращения населения, разбоя, всех стихийных бедствий, во власти которых оказалась земля Франции, какой-либо из наблюдателей просвещенной эпохи оказался свидетелем подобной картины, он бы наверняка сказал: никакое общество не способно выйти из этого хаоса; в народе царят насилие, угнетение, разобщенность индивидов, все, что порождает разруху; он погибнет. Позвольте нам предположить, что Франция XIX века богата, больше численность ее населения, ее положение прочнее, она счастливее, сильнее, нежели Франция VII века. Однако же по прошествии двух или трех столетий из первого общества вышло общество, которое эти публицисты находят восхитительным. Успокоимся же; время прекрасно знает, каким образом можно совершенствовать добро, исправлять зло, восполнять лакуны, удовлетворять потребности, наконец, поставить каждую вещь на свое место и найти место для каждой вещи. Мы можем надеяться, что не будем испытывать недостатка во времени; и конечно же, ему предстоит у нас сделать гораздо меньше, чем у франков. Возвращаюсь к своему предмету.

Мнение, отвергающее сегодня всякую аристократическую организацию общества, имеет двойственное происхождение; оно проистекает как из воспоминаний о старом порядке, так и из теорий революции. С точки зрения фактов Франция более всего страшится старой французской аристократии. С точки зрения

права доктрина равенства стала своего рода расплывчатой, но достаточно сильной догмой, которая, не отдавая должного отчета о самой себе, внушает отвращение и подозрение ко всякой попытке упрочения социальных преимуществ, санкционируя их и давая им опору в законе.

Что касается первого отношения, то мне известно только одно средство взаимодействия власти с общественным духом, — его следует всемерно укреплять. Здесь невозможна никакая сделка, никакое колебание. Бонапарт смог пожаловать бывшей аристократии справедливость и даже покровительство. Бурбоны должны дать ей справедливость, как должны дать ее всем и каждому; сделать что-либо еще для аристократии они не могут. Я знаю, что слова эти суровы — суровы, как необходимость. Можно погибнуть, не признавая аристократии, и можно погубить тех, кому желаешь служить. Мое сердце не тверже, чем у других; я знаю, как объединяет людей общее несчастье, совместное изгнание; я понимаю и чту признательность, сопутствующую самоотверженности, привязанность, созревающую в невзгодах. Я даже достаточно далек от мысли, что короли должны кичиться безразличием и неблагодарностью. Не этим можно внушить безопасность и доверие народам. Но общественные дела никоим образом не подчиняются ни сиюминутным ситуациям, ни чувствам индивидов, а поскольку власть существует не ради самой себя, то она должна действовать, руководствуясь вовсе не тем, что ей близко. Вы сожалеете о предубеждении Франции против всей аристократии; мне это понятно; Франция видит рядом с вами призрак аристократии, избавиться от которого она бы хотела любой ценой. Устраните это свое окружение, вы еще не знаете всего зла, что оно вам причинило: оно не только заслоняет и отталкивает либеральную партию; оно сеет смятение и разброд в самой партии старого порядка. Набожность, ужас перед беспорядками, страх перед якобинцами подтолкнули к этой партии многих буржуа, новых людей, которые, казалось бы, не имели к тому никакого призвания. Ну так знайте же, что, даже встав на сторону бывшей аристократии, они сохранили по отношению к ней как к партии то

же недоверие, которое она внушает и своим открытым противникам. Не верьте тому, что если они не стали либералами, то превратились в аристократов; они избежали самой гнетущей, по их мнению, опасности, но не отказались от чувств, связанных с их первоначальным положением, равно как не перестали ощущать глубокой антипатии в отношении претензий и надежд своих союзников. При каждом удобном случае они спешат сказать об этом; они сожалеют, что вынуждены пойти на такие крайние шаги; с новой Францией их по-прежнему связывает отвращение к привилегиям; и как только национальная партия научится себя вести, как только она сумеет успокоить этих людей и удовлетворить их интересы относительно порядка, религии и морали, которые не без причины занимают прочное место в их сердцах, вы увидите, что они с радостью покинут ряды, в которые вступили, и вновь займут законное место под знаменами равенства.

Посмотрим же, каковы на самом деле принципы этого лозунга и не содержится ли действительно под покровом множества ошибок, антиобщественных предубеждений какой-либо значительной истины, которую бы власть могла принять и таким образом приобрести возможность привлечения на свою сторону столь значительного воззрения, символом которого выступает равенство.

Я не знаю такого случая, чтобы сильная идея, способная возбуждать людей и господствовать над ними, не имела в своем основании чего-то реального и легитимного. Именно это и составляет ее силу и основу доверия к ней. Идея равенства принадлежит к числу таких идей. Когда наступает день великих политических потрясений, она вспыхивает, сначала неотчетливая и беспорядочная, затем пробуждающая все человеческие страсти, враждебная всякому авторитету, любому сдерживающему моменту, сметающая все на своем пути и как бы преображенная чувством мести против социального порядка, который ее так долго подавлял. Мы были свидетелями подобного зрелища; оно отвратительно; и если что-то может опорочить человека, то это, наверное, зависть и ненависть, которые он выка-

зывает по отношению к самым прекрасным, самым легитимным преимуществам.

Но ярость ослабевает из-за своей чрезмерности и уверенности в своем бессилии. Очень скоро опыт доказывает вынужденным сторонникам равенства, что посредством преступления они преследуют химеры. Они, в свою очередь, занимают более высокое положение и приобретают привилегии, которые следует оберегать. Когда же обретены все преимущества, которых искал народ, требуя свободы, даже низшие классы успокаиваются. Они упрочиваются в положении, которое для них предстает наилучшим. Сформировавшаяся новая аристократия имеет общие с ними интересы и покровительствует им, защищая себя. Она сдерживает народ при помощи связей, которые объединяют его с ней. И тогда идея равенства появляется в своей более взвешенной и чистой форме, носящей то же имя, но не угрожающей более никаким привилегиям и не вызывающей той же ярости.

Именно в такой форме, по моему мнению, существует идея равенства теперь в умах вопреки всем дурным теориям и дурным чувствам, до сих пор еще связанным с ней. Эту идею можно свести к следующим положениям.

Никакие уловки не должны сдерживать восхождение или нисхождение индивидов в рамках социального порядка. Естественные преимущества, социальное превосходство не должны получать от закона никакой искусственной поддержки. Граждане должны оцениваться по их собственным заслугам, быть предоставлены своим собственным силам; нужно, чтобы каждый сам по себе мог стать, чем он может стать, и не встречал в институтах ни препятствия, которое помешало бы ему возвыситься, если он на то способен, ни помощи, которая поставила бы его в преимущественное положение, в котором он сам не может удержаться.

Я не колеблясь утверждаю это. Такова суть всей общественной мысли в области равенства; она доходит до этого момента, но не дальше.

Я знаю, что именно эти положения некоторые люди рассматривают как мятежные и антиобщественные. Сведенная к такому виду доктрина равенства

представляется им еще более опасным недругом власти. Однако же они боятся признать это; они боятся открыто нападать на чувства справедливости, принципы разума, которыми она вооружена, открываясь этой своей стороной. Они пытаются принудить ее вновь воспроизводить себя в чертах ненависти, обезличивания, анархии, под видом преступной и бессмысленной теории. Вот чего, по их словам, они опасаются и что они подвергают нападкам. Ложь: страхи их лежат в другой плоскости; в иную сторону обращены их удары. Их страшит свободная конкуренция индивидуальных сил, быстрая циркуляция социальных преимуществ; как и всякий достигнувший вершины, они хотели бы опрокинуть лестницу и мирно почивать на высотах, занимаемых ими одними. В этом отношении между политическим порядком и каким-либо иным поприщем не существует никакого различия; всегда и всюду встает вопрос о мастерах и главах ремесленной гильдии, т.е. об аристократиях, составляющих исключительную принадлежность, и аристократиях привилегированных. А поскольку личному интересу всегда необходима какая-нибудь доктрина, под маской которой он мог бы скрываться не только от других, но и от самого себя, то тут же возникает множество доктрин относительно невозможности управлять, сохранять общество, если преимущества всякого рода не получают в качестве оружия законы чужеродных сил, т.е. если они не освобождаются от обязанности бороться, чтобы побеждать, доказывать собственную необходимость, чтобы удержаться. Да, конечно же, это как раз тот самый вопрос, который нас разделяет; мы не отвергаем преимуществ, влияний; напротив, мы полагаем, что они должны поддерживать в порядке все общественные дела; мы хотим, чтобы эти преимущества были признаны, почитаемы; чтобы законы позволили, предложили им все средства для свободного осуществления, для установления связей с властью. Но мы требуем, чтобы они были лишены возможности стать эгоистичными и ложными, чтобы они, наконец, пользовались своим правом, чтобы они не смели узурпировать право другого и под предлогом защиты настоящего не лишили бы наследства будущего.

Такова наша доктрина; такова же и идея Хартии, когда она вписывает равенство в число общественных прав французов. Так пусть же власть объединится с Францией в этой идее; пусть власть ее открыто проповедует, проводит ее в практику; и тогда, не представляя угрозы для власти, идея эта станет в руках последней решительным средством правления. Принципом любви к равенству является только потребность в возвышении — одна из наиболее сильных потребностей нашей природы, поскольку именно она является источником нашей деятельности. Пусть для равенства все поприща будут открыты, пусть повсюду соперничество будет свободным; пусть повсеместно авторитет объединится с реальными преимуществами; и тогда равенство увидит, действительно ли этим преимуществам не хватает силы и влияния или они являются более полезными и более верными помощниками, нежели преимущества искусственно созданные и лживые. Оно узнает истинное значение ненависти ко всякой аристократии, которой его так пугают. Несомненно, революционная Франция не получила еще ни должной оценки, ни соответствующего ей основания; влияния в ней еще не установлены отчетливо и прочно. Во многих областях новые интересы ищут своих руководителей и не находят их либо находят крайне неудовлетворительных. Но это зло преходящее, неизбежное. Революционная Франция — это вчерашний день; она с трудом выходит из хаоса; сколько людей, на которых она хотела бы рассчитывать, так часто меняли свои принципы, партию, положение! Совершенно невозможно, чтобы подлинная, естественная аристократия нового порядка уже была сформирована, распределена по стране. Несовершенству аристократии должно быть вменено в вину и то недоверие, которое этот народ выказывает к преимуществам, открывающимся, чтобы вести его вперед; народ не знает, что они от него потребуют, являются ли они для него дружественными или враждебными, искренними или обманчивыми. Отсюда же проистекает и власть, которую еще сохраняют эти абсурдные революционные предрассудки, превращающие любое превосходство в преступление, любое влияние — в ловушку, предрассудки,

которые бы хотели держать общество в состоянии постоянного бунта не только против законной власти, но и против всех естественных властей, осуществляющихся в недрах этого общества, не имеющих ни имени, ни знаков отличия власти. Это плохо, это очень плохо; нам это известно так же хорошо, как и вам, и так же, как и вы, мы хотим задушить все зародыши анархии. Но поверьте мне, бороться против доктрины равенства вы будете не с помощью теории привилегий; вы заставите принять сдерживающие моменты и правила революции не путем попыток возвращения аристократии — крупной или мелкой — старого порядка. Именно в самой революции, в ее собственных принципах и заключены средства правления; выделив и приняв все, что есть в них справедливого и истинного, вы заставите общественное мнение признать и отвергнуть все то, что в них есть ложного и пагубного. Мнение дается тому, кто его любит, точно так же, как интерес — тому, кто ему служит. Мнению, стремящемуся к равенству, предстоит испытать множество исправлений и направляющих указаний. Оно отдало Францию в руки Бонапарта; внушите ему, что оно способно на лучшее, не компрометируя себя; оно охотно пойдет на это.

Тогда, и только тогда, вы сможете обратиться к третьему из политических верований, которые я предложил рассматривать либо как препятствия, либо как средства правления. Власть в достаточной степени слепа. Суверенитет народа и ненависть к аристократии представляют собой предмет постоянного ее страха, и она в меньшей степени озабочена другой, гораздо более пагубной, гораздо более сложной для манипулирования идеей, которую я изложил в следующих словах: правительство — это слуга, которого следует принимать при двух условиях, а именно: если действия его будут минимальны, если оно будет покорным и будет работать за гроши. Власть, всецело отвергая эту теорию, выглядит скорее уставшей от нее, нежели напуганной ею; она обороняется лишь в мелочах, очень часто позволяет ей то, в чем отказывает практике, и не видит, что это наиболее угрожающий, как и наиболее

известный из всех общественных предрассудков, оставленных нам революцией.

Я надеюсь, что сказал вполне достаточно, чтобы вы не составили себе ложного представления о том, что я собираюсь сказать. Именно сторонникам новой Франции предстоит как следует изучить природу и условия осуществления власти. Им предстоит создать правление — правление революции. Для того, чтобы преуспеть в этом деле, нужно нечто иное, нежели орудия войны и теории оппозиции.

Возьмите людей свободных, независимых, чуждых всякому предшествующему подчинению, объединенных одним интересом, общей целью; возьмите детей, предающихся играм, которые и есть их занятия. Каким образом зарождается власть в этих свободных и простых ассоциациях? К кому она попадает по своей естественной наклонности и с общего согласия? К наиболее отважному, наиболее ловкому, к тому, кто может заставить всех поверить, что он лучше всех способен ее отправлять, т.е. удовлетворять общей заинтересованности осуществить общий замысел. До тех пор, пока никакая внешняя и грубая причина не нарушит спонтанное течение событий, командует смельчак, ловкач. В людях, предоставленных самим себе и законам их природы, власть всегда сопутствует превосходству и раскрывает его. Заставляя себя признать, она заставляет и подчиняться себе.

Таково происхождение власти; другого источника она не имеет. Средь равных она бы никогда не смогла появиться. Преимущество прочувствованное и принимаемое — такова первоначальная и легитимная связь человеческих обществ; это одновременно и фактическая и правовая сторона дела; это подлинный, единственный общественный договор.

Что происходит в обществах, которые развиваются, а развиваясь, усложняются? Неодолимая сила без конца возвращает их к этому принципу образования, к этому закону их природы. Когда люди, действительно обладающие властью, оказываются неспособны понять и удовлетворить общие интересы граждан, либо когда они вовсе не желают принимать их во внимание и обращают в свою пользу все следствия своего положе-

ния, начинается борьба, которая может завершиться лишь разрушением общества или перемещением власти. Ведь если обществу не суждено погибнуть, то рано или поздно идея равенства должна победить, т.е. власть должна лишиться преимуществ, ставших ложными или антиобщественными, чтобы перейти к новым преимуществам, доказавшим, что они того заслуживают, и сделавшим это в интересах народов, которыми они будут приняты.

В этом весь секрет революций, это — объект свободных правлений. В частности, это конечная цель, равно как и фундаментальный принцип представительного правления. Целью последнего является как раз установление между обществом и властью естественного и легитимного отношения, т.е. попытка помешать власти в правовом отношении оставаться тем, чем она перестала быть фактически, заставить ее постоянно пребывать в руках людей, обладающих действительным превосходством и способных отправлять власть в соответствии с ее предназначением. Палаты, открытость парламентских дебатов, выборы, свобода прессы, суд присяжных — все формы этой системы, все институты, рассматриваемые как ее естественные следствия, в качестве своей цели и результата постоянно будоражат общество, высвечивают содержащиеся в нем преимущества всякого рода, заставляют их быть достойными этой власти под страхом потерять ее, принуждая их пользоваться властью только открыто и при помощи доступных всем средств. Эта система восхитительна, поскольку соответствует природе вещей, поскольку разрешает проблему союза между властью и свободой, с одной стороны, наделяя властью только преимущество, а с другой, — предписывая преимуществу закон, в соответствии с которым оно должно утверждаться, постоянно заставлять всех вновь и вновь принимать себя.

Что же вы будете делать, вы, утверждающие, что власть — всего лишь наемный слуга, достоинство которого можно унижать, которого следует довести до самого низменного положения как в его трудах, так и в вознаграждении? Неужели вы не видите, что совершенно неправильно понимаете достоинство природы

власти и ее связи с народами? Что за почести мы воздадим народу, сказав, что он подчиняется посредственности и получает закон из рук челяди! Или, быть может, нации образованы из высших существ, которые ради того, чтобы предаваться более возвышенным занятиям, содержат под именем правительства известное число низших созданий, на которых вместо существ первого рода возложена обязанность следить за материальной стороной жизни? Абсурдная и постыдная теория, которая равным образом игнорирует как фактическую, так и правовую сторону дела, как философию, так и историю, которая оскорбляет и разрушает одновременно могущество и послушание, которая так же истощает и наносит вред свободе и власти. Конечно же, зло существует в мире; подлинное превосходство не всегда обладает силою, но даже когда она в его руках, оно не всегда легитимно ее использует. Поэтому-то и существуют общества, пребывающие в волнении, неустойчивые правительства, свергнутые правления. Поэтому-то в институтах и законах нужно создать гарантии, с одной стороны, против господства ложного и непостоянного превосходства, с другой — против испорченности превосходства, наиболее реального. Но эти потребности социальных условий совершенно не меняют природы вещей. В самых общих чертах, они препятствуют лишь тому, чтобы власть принадлежала превосходству и, стало быть, чтобы превосходство не выступало естественным и легитимным положением власти. Власть существует не ради самой себя, но посредством самой себя; она создает себя собственными силами, и в процессе этого труда она управляет, как и полагается, дабы получить свободное согласие людей, над которыми она простирается. Признаем же пустоту и ложность доктрины, высокомерно отвергающей инстинкт народов. Неужели вы думаете, что, покоряясь Бонапарту, Франция думала, что она подчиняется наемному прислужнику? Она ощущала себя ведомой рукой, наделенной высшей силой, которая, даже касаясь зла, расточает энергию своей высокой природы. «Во мне, в моем ужасном разуме, — говорил сам Бонапарт, — жил правитель, который затягивал людей и вещи в омут моей воли». Говоря так, он

говорил правду, и следуя за ним, Франция верила в это, как верил и он сам. Конституционная власть ни по своим свойствам, ни по своему происхождению не хуже и ниже власти деспотической. Переходя от деспотизма к свободе, народы утрачивают господ, но вовсе не для того, чтобы заиметь слуг. Они получают руководителей, в руках которых власть совершенно не смягчается и которые, принимая необходимость действовать в соответствии с общим благом, не перестают быть первыми среди всех, главой государства.

Я решительно настаиваю на своих утверждениях, но не из пустого удовольствия опровергнуть теорию, а оттого, что там, где теория эта берет верх, она имеет самые пагубные последствия. Известно ли вам, почему за появлением этой теории всегда следуют Кромвели и Бонапарты? Потому, что высокоразвитые умы никак не могут смириться с тем, что их лишили владения, унизили. Они ощущают в себе власть и возмущаются положением, до которого их пытаются низвести. Они встречают в штыки эту заносчивость толпы, желающей видеть в своих чиновниках лишь своих подданных, одним словом, желающей, чтобы власть унизилась перед ней прежде, чем будет ею управлять. Они слишком горды, чтобы принять власть вкупе с оскорблением; а поскольку у них есть опыт общения с людьми, поскольку им известны все пути, какими людей можно завоевать, они применяют всю свою науку, всю свою силу, все свое превосходство целиком для того, чтобы их завоевать, полностью господствовать над ними. Можно было бы сказать, что они мстят обществу; что они хотят воздать ему презрением за презрение, унижением за унижение; что, наконец, они говорят себе в своей оскорбленной гордости: «Поскольку нужно, чтобы рабом был либо народ, либо власть, то им будет народ, а не власть, ибо власть — это я».

Взгляните: вследствие господства идеи, против которой я выступаю, деспотизм всегда обладает указанными чертами. Так эта идея совершает свое преступление — она извращает превосходство, приводя его в возмущение, она подталкивает его к узурпации, отказывая ему в его праве.

Если же, напротив, в этой борьбе власть не способна одержать победу, если она позволяет уязвлять себя унижающей ее доктриной, она теряет свою силу, утрачивая достоинство. В ней угасает всякое самосознание; она ощущает себя во власти неверной судьбы; она не может устоять под давлением противоречия, поднимающего между ее собственным положением и мнением о ней, между величием ее миссии и слабостью ее природы. Противоположности не могут прийти к согласию; невозможно командовать и быть ведомым, управлять и подчиняться, действовать как лидер и мыслить как слуга. Когда власть утрачивает ощущение своего права, когда общество утрачивает ощущение права власти, власть перестает существовать; власть и общество оказываются разделенными. Состояние это исполнено волнения и тревоги: общество, имеющее правление, поражается тому, что им не правят, власть, пошатнувшись, мечется в пространстве, которое она занимает, не заполняя его.

Из этого состояния совершенно невозможно выйти до тех пор, пока доктрина рабского удела власти не будет окончательно разрушена. Все должно повернуться к истине, между могуществом и покорностью, между чиновником и гражданином должны установиться легитимные отношения. Поставьте против деспотизма все барьеры, которые только можно создать; дайте свободе все гарантии, которые вы только можете придумать; это ваш интерес, ваш долг, ваше право. Вы никогда не получите слишком прочной защиты; еще предостаточно дверей останутся открытыми для произвола и несправедливости. Но не требуйте от власти самоотречения в унижении; не оспаривайте у нее величия ее природы; пусть у нее будет достаточно чести, чтобы вами управлять, а у вас — чтобы ей подчиняться. Превосходство может и должно жертвовать собой, но никогда — раболепствовать. Подлинная власть может быть только властью уважаемой, а уважение может выпасть на долю только превосходства.

Когда уважение существует, когда общество признает, что управляющая им сила имеет над ним право, когда эта сила и общество объединяются в ощущении их обоюдного достоинства, насколько оказываются

пустыми, как быстро исчезают все последствия ложной доктрины, которая, предполагая, что государство является лишь необходимым слугой, пытается свести к минимуму его воздействие на общество и иметь городское начальство, главу общества лишь при условии, что они будут никчемными или почти что никчемными. Глава общества — ничтожество! Городское начальство, размещенное то здесь, то там, как машины, вмешивающееся в суть дела только в определенный день и час, в редких и заранее определенных случаях! Какая химера! Какое непонимание дел человеческих и течения жизни! Я бы еще понял, если бы вся эта теория была направлена против власти, которую пытаются разрушить, — орудие подходящее и дает надежный результат. Но если мы пытаемся принять эту теорию в качестве правила, когда речь идет об основании нового порядка, о формировании прочной власти, то мы совершаем огромную ошибку. Как и любому другому, мне известно, насколько ужасна и губительна мания всем управлять; не секрет и то, какой простор должен быть оставлен коммерции, промышленности, развитию индивидуальной деятельности, социальных сил, и то, насколько власть портит и запутывает все дела, когда некстати касается их. Нам слишком много довелось вытерпеть от попыток деспотизма все знать и во все вмешиваться, чтобы мы могли сохранить в отношении них самое законное их неприятие. Я бы охотно согласился с тем, что власть должна вмешиваться только там, где это необходимо, и что очень часто она осуществляла вмешательство там, где ее присутствие представляло собой лишь зло и препятствие. Но, приняв это, мы тем не менее остаемся перед лицом открытого вопроса; ведь утверждение *laissez faire, laissez passer* — одна из тех смутных аксиом, которые, будучи истинными или ложными в зависимости от даваемого им применения, лишь предостерегают, но не направляют. Тюрго[20] как никто другой проповедовал это утверждение; но во время своего короткого правления он выступил в качестве министра, который внес наибольшее число уложений, постановлений совета; который вступил в отношения с наибольшим числом интересов и чаще других использовал при этом свой авто-

ритет. Вы скажете, что так было нужно; Тюрго употреблял свою власть как раз для того, чтобы уничтожить все препоны, все надоевшие вмешательства самой власти. Вы полагаете, что таких потребностей будет когда-либо недоставать на пути ясновидящей власти и что, если она того захочет, она не найдет случая для осуществления своей благотворной деятельности? Убогость дел человеческих слишком глубока, чтобы она могла быть исчерпана таким образом; чем больше совершенствуется общество, тем сильнее оно стремится к новым совершенствам. А вы будете рассматривать власть исключительно как орудие искоренения, наказания зла, как никогда не способную взять на себя инициативу в благих начинаниях? Химерические претензии на то, чтобы исказить ее отношения с обществом, вооружив ее с одной стороны и парализовав — с другой. Образумьтесь; власть никогда не согласится на это, да и общество не пережило бы такого согласия. Когда обществу подходит его правление, когда оно ощущает свою жизнь в этом правлении, когда правление действительно выражает его чаяния и возглавляет его, когда они движутся вместе, объединенные общей целью, то именно к правлению обращается оно во благе, к которому стремится, и во зле, которого опасается; оно побуждает действие власти вместо того, чтобы избегать его. По причине теоретического террора общество избегает вмешательства силы. Британский парламент освободил Англию от папизма; в этом для нее было все. С тех пор власть парламента для Англии стала той силой, которой страна себя вверяет, к которой она обращается по любому случаю, не опасаясь за ее присутствие или расширение ее полномочий. Эта власть правит, руководит, сглаживает острые моменты доктрины, выносит решение о частных интересах; публика же не только подчиняется, но и все это одобряет, поскольку вопреки публицистам она совершенно не испытывает страха перед тем, что приносит ей спасение. Я не выношу суждения относительно этих фактов, я их излагаю. Я совершенно не верю ни в непогрешимость, ни, следовательно, в постоянную и всеобщую легитимность парламентского суверенитета. В правовом отношении этот суверенитет

имеет не больше оснований на абсолютную власть, чем какой-либо другой, и, быть может, фактически он осуществлял ее слишком часто. Я думаю также, что сила не всегда во всем пригодна и не может быть всегда спасительной; но, повторяю, совершенно бесполезно на практике и абсурдно в теории пытаться свести правление к подчиненной и почти бездеятельной роли. Правление — это глава общества; и в том случае, когда общество считает эту главу легитимной, именно в нем резюмируется и выражается социальная жизнь; именно ему принадлежит и на его долю естественным образом выпадает инициатива всего того, что составляет общественный интерес или возможность всеобщего движения.

Когда подобное правительство действительно существует, попробуйте дерзко поговорить с ним о его вознаграждении; попробуйте упрекнуть его за жалованье и принудить унизиться перед вами для того, чтобы это жалованье получить. Оно ответит вам, что ведет дела общества, что общество знает об этом и хочет, чтобы дела его вершились хорошо. Вы правы, вы совершенно правы, утверждая, что нельзя требовать от граждан лишнего экю, которое бы не шло на общее благо. Вы имеете право получить полные сведения о том, каким образом создаются и используются общественные доходы. Но у вас нет ни основания, ни права утверждать, что все должно измеряться деньгами и что только в силу этого наименее дорогостоящее правление является наилучшим. Назначьте же цену свободе, процветанию, славе — всем этим следствиям хорошего и прочного правления. Император России взимает гораздо меньше налогов и использует гораздо меньше чиновников, чем король Франции. Говорит ли это о том, что русскими управляют лучше, чем нами? Как бы не так! Эти вопросы не столь просты, и подлинная экономия никогда не может быть сведена к цифрам. Огромное значение имеет избрание депутатов, обсуждение своих законов, пользование безопасностью людей и благ, свободой и печатью, хотя механизм, обеспечивающий эти преимущества, стоит очень дорого. Вследствие революции и построения нынешнего нашего социального состояния во всей Европе

одна только Франция знает сегодня, что́ ей сто́ит правление. Сумма эта значительна, согласен; если она превосходит потребности, ее следует уменьшить. Но привилегии, главы ремесленных гильдий, религиозная нетерпимость, беспорядки, деспотизм стоят гораздо дороже, хотя внешне порой они требуют меньшей оплаты. Впрочем, потребность есть мера неясная и мало удобная для оценок. Она должна постоянно и тщательно обсуждаться — вот в чем состоят ее гарантии. Никогда правление не должно быть освобождено от необходимости доказывать свою полезность; но ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы оно, победив или потерпев поражение в этих дебатах, выходило из них ослабленным и униженным.

Именно правление должно об этом заботиться, так как только оно и может здесь преуспеть. Именно от самого себя должно оно ожидать как достоинства, так и силы. Они никогда не достаются тому, кто не умеет их получить. Я только что обсудил наиболее употребимое, как и кажущееся наиболее правдоподобным из общих воззрений, о которых так сожалеет власть. Я не щадил его; но только одно правление может отрицать его и способно одержать над ним победу; это правление общих интересов, поддерживаемых и управляемых действительными легитимными преимуществами. Здесь все зависит от поведения и ситуации. У истины нет средств правления, которые подходили бы тому, кто не принадлежит истине. Пусть министр не заблуждается на сей счет; защищая власть, я защищаю не его. Напротив, я обвиняю его в том, что он скомпрометировал власть, оставил ее безоружной перед нападками ложных теорий. Вы жалуетесь на то доверие, которое они обрели, на ту дерзость, которую они расточают. Но что вы сделали, чтобы избежать этого? Встали ли вы во главе страны? Объединили ли вы вокруг себя ее естественных лидеров, людей, в которых массы верят и которым они вверяют свою судьбу? Призванные взаимодействовать с новой Францией, пошли ли вы по ее пути к той цели, что она преследует на протяжении тридцати лет? Вы были далеки от этого; вы отделились от нее; вы вошли в союз с ее противниками; вы захотели предложить ей выразителей ее мне-

ния, которые ее вовсе не понимают, лидеров, которых она совершенно не хочет; вы попытались осуществить насилие надо всем — над выборами, над печатью, — извратить одновременно и общество и его правление. Чего же вы тогда хотите? Как! Вы пытаетесь вернуть Францию под руководство прежних привилегий, которые она уже отвергла; и вы хотите, чтобы в них она увидела эти стихийно сложившиеся и подлинные привилегии, к которым безо всяких усилий переходит власть! Вы обрекаете своих чиновников на то, чтобы задушить то, что существует, и выявить то, чего нет; и вы требуете, чтобы население сплотилось вокруг них, чтобы оно приняло их как свои самые искренние и легитимные орудия! Наконец, вы трудитесь над тем, чтобы превратить власть в огромную ложь; и вы требуете, чтобы она обрела то уважение, то высокое положение, то свободно принимаемое превосходство, что присуще одной только истине! Вы наносите слишком серьезное оскорбление здравому смыслу. Ваша власть ложна, искусственна; не ждите, что Франция будет относиться к ней так же, как она относилась бы к власти естественной и истинной. Ваша власть имеет свои корни не в национальной почве; не льстите себя надеждой, что под ее сенью будет упрочаться нация. Терпите же последствия ситуации, которую вы сами избрали; она обрекает вас на то, чтобы в общественных предубеждениях видеть лишь препятствия, на то, чтобы не суметь извлечь из них никакого средства правления, которое они дают в ваши руки. Да что я говорю? Зло идет и еще дальше; именно вы оживляете все, что есть ложного и антиобщественного в общих понятиях о суверенитете народа, аристократии, природе власти; именно вы вносите сомнение в силу и доверие. Франция охотно обменяла бы суверенитет народа на суверенитет права, ненависть к аристократии — на подлинные принципы равенства, рабскую услужливость власти — на господство естественных и действительно социальных привилегий. Но вы можете предложить ей только абсолютную власть де Бональда, непогрешимость де Местра и пассивную покорность де Ла Меннэ[21]. Конечно же, было бы совершенной глупостью пойти на подобную сделку. Заблуждения заблуж-

дениям рознь, она предпочитает свои собственные вашим, а хоругви старого порядка для нее более подозрительны, чем стяг революции.

Повторяю: существует средство обращаться с политическими теориями, которые оставил нам минувший век. Содержащаяся в них доля истины дает власти точку опоры, достаточную, чтобы успешно бороться с тем, что в них есть ошибочного. Таким образом, если власть видит в этих теориях одно лишь препятствие и угрозу, то не теории она должна в том винить; она должна винить в этом самое себя, то ложное положение, в которое она сама себя поставила и которое заставляет ее с каждым днем все больше отдаляться от новой Франции, становящейся все менее узнаваемой и менее подвластной власти. Посмотрим же, действительно ли интересы революции имеют иную природу и могут управляться иначе, нежели ее верования.

Глава девятая
НОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ

В речи, произнесенной в 1820 г., де Виллель в качестве председателя собрания выборщиков Верхней Гаронны выступил против различия между старыми и новыми интересами, которое он квалифицировал почти как бунтарское. «Если бы подобное различие существовало, — сказал он, — то нам оставалось бы ожидать только беспорядка и разрушения; королевство, находящееся в разладе с самим собой, не может существовать»*.

Точно так же и Бонапарт к концу своего правления обладал манией отрицать реальности, которые имели несчастие ему не нравиться. Я прошу прощения у г-на де Виллеля: Бонапарт имел на подобные безрассудства гораздо больше прав, чем он. Нужно часто покорять, часто принижать факты, чтобы получить возможность, не выглядя слишком смешным, обращаться с ними с таким презрением; и одним только властителям мира

* *Le Moniteur*, 21 novembre 1820.

простительно до такой степени впадать в опьянение властью.

С каких же это пор факт перестает существовать только потому, что он несет в себе зло и угрозу? С каких пор общества, даже процветающие, освободились от раздоров, которые внутри обществ приводят к перемещениям власти, богатства, чинов и которые порой рождаются из самого этого процветания? Или, в том случае, когда раздоры уже имели место, могут ли они вдруг затихнуть, не оставив никакого следа, никаких последствий?

Я бы этого очень хотел. Но Провидение не столь благосклонно к людям. Когда ему угодно изменить облик обществ, не одно поколение ввергает оно в несчастие; по желанию партий не останавливает оно ход, однажды заданный человеческим делам. Наша революция была жестокой борьбой враждующих интересов; а иначе разве была бы она революцией? Эта борьба еще продолжается; а иначе почему же мы испытываем такой страх? Расхождение интересов будет существовать еще долго, даже после того, как борьба прекратится.

Я воспринимаю его, таким образом, как факт досадный, но совершенно определенный. И разрушить его способно вовсе не отрицание. Исследуйте пропасть, если вы хотите ее засыпать. Мне нечего больше добавить по этому поводу. Я не более, чем г-н де Виллель, склонен раздувать наши расхождения. Я просто считаю, что их следует изучить и даже признать, чтобы трудиться над их излечением.

Действительно ли в том брожении, что царит среди нас, новые интересы являются принципом анархии? Действительно ли их природа и положение делают их враждебными власти, и они не способны стать ее самыми верными помощниками, дать ей свои наиболее прочные методы действия? Как власть должна обращаться с ним, чтобы править с их согласия и при их помощи? В этом весь вопрос.

Как я уже говорил, вопрос этот решающий. Если бы власть умела пользоваться новыми интересами, если бы она полагала, что найдет в них силу и без-

опасность, она бы никогда не заключила иного альянса. Она отделилась от них только потому, что пребывала в трепете и считала себя в опасности. Поскольку дела обстоят таким образом, то стоит труда доказать, что власть ошибается, а также изучить, каким образом эти интересы и власть могут существовать вместе и получать взаимное подкрепление от своего союза.

Первый открывающийся мне факт, состоит в том, что новые интересы являются наиболее сильными. Я мог бы ограничиться этим и не идти дальше. Только в силу этого они являются естественными союзниками власти; именно с ними и должна объединиться власть. Пусть моралисты сдержат свои проклятия. Я совершенно не люблю силы и знаю, что есть случаи, когда честный человек должен отказаться от ее господства. Но честный человек должен отойти от дел, если он не желает присоединиться к победителю. Так пусть же правления устранятся, если считают, что их добродетель призвана сопротивляться, когда они не способны победить. Будучи уверенным, что они найдут это условие слишком жестким, я войду в соглашение с ними. Я соглашусь, что сила имеет свои превратности, что сегодняшняя сила не может быть таковой завтра, что даже преобладающая сила имеет свои заблуждения, в которых ей не нужно подражать. Но когда она предстает вместе с владычеством приговора Провидения, когда она обретает черты необходимости, было бы безумием отделяться от нее, пытаться упрочиться вне ее лона.

Я говорю, что есть что-то безрассудное не только в интересе власти, которая хочет жить, но также и в интересе общества, которое стремится упорядочиться. Только благодаря альянсу с сильными может существовать правление; так, и только так, оно может быть справедливым и упорядоченным.

Какова же в конечном счете цель интересов, поднимающихся против старого социального порядка? Это — получить в свою очередь преобладание, прийти к господству, дать обществу правление, которое бы принадлежало им. Сила вызывает и порождает анархию, чтобы сломить господство своих врагов; но лично для себя она хочет одного — власти. Когда же

она эту власть обрела, то требует только одного — упорядочить власть, поскольку это нужно для того, чтобы власть удерживать.

Католицизм в Англии был свергнут с престола в лице Якова II. Но не оттого, что он был католицизмом, а оттого, что, будучи слабым, он не мог дать Англии ни порядка, ни свободы, т.е. он не мог ею управлять. В лице обращенного Генриха IV протестантизм во Франции пережил ту же судьбу и по тем же причинам.

Революция совершенно не изменила законов этого мира и еще докажет их силу. Ее интересы вырвали Францию из старого порядка. Они одни могут управлять Францией. Порядок, свобода, стабильность, длительность существования могут быть порождены только господством сильных; в господстве слабых есть лишь беспокойство, тревога и причины новых потрясений.

Власть, следовательно, странным образом заблуждается, когда занимает позицию вне лагеря победителей. Тем самым она предает самое себя и изменяет собственной природе. Она покидает тех, кто хочет и должен обладать господством, чтобы перейти к тем, кто может требовать лишь свободы. Новые интересы дали деспотизм Бонапарту. У любого правления, которое будет искать поддержки старого порядка, они будут оспаривать свои самые естественные права, свои самые необходимые прерогативы. Своему лидеру они бы дали много и спрашивали бы с него мало. Но только представьтесь лидером их противников — они потребуют всего и не будут довольствоваться ничем. Такая ли ситуация нужна власти?

И пусть бы власть не знала, где сила, когда та еще не была обнаружена; пусть бы она не решалась к ней присоединиться, пока та еще не проявила себя в беспорядках и разрушении, — это я бы еще понял. Людовик XVI мог полагать, что революция не поддается управлению и испытывает неприязнь главным образом к монархии. Сегодня же все изменилось, я повторяю это, хотя об этом уже много говорилось. Интересы, которые для того, чтобы победить, выступали ранее в качестве нападающей стороны, теперь заняли оборо-

нительное положение, поскольку уже вошли во владение. Они являются обладателями не только с точки зрения факта, но и с точки зрения права. Хартия, сочтя их сильными, признала их легитимными. Такова вторая черта, естественным образом связывающая интересы с властью и указывающая ей на них как на своих лучших союзников.

Я хотел бы знать, на каком основании в противовес новым интересам бахвалятся словом *легитимность*. К подобным попыткам прибегают часто, и я не знаю узурпации более оскорбительной для короля, равно как и для Франции. Либо Хартия представляет собой обман, либо закрепляемые ею интересы одни только и являются легитимными. Ведь вслед за правами, которые она утверждает для всех, интересы, специально закрепляемые Хартией, суть новые интересы. И пусть старый порядок укажет нам, какие статьи Хартии относятся непосредственно к нему. В противном случае пусть он молчит и не кичится более тем, что право, легитимность к нему благосклонны.

Быть может, это происходит оттого, что Хартия является если и не обманом, то по крайней мере химерой и что в своем стремлении к тому, о чем она говорит, она не способна сделать то, что хотела? Именно это утверждают наиболее высокомерные из защитников старого порядка. Они отказывают в праве самой Хартии и утверждают, что напрасно она признала, напрасно санкционировала интересы революции, что она не сумела сообщить им легитимность, которой нет ни в происхождении, ни в природе этих интересов. В глазах этих людей старый порядок по-прежнему еще в своих правах; революция, Хартия — все это факты, способные принудить к подчинению, но не способные внушить почтение.

И вот мы опять вынуждены исследовать, не является ли революция просто бунтом, не порочна ли она в самом своем источнике и в своем будущем из-за пороков своего течения, не останется ли она навечно несправедливой в своих принципах и своих последствиях. Этот вопрос принадлежит будущему, и сторонники нового порядка не должны испытывать сомнений относительно того приговора, какой оно вынесет. Добав-

лю лишь несколько слов. Щепетильные поборники права, укажите же нам то господство, то общество, что сформировалось исключительно под покровительством права; назовите нам победу, не запятнанную разбоем и кровью. Наверняка вы не найдете таковой в вашей собственной истории; вы не привлечете ваши изначальные права для подкрепления сегодняшних. И коль скоро вы вынуждены признать вечное смешение силы и права в делах человеческих, прекратите возражать; никогда в революциях сила не несла в себе такой значительной доли права, как в нашей революции; никогда общественное потрясение не происходило на основе принципов, которые бы содержали в себе столько истины. Легитимность — полная и чистая — не принадлежит никакой партии; но легитимности новой Франции нечего унижаться перед вашей легитимностью. Эта Франция вчера одержала над вами победу, и вот она уже предлагает вам поровну разделить плоды победы; и вот она уже просит вас только об одном — не развязывать новых сражений. Прошло более ста лет с тех пор, как католики в Англии потерпели неудачу, и они до сих пор пребывают под гнетом этого своего поражения; совсем недавно вы сами испытывали страх, ожидая, что право будет на их стороне, настолько оно внушает вам отвращение. Вам, отвергающим право, никоим образом не пристало требовать его именем привилегий. Ваши теории легитимности — лишь маска, скрывающая самые несправедливые интересы, причем маска весьма прозрачная, которую вам лучше было бы обронить.

Таким образом, я восстанавливаю новые интересы в их легитимности. Я говорю, что разум, равно как и Хартия, признают за ними легитимность, которая принадлежит им точно так же, как и сила, что они точно так же имеют основание стать опорой власти.

Кто же не видит, что власть по самой своей природе призвана отделиться от агрессивных интересов и окружить себя интересами консервативными? Власть существует; место ее — среди того, что существует; она испытывает потребность в порядке; ее сила — в защитниках установившегося порядка. Королю не нужно составлять состояния; его состояние уже сло-

жилось; так пусть же он им пользуется и дает шанс тем, у кого остается только этот шанс. У старых интересов таких возможностей больше нет; смирение либо рискованные предприятия, исполненные опасностей, — вот и вся их судьба. Ее ли следует разделить власти?

Вынуждена ли власть пойти по этому пути? Какой случай мог бы отложить осуществление общих законов вещей? Неужели новые интересы, обладающие как действительностью, так и правом, самим своим положением и своей природой призванные к объединению с властью, являются тем не менее для нее неприступными, непокорными ее действиям?

Подобное могло бы иметь место. Никакое положение не является настолько устойчивым, что не может быть утрачено; никакая сила не дается до такой степени спонтанно, что не нуждается в одобрении и искусном обращении. Здесь следовало бы всмотреться попристальнее, отойти от общих мест, ввести всюду имена собственные и выяснить, действительно ли король Франции не способен привести позитивные интересы революции к тому, чтобы дать ей все средства правления, в них заключеные.

Я начну со стяжателей национальных благ. Из всех новых интересов их интерес является наиболее очевидным и одним из наиболее уязвимых. Не существует ничего более могущественного и в то же время столь легко возбуждающего тревогу, чем собственность.

Король многое сделал для поддержания этого интереса, гораздо больше, чем Бонапарт. Он не только торжественно и многократно провозгласил его нерушимым, но и правительство в практике ведения своих дел тщательно оберегало этот интерес. Я не знаю, что происходит сегодня; но все то время, что я имел честь заседать в Государственном Совете, куда стекаются такого рода вопросы, я был свидетелем того, что правосудие очень бережно обращалось со стяжателями и сурово — с бывшими собственниками. Даже знаменитый декрет Бонапарта от 22 октября 1808 г. о вычетах никогда не применялся с такой строгостью. Закон от 5 декабря 1814 г., требовавший передачи не проданных владений, насколько мне известно, не получил

никакого незаконного расширения. И действительно, этот интерес совершенно не пострадал.

Более того. На протяжении двух лет власть со своего рода притворством разместилась под сенью собственности, причем собственности вообще. Именно к собственности она взывает, собственность открыто проповедует; именно собственности власть доверяет и у нее ищет помощи. Стяжатели национальных благ — такие же собственники, как и все остальные; они участвуют в тех милостях, которые власть предоставляет собственникам. Почему же этот значительный интерес революции откажет власти в своей силе и поддержке, которую та от него получает?

И тем не менее, он ей отказывает; по крайней мере, я так полагаю; и вот каковы, по моему разумению, причины этого явления.

Когда власть пообещала общественному интересу покровительство и безопасность, когда она сдержала свое слово, она решила, что сделала все для поддержки этого интереса и обретения его доверия. Она заблуждается. Это еще не все. Я бы даже с легкостью заметил, что это не самое главное. Власть может примириться с интересами вовсе не тогда, когда устанавливает с ними непосредственные связи, и даже не тогда, когда она определяет и направляет их, так как не в этом интересы ищут секрет чувств власти в отношении самих себя. В делах такого рода более реальны и значимы факторы отдаленные, опосредованные, случайные. Интересы требуют, чтобы о них думали и тогда, когда о них не стоит вопрос, чтобы ими занимались тогда, когда их и нет рядом; они хотят занимать помыслы власти и тогда, когда та к ним не обращается. Они прекрасно знают, что власть говорит с ними не затем, чтобы им угрожать; они не опасаются того, что она открыто нападет на них, и готовы к тому, что от непосредственного контакта с ней не получат ни зла, ни оскорбления. Они осознают свою силу и не могут не знать того, что как только покажут себя, им будет предложено все, что им полагается. Но им нужно большего. Нужно, чтобы в их отсутствие, в любом случае, каким бы опосредованным ни было отношение, каким бы отдаленным ни казалось посягательство,

власть умела предчувствовать то, что может их затронуть, чтобы она радела за них таким образом, чтобы у них не было нужды самим знать о том, что о них следует побеспокоиться. Вот где ожидают они действий власти, чтобы по ним судить о ней; именно здесь и сосредоточены главным образом отношения, в которых власть может доказать, что она действительно существует, и заручиться доверием интересов. Своими налоговыми строгостями Бонапарт очень часто ущемлял стяжателей национальных благ; он даже неоднократно аннулировал торги, недействительность которых была спорна и сегодня не могла бы быть провозглашена. Но он бы не потерпел ни действия, ни фразы, которые исходили бы от его правления относительно совсем другого предмета и попробовали бы породить малейшее волнение. Он знал, что интересы опасаются главным образом страха, что страх может прийти к ним из множества точек, откуда не грозит никакое реальное зло. Именно этим пониманием чувствительности интересов, этой заботой об их защите, когда они не ощущают никакого нападения, этой спонтанной и постоянной бдительностью над самыми окольными путями, которые к ним приводят, только и может власть подвести их к тому, чтобы интересы рассчитывали на нее и передали ей силу, которой обладают. Одно только доказательство — причем доказательство самое косвенное — этого вездесущего внимания имеет над интересами больше власти, чем самое действенное покровительство, когда существует необходимость открыто его пожаловать или отказать в нем.

Вот что не признали, что не смогли осуществить министры. Когда они сталкивались с интересами лицом к лицу, они не оскорбляли их; но они часто забывали о них, когда те исчезали из виду. А когда они думали, что помнят об интересах, они не знали о силе тех отношений, что связывают интересы со всем, даже с вещами, внешне наиболее чуждыми им. Они, казалось, предполагали, что для того, чтобы поразить интересы, их нужно затронуть, что когда к ним не обращаются непосредственно, от них можно отвлечься. Это огромное заблуждение, тем более губительное, что его последствия, даже становясь очевидными, не

имеют иного воздействия, кроме того, что их не понимают те, кто не смог их предвидеть.

Я мог бы привести тому сотню примеров. Множеством действий, высказываний я мог бы доказать отсутствие памяти и бдительности власти в косвенных отношениях политики с новыми интересами вообще и в частности с интересами национальных собственников. Но нужно ли рыться в прошлом? Настоящее заявляет о себе еще более громко. Что можно сказать о компенсационных выплатах эмигрантам, предчувствия которых, подобно удушливой атмосфере, довлеют сегодня над Францией? И хотя мое мнение уже сложилось, я совершенно не хочу поднимать здесь этот вопрос; как с точки зрения морали, так и с точки зрения политики он заслуживает самого тщательного анализа. Я только спрашиваю, действительно ли, когда власть, замечающая возникновение данного вопроса, ничего не говорит ни о своих мыслях, ни о своих намерениях на сей счет, когда утверждения, за которые в 1814 г. был осужден г-н Дард, в 1821 г. в лице г-на Бергасса получили полное прощение и даже были признаны общественным министерством, — действительно ли мы вправе удивляться тому, что интерес национальных благ является только препятствием, но никак не средством правления.

Я подхожу ко второму интересу революции — не менее могущественному и, быть может, еще более грозному: интересу свободы совести. Здесь власть также ошиблась, ошибается без конца и превращает в препятствия силы, очень подходящие для того, чтобы быть использованными в качестве средств.

Очень часто мы были склонны полагать, что этот интерес замыкается в особом классе граждан — классе некатоликов. Ошибка велика; он носит гораздо более общий характер. Во Франции огромное количество людей, которые, будучи чуждыми протестантскому вероисповеданию, тем не менее желают сохранить в религиозном отношении свободу мысли и действий. Речь не идет более ни о борьбе между католицизмом и Реформацией, ни о терпимости, проявленной одной стороной, тогда как власть принадлежит другой стороне. Речь идет о судьбе всеобщего принципа, который фак-

тически царит уже на протяжении тридцати лет и повсеместно воспроизводится в нашем законодательстве; принцип этот заключается в том, что жизнь гражданская и жизнь религиозная совершенно различны, не должны оказывать друг на друга никакого законного и обязательного влияния. Вот в чем заключается ныне интерес свободы совести; вот каково его значение и его право. Даже если бы во Франции не было протестантов, право оставалось бы тем же; интерес имел бы еще широкую базу и достаточную силу.

Каким образом им управлять? Как с ним обращаться, чтобы его завоевать? Я мог бы ответить общей фразой, совершенно законной в данном случае: поддерживая, используя на практике принцип, выступающий гарантией данного интереса. Но нужно проникнуть вглубь этого вопроса.

Интерес к свободе совести волнует вовсе не власть. Совсем в ином видит этот интерес своих противников и подстерегающие его опасности.

Революция лишила католическое духовенство свободы и могущества. Это была львиная доля его влияния. Я говорю о львиной доле, поскольку мне кажется совершенно бесполезным утверждать сегодня, что католицизм, со своим численным превосходством, внутренней организацией, иерархией, догмами, воспоминаниями, сведен во Франции к простой и чистой свободе и не заключает с государственным правлением более тесного союза, в котором бы он в обмен на небольшую часть своей независимости получил немного власти. Таким образом, Хартия имела основания провозгласить католицизм государственной религией. На мой взгляд, отвергать сей факт было бы ребячеством и опасностью, поскольку его отрицание не означает его разрушения. Он таит свои проблемы; кто же в этом сомневается? Обращаться с ним трудно, очень трудно. Но и опасность, и трудность доказывают силу факта. Если бы его не существовало, если бы католицизм не был тем, что он есть, то не имел бы особого значения вопрос об отношении к нему государства. Однако таков, каков он есть, католицизм возьмет свое, что бы вы ни делали; так нужно позволить ему это. Здесь, как и везде, вопрос в границах, в

мере, в осторожности; но правления и не сталкиваются с другими проблемами.

Однако, понимая это, нужно также помнить и о том, что все опасения интереса свободы совести, под каким бы именем и в каком бы классе граждан он ни существовал, имеют своей причиной и своим объектом католическое духовенство. Настроения этого духовенства, его отношения с иностранным сувереном, его доктрины, его былое могущество, его откровенные сетования, его былой жар, который предстоит обрести вновь, бесконечные формы, в которых оно воспроизводится и действует, — все это источник народных и, не побоюсь этого слова, законных тревог.

Каково же положение власти при таком состоянии дел? Ведь опасения вызывает не она; напротив, именно от нее требуют отвергнуть завоевания духовенства, поддерживать его в рамках, отведенных для него конституцией, и в границах, обусловленных его миссией. Суверенитет, независимость власти — вот в чем видит свобода свои гарантии; совершенно не пытаясь стеснить или ограничить власть, свобода умоляет ту быть сильной, беречь себя, и только такой ценой она думает сохранить и самое себя.

Конечно, такая позиция удобна, но власть не имеет привычки поддерживать подобные отношения со свободой. Обычно именно к свободе, к ее силе она и питает недоверие; в данном же случае именно свободе и ее силе она может и хочет довериться.

Что же ее смущает и почему она колеблется? Быть может, ей не хватает оружия, чтобы защитить себя, средств, чтобы исполнить то, чего от нее ожидают? Быть может, могущество духовенства столь велико, а его существование столь глубоко, столь всеобъемлюще связано с существованием всего общества, что для правления крайне неудобно выказывать сопротивления его притязаниям? Быть может, король нуждается в помощи духовенства, чтобы взимать налоги, отправлять правосудие, для того, чтобы граждане рождались, вступали в брак и умирали на законном основании, одним словом, для того, чтобы политическая жизнь шла своим чередом, чтобы интересы гражданской жизни были упорядочены и удовлетворены? Наконец,

быть может, для того, чтобы пресечь незаконные притязания, нужно прибегнуть к преследованиям, к произволу, насильственным мерам, государственному перевороту?

Ничего подобного. Никогда еще материальная опора духовенства не была столь слабой; никогда еще земная власть не занимала столь прочных позиций, не была столь во всеоружии, чтобы сохранить свое превосходство. Принцип, о котором я только что упоминал, — полное разделение жизни гражданской и жизни религиозной — сделал в этом отношении гораздо больше, чем все прагматики и все постановления парламентов. Важнейшая проблема, причинившая столько неудобств королям и современным народам, проблема независимости земной власти, если и не разрешена, то, по крайней мере, значительно продвинулась в своем разрешении. У правления есть еще много проблем в отношениях с духовенством, но оно ни в коем случае не обязано более подчиняться его закону либо дорого платить за его признание.

Но если власть, побуждаемая самой свободой быть сильной и прочной, обладающей всем тем, что обеспечивает прочность и силу, тем не менее предает себя в своих отношениях со свободой, если она не умеет быть независимой ради самой себя, когда от нее ничего другого и не требуется, если она уступает, чтобы обнажить свою суть, если она подчиняется, когда должна была бы править, наконец, если она предает не только права народа, но и свои собственные права, то что же она хочет, чтобы о ней думали? На каком основании она жалуется, что не имеет доверия, если сама не верит в свои собственные основания?

Я говорю о правительстве, именно ему вменяю я в вину описываемое мною поведение. Я не буду приводить множества мелких фактов, подтверждающих мое утверждение. Вполне достаточно фактов общих, публичной и признанной политики. Разве не ясно, что в своих повседневных и все усложняющихся отношениях духовенство наложило руку на власть? Что при любых обстоятельствах, в самых незначительных, как и в самых серьезных дебатах власть, в основе своей не способная к сопротивлению, прилагает старание лишь

к тому, чтобы отступить столь тайно, столь благопристойно, что возникает огромное желание позволить ей сделать это еще раз? Как только подворачивается возможность уступить, она уступает; когда она пытается отказать — просит извинения; ее поступки, поведение, слова суть поступки, поведение и слова побежденного — печального, но немощного, поражение которого было бы совершенно постыдным, если бы былая мощь самого духовенства уже не угасла, если бы сила вещей не была таковой, что власть сама испытывает некоторое волнение за свое продвижение вперед и не осмеливается на все, что она еще может сделать.

Возьмите историю последнего заседания правительства, историю общего управления и в особенности историю общественного просвещения — сколько ложный теорий, оставшихся без ответа, сколько попыток узурпации, которым не было оказано сопротивления, сколько злоупотреблений без наказания; жизненный принцип всеобщности, принесенный в жертву мелким рассуждениям, законы, ордонансы, которые не только не исполнены, но едва признаны; всмотритесь во все эти факты и рассудите, сумела ли в этой борьбе власть, я не скажу, сохранить свои позиции, но, по крайней мере, сохранить свое лицо и выстоять.

Что произойдет, если я, применяя все сказанное по поводу национальных благ, буду исследовать поведение власти в отдаленных и опосредованных отношениях политики с интересом свободы совести; если я покажу, как власть беспрерывно будоражит этот самый чувствительный из всех интерес то своим забвением, то неосторожностью своих высказываний, смешивая свободу с терпимостью и удивляясь, что кто-то возмущен таким смешением*; наконец, если я покажу власть слишком непредсказуемой, слишком легковесной, чтобы она сама не могла внушить никакой тревоги, и слишком слабой, чтобы рассеять тревоги, исходящие от других?

---

* См. речь министра иностранных дел в «Le Moniteur» 21 мая с.г.

Таковы факты, и мы еще удивляемся их последствиям! В свободе совести мы имели самую решительную точку опоры, чтобы защитить интересы власти от нападок духовенства; мы позволили одержать победу над властью и захватить ее; и мы еще удивляемся, что интерес свободы, который должен был бы быть опорой, превратился в препятствие! Мы упрекаем его в том, что он не считает себя хорошо защищенным от опасности, от которой мы не защищены и сами! Чья здесь вина? От кого исходит зло? Действительно ли новые интересы неуправляемы? Или это правительство не умеет ни управлять ими, ни быть управляемым при их помощи, даже когда это ему необходимо?

Я мог бы таким образом бегло просмотреть новые интересы, нисходя от наиболее крупных к самым мелким; я бы обнаружил, что все они изобилуют средствами правления и расположены передать их власти, которая бы сумела этими средствами воспользоваться. Но нужно ограничить себя. Я сказал достаточно для того, чтобы показать, что принцип анархии заключен совсем не в этом классе интересов. Эти интересы сильны; и для того, чтобы пользоваться своей силой, они нуждаются в союзе с властью. Эти интересы легитимны; признавшая это власть закрепляет свою собственную легитимность, объединяя ее с легитимностью интересов. Интересы выступают в качестве обладателей; они требуют только сохранения того, что имеют; положение власти точно такое же. Все в положении интересов и в их природе сближает их с правлением, подталкивает их к принятию его в качестве своей главы и оказанию ему поддержки. Именно поэтому они отдали себя в руки Бонапарта, хотя тот по-разному оскорблял их; потребность в правлении, которому они могли бы служить, подтолкнула их к нему. Вы хотите знать, откуда исходит их тревога сегодня? Как раз из того, что мы не признаем их природу, из того, что их ставят совсем в иное положение, нежели то, что им подходит. Я скажу вам, что вы делаете. Вы вынуждаете собственников опасаться влияния их собственности, мирных граждан — не доверять порядку, сторонников свободы — сомневаться в совместимости свободы с прочностью завоеваний революции, богатых и дея-

тельных торговцев — не пользоваться в спокойствии преимуществами свободы и мира, просвещенные умы — искать в устаревших декларациях гарантий, которых те никогда не дадут, и которых они попусту испрашивают у реальности. Вы считаете, что все это придется людям по вкусу, что это — естественный ход вещей, к которому их подталкивают их интересы и их подлинные чувства? Конечно же, нет, они думают, они хотят совсем другого; они знают, что Франция нуждается в создании правления, и чувствуют, что им надлежит содействовать этому. Поэтому-то неуверенность их действий, колебания их желаний, быстрота, с которой они переходят от надежды к страху и от страха к надежде, — все доказывает, что вы поставили их в ложное положение, что они созданы для того, чтобы окружать, поддерживать упорядоченную власть, и что если они не идут вместе с вами, то делают они это в противовес их спонтанной склонности, стремлению природы вещей. Так для чего же вы отрекаетесь от них, заставляете их уклоняться от собственного пути и собственных инстинктивных устремлений? Для того, чтобы обрести союзников еще менее управляемых, поиному требовательных и губительных. Взгляните на старые интересы: насколько иначе они выглядят! Они слабы, поскольку уже потерпели поражение, и, неотступно преследуя власть, дабы узурпировать ее силу, они сообщают ей свою слабость. Они незаконны, так как они — вне Хартии, и они хотят, чтобы власть оболгала Хартию, скомпрометировала ее легитимность, чтобы вернуть им их собственную законность. Они агрессивны, поскольку им нужно полностью взять верх над новым обществом, и льстят себя надеждой преуспеть в этом под маской и руками власти. Они взывают не к искренней, естественной, сохраняющей власти, но к власти коварной и угнетающей, ведь им нужна революция, революция, осуществленная не путем народных беспорядков, которые для них недостижимы, но путем захвата и коррупции всего правления целиком. И если им недостаточно французского правления, если это последнее не имеет в своем распоряжении достаточно сил, чтобы позволить им осуществить свои намерения, они потребуют сил у всех прави-

тельств Европы; в поддержку своего неугомонного бессилия они призовут всеобщий деспотизм.

Повторяю, откуда проистекает анархия? Я не знаю, способны ли подобные интересы в определенный день сослужить службу власти, вставшей под их знамена. Но в чем я совершенно уверен, так это в том, что при их помощи невозможно ничего создать, поскольку они не содержат в себе никакого значительного, прочного средства правления, ибо в слабости и насилии невозможно обнаружить принцип длительности. Таким образом, слабость и насилие, являясь условием, потребностью, самой основой партии, напрасно попытаются какое-то время скрывать себя; рано или поздно они проявятся, и тогда всем будет стыдно за тесную связь с ними. Новые же интересы, напротив, быть может, поначалу трудны в управлении, но имеют то огромное преимущество, что, поскольку им принадлежит будущее, по самой своей природе способны приходить к спокойствию и порядку по мере своего продвижения вперед. Чтобы вернуться к старому порядку, нужно перешагнуть через новую Францию, и каждый день здесь сулит еще больше опасностей. Тому же, кто сумеет управлять новой Францией в ее продвижении, не надо будет ни через кого перешагивать, и путь перед ним с каждым днем будет становиться все более гладким.

Глава десятая
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СТРАСТИ

Общество состоящее из людей, устроено точно так же, как и человек. Подобно человеческой природе, природа общества бесконечно богата и разнообразна. Когда мы рассматривали внутреннее устройство общества, его воззрения, его интересы, мы далеко не исчерпали всего того, что в нем до́лжно знать и уметь, коль скоро собираешься им управлять.

Я хочу исследовать страсти новой Франции — ведь она обладает ими, и притом очень оживленными, способными в зависимости от того, как с ними обра-

щаются, встать на службу власти или восстать против нее.

К числу заблуждений неумелых правлений принадлежит и то, что власть рассматривает общественные страсти как своих открытых противников. Она видит в страстях причины беспокойства, средства оппозиции и умеет лишь строго наказывать их, когда у нее есть на то сила, либо бояться их, когда не хватает силы, чтобы их наказывать.

Всегда одни и те же попытки уродовать человеческую природу, забывать о какой-то ее части! Одна и та же неспособность увидеть все ее лики, осмыслить ее со всех сторон, ответить на все потребности, нести весь ее груз! А меж тем в этом-то и заключается миссия — да что я говорю! — насущная потребность правлений. Только те из них оказываются сильными, в ком получает отклик все общество в целом, те из них, кого никоим образом не видит оно бесчувственными, глухими или чуждыми к происходящему в его лоне, те из них, полное понимание и совершенное принятие которых общество ощущает.

Религиозные бури потрясают Англию. В ход пущены не только воззрения, интересы; страсти также разыгрались со всею силою. Безудержная склонность к теологическим спорам овладела страной. Как поступит Елизавета? Ограничится ли она проповедью господствующих воззрений, удовлетворением интересов протестантов? Елизавета сделает больше; она станет теологом, как и ее народ; она войдет в курс вопросов, занимающих ее подданных; достоинство или успех аргумента будут ей совершенно не безразличны; и объединившись таким образом с общественными страстями, она почерпнет в них новую силу и тем самым займет еще более прочную позицию в национальном чувстве.

Здесь также есть как средства правления, так и помехи. Здесь также есть силы, о которых невозможно забыть, не подвергаясь опасности, силы, которые можно плодотворно использовать.

Я готов немедленно согласиться с тем, что большинство страстей, оставленных нам революцией и Бонапартом, часто в значительной степени мятежны и антиобщественны. Но я утверждаю, что даже у них

есть чем поделиться с действием власти и что существуют и другие, лучшие, стесняющие власть лишь потому, что та не умеет привлечь их и заставить следовать за собой, использовать их с выгодой для себя.

Революция была столкновением не только двух интересов, но и двух гордынь, одна из которых была высокомерна, а другая раздражена. Привилегированные классы сочли крайне неудачным, что кто-то осмелился пожелать разделить с ними их общественное превосходство. Непривилегированные классы в ярости поднялись против законного низкого положения, в котором их собирались удерживать.

Эта двойная гордыня — наиболее сильное из чувств, которые разделяют и будоражат Францию. В особенности в новой Франции с обеих сторон имеет она все черты, всю значимость страсти. Для того, чтобы хорошенько уяснить себе, каковы сегодня ее последствия, нужно сказать несколько слов о тех превратностях, через которые ей довелось пройти.

В революционной борьбе прежние привилегии не имели больше силы. Они давно уже утратили ее. Крушение лишь обнаружило, но не обусловило их слабость. Новый народ одержал победу с упоением, и — да позволено мне будет заметить! — он был подобен подмастерьям, которым нужно не просто свергнуть, но еще и оскорбить своих мастеров, чтобы самим утвердиться в своем триумфе.

Когда Бонапарт взял власть, упоение прошло. На месте былого опьянения и из его собственного неистовства зародилось глубокое отвращение ко всем этим жестоким бунтам, этому торжеству посредственности, этим грубым оскорблениям ко всякому, кто требовал прав или сохранял хотя бы внешнюю оболочку превосходства. Эмигранты вернулись. Прежние высшие классы получили разрешение возродиться. Они утратили свои привилегии, значительную часть своих богатств, почести, должности. Им оставались лишь воспоминания и привычки их прошлого положения. Очень скоро эти обстоятельства приобрели большое значение. Нелегко низвергнуть социальные преимущества, даже когда убиваешь, и сила заблуждается, когда надеется на все, ибо она ни в чем себе не отказывает. Она не

могла лишить людей старого порядка более высокого образования, этой веры в себя, этой благородной и легкой непринужденности в обращении с властью, этой элегантности манер, языка, наконец, еще чего-то, что составляется из тысячи деталей и внезапно обнаруживает, что человек имеет высокое происхождение и вновь занимает свое место, возвращая себе эти черты. К названным преимуществам в пользу прежних высших классов присоединяется еще и все могущество справедливости, бесчестно нарушенной в их лице. Они воспользовались данным обстоятельством с поразительной быстротой. Бонапарт поспешил им в этом помочь. Хозяин новой Франции всецело ощутил себя на троне лишь тогда, когда увидел себя окруженным прежними господами. Через несколько лет высшие чины старого порядка превратились в излюбленное украшение имперского режима. Они устремились к нему со всем жаром, исполненным услужливости. Народ этому совершенно не противился.

Причина здесь — в том, что революция, уставшая от самой себя и вследствие усталости отказавшаяся от своих самых благородных прав, в сущности не опасалась за свои насущные интересы и сохраняла реальность власти. Своего рода инстинкт предупреждал ее также, что первейшая ее потребность — упрочиться изнутри, а в глазах Европы принять вид общества спокойного и упорядоченного. Наконец, революционные лидеры сами разделяли чувства Бонапарта. Подобно ему, им нравилось сближение с классами, которые предшествовали им в высших областях социального порядка. Они усматривали в этом одновременно и честь исправления страшных несправедливостей, и удовлетворение своего тщеславия, и, кроме того, определенную санкцию в отношении самих себя, к которой они стремились, всячески делая вид, что относятся к ней с пренебрежением.

Таковым было в 1814 г. соотношение двух гордынь. Они существовали бок о бок, в равной степени отказываясь от требований на взаимоисключение или взаимное унижение. Несколько месяцев спустя все изменилось. Несмотря на Хартию и либо вследствие ошибок управления, либо вследствие развития свободы

старый порядок, полагая, что его шансы более высоки, отбросил покорность и вновь взял на вооружение свое легкомысленное пренебрежение; революция же, не ощущая себя более суверенной, перестала быть терпимой, утратив спокойствие за свою судьбу. Нужно исследовать эту новую ситуацию.

Ее главной чертой, как и ее радикальным пороком, была лживость. Пусть же триумф празднуют там, где нет победы, пусть истинный, вечный победитель переживает видимость поражения как раз тогда, когда власть закрепляет свои успехи и свои права, пусть слабость питает надежду, а сила испытывает страх, — во всем этом есть противоречие, лживость, которую общество не может выносить и которая растет в нем вместе с тревогами интереса, всеми порывами страстей. Именно этому мы и были свидетелями. Именно здесь заключен секрет возрождения всех видов ревности, ненависти, революционных чувств, сожалеть о которых у нас есть все основания.

Но хорошо ли подумали об этом те, кто с такой помпой высказывает сожаления в адрес былых превосходств? Отчетливо ли они понимают их причину? Ведь это именно их, их систему изобличает сей факт. Не знаю, может быть, я и заблуждаюсь; но для меня в попытке навязать Франции, совершившей революцию и завоевавшей Хартию, в поведении побежденных есть нечто от невежества и слабоумия, которые мне сложно понять. И однако ж именно к этому стремятся, именно это ежедневно твердят сторонники старого порядка. Послушайте их: сама Хартия означает возврат к прошлому, приговор, вынесенный в адрес двадцати пяти лет нашей жизни и нашей истории. И каких лет! Лет, в течение которых разворачивалась величайшая сила из всех, которые когда либо потрясали мир! Лет, которые все изменили во Франции, одержали полную победу в Европе, лет, которые на божественных весах куда более весомы, чем большинство столетий! Известно ли вам, что значит низвести народ, сотворивший подобное, до положения, в котором он считает себя униженным? Быть может, вы заранее предотвратили бури, что таит в себе подобное чувство? Или вы льстите себя надеждой, что заставите принять его

окончательно? Абсурдная иллюзия! Да, конечно же, несмотря на революцию, несмотря на громадное перемещение состояний и власти, внешние преимущества и реальные превосходства еще не оказались полностью перемешанными; конечно же, лживость, на опасности которой я указываю, существует еще в некоторой мере в самом обществе; конечно, во многих местах старые интересы еще расположены на поверхности и воспроизводятся там, давая реальные, но сегодня уже обманчивые преимущества, которые связаны с этой ситуацией; конечно же, некоторая часть новой Франции не расправила еще своих крыльев, не достигла еще того видимого ранга, который предписан ей ее подлинной силой, не смогла ни выполнить всех своих условий, ни принять всех своих обычаев, ни полностью обрести вид превосходства. Это несчастье для нее; но — берегитесь! — это также и ловушка для вас; вы еще сохраняете некоторую видимость, но силы уже прошли мимо вас; силы же, что обусловлены видимостью, мелки и недолговечны по сравнению с теми, что укоренены в реальностях. Франция революции понимает, что она есть, хотя она еще не является тем, чем должна стать; и именно вас в первую очередь должно насторожить недовольство, которое она испытывает от разрастающегося противоречия между ее предназначением и ее положением.

Совершенно определенно, недовольство это является препятствием для правления; я не отрицаю, что препятствие это порождено чувствами, неприязнью, недоверием, противоречащими крепкому порядку и миру в обществе. Печальным следствием недовольства является то, что, вопреки слишком поверхностным, чтобы казаться легитимными, превосходствам, оно продлевает жизнь революционных страстей, страха перед любым превосходством, выступая в качестве принципа, несущего беспокойство и анархию. Но нападки на зло принадлежат не его следствиям, а его причине. Итак, в данном случае причиной выступает лживость, на которую я указывал, расхождение между реалиями и видимостью. Потрудитесь положить ему конец, и зло будет отступать с каждым днем. Вы хотите излечить Францию от ненависти к дворянству; так

будьте же буржуазным правлением. В свою очередь вы заговорите о непредвзятости, конституционном равенстве? Слова введут вас в заблуждение, речь идет вовсе не об этом. Непредвзятость обязана своим существованием — причем строго обязана — индивидам, а совсем не партиям. Неправда, что партии являются равными и что они в равной степени должны быть призваны управлять. Коль скоро они существуют, коль скоро они оспаривают власть, в конечном итоге одна из них хороша, другая дурна, одна сильна, другая слаба, одна восходит, другая опускается. Нужно выбирать и придерживаться своего выбора. Это не исключает ни соглашений, ни уважения всех прав, ни согласования всех интересов. Я знаю, что революции завершаются только таким образом. Но в то же время я повторяю, что они завершаются только тогда, когда законная партия, партия-победительница правит и осознает, что правит. Никакой интерес не ощущает себя в безопасности, если интересы этой партии пребывают в тревоге; никакая страсть не может кануть в забвение до тех пор, пока не улягутся страсти этой партии. Таким образом, только в уверенности, только в вере в свою победу могут найти свое облегчение страсти и укрепиться интересы. Дайте же партии это ощущение, чтобы оно превзошло все остальные. Бонапарту это удалось. Я знаю, что такого результата сложно добиться при помощи свободы, равно как и при помощи деспотизма. Но трудное может выступать в качестве необходимого, а для правлений недопустимо искать оправданий в трудностях. Попытайтесь их победить; предпринимайте эти попытки открыто, упорно. Не выказывайте такого беспокойства по поводу влияния среднего класса, примите это влияние; помогите ему расшириться, упрочиться; именно к этому он и стремится, и тот, кто ему в этом поможет, станет его хозяином. Вместо того, чтобы робко подавлять движение, восходящее от этого класса, помогите ему; ему не хватает как раз того, чтобы быть осуществленным. Этот класс занимает достаточно высокое положение, чтобы уже никогда не опуститься вниз, но еще недостаточно высокое для того, чтобы дать обществу и власти подлинную, законную аристократию, в которой так нуждаются как то,

так и другая. Взгляните, с каким жаром молодые люди из этого класса устремляются к серьезным занятиям, к профессиям, дающим заметное положение, многочисленную клиентуру и помещающим человека во главе общественного устройства. Воспользуйтесь этим жаром; возвысьте только цель, на которую он направлен, и пусть для ее достижения он предпримет более серьезные труды. Тот, кто на это способен, не откажется от них; тому же, кто не будет соответствовать этим требованиям, не на что будет жаловаться. Людовик XIV, видя, что дворянство беднеет и вырождается, создал для него крупные учебные заведения, бесплатные школы, пытаясь тем самым спасти от вырождения. Покажите себя столь же дальновидными, столь же старающимися помочь и привязать к себе поднимающийся класс. Он не требует от вас привилегий; он требует помощи; пусть же он будет суровым и свободным. Потребуйте от него многих усилий, но пусть эти усилия ведут к успеху. Величия испытаний будет достаточно, чтобы предотвратить беспорядочное волнение большинства; оно одновременно облагораживает тех, кто набирает силу, и успокаивает тех, кто потерпел поражение.

Но если же вы примете иную систему, если вместо того, чтобы протянуть руку аристократии, которая для своего упрочения нуждается лишь в признании, вы попытаетесь удержать наверху только ту аристократию, чьему распаду не смогли помешать вся помощь, все милости Людовика XIV и его потомков, вы впустую будете рассуждать о непредвзятости, о равенстве; от пользования ими вы зачастую не получите больших результатов. Ваши слова будут восприняты как насмешка, а ваши пожалования — как оторванные от действительности и сомнительные. Революционные страсти, если они на то осмелятся, будут вести себя вызывающе, если они будут испытывать перед вами страх, они возрастут в тени забвения, и тогда, в ожидании взрыва, заставят землю содрогаться под вашими шагами.

Перехожу к другому чувству, которое, как я полагаю, носит менее общий и более второстепенный характер как в своем принципе, так и в своих последст-

виях, нежели ненависть к дворянству, но тем не менее это чувство реальное, требующее искоренения и также способное уступить лишь определенному роду средств; речь идет о ненависти к духовенству. Я не стану возвращаться к тому, что уже говорил о новых интересах; вопросы переплетаются, налагаются друг на друга и противятся последовательному их разрешению. Таким образом, относительно религиозных страстей я добавлю лишь несколько замечаний.

Кто вновь разжег их? С какого времени начали без конца переиздавать Вольтера? Кто придал скандалу особый вкус, а разгулу нечестивости невиданный дотоле особый размах? Предоставлю другим дать ответ на эти вопросы. Я допускаю возможность ошибки; но пусть каждый ответит за свое.

В этом заключено зло, и зло, в отношении которого власть не имеет никакого непосредственного влияния. Она не навязывает людям верований, не требует возврата к уже утраченным верованиям. Она внушает всем высшую природу веры и не позволяет управлять собой. Она суверенна и свободна, как и Бог, из которого она нисходит. Были времена, когда сила, не признавая прав веры и своих прав, могла успешно применяться против одной религиозной идеи в пользу другой. Я твердо уверен, что такие времена миновали. Быть может, они вернутся; мы делаем наше дело, так оставим же будущему — его.

Если всмотреться повнимательнее, то можно заметить, что власть в этой области не является совсем уж безоружной. У нее еще остаются средства, медлительные, я согласен, но не лишенные своей значимости.

Они состоят главным образом в том, чтобы дать пример, способствовать господству уважения к свободе совести, единственному чувству, во имя которого можно сегодня успешно отразить нападки нечестивости.

У каждой эпохи есть своя излюбленная идея, которую она защищает лучше, чем какую-либо иную, в которой она видит истину, которая действительно содержит эту истину в большей или меньшей степени и в которой, соответственно, и заключены средства правления.

Когда религиозное верование овладело большим количеством умов и крепко их держит, оно как раз и превращается в такую идею; и следующие ей люди наделяют ее всеми правами полной, совершенной, абсолютной истины. Тогда для своего распространения она предпринимает нападение, а для того, чтобы царить, совершает гонения; она желает правления, которое бы совершало гонение в ее пользу и от ее имени. Это большое несчастье; более того, это большое преступление, и рано или поздно вызвавшая его вера будет нести его тяжесть. Но кроме того, это — факт, поочередно воспроизводимый всеми религиозными верованиями — христианством, магометанством, католицизмом, протестантизмом.

Никакое позитивное верование в настоящий момент не является достаточно молодым, достаточно энергичным, достаточно растущим, чтобы таким образом присвоить себе силу и заключить в кандалы свободу. Сама свобода совести — религиозная идея нашего времени, идея действительно глубоко религиозная, из которой, правда, не вытекает никакой системы догм и практических действий, но которая одна является своего рода культом, отправляемым во имя веры.

Вот идея, которую следовало бы принять на вооружение, противопоставив ее наступательной и оскорбительной нечестивости. Повсеместно, где свобода совести играет преобладающую роль, любой культ, любое религиозное верование с полным основанием требует уважения не только со стороны власти, но и всего народа. Их право, направленное против оскорбления, вытекает из того же принципа, что и их право на свободу.

Согласен, для того, чтобы проникнуться этой доктриной, Франция нуждается в ее открытой проповеди, доктрина — в длительном использовании властью. Антирелигиозность не только обрела среди нас силу, но и возомнила себя истиной. Она имела наступательный характер и потому, что люди сопротивлялись ее декретам, и потому, что они отказывались принимать ее аргументы. Принцип нетерпимости был одинаков и в восемнадцатом веке, и в шестнадцатом. Имея убежденность и будучи хозяевами положения, как неве-

рующие, так и фанатики желают, чтобы все верили в них и верили так же, как и они.

Не все еще излечились от этих преступных претензий; и хотя сегодня осталось немного людей, которые бы хотели употребить оружие власти непосредственно против религии, вполне достаточное их количество при каждом удобном случае, когда религия, набравшись некоторой смелости, распрямляется, выражают этому удивление и возмущаются, как будто бы речь идет о покушении на свободу. Свобода же для них несет в себе нечто новое и непредвиденное, что оскорбляет их. И если в подобном случае власть вместо того, чтобы выступать в качестве поборника свободы, выказывает себя пристрастной или слабой по отношению к духовенству или какому-либо верованию, страсть сразу же приобретает известную легитимность, под покровом которой исчезает все то, что в основе ее есть враждебного и угнетающего. Существуют заблуждения, которые отнимают у власти все, вплоть до ее права на обладание истиной; существуют ошибки, которые отравляют даже добропорядочное поведение. Правление, с трудом уступающее в одном отношении, обезоруживает себя в другом. Здесь, так же как и повсюду, сильной позицией правления предстает лишь высокая позиция, позиция конституционная. Правление не может оставить ее, если само при этом не ввяжется в схватку, в которой смешано справедливое и несправедливое, в которой как с одной, так и с другой стороны удары случайно наносятся то по узурпации, то по праву.

Если же теперь я, оставив отдельные факты, буду рассматривать вообще и страсти, о которых только что говорил, и чувства, аналогичные тем, что оставила нам в наследство революция, я мог бы сказать, что совершенно бесполезно и даже губительно входить с ними в непосредственное и постоянное противоборство. Существуют вещи, которые нужно уметь бросить на погибель, призывая жизнь с другой стороны. В правлении народами, как и в воспитании индивидов, искусство состоит не в том, чтобы все замечать, все выводить на чистую воду, за все упрекать. В жалком состо-

янии оказывается власть, постоянно пребывающая в спорах с народом, изнуряющая себя доказательством его неправоты. Выясните лучше, в каком отношении народ приближается к истине; отыщите в нем благие принципы, справедливые чувства, легитимные наклонности; используйте, культивируйте их; привлекайте к ним энергию общества и поменьше беспокойтесь о других. Народы, как и индивиды, с трудом соглашаются постоянно получать урок; и они разочаровываются в истине, когда та предстает им чуждой. Пусть же она зародится в них самих, выйдет из них самих, пусть же они смогут востребовать ее как их собственное открытие и их заслугу; она приобретет над ними гораздо более легкую, гораздо более скорую, гораздо более обширную власть. Безусловно, новая Франция не настолько лишена разумных идей и благородных страстей, чтобы из тех, которыми она уже обладает, не могли возвыситься те, которых ей еще не хватает. И именно отсюда они и поднимутся, что бы вы ни делали для того, чтобы навязать ей их извне. И здесь также обращайтесь к добру и старайтесь потушить зло. И о чем бы ни шла речь — о воззрениях, страстях или интересах, — я постоянно возвращаюсь к той же идее, и это — не самое незначительное доказательство ее истинности.

Но если вы отвергаете как добро, так и зло, если вы опасаетесь энергии, к какой бы цели она ни была направлена, если благородные страсти ставят вас в затруднительное положение, точно так же, как страсти мятежные наводят на вас страх, если вы пытаетесь подавить как первые, так и вторые, если порочным моральным силам вы способны противопоставить только материальную силу тирании, то не удивляйтесь собственному бессилию и покоритесь собственному страху. Используйте как можно дольше усталость, что довлеет над вашим народом; эксплуатируйте до тех пор, пока они будут существовать, неуверенность умов, рассеянность интересов, влияние воспоминаний, непоследовательность и внутреннюю вялость партий. Но не надейтесь, что вам удастся заложить во Франции основания для вашего владычества; не льстите себя надеж-

дой пустить здесь корни и установить длительное господство. Она никогда не примкнет к вашей неподвижности. Еще утомленная, она отдыхает под сенью режима, который ей в большей степени неприятен, нежели гнетет ее; но не думайте, что он устроит ее в будущем. В ней заложен принцип великого движения; она еще возобновит свой путь; а поскольку вы показали себя неспособными идти во главе, она не будет у вас спрашивать, сможете ли вы следовать за ней. И пусть правительство в своем заблуждении предается досугу; пусть ищет оно в бесплодных и мимолетных склонностях свою единственную точку опоры; пусть не овладеет оно ни плодотворными принципами, ни постоянными интересами, ни сильными и законными страстями; подобная система не принадлежит к числу тех, за которыми страшно не последовать; и Франция, подлинная Франция, жизнь которой будет долгой, которая хочет и должна получить гораздо больше, нежели ей позволяют это сделать сегодня, может довольствоваться лишь тем, что скажет своему столь же недолговечному, сколь и скупому правительству: *«Монсеньер, я подожду»*.

Глава одиннадцатая
О БОНАПАРТЕ И БОНАПАРТИЗМЕ

Я говорил о революционных страстях. Но я ничего не сказал о страстях, которые породил или разжег Бонапарт и которые его пережили. Они заслуживают отдельного рассмотрели. Мы должны сделать это вследствие их значимости и вследствие славы их господина. Подобный человек никогда не проходит по миру, не оставив в нем глубокого следа. Он может пасть, он может умереть; в политической области он может даже не создать ничего прочного или плодотворного; его след остается в области моральной; власть, которую он возымел над воображением народов, потрясение, которое он породил в умах, чувства и идеи, для которых он стал потребностью и привычкой, — вот что от него остается и останется еще надолго. Франция не может

более ни желать, ни бояться его. Она все еще испытывает его воздействие. И даже если она забудет Бонапарта, то все равно долго будет еще нести на себе отпечаток его деятельности.

Итак, для него уже действительно началась жизнь в других поколениях. Сторонники или враги, противники или льстецы — он создал почти всех их, тех, кто судит о нем сегодня. При его жизни не так много людей сформировались вне круга его влияния. Послушайте его хулителей; они говорят его защитникам: вы вызываете подозрение; вы служили ему. Защитники отвечают хулителям: вы не имеете на это права, вы его ненавидели. Его защитники имеют все основания требовать молчания. Подобные люди лишаются власти, как только о них дозволяют судить. Именно в силу этого я, со своей стороны, очень рад, что мы судим о Бонапарте, даже если мы судим несправедливо, ибо Бонапарт должен быть низвергнут. Его имя, его влияние, все то, что еще продолжает существовать в нас из сделанного им для нас, — все это теперь лишь препятствие на избранном нами поприще; все это отвлекает нас от дел, ослабляет и стесняет нас в борьбе со старым порядком, в содействии созданию конституционного правления.

Именно для молодых людей, для людей, которые вошли в политическую и моральную жизнь уже после его падения, именно для них очень важно не принять весь груз воспоминаний. Господина, который мог бы навязать им свой груз, уже нет; так пусть не примут они его из менее могущественных рук. Это в их интересах и к их чести. Им, рожденным под другой звездой, жить в иных сферах. Бонапарт и его система не имеют ничего общего с той судьбой, что им уготована. Свободные институты, законопослушные и сильные нравы, мысли и чувства гражданина — вот в чем они нуждаются, вот что должно их занимать. Было бы глупостью с их стороны позволить отвлечь себя от этого, чтобы присоединиться к чувствам, к идеям, которые им совершенно ни к чему в будущей жизни. Они бы предали самих себя; они заранее бы отреклись от того, чем они могут и должны быть в их собственном деле, ради того, чтобы принять полное поражение в деле,

которое совершенно им чуждо. Пусть сторонники Бонапарта, пусть те, кто считает, что потерпел поражение вместе с ним, пытаются привлечь их к себе, это очень просто; партии, как и индивиды, боятся смерти и всеми силами пытаются продлить жизнь, ускользающую из их рук, даже не питая особой надежды на то, чтобы вновь ухватить ее. Пусть только молодое поколение, пусть люди, которых к этому ничего не обязывает, не попадутся в эту ловушку. Пусть они думают о самих себе, живут ради себя и свободно идут к своему будущему.

Именно под этим углом зрения и с этой целью я хочу рассмотреть Бонапарта и страсти, им порожденные. Я не буду останавливаться, чтобы судить о нем, не из страха высказать о нем свое мнение, — его вы хорошо поймете, — но потому, что я полагаю менее спешной задачей исследование сделанного им, нежели изучение того, чем он все еще является и как нужно обращаться с его наследием.

Скажу не колеблясь: он был велик; и именно в силу того, что он был велик, даже после своей смерти он представляет препятствие для правления, что следует за ним. Сторонников свободы во Франции долгое время преследовала странная мания: в отношении большинства людей они оспаривали титул *великий*, которым тех наградил мир. Александр, Цезарь, Карл Великий — все завоеватели, все деспоты были в их глазах лишь узурпаторами славы, и народы были неправы в своем восхищении ими. Простительное, но на удивление легкомысленное мнение! Народы не вольны в своем восхищении, а славу вовсе невозможно узурпировать. Ею награждаются великие, подтвержденные серьезными фактами способности на взлете духа или характера, каким бы незаконным, мучительным образом они ни употреблялись. Провидение не столь мягко обращается с миром, что связывает превосходство с одной лишь добродетелью и наделяет славою лишь то, что составляет счастье наций. И такова уж природа человека, что каким бы спонтанным ни было владычество превосходства, оно заставляет признать себя и восхищаться собою даже тогда, когда угнетает. Народы должны стать более требовательными, т.е. они

должны стать более свободными, вынуждая само превосходство подчиниться закону справедливости и разума. Но коль скоро превосходство существует, напрасно оспаривать его и отрицать его последствия из-за того, что основание его исказилось в его же собственных руках. Общественный инстинкт в этом отношении — более надежный судья, нежели узкие теории; и когда народ вопреки своим страданиям выражает восхищение, он и впредь будет восхищаться, при этом всячески требуя права положить конец страданиям. Итак, я повторяю: Бонапарт был велик, он дал Франции как потребность, так и привычку к величию во власти. И потребность эта столь реальна, столь могущественна, что сегодня представляет собой одну из опасностей для свободы, она завладевает множеством людей и ослепляет их до такой степени, что заставляет ценить силу ради силы, деспотизм ради деспотизма, когда и деспотизм и сила предстают во всем величии. Не заблуждайтесь на сей счет; два чувства пронизывают человеческую природу — любовь к действию и любовь к покою; когда первое из этих чувств превозносится до известной степени высоко, оно господствует над человеком вопреки испытываемой им усталости и распространяется даже на покой, который человек находит ничтожным, хотя так горячо стремился к нему. В этом положении не все истинно, не все ложно, не все справедливо и не все незаконно. Не надейтесь же искоренить его полностью, не надейтесь, что народ будет удовлетворен только тем, что его не угнетают. Он требует от своего правления чего-то большего, нежели отрицательные достоинства; он требует от правления не весомости, но проявления себя в действии. Чтобы поверить власти, он ожидает, когда та раскроется перед ним если и не как метеор, который воспламеняет, то по крайней мере как звезда, которая все освещает и наделяет жизнью. Вы составили о себе слишком мелкое представление; вы призваны не только соотноситься со своими чиновниками и приводить в действие ваших жандармов; вы имеете право вынашивать великие планы, осуществлять великие дела, наконец, взывать к воображению народов, равно как и блюсти прочность их интересов. Вы стоите за сельско-

хозяйственный, промышленный, коммерческий успех, за глубокий покой, за положительные блага, которыми пользуется сегодня Франция; в этом вы совершенно правы, я вновь признаю это; успехи значительны, покой, жизненные блага совершенно реальны. Но почему же все считают вас слабыми, и даже вы сами это ощущаете? Почему же вы всегда неустойчивы в своем положении, колеблетесь в своих альянсах, почему все видят также, что вы равным образом обеспокоены, равным образом неспособны как сохранить, так и оставить своих друзей? Почему столь мирное настоящее таит в себе столь мало прочности и так мало дает для будущего? Вы же прекрасно видите, что несмотря на процветание, несмотря на общественное спокойствие вас снедает порок, заключенный в вас самих. Этот порок — главным образом в руководстве, в системе вашего правления. Он заключен также и в узком употреблении вами власти. Ведь власть может дать гораздо больше, чем вы от нее требуете; она застынет, лишится движения в ваших руках. Можно подумать, вы боитесь власти, как и свободы, вы хотите свести как власть, так и свободу к бездействию и молчанию. Казалось бы, вы заняты исключительно тем, чтобы держаться в стороне, уменьшиться в размерах, стереть и уменьшить все вокруг вас, как будто бы для того, чтобы поддерживать Францию и быть поддержанным ею вам необходимо усыпить ее, предлагая разделить с ней ее сон. Так знайте же, что таким образом невозможно обручить Францию с престолом и создать одновременно Хартию вкупе с легитимностью. Подумайте о том, что до вас был человек, который нашел власти самое ужасное, но вместе с тем и самое блестящее применение, который все занимал, все наполнял собою, иными словами, властью. Теперь же следует сделать две вещи: нужно успокоить это чрезмерное, это продолжительное потрясение общества по велению и в пользу одного только человека; нужно завладеть этим настроением общества, которое ожидает всего от своего правления, чтобы по всем направлениям пустить глубокие корни, чтобы повернуть лицом к нынешнему порядку и заставить служить его укреплению все, что есть нетленного и законного в этой

склонности к движению, в этой превратившейся в общественную страсть потребности помочь и объединиться с властью. Страсть одновременно губительная и спасительная, которую не следует разжигать в ущерб ни разуму, ни свободе, но которая, будучи умело направляема и получив удовлетворение, изобилует энергичными средствами правления. Бонапарт, этот неутомимый, но умелый развратитель всего и вся, почти всегда ставил перед собой преступную или бессмысленную цель — то порабощение Франции, то завоевание мира; но именно в цели концентрировалось и исчерпывалось его, так сказать, безумие; он в совершенстве владел распознаванием и употреблением средств; он давал доказательства наиболее изобретательного и наиболее твердого здравого смысла в погоне за самыми химерическими или самыми преступными результатами. Именно это и придавало его деятельности столь роковой и столь могущественный смысл. Заставляя и не без оснований восхищаться собой по мере продвижения к цели, он не давал людям времени оглядеться и посмотреть, куда он их ведет. Что же до вас, то вы переместили и заблуждение, и зло; я не думаю, что вы ставите перед собой какую-либо гигантскую или ненавистную цель; но именно в выборе и умении владеть средствами вы показали себя лишенными ловкости и осторожности, решительности и умения. Вы выбираете опасные, даже непригодные к употреблению средства; и в то же время не замечаете, оставляете чахнуть те из них, что вам предлагаются самым естественным образом. Перед вами — народ, привыкший к постоянному присутствию власти, некогда предававшийся этой власти вопреки всякой разумности, ибо, поглощая его деятельность, власть воодушевляла его существование. Вы же, в свою очередь, не умеете употребить эту деятельность в лучших целях; вы не способны воодушевлять общественное существование во имя и в интересах общественного блага и свободы!

Конечно же, у этой инертности есть и другая причина, и я вам ее назову. Бонапарт заставил нас усвоить привычки и потребности, внешне совершенно противоположные друг другу. Превратив политику в

величайший спектакль, он заботливо отвел нам роль простых зрителей. Все, кто не входил в его свиту и не присоединялся к его действию, присутствовали лишь для того, чтобы наблюдать. В некотором роде он взял на себя заботу о наших удовольствиях, но при условии, что он один ведет все наши дела. Отсюда — это смешение горячности и апатичности, склонности к движению и лености в действии; отсюда — эта жажда эмоций и эта антипатия к совершению какого-либо усилия, которые сегодня характерны для политического порядка, морального состояния Франции; состояние, исполненное одновременно нетерпения и слабости, превращающее для нас покой в тягость и вызывающее отвращение к труду, что делает непереносимым наше монотонное существование и отдаляет нас от исполненной трудов жизни гражданина. Бонапарт совершил то преступление, что он одновременно воодушевил и истощил нас, привил нам склонность к политической праздности и отвращение к скуке. Из двух этих требований правительство, неспособное удовлетворять второму, охотно поддержало бы первое; оно не берет больше на себя задачу заинтересовать, увлечь нас величием своих деяний, но оно опасается, что мы возьмем дела в свои руки. Его мечта — вовлечь в свою мелкую и бесцветную политику всю систему имперского управления, оставить нас и без зрелищ, и без трудов. Развитие свободы повергает его в ужас; оно не чувствует в себе способности привлечь свободные влияния, направлять сколько-нибудь свободно развивающиеся силы. Оно не способно ни занять нас собой, ни перенести того, чтобы мы занимались собою сами. Его охватывает дрожь, когда оно слышит, как мы взываем к завершенности наших институтов, к реальности политической жизни — той пище, которая, исходя от него, ничего нам не дает. Оно было бы счастливо, если бы мы скромно вернулись в круг наших частных интересов, предоставив ему вести политику на вторых ролях, заниматься привычным управлением и каждое утро адресовать нам газеты, в которых никакое крупное повествование, никакое важное действие не смогли бы заполнить пустоты, оставляемые цензурой.

Совсем не так обращаются со страстями. Совсем не так вносят в них изменение и переделывают их природу, отвлекая их от своего предмета. Франция еще не способна понять все зло, причиненное ей Бонапартом. Он не довлеет более над ней, не приводит в отчаяние ее семьи, не закрывает поле ее деятельности, не запрещает ей высказывать суждения и мысли относительно своего правления, не возводит между нею и Европой железную стену, пересечь которую имели право только война и разорение. Все это уже ушло, все это уже далеко, очень далеко, а все, чего нет рядом, быстро улетучивается из памяти людей. И тем не менее Франция должна помнить обо всем; для ее же собственного блага она должна помнить все прошлое зло и осознавать его причины; нужно, чтобы все пороки имперской системы были разоблачены в ее глазах, чтобы она научилась их видеть, их судить, их ненавидеть; нужно, чтобы никто более не осмелился сказать ей лицемерно, что систему следует отличать от ее создателя и что можно почитать второго, не одобряя первой. Да, Бонапарт несомненно был велик, и его система также имела свое величие; но и система и человек были едины, все это было неразделимо; и ни тот, ни другая не имеют никаких прав в отношении нас, и тот и другая должны быть сегодня в равной степени осуждены, в равной степени мертвы в общественном чувствовании. В той мере, в какой Бонапарт лишь очищал и упорядочивал революцию, он служил Франции. Но как только он попытался подменить революцию самим собой, как только он стал видеть в нас лишь машины для ведения войны и порабощения Европы, машины, обращенные против самих себя, как только он возжелал, чтобы вся справедливость, вся истина, все право, вся Франция были заключены в нем и только в нем, он выказал себя самым беззаконным, как и самым роковым из узурпаторов, ибо он узурпировал и извратил одновременно свободу и власть, трон и отечество. Вот что должна знать Франция, вот в чем она должна быть раз и навсегда полностью убеждена. Но, поверьте мне, убеждение это не приходит благодаря только нескольким словам или даже благодаря всем благам и сладости мирной жизни. Для того, чтобы это

убеждение ширилось и пускало корни, следует предпринять иные усилия, привести иные примеры, преподать иные уроки. Существование, плоды действия системы свободного национального правления ежедневно должны свидетельствовать против Бонапарта, ежедневно наносить удар его памяти и шаг за шагом вытеснять его из разума народов, в котором все перемешано и остается неподвижным до тех пор, пока ясные и могущественные факты не научат его отличать истину от лжи, добро от зла, спасение от опасности. Он умер; никакой уголок мира не сможет больше ни сохранить, ни вернуть его нам; и теперь, когда личность его не является более ни предметом страха для его противников, ни предметом надежды для его друзей, именно теперь о нем следует думать, чтобы испытывать перед ним страх. Нужно думать о нем, ибо из него проистекает большинство препятствий, что встречаем мы на своем пути. Будьте уверены, он еще долго будет отправной точкой для сравнения того, что Франция должна думать о своем правлении. Хотите вы этого или нет, я говорю не о том, чтобы сделать это сравнение благоприятным для вас, но только о том, чтобы помешать Франции потратить на него множество ложных идей и обманчивых предубеждений, если вы хотите стереть имя этого человека в народных воспоминаниях, если вы хотите, чтобы бонапартизм умер вместе с Бонапартом; не используйте его как систему, разоблачая его в качестве чувствования. Научитесь сами различать, что в политике Бонапарта было легитимным, а что — преступным, что полезным, а что — губительным, что искусным, а что — бессмысленным. Не пытайтесь использовать себе во благо дурные средства его управления, коль скоро вы не можете скрыть их употребление одновременным принятием средств, которые были, не скажу — хорошими, но сильными. Конечно, я не перестаю повторять, у Бонапарта много чему стоит поучиться, но при условии, что все, чему вы научитесь, будет направляемо иными принципами, вдохновляемо иным духом, обращено к иной цели. Он умел обращаться с общественными страстями; но то, что он умел, вы сделать не сможете. Нужно, подобно ему, проникнуть в глубины человеческой природы,

выявить, посредством чего можно задеть массы и овладеть ими, связать себя с их интересами, внушить им чувства, которые бы находились в согласии с общей системой правления. Но эта система не должна быть более его системой, ведь обстоятельства, права, обещания — все изменилось, все стало новым, все требует, чтобы сами средства, приемы, пример которых подал Бонапарт, приобрели иной характер и приспособились к иным намерениям.

Только такой ценой бонапартизм перестанет быть обращенной против вас опасной страстью. Тогда вы будете в состоянии успешно использовать лучшую сторону привычек и чувствований, которые перешли к вам от Бонапарта, отвергая все опасное и губительное в них. Будучи в этом отношении победителем революции, он приучил Францию связывать между собой идеи превосходства и власти; он низверг с трона большинство и заставил признать моральное влияние. Он не только восстановил порядок, но и привил вкус к нему; в глазах народа он обесчестил и умело ослабил даже в низших классах анархические инстинкты, которые взяло на вооружение якобинство. Он вернул власти если и не уважение, внушаемое ей одной только справедливостью, то по крайней мере внимание, тесно связанное с размеренностью. Наконец, он оставил революцию если и не завершенной, то дисциплинированной в отношении власти и созданной для подчинения. Вы обнаружите эти наклонности не только в большинстве индивидов, воспитанных Бонапартом, но также и в массах, испытавших на себе и признавших его действия. Здесь много хорошего, много преимуществ, в особенности для конституционного правления, которое еще только зарождается и которому самому было бы сложно получить подобные результаты, наделяя свободу тем, в чем оно не смогло бы ей отказать, не изменяя при этом самому себе. Вот в чем наследие Бонапарта может стать точкой опоры для власти; вот что власть должна в нем признать и заимствовать. И поверьте мне, гораздо больше пользы, равно как и достоинства, в том, чтобы использовать таким образом общие последствия того времени, чем в том, чтобы попытаться извлечь из его недр какие-то

личные тщеславия, чтобы поместить их на второй план королевского двора, где, конечно же, наиболее угодливые никогда не бывают удовлетворены своим положением.

В остальном же пусть будет сделано все, что должно быть сделано, и это будет благо. Будучи вырванным из общего потока дел, это лишь ребячество.

Глава двенадцатая

О СРЕДСТВАХ ПРАВЛЕНИЯ, СОСРЕДОТОЧЕННЫХ В ИНДИВИДАХ

В новой Франции я рассматривал массы. Я исследовал, какие средства правления открывают их предубеждения, интересы, склонности. Повторяю, в них заключены могучее средство и великая необходимость власти. Тем не менее не все сосредоточено в массах. Тому, кто хочет править, совершенно недостаточно понимания общих потребностей общества и даже понимания путей их удовлетворения. Власть не всегда имеет дело с народом. В силу необходимости она устанавливает прямые отношения с множеством индивидов, которые также имеют свое понимание дела и забывать о которых было бы очень рискованно. Именно этим и объясняется презрение отдельных политиков к теориям и мерам общего характера. Опыт научил их, что искусство использовать людей, обращаться с их индивидуальными предубеждениями, чувствами, интересами значит очень много. Из этого они заключили, что подобные убеждения, чувства, интересы значат все. Это другое заблуждение. В таком обширном, таком сложном деле, каковым является дело правления, все необходимо, и нужно уметь смотреть как вниз, так и вверх, как в даль перед собой, так и себе под ноги.

Искусство обращения с индивидами даже в наши дни и среди нас имеет особое значение. В древних и достаточно прочных обществах эта работа распределяется и осуществляется в некотором роде незаметно. Люди распределены по классам, дисциплинированны; воздействия прочны и осознанны. Большинство граж-

дан редко имеют дело с самим правлением. Их интересы урегулируются и их поступки направляются привычками и в зависимости от определенных ситуаций, выйти из которых они и не помышляют. Каждое существование, каждая вещь развиваются, так сказать, сами собой; собственно власть поддерживает личные и необходимые отношения лишь с весьма ограниченным кругом лиц.

Совсем иначе обстоят дела во Франции. Произошедшие в ней колоссальные потрясения, еще остающееся после них волнение, подвижность положений, неустойчивость влияний, сложный характер интересов, сожаления о деспотизме, который стремился все видеть и всем управлять, — все эти, а также множество других причин у нас еще заставляют власть вступать в прямые, неизбежные отношения с массой индивидов, чиновников либо простых граждан, вынуждая ее лично заниматься их поведением, их интересами, и таким образом расширяют и укрепляют искусство обращения с индивидами, которое, как я полагаю, противоречит благу как общества, так и самой власти, но которое невозможно не признавать и обходить вниманием.

Особый характер этого искусства в том случае, когда к нему прибегает умелый человек, состоит в неутомимости. Возвышенные умы часто обладают некоей потребностью в свободе и покое, заставляющей их видеть утомление и скуку в необходимости предаваться идеям и чувствам, входить во все привычки или дела этой толпы, которую власть привлекает к тем, кто ею — этой властью — обладает. Слишком сосредоточенные на самих себе, они не всегда умеют отвлечься от собственной персоны, чтобы подумать о другом, жить с другим. Они с трудом принуждают себя отдавать стольким людям какую-то часть своей памяти, внимания, времени, труда. Они заблуждаются. Как бы ни были мелки заботы, уметь справляться с ними — великое дело. Отношениям подобного рода, даже когда эти люди их принимают, часто приходится отдавать чересчур много сил. Они не слишком забывают о себе для того, чтобы видеть лишь человека, с которым имеют дело. Они в большей степени пытаются заста-

вить его разделить их чувство, их убеждение или их стремление, нежели узнать от него, чем можно его привлечь к себе и заставить следовать за собой. Они не столько слушают, сколько говорят, не столько пытаются выяснить, чего от них ожидают, сколько предлагают то, что им больше подходит. Это не тот путь, что ведет к успеху. Власть нуждается во внесении в отношения с индивидами своего рода непредвзятости, известного отречения от самой себя, что выставило бы на всеобщее обозрение ее свободу и позволило бы результатам ее деятельности достичь разума, который употребил бы эти результаты во всей истинности, простоте их природы, освобожденными от всякого воздействия, изменившего и представившего их в ином свете, нежели они существуют на самом деле. Так действовали Кромвель, Генрих IV, кардинал де Ришелье, Бонапарт и все те, кто превосходно владел умением находить общий язык с индивидами. Ни при каких условиях они не считали себя свободными от необходимости общаться с индивидами, они даже искали к тому поводы; у них всегда находилась минутка, сувенир для тех, кто мог быть им полезен в каком-то деле; когда же они оказывались в присутствии человека, чье расположение им нужно было приобрести по какой-либо причине, этот человек превращался для них во внешний фактор, который они сначала изучали сам по себе, не примешивая к нему ничего, что шло бы от них, а не от него, не пытаясь изменить его прежде, чем они его узнают, почти не имея о нем никакого суждения, только для того, чтобы крепко усвоить, каким образом они смогли бы позднее проникнуть к нему в душу и закрепиться там.

Я говорю это не для того, чтобы оправдать, не для того, чтобы преподать урок того, что называют искусством коррупции, но, напротив, потому, что я не считаю, что в этой способности власти привлекать на свою сторону нужных ей людей все есть коррупция, потому, что я убежден, что забота о людях, умение обращаться с их наклонностями, их интересами, их делами имеет свое законное основание, равно как и свою необходимость. Возвращаясь к моему изложению, я утверждаю, что в отношениях подобного рода люди

новой Франции в большей степени подходят власти, нежели люди старого порядка; я утверждаю также, что для того, чтобы завладеть ими, их вовсе не нужно коррумпировать.

Заметьте прежде всего, до какой степени различны их положения и насколько одно естественно и просто, а второе — ложно и трудно. Перед вами человек, который был связан со старым порядком, который проповедовал его принципы, поддерживал его интересы, который в глубине души сожалеет о нем и охотно содействовал бы его возвращению хотя бы потому, что считает его предпочтительнее, нежели новый порядок. К этому человеку обращается правительство, подталкиваемое к старому порядку страхом, но в глубине души не желающее, не считающее себя в состоянии его восстановить и даже отвергающее как оскорбление любое обвинение в подобных попытках. Что скажет правительство такому человеку? Пообещает ли оно ему положительную победу принципов и интересов, столь дорогих его сердцу? Возьмется ли оно наконец повести его к тому, что было предметом его мыслей и усилий всей его жизни? Оно не только не способно на это, но я утверждаю, что оно не осмелится ни до такой степени грешить против истины, ни давать другу, чьим доверием оно собирается заручиться, столь прозрачные обещания. Таким образом, власть оказывается вынужденной либо вводить этого человека в заблуждение, обманывать его, убеждать в том, что приближает его к цели, к которой никогда его не приведет; либо склонять его к тому, чтобы он отрекся от самого себя, забыл, о чем думал, чего желал, отказался бы от своих прошлых воззрений, былых обещаний. Власть выбирает первый путь? Тогда ее орудием будет ложь; второй путь кажется ей более предпочтительным? Тогда ее средство — совращение. Для того, чтобы этот человек отдал себя власти, власть должна либо обманывать, либо соблазнять его; она должна либо смутить его разум, либо склонять его к тому, чтобы он принес свою совесть в жертву своему интересу. Такова сила вещей, отношений, существующих между полуконституционным правительством и полуправительственным старым порядком,

таково отношение, которое должно установиться между ними. Личный интерес либо ошибка — вот что вынуждена использовать власть в отношениях с индивидами; и в одном и в другом предположении, как с одной, так и с другой стороны имеет место насилие либо над совестью, либо над истиной.

Теперь перед нами человек, который, напротив, стремится к триумфу конституционных принципов, новых интересов, который жил и высказывался в соответствии с этой идеей. Власть, провозгласившая себя верной Хартии, не может потребовать от него ничего, что бы не соответствовало его жизни и его воззрениям. Для того, чтобы сблизиться с властью, такой человек не нуждается ни в обмане, ни в совращении. Он может оставаться совестливым и дальновидным. Ему нужно только, чтобы власть доказала, что она говорит правду, что она стремится к Хартии и укрепляет ее. И если же вследствие их сближения между властью и человеком устанавливается тесная связь; если личный интерес гражданина находит некоторые преимущества в служении власти, в свою очередь, служащей принципу, которому тот всегда следовал, что можно ему сказать? Он может признать свои преимущества. С каких же это пор запрещено одновременно исполнять свой долг и заниматься своими делами? С каких пор истина признает в числе своих последователей одни лишь жертвы? Разве Англия отвергала защитников прав, когда те исполняли общественные функции? Разве с гражданином, посвятившим себя интересам своей страны, следует обращаться более сурово, нежели с тем, который преследует лишь свои интересы? Так пусть же мораль повелевает, пусть народ имеет право потребовать, чтобы не было ни коррупции, ни лжи, чтобы гражданин, присоединяющийся к власти, делал это потому, что власть отдает себя служению делу, которое тот проповедует, и мог бы делать это беспрепятственно и без околичностей. Таким образом, только с людьми новой Франции, с теми, кто признает и защищает новые интересы, правительство, претендующее на роль конституционного, может устанавливать такие отношения. Только в этом случае основания альянса ясны, естественны, носят общественный характер; ус-

ловия такого союза могут быть выгодны обеим сторонам, не имея ни для одной, ни для другой ничего противозаконного.

Ситуация, которая освобождает как от лжи, так и от коррупции, — большое благо для власти. Этот момент уже имеет огромное значение, даже если власти при этом удастся сохранить лишь самые поверхностные его черты.

Вне зависимости от этого значительного факта и касаясь в большей степени предрасположенностей индивидов, я говорю, что в целом именно среди людей новой Франции, а не в рядах партии старого порядка власть найдет друзей, союзников, полезных и верных агентов.

Два класса людей склонны к объединению с властью и к служению ей с тем, чтобы и она им служила, ибо в этом мире все должно быть взаимным, дабы быть реальным и прочным, — как услуги, так и права. С одной стороны, это члены всей старой — упорядоченной и признанной — аристократии, которые обладают общественным влиянием и хотят сохранить его; с другой — люди, которые хотят возвыситься, приобрести или усилить свое положение и свое существование. Тот, кто наверху, тот, кто хочет туда подняться, — вот поддержка, естественные орудия власти. Взгляните на историю; любое искусное правление всегда искало и находило своих людей именно в этих классах.

Так, совершенно естественно, что именно среди английской аристократии английское правительство находит своих шерифов, мировых судей, лейтенантов графств, одним словом большинство как чиновников, так и агентов. Английская аристократия пребывает в мирном владении моральными силами и влияниями; законные силы и влияния также должны попасть ей в руки. И точно так же, когда Бонапарт был, так сказать, падок до любых сколько-нибудь значительных существований, которые только еще формировались, до всех восходящих талантов, до всех зарождающихся воззрений, до любых действий, которые еще только стремились развернуться, он имел для этого основания. В этом также заключены вспомогательные средства власти.

Первый из двух этих классов людей едва существует среди нас. Скажу больше: класс, который его напоминает, находится в ложном положении, что делает его мало пригодным для содействия власти.

К преимуществам аристократии относится то, что все ее права, ее требования, ее силы — все это пребывает в согласии, все это известно, согласовано, принято и народом, и правлением, и ею самой; все это взаимно увязывается и поддерживается. Но если гармония будет нарушена, если аристократия возымеет больше требований, нежели сил и прав, что будет тогда делать власть? Что она тогда обнаружит? Людей, неуверенных в своем будущем, недовольных своим положением, неудовлетворенных тем, что им дают, поскольку это им обязаны давать, возмущенных тем, что им в чем-то отказывают, поскольку и это им должны давать; людей, всегда докучливых и раздраженных властью, поскольку та никогда не сделает того, что они сочли бы справедливым, того, что им нужно, чтобы она сделала для них; людей, всегда неудобных и тяжеловесных для публики, поскольку они всегда будут заняты попытками вновь заполучить что-то из того, что они утратили, из того, что им необходимо, чтобы их сила соответствовала их положению.

Таково сегодня во Франции положении старой аристократии. У нее еще есть богатство, значение, влияние. Но их у нее недостаточно, чтобы думать только о том, как удержать их и извлечь пользу из того, чем она обладает. У нее нет того, что бы она расценила как свое право; она хочет большего, нежели имеет, большего, нежели может иметь. Отсюда вытекают для нее потребности, соразмеряемые с ее претензиями, а не с ее требованиями. Вот почему принадлежащие ей люди склонны полагать себя освобожденными от какой бы то ни было признательности, какой бы то ни было взаимности в отношении власти, которая, делая для этих людей очень много, не делает и не может делать ни того, что им положено, ни того, что им нужно.

Совершенно ясно, что, находясь в подобном положении, эти люди принесут власти больше затрудне-

ний, нежели силы, будут для нее скорее обузой, нежели опорой.

Люди же новой Франции, напротив, могут привнести в свои отношения с правлением больше благородства и вместе с тем меньше требовательности. Их не терзает беспрестанно чувство несоответствия между их прошлым положением и положением нынешним. Они с легкостью находят покой в удовлетворении того, что им положено, ведь то, что им положено, может и должно быть им дано. Они не возносят к власти взоры одновременно высокомерные и алчущие. Они совершенно не спекулировали на своем состоянии и не отдавали свои чаяния в залог своей головы. И будь то власть ищет с ними союза или они сближаются с властью, они не считают себя обладателями никакого особого права, они способны принять то, что им будет приличествовать, а не требовать того, что вовсе не приличествует власти. То, что власть сделает для них, может быть лишь отданием справедливости или знаком мудрости; они будут об этом знать и учитывать это. Вместе с людьми старого порядка власти предстоит наполнить бочку данаид[24]; все то, что она дает им, чтобы наполнить меру их прав, вслед за тем исчезает через их требования. С людьми новой Франции она обращается более свободно, устанавливает более равноправные отношения; как с одной, так и с другой стороны обязательства добровольны, построены не на старых, не употребимых более основаниях, но на реальных обычаях, из которых вытекает как взаимообразный характер обязательств, так и уважение прав.

Просвещенное правительство должно было бы понять такую необходимо разумную и справедливую предрасположенность новых людей. Правительство, преданное Бурбонам, должно было бы знать, что даже люди революции, те, кто принимал участие в ее действиях и состарился под ее знаменами, не остаются более несговорчивыми. Я могу это утверждать, ибо был тому свидетелем. Для большинства из этих людей, быть может, самых видных из них, ни революция, ни лишения, ни война, ни их собственная жизнь, ни даже их страхи — ничто не смогло полностью заглушить

идею легитимности и чувство уважения к старинному роду наших королей. Воспоминания о своем величии, столь плачевное падение, столько недостойных оскорблений, столько пережитых невзгод — весь этот могущественный спектакль произвел на людей глубокое впечатление. Они ощущают себя сильными и также считают себя легитимными. Но они будут признательны дому Бурбонов, если тот примет их легитимность и их силу. Пусть он раскроется для них, и они отдадутся ему в благосклонной гордости; они почтут для себя честью служить ему, они будут признательны за то, что с их помощью он будет царствовать над ними; и те, кто был и кто хочет остаться людьми Франции, будут счастливы стать, кроме того, и людьми короля. Подобное чувство встречается не только среди военных, но также и на гражданском поприще. Быть может, даже кое-кто из старых якобинцев, будь они в состоянии что-то предложить, многое бы отдали за действительное примирение с Бурбонами, и были бы так же счастливы, так же горды служить им, как некогда пылко проклинали их.

Я исследовал не все. Эти ненасытные требования, эта высокомерная неблагодарность людей старого порядка — не единственная причина, делающая их трудными и мало надежными сторонниками власти. В их положении и в их интересах есть глубокий порок, который изменяет природу власти, сосредоточенной в их руках, и беспрестанно подвергает опасности ее осуществление.

В 1814 г. один из таких людей, впрочем человек очень умный и честный, настойчиво домогался префектуры, причем по соседству со своим департаментом. Он говорил мне об этом: «Видите ли, — сказал он, — я знаю всех этих людей; безо всякого шума заставлю их договориться со старыми собственниками либо для того, чтобы возместить понесенный теми ущерб, либо для того, чтобы вернуть им имущество». Ему не удалось добиться того, о чем он просил.

Вот каким образом власть могла бы использовать людей старого порядка. Они стремятся к власти не ради нее, но ради самих себя, не для того, чтобы служить ей, а для того, чтобы пользоваться ею в своих

собственных целях. Власть в их руках — лишь орудие, которое они обратят против его законного объекта с тем, чтобы использовать последний в своих делах, это машина, которую они поочередно будут направлять в различные точки, где собираются предпринять завоевания. Власть стремится получить сторонников, которые ей помогают, агентов, которые ей служат, которые употребят доверенные им средства так, как это предписано. Не ждите же от людей старого порядка подобного рода верности. Они будут префектами и супрефектами, как вы того и хотите, но при этом они будут стремиться к собственной выгоде, а не к выгоде вашей. Следовать вашим распоряжениям, исполнять ваши планы, поддерживать общественный мир, привлекать умы на сторону власти, укреплять ее владычество — вовсе не эти моменты занимают их мысль; все это для них вторично и как бы чуждо. Для них все, в том числе и вы сами, — лишь средство; целью для них являются только они сами. Для достижения этой цели, для того, чтобы служить их партии, нужно действовать? Они будут действовать; нужно усилить власть? Они ее усилят; ее нужно представить услужливой и слабой? Они ее ослабят; нужно, чтобы она не знала, что происходит? Они промолчат об этом; нужно избегать ее приказаний? Они будут их избегать. И вы получите корреспондентов, которые ничему вас не научат, чиновников, которые не будут вас представлять, законы, не имеющие реальности, намерения, не имеющие воплощения, воли, лишенные орудия, всю машину правления, которая будет служить не управлению обществом в соответствии с желаниями власти, но завоеванию одновременно и власти и общества.

Не говорите, что люди новой Франции будут делать то же самое, только с другими намерениями. Все отдаляет их от этого; ничто не толкает их к этому. Конечно же, у них тоже есть их принципы, их интересы, их дело. Но эти принципы и эти интересы суть принципы и интересы, признанные Хартией; вы говорите, что это также суть и ваши принципы и интересы; их дело — это поддержание порядка, защита существующего как в правовом, так и в фактическом отношении. У них нет никакого тайного умысла, которое им пред-

стоит воплотить, никакой скрытой силы, с которой можно советоваться. Коль скоро они связали себя обязательствами с властью, обязательства эти являются для них единственными; предмет их носит общественный, определенный характер; законы устанавливают, чем является префект, супрефект, мэр; все это определено; и у них нет никаких причин выходить из круга этих обязанностей или ориентировать отправление общественных функций к иной цели, нежели отправление самих этих общественных функций. Для них администрация, правление есть действие, в котором они принимают участие, которое имеет свои условия, свои правила и в рамках которого они действуют на занимаемом ими пространстве, обладая выделенной им долей власти, в соответствии с законами и приказами от вышестоящих инстанций. Вы можете проясснять общее положение новых людей, сколько хотите; они одни свободно распоряжаются самими собой; они одни могут, приняв общественные функции, отдавать себя целиком одной лишь власти, которая наделяет их этими функциями, думать лишь о своей службе, ждать всего лишь от нее одной.

Я признаю, что власть сама может изменить положение этих людей, лишив всех преимуществ. Я признаю, что она может передать им свое неотчетливое пожелание, зародить у них сомнения по поводу того, служат ли они правительству либо группе заговорщиков, или в борьбе против заговора дать в их руки недостаточную или ненадежную силу, всячески предписывая одержать над этими заговорщиками победу. Но откуда же в таком случае проистекает зло? Из поведения власти или из позиции этих людей?

Дело в том, что недостаточно выбрать людей, позиция которых соответствовала бы доверяемым им функциям; нужно также уметь поддерживать и сохранять положение, благодаря которому они оказались избранными. Не нужно пытаться ни приказывать им все и вся, ни использовать безотносительно к их способностям и наклонностям. Общественные чиновники, и в частности управляющие, действительно являются руками администрации, но эти руки — люди; обращайтесь с ними как с людьми, если хотите

править с их помощью. Правительство постоянно забывает об этом. Оно, казалось бы, рассматривает чиновников как живые автоматы, умеющие читать, писать, говорить, автоматы, которые по его приказу должны принять позу, издать звук, выполнить движение, добиться требуемого результата. Оно не предполагает, что у них есть собственные мнения или личная позиция, о которой они заботятся. Оно им говорит, и они должны в это верить; оно им приказывает, и они должны исполнять. И если, оказавшись в каком-либо серьезном затруднении, правительство само не будет знать, что оно должно делать и приказывать, положение чиновников сразу же изменится; из автоматов, которыми они были, они превратятся в министров, каждый в области своей компетенции; они должны будут сами догадаться, на каком языке следует говорить, какого поведения придерживаться, они одни будут разбираться в сложностях ситуации, в которой никто их не просветит, никто не направит, они должны будут заменить отсутствующую власть, вчера еще утомлявшую их своим присутствием: они будут даже счастливы, если в этом случае власть ограничится молчанием в общении с ними и не будет пытаться обманывать их, вводить в заблуждение как их самих, так и народ относительно истинного положения дел и относительно будущего!

Но вовсе не таким путем управление может стать деятельным, а чиновники — превратиться в подлинные средства правления. Они нуждаются одновременно в руководстве и в независимости. Вне отношений с палатами именно они являются действительными и постоянными правителями. Как же смогут они преуспеть в этом деле, если ощущают себя то закованными в цепи, то предоставленными воле случая? От них требуют гораздо большего, нежели им дают. Сила, которую они получают и уносят с собой из Парижа, — пустяк, если им не удается создать собственной силы на местах, куда они направлены. Этой же силы они могут ожидать только от общественного доверия и от уважения их личности. Но общественное доверие не распространяется на автомат, а уважение обходит стороной неуверенных магистратов, теряющих и направ-

ление и поддержку в сложных ситуациях, как будто они имеют руководителей лишь для того, чтобы те унижали и оставляли их. Это не означает использовать людей; это значит пользоваться ими, пользоваться ими к их великому неудовольствию, равно как и не получая никакой выгоды для власти. В подобной системе, если это действительно система, независимые чиновники, люди новой Франции, гораздо более других подвержены опасностям. Человек старого порядка имеет за спиной партию, которая его поддерживает и которую он всегда обнаружит рядом с собой. Но что же станет с префектом, с генеральным прокурором, который не хочет служить старому порядку, но которому не достаточно правления, если он не знает, ни где оно в настоящий момент, ни куда оно направится? В конце концов, к своему большому сожалению, он подчинится давлению господствующей группировки либо падет под ее ударами.

Таким образом, порядочные чиновники, подлинные магистраты оказываются обесславлены одновременно и благодаря тем же ошибкам, что и народы. Таким образом, средства правления, заключенные в индивидах, то недооцениваются, то извращаются, подобно средствам правления, предоставляемым массами.

Я мог бы на этом остановиться. Я говорил о союзниках, которыми открыто окружает себя власть, и о чиновниках, которых она использует. Я показал, какие из них по своим настроениям и своему положению больше подходят природе власти и каким образом она должна ими воспользоваться. Но это далеко не единственные люди, в которых нуждается власть и с которыми она должна взаимодействовать. Распределив всех своих чиновников и объединив всех непосредственных союзников, власть не собрала еще всех средств правления, открывающихся ей в ее отношениях с индивидами.

В каждом департаменте, каждом городе, каждом местечке есть известное число людей, не желающих поддерживать с правлением никаких тесных отношений, никакой фактической связи, но оказывающих на свое окружение более или менее решительное, более или менее обширное влияние. Это — собственники,

адвокаты, капиталисты, владельцы мануфактур, торговцы, которые держатся в стороне от общественных дел, посвятив себя целиком собственным занятиям, но которые от этого пользуются не меньшим уважением, не теряются в массах, над которыми они возвышаются, и делаются заметными благодаря своему значению и оказываемому им доверию.

Пусть власть не заблуждается на сей счет; если она не возглавит этих людей, которые вовсе к ней не стремятся, если она оставит их в той изоляции, которую они, казалось бы, сами для себя избрали, если она не заинтересует их, не превратит их в часть той обширной целостности, что составляет подлинное правление обществом, она будет постоянно беспокойной и слабой, ибо общество, одновременно требовательное и бездействующее, будет требовать от нее больше силы, чем она способно иметь, и не отдаст ей всех сил, которые она питает.

У наших министров странные претензии; они жаждут объединить противоположности. Они сожалеют об отсутствии аристократии и хотят одни удержать власть. Они жалуются, что Франции недостает общественных влияний, способных прийти к ним на помощь, и опасаются действительного и деятельного вмешательства граждан в дела. Они разочарованы тем, что им приходится иметь дело с обществом, распадающимся на индивиды; они призывают всю силу реального превосходства; но как только индивиды начинают объединяться либо между собой, либо вокруг одного человека, как только проявляются превосходства, они дрожат от одного только их вида, отказываются разделять с ними власть, даже высказывают возмущение и обращаются как с узурпацией, как с анархией с любым намерением действительно перенести на кого-либо хоть часть власти, от которой они, по их же собственному признанию, изнемогают.

Нужно выбирать. Нужно либо уметь быть деспотом, либо терпеть свободный народ. Свобода же состоит в том, чтобы самому в своей области делать все, что можно сделать мудро и в соответствии с общим благом. Я жил в департаментах, в лоне того общества, которое, как говорят, состоит лишь из разрозненных,

изолированных индивидов, не имеющих ни градаций, которые бы их классифицировали, ни связей, которые бы их объединяли. Этот факт показался мне очевидным, но совершенно нереальным. Я находил повсеместно незамеченные связи, утраченные влияния, превосходства, не нашедшие употребления. Я встречал людей, обладающих доверием, но не знающих, что с ним делать, людей, которые были способны на многое, но оставались ничем. Я слышал, как они обсуждали дела общественные, дела местные, но так, как будто бы они были чужыми если и не в собственной судьбе, то, по крайней мере, в собственной деятельности. Они говорили о них так, как разговаривают в кафе или на спектакле, но совсем не так, как говорят о делах, которые были бы их делами, ради которых они должны были бы договориться, объединиться, дать силу своим влияниям и прочность связям, существующим между ними. Я увидел в этом и несправедливость, и основание для упрека, адресуемого Франции, коль скоро ее представляют как лишенную этих влияний, этого связывающего раствора, который превращает множество в общество и делает его способным оградить себя от анархии, не прибегая к абсолютной власти.

Факт ложный; но правление, администрация страны задуманы и построены таким образом, как будто бы он истинный. Существуют реальные превосходства, признанные влияния, но они власти ни к чему; и поскольку они ей ни к чему, то они для нее — ничто; они дают ей ровно столько, сколько от нее получают, т.е. ничего или очень мало; и власть вынуждена пребывать в одиночестве или быть самодостаточной, как будто бы и на самом деле ее приказы и ее агенты были единственными связями, единственными силами общества, что на самом деле не так. Власти не хватает общества, но это оттого, что власть лжет обществу, оттого, что она считает общество иным, чем оно есть на самом деле, оттого, что она отказывается общаться с обществом, оттого, что она не хочет взывать к обществу и позволить действовать от его имени этой законной, этой естественной аристократии, о которой общество не ведает и которая, будучи теперь бесполез-

ной и бездеятельной, быть может, и сама себя не узнает, но от этого не перестает существовать.

Пусть же ложь рассеется; пусть центральная власть откажется от своих притязаний быть всем, и очень скоро она перестанет быть одинокой; очень скоро она увидит, что в нашем обществе предостаточно индивидов, способных содействовать его управлению, и содействовать этому исходя из одного лишь их положения, их превосходства, доверия к ним. И не только в результате этого наиболее естественного и наиболее истинного разделения власти не будет анархии, но и это — единственное средство положить конец анархии моральной, которая приносит Францию в жертву урагану анархии и тирании группировок. Знаете ли вы, почему газеты всех партий, всякого рода руководящие комитеты обнаруживают сегодня, что общество столь открыто их влиянию, столь покорно их гнету? Да потому, что граждане сегодня лишены центра, вокруг которого они могли бы объединиться, не имеют дел, которыми могли бы управлять сообща, в которых они бы изучили фактические потребности, подлинные интересы общественного порядка. Здесь бы они научились познавать друг друга, договариваться о взаимных претензиях, приходить к соглашению относительно определенного результата. Вы сожалеете о том, что партии совершенно не поддаются объединению, что люди умеренных взглядов не имеют силы и связей. Я прекрасно это знаю; индивиды живут изолированно; ничто не принуждает их к совместной деятельности; ничто не заставляет их искать точку, идею, решение, в которых бы они могли объединиться. Я видел генеральные советы, советы муниципальные, которые здравый смысл того или иного префекта продвинул в делах гораздо дальше, чем это сделал бы закон. В них заседали люди с очень разными воззрениями. И что же? Как бы ни была слаба в том потребность, как бы ни были ограничены их отношения, эти люди в конце концов установили связи либо между собой, либо с властью, создали известную общность намерений и мыслей, которая ослабляла различие их воззрений, смягчала господство духа партии и наделяла каждого

из них большей мудростью вкупе с большей независимостью. Именно при дворах графств, в собраниях мировых судей, в собраниях буржуа якобиты и ганноверцы[25], тори и виги научились жить сообща и вместе обсуждать большую часть дел своей страны, дискутируя при этом в большом национальном совете по поводу общей линии своего правления. От такой системы выигрывает не только свобода, но также порядок и мир.

Но для того, чтобы достичь подобного результата, требуется нечто иное, нежели ложь и притворство. Для того, чтобы естественные превосходства, влияния не были бы утрачены, им следует найти употребление. Люди не позволяют долго водить себя за нос. Они очень скоро узнают, действительно ли дело, к которому их привлекают, это их дело, а не чье-либо чужое. Они становятся полезными только тогда, когда ощущают себя необходимыми. Законодательный корпус Бонапарта считал себя чуждым по отношению как к судьбе, так и к трудам правления. Он имел на то основания. И то же ощущение возникнет повсюду, где вхождение граждан во власть будет не более реальным, не более действенным. Власть имеет для людей свою прелесть, но только тогда, когда она действительно принадлежит им, а не тогда, когда она походя принимает их помощь, чтобы восполнить собственную беспомощность. Для нее даже нет ничего губительней, чем открыть им таким образом секрет своей слабости, оставив при этом осознание их полного ничтожества.

Таким образом, если вы хотите действительно использовать все средства правления, заключенные в индивидуальных превосходствах и влияниях, то на самом деле передайте им часть правления. Не поступайте с властью так, как поступает с золотом скупой; не накапливайте ее, чтобы оставить ее бесплодной. Искусство управления состоит не в том, чтобы с виду присвоить себе всю силу, но в том, чтобы использовать всю существующую силу; ведь сила существует сама по себе и не позволяет перемещать себя по желанию власти. Власть может не признавать силы и сводить ее к бездействию; но в этом случае она не извлекает из нее никакой пользы и не способна почерпнуть в соб-

ственных недрах того, чем можно было заменить то, чем она пренебрегает. Оставьте же, наконец, слепой эгоизм. Перед вами люди, имеющие вес, влияние, клиентуру, — сделайте же их должностными лицами. Используйте же надежный способ их обнаружения и выявления. Вместо того, чтобы впустую изучать вопрос, как вам править без них, заставьте их управлять вместо вас. Они откажутся быть вашими агентами — заставьте их стать вашими союзниками. Не бойтесь обобрать себя, чтобы их приобрести. Сокровища власти вас обременяют; раздайте же часть из них тем, кто в самом себе будет подчеркивать и оттенять полученное от вас. Будучи чуждыми власти, эти люди не служат власти, но стесняют ее. Будучи допущенными к тому, чтобы ее разделить, они вкусят ее как науку, и правление, как и страна, получат от этого пользу.

Я признаю, что национальное правление — единственное правление, в рамках которого все это возможно. Но я также собираюсь доказать, что только национальное правление может всемерно способствовать осуществлению блага.

Глава тринадцатая

ВОЗДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГЛО ОКАЗАТЬ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВЛЕНИЕ НА ПАРТИЮ СТАРОГО ПОРЯДКА

Исследуя то, каким образом можно обращаться либо с общими принципами, чувствами, интересами новой Франции, либо с индивидами, следующими закону, я постоянно наталкивался на один факт: союз с людьми, принципами, чувствами, интересами старого порядка делает неподатливым для власти все то, что исходит от революции, он изменяет природу, извращает, разрушает все средства правления, которыми революция обладает и которые она могла бы предоставить власти.

Могло ли произойти нечто подобное со старым порядком под руководством власти, которая была бы сторонником революции? Если бы новая Франция

господствовала, разве старая Франция давала бы правлению что-либо, кроме враждебности и препятствий? Вопрос этот серьезен и заслуживает тщательного изучения.

Он серьезен, ибо старая Франция и по сей день живет меж нас, и никакое правление не должно, не может об этом забывать. Она потерпела поражение, но не была уничтожена. Неверно, что, как утверждают иногда ее защитники, она вышла из революции более значительной и более сильной, нежели раньше. Наиболее оживленные, наиболее естественные реакции никогда не имели такого значения. Но старая Франция действительно еще сильна. Действительно также, что ни в один — не скажу здравый, но, по крайней мере, свободный от безумия — ум не могла бы прийти идея попытаться возобновить против нее войну по ее уничтожению, что вела по отношению к ней революция. Я не знаю, действительно ли всегда нужны подобные потрясения; мне известно лишь, что они носят временный характер и что сегодня мечтать о том, чтобы силам Конвента нанести удары по старому порядку, могут только негодяи или безумцы, отвергнутые всей Францией в целом.

Таким образом, следует принять существование этой партии. Мы должны, мы можем довести до конца ее поражение, но мы никогда ее не искореним. И в то же время я без обиняков отвечаю на поставленный выше вопрос и утверждаю, что в противоположность тому, что произошло с революцией при старом порядке, старый порядок под господством новой Франции с каждый днем будет все спокойнее, станет более уступчивым и даже предоставит власти, которая сумеет с ним справиться, полезные средства правления.

Сильные партии разлагает, отравляет именно страх. На слабые же партии подобное воздействие оказывает надежда. Сила проявляется и озлобляется, когда ощущает себя в опасности. Слабость познается и покоряется необходимости.

Когда Вильгельм III взошел на престол Англии, якобитская партия действительно не исчезла полностью и сразу же. Она продолжала надеяться, интриговать, волноваться, даже составлять заговоры. Но все

это было бесполезным. Почему? Да потому, что основные лидеры партии, равно как и многие простые граждане, очень скоро поняли, что время этой партии прошло безвозвратно. Простые граждане подчинились власти; к ним примкнули и видные люди. Из якобитов они превратились в тори, и Вильгельм очень часто и не без успеха пользовался этим, чтобы противостоять жестким и не считающимся с чужим мнением претензиям вигов; ведь этот ловкий государь знал, что власть изменяет свою природу и подвергается опасностям, если правитель отдается служению исключительно одной партии. Даже если это его собственная партия.

Почему, когда Бонапарт сделался императором, старый порядок выказывал себя по отношению к нему столь покорным и столь предупредительным? Не только потому, что Бонапарт хорошо с ним обращался, но прежде всего потому, что он больше ни на что не надеялся. Он утрачивал свои шансы и обретал права. Именно такое сочетание убивает партии. Закройте перед ними дверь, которую они пытались вновь открыть, и распахните другую дверь. Тем самым вы обуздаете их, внесете покорность в их настроения, дезертирство в их ряды.

Партия старого порядка сегодня устроена точно так же, как была устроена партия якобитов при Вильгельме III и точно так же, как она была устроена и при Бонапарте; изменилась не ее природа, но ее положение. Она не является ни более неуступчивой, ни более сильной. Лишите ее надежды; она вновь обретет свою слабость и позволит управлять собой.

Одно только правление может лишить ее надежды; это правление новых принципов, чувств, интересов, открыто принятых, твердо проводимых в жизнь, даже охотно демонстрируемых. Старый режим был побежден; кем? революцией; одной только революции он и уступит победу; он должен увидеть революцию завершенной, упорядоченной, господствующей, чтобы осознать себя покинувшим поле битвы. До тех же пор, пока он будет видеть, что правительство неустойчиво, лишено формы, цвета, сегодня — под властью палат, завтра — двора, что здесь правит закон, там — произвол и покровительство, что один министр защищает

национальные блага, а другой — почти рекомендует возместить эмигрантам понесенный теми ущерб, что новая Франция поочередно отвергается или принимается; до тех пор, пока власть будет взывать к взаимоисключающим доктринам Хартии и утверждениям прошедших времен, то к средствам правления представительной системы, то к средствам правления старого порядка, — партия старого порядка не покорится, поскольку она не будет чувствовать себя побежденной. Двор, произвол, максимы былых времен — все на ее стороне; это ее область, здесь сосредоточены все ее шансы. Здесь с ней тоже нужно сражаться, но не этим ее можно победить. Если здесь сосредоточено то, что составляет господствующую черту вашей системы правления, то вы охотитесь на землях этой партии; здесь она ощущает себя более сильной и более легитимной, чем вы. Не будьте здесь бездеятельны и безоружны; но перенесите в другое место главное направление вашей борьбы; ищете в ином месте вашу настоящую точку опоры. В противостоянии старому порядку мало быть министром; ни этот чин, ни его блеск, ни даже даваемая им власть совершенно ни к чему не обязывают и не пугают партию старого порядка; эта партия привыкла жить подле власти, обращаться с ней снисходительно, шпионить за ее слабостями, пользоваться ее ошибками, и кто знает, каким образом можно ее разрушить при помощи интриг или дерзких бравад. Покажите же выразителей, людей, лидеров новой Франции; вот та власть, которой боится партия, от которой она не может защититься, в которой она уже обнаружила, уже сегодня предчувствует победителя. Попросите у института национальных выборов, у могущественных палат, у свободных институтов, у гласности, у печати ту силу, которая вам необходима в борьбе против старого порядка; эта сила не только сосредоточена здесь, но и старый порядок знает, что она именно здесь и существует; именно здесь он опасается появления господина и узнает его, если увидит, как тот именно отсюда появляется. С другой стороны могут возникнуть только соперники, и он будет думать, что всегда в состоянии бороться с ними.

Обратите внимание на преимущества позиции, которую я советую вам принять. Она удовлетворяет двум условиям проблемы, решения которой требует необходимость управления партией старого порядка. Позиция эта дает как то, что заставляет партию почувствовать свою слабость, так и то, что лишает ее всякого шанса на возврат к прошлому; и вместе с тем она оставляет будущее открытым перед этой партией, если та покорится и оставит свои притязания. Революция 1688 г. лишила якобитов всяких разумных оснований для надежды; но одновременно она низвела католиков до состояния отчаяния, что не было ни справедливым, ни благим; поэтому-то именно отсюда и происходили главным образом волнения в Англии. Нужно победить антинациональную партию; но превращать ее членов в чужаков или рабов как опасно, так и несправедливо. Принципы нашей революции не имеют подобных последствий; они не несут в себе никаких исключающих моментов в отношении того или иного класса; они являются основанием для всеобщих прав и защищают любой интерес, который примет их владычество. Люди старого порядка могут, если захотят, быть у нас гражданами, и притом свободными, как и новые люди. Эта дверь, открытая для покорности, это постоянное приглашение к заключению нового договора с отечеством представляют собой действенное средство правления. Именно таким образом Бонапарт приобрел доверие людей старого порядка; в прошлом они не имели никаких шансов; в будущем — те же шансы, что и у всех французов. Конституционная система имеет такие же преимущества и может предложить ту же сделку. Вы хотите жить в мире — так живите в мире; от вас требуется только одно — подчинение законам. Вы желаете преуспеть на общественном поприще — все профессии открыты перед вами; только занимайтесь ими, как и все остальные, — после тех же испытаний и ставя перед собой те же цели. Никогда еще побежденным не предлагался более мягкий договор; никогда еще новое правление не имело в своей собственной природе больше средств, чтобы успокоить или завоевать своих былых противников.

Углубимся же еще дальше в изучение этой партии, исследуем различные ее элементы и выясним, какие возможные последствия произведет в ней полное господство новых принципов и интересов.

В другом месте я уже говорил, что такими элементами являются: двор, провинциальное дворянство, духовенство, наконец, робкие честные люди, которых крайности революции, справедливо или нет, отбрасывают далеко от того, к чему их влечет. Я считаю данный перечень исчерпывающим. Поэтому я ему и следую.

На протяжении семи лет двор был для правления препятствием; это абсолютно точно. Современное правительство попыталось превратить его в свое средство; но оно не подумало о том, что если использовать его в качестве средства, то нужно прежде всего разрушить в нем препятствие для правления. В этом может преуспеть только господство новой Франции.

Одно из двух: либо принадлежащие ко двору люди имеют значимость сами по себе и пользуются уважением в стране; либо это просто придворные, еще занимающие, как некогда, высокое положение, но ныне не имеющие нигде корней.

В отношении первых пусть конституционная система действительно возьмет верх, путь правление покинет двор, чтобы упрочиться в палатах и внутри страны; не сомневайтесь, эти люди последуют вашему примеру. Роль и качество придворных станут для них вторичными, ведь их значимость сможет развернуться и принести свои плоды вовсе не в недрах двора. Пусть г-н де Шуазель или г-н де Морепа[26] превыше всего ценят свое существование при дворе, я это могу понять; сила была сосредоточена здесь; они должны были находиться именно здесь, чтобы ее взять или ее сохранить. Но разве так поступали лорд Четэм или г-н Питт, разве так ведут себя лорд Ливерпуль или лорд Каслри? Они — люди двора, и они посещают двор; но не здесь протекает их жизнь, проводится их политика; у них есть и другие дела помимо того, чтобы хвастаться там оказываемым им доверием; они отдаются иной борьбе, нежели эта мелкая война претензий и интриг. Представительное правление в Англии оставило двор,

но в качестве украшения трона и для времяпровождения праздных честолюбцев; в качестве политической силы оно убило его; двор изредка выступает орудием в руках министров, но никогда не чинит затруднений парламенту. О нем никто не думает в стране за исключением тех, кто при нем развлекается. Ведь в нем нет никакой силы, способной оказать сопротивление и сохранять какую-либо энергию перед лицом национальных интересов, призванных управлять государством под надзором народа.

Та же самая причина могла бы и у нас привести к тому же результату. Для правительства, колеблющегося между новой Францией и старым порядком, двор представляет собой и силу, и препятствие. Для подлинного правления новой Франции двор еще некоторое время будет иметь какое-то значение, поскольку старый порядок будет еще продолжать там свои действия; но власть и вне двора найдет с избытком средств, чтобы преодолеть старый порядок; и значительные и серьезные люди, к какой бы партии они ни принадлежали, вскоре увидят, что подлинная борьба разворачивается вне двора.

Что же касается настоящих придворных, я с трудом поверю, что здесь есть о чем беспокоиться; и если бы ими обязательно нужно было заниматься, я сомневаюсь, что с ними было бы трудно справиться.

Учитывая все вышесказанное, можно утверждать, что именно чаяния старого порядка превращают двор в нечто серьезное. Если бы партия была побеждена в других отношениях, то и здесь она перестала бы представлять угрозу и помеху для власти.

Более того: было бы большим заблуждением полагать, будто дело и настроения двора те же, что и дело и настроения партии старого порядка в департаментах. Расхождение между ними глубоко, и реальность конституционного правления скоро обнаружит это со всей очевидностью. Кому не доводилось слышать, как дворяне из провинции в своих городах и многие из правых депутатов в Париже с большой досадой выступают против двора, его требований, его заносчивости, его невежества и его забвения подлинных интересов партии? Это чувство не ново. Двор хотел быть по отноше-

нию к провинциальному дворянству тем, чем дворянство во Франции хотело быть по отношению к третьему сословию. При абсолютном и аристократическом правлении власть постоянно пытается изолировать себя, а привилегии — еще у́же замкнуть свой круг. Одна только свобода продвигается вперед, постоянно передаваясь от человека к человеку; одно только конституционное равенство постепенно расширяет свои основания. Сторонники старого порядка в департаментах об этом прекрасно знают; и если бы либеральная Франция вдруг исчезла, если бы они остались одни перед лицом аристократии двора, они, в свою очередь, очень скоро и очень живо потребовали бы для себя принципов Хартии и гарантий представительной системы. Даже сегодня, несмотря на состояние умов и вопреки общей опасности, наиболее дальновидные из этих людей, те, кто обычно живет далеко от Парижа, не могут не знать того факта, что представительное правление в противовес двору является для них благом, что они обязаны этому правлению не только своим значением в рамках партии, но также и правами, безопасностью, утрата которых была бы для них весьма досадной. Всякий раз, когда шла речь о старом порядке и его сторонниках, мало учитывалось это различие в положении, разделяющее дворянство провинций и людей двора. Различие это серьезно, и оно будет таковым для правления, которое, опираясь на новую Францию и будучи преданным своей победе, захотело бы тем не менее, как это и должно быть, осторожно и справедливо управлять также и партией старого порядка.

Окинув взором департаменты, невозможно не признать, что почти всюду существует известное число дворян, которые хотя и связаны действительно со старыми принципами и интересами, стремятся к успеху этих принципов и даже содействуют ему, но тем не менее мало склонны к тому, чтобы в этих целях возобновлять какую бы то ни было революционную борьбу и для того, чтобы преуспеть в ней, всем рисковать, все подвергать опасностям — и свою страну, и самих себя. Многие из них не лишены ни состояния, ни авторитета, ни тех позитивных знаний, того понимания мест-

ных интересов, которые могли быть плодотворно использованы в более или менее прямой помощи администрации города или департамента. Помимо этого, в силу природы своего состояния и обычаев своего прежнего положения они обладают известной свободой, известной легкостью, позволяющими им покинуть круг частных интересов и заниматься в сфере своей компетенции общественными делами. Они не лишены ни усердия в деле удовлетворения общих потребностей своей местности, ни независимости в отношении власти. У них достаточно и времени, и образования, чтобы посвятить себя такого рода службе в муниципальном совете, в генеральном совете. Наконец, они имеют большую склонность жить у себя — летом на своих землях, зимой в городе, — заниматься своей семьей, своим имуществом, процветанием страны, мало чего ожидая от интриг в Париже и совершенно не беспокоясь относительно них.

Что губит этих людей, так это надежда. Если бы они ее вовсе не имели, они были бы просто тем, чем они могут быть, — мирными гражданами, полезными для общества и уважаемыми им. Власть обрела бы в них поддержку защитников и даже свободу, ведь они стремятся к свободе; они желают ее по одной только той причине, что положение их независимо, даже если они не признают или отвергают принципы, лежащие в его основании. Но все оживилось, все пришло в волнение. У этих людей оставались сетования, им позволили возыметь желания; эти желания превратились в требования; требования вызвали недовольство и досаду в свой адрес; люди были спокойны — они пришли в волнение; в них есть нечто, достойное почтения, — они стали подозрительными; но они и должны быть таковыми, ибо в них все — вопрошание, им все кажется дозволенным и возможным. Из Парижа до этих людей без конца доходят обещания, призывы; ничто не доказывает им, что призывы эти бесполезны, что эти обещания обманчивы; ничто, наконец, не дает им ощутить тяжелую, но спасительную руку необходимости, которая лечит, ампутируя, и успокаивает, обнаруживая одновременно величину и пределы жертвы.

Так власть повсеместно разрушает элементы аристократии, которую она сама же и призывает; в новой Франции она не признает либо страшится этих элементов; в старой Франции она вводит в заблуждение либо подрывает их. Возмущая революцию, она отталкивает ее; льстя старому порядку, она его губит. Колебания, трусость, непонимание подлинных сил, как и подлинных слабостей, — все со стороны власти сеет беспокойство даже там, где она пытается привнести какую-то защиту; все извращает и подрывает интересы, жизни, которые полное и явное господство конституционной системы могло бы упрочить, удерживая их на своих местах, которые оно могло бы даже обратить к общему благу страны. Конечно же, такие последствия не были бы ни внезапными, ни всеобщими; вся старая аристократия в целом была далеко не такой, как я только что описал; в некоторых департаментах она почти полностью предана жестокому раскольническому духу; и повсеместно в недрах ее можно встретить людей, одержимых неизлечимой слепотой, непреодолимыми предрассудками, антинациональными чувствами, неуправляемыми страстями, наконец, людей, с которыми невозможно сделать ничего другого, кроме как довести их до полного бессилия. Сама по себе партия старого порядка — очень дурная партия, и именно поэтому ее следует победить. Но и здесь также перемешались добро и зло; здесь также власть обязана благу справедливостью, уважением и всем тем, что может вернуть ее к собственной природе. Следовательно, до тех пор, пока партия будет на подъеме, до тех пор, пока власть будет вселять в нее надежду, здесь будет господствовать зло, и само благо превратится во зло. И только, когда зло будет обуздано, когда для него будут закрыты все шансы, благо удержится на поверхности и вновь займет в обществе подобающее ему место.

Все, что я сказал о дворянстве, я в равной степени могу сказать и о духовенстве. Здесь также надежда окрыляет умы, чтобы вновь бросить их в погоню за порядком вещей, которого больше нет, который никогда более не возродится. Быть может, именно здесь в поддержку старых утверждений и в противовес конститу-

ционной системе найдем мы более основательную силу, связанную с гораздо более возвышенными и гораздо менее сговорчивыми принципами, чем принципы старой аристократии. В конечном итоге в Хартии есть место для всех интересов, и даже самые непокорные из них, если будут лишены всякого шанса, попробуют удовлетвориться тем, что она им предлагает. Но она неизбежно отвергает ультрамонтанские доктрины, которыми еще прикрывается сегодня часть духовенства и которым будет очень трудно признать эту непримиримость. К счастью, хотя и кажется, что эти доктрины развиваются, на самом деле у них нет достаточно сил, чтобы повысить требования, таящиеся в их недрах. Время — не для них; и глядя на них, я склонен полагать, что если духовенство и сближается со старым порядком, то в бо́льшей степени для того, чтобы спасти осколки своей былой славы, нежели в надежде на то, что теории эти вернут ему свое былое значение. Г-н де Ла Менне не имел успеха среди священнослужителей, и все дальновидные люди почувствовали, что он подрывает авторитет дела, ставя вопрос со всей остротой. Один только этот факт доказывает, что даже сегодня духовенство инстинктивно осознает свое положение. что оно склонно быть осторожным, чтобы не войти в слишком уж непримиримую оппозицию по отношению к существующему течению дел. Таким образом, если бы победа нового духа была очевидна, если бы тот всецело царил в мире земном, то были бы все основания полагать, что мир духовный старался бы к нему приспособиться и предоставил будущему заботу о проблеме, которая будет преодолена, но решение которой не относится к ведению политики. В сущности, духовенство требует именно уверенности и уважения. Если бы его положение было точно определенным, если бы в этом положении оно одновременно поддерживалось и сдерживалось, если бы будущее для него было одновременно соответствующим его чаяниям и незыблемым, духовенство приняло бы это положение. Сейчас же оно пребывает во власти двух чувств, которые больше всего беспокоят людей, — надежда и страх; настроения нового общества внушают ему страх, настроения же власти открывают самое не-

ясное поле для его стремлений; с одной стороны, затронуты самые чувствительные его струны, с другой — оно надеется на всю свободу. Никакая ситуация не может быть более губительной и опьяняющей. Одно только владычество конституционного порядка способно положить ей конец и вернуть духовным должностным лицам ту земную уверенность, которую они ищут сегодня в погоне за своим бывшим господством.

Что же касается последнего из элементов партии старого порядка, т.е. честных и скромных людей, которые больше других опасаются революционных эксцессов, то именно на них твердое господство новых принципов и интересов оказало бы самое замечательное воздействие. Оно подсказало бы им, что они вовсе не являются тем, чем себя считают, и что они могут быть тем, чем им подобает быть. Чего хотят эти люди, так это прежде всего правления; его упорядоченное и прочное существование является в их глазах первой из общественных потребностей; в правлении их интересует не столько то, откуда оно произошло и что оно есть, сколько то, действительно ли оно есть и будет ли оно продолжать существовать, чтобы обеспечить им уверенность и покой. Вот почему они склоняются то к одной, то к другой стороне в зависимости от того, из какой, по их мнению, исходит правление. Если их предпочтение склоняется к правой стороне, если обычно они вступают в союз именно с ней, то это оттого, что благодаря своим предшественникам, благодаря своему положению эта партия проповедует порядок, подчинение законам, поддержку власти, одним словом, предвещает правление, хотя она и не способна его дать. Если бы бездарность партии была им доказана, они бы оставили партию и потребовали — не знаю где, не знаю у кого — правления, к которому они стремятся, подобно паромщику, долгое время плавающему между берегами и стремящемуся в порт. Пусть правление придет к ним от конституционной системы, пусть власть сумеет выявить и использовать средства силы и прочности, заключенные в новой Франции, — и они будут удовлетворены, они поддержат это правление не столько потому, что оно именно такое, а не какое-то другое, сколько потому, что это просто будет

правление, в котором они нуждаются. Я вовсе не собираюсь замалчивать заблуждения этих людей, поскольку никто не сожалеет о них более меня; мне известно, что они желают слишком мало свободы, что они слишком боятся движения, что именно в силу этого конституционный порядок заключает в своей природе нечто, их беспокоящее. Но я также знаю, что они совсем не хотят возвращения старого порядка прежде всего потому, что считают его невозможным, и кроме того еще и потому, что он затронул бы интересы большинства из них. И если они сближаются с ним, то совсем не ради него самого, но потому, что они надеются получить от него то, что ищут повсюду. Если бы они нашли где-то в другом месте то, что ищут, т.е. правление, — пусть это правление более беспокойно, чем им бы это подходило, — после некоторых сомнений они бы присоединились к нему. Революция совершенно не в духе этих людей, и вовсе не потому, что они не способны к сопротивлению, а потому, что они боятся намерений или последствий оппозиции установившемуся порядку. Они бы оказали сопротивление мятежу, анархии; они бы даже подвергли себя опасностям, чтобы тем самым защитить правление. Мне были известны люди, которые порвали дружеские, родственные отношения, которые отреклись от наиболее естественных следствий, свойственных их собственному положению; ради чего? Ради того, чтобы получить места, милости? Нет, ради того, чтобы подчиниться тому чувству страха, что заставляет их видеть опасность повсюду, где власть встречает какое-то препятствие, ради той потребности в прочности, что побуждает их поддерживать правление несмотря на его ошибки, в противовес всем его недругам. Мне известны даже люди, чьи принципы либеральны, люди, которые заявляют об этом, которые это доказали, которые не ждут и не желают ничего от какой-либо власти, но над которыми эта потребность в правлении также имеет большую власть и заставила бы их принести большие жертвы. Конечно же, ни эти люди, ни даже те, что, охваченные подобным чувством, еще больше сблизились со старым порядком, не стали бы долго сопротивляться власти, сумевшей чер-

пать в новой Франции то, благодаря чему власть стала бы сильной и могла бы обещать прочное будущее.

Подлинный, единственный вопрос состоит, стало быть, в том, чтобы выяснить, есть ли в новой Франции, в ее принципах, интересах, чувствах, альянсе средства достижения этой цели. Я попытался показать их. Если я не ошибся, если они действительно есть, то вопроса больше не существует, поскольку для того, чтобы воссоединить новую Францию, для того, чтобы ею управлять, это — единственно возможные средства, а для того, чтобы управлять или привести к роспуску партии старого порядка, эти средства — наилучшие. В этих средствах есть все, чтобы удовлетворить потребности одной стороны, и все, чтобы снять препятствия, возникающие с другой стороны. В рамках этой системы вся новая Франция не станет мудрой, весь старый порядок не будет рассеян или покорен; у власти еще будут возникать трудности в руководстве своими союзниками, сложности в победе над ее противниками; кто сомневается в этом? Таков удел власти. Но речь идет о том, чтобы выяснить, каким образом она должна взяться за дело, чтобы преодолеть затруднения в правлении, а не о том, каким образом она могла бы избавить себя от них; ведь последнее — несбыточные мечты, и любое правление, которое будет им следовать, умрет в муках. Успех сопутствует только тем правлениям, которые смотрели в лицо испытаниям и искали в людях и вещах не то, при помощи чего этих испытаний можно было бы избежать, но то, при помощи чего их можно преодолеть.

Глава четырнадцатая
О СРЕДСТВАХ ОППОЗИЦИИ ВООБЩЕ

«Я слаба, это так, говорит власть; но почему же на меня все время нападают? Почему же оппозиция является столь сильной, столь пылкой, столь грозной? Постоянное ее присутствие, ее упорство — вот те препятствия, которые она мне чинит, и те законные страхи, которые она мне внушает, которые истощают меня,

повергают меня в беспокойство и подталкивают меня к альянсу, об опасности которого мне известно».

То, что власть ощущает себя слабой и в опасности, я понимаю; но меня удивляет, что она упрекает оппозицию в могуществе. Что же это за оппозиция, которая повсеместно стесняет и разрушает власть? Что она делает и каковы ее средства?

Напрасно я их искал; я вижу во Франции лишь одно средство оппозиции, это — слово, что же касается слова, то я вижу лишь одно место, где слово было бы действительно сильным и свободным, это — парламентская трибуна. Свобода печати еще не окончательно мертва, согласен; но с тех пор, как были закрыты все газеты[27], свобода печати, хотя и представляет еще большую ценность, не в состоянии повергать власть в такой ужас. Трибуна парламента в руках большинства шесть месяцев в году — вот и вся сила оппозиции.

Загляните во все уголки нашего общества — вы не найдете другого такого средства. Возможно, власть повсеместно встречает препятствия, но только с этой стороны ей оказывается какое-то сопротивление. Она была наследницей машины, в которой не было предусмотрено никакого исхода для оппозиции, где все проистекало из правления и возвращалось к нему. Только правление назначало всех общественных чиновников, управляло всеми общественными делами — как большими, так и малыми, как самыми темными, так и наиболее открытыми. Если в какой-либо области, где оно царствует безраздельно, проявляется и еще какая-то иная, нежели его, правления, воля, правление подавит ее как захочет; если перед ним встанет какой-то вопрос, в котором оно заинтересовано, оно разрешит его так, как ему это выгодно. И нигде, кроме как в палате депутатов, оппозиция не стоит на его пути; нигде в другом месте независимая сила не допущена до того, чтобы способствовать его действиям, оспаривать у него то, чего оно желает.

Это ли естественное состояние свободного народа, условие представительного правления? Я не думаю так; я далек от мысли, что оппозиция обладает сегодня безграничной силой, я убежден, что у нее вовсе нет

сил, нет оружия, что в этом-то и состоит великое зло даже для самой власти.

Суверенитет, говорил Ройе-Коллар, — и я возвращаю ему эту идею, поскольку именно у него я ее заимствовал, — суверенитет некогда был единым и абсолютным в центре, разделенным на множество точек и ограниченным по периферии. Теперь же суверенитет разделен в центре, но един и неограничен повсюду в других местах. В этом есть противоречие и опасность. Для того, чтобы порядок и свобода нашли свое основание, власть повсеместно должна иметь свои границы и свои условия.

Я думаю, что так оно и есть, и факты это подтверждают. Посетите Англию, Швецию, все те страны, где свобода представляет собой реальную силу, гарантию всего и вся, а не ужасное слово, расшатывающее все устои; здесь повсюду вы увидите, что власть ограничена по периферии и разделена в центре, а независимые силы способствуют управлению обществом. Здесь есть дела, которые решаются без участия центральной власти или которые она одна не может разрешить; здесь есть чиновники, которые получают свои полномочия вовсе не от центральной власти и не обязаны подчиняться ее минутным настроениям. Здесь права имеют иные гарантии, нежели одни только речи. Здесь оппозиция проявляется иначе, чем на трибуне, иначе, чем через слово. Здесь она обладает реальными, фактическими средствами; ее место — не вне власти, но в сфере самой власти, и проявляется она столь же прямыми путями и через столь же законных выразителей, каковыми являются пути и выразители власти.

И правда, для того, чтобы оппозиция была действенной, ей нужно что-нибудь делать. Коль скоро народы, желающие стать свободными, обрели право говорить, что они таковыми не являются, они станут свободными; но пока они еще не свободны. А поскольку они еще не свободны, свобода и власть остаются в равной степени слабыми, в равной степени неустойчивыми. В таком положении мы и пребываем, и именно на это поочередно жалуются свобода и власть. Обе они правы, поскольку в необходимости совмест-

ного существования ни та, ни другая не обладает средствами осуществления и гарантиями. Мы это видели. И хотя власть подвергалась угрозам в центре, хотя оппозиция, казалось, наступала на нее изо всех сил и была готова пустить ее ко дну, власть повсеместно парализована; ее чиновники, ее сторонники, ее законы, общественные доходы, все средства, все оружие, каким она располагает, — все имеется в наличии, и все лишено жизни. Оппозиция занималась только тем, что говорила, а ведь она может все. Пусть только подвернется случай — власть любым способом возьмет верх в центре, ведь все в ее руках; она, в свою очередь, также может все. У свободы нет более ни сил, ни гарантий. Оппозиция еще говорит, и даже еще более горячо, чем прежде, но безрезультатно. Общество кажется превратившимся в огромную пустыню, где царит гробовое молчание, где власть движется по всем направлениям, но никто не задает ей вопроса и не противоречит, где раздается несколько голосов, кричащих «К оружию!», т.е. призывающих разрушить общество, чтобы получить хоть какой-то шанс.

Эта ситуация никуда не годится — она не годится ни для кого и ни для чего. Ничего нет хорошего в том, что власть может все, в том, что для оказания сопротивления ей приходится ее разрушать. Представительная система как раз и направлена на снятие подобного вопроса. Но до тех пор, пока оппозиция, размещающаяся на парламентской трибуне, не имеет никакого касательства к делам, никак не влияет ни на отправление власти, ни на судьбы общества, вопрос будет стоять таким образом и цель представительного правления не будет достигнута.

Если же кто-либо спросит, где и как могло бы иметь место участие оппозиции в правлении, против которого та сражается, я бы сказал, что место оппозиции повсюду отчетливо обозначено. Если бы была гарантирована независимость суда, у оппозиции была бы возможность найти в его лице орган, решения которого предупреждали бы власть или не оставили бы ей предлога обвинить оппозицию в незаконном воздействии. Если бы граждане действительно принимали участие в местном управлении, мы бы не были больше

свидетелями молчания или услужливости всех генеральных и муниципальных советов под гнетом политической системы, которая — хорошая или дурная — наверняка не нравится большей части народа. Это ли не *постыдное,* как говорил некогда министр юстиции, или даже более того — пагубное единодушие! Свободные и деятельные, эти корпуса предложили бы оппозиции постоянные средства действия; она могла бы войти в них в соответствии со своими заслугами и своими силами, чтобы либо сдерживать власть, либо, по крайней мере, бороться с ней и удовлетворять этой борьбой свои стремления. Если бы общины в своих делах обладали какой-либо независимостью, дела эти разрешались бы не однотипно, без учета каких бы то ни было различий, но в зависимости от интересов и духа, господствующих в каждом местечке. Мы не увидели бы, как партия будет навязывать общине в качестве мэра человека, который один только и проводит мнение этой партии, восстановив против себя всех своих подчиненных. Мы не увидели бы, как этот мэр будет требовать и получать силой согласие лицемерного муниципального совета, чтобы провести через голосование в совете фонды, направленные на цели, которые совершенно безразличны для большинства жителей. Если бы преподавательский корпус имел права, мы бы не слышали без конца разговоры о преподавателях, оторванных от своих учеников, и об учениках, оторванных от своих преподавателей. Что выиграл Яков II, изгнав Локка из Оксфордского университета? Это был один из публичных упреков королю, и история посчитала себя обязанной увековечить воспоминание о нем. Вы хотите изгнать оппозицию отовсюду; тем самым вы вынудите ее рискнуть всем, чтобы изгнать вас самих. Она не отступится; она никоим образом не согласится быть абсолютным ничтожеством, тогда как на самом деле она имеет известное влияние и доверие. Вы дали ей место в палатах; вы почувствовали необходимость предоставить ей слово, т.е. действия, предусмотренные данными обстоятельствами. И что же, вы считаете, что вся партия оппозиции в стране, все это меньшинство нынешнего момента, которое, быть может, и не является вовсе настоящим

меньшинством, будет сидеть сложа руки, слушая пять-шесть ораторов, говорящих от его имени, будучи повсеместно уничтоженным, повсюду отсутствующим, повсюду подчиненным господству своих противников, не противореча им и не разделяя с ними голосов, поставленное, так сказать, если и не вне территории, то, по крайней мере, вне дел общественных в ожидании того момента, когда в результате красноречия или беспорядка оно сможет вновь захватить власть и в свою очередь навязать другим подобное же положение? Какое безумие! Какое непонимание прав свободы и интересов власти! Знаете ли вы, почему свобода существует в Англии, почему власть здесь преодолела столько невзгод? Да потому, что здесь правительство и оппозиция не пускаются, да и не могут пуститься в подобную войну. Здесь оппозиция имеет гораздо больше, чем органы палат; по всей стране ей принадлежат должностные лица, которые думают так же, как и она сама; она принимает участие в работе муниципальных корпусов, в заседаниях судов графств, выполняет часть общественных функций и дел; и там, где она господствует, она ведет эти дела так, как считает нужным, Бирмингем и Лидс вовсе не имели депутатов в палате общин; но Лидс и Бирмингем не управлялись представителями правительства; их жители сами управляют своими интересами, и эта независимость несколько утешает их за то отрешение от должностей, что отдаляет их от общего правления страной. Наконец, потребность совсем не исключать оппозицию, повсеместно считаться с ее присутствием и ее влиянием здесь так хорошо ощущается, что в комитетах обеих палат, даже на фоне побед большинства, члены оппозиции всегда призваны заседать вместе с этим большинством, поддерживать свое мнение и подавать свой голос.

Только такой ценой свобода, даже испытывающая недовольство, может считать себя защищенной; такой ценой власть имеет основания сказать своим противникам: на что вы жалуетесь? У вас есть все средства применить вашу силу и ваше право. Докажите же их, и я уступлю вам свое место. А до тех пор довольствуйтесь тем, что будете его у меня оспаривать. — Но пока

оппозиция совершенно лишена почвы, пока сила ее может блистать лишь в ярости ее речей, пока она остается обреченной на полнейшую беспомощность, полнейшую бездеятельность, пока для нее закрыты все возможности для опыта, в адресованных ей подобных словах нет ничего, кроме лжи и насмешки.

Мы действительно особая страна, и нас очень легко заставить поверить небылице. Наши желания постоянно заставляют забывать о наших потребностях. Мы выдвигаем чрезмерные требования, но мы не требуем и половины наших прав. Во время революции говорили, что основания свободы требуют повсеместно истощить, уничтожить власть. Это было сделано; но под останками власти мы не нашли свободы. Теперь мы твердим, что власть погибнет, если не станет делать все, если, преодолев все противоречия, встречаемые ею на парламентской трибуне, она где-либо столкнется еще с каким-то препятствием. Мы не мешаем ей, но власть жалуется на свою слабость; свою слабость она вменяет в вину силе оппозиции, которая погибнет, если перестанет говорить с трибуны! Наверняка здесь есть какая-то огромная, роковая ошибка. Ошибка состоит в том, что мы предполагаем, будто бы борьба правительства и оппозиции есть состояние переходное, революционное, сиюминутный кризис, в котором правительство должно либо погибнуть, либо победить, состояние, из которого нужно побыстрее выйти тем или иным путем. На самом же деле все это не так и состояние дел не катастрофично. Оппозиция существует и ведет борьбу не только для того, чтобы опрокинуть, если ей это удастся, систему управления, которую она считает дурной, но также и для того, чтобы эту систему изменить, коль скоро ее не удалось опрокинуть, вынудить ее сдерживать себя и идти на соглашение, даже тогда, когда она всесильна. Вот почему оппозиция если и не манипулирует властью, то не должна быть ей совершенно чуждой. Оппозиция должна преследовать власть по пятам, достаточно часто встречаться на ее пути, выглядеть перед нею хорошо вооруженной, дабы заставить ту ощутить потребность не впадать в заблуждение, дабы оказывать на нее воздействие, хотя власть ее отвергает и даже одер-

живает над ней победы. Вот что происходит, когда оппозиция имеет какой-либо доступ ко всем институтам, как-либо участвует в отправлении власти, когда все должности не являются зависимыми от власти, а все дела — в ней сконцентрированными, когда, наконец, свобода, скрывавшаяся на парламентской трибуне как в своем единственном убежище, распространится по всему обществу и получит в нем множество точек опоры. Благодаря этому смягчается острота трений между партиями; благодаря этому та из партий, которая не имеет власти, получает какое-то удовлетворение и служит обществу тем, что принуждает доминирующую партию удерживаться в определенных рамках. Неужели вы не понимаете, что посредством противоположной системы вы установите между правительством и оппозицией как раз тот тип борьбы, устранить который в отношениях между престолом и страной пытается представительная система? Что, превращая кризис в единственно возможное средство излечения от дурной администрации, вы умножаете вероятность этого кризиса? Конечно, замена кабинетными революциями революций более высокого ранга — это уже много; но сама эта цель будет скомпрометирована, если каждое правительство, находя препятствие лишь в одном месте, будет до такой степени владеть властью и ситуацией в обществе, что, преодолев это препятствие, не будет более терпеть ни контроля, ни сопротивления ни с какой стороны, не встретит более ничего, что бы сдерживало его или хотя бы предупреждало его в заблуждениях. Подобно тому, как народ должен иметь право изменить свое правление, не разрушая его, оппозиция должна быть в состоянии изменить правительство, не свергая его. Именно этим она ежедневно оказывает всякого рода услуги; именно этим она удовлетворяет потребности и успокаивает часть публики, которую она представляет, именно этим, наконец, она выполняет подлинную миссию, к которой взывает представительная система, и, исправляя, поддерживает саму власть, против которой борется.

Вне этой системы вы подвергаетесь опасности распространить потрясения гораздо дальше, нежели правительственные круги; но даже если будет затронуто

только правительство, единственным следствием переворота окажется поочередное господство в обществе — всегда исключительное и всегда жестокое — различных партий.

Пойдем дальше. Если оппозиция не в состоянии оказывать постоянное воздействие на правительство, она точно так же будет не в состоянии свергнуть последнее, и главное — сделать это вовремя; и тогда цель представительной системы не будет достигнута. А если цель не будет достигнута, то сама представительная система будет извращена; вместо того, чтобы свести к минимуму крупные потрясения, она будет их провоцировать; она будет поддерживать общество в постоянной горячке, чтобы однажды превратиться в инструмент революции. Свержение правительства, даже если необходимость этого совершенно очевидна, никогда не является для оппозиции простым делом. Каким же образом ей это удастся, когда придет время, если тогда, когда правительство существует, оппозиция не способна даже сдерживать его, если ей не хватает сил заставить его ощутить всю необходимость уступок? В свободных странах утрата большинства в парламенте почти всегда является тем последним фактом, который предупреждает правительство о том, что настало время отставки. Задолго до этого правительство возбуждает преследования в политической области, которые не приемлет страна или осуждает суд присяжных; избрание муниципальных чиновников оборачивается против него и вызывает общественное недовольство; независимые чиновники сопротивляются его требованиям и выражают свое неприятие его политики. Сила малопомалу оставляет его, чтобы перейти к его противникам; и только после того, как по стольким признакам оно оказалось отвергнутым, потеря большинства на национальных выборах или в палатах парламента будет для него приговором. Таким образом, потрясение готовится, приближается постепенно, с многочисленными предупреждениями; и когда оно свершается, то тут же и заканчивается, поскольку власть фактически уже принадлежит людям, которые присваивают себе ее имя.

Если же ни один из этих предварительных факторов невозможен, если все симптомы сглажены, если оппозиция слишком безоружна, чтобы постепенно войти во власть и доказать свою силу задолго до того, как воспользоваться ее плодами, то самое дурное, самое дискредитированное правительство будет удерживать власть до последней крайности; государь, народ и оно само будут заблуждаться относительно своего положения. Оно будет сверх меры напрягать все свои средства, ибо каждый день будет чинить перед ним новые препятствия; и чем больше препятствий оно встретит в делах, тем меньше оно будет терпеть сопротивление со стороны людей, поскольку сопротивление с каждым днем будет становиться все более трудным и более опасным. Зло возрастет, и подчинение возрастет вместе со злом; и таким образом, накануне своего падения, в момент своей агонии это правительство станет абсолютистским, еще более абсолютистским, чем во времена его побед. Так пусть же тогда оно падет; потрясение этим еще не заканчивается, оно только начинается. Здесь внезапно начинаются противодействия, обязательные противодействия, ведь нужно делать то, что ничего еще не предвещало, то, что тем больше отдалялось, чем быстрее приближался час перемен и необходимость их становилась все более насущной.

Я не занимаюсь предсказаниями, я лишь излагаю факты. Все это мы видели.

Не говорите же нам более о безмерной силе оппозиции, тогда как оппозиция не обладает практически ни одним из средств, необходимых ей для исправного выполнения своей задачи. Она еще сохраняет самообладание, но в основе своей ей нечем больше выполнять работу, состоящую в том, чтобы принуждать вас выполнять свою. Она живет *изящной словесностью*; я желаю ей большого успеха, но Франции нужно нечто иное, нежели слава творца. Франция с восхищением узнает, что для нее составлена прекрасная речь, она даже с восхищением эту речь читает; однако предписывать ей это удовольствие в качестве единственной пищи означало бы назначить слишком скудную диету. Вы говорите, что сами речи дурны, что они взывают к

толпе, к революционным страстям, что они провоцируют ненависть и восстание. Я хорошо знаю их мотив. И речи эти знают себе цену; они знают, что они — ничто, и лезут из кожи вон и бушуют, чтобы быть чем-то иным, нежели то, что они есть. Если бы они что-то значили, если бы они были не одиноки, если бы оппозиция имела ограниченную — мне бы этого очень хотелось, — но реальную долю в делах общества, она не искала бы вне этих дел всех средств влияния и воздействия; очень скоро она бы узнала, что пядь земли, с трудом приобретенная и хорошо сохраняемая, стоит гораздо больше поднимающихся отовсюду страстей и что в том, чтобы включить нужную статью в закон, чтобы назначить честного чиновника, надежно защищать доходы своего города или интересы своего департамента, гораздо больше пользы, нежели в литературной победе в общих рассуждениях. Но вы отовсюду изгоняете оппозицию; вы не потерпите, чтобы важный человек, крупный землевладелец, если он является таковым, возымел бы у себя, в своем окружении хоть малейшее законное и неоспоримое влияние; в той мере, в какой он от вас зависит, вы отказываете ему в правовом отношении в том, чем он обладает в действительности; вы лишаете его деятельность всякого предмета. И тогда все умы обращаются к Парижу и в речах требуют удовлетворения за суровость реальной жизни; конечно же, депутаты от оппозиции должны по меньшей мере на словах ответить устремлениям тех, кто им это слово предоставил; они должны излить свое негодование и, изливая, удвоить его. Все это плачевно, но естественно; все это вытекает из той беспомощности, той никчемности, в которой вынуждена пребывать оппозиция. Если бы она была допущена к какому-либо фактическому влиянию, к какому-либо разделу власти, она была бы более сильной, это абсолютно точно, а вы бы меньше творили то, что вам хочется. Но и оппозиция не требовала бы силы при каждом случае; она не стала бы рисковать тем, что уже имеет, дабы слепо взывать ко всем возможностям.

Перейдем к сути дела. Вы хотите иметь столь слабую оппозицию только потому, что в основе своей она

еще слишком сильна для вас. Вы так заботливо лишаете ее прямых и постоянных средств действия, которыми она должна была бы обладать, только потому, что, обладай она ими, вы, министры, не устояли бы перед ней. Если бы суд присяжных, местная администрация, общественное просвещение и множество других институтов были действенными и наделенными принадлежащей им по праву независимостью, отовсюду бы поднялись голоса, осуждающиеся вашу систему, и она бы пала, как только оказалась вынуждена быть примененной к свободной Франции и предстать таковой, какая она есть; оппозиция же, имей она против вас многочисленные точки опоры, законные оборонительные сооружения, выступила бы против вас с большим преимуществом. Могла ли она сделать это сегодня, действуя мудро и в соответствии с подлинными интересами страны? Я этого не знаю; но болезнь уже зашла далеко. И тем не менее я убежден, что истекшие семь лет и в особенности наши последние испытания не прошли зря для новой Франции. Я полагаю, что, будучи сама по себе очень управляемой, в этих испытаниях она уже многому научилась относительно поведения, которое наилучшим образом подходит ей, когда она принимает участие в своем правлении. На мой взгляд, все указывает на то, что беспорядочные наклонности, пристрастие к декламациям, владычество слова, отсутствие дисциплины, пыл неопытности идут скорее на убыль, нежели прогрессируют. Я не льщу себя надеждой, что эти ужасные настроения исчезли или что группировки не попытаются больше ими завладеть; но я думаю, что в нашем прекрасном отечестве добро обрело уже достаточно силы, чтобы зло не было более неукротимым, и что смело призываемая подлинная Франция отдаст свою поддержку добру. Время и свобода — великие учителя; и несмотря на ошибки предшествующих правительств, несмотря на плачевное состояние нынешней правительственной системы и ту опасность, в которую оно нас ввергает, на протяжении последних пяти лет политическая свобода и законный порядок действительно существовали во Франции и имели свои последствия. Быть может, вы удивитесь, слыша от меня подобные речи,

но я бы ни в коем случае не принял упрека в непоследовательности. С каких это пор предписано снисходительно обращаться с заблуждением только потому, что оно не сумело задушить истину? С каких это пор следует замалчивать зло, к которому стремятся или которое совершают люди, только потому, что без них оно превращается в добро? На мой взгляд, предшествующие правительства не сделали всего того, что следовало сделать, а нынешнее делает обратное тому, что должно делать. Я сказал все, что думал, о несовершенствах первых; я горячо критикую последнее. Но это ли причина не признавать, что в последние шесть лет единственно факт отсутствия деспотизма и существования порядка без полного подавления мысли, одно только существование палат, свободы слова, отдельных элементов свободы печати, некоторых проблесков уважения к человеку и законам неотделимы от опытов представительной системы; что обретенный наконец мир и кротость королевской власти заставили Францию проделать большой путь на поприще политической свободы и процветания, хотя еще очень далеко до того, чтобы удовлетворить все ее потребности и права, предупредить все опасности? Я твердо уверен, что так и есть, и я это говорю, потому что я так думаю, не переставая при этом думать и говорить, что современная система правительства как может задерживает развитие этих благ и в значительной степени подрывает уже существующие. Как мне кажется, названного вполне достаточно, чтобы породить самую оживленную оппозицию.

Я сказал также, что оппозиция мало что может, слишком мало. Но тем не менее я очень далек от того, чтобы считать ее бесполезной или только полагать, что ей есть из-за чего падать духом. Конечно, правительственная система перекрывает всю Францию; она одна занимает все подъездные дороги, все пути, держит в своих руках все средства; сегодня совершенно не ясно, через какую брешь оппозиция смогла бы прорвать ее оборону и проникнуть к тому месту, от которого она столь отдалена, для нападок на которое у нее так мало средств. И хотя система эта столь пагубна и столь ложна, альянс, на котором она основана, столь непро-

чен, она причиняет новой Франции столько неприятностей и налагает столько пут на своих же собственных союзников; для того, чтобы удержаться, она требует стечения стольких обстоятельств, устойчивости столь малоестественного состояния, что малейшая случайность, самый неожиданный факт способен ее разрушить или спровоцировать иные комбинации. Свифт, насмехаясь над суеверным почтением некоторых дипломатов к европейской уравновешенности, говорил им: «Вы стремитесь к равновесию столь совершенному, что если какой-нибудь неведомый воробей сядет на краешек крыши, он опрокинет все здание». Чтобы свергнуть правительственную систему, нужно не намного больше. Поэтому оппозиция вместо того, чтобы терять надежду, должна удвоить усилия. Но в первую очередь она должна быть в состоянии использовать все и хвататься за любой случай. Никогда еще правильное поведение не было столь ясно предписано ей самой необходимостью. Партии живут ошибками свои противников. Люди новой Франции не могут совершить ни одной ошибки, которая бы не обратилась против их дела, люди же старого порядка совершат множество ошибок, которые послужат нашему делу, если мы будем готовы ими воспользоваться. С этой точки зрения, после того, как я подробно исследовал нынешнее положение оппозиции, констатировав, что ее средства гораздо слабее ее прав, я хочу изучить, как, на мой взгляд, она должна использовать оставшиеся ей средства, чтобы извлечь из них все, что те содержат, не утратив ни одного, и быть в состоянии собрать то, что может принести ей непредвиденная случайность, столь богатая на предоставление средств в делах человеческих.

Глава пятнадцатая
О ПАРЛАМЕНТСКОЙ ОППОЗИЦИИ

Что же должна наметить для себя оппозиция в палатах парламента? Две вещи: помешать успеху правительственной системы и сделать свою систему преобладающей.

Я тороплюсь раскрыть эту двойственную цель оппозиции, ибо, на мой взгляд, в ней заключено все.

Почему подвергают нападкам министров? Да потому, что, как считают, они поступают дурно и можно все сделать лучше. Почему же во все времена и во всех странах столько людей, мало довольных правительством, продолжают его поддерживать? Да потому, что они задают себе вопрос: как сделать лучше? — и не находят на него ответа.

На этот вопрос следует найти ответ, ибо его задают все беспристрастные и неуверенные люди, т.е. публика. Есть люди, которые знают или думают, что знают, как управлять; есть и другие, которых заботит лишь то, чтобы ими хорошо управляли. Первым представительная система дает возможность состязаться в борьбе за власть и выставляет вторых в качестве судей.

Такова сила вещей. Но это также и достоинство представительной системы. Она образует партии, но не оставляет их в одиночестве, не отдает им одним всю страну. Она помещает между ними публику и заставляет их беспрестанно приближаться к ней, искать наперегонки, что той подходит, черпать свое пополнение в ее недрах, одерживать победу лишь с ее признания.

Благодаря этому партии, первоначально воодушевленные процессом своего формирования и в значительной степени отделенные друг от друга, затем оказываются вынужденными изменять свой облик, отказываться от всего чрезмерного, отдавать себя на службу стране, а не заниматься исключительно удовлетворением личных интересов. Таким путем власть приобретает ясные и уверенные воззрения, что и должно иметь место, дабы власть была сильной; и в то же время эти воззрения вынуждены смягчаться, приноравливаться к общим потребностям и чувствам, что необходимо для того, чтобы власть была умудренной. В этом случае партии являются орудиями, а не хозяевами власти и страны.

Вы говорите, что министры плохо управляют. Возможно. Докажите же это, т.е. покажите, как они должны управлять. Не говорите, что правление поручено не вам. Конечно же, сегодня оно не в ваших руках, но

ведь вы считаете, что обладающие им не должны его больше удерживать. Если они его утратят, кто-нибудь должен будет взять его в свои руки. Кто? Разве вы находитесь подле власти только для того, чтобы мешать ей, а не для того, чтобы действовать? Будьте внимательны; политика питается не одной только критикой и словами; она желает действия, результатов. Партия может потерять все, оспаривая избранное ею положение; но ведь вы же образуете партию; вы провозгласили себя противниками власти; вы попытались доказать, что власть заблуждается, ошибается, что она подрывает и престол, и отечество. По всей видимости, вы лучше ее знаете, каким образом им можно служить. Так служите же им; по крайней мере, попытайтесь это сделать. Вы подвергаете нападкам не одного человека, но целую систему. Вы обнаруживаете ее повсюду; повсюду вы сожалеете о ее последствиях; вы без конца предлагаете иные принципы; вы взываете к иному духу правления. Значит, вы обладаете лучшим его пониманием; отказываясь воплотить его в жизнь, вы не можете сами обвинять его в бессилии и бесплодности.

Вы боитесь, что вас обвинят в честолюбии; вы облачаетесь в покров независимости; оппозиция, оппозиция более или менее деятельная, но продолжительная, — вот что вас устраивает и чего вам вполне довольно. Но на что же вы жалуетесь в этом случае? Почему вы требуете изменений? Ведь вы уже имеете то, к чему стремились; вы критикуете, вы находитесь в оппозиции. Без сомнения, вы не претендуете на то, чтобы министры подчинялись вашему слову, чтобы они были вашими послушными учениками, простыми исполнителями ваших замыслов. У них есть свое мнение. Они ему и следуют. Вы ждете, чтобы с неба упали министры, которые бы придерживались вашего мнения? Этого никогда не будет; власть никогда не нисходила покорно с небес в руки системе, которая бы хвалилась тем, что не стремится к власти. Нужно дать себе труд эту власть взять. Никто не сражается ради того, чтобы после победы оставить пустым поле сражения; и если хорошее правление является правом народов, то правление вообще — их потребность.

Подобно правительству, оппозиция обязана иметь свою систему и будущее. Она не управляет; но правление — ее необходимая цель, ведь если она одержит победу, то должна будет в свою очередь управлять. До тех пор, пока она открыто не приняла всего своего положения целиком, она остается слабой и стесненной, поскольку не обладает всеми средствами и отдает пальму первенства в руки своих врагов. Критика удобна, потому что проста, это так; но сама по себе она слаба. Если за ней не чувствуется никакой иной силы, если знание не является признаком могущества, если оно пытается остаться праздным и не заниматься никакими делами, его очень скоро сочтут бесполезным. Публика совершенно не верит в подобное бескорыстие; она может его понять, даже восхищаться им в каком-нибудь человеке, хотя это и довольно редкое явление; но она никогда не считает бескорыстной партию. И если ее попросят добавить к этому еще и веру, она отыщет совсем другие причины; она обвинит партию либо в задних мыслях, которые та не решается открыто признать, но которые тем не менее существуют, либо в недостатке плана, политических взглядов, энергии, дисциплины, в любом другом внутреннем пороке, тайной причине бессилия. И пусть партия не тешит себя надеждой, что подобные предположения будут иметь своим результатом лишь ее отдаление от власти, которой, послушать ее, она вовсе не хочет. Оставаясь в том положении, которое она хочет сохранить, она будет обесславлена или, по крайней мере, истощена. И как только будет установлено, что по той или иной причине правление минует ее, она очень много потеряет как оппозиция либо в силе своих атак против министров, либо в доверии к ней страны. Министры привыкнут рассматривать ее сопротивление как необходимость, которую приходится терпеть, народы же будут видеть в ней только бесплодное удовольствие, которое может им понравиться, но от которого они не могут многого ожидать. Партия, возможно, воображает себе, что чем последовательней будет придерживаться того, что она называет непредвзятостью, тем с большим доверием люди сомкнутся вокруг нее. Это свидетельствует о слабом понимании хода

вещей в этом мире. Массы совершенно не довольствуются выслушиванием проповеди нравящихся им идей или вкушением очарования произнесенных речей; со всей прямотой инстинкта они желают, чтобы их защитники обладали силой, и будут считать себя гораздо лучше защищенными их властью, нежели их красноречием. Человеческий век недолог, поэтому люди торопятся побыстрее достичь цели своих стремлений; если партия, за которой они следовали, не открывает перед ними никаких возможностей, если у нее нет ничего, что бы можно было им продемонстрировать, кроме удовольствия восхищаться ее ораторами, то многие из ее последователей отойдут от нее, дабы искать в другом месте сторонников, способных принести больше пользы. И партия не только ощутит, что приходит в упадок как по своему размаху, так и по своей устойчивости, но и увидит, что превращается в нечто среднее между группировкой и заговором. Она сохранит своими союзниками только тех людей, что ведомы одними лишь страстями, тех, над кем господствуют предрассудки секты или ситуации, тех, кто не желает или не хочет надеяться на что-либо иное, кроме беспорядка, мечтательные, горячие натуры. Если бы партия удерживала власть или если бы она только шла к власти и ощущала в своем поведении неизбежное влияние указанной цели, этот класс людей затерялся бы в толпе или был бы вынужден следовать ей. Но коль скоро у партии нет будущего, коль скоро она пытается оставаться неподвижной и жить, не имея цели, такие люди поднимутся в ней у всех на глазах; они приобретут здесь даже особую значимость; их заслуги нужно будет часто признавать, с этими людьми нужно будет постоянно считаться, поскольку они, по меньшей мере, будут верными союзниками; но они будут без конца компрометировать, дискредитировать партию, которая не желает того, чего желают они, но которая не сумела поставить себя в ту единственную ситуацию, что предписывает ей закон и к чему он дает ей средства, — освободиться от гнета таких людей.

Нужно ли, наконец, говорить, что первейшим, самым насущным интересом всякого воззрения, всякой системы, всякой партии является господство, т.е.

правление? Это так просто, что мне было бы стыдно упоминать об этом, если бы я не обнаруживал здесь следы одного, однажды уже опровергнутого предрассудка. Существуют люди — депутаты или простые граждане, — столь исполненные предрассудков или проникнутые дурными теориями революции, что если бы они стали министрами, то испытывали бы почти искушение считать себя лишенными власти. Не смейтесь. Эта идея или это чувство — назовите его как хотите — не предстает в их разуме ясно и отчетливо, и очень немногие из них настолько проникнуты идеей низменности удела власти, что совершенно искренне полагают, будто из их рядов могли бы выйти свободные люди, берущие на себя ответственность за отправление власти. Однако мне знакомы и такие люди, которые, возможно, испытывали некоторые затруднения в открытой проповеди этой доктрины, но хранят и лелеют ее в глубинах своего сердца. Они, по крайней мере, искренни. Для других же идея, о которой я говорю, представляется более смутной и сомнительной; они не отдают себе в этом отчет, даже перед лицом фактов не верят этому и, если бы были к тому вынуждены, согласились бы, что власть по своей природе унижает не более, чем лишает силы; но они не задают таких вопросов ни вещам, ни самим себе и говорят и действуют таким образом, будто думают то, в чем, однако, никогда бы не признались. Другие же — и они самые многочисленные — знают, как отнестись к этому предрассудку, и для них вовсе небезызвестно, что власть возвышает тех, кто ею обладает, и одновременно укрепляет их. Но они живут в атмосфере, отвергающей этот факт; они часто слышат, что всякое правление — прислужник, с которым суверенный народ имеет право дерзко вести себя; они — часть этого суверенного народа, и если бы они вышли из него, чтобы им править, то, в свою очередь, терпели бы его высокомерие; они бы также подозревались в незаконных амбициях, в том, что из личной корысти хотели променять почести суверенитета на выгоды власти. Вот в чем состоит идея, ограничивающая карьеру и угнетающая здравый смысл людей, просвещенных и честных в других отношениях. Кажется, мы

не понимаем самого истинного, самого законного стремления, оно выше наших мыслей и наших чаяний. Можно подумать, что все наши чувства притупились, опустились до такой степени, что убеждают нас, будто бы стремиться к участию в правлении своей страной можно лишь из жадности, тщеславия, под воздействием некоей эгоистической или постыдной страсти; и всякий человек, стремящийся к власти, проворачивает какую-то аферу или заключает сделку. Я не знаю никакой иной доктрины, которая бы ставила партию в столь тяжелое положение, которая бы лишала ее абсолютно всего достоинства и всей энергии, как и всякого шанса на великие свершения. Эта доктрина ложна, ибо предполагает, что потребность в возвышении есть лишь потребность в обогащении, что подлинный принцип, как и наиболее мощная пружина этой потребности, лежит вне самых благородных и самых общественных склонностей нашей природы. В наши дни она представляется еще более ложной, чем когда бы то ни было, так как никогда еще общественные должности не способствовали так мало приобретению состояния; никогда еще вне правления не было стольких способов удовлетворить стремление к роскоши, обеспечить себе наслаждение жизнью или удовольствия тщеславия. В ту пору, когда честные люди отходили от дел, связанных с оборотом значительных средств, когда для обладания комфортным и легким существованием нужно было обязательно обладать хоть частицей власти, предрассудок, о котором я веду речь, если не имел постоянного законного основания, то по меньшей мере часто оказывался справедливым и всегда имел свои причины. Сегодня во Франции мы имеем лишь одно последствие абсурдных доктрин или остаток революционных страстей. Последствие это не только ложно, но и исполнено опасностей для партии, которая примет его на вооружение. Невозможно покорить человеческую природу; невозможно погасить в ней составляющие ее склонности. Мнимые или слепые сторонники свободы, как поступите вы с энергичными и деятельными людьми, воодушевленными потребностью возвеличить, возвысить свою судьбу, рассматривающими честь открытого служения своей стра-

не, т.е. участия в правлении, как самую достойную цель своих усилий? Вам не изменить ни этих людей, ни хода вещей; вам не сделать так, чтобы власть перестала быть естественным употреблением превосходства или чтобы превосходство перестало претендовать на власть. Вы же требуете от людей возвышенного ума, гордого характера жертвы, которую они никогда бы не принесли, либо вы обрекаете их на то, чтобы они удалились от вас, искали в ином месте максимы, которые не закрывали бы для них арены политической борьбы, партию, которая бы приняла их труды и позволила бы им преследовать свои цели. Всмотритесь внимательнее, ведь эти люди, как говорит Евангелие, суть *соль земли*; власть принадлежит им, поскольку они способны взять ее; они идут к тому, кто дает им то, что им принадлежит. Бонапарт привлек их к своей свите, именно вовлекая в сферу своей власти. Так пусть же конституционная партия будет не менее искусной, нежели Бонапарт; я согласен, она не способна предложить ни деспотизм, ни завоевание мира; но ее правление будет достаточно длительным, достаточно прекрасным, чтобы удовлетворить наиболее деятельные умы и вобрать в себя наиболее требовательные к деятельности натуры. Пусть же она стремится к правлению; для того, чтобы его достичь, его нужно требовать; и требования власти вполне достаточно, чтобы приобрести — даже еще будучи простой оппозицией, еще не достигнув власти, — много сил и сторонников. Аристократической партии это очень хорошо известно; она никогда не ограничивалась требованием того, чтобы правление было таким, каким она его желает видеть; она постоянно стремилась управлять лично; и признавая это своей целью, она утверждала, что это ее право. Занимая подобное положение, она даже часто создавала иллюзию своей силы; тем, кто кажется уверенным в самом себе, верят легко, отказ же занять главенствующее положение при утверждении права направлять движение означает сознательное занятие подчиненного положения.

Так пусть же оппозиция вступит во владение всем полем своей деятельности. И пусть же, преследуя собственный нынешний интерес и интерес будущий, а

также интерес масс, которые она защищает, как и интерес индивидов, которых она объединяет, она идет с высоко поднятой головой к власти и превратит свою борьбу с правительством в подлинно политическую борьбу. В ней она утратит одновременно и этот революционный вид, и этот академический оттенок, которые порой заставляют рассматривать ее то как объединение мятежников, то как собрание писателей. Ни тот, ни другой аспект не идут ей. Ей следует показать себя в более упорядоченном и более серьезном виде. Говорят, что у нее на это нет шансов, что гнаться за властью с ее стороны все равно что преследовать химеры. Кто вам это сказал? Кто из вас читал ее будущее? Вы считаете, таким образом, что правительство вечно. В этом случае сама оппозиция — это ребячество, поскольку она от правительства ничего не добивается. Если же это не детская забава, то почему же вы не в состоянии воспринять ее наследие? Это лучший способ подтолкнуть ее к краху; любое правительство рушится всегда, столкнувшись лицом к лицу со своими преемниками. Здесь работает множество разрушающих причин; множество непредвиденных случайностей могут заставить проявиться ее слабости. С другой стороны, начиная с какого момента можно быть уверенным в успехе, чтобы требовать его? Возвысившиеся люди, победившие партии выдвигали самые настойчивые требования. Они шли к своей цели, преодолевая столько препятствий, вопреки всем колебаниям, не переставая видеть за ними самые обескураживающие перспективы. Будут ли среди них люди, которые, рассчитывая на завершение революции и в ожидании его, позволят себе бездействие и апатичность? По моему разумению, обещания были бы преступны, а надежда плохо обоснована. Революции не случаются в изобилии по желанию мятежников; и даже если они санкционируются свыше, небеса долго колеблются, прежде чем решатся вынести приговор. Если бы во Франции было много людей, торопящихся стать свидетелями расцвета революций, Франция не стремилась бы к их свершению; ведь от недовольства до восстания очень далеко. Тем не менее время проходит, а дела остаются все на том же месте; оскорбленные интересы,

опороченные принципы требуют поддержки, самой решительной защиты при помощи существующих средств; и перспектива беспорядка никогда не заставит их терпеливо принимать зло. Неужели мы никогда не научимся искать собственного спасения в чем-либо ином, кроме как в страшных потрясениях? И всегда ли случай берет на себя заботу о нашей судьбе, чтобы заменить собой наше бессилие?

Мы способны на гораздо большее, чем думаем. Власть, будь она мудрой, все бы уладила; и оппозиция, несмотря на недостаточность своих средств, еще способна на многое. Пусть же она стремится к правлению, полагая, что справится с ним; она заставит нас сделать огромный шаг к лучшей системе правления. Нам мой взгляд, эта идея должна направлять ее поведение в палатах; и какой бы отдаленной эта цель ни казалась нам сегодня, к ней должны стремиться все поступки оппозиции.

Какие же практические следствия вытекают из этой идеи? Какое поведение предписывает эта цель?

Оппозиция находится в сложной ситуации, для нее очень важно осторожно обращаться с двумя отношениями. С одной стороны, в палатах парламента она имеет дело с обосновавшейся здесь партией, с большинством, против которого она выступает; с другой стороны — вне парламента она имеет дело с частью публики, которую она представляет и которая выражает ей свою поддержку.

Было бы несправедливо и невозможно утверждать, что оппозиция скрывает свои намерения и проповеди под сенью парламента, что она действует и говорит лишь для того, чтобы вновь завоевать большинство и оказывать влияние на дебаты. Оппозиция — справедливо это или нет, и не важно каким образом, — пребывает здесь в меньшинстве. Она в меньшинстве, и это не случайно и не на один день, это более или менее постоянное явление. Обычно ее речи здесь не блещут особой доблестью, а усилия не увенчиваются успехом. Таким образом, по самой своей природе она вынуждена искать опоры вне стен парламента. Именно здесь такая опора и существует. Именно оттуда ожидает оп-

позиция силу, и там она может ее получить. Оппозиция имеет право здесь ее искать.

Таким образом, в этих столь часто адресуемых оппозиции упреках в сопротивлении большинству и призывах к внешним силам далеко не все обосновано. В пределах палат ее удел — бессилие, сопротивление — ее долг. Я знаю, было бы удобным сделать оппозицию пленницей ситуации и, заставив ее почувствовать свое бессилие, принудить ее это бессилие принять. Она не может и не должна этого делать. Она как раз настаивает на том, что ее бессилие незаконно, ее положение противоправно, ведь если в парламенте она в меньшинстве, то в стране имеет большинство. И она не только настаивает на этом, но и существует для того, чтобы на этом настаивать; она бы погибла, если бы более не настаивала на этом. Когда большинство провозглашает нечто, оппозиция уступает; но она уступает только необходимости, только законной силе — это действительно так, — силе, которой она должна подчиняться, но воля которой в ее глазах не может быть отныне основана на разуме, поскольку это означало бы, что оппозиция сама признает себя неправой. Таковы факты; из них следует, что оппозиция, которая не смогла и которая почти всегда заранее знает, что не сможет убедить палаты, по праву вынуждена часто обращаться к публике, доказывать, по крайней мере перед ней, что большинство заблуждается.

Вот тот предел, где останавливается право, где сама оппозиция должна удерживать его, чтобы всегда пользоваться им только с пользой. Если у нее есть какой-то шанс завоевать большинство, то речи ее должны в тот же момент прекратить раздаваться в палате и она должна обратиться к публике. Как только ее речи способны принести какие-то плоды, она должна говорить для одного только парламента. Оказывать воздействие на парламентские дебаты — первый долг, основная миссия всякого члена совещательной ассамблеи. Здесь дискутируют, чтобы прояснить, чтобы сформировать общественное мнение по поводу обсуждаемых законов и мер, но главное — для того, чтобы эти законы и эти меры были хороши по возможности. Забывать об этом долге ради того, чтобы указать на ошибки, которых

можно было бы избежать, думать только о том, как бы восстановить публику против заблуждений большинства, в то время как можно было это большинство образумить, — означает лишь извращать использование слова и взывать именно к анархии в представительном правлении. Это очень плохой расчет. Самая маленькая победа оппозиции в палатах значит в данном случае гораздо больше, чем самые блестящие успехи вне палат; и никакие внешние восторги не дадут оппозиции столько реальной силы, сколько ей даст, пусть краткосрочное, смещение большинства.

Если не существует более ни одного шанса подобного рода, если оппозиция во мнении вне стен парламента приобрела всю ту силу, какой была способна достичь, если в форме идей она распространила все, что собиралась осуществить внутри парламента в форме законодательных решений, то, значит, она исчерпала свое право и не способна более подталкивать к внешнему фактическому сопротивлению законам большинства. Никто это не оспаривает. Оппозицию обвиняют лишь в забвении данного факта; она признает принцип, отвергая обвинение. Права она или ошибается? Это действительный вопрос, в котором большинство ради разжигания бунта часто черпает вполне законную настойчивость сопротивления. Большинство не довольствуется тем, чтобы ему подчинялись; оно хотело бы быть признанным, санкционированным даже своими противниками. Именно так сила движется к тирании. Ни в коем случае оппозиция не смогла бы удовлетворить подобное требование. Но для нее и в ее интересах очень важно избегать всего того, что могло бы придать видимость легитимности упреку, полностью избежать которого ей никогда не удастся. В свободных странах очень часто сторонников свободы отдаляло от власти как раз то обстоятельство, что они не сумели заставить поверить в то, на что они способны. Захваченные сиюминутной ситуацией, они выказывали себя более способными к борьбе, нежели к победе, и можно было сомневаться в том, что успех подходит им столь же хорошо, как и сопротивление. Если оппозиция обнаруживала себя способной заставить почувствовать в ней правление, давшей доказательство

как дисциплинированности, так и деятельности, взявшейся изменить правление, а не разрушить самое власть, небезразличной ни к потребностям, ни к правам последней, наконец, подвергающей нападкам нынешний порядок, но при этом не представляющей угрозы для порядка вообще, то в таком случае она почти всегда увенчивалась успехом, почти всегда обязательно брала верх. Если бы все члены английской оппозиции, боровшейся против войны с Америкой и правительства лорда Норта, были Уилксами[28], ей бы никогда не удалось свергнуть лорда Норта и завоевать большинство в правительстве. Почему виги в британском парламенте за последние тридцать лет добились столь малых успехов? Почему не смогли они отобрать власть даже у посредственных и не пользующихся большим уважением министров? Да потому, что, предавшись исключительно политике оппозиции, они недооценили общее состояние дел и положение страны, замечая и поддерживая лишь то, что способствовало их сиюминутной борьбе против министров. Англия была свидетельницей того, как они во имя свободы поддерживали имперский деспотизм, рассыпались в напыщенных речах против войны в том случае, когда война совершенно очевидно была национальной потребностью, нападали на всех без меры, защищали всех без различия, давали ложные предсказания, были всегда подвластны, зависимы от положения их партии и никогда не умели показать, каким образом, стань они хозяевами положения, их политика удовлетворяла бы практическим потребностям общего положения дел, каким образом сумели бы они в свою очередь и при помощи своей системы разрешить довлеющие над ними, как над действующими министрами, затруднения. Все спрашивали, каковыми могли быть их поведение и их средства в отношении внешних связей и внутреннего состояния страны, в отношении войны и мира, вопроса парламентской реформы, по все прочим неизбежным вопросам; люди не могли составить об этом ясного представления и получить надежду; и несмотря на общественное недовольство, несмотря на немилость министров, виги не достигли власти; нация, всецело уважая их намерения и принципы, считала их

мало способными эти принципы осуществить. Ведь даже если люди склонны плохо думать об управляющей ими власти, они тем не менее не хотят, чтобы ее крушение предоставило их воле случая; по ту сторону всех невзгод им нужно видеть приоткрывающуюся перед ними дверь. Оппозиция имеет много преимуществ только благодаря тому, что она критикует и подвергает нападкам; но если окажется, что ее умение исчерпывается одними лишь нападками, если она дает основания предположить, что не способна выполнить более трудоемкую задачу, если она предстает чуждой или несоответствующей условиям и обязанностям того иного положения, к которому она может быть призвана, если она не способна управлять сама собой и внушать своим поверженным противникам убеждение, что она сама, в свою очередь, сможет управлять, — она лишает себя будущего и теряет силу в настоящем. Нет ничего более гибельного, чем показать всю себя, заставить сказать, что она уже свершила все, что умела, что она не умеет ничего другого и ничего кроме того, что уже сделано. Для партий, равно как и для индивидов, сила заключена в идее относительно их будущей судьбы и способности ей следовать, каковы бы ни были ее комбинации. И чем теснее партии взаимодействуют, чем более склонны они познать друг друга, им тем более необходимо показать, что им подвластны любые ситуации и любые возможности. В особенности в наши дни оппозиция не знает всего, что она способна потерять, позволив прорасти предрассудку, в соответствии с которым она неспособна править. Как в новой Франции, так и при старом порядке люди всегда требовали правления; каждый желает его для себя и в свою пользу, но каждый чувствует, что правление, причем правление искусное и упорядоченное, одно только и может принести ему желаемое. Это чувство сильнее всего развито даже в новой Франции, ибо новой Франции не надо делать революции, она стремится лишь к свободному и прочному обладанию уже завоеванным. Это то, чего она не сумела бы получить, чего она не ждет от самой популярной оппозиции, что ей могло бы доставить только правление людей, преданных своему делу. И пусть эти люди не

заставят нас думать, что власть в их руках будет дурной; пусть избегают они всего того, что могло бы охарактеризовать их как вспыльчивых, недисциплинированных, легкомысленных, недальновидных, наконец, неспособных удержать бразды правления и заложить основы конституционного порядка. Будущее за нами; покажем же себя достойными будущего. Пусть всем станет ясно, что дела не идут своим естественным чередом, что власть сегодня не у тех, кому она принадлежит, что ее перемещение восстановило бы порядок вместо того, чтобы его извращать, и что система, имеющая во Франции силу, могла бы также проявиться и во власти иначе, чем при помощи анархии и революций.

На мой взгляд, это лучший способ завоевать какие-то позиции в палатах или, по крайней мере, сохранить те из них, что еще не утрачены. Истина всегда имела какое-то влияние, даже на партии; и если правая партия увидит в своих противниках не только защитников новых интересов, но и людей, призванных однажды управлять при помощи этих интересов и от их имени, она станет более боязливой, и ей не так легко будет пополнять ряды своих приверженцев.

Что же касается отношений оппозиции вне парламента, то они также имеют свои правила и соответствующее поведение. Именно отсюда оппозиция черпает свою основную силу. Так пусть же она заботится о ней; пусть она тщательно приспосабливается к внешнему мнению, ее поддерживающему; это необходимо, иначе она погибнет. Таким образом, нет ничего более важного, чем действовать и говорить подобно тому, как говорит и действует и публика, и таким образом, который она приемлет; нет ничего более важного, чем не отделяться от своей подлинной точки опоры. Только нужно выяснить, где действительно расположена эта точка опоры и каким образом на нее можно прочно опираться, не утратив свободы своих движений. Ведь сильным можно быть только будучи свободным; партия, которая, отдавая людям свое доверие, предпишет им закон удовлетворять ее фантазиям и строго следовать ее волеизъявлениям, тем самым обречет их на полное бессилие. Следовательно, опасность для оп-

позиции состоит, с одной стороны, в том, чтобы слишком продлевать свою жизнь, а с другой — в том, чтобы не овладевать всем своим правом.

Мы постоянно слышим, что депутат — это человек Франции; именно этим всеобщим званием главным образом и кичатся члены оппозиции, чтобы дать всем почувствовать благородство их миссии и заставить уважать их независимость. Они правы, ведь они занимают это место от имени и в интересах всей Франции. Они были посланы в парламент не какой-либо фракцией и не группировкой и не для того, чтобы удовлетворить тот или иной каприз, не для того, чтобы заставить восхвалять себя в том или ином собрании. Силу, которой облечены, они черпают не в небольшой толпе, заискивающей перед ними; она проистекает из более отдаленных и более мощных источников. Их точка опоры располагается не в узком кругу частных отношений; она более прочно укоренена в национальной почве. Общие интересы, общие чувства и все, что к ним относится, все, что с ними связано, все потребности, все стремления новой Франции — вот откуда проистекает их сила, вот где их точка опоры. Так пусть же они воспользуются всем этим; пусть взгляд их будет направлен на Францию в целом и будет представлять их мысли, все то, что Франция требует у власти. Ошибка здесь обернулась бы большим несчастием, ведь может случиться так, что, внимая более близким голосам, уступая более непосредственным намекам, превратившись в, так сказать, выразителей, равно как и завсегдатаев весьма узкого кружка, они будут неправильно судить об истинной Франции и окажутся очень отдаленными от нее, не подозревая об этом и вовсе не желая отдаляться. Франция — это не группировка, не фракция и даже не партия; но она включает в себя все группировки и фракции, претендующие на то, чтобы представлять ее, и стремятся быть представленными в палатах на ее месте и под ее именем. Оппозиция не должна попасть в эту ловушку, она не должна собственными руками ограничивать интересы и идеи, которые составляют ее собственную область и которым она должна всецело соответствовать, дабы вобрать в себя всю их силу. Ее роль более

значительна, а ее миссия более обширна, чем, быть может, те роли и миссии, которые когда-либо получала оппозиция. В ее задачи входит не только поддержание борьбы свободы против власти; она уполномочена как требовать порядка, так и защищать свободу, поскольку как порядок, так и свобода являются потребностью и чаянием новой Франции, как порядок, так и свобода в равной степени скомпрометированы правительственной системой. Она должна одновременно сохранять революцию и с революцией сражаться; она должна потребовать и ускорить организацию нового порядка и в то же время сопротивляться попыткам реконструкции старого. Ей доверены, на первый взгляд, противоречивые и вместе с тем неотделимые друг от друга интересы; она должна говорить от имени общественного покоя, равно как и от имени гражданских свобод, отвергать вмешательство старой аристократии и, однако ж, не приостанавливать развитие, не затрагивать в их справедливых правах новые превосходства, составляющие нашу силу и нашу надежду. В конечном итоге она должна удовлетворять двойственной потребности в войне и мире, борьбе против старого порядка и основанию конституционного порядка, который является общим фактом, господствующей чертой нашей ситуации.

Вот и все, чего требует новая Франция от истинно национальной оппозиции; вот и все, что эта оппозиция должна видеть в этой Франции, чтобы завладеть всей ее силой для удовлетворения всех ее потребностей. Это — нечто гораздо большее, чем борьба партий, гораздо большее, чем соперничество собственности и промысла, низших и высших классов, свободы и власти. Новая Франция — это цельное общество, в котором есть свои собственники и свои негоцианты, своя аристократия и свой народ, свои приверженцы власти и свои сторонники свободы. Оппозиция, сражающаяся за свои интересы, должна также уметь бороться и за их интересы, объединять их в своих принципах, бережно обращаться с ними в своих речах, наконец, уметь подняться до всей цельности, до той высоты поведения и идей, где все многообразие внешних прояв-

лений справедливого и истинного может быть равным образом признано и точно так же защищено.

Ведь если вместо того, чтобы понимать и использовать все, что ей принадлежит, оппозиция позволит себе замкнуться в каком-нибудь отдельном интересе или теории какой-либо партии, она окажется одновременно ослабленной и изменит свою природу. Она, в свою очередь, натолкнется на риф, об который уже разбилось правительство. Она сможет увидеть, например, как обладатели национальных богатств отшатнутся от нее, опасаясь, как бы собственность вообще не была подорвана ее утверждениями. Уважаемые буржуа были бы вынуждены поверить, что все превосходства находятся в опасности. Сторонники свободы страшились бы нового взрыва анархии. Люди, которым не нравится власть в руках старого порядка, но которые стремятся к силе власти, приблизились бы к власти, несмотря на ее альянс со старым порядком, поскольку не надеялись бы, что в ином месте они смогут обрести власть прочную и почитаемую. Таким образом, оппозиция, не заметив всех источников своей силы, всей широты своего основания, утратила бы добрую их часть и в своих отношениях с внешними факторами оказалась бы отделенной от значительной доли своих естественных приверженцев.

Это еще не все. Оппозиции недостаточно объединить, не оттолкнув все элементы своей силы. Я уже говорил, что невозможно быть сильным, не будучи свободным. Но нельзя быть свободным не имея чувства собственного достоинства, опустившись ниже собственного удела. Все, что я говорил выше о власти, я повторю теперь и об оппозиции, поскольку сама оппозиция есть власть. Она есть правление той частью публики, которая осуждает правительственную систему и стремится изменить ее; правда, это правление чисто моральное, не обладающее никакими принудительными средствами в отношении своих противников или своих сторонников, способное действовать лишь путем влияния, но которому достоинство и осознание всех своих прав от этого не менее необходимы. Таким образом, парламентская оппозиция вправе управлять своей партией вне стен парламента, а не

следовать за ней. Она должна быть во главе, а не в хвосте. Между нею и ее внешними союзниками существует то же отношение, что и между правлением и его народом, — отношение, без сомнения, исполненное взаимности, отношение, в котором идущие впереди получают от замыкающих шествие общий толчок, как и силу, но которое тем не менее не нарушает природы вещей, не мешает впереди идущим стать лидерами, мыслить и действовать в качестве лидеров. Именно поэтому они и были избраны; ведь именно в качестве лучших, наиболее способных, наиболее полезных членов партии они были посланы на этот трудный и видный пост. Их именно так и воспринимают; так пусть и сами они относятся к себе так же; пусть они не рассматривают себя в качестве прислужников, вынужденных быть незаметными и покорными, ведь, повторяю, они — лидеры; их мандат сообщает и объявляет об этом всем. Подлинная теория полномочий, многими неверно истолковываемая, предписывает, правда, депутатам обязательно действовать в направлении и в соответствии с интересами тех, кто их делегирует. Если они отходят от мнений последних, вредят им вместо того, чтобы поддерживать, они нарушают свои обязательства и совершенно определенно предают полученные ими полномочия. Но в том, что касается средств осуществления этих полномочий, что касается их речей, действий, наиболее благоприятных для избранного ими дела, — здесь свобода их остается полной; ведь без этого они были бы ничем, они не могли бы стать тем, чем они обещали быть, тем, чего от них ожидают. Специфическое, но законное следствие дурных доктрин! Они губительны даже для тех, кто их принимает, чтобы сделать из них орудие для своих врагов; даже для них они все меняют местами и спутывают. Когда оппозиция не признает природы и прав власти, она от этого, в свою очередь, оказывается униженной и подорванной; ведь все то, что она направила против своих противников, было обращено против нее самой теми, кого она защищает. Вы называете себя выразителями, защитниками, избранниками великого мнения, могущественного интереса. Так будьте же в собственных

глазах таковыми, какими вы предстаете в глазах других. Уважайте то, чем вы являетесь, и обращайтесь к вашим сторонникам, не опускаясь с того уровня, на котором должны видеть вас ваши противники. Не думайте, что ваши противники перестают на вас смотреть, когда вы к ним не обращаетесь. Они и тогда следят за вашими движениями, изучают вашу позицию; и если она слаба, если они видят, что, с одной стороны, вы потерпели поражение, тогда как, с другой — надеетесь одержать над ними победу, они используют это против вас; они узнают, каким образом вам можно причинить массу неприятностей и иметь преимущества при нападении на вас. Почему г-н Фокс был столь опасен для г-на Питта?[29] Да потому что он, как и тот, осознавал свои права в рамках своей партии; потому что, как и тот, ощущал себя лидером и выступал в качестве лидера национальной оппозиции, а не в качестве простого посредника от избирателей Вестминстера. И разве Хобхауз сравнялся бы в таланте с Фоксом, если бы не возвысился до его положения, оставался во власти народных капризов и так называемой теории полномочий, и весь его талант оказался бы бесполезным в борьбе против правительства и за его дело.

Вы хотите знать, что происходит с партией, в которой господствуют подобные идеи и чьи лидеры считают себя обязанными внимать толпе, следующей за ними? Взгляните, какова была судьба старой республиканской партии в Англии между смертью Кромвеля и воцарением Карла II? В течение одного года она обладала властью и не делала совершенно ничего. Ее провалу есть множество причин. Среди них выделяется следующая. Лидеры этой партии, Ладлоу, Хаслрины, Вейны, бывшие, впрочем, людьми отважными и способными, совершенно не доверяли сами себе, не имели чувства собственного превосходства и превосходства их прав в партии; они беспрестанно давали партии то, что та требовала от них, непрерывно ожидали ее решения, не осмеливались и шагу ступить без позволения или приказа, умоляли ее саму решить свою судьбу, самой избрать свой путь и следовать им впереди них. Партия ничего не выбирала, ничего не

улаживала, ничего не решала; и солдат и их лидеров, равным образом убежденных в своей беспомощности, постигла одна судьба. Необходимое, чтобы вести к цели партии, необходимо и для того, чтобы вести к цели народы. Здесь власть также имеет свои условия и должна осуществляться в соответствии со своей природой. Здесь также отказываются от власти и утрачивают ее, когда не имеют понятия о том, что есть власть и чем ей обязаны.

Мы испытываем насущную потребность в том, чтобы наша парламентская оппозиция знала и действительно была бы тем, чем она может быть для нас. Мы еще — да будет позволено мне так выразиться — партия беспорядка, в котором множество вещей неустойчивы и смешаны, в которой дисциплина истощает силу, в которой лучшие влияния сомневаются сами в себе, в которой власть ищет свое место и не всегда осознает его. На исходе революции, подобной нашей, такое смятение естественно, но от этого не легче. Анархия оставила самой национальной партии грустное наследие. Преступные страсти, беспорядочные обычаи, абсурдные претензии бушуют в ее недрах; все они одновременно стремятся к удовлетворению и к правлению; они хотят предписывать нашим депутатам то их принципы, то их действия, сегодня — их речи, назавтра — их молчание. Именно им предстоит бороться со злом. Так пусть же они не приемлют его бремя; пусть они не позволят ни сдерживать себя, ни чрезмерно продвинуться вперед вне парламента; пусть они говорят и действуют, чтобы служить нам всем, а не для того, чтобы угождать некоторым; пусть они хранят в отношении своей партии независимость, необходимую им, чтобы достойно представлять эту партию и успешно защищать ее. Пусть же, наконец, они будут ее верными, но настоящими лидерами. Новая Франция стремится быть понятой, чтобы быть управляемой; но она также хочет быть управляемой; и не все голоса, раздающиеся здесь и там, — эхо Франции; подлинная сила заключена вовсе не там, откуда доносится самый громкий шум.

Я не знаю сможет ли в скором времени самая деятельная и самая искусная оппозиция получить награду

за свои усилия. Но что я знаю наверняка, так это то, что умение и деятельность сокращают самые долгие дороги, тогда как недостаток системы, дисциплины и осторожности отдаляет самую близкую цель.

Глава шестнадцатая
О ВНЕПАРЛАМЕНТСКОЙ ОППОЗИЦИИ

Я говорил о недостаточности или, скорее, о никчемности наших средств оппозиции вообще. Что я мог бы сказать об оппозиции вне парламента? Она многочисленна, она сильна; никто в этом не сомневается. Но как только она опускает в избирательную урну свой бюллетень, для нее все оказывается законченным; и если удастся испортить это единственное и последнее орудие в ее руках, она впадет не знаю в какое бессилие, похожее на согласие. Оппозиция такова, что ее как бы и нет вовсе. И тем не менее ее идея, ее образ — назовите как хотите — преследует власть по пятам, идет за ней, задевает ее, повергает в ужас, хотя в то же время не останавливает ее и ни в чем не стесняет.

Примечательный контраст! У власти все есть; ей даны все орудия; она занимает все посты; она повсюду, и все ей подчиняется; и она так слаба! и об этом нельзя молчать! При малейшем порыве ветерка, малейшем движении листочка властью овладевают самые мрачные предчувствия! Оппозиция не может ничего, ничего не делает, едва слышен ее лепет, она все время подчиняется; и все повсеместно ощущают ее присутствие, повсюду испытывают перед ней страх; ее сила существует под покровом бессилия и проявляется даже в неподвижности.

Все это оттого, что в преобладающей сегодня системе оппозиция — это вся Франция. Неблагоразумные, пытающиеся иметь дело с одной только партией или даже одной фракцией, раскройте нам секрет состояния, которое я только что описал. Вы лишили эту фракцию выборов, газет, всех орудий, которыми она может пользоваться. Она еще действует, теряет каких-то солдат, приводит в движение каких-то контрабан-

дистов, посылает вам из Испании какие-то прокламации. Вы повсеместно и без особого труда одерживаете победу над ее усилиями. Вам нравится выставлять напоказ ее никчемность и ее смешные стороны. Но если это и есть вся оппозиция, то чего же тогда еще вы боитесь? Почему же вы инстинктивно впадаете в слабость? Если вся Франция, вовсе не вступающая в заговоры, не подверженная волнениям, действительно благосклонна к вам, если только она не наносит вам вреда, проявите же себя более доверчивыми и более спокойными; допустите ее к участию в своих институтах, в своих делах; не оставляйте все ее права нереальными, все ее силы — в бездействии. Было бы странным, если бы для того, чтобы защитить себя от Кюнье де Монтарло и ему подобных, вам потребовалось бы молчание и неподвижность всей Франции.

Конечно же, вам это нужно, но потому, что у вас есть другие противники, которых стоит бояться, другие опасности, которые надо предотвратить, потому, что ваша система оскорбляет и угрожает совсем иным вещам, нежели группировки, о которых вы говорите. Они внушают вам страх, согласен; вы ведете с ними борьбу, это ваше право; но этот страх заслоняет собой совсем иной страх, эта борьба скрывает иную борьбу, в которой вы не осмеливаетесь, не можете признаться. Ваши тревоги соответствуют тревогам более общего характера; ваши меры направлены против более могущественной оппозиции. Молчаливая оппозиция досаждает вам гораздо больше, нежели волнует оппозиция деятельная, вы ощущаете себя отделенными от новой Франции, непризнанными ею; и хотя она не находится в волнении, хотя она подчиняется, ее отдаления и непризнания ею вы опасаетесь гораздо больше, чем памфлетов бонапартистов или происков якобинцев.

Вы правы. Вынужденное бездействие подлинной Франции, невозможность, в которой она оказалась, порождать самое себя и влиять на свою судьбу, внешняя покорность, наконец, состояние разложения и беспомощности, в которое повержена ныне национальная оппозиция, — все это не будет длиться бесконечно; придет день, когда вы вынуждены будете при-

бегнуть к действенным средствам, которые принадлежат нам и в которых нам сегодня отказано.

Я на это уже указывал. Старый порядок захватил Францию врасплох. Привыкшая на протяжении тридцати лет нападать и побеждать, она совершенно не подумала о том, чтобы защищаться и сопротивляться. Свершив революцию, она отдала себя в руки Бонапарта и решила, что работа ее завершена. Она заблуждалась и в своей усталости слишком малым ограничивала свои амбиции. Когда политическая жизнь возобновилась, когда будущее вновь приоткрылось, мы были поражены необходимостью, к которой не имели ни привычки, ни опыта. Группировки быстро возродились, а вот национальная партия не сумела ни столь же быстро реформировать себя, ни вновь обрести за столь короткое время подходящие ей положение, целостность, руководство. Она еще ищет себя, и ищет ощупью. Внезапно вступив в борьбу, она оказалась во власти непредвиденных случайностей, была не в состоянии устраниться из этого положения и почти не могла оценить его. Это позволило Бонапарту 20 марта добиться первых успехов. Новая Франция не считала его порядочным, не доверяла ему. Но она была взволнована и устала. Она не знала ни как сплотиться, ни по какому пути пойти, чтобы достичь своей цели. Она позволила Бонапарту поступать как ему вздумается, скорее снося его как невеселую и опасную случайность, чем принимая как своего защитника. Революция подверглась нападению; Франция обратилась за помощью к теориям, к практике, к людям, сделавшим революцию. Максимы абсолютной власти вновь обрели популярность; взывали и к суверенитету народа. Вновь появились религиозные суеверия и фанатизм; стали переиздавать Вольтера. Привилегии казались угрожающими; самые демократические теории вновь обрели доверие. Как я уже говорил, это не означало, что Франция хотела выравнивания положений, или реабилитации толпы, или скандалов, связанных с безверием. Это означало, что, с одной стороны, мало освоившаяся с новым порядком, не знающая потребностей, обычаев, средств открывающегося перед ней будущего, и, с другой стороны, видя прошлое, которое она соби-

ралась защищать, в опасности, именно в этом прошлом и искала она прежде всего оружие, средства для сплочения и лидеров. Все повернули назад. Партия старого порядка за неимением лучшего искала свои истоки в XVII веке и в Людовике XIV; новая Франция вернулась в XVIII век и в революцию. Здесь черпала она весь арсенал своих идей, орудий, обращенных против наших противников, еще совсем свежие кадры, известные имена, весь боевой строй, всю систему войны. Никто не задавался вопросом, было ли это хорошо, полезно, сильно. Все поспешно бежали.

Мы начинаем замечать, что всего этого недостаточно, все это нам уже не подходит. И с каждым днем мы будем замечать это больше. Пусть партия старого порядка выбирает прошлое в качестве точки своей опоры, она вынуждена это делать; она обречена на ретроградную систему; она и должна упрочиться там, куда хочет нас привести. Однако даже эта партия ощущает слабость средств, которые она вынуждена приводить в движение. Она пытается омолодить свои теории и привить их на самые строгие и наименее употребимые принципы. Это пытаются сделать де Бональд, де Местр, де Ла Менне. Не следует думать, что все это не оказывает никакого влияния на партию и даже на круги вне партии; она обретает таким образом новую веру в самое себя, а также некоторых прозелитов. По крайней мере, она облекает эту веру в обличье новизны и движения. Мы же, будучи партией прогрессистской по своей сути, мы, отвергающие претензии прошлого и поддерживающие права будущего, мы будем не менее дальновидными и не менее торопливыми. Мы не останемся в неподвижности; мы поймем, что наша колыбель — не самое надежное наше прибежище, что для нас большее значение и большую силу имеет продвижение к тому, что еще будет, нежели сосредоточение на том, что уже было. XVIII век, революция, их идеи, их практика — все это имело свое течение и свои последствия. Мы должны вобрать в себя их наследие, чтобы вновь оплодотворить его, а не просто подбирать то, что от них еще осталось. Руссо в значительной степени поколебал божественное право и привилегии, но ему еще не были известны все прин-

ципы, лежащие в основании свободы, и сегодня сторонники конституционной системы объединяются вовсе не вокруг «Общественного договора». Вольтер нанес жестокие удары по фанатизму и нетерпимости; но в наши дни никто из людей, стремящихся к свободе совести и уважающих права мысли, не возьмет Вольтера в качестве своего лидера. Конституционное собрание сделало много великих, полезных вещей; но никто из сторонников конституционного порядка не принял бы это собрание в качестве руководителя, не пошел бы по его стопам. Никто из главных действующих лиц революции не был обойден ни талантом, ни даже известными добродетелями; но вся Франция, стремящаяся сохранить революцию, не расположена ни следовать за ними, ни целиком доверяться им. Это все знамена, призыв которых не доходит до тех, кого мы по праву должны считать в своих рядах. Знамена эти вовсе не бесполезны; с ними связаны глубокие воспоминания, и в минуты нашей опасности они первые были распахнуты навстречу нам; но сегодня они не являются ни лучшими, ни подлинными нашими знаменами. И именно потому, что они таковыми не являются, новая Франция колеблется и рассыпается, поэтому мы видим ее неуверенной, нерешительной, опасающейся последствий даже тех принципов, что она сама открыто проповедует, требуя от одних дать ей приказ, не лишая ее свободы, от других — спасти свободу, не подрывая ее покоя, повсеместно остерегаясь какой-либо опасности или ловушки, наконец, лихорадочно ища центр, вокруг которого она смогла бы сгруппироваться, дорогу, с которой она, встав на нее сегодня, завтра бы не свернула, а пока используя свое время и свои силы на то, чтобы желать и бояться. Такова подлинная причина смущения общественного разума, продвижения ощупью и внешней покорности оппозиции. Если она совершенно бездействует, то не только потому, что у нее мало средств действия, но также и потому, что она не уверена ни в одном из путей, на которые ее призывают, потому что ни одна из предлагаемых ей систем не встречает полного ее доверия, потому что доктрины, которые поддерживают от ее имени, не отвечают более всем ее чувствам, не

удовлетворяют всех ее интересов, потому что представляемые ей точки объединения обладают такими сторонами, которые отвергаются ею либо вызывают ее сомнения. Для того, чтобы сконцентрировать ее, наделить ее энергией во всей полноте, ей нужно обладать чем-то новым и более полным, что не заставляло бы ее постоянно видеть опасность в помощи, предмет для страха в надежде, что убедило бы ее наконец в том, что она нашла подлинное решение своей судьбы, подлинные врата своего будущего.

Пусть это произойдет; пусть национальная оппозиция освободится таким образом от прошлого, но не для того, чтобы его отбросить, а чтобы не оставаться его узницей; пусть она не замкнется в старом порядке, ставшем отчасти неприменимым и недостаточным; пусть же она проповедует новые, более общие принципы и более широко открывается для всех интересов; тогда вся она придет к воссоединению и будет неизменно и уверенно продвигаться в определенном направлении. И тогда мы увидим, будет ли она вопреки слабости ее средств по-прежнему казаться покорной, действительно ли она не сумеет найти для себя множество выходов, действительно ли ей не удастся вложить всю свою силу в борьбу против дурной системы правления. Люди, которые сегодня больше всего верят в размах оппозиции, далеки от того, чтобы измерить ее до конца; им не известно ни то, чем она является в целом, ни до каких пределов мы сталкиваемся с ней, когда смотрим на нее с близкого расстояния. Она занимает даже места, принадлежащие правительственной партии; она существует в недрах самой администрации; правительство имеет в качестве своих союзников, использует, вынуждено использовать множество людей, которые думают совсем не так, как думает оно, не желают того, чего оно желает, хулят его утверждения, направление его деятельности и остаются связанными с ним только потому, что не видят никакой иной системы, никакой партии, которая бы дала им разумную надежду на получение того, чего они желают. Во Франции гораздо больше беспристрастных людей, чем это можно себе представить; на наших глазах произошло столько событий, и таких разнообраз-

ных; вещи, люди, идеи представали перед нашим взором в столь разных обликах, что в привычку великого множества добропорядочных граждан вошло сомнение, делающее их поведение непоследовательным и часто заставляющее их принять положение, противоречащее их склонностям и даже чаяниям. Эти люди не оставят своего сомнения, чтобы вернуться под власть теорий или тенденций, которые сами являются предметом того же сомнения, которые они уже видели в действии и опасность или ошибочность которых они уже, как им кажется, узнали. Они смогут связать себя более прочно лишь с идеями, не столь расшатанными натиском опыта, лишь с движением, которое не ведет их к тому, что причиняет им беспокойство. Я мог бы сказать то же самое и про поколение, которое входит в мир. В целом на него смотрят как на наиболее энергичный элемент современной оппозиции. Я не думаю, что здесь есть какая-то ошибка или что само оно не право в том, что отвергает господствующую ныне систему. Но не думайте, что это поколение довольствуется оппозицией, единственной отправной точкой которой были бы восемнадцатый век и революция; они исполнены идей, воспоминаний, которыми еще можно пользоваться, чтобы встряхнуть этих людей, но за которыми они не позволят себя повести. Нынешнее молодое поколение ощущает слабую сторону этих идей, знает их лакуны; оно не пожертвует их своим врагам, но и не примет их в качестве руководящих. Оно хочет принципов, которые бы ему принадлежали, которые были бы плодотворны, обещали ему будущее и не использовались исключительно для защиты прошлого. Оно с жаром предается своим чувствам и не всегда судит о влияниях, которые пытаются привести его в движение. Оно бы хотело, чтобы время двигалось столь же быстро, как и его мысль. Оно слишком верит в слова, путается в желаниях и часто отдается на волю случая. Но все это связано прежде всего с возрастом, а не с общим направлением его мыслей. По сути оно придает мало значения декламациям, и его стремления направлены гораздо выше, нежели удовольствия беспорядка и бури анархии. Оно вовсе не верит, что свобода состоит в пренебрежении законным порядком

порядком или пользовании своими правами, забыв о своих обязанностях. У него нет неприязни к почтению, отвращения к правилу, страха перед жесткой необходимостью и серьезными обязательствами. Оно не требует, чтобы его освободили от труда, от морали или от условий подлинной свободы. Со дня на день оно узнает, что ни одного из этих условий нельзя избежать, не уклонившись от общей цели, и не откажется их признать. Ему станет гораздо труднее обращаться с самим собой и с другими, оно станет менее расточительным в своих страстях, менее скорым на то, чтобы воспринимать все соблазны, довольствоваться лишь внешней стороной дела. Ни одна из группировок не имеет над ним власти, хотя оно все их любезно выслушивает. Оно знает, что не должно быть орудием ни в чьих руках, и с каждым днем все больше в этом убеждается. Но если министры льстят себя надеждой, будто бы оно отдалится от группировок, чтобы отдаться в его руки, они серьезно заблуждаются. С молодежью произойдет то же, что и с оппозицией в целом. Чем больше будет она углубляться в понимании подлинных принципов нового порядка и истинных интересов нашей страны, тем более сильной и одновременно суровой она станет. От нее требуют большей дисциплинированности, большей цельности, большего внимания, дабы ничего не упустить и не подвергнуть неприятностям ничего из того, что дóлжно беречь и почитать, совсем не для того, чтобы ее измотать, чтобы затормозить ее развитие и сузить область ее деятельности. Напротив, все это делается для того, чтобы она стала более реалистичной, более деятельной, чтобы с каждым днем молодежь отвоевывала еще пядь земли и собирала всех естественных союзников. При имеющемся у нас недостатке скорых и непосредственных средств действия общее поведение, общественное лицо оппозиции приобретают все большее значение. Сегодня она может показать нам мельком лишь намерения, тенденции, способности. Она совершенно бездействует; но вся Европа смотрит на нее, наблюдает за ней, пытается различить по малейшим признакам, на что она должна надеяться или чего должна бояться; это чувство столь всеобще, столь глубоко, что за ним

будущее! Так пусть же к будущему направляет она все свое движение; пусть на всех своих поприщах она опережает и переходит в наступление по отношению к своим врагам; пусть же не довольствуется она объявлением власти той небольшой войны, которая при абсолютном, но мягком порядке некогда обнадеживала праздную свободу; да не устремится она также по этому беспорядочному пути, наводящему страх и отталкивающему от себя все интересы, все чувства, все жизни, которые он не вводит в заблуждение. Да будет она деятельной и осторожной, терпеливой и упорной; наконец, вместо того чтобы рассеивать и тратить силы на защиту или, по меньшей мере, временное исправление всего то в восемнадцатом столетии, то в революции, то в Бонапарте, пусть она соберет эти силы и направит их к той великой и действительной цели, что стоит перед нами, — поражению старого порядка и созданию порядка конституционного. Нынешняя власть не ведет нас к этой цели, но ей не дано помешать нам преследовать ее и рано или поздно ее достичь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я описал систему, которая управляет нами; я попытался обрисовать систему, которая должна была бы нами управлять. Я изучил, какие средства у нас остаются, какое поведение нам подходит для того, чтобы если и не заставить добро одержать верх, то, по крайней мере, подготовить его победу. Если я переношу свой взгляд на истекший год, то обнаруживаю там значительный результат: этот год высветил подлинное положение Франции, правительства и партий. Никакой другой период не был столь же бесплоден и одновременно столь поучителен. Казалось бы, ход вещей, приостановившись, захотел дать людям время, чтобы осмыслить самих себя, дать оценку прошлому, задать вопросы относительно будущего. Начиная с 1813 г. события протекали быстро, умы же были еще более быстры, чем события: не побоюсь сказать, что каждый плохо понимал свое положение, был слишком самона-

деян или напуган им, преувеличивал либо свои силы, либо грозящие ему опасности. Ледяная рука неподвижной власти простерлась над нами; движение замедлилось; эта своего рода остановка — не окончательная и непродолжительная — обнажила множество вещей, некогда неотчетливых и неясных. Если мы сумеем в них разобраться, время это не будет безвозвратно потерянным. Позвольте же мне напомнить вам некоторые факты.

В новой Франции правительство встретило немного препятствий. Оно распустило зачатки организации либерального толка. Оно заставило замолчать газеты. Все отступило, все подчинилось. Стоит ли за этим что-либо, кроме внешней видимости? Правда ли, что новая Франция оставила самое себя, что общественное мнение изменилось?

Незадолго до открытия последней сессии правительства имел место крупный процесс. Я говорю, что это был крупный процесс, хотя речь шла об одном только человеке и только о том, чтобы выяснить, был или нет этот человек на какое-то время отстранен от должности и раскритикован. Но г-н Мадье-Монжу разоблачил старый порядок, его происки, его развитие. Тем самым он превратился в рупор, в защитника новой Франции; она устремилась к нему. Он высказал и поддержал мысль, которая принадлежала всем; все сомкнулись вокруг него. Его дело стало общественным делом. Мнение могло найти выражение только в том интересе, который оно проявляло к нему; оно отдало ему весь свой интерес. Даже партия старого порядка почувствовала себя задетой энергией и законностью общего чувства. Она не осмелилась ни нападать со всей силой, ни открыто признать мятежником человека, бывшего предметом разбирательства. Она тайно сожалела об этом деле, утверждала, что то была ошибка, и министр юстиции, отставив всякую идею справедливости, смог поведать, что поступил не слишком мудро, выставив на смех приличного человека. Мадье-Монжу вышел из этого процесса, пользуясь любовью Франции и уважением своих врагов.

Другой человек, все слова которого были полны убежденности, а все убеждения исполнены очарова-

ния, человек, поочередно защищавший свободу и королевскую власть от революции и старого порядка, выказавший себя горячим защитников всех правых и преданным другом всех несчастных, никогда не предававший ни слово, ни дело, ни идею; человек, начавший свою политическую карьеру в ранней юности и закончивший ее во всей силе зрелого возраста, доказавший свою смелость и свидетельствовавший в пользу всего законного и святого, — Камиль Жордан[30] умер. Один из его друзей, виконт де Монморанси[31], активно защищающий дело аристократии, и г-н Паскье, министр, присутствовали на похоронах. Они могли все видеть. Неужели они ничего не услышали в продолжительном молчании огромной толпы? Эти группы, объединяющие людей всех общественных положений, всех возрастов, стекавшиеся с каждой улицы, чтобы увеличить похоронную процессию; эта молодежь, в другое время столь шумная, но сейчас столь спокойная, столь серьезная, провожая к могиле прах достойнейшего гражданина; это исполненное почтительности и любви собрание стольких людей, которые никогда не видели Камиля Жордана и знали о нем лишь по его речам и его жизни; этот смиренный и немой взрыв общественной мысли перед скромным гробом, — неужели все это ни о чем не говорит? Неужели Камиль Жордан еще не сказал вам из своей усыпальницы, что Франция принадлежит лишь сторонникам ее свобод, ее прав, защитникам национальных интересов и истины?

Соберите все эти факты; задайтесь вопросом относительно как самых мрачных, так и самых величественных примеров; они все скажут вам об одном; они скажут, что вся Франция не изменилась, что общественное мнение хранит те же верования и те же чаяния. Подавленная, она может промолчать; но в своем молчании она не забудется; она будет искать выход, будет воспроизводить себя во всех формах. Сегодня у вас есть достаточно силы, чтобы наводить на нее страх, но совсем недостаточно, чтобы победить ее. Точно также вам не удастся заставить Францию измениться; в отличие от Бонапарта у вас нет ничего, что бы смогло утомить и подорвать ее. Вы не способны оплатить

жертвы, которых от нее требуете. Она смогла позволить себе оказаться побежденной славой; но она не позволит купить себя за обещание томительного покоя. Вы живете, вы правите; но не думайте, что вы продвигаетесь вперед; не льстите себя надеждой, что сама по себе длительность вашего правления вас укрепляет или что Франция готова вас принять только потому, что она вас еще терпит. Она терпит вас, потому что вы не слишком часто встаете на ее пути; как только она будет вас видеть и ощущать ваше присутствие, вы надоедите ей, вы будете возбуждать в ней отстраненность и недоверие. Она столь сильна и настолько хорошо осведомлена о вашей слабости, что ее мало волнует ваше существование. Не ждите от нее большего; не требуйте от нее поддержки, точки опоры. Пусть у вас не возникнет потребности в том, чтобы с вашей помощью она изменила свои настроения, чувства, верования; вам не дано получить от нее какую-либо жертву, произвести в ней какое-либо преобразование. Мирное развитие, которое она может проделать и проделает в сознании и практике конституционного порядка, будет обращено против вас, а не в вашу пользу. Вы отняли у нее ее права; вы не можете обещать ей никакого будущего; вы заключили альянс с ее противниками; ищите же вне ее лона элементы своей силы и прочности; она не отдаст тех средств, которыми обладает, системе, которой она вовсе не боится, но от которой не надеется ничего получить.

Что же выиграло, с другой стороны, это правительство, которое никак не может одержать победы над Францией? Выборы только что это разъяснили. Оно свело к малому свои требования. Оно требовало вывести из правительства от партии старого порядка пять-шесть человек из открытой оппозиции — вот, казалось бы, и все. Только один, Бертен де Во[32], не был переизбран, и то только потому, что его заподозрили в несколько меньшей преданности делу аристократии, в некоторой склонности к той или иной свободе. Отстранить его удалось вовсе не правительству, но партии. Так вот какова она, эта великая, уверенная победа! Вот какую умеренность, привязанность, услужливость правительство внушает своим новым сторонни-

кам! Как? Вы отдали общественные права, вы заставили власть склониться перед теми, кто на протяжении тридцати лет тщетно пытался к ней приблизиться, и вы не можете добиться от них, чтобы они отдали вам Делаво или де Воблана?[33] Вы не можете вырвать у них самого легкого проявления забвения своих претензий, малейшего указания на мудрость их намерений? И это все пространство, что вы завоевали? Так вот какова она, эта покоренная, преобразованная контрреволюция, которую вы обещали? Либо вам на удивление не хватает слов, либо вы самообольщаетесь надеждой, которой вовсе не имеете.

Правительство должно, наконец, осознать свое положение. Оно ничего не сделало, ничего не добилось. Старый порядок до сих пор не свергнут, новая Франция не претерпела никаких изменений; люди и вещи, страны и партии — все пребывает в том же положении, в том же состоянии, по крайней мере в отношении власти. Власть нигде не пустила корней; она нигде не создала для себя силы, точки опоры, будущего. Министры получили отсрочку еще на один год — вот и все. Удержатся ли они еще год? Может быть. Но каждый следующий год будет делать их такими, какими получил их год предыдущий, — столь же слабыми, столь же неуверенными, столь же неспособными дать какие-то гарантии, что-то создать, и их постоянное присутствие будет свидетельствовать только о том, что новый порядок не получил ничего из того, о чем просил, и что старый порядок не может ничего из того, что он хочет.

Таково на самом деле второе разоблачение, которое не способна признать единственно только неизлечимая слепота духа партии старого порядка. За последние два года старому порядку представились два удобных случая — события 20 марта и роковое покушение 13 февраля 1820 г.[34] Партия была наготове, она ухватилась за них, она использовала их со всей живостью, со всем знанием дела, на какое была способна. Что удалось ей извлечь из этих дел? Близка ли она к своей цели? Она причинила нам много зла; она столкнула нас с пути конституционного развития; но что получила она сама для себя? Покорилась ли ей

новая Франция, или наше общество изменило принципы, формы, или в нем возобладали старые доктрины, древние интересы? Конечно же, ничего из этого не произошло; новая Франция по-прежнему здесь, по-прежнему деятельна, по-прежнему она господствует несмотря на забвение ее властью и триумф ее противников. Что же это за скрытая сила, что защищает новый порядок от поражения, что насмехается над непостоянством власти и опрокидывает самые замечательные стремления партии, что делает бесплодным любой успех старого порядка, не оказывая ему никакого видимого сопротивления, что заставляет его привносить слабость в любую победу и испытывать страх даже тогда, когда он заставляет бояться всех? Я знаю секрет этой силы. Он заключается в том, что поверженным партиям самой судьбою предназначено быть более не способными сделать что-то для самих себя, в то время как они еще могут нанести вред своим противникам. Когда какой-то институт, идея, порядок вещей, наконец, молоды и устремлены к будущему, они овладевают обществом, сеют там одновременно добро и зло и распространяются, укореняются в обществе благодаря своим как ошибочным, так и истинным сторонам, как своим порокам, так и добродетелям. Не одна зарождающаяся религия с самых первых своих шагов сеяла в умах абсурдные предрассудки, ложные и опасные верования; но в то же время она реформировала нравы, возвышала природу павшей морали, провозглашала благородные и полезные истины. Она была новой и живой; она шагала к победе; в ее победном шествовании зло шло бок о бок с добром; добро порождало доверие ко злу. Но когда наступают дни заката, когда жизнь уже прожита и мы пытаемся вернуть власть порядку вещей, этой властью уже не обладающему, уже более ни с чем не согласующемуся в этом мире, то зло — единственное орудие, которое у этого порядка остается; новое добро еще задерживается в своем установлении, а старое не уже восстановить; развитие зарождающихся институтов приостанавливается, и ничего для него не делается; старое всем наносит вред, но при этом не использует собственных средств, поскольку ничто не способно служить

партии, исчерпавшей себя; ничто не может вернуть ей будущее, которое ей более не принадлежит. Такова теперь и судьба старого порядка во Франции; он способен сделать что-то против нас, но он ничего не может сделать для собственной пользы. Приостановив конституционное развитие, он пытается начать собственное движение, но скрытая сила сдерживает его; для него все является препятствием, и ничто не может служить ему средством; он не может сделать того, что желает, он не осмелится пойти на то, что может; переходя от надежды к надежде, он придет к своему крушению. Можно сказать, Провидение еще позволяет ему прикоснуться к власти, чтобы надлежащим образом убедить мир и самого себя в невозможности осуществления своих намерений.

И пусть же партия старого порядка в свою очередь откроет глаза на собственное положение. Возможности, помощь, усилия, подчинение — она ни в чем не испытывала недостатка; она же не сделала ничего, ничего из того, что приближало бы ее к цели. Франция у нее в руках, но рукам ее не хватает силы, чтобы охватить Францию и изменить ее по своему усмотрению. Франция страдает, потому что партия беспомощна. Если бы партия попыталась заменить бессилие неистовством, если бы ей когда-либо было позволено попытаться сделать с Францией что ей угодно, Франция избавилась бы от нее — не знаю когда, не знаю как, но совершенно точно она бы от нее избавилась. Только бы небеса не допустили такой крайности! Теперь эта партия приносит нам много вреда, много неприятностей причиняет трону, не получая от этого ни одного из тех значительных результатов, к которым она стремится. Она компрометирует все, но от этого не приближается к победе.

Заметно ли это уже? Я не знаю. Успех, который партия старого порядка одержала на недавних выборах, в настоящий момент раздувает ее паруса; она кажется взбодренной достаточно сильным толчком и намерена открыто атаковать министров, не сумевших ни изменить ее, ни удовлетворить ее потребности. Попытаются ли министры противостоять беде или они уступят, либо ретировавшись, либо исполнив все, что

предпишет им партия? Мне это также неизвестно, и министры, безусловно, знают об этом не больше моего. Не сделав ничего для будущего, они не могут рассчитывать на завтрашний день. Я не сомневаюсь, что они пообещают хорошо себя вести и будут упорствовать в своей неподвижности. Поговаривают даже, что в их планы входит сделать сессию столь короткой, столь безрезультатной, насколько того позволит самая неукоснительная необходимость. Как утверждают, они собираются рассмотреть лишь возобновление цензуры для газет и бюджет. На самом же деле они должны были бы уничтожить палаты, чтобы иметь возможность самим оставаться никчемными. Я с трудом могу поверить, что все вещи, хотя в основе своей и склонные к покою, тем не менее готовы подчиниться столь полному отказу от движения и жизни. Повторяю, мы находимся между двумя родами бессилия — бессилием правительства, которое, упорствуя в своем положении, не может ни для кого ничего сделать, и бессилием старого порядка, который не может сделать ничего значительного для самого себя. Это единственный очевидный факт на сегодняшний день.

Но есть и другой факт, на который я уже указывал и на котором я продолжаю настаивать. Он состоит в том, что новая Франция не расположена ни задаром подвергать себя столь опасным случайностям, ни отдавать себя во власть группировок, даже если те больше всего рассчитывают на ее благосклонность. Она осознает цену благ, которыми она обладает, и не будет подвергать их опасности, чтобы устремиться к будущему, которое, по правде говоря, внушает ей мало доверия, но и не вызывает столь настойчивой тревоги. Не следует думать, что ее положение, ее чувства, ее желания, ее верования, что что-либо в ней является простым и решенным; у нее есть борющиеся между собой страхи, она порождает чаяния, колеблющиеся в нерешительности; она с подозрением относится даже к тем идеям, которые сама проповедует, к тем людям, которых она признает; или, скорее, она не пойдет в этих идеях до конца, не признает всех этих людей. Она хочет, чтобы защищали одновременно ее свободу и ее покой, чтобы ее спасли от старого порядка, не отдав

при этом на растерзание революциям. Одним словом, наконец, она требует правления, правления, которое было бы ее собственным, которое освободило бы ее — извне от чужестранцев, внутри страны — от старого порядка и всех группировок. Ее подлинному желанию отвечала бы единственно монархия, основанная на Хартии. И Франция ее получит. Вслед за этим желанием, которое царит над всем, она возымеет другое, потому что осуществление первого не будет ей очень дорого стоить. Только от власти зависит исполнение как первого, так и второго ее желания. Но благодаря принятой ею системе власть отдаляется от этой цели и с каждым днем отдаляет от нее всех нас.

Приложение

Указ от 27 февраля 1821 г. об общественном просвещении вызвал у французских протестантов столь живые возражения, а эти возражения подняли столь серьезные вопросы и породили в палате депутатов столь примечательные, хотя и достаточно краткие дебаты, что я считаю своим долгом рассказать здесь об этом в деталях, напомнить факты, обсудить права и дать почувствовать, каковы бы могли быть последствия противоречивого и неустойчивого состояния, в котором все пребывает благодаря политике правительства.

Данный указ гласит:

Ст. 13. «Основами воспитания в коллежах являются религия, монархия, законность и Хартия».

Ст. 14. «В том, что касается религии, священник епархии будет осуществлять надзор над всеми коллежами своей епархии. Он будет посещать их самолично, либо по его указанию их будет посещать один из викариев, и священник выскажется перед королевским советом по общественному образованию относительно мер, которые он сочтет необходимыми».

Ст. 15. «Содержание священников королевских коллежей будет равным установленному содержанию надзирателей, а их права на пенсию после отставки равными правам прочих чиновников».

Читая эти статьи, невозможно не подумать о том, что они были составлены исходя из одного из следующих предположений:

либо что католическая религия, даже если фактически она и не является единственно существующей, существует одна в правовом отношении, одна только признана институтами, только ее законы и стоят того, чтобы ими заниматься;

либо что в королевских коллежах есть только ученики-католики и что полное отсутствие учеников, принадлежащих другим вероисповеданиям, освобождает власть от составления каких бы то ни было документов на их счет;

либо что епископы будут призваны надзирать за религиозным воспитанием всех учащихся королевских коллежей, к какому бы вероисповеданию они ни принадлежали;

либо что за религиозным воспитанием учащихся-протестантов вообще никто не будет надзирать;

либо, наконец, что религиозное воспитание и образование учащихся-протестантов в королевских коллежах имеет столь малое значение, что не стоит труда о нем вообще говорить.

Я хочу сказать несколько слов по поводу всех этих различных предположений, в равной степени противоречащих Хартии и в равной степени опасных для прав христиан-протестантов.

Остановлюсь на первом предположении. Оно направлено непосредственно против Хартии, которая провозглашает (ст. 5), что «каждый с равной свободой исповедует свою религию и получает равную защиту для своего культа», и определяет, что (ст. 7) «пасторы всех христианских вероисповеданий получают содержание из королевской казны».

Второе предположение опровергается фактами. В королевских коллежах, в частности в коллежах Парижа, Страсбурга, Нима, есть определенное число учащихся-протестантов, как стипендиантов, так и свободных воспитанников. Их было бы еще больше, не будь недоверия к ним, которое легко развеять. Но их вполне достаточно, чтобы они могли требовать особых мер и внимания со стороны власти.

Третье предположение совершенно очевидно неприемлемо. И однако же оно заслуживает рассмотрения. В палате депутатов министр иностранных дел заявил: «Предположение о том, что католическому священнику может прийти на ум осуществлять надзор за не являющимся католическим религиозным обучением, означало бы забвение всех принципов самой католической религии. Таким образом, совершенно очевидно, что надзор католических священников может распространяться лишь на обучение католической религии; и если даже епископу предложат надзирать за другой религией, не бойтесь, что он пойдет на это; подобный надзор покажется ему святотатством»[35]. Но что вовсе не показалось бы святотатством никакому католическому пастору, так это дух прозелитизма, это целая совокупность усилий, направленных на приведение в лоно его церкви родившихся в другом вероисповедании. Католическое духовенство — и я этому вовсе не удивляюсь — сделало гораздо больше, нежели возымело желание *надзирать* за прочими вероисповеданиями; оно пожелало их захватить, уничтожить. Открытая дискуссия, свободно обращение в другую веру, разрешение на прозелитизм — что может быть проще, справедливее. Но то, что в общественных учреждениях дети одни, лишенные всякой поддержки, могут быть подвергнуты подобного рода натиску, чтобы католические кюре или священники, которые, конечно же, вовсе не *надзирают* за их *протестантским* воспитанием, очень легко могли бы просто преподать, внушить им воспитание совсем иное, — это совершенно недопустимо. Но ведь мы видим это, это имеет место и в наши дни, я могу привести тому множество примеров. Именно в целях предупреждения подобных злоупотреблений протестантские священники и потребовали, чтобы надзор за религиозным воспитанием их детей официально и на основании права принадлежал бы их пасторам. И чем дольше будут продолжаться колебания в отношении публичного признания этого права, тем более обоснованными будут их страхи.

Четвертое предположение, казалось бы, не заслуживает никакого внимания. Совершенно очевидно, что коль скоро учащиеся-протестанты должны полу-

чить религиозное воспитание, то кто-то должен его осуществлять и кто-то должен за ним надзирать, что само государство заинтересовано в этом, поскольку, включая в себя протестантское вероисповедание, оплачивая его пасторов и его профессоров-теологов, оно должно знать, действительно ли из поколения в поколение они остаются такими, какими оно их замыслило и приняло. Однако же г-н Пардессю публично заявил, что, поскольку протестанты не имеют ни установленных догм, ни дисциплины, ни иерархии, словом, ничего из того, что составляет верование и религиозное сообщество, постольку «надзор за преподаванием догматики противоречит как принципам, так и обычаям протестантизма». Иными словами, он невозможен; в поддержку этого утверждения Пардессю говорил о праве на свободу совести, о чисто гражданской власти церковных советов и т.д. Да простят мне это выражение, — трудно встретить более странное невежество. Лютеране, кальвинисты также имеют свои институты, свои религиозные власти, свои теории. Эти теории преподают в Страсбурге, в Монтобане; они проповедуются во множестве точек королевства; и именно в силу существования этих доктрин, существуют и пасторы, их проповедующие, и профессора, их преподающие. Может быть, г-н Пардессю думает, что дети протестантов вовсе не учат катехизиса, не получают определенного образования? Может быть, он не знает, что право упорядочивать и доктрину, и дисциплину, и все внутреннюю конституцию этих вероисповеданий принадлежит вовсе не церковным советам, но синодам? Мало подобает говорить наугад и не давая себе труда узнать то, о чем говоришь. Протестантизм, как и католицизм, должен преподавать религиозное учение, и он его преподает; и его пасторы вправе надзирать за преподаванием в коллежах, равно как и проповедовать свое учение в храмах для приверженцев своего вероисповедания.

Что касается пятого предположения, то я испытываю искушение признать его наиболее вероятным, и оно было бы также и наиболее мрачным. Я уже говорил об этом: именно замалчивая права, мы способствуем их забвению, а забывая о них, мы идем к их на-

рушению. Я совершенно не верю в возврат каких бы то ни было религиозных преследований; но именно таким образом от Генриха IV и до Людовика XIV протестанты постепенно оказались лишенными их законного существования. Они еще многочисленны, богаты, исполнены доверия; они стоят того, чтобы повсеместно, где бы они ни встречались, ими бы занимались, разрешали бы их дела, признавали бы их права. И власть в своих же собственных интересах была бы в большей степени неправа в своем забвении протестантов, в том, что их дело не является больше, подобно тому, как это было некогда во Франции, делом изолированным и отличным от общего дела. Оно связано самым тесным и нераздельным образом с великим делом всей новой Франции. Права протестантов и право на свободу совести вообще, право на свободу совести и конституционные права — все это связано в один пучок, где все держится друг за друга, где ничто не может быть задето без того, чтобы не оказалось поражено целое, где никакой интерес не может считать себя подорванным или забытым без того, чтобы то же чувство не передалось сразу же всем остальным. Я знаю, очень неудобно, когда малейший вопрос превращается в вопрос всеобщий и когда мы беспрестанно оказываемся перед лицом совершенно нового порядка. Тем не менее таковы факты; их нужно понимать и не верить тому, что когда замалчиваются права каких-то детей на получение каких-то уроков, а также права каких-то пасторов нанести какие-то визиты, обеспокоенными оказались всего лишь несколько семей и было дано основание лишь для неотчетливых и очень ограниченных страхов.

Я проследил различные гипотезы, которые могли бы явиться основой указа от 27 февраля; я показал, что все они были опасны и незаконны. Перехожу к самому вопросу. Следует выяснить, в чем заключаются права, что сделала и что упустила власть, что от нее требовали и в чем она отказала.

Процитированные мною статьи имеют двойственную цель: они провозглашают право надзора священниками всего, касающегося религии, в королевских коллежах, и они урегулируют судьбу коллежских свя-

щенников-чиновников, употребляемых самим государством для религиозного образования. Таким образом, государство, с одной стороны, обучает религии, а с другой — в процессе этого обучения оказывается поднадзорным со стороны священников, в чьих руках оно находится.

Таким образом, перед нами два вопроса: должно ли государство оплачивать религиозное образование в протестантских общинах подобно тому, как оно оплачивает католическое религиозное образование? Вне зависимости от того, оплачивает оно или нет первое из этих образований, надзор за ним принадлежит протестантским пасторам, и должен ли он доподлинно выпадать на их долю, подобно тому, как надзор за католическим образованием выпадает на долю епископов или общих викариев?

Я разделяю два этих вопроса, поскольку обычно их искусственно смешивают; а смешав их, тот же министр поочередно решает их различными способами; два министра в один и тот же день, в одном и том же месте дали различные решения. Привожу факты.

Административные протесты были адресованы г-ну Корбьеру. Одни из них касались в основном второго момента и ограничивались просьбами, чтобы дополнительный указ признал за протестантскими пасторами в отношении религиозного образования учеников их вероисповедания то же право надзора, которым наделены епископы в отношении учащихся-католиков. Вопрос о том, кем должно осуществляться и оплачиваться образование в протестантской религии и должно ли государство осуществлять это образование непосредственно или через самих протестантов, не поднимался. Ограничились лишь некоторыми конституционными оговорками и пожеланиями на будущее.

На эти протесты г-н Корбьер ответил, что в соответствии ст. 38 основного устава университета от 17 марта 1808 г. государство брало на себя обязанность в преподавании только католической религии, поэтому сами протестанты должны давать своим детям религиозное воспитание; что в этом случае их пасторы действительно имели право надзора за религиозным обучением и что в этом отношении им должны быть

предоставлены самые благоприятные условия; но он отказался официально и публично признать это право.

Таким образом, для отказа в том, о чем его просили, он ответил на то, что у него не спрашивали; для защиты указа, на который поступила жалоба, приводил устав, существование которого никто не оспаривал; в то же время он фактически провозгласил, что преподавание протестантской религии никогда не могло бы осуществляться чиновниками, назначаемыми и оплачиваемыми властью.

Другие протесты объединили два вопроса, требуя одновременно признания общего права на надзор и учреждения института протестантских священников в определенных оговоренных коллежах, где того требовало количество учащихся этого вероисповедания.

На эти протесты г-н Корбьер ответил отрицательно по первому пункту и опять-таки приводя основания, не соответствующие поставленному вопросу; и тут же, изменяя свое мнение применительно к особому случаю, о котором шла речь, он заявил, что проверит, действительно ли в упомянутом коллеже учреждение должности протестантского священника было необходимым и возможным.

Таким образом, он ссылается на общий принцип, чтобы отвергнуть общее требование, к которому данный принцип вовсе не применим, и не выказывает решимости проводить этот принцип применительно к частному случаю, в котором можно было бы опасаться его действительного применения.

Запрос поступил в палату депутатов; здесь он был плохо сформулирован и слабо раскрыт. И тем не менее даже здесь Корбьер то поддерживал, то опровергал свои административные указания, а Паскье противоречил Корбьеру.

Защищая от любых упреков указ от 27 февраля, отвергая любые его интерпретации, любые дополнения, Корбьер сказал: «Если (в королевском коллеже) есть достаточное количество учащихся-протестантов, они имеют особого пастора, принадлежащего их религии и оплачиваемого университетом. Это общее правило применительно к данному случаю».

Если таковы факты и таково правило, то во что же превращается упоминаемый выше г-ном Корбьером принцип, утверждающий, что университет должен давать и оплачивать лишь преподавание католической религии? Корбьер публично отказывается от него, провозгласив его в письменной форме. Этот принцип тут же подхватывает Паскье, вновь выходит с ним на трибуну и заявляет: «Хотя все учащиеся должны быть допущены к обучению и пансиону со всеми связанными с этим льготами, тем не менее учащийся, не исповедующий государственной религии, не может обучаться этой религии; но мы не препятствуем тому, чтобы они получали такое образование от пасторов своего культа; в этом случае религиозное образование дается не университетом; университет преподает только государственную религию».

Какое неискоренимое смешение! Какое странное противоречие между словами и делами, делами и принципами, между самими принципами! И, пожалуй, еще более странно, что оба министра — я в этом убежден! — не замечают, что последовательно и взаимно с неимоверной легкостью противоречат друг другу.

Множество противоречивых утверждений и даже вопросов, их породивших, легко свести к нескольким очень простым понятиям.

Если университет осуществляет и оплачивает преподавание только католической религии, если он не имеет никакого отношения к преподаванию религии протестантской, то право церковных советов и протестантских пасторов направлять и надзирать за образованием в коллежах еще более очевидно; и право это не может быть скрытым, неясным; оно должно быть официально закреплено в любом случае; оно — единственная гарантия, какую имеют родители-протестанты в отношении своих детей в общественных учебных заведениях. Таким образом, чем более мы будем замыкаться в упомянутой мною гипотезе, тем более мы будем неправы в отрицании этой гарантии; и чем больше будем упорствовать в отказе от этого права, тем более страхи, порожденные таким отказом, должны будут ощущать свою обоснованность.

Однако действительно ли преподавание протестантской религии, осуществляемое специальными священниками, которых назначает и оплачивает университет, является неслыханным явлением, противоречащим законам и фактам? Паскье именно это и утверждает; Корбьер поочередно то утверждает, то отрицает этот момент. А вот каковы факты и законы:

1. Постановление правительства от 19 вандемьера XII года гласит (ст. 50): «Если в городе, где существует общественная средняя школа, имеется одно или несколько сооружений, предназначенных для различных духовных ведомств, учащиеся, исповедующие данные культы, будут следовать им в соответствии с тем же порядком (что и для католического духовного ведомства). — (Ст. 51). Если подобных учреждений не существует, то в течение римского католического богослужения для некатоликов будет организовано обучение морали по Евангелию».

Г-н Пардессю цитировал это постановление, утверждая, что «данные положения правомочны для всех коллежей, где они могут быть применены». Я не считаю это утверждение точным; но наши противники наконец признали, что постановление от 19 вандемьера XII года еще имеет силу закона.

2. И действительно, ст. 58 декрета от 17 марта 1808 г., служащего основанием университета, имеет далеко не то значение, которое ему приписывают. Вот каков его текст: «Все школы императорского университета должны будут взять за основу своего образования: 1) предписания католической религии и т.д. и т.п.». Означает ли это, что католическая религия будет преподаваться во всех школах университета, всем учащимся независимо от их вероисповедания? Конечно же нет. Означает ли это также, что преподавание протестантской религии будет вестись вне университета, что ею нигде не будут заниматься? Опять же нет, поскольку тот же самый декрет учреждает в Страсбурге и Женеве (ст. 8) два факультета протестантской теологии, входящие в университет, который назначает и оплачивает профессоров этих факультетов. Таким образом, перед нами пример официально провозглашенной протестантской религии, включенной в общую

систему общественного образования в соответствии с ее предназначением.

Наконец, в королевском коллеже Страсбурга всегда имелся лютеранский священник, оплачиваемый университетом и уполномоченный заниматься религиозным воспитанием учащихся этого вероисповедания.

Ни юридически, ни фактически ст. 58 декрета от 17 марта 1808 г. не содержит, таким образом, следствия, против которого я выступаю. Правда, иной раз его хотели вывести, и протестанты без конца протестовали против подобного расширения нечеткого текста, опровергаемого другими положениями, которые, как нас убеждают, все еще имеют силу, а также и существованием крупных общественных учебных заведений. В 1819 г. при министре Деказе[36] эти протесты были приняты. Устанавливалось, что в королевских коллежах, в которых будет определенное число учащихся-протестантов, назначается протестантский священник и открывается протестантская молельня для того, чтобы эти учащиеся могли получить религиозное образование. Эти установления были приведены в действие в коллеже Людовика Великого в Париже и были бы осуществлены и в других коллежах, если бы нынешнее правительство не приостановило все меры, предпринятые в этом отношении. Оно несомненно было напугано — да простят мне это выражение — некоторой шумихой в партии. Аббат Элисагарей, совершивший поездку по югу Франции, буквально заявил протестантам, что он отвергает всякие меры подобного рода, что он будет противодействовать им всею своею властью; но чем же были эти меры? О чем так настойчиво просили выдвигаемые протестантами рекламации? О том, о чем г-н Корбьер публично заявил: «Повсеместно, где есть достаточное количество учащихся-протестантов, они имеют своего особого пастора соответствующей религии, оплачиваемого университетом... Это общее правило применительно к данному случаю».

И действительно, следовало бы принять правило, которое уже начали вводить в действие и исполнение которого администрация Корбьера приостановила. Разве не ясно, что правило это с необходимостью вытекает из принципов Хартии, из той части ее текста,

который обеспечивает всем культам равную защиту? Разве не ребячество ссылаться на ст. 58 декрета от 17 марта 1808 г., коль скоро в университетет существуют факультеты протестантской теологии, коль скоро они получают от своих руководителей и профессоров, и содержание, коль скоро протестантские священники обосновались г Страсбурге и в Париже, коль скоро признается, что постановление от 19 вандемьера года XII еще в силе, коль скоро, наконец, руководитель университета лично провозглашает с трибуны палаты, что все требуемое уже повсеместно делается? Разве не ясно, что это не так, ведь откуда бы в противном случае возникли протесты? На самом деле, если не знать затруднений беспринципной администрации и обманчивости партийного духа, то невозможно ничего понять в этом хаосе противоречивых утверждений, единственной целью которых является попытка избежать публичного признания и общего приведения в действие этого права, которое само по себе никто не осмеливается оспаривать и которое никто нигде не отменял.

Право это является очевидным. Оно ограничивается, с одной стороны, требованием подлинного его провозглашения, в чем отказал г-н Корбьер, провозглашением, определенным указом от 29 февраля 1816 г. относительно начального образования и опущенным в указе от 27 февраля 1821 г. об общественном образовании вообще; с другой стороны, — полным осуществлением того, что г-н Корбьер напрасно представил как уже сделанное.

Комментарии переводчика

[1] *Хартия,* изданная Людовиком XVIII в 1814 г., представляла собой октроированную (объявленную королем, но не учрежденную народом) конституцию, в которой провозглашались основные права граждан: свобода личности, печати, совести, представительное правление в лице двух палат, ответственность министров, несменяемость судей и т.д.

[2] *Боссюэ Жак-Бенинь* (1627—1704) — французский философ, идеолог абсолютизма, автор «Политики, основанной на Священном Писании» (1703). Политические и религиозные

взгляды Боссюэ основывались на вере в Провидение и утверждении разума.

[3] *Ришелье Арман Эммануэль,* герцог де (1766—1822) — бывший губернатор Одессы, глава кабинета министров при Людовике XVIII. Литератор Вильмен отмечал, что «герцог де Ришелье отличался естественным величием духа и умеренностью, был чужд заурядных страстей и признавал только справедливость и долг».

Виллель Жан Батист, граф де (1773—1854) — глава партии ультрароялистов при Реставрации, председатель Совета (1821—1828); автор широко известных в свое время «Мемуаров». По мнению историка А.Мале, «способный разбираться в текущих делах и мелких деталях, он был лишен понимания общих идей и не умел заглядывать далеко в будущее». (См.: История XIX века, в 8-ми томах. Т. 3. М.: ОГИЗ, 1938. С. 117).

[4] *Корбьер Жан Жозеф* — один из лидеров ультрароялистов в период Реставрации. По свидетельству А.Мале, «это был крестьянин по происхождению и по манерам, грубоватый, честный человек, упрямый и лояльный бретонец, прямой до резкости плебей... преданный ультрароялистским идеям». (См.: Там же).

[5] *Паскье Этьен Дени,* герцог (1767—1862) — председатель палаты пэров при Луи-Филиппе, один из лидеров ультрароялистов.

Симеон Жозеф Жером, граф (1749—1842) — французский законовед и государственный деятель, сторонник ультрароялистов.

Серр Эркюль, граф де (1776—1826) — государственный деятель периода Реставрации, сторонник ультрароялистов.

[6] *Ройе-Коллар Пьер Поль* (1763—1845) — французский мыслитель и политический деятель, легитимист либеральной ориентации, сторонник Хартии, известный оратор.

[7] *Конкордат 1802 г. и закон 18 жерминаля X года* — имеется в виду заключенное в 1801 г. соглашение с большей частью католического духовенства, не присягнувшего на верность Наполеону, отказавшегося принять его церковные реформы и поддерживающего тесные связи с папой Пием VII. По этому соглашению католицизм признавался «религией большинства французских граждан» (но не господствующей церковью), свобода богослужений и публичных обрядов ограничивалась лишь полицейскими распоряжениями. Епископы должны были сначала утверждаться главой государства, а затем — папой. Духовенство было переведено на жалованье и приравнено в этом отношении к чиновникам правительства; от папы оно могло принимать лишь распоряжения,

утвержденные государственной властью. Из-за задержек и проволочек разного рода закон был внесен в Законодательное собрание и утвержден лишь 18 жерминаля X года (8 апреля 1802 г).

[8] *Монлозье Франсуа Доминик*, граф де (1755—1838) — французский писатель и мыслитель, прославившийся своими сочинениями против иезуитов в газете «Драпо блан». В своей работе «Справочные записки», отметив влияние «поповской партии» на правительство, Монлозье требовал закона против вмешательства духовенства в действия светских властей.

Бональд Луи, граф де (1754—1840) — французский философ и политический деятель консервативной ориентации, идеолог ультрароялистов, яростный защитник монархии и религиозных принципов, выступал за принятие закона о святотатстве, налагавшего самые суровые наказания за осквернение священных мест (1816).

[9] В 1818—1822 гг. во Франции была предпринята целая серия организованных обществом карбонариев попыток заговоров среди гвардейских офицеров («Заговор на берегу» 1818 г., заговор среди учеников Сомюрской школы, бельфорское движение 1821—1822 г. и др.). Цель заговоров — низвержение династии и установление временного правительства.

[10] *Курвуазье* — французский государственный деятель, прокурор, министр юстиции после революции 1830 г.

[11] *Кларендон Эдвард Гайд*, граф де (1608—1674) — английский историк, лорд-канцлер при Карле II, сторонник реставрации монархии. Гизо здесь ссылается на его многотомную «Историю мятежа и гражданских войн в Англии» (1702—1704).

[12] *...должно было наступить 20 марта* — имеется в виду 20 марта 1821 г., когда была предпринята попытка восстания в Гренобле.

[13] *...уложения от 27 февраля* — ордонансом от 27 февраля 1821 г. Корбьер отдал коллежи под надзор епископов, «дабы обеспечить религиозное и моральное руководство юношеству, естественно склонному поддаваться соблазну теорий, возвышенных и благородных на вид».

[14] *Неаполь и Пьемонт* — Гизо имеет в виду революционные выступления в этих городах 10—13 марта 1821 г. в Пьемонте и 2—13 июля 1820 г. в Неаполе; общие требования выступлений — введение конституционного правления и объединение Италии.

[15] *турки, задушив сопротивление греков* — Гизо имеет в виду восстание в Греции в апреле 1821 г. под руководством Александра Ипсиланти с требованием национальной незави-

симости; в апреле восстание было подавлено турками с особой жестокостью (константинопольская резня).

[16] *кардинал де Флери Андре Эркюль* (1653—1743) — министр при Людовике XV; отличался честностью и неподкупностью, но его политика была направлена на подавление всякой политической самостоятельности внутри страны.

[17] *Ля Бурдонней Франсуа Режис,* граф де — французский политический деятель, один из лидеров ультрароялистской партии.

[18] *увидел в «Телемаке» лишь сатиру, а в Фенелоне — недовольного мечтателя...*

Фенелон Франсуа де Салиньяк де ля Мот (1651—1715) — французский писатель, автор романа «Приключения Телемака, сына Улисса» (1699), в котором изображен молодой государь, руководимый мудрым, гуманным советником.

[19] *Я пришел ради тех, кто болен, а не ради тех, кто здоров.* См.: Евангелие от Матф. 9, 12.

[20] *Тюрго Анн Робер Жак, барон д'Ольн* (1727—1781) — французский экономист и политический деятель, министр финансов при Людовике XVI; был сторонником физиократов, выступал за свободу торговли и промышленности. Именно ему принадлежат знаменитые слова *laissez faire, laissez passez* (не мешайте действовать, не вмешивайтесь!). «Бог, вложив в человека потребности, сделал для него необходимой работу, создал из права на труд собственность каждого человека; для всех других эта собственность — первая, самая священная и непреложная, — говорил Тюрго. — Мы считаем первым долгом справедливости и одним из действий нашего благорасположения — освободить наших подданных от всех покушений на это неотчуждаемое право человека». Тюрго много сделал для развития французской промышленности и торговли: отменил цехи, уничтожил таможни между отдельными областями страны, барщину крестьян по проведению и ремонту дорог, объявил свободу торговли; кроме того, он составил обширный план реформ всего государственного управления, которому, однако, не суждено было оказаться воплощенным в жизнь.

[21] *Местр Жозеф-Мари* де (1754—1821) — французский мыслитель консервативного и монархического толка, автор широко известной книги «Рассуждения о Франции» (1797), положившей начало консервативной традиции во Франции.

Ля Меннэ (Ламенне) Фелисите Робер де (1782—1854) — французский философ, теоретик католического либерализма.

[22] *Яков II* — король Англии (1685—1688), ревностный католик, издал Декларацию о веротерпимости, отменявшую стеснительные законы против католиков и нонконформистов

и направленные против господства англиканской церкви. Был низложен парламентом и бежал во Францию.

[23] *Генрих IV* — король Франции (1589—1610); был вождем гугенотов французского юга, однако, считая, что «Париж стоит мессы», перешел в католичество и тем самым обезоружил ревнителей веры, открывших перед ним ворота Парижа; в 1589 г. издал Нантский эдикт, признавший свободу вероисповедания для протестантов и возможность занятия ими государственных должностей.

[24] *Данаиды* — в греческой мифологии 50 дочерей царя Даная, убившие своих мужей, за что несут в Аиде вечное наказание, наполняя водой дырявый сосуд.

[25] *Якобиты и ганноверцы* — приверженцы враждующих династий на английском престоле — династии Стюартов и Ганноверского дома.

[26] *Шуазель де и Морепа де* — потомки знатных дворян, игравших видную роль при королевском дворе в XVIII веке.

[27] *с тех пор, как были закрыты все газеты* — в феврале 1820 г. после убийства герцога Беррийского были введены три исключительных закона, ограничивающие свободу личности, печати и вносящие некоторые изменения в избирательную систему. Закон о печати отсрочивал на пять лет действие либерального закона 1819 г., восстанавливал цензуру и предварительное разрешение для газет и периодических изданий, посвященных политическим вопросам.

[28] *Норт,* лорд — английский министр при Георге III.

Уилкс Джон (1727—1797) — английский публицист и политический деятель, депутат английского парламента. В 1763 г. опубликовал статью, содержащую резкую критику королевской речи при закрытии парламента, за что был выведен из членов парламента и приговорен к тюремному заключению. Дело Уилкса явилось толчком к народным волнениям с выражением протеста в адрес парламента.

Монлозье Франсуа Доминик, граф де (1755—1838) — французский писатель и мыслитель, прославившийся своими сочинениями против иезуитов в газете «Драпо блан». В своей работе «Справочные записки», отметив влияние «поповской партии» на правительство, Монлозье требовал закона против вмешательства духовенства в действия светских властей.

[29] *Фокс Джеймс Чарльз* (1749—1806) — лидер партии вигов и оппонент Питта.

Питт Уильям Младший (1759—1806), сын лорда Чэттема, — в 1783 г. встал во главе министерства, которое он возглавлял на протяжении 17 лет, сумев занять независимую от короля позицию, упрочив тем самым положение парламента.

[30] *Жордан Камиль* (1771—1821) — французский писатель-публицист и политический деятель, блестящий оратор; по своим взглядам и политической позиции близок Ройе-Коллару и др. доктринариям.

[31] *Монморанси Матье*, виконт де — французский политический деятель периода Реставрцаии, вместе с иезуитом Ронсеном возглавлял Конгрегацию (объединение ультрароялистов); был министром иностранных дел в правительстве роялистов.

[32] *Бертен де Во* (1771—1842) — журналист, возглавлявший вместе со своим старшим братом Луи-Франсуа Бертеном (1766—1841) газету «Журналь де деба».

[33] *Делаво* — префект полиции, член конгрегации.

Воблан Винсен Мари, граф де (1756—1845) — французский политический деятель и писатель.

[34] *... 20 марта* — см. прим. 12.

...роковое покушение 13 февраля 1820 г. — убийство герцога Беррийского, которым воспользовались крайние роялисты для отстранения от власти министерства Ришелье.

[35] См. «Le Moniteur» от 21 мая 1811 г., из которого извлечены все фрагменты цитируемых в этом Приложении речей.

[36] *Деказ Эли*, герцог (1780—1860) — французский политический деятель, министр при Людовике XVIII; возглавляемое Деказом правительство отмечено либерализмом.

Франсуа ГИЗО

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: О СУВЕРЕНИТЕТЕ

1. О политическом идолопоклонстве

Человек сотворил себе идолов; он нарек их богами и возлюбил их.

По мере того, как человек мужал, по мере того, как его разум открывался ко все более широким и чистым горизонтам, он осознавал бесплодность своих идолов и разбил их в прах. Но тотчас стал поклоняться иному. По мере своего развития, без конца перемещая свой образ Бога, человек всегда помещал его в какое-либо место, будучи в равной мере не способным ни обойтись без него, ни придерживаться своей первоначальной веры, равно как и не смея заключить Бога в некий земной образ и принудить себя взглянуть ему в лицо в его явленном облике и чертах.

Подобно тому, как человек творил себе богов, он создавал себе и господ. Он попытался найти место на земле не только для божества, но и для суверенитета. Он пожелал, чтобы им управляла власть, которая бы имела незыблемое и прочное право на его послушание. И в закреплении своего послушания — безграничного и необратимого — он преуспел не меньше, чем в закреплении своей веры. Этим изначальным и безграничным суверенитетом человек наделял то одного человека, то нескольких, здесь — одно семейство, там — касту, а кое-где — и целый народ. Но как только он присваивал им этот суверенитет, то сразу же ощущал потребность оспорить их право на суверенитет, лишить их его. Он хотел, чтобы им управлял абсолютно и навечно легитимный правитель. Но нигде и никогда он не мог повстречать такого. И тем не менее человек продолжал искать или верить, что наконец-то нашел его.

Такова история человеческих обществ. Мы удивляемся их бунту против давней и долгое время почитаемой власти. Но следовало бы удивляться их доверию по отношению к принимаемой ими новой власти. Они страшатся деспотов, но любой ценой стремятся к деспотизму. Часто меняющая свое место абсолютная власть всегда находила себе прибежище, трон. Я не хочу сказать, что люди ничего не выигрывали от ее перемещения; я только утверждаю, что под иным именем, в иной форме эта власть появлялась вновь и бывала принята людьми. В области верований один символ заменил другой. В области правления наши отцы видели, как на руинах права сильнейшего поднимается божественное право королей; сами же мы были свидетелями провозглашения суверенитета народа на руинах божественного права королей. Отвергая поверженного господина, люди не утратили надежды получить наконец правителя, который бы не смог лишиться власти и которого бы у них не было ни нужды, ни права свергать. Более того: при каждой перемене обстоятельств люди тешили себя надеждой на окончательный успех; они считали, что обрели подлинного властителя, истинный закон. Не было ни одной смены идей, которая бы не выдвинула понятие непогрешимости. Не было ни одной предпринятой во имя свободы революции, которая бы не поддержала прав какого-либо тирана. Идеи следовали своему развитию, свобода также познала свой прогресс, но важно не это; в момент своего наивысшего взлета род человеческий всегда оказывался вновь униженным перед каким-нибудь новым идолом. В своей гордыне люди заявляли, что это и есть подлинный Бог. В своей слабости они ощущали потребность найти отдохновение в этой вере.

2. О том, что в основе этого идолопоклонства лежит легитимный принцип

Итак, не имеем ли мы в данном случае дело лишь со слабостью и с гордостью? И в своем постоянном стремлении к власти, которая бы имела над человеком все права, выше которой ничего бы не существовало,

не преследует ли род человеческий лишь химеры? Не пребывает ли он во власти лишь абсурдного идолопоклонства?

Идол не есть Бог; и тем не менее в идоле ищут именно Бога; если бы Бога не существовало, никогда ни один из идолов не обрел бы почитания смертных.

Таким образом, человеческие сообщества имеют совершенно законного суверена. Они неодолимо верят в него, бесконечно стремятся к нему и его законам, останавливаются, обольщаясь, что уже обрели его, и вновь возобновляют свой ход, как только обнаруживается их заблуждение; наконец, они желают подчиняться ему и только ему, и это их желание неистощимо. Именно поэтому суверен и существует.

Этим сувереном, единственно легитимным по природе своей и навечно, является разум, истина, справедливость; или, выражаясь языком, более подобающим философии, это незыблемое Бытие, основными законами которого являются разум, истина, справедливость.

Если между двумя людьми устанавливается некое отношение, если между ними возникает вопрос, этот вопрос имеет свое подлинное разрешение, а это отношение — свое законное правило. Во всех вещах присутствует истина, которая все решает и имеет право управлять.

И не важно, просты или сложны эти отношения, а вопросы — редки или многочисленны; они всегда имеют свой истинный закон, свое справедливое и разумное разрешение. Идет ли речь о семье или о государстве, об обществе большом или маленьком, зарождающемся или пребывающем в зрелом возрасте, об интересе общественном или частном, — повсюду, где власть может найти себе приложение, существует законное правило, которому надлежит следовать. Правила эти представляют собой законы легитимного суверена, и именно на них направлены все помыслы, все труды рода человеческого.

Убедившись в существовании подлинного закона, человек ощущает в себе способность познать его. Если бы он не обладал такой способностью, если бы разум и истина были совершенно вне досягаемости человека, то он бы и не подозревал об их существовании,

подобно слепцу, который не подозревал бы о существовании света, если бы ему об этом не рассказали. И пусть познание истинного закона трудно и всегда неполно, пусть вероятность ошибки сопутствует всякому человеческому суждению, я настолько далек от того, чтобы оспаривать существование этого закона, что вознес бы ему хвалу, чтобы затем отрицать какой бы то ни было суверенитет на земле. Но условия существования человека таковы, что для него трудна наука об истине, равно как и практика добродетели, но тем не менее он выказывает способность к тому и другому. Нашей природе свойственна слабость, но никак не бессилие; если бы человек не мог постичь истину, он бы никогда не знал, что способен заблуждаться, и одна только идея ошибки свидетельствует, что человек призван познать истину.

Уверенность в том, что существует истинный закон и что ему одному принадлежит весь спектр законности, является, таким образом, первейшим и неотчуждаемым уделом человека. Вместе с верой в существование этого закона человек получил и способности в качестве средства продвижения к цели, которую они позволяют ему предчувствовать. Таким образом, в устремленности рода человеческого к совершенно законному суверену не все является иллюзией и идолопоклонством; точнее, здесь, как и повсюду, идолопоклонство коренится в инстинкте истинной веры.

3. Причины и границы политического идолопоклонства

Вот где начинается идолопоклонство и каким образом оно проникает в человеческое общество.

Ни жизни, ни сил человека недостаточно для удовлетворения его честолюбия. Подобно тому, как его око видит гораздо дальше, чем способна дотянуться его рука, так и мысль человека значительно превосходит все то, что он может свершить. В человеке все неравномерно и непропорционально. Он смутно различает чудесные вещи, которые никогда не предстанут перед его ясным и спокойным взором. Существуют

самые возвышенные предчувствия, объект которых ускользает от познания человека точно так же, как и от его обладания. Его дух утомлен безуспешными попытками установить предел открывающимся бесконечным пространствам, а убожество его существования контрастирует с размахом разума не более, чем недостаточность его разума — с обширностью поля, на которое этот разум направлен. Наконец, человек устремлен к вечности, он презирает все преходящее; но сам он еще более преходящ, нежели то, что порождает его презрение.

Это создание столь великое и столь слабое должно повиноваться. На всем протяжении его недолгой жизни власти самого разного рода окружают его со всех сторон и диктуют ему законы. Согбенный под бременем законов, человек знает, что существует подлинный закон, власть легитимная, высшая, но в то же время согласная с его природой. Человек знает это совершенно твердо и осознает, что по отношению только к одной этой власти покорность не несет в себе ничего унизительного и оскорбительного для подданного. Сумеет ли он смириться с мыслью, что истинный закон никогда полностью не подчиняется человеческому познанию, что власть эта, единственно всегда легитимная, никогда не сможет ни снизойти на землю, ни полностью быть воспроизведена в какой-либо чувственной форме, в какой-либо из человеческих властей? Как? Ведь человек наделен таким достоинством, что любая несправедливая или абсурдная власть для него оскорбительна, и ему не дано полностью отдаться власти этой истины, которая одна только и имеет право на подчинение ей и на ее уважение! Человек горд, но он должен признать, что не в состоянии достичь цели, которой требует наиболее простительная его гордыня! Он слаб; он нуждается в какой-либо прочной опоре, в надежном отдохновении; но он обречен постоянно пребывать в состоянии поиска, труда! Он никогда не встретит в своем окружении воли, которая бы в его глазах имела постоянную и несомненную власть над его собственной волей, силы, которая встретила бы его полное доверие так, чтобы он мог быть уверенным, что эта сила по крайней мере

стремится к подлинному закону и способна его познать!

Вся человеческая природа отвергает мысль, причиняющую такую боль. Но это еще не все; эту мысль отвергают не только естественные наклонности человека, но и все условия его земного существования. Среди этих условий есть одна потребность — постоянная, абсолютная, повсеместно присутствующая и непреодолимая. Это потребность в действительно существующей окончательной власти, которая, будь то в самой общей форме или в каком-то отдельном случае, выносит окончательное решение и требует послушания. Должны существовать законы, нуждающиеся в выполнении, суждения, выносящие окончательное решение. Повсеместно, как только речь заходит о делах человеческих, сами поиски истины должны иметь цель, сопротивление — предел, а воля — безусловного и непререкаемого властителя. Так того требуют условия существования человека, кратковременность его жизни и неотлагательность нужд.

Такова власть, которую в конце концов следует принять и чье воздействие следует испытать на себе. Как же можно решиться помыслить, что эта власть является окончательной и непререкаемой, но что ничто не может гарантировать ее легитимность? Легитимная власть всегда была целью человека, причем единственной целью всех человеческих усилий; но вот человек прошел до конца свое жизненное поприще, он достиг цели; может ли такое произойти, что цель оказывается недостигнутой, что следует опасаться подчинения ложной или извращенной воле, коль скоро человек надеялся на подчинение одной только истине, разуму?

Не правда ли, мы сталкиваемся здесь с состоянием, исполненным усталости и боли, при котором самые благородные потребности человека пребывают в борьбе со слабостью его природы, при котором самые справедливые из его прав постоянно подвергаются риску быть отвергнутыми во имя немощи его существования? Вынужденный переживать это существование, человек отказывается принимать его; чтобы избежать своей участи, он забыл о границах своего могу-

щества; он льстил себя надеждой, что способен открыть абсолютную истину, что может вложить в руки совершенно легитимного властителя ту решающую власть, необходимость которой довлеет над ним. Так он впадает в идолопоклонство; чтобы поклоняться одному Богу, он признает существование богов в своей земной жизни.

Тем не менее идолопоклонство никогда не могло полностью завладеть человеком. Мы видим, что человек, пребывая в состоянии борьбы с фактами, разрушившими то доверие, к которому подталкивали его естественные наклонности, не упуская этих фактов из виду, постоянно стремился забыть, что именно они породидили в нем надежду, и, не переставая верить, попытался низвести своего искусственно созданного Бога в ранг силы подозрительной и способной быть низвергнутой.

На самом деле абсоютная власть неведома миру. Ни один индивид, ни одно правительство не смогли совершить, да им и не было позволено совершить то, что они хотели. Поскольку необходимая природа вещей, власть истины были восприняты лишь после того, как они на уровне идеи наделили ту или иную силу суверенитетом права, люди были последовательны в своих заблуждениях. Они действовали так, будто бы власть, которую они именовали суверенной и божественной, вовсе не заслуживала этого имени, не должна была обладать правами и атрибутами, характерными для ее сущности. Люди установили пределы власти, противопоставили ей силу своего сопротивления. И это сопротивление, эти ограничения были не просто результатом соперничающих сил; их принципом был инстинкт права, чувство истины. В самых раболепных своих заблуждениях человек не мог полностью отказаться в пользу своих идолов от свободы искать вне их и защищать даже вопреки им подлинный закон, который, казалось бы, он ожидал только от их власти.

Будучи таким образом раздираем противоречивыми потребностями и сбит жизненными перипетиями с пути, на который направили его стремления его природы, человек благодаря необдуманности своих действий ускользал то от истины, то от заблуждения. Факты

разоблачили его верования, но верования продолжали жить вопреки фактам. Деспотизм всегда где-то принимался в качестве принципа, в качестве же факта реальности он повсеместно был неполон и подвергался осуждению. Власти, именуемые и полагаемые суверенными, не обладали суверенитетом; но тем не менее народы никогда не покидало стремление привлечь к себе, созерцать в этом подлунном мире в ее видимом образе единственную власть, имеющую право на суверенитет, т.е. власть непогрешимую, иными словами, Бога.

4. О том, что не существует суверенитета на земле

Когда люди вознамерились обосновать суверенитет королей, они сказали, что короли суть образ Бога на земле. Когда они захотели обосновать суверенитет народа, было объявлено, что глас народа есть глас Божий. Таким образом, Бог единственно суверенен.

Бог суверенен, ибо он непогрешим, поскольку его воля, как и его мысль, есть истина, ничто, кроме истины, вся полнота истины.

Такова альтернатива, перед которой оказались земные властители, независимо от их имени и формы. Они должны либо признать себя непогрешимыми, либо отказаться от претензий на суверенитет.

В противном случае они должны признать, что суверенитет, я имею в виду суверенитет права, может принадлежать заблуждению, злу, воле, которая не знает или отвергает справедливость, истину, разум. Но на это еще никто не осмелился.

Каким же образом властители осмелились претендовать на суверенитет?

Они осмелились на это под прикрытием смешения дел человеческих и тех потребностей, тех тенденций, о которых я только что говорил.

Если бы власть, единственно имеющая право на суверенитет, т.е. власть абсолютно разумная и справедливая, была где-либо выделена, различима, отлична от властей человеческих; если бы люди могли созерцать ее во всей полноте и чистоте ее природы, то ни-

какое правление, никакая сила не осмелились бы узурпировать ее имя и ее ранг. Ясное и неопровержимое сравнение беспрестанно подчеркивало бы в глазах народов изначальное несовершенство человеческих властей, оно бы не позволило и самим властям забыть о собственном несовершенстве. По общему согласию мир бы тогда признал реальных властителей, более или менее легитимных в зависимости от того, насколько верно воспроизводили бы они этого суверена по праву, единственно обладающего изначальной и незыблемой легитимностью.

Иных суверенов на земле не существует. Поскольку человек по природе своей несовершенен и подвержен заблуждению, то никакая непогрешимая и совершенная власть, стало быть, никакая власть, наделенная суверенитетом по праву, не может ни оказаться в руках человека, ни происходить из недр человеческого общества.

И тем не менее именно этот факт не захотели признавать ни народы, ни их правители. Народы — и я уже говорил, в силу каких причин, — ненавидя и отвергая абсолютную власть, ощущали потребность считать себя под защитой абсолютно легитимной власти. Правители же, наделенные фактическим суверенитетом, стремились к суверенитету по праву, к беспредельной и ни от кого не зависящей легитимности.

Я не сокрушаюсь безмерно по поводу этих фактов — они свидетельствуют о правах и моральном благородстве нашей природы. Ни один народ не признал власть только из-за ее силы; он хотел верить в ее легитимность, в ее божественность. Ни одна власть не довольствовалась одной только силой; она нуждалась в том, чтобы ее признавали легитимной и божественной. Что же еще требуется для того, чтобы доказать, что суверенитет принадлежит одной только истине, справедливости, одному только Богу, что люди имеют право подчиняться только закону, идущему от Бога?

Но если заблуждение естественно, если оно даже свидетельствует о нашем величии, оно является от этого не менее пагубным. Благодаря своему совершен-

но и извечно неискоренимому характеру, которым оно облекает и власть в этом мире, заблуждение позволяет существовать достоинству человека и его правам в качестве принципа; но на деле оно их разрушает, поскольку лишает их всяких гарантий.

Если суверенитет по праву может принадлежать только непогрешимости, то он именно ей и принадлежит; человек имеет право подчиняться только истине, разуму, но зато он обязан им подчиняться беспрекословно.

Изредка случалось (тем не менее это имело место), что человеческая власть, отчетливо и положительно провозгласившая себя непогрешимой, на этом основании претендовала на суверенитет по праву. В области политической такие претензии — более глубокие и более откровенные, а также, быть может, и более сильные — являются особенно малоприемлемыми. Как правило, правители изменяли порядок идей. Они не настаивали на собственной непогрешимости, но приписывали себе независимую легитимность в действиях, неотделимую от собственного имени, от собственного происхождения, т.е. легитимность абсолютную и неотчуждаемую. Такая легитимность подразумевает суверенитет по праву, а суверенитет по праву предполагает непогрешимость, которая одна только и может выпасть на долю такой легитимности.

Мы видели примеры подобных правлений, которые, завладев однажды суверенитетом по праву, запрещают людям любое исследование, любой контроль за собственным поведением и утверждают, что эта окончательная, незаменимая для человеческих обществ власть состоит исключительно в их воле, причем никто не имеет права оспаривать ее заслуги либо обсуждать мотивы ее действий.

Чем же иным являются подобные претензии, как не претензиями на непогрешимость?

Философы поступали подобно правителям. Стоило им только поместить куда-либо суверенитет по праву, как, влекомые неодолимым стремлением, они наделяли его непогрешимостью, единственно способной его легитимизировать. «Суверен, — говорит Руссо, — уже в силу того, что он существует, является всегда тем,

чем он должен быть»*. Какая удивительная робость человеческой мысли даже во времена великой отваги! Руссо не осмелился нанести последний удар гордости человека и сказать, что, поскольку ни одна власть в этом мире не является и не может быть тем, чем она должна быть, никто не имеет права называть себя сувереном.

Итак, либо из утверждения непогрешимости выводили суверенитет, либо, полагая первоначально суверенитет в виде принципа, из него, в свою очередь, заключали о непогрешимости, и таким образом и тот и другой путь подводил к признанию, санкционированию абсолютной власти. Результат всегда был предрешен, будь то правители угнетают или философы рассуждают, будь сувереном народ или король.

Последствия этого отвратительны и неприемлемы как с фактической, так и с правовой стороны; никакая абсолютная власть не может быть легитимной. Значит, принцип лжет. Значит, на земле вовсе не существует ни суверенитета, ни суверена.

5. Об отношениях суверенитета и правления

Существуют только формы правления; суверенитет же, по самой своей сути отличный от правления, не может принадлежать ему.

Правление и суверенитет то смешивали, то разделяли; но как в одной, так и в другой системе забывали о природе суверенитета, ибо, забирая его у правления, им наделяли власти, силы, которые не имеют на то никакого права.

Вот каким образом обстояли дела касательно отношений суверенитета с правлением.

Первоначально люди не думали различать их. На заре общества право сильного (я пользуюсь в данном случае противоречивым выражением, которое, однако, невозможно удалить из человеческого языка, поскольку оно введено туда несовершенством и двойственным

* Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. М., 1998. Кн. I. Гл. VII. С. 211.

характером нашей природы), итак, право сильного царило почти единолично. Тот, кто был слаб, тот был, так сказать, вне общества. Что же касается сильных, то правление, само только еще зарождающееся и слабое, мало стесняло их в проявлениях индивидуальной свободы. Люди, в большей степени сближенные, нежели единые, жили в большой независимости друг по отношению к другу, каждый был сувереном самого себя и свободным в своих волеизъявлениях в зависимости от силы, которую он был способен употребить для поддержания этих волеизъявлений.

По правде говоря, в те времена суверенитет нигде не был сосредоточен; никакая общественная власть не была им облечена; каждый индивид обладал им в одиночку в своей собственной сфере существования.

Но все это не шло на пользу разуму, справедливости, подлинному закону. Изоляция и независимость индивидов порождали суверенитет сильных, которые произвольно распространяли свое так называемое право столь далеко, сколь далеко могла простираться их сила. Однако именно отсутствие всякого общего и сконцентрированного в одних руках суверенитета подтолкнуло Руссо, а вслед за ним и многих других к рассмотрению первоначального этапа развития общества в качестве образца свободы и счастья. Инстинктивное предчувствие истины, состоящей в том, что никто в этом мире не имеет права претендовать на суверенитет, заворожило их; они нашли на земле некий образ этой идеи; и в своей законной, но слепой ненависти против всех видов узурпации суверенитета, которые давали им наиболее развитые общества, они оплакивали первоначальную независимость человека, забывая при этом, что, если не существовало суверена, который бы управлял всеми, то таким сувереном был любой, причем он был сувереном не только по отношению к самому себе, но и против всех остальных, со всей неизбывностью грубой силы и всеми капризами ничем не сдерживаемой воли.

Несчастия, приносимые подобным положением дел, с такой легкостью забываемые сегодня некоторыми философами, были, без сомнения, совершенно непереносимыми, поскольку люди делали все, дабы из-

бежать их. Пребывая повсеместно под властью суверенитета силы, они призвали более законного властителя. Они надеялись обрести его в правлении, и до известной степени они его обрели. Совершенствование безопасности, благополучия, справедливости длительное время соотносилось с совершенствованием центральной власти. Суверенитет, который, концентрируясь, набирал силу, представлялся одновременно менее абсурдным и менее тягостным. В конце концов он стал смешиваться с правлением, а иногда и с личностью главы государства.

Это развитие общества, более явное в современной Европе, поскольку здесь оно протекало в более крупном масштабе и более медленно, везде одинаково. Мы можем обнаружить его и в скоротечной истории Греции и древней Италии, равно как и в истории наших предков.

И тогда выявилось то, что вскоре должно было вызвать справедливый гнев народов и философов. Суверен и правление слились воедино. Правление провозгласило и возомнило себя наделенным тем изначальным и неотчуждаемым суверенитетом, который никто не имел права контролировать. Да и сами народы тоже так думали.

Когда же они перестали мыслить таким образом, когда благодаря прогрессу в обществе и в умах они признали, что, наделяя фактический суверенитет суверенитетом по праву, они впали в великое идолопоклонство, поспешили лишить правление суверенитета. Тогда они стали различать — и у них были на то все основания — суверена и правление; прекрасным образом было доказано, что правление вовсе не было и не должно было быть суверенным. И тогда же на основе отношений между суверенитетом и правлением возникли вопросы и затруднения, до сих пор не ведомые, с которыми бы мы и не столкнулись, если бы люди, забрав суверенитет у своих бывших хозяев, не перенесли его в иное место.

И действительно, когда суверенитету было определено принадлежать правлению, в системе все было логично и просто. Если суверенитет существует на земле, если некая сила естественным и законным образом им

облечена, то, безусловно, эта сила и должна управлять. Люди ссылаются именно на господство подлинного закона, правление законного властителя; они до сих пор ищут, кому передать правление. Когда же общественное верование наделяло власть полной и бессмертной легитимностью, между суверенитетом и правлением не существовало никаких различий, которые следовало бы установить, никаких отношений, которые нужно было урегулировать. Их единство освобождало от всякой необходимости их сочетать.

Но когда законность их разделения была признана необходимой, когда суверенитет, отобранный у правления, был перенесен на народ, трудности возросли безмерно. Будет ли править новый суверен? Ведь это его право; никакое правление не будет легитимным, если не будет им обладать. Но народ не сможет управлять; более того, он должен повиноваться. Но кому? Правлению, по отношению к которому он выступает и всегда будет выступать в качестве суверена. Итак, мы имеем суверена, который всегда повинуется, за исключением тех случаев, когда он льстит себя надеждой, будто бы способен создавать или разрушать власть, дающую ему законы. Вот вам правление, которое правит своим хозяином, хозяином совершенно законным, наделенным правом решать относительно жизни и смерти своего слуги, коему хозяин и должен повиноваться.

Откуда проистекает это неустранимое затруднение? Из попыток разместить где-либо вне правления суверенитет, отобрать который у правления были все основания. На заре общества каждый индивид обладал суверенитетом в одиночку и обращал его в свою пользу; то было право сильного. Правление присвоило этот суверенитет себе; то была тирания. И если бы, лишив правление суверенитета, люди не стали бы со всем упорством искать для суверенитета обладателя в этом мире, если бы ему позволили вернуться туда, где он располагается и откуда никто не может заставить его снизойти, мы не были бы обречены на абсурд, на невозможное. Мы бы признали подлинную природу правления и принцип в качестве ограничения его прав.

6. О принципе правления

Ребенок рождается, родители кормят его и ухаживают за ним. Он же совершенно лишен воли и разумения; он повинуется лишь в той мере, в какой не сопротивляется. Это живое существо, в котором, кажется, присутствует одна лишь материальная жизнь и которым распоряжаются так, что оно имеет лишь весьма смутное представление о том, кто это делает и почему.

Существует ли общество в отношениях между этим ребенком и его родителями? Конечно же нет, по крайней мере для ребенка. Общество существует для его родителей, которые уже связаны с ребенком моральной связью и имеют по отношению к нему определенные обязанности. Для ребенка же общество начнется только тогда, когда, войдя в разумную жизнь, он безотчетно начнет осознавать отношение, связывающее его с родителями, и будет способен спонтанно подчиняться естественным законам этого отношения, законам, которые он инстинктивно ощущает и которые определяют его волю задолго до того, как рефлексия даст ему понимание этого отношения.

Кто создал эти законы? Наверняка отношения между родителями и ребенком не являются результатом соглашения. Вытекают ли они из одной только воли родителей? В этой ли воле имеют они свои истоки и в ней ли черпают они свою легитимность? Тоже нет. Даже если дети уже проявляют признаки разумности и воли или даже если они еще не стряхнули с себя инертность материальной жизни, власть отца в семье не является ни произвольной, ни легитимной на одном только том основании, что того желает отец. Отец имеет обязанности, которые суть принцип и правило его власти; ребенок имеет права, которые предстают как объект и как границы власти отца. Отцовская власть, как и все прочие виды власти, обязана осуществляться в соответствии с законами, которые создал не сам отец, которые он может и не знать, даже нарушать их, но которые тем не менее продолжают существовать и не являются менее независимыми от него и менее обязательными для его воли.

Я взял первое и самое простое из социальных отношений, а также наиболее благоприятное по отношению к правам власти. И вот какие факты я открыл.

Прежде всего это различие между правлением и суверенитетом. Правление принадлежит родителям; суверенитет — тому закону, который родители не изобретают и не изменяют по собственному усмотрению, который они не знают или порой нарушают, ибо они люди, но который они способны познать и обязаны соблюдать.

Более того, правление здесь предшествует обществу, но в силу той причины, что общество уже существует для родителей, которые управляют, но не существует для ребенка, который даже не способен подчиняться. Провидение, устроившее все это, не побоялось в данном случае наделить фактически безграничную или почти безграничную власть молчаливыми и беспомощными законами. Оно вложило в сердце человека чувства и инстинкты, которых обычно бывает достаточно для того, чтобы гарантировать исполнение этих законов вплоть до того дня, когда благодаря развитию разума и силы ребенок станет способным к обладанию свободой. Я еще вернусь к этому вопросу позднее.

Наконец, собственно общество между родителями и ребенком начинается в тот момент, когда разум и воля ребенка вступают в связь с разумом и волей родителей; это может быть момент первого обмена взглядами, первой улыбки. До тех пор, пока такая связь не установлена, пока воздействие одного существа на другое остается чисто материальным, общества не существует. Оно существует только благодаря взаимному осознанию отношений, лежащих в его основе. Обретая это осознание, ребенок приобретает и убеждение, первоначально инстинктивное и неотчетливое, но затем более развитое и ясное, — что в этих отношениях он подчиняется законам, которые вовсе не произвольно предписаны ему силой или чистым человеческим капризом; только тогда оказываются осуществленными основные условия существования общества.

Теперь я перейду к отношениям другого рода, в которых также искали происхождение общества и принцип правления.

Встречаются два человека. Один из них, более сильный, завладевает другим и принуждает его служить инструментом своей воли для удовлетворения собственных интересов. Существует ли здесь общество и правление? Нет, не более, чем в том случае, когда дикарь ловит и убивает животное, чтобы прокормиться.

Общество и правление могут возникнуть как следствие господства силы; но до тех пор, пока преобладает одна только сила, в отношениях, которые она одна образует и поддерживает, нет ни правления, ни общества.

Это не принцип, который я провозглашаю; это факт, который я признаю. Возьмите любое отношение, на любом уровне развития цивилизации, по вашему выбору; притом таким образом, чтобы в основе его лежала только материальная сила, не входящая ни в какой союз с разумом, в формулировке той же самой идеи и с волей в том же самом намерении; никто не осмелится признать, что в данном случае мы имеем хотя бы тень общества, никто не осмелится назвать правлением исключительное господство чистой силы.

Между этими двумя людьми, которых сблизила одна только сила, возникает третий, изменяющий их отношения, вводящий в них некий принцип справедливости и взаимности; взывая попеременно то к благоразумию, то к моральному инстинкту, он борется и побеждает произвол силы, заменяя его господством другого высшего начала, другого закона.

Именно этот человек кладет начало обществу и правлению. Именно так действовали мудрецы, которых античность почитала как основателей городов и государств.

Более древняя и непогрешимая необходимость — сила внешних условий и потребности нашей природы — поступали таким образом с самого начала и повсеместно. Повсеместно, хотя и в очень неполной форме, проявлялся и был принят подлинный властитель людей — разум, справедливость. Его закон, при-

нятый и признанный, дал начало обществу и правлению.

Вы можете как хотите умножать и усложнять человеческие отношения — они все равно будут заключать в себя те же факты, а в фактах будут проявляться те же принципы.

Таким образом, обратимся ли мы к семье или будем исследовать, что происходит при сближении людей, не связанных между собой первейшими и естественными отношениями, мы одинаково придем к следующим результатам.

Общество и правление возникают одновременно и сосуществуют в силу необходимости. Разделить их невозможно даже в мысли. Идея как факт общества подразумевает идею как факт правления. Общество начинается в тот самый момент, когда люди начинают ощущать себя объединенными иной связью, нежели силой, т.е. в тот момент, когда они признают присутствие единственной власти, которой только и может быть дано имя правления.

Сила могла сблизить людей. Но это сближение еще не было обществом; сила не была правлением. Общество и правление почерпнули в силе только условие для своего возникновения. Таким образом, сила, предшествующая и даже предопределяющая происхождение правления, не является тем не менее принципом правления.

Принцип этот сосредоточен в потребности и в способности людей открывать и принимать — пусть даже не полностью — подлинный закон, закон разума, призванный урегулировать их отношения. В моральных обстоятельствах — источник и право правления. Только на этой основе оно устанавливается, и с его установлением начинается общество.

Итак, правление возникло и было признано только как законный суверен, заменяющий разумом силу, подлинным законом — беззаконную волю индивида.

Оно не является, таким образом, ни продуктом силы, ни плодом соглашения. Силе не повинуются, ее воздействие претерпевают. Относительно разума не принимают соглашения — разум признают. Договор,

связывающий людей с законами справедливости и истины, не является продуктом их творчества, равно как и сами эти законы. Это божественный договор, в который рукой Всевышнего вписаны правила всех человеческих взаимоотношений, он устанавливает взаимные обязательства между правлением и обществом именно в силу того, что является высшим по отношению к ним обоим, потому, что даже если несовершенство человеческой природы и обрекает людей на частичное познание и наблюдение законов, не в их власти ни разорвать этот договор, ни безнаказанно забыть о его существовании на долгое время.

Общество представляет собой результат наблюдения за этим договором. Правление же есть средство осуществления этого договора.

7. О классификации правлений

Любая классификация форм правления, не различающая их в зависимости от этих принципов, произвольна и обманчива.

Черты отличия искали то в формах правления, то в некоторых из его проявлений.

Таким образом получали монархию, аристократию, демократию; все эти названия не столько вскрывают принцип, сколько отражают факты, они заимствованы из внешней формы правления и не затрагивают его внутренней природы и его законов.

Так, еще Монтескье, пытаясь найти принцип правления, не связанный с его формой, полагал, что обнаружил его в разнообразии чувств, которые выражает и преимущественно развивает каждая из этих форм; он называл в качестве принципа деспотического правления страх, монархического — честь, аристократического — умеренность, демократического — добродетель.

Весьма тонкое различение, которое могло бы удовлетворить разум гениального человека, но которое не было основано ни на философском принципе, ни на политической природе различных правлений.

Один современный философ, оспаривая классификацию Монтескье, заменил ее другой. Он разделяет правления на «*национальные*, т.е. основанные на утвержде-

нии, что все права и вся власть всегда принадлежат нации; и *специальные*, т.е. такие, в которых легитимными признаются различные источники частных прав, выступающих против общего национального права»*.

Это различие, хотя и в некотором смысле более близкое к истине, также представляется мне неприемлемым, поскольку оно основано на ложном принципе — на принципе всех тираний.

Повторяю: следует отрицать существование какого бы то ни было суверенитета на земле; либо, если таковой и существует, следует отдать ему должные почести, отказаться от какого бы то ни было сопротивления и покориться.

Как бы ни была строга эта альтернатива, сомневаться в ней нельзя, и именно в ней следует искать принцип классификации правлений.

Всякое правление, наделяющее некую силу суверенитетом, который, в своем стремлении к этой силе заранее и абсолютным образом признает за ней разум и справедливость вместо того, чтобы видеть в ней просто факт, способный быть легитимным в зависимости от того, соответствует ли он справедливости и истине, всякое подобное правление, утверждаю я, в принципе своем деспотично; если же оно не является основанием для деспотизма и не принимает его, то это оттого, что оно непоследовательно.

Я уже показал, что подобное правление, по счастию, не могло быть и никогда не было деспотичным. Провидение, пожелавшее, чтобы люди заблуждались, сжалилось над судьбой, к которой могло бы подтолкнуть их заблуждение; оно вложило в условия их существования, как и в их природу, столь мощную потребность в истине, что наиболее извращенным из их мнений не хватило силы окончательно сбить с истинного пути условия их существования и их судьбу.

Таким образом, ни один народ на деле не воспринял суверенитет, в который так верил. Ни одно правление не простерло своей власти так далеко, как его к

* Destut de Tracy. Commentaire sur Montesquieu. Ch. III.

тому подталкивало так называемое право. Повсеместно законное сопротивление закреплялось в какой-либо форме, в какой-либо области; и когда правление собиралось повести себя чересчур последовательно в соответствии с доктриной, которая была ему столь дорога, рано или поздно фактическое сопротивление разоблачало его заблуждения, равно как и заблуждения народов, призвавших суверена.

И тем не менее деспотизм, пусть даже в неполной своей форме, опустошил землю; верования же, принимавшие его под именем суверенитета, были в этом деле не самой меньшей из его опор.

Как только некая сила начинала рассматриваться в качестве легитимной исходя из одной только ее природы, как только в общественном мнении она становилась изначальной и постоянной обладательницей права, она прибегала к злоупотреблениям, и приступала к этому задолго до того, как общество очнется от своих заблуждений, поскольку в человеке нет ничего более упорного, чем вера.

Этим объясняется столь длительное господство угнетающих правлений. Они порабощали народы и имели столь длительное существование не только потому, что обладали силой. Если бы в понимании народов они воспринимались как незаконные, их силы вскоре оказалось бы недостаточно. Но люди верили в суверенитет, в полноту прав. Они и до сих пор еще в это верят; когда же вера их иссякала, они долгое время жили воспоминаниями о ней.

Таким образом, принцип, предполагающий существование суверенитета по праву в какой-либо из человеческих властей, не является таким уж бездейственным и бесплодным. Вопреки существованию границ, на которые наталкивается его влияние, он несет в себе угрозу судьбам народов в неменьшей степени, нежели грешит против истины. Именно в этом и состоит основной и действительно отличительный признак правлений. С одной стороны, мы имеем правления, которые верят в существование суверена на земле и на основе этой веры обустраивают свое организующее начало с тем, чтобы затем предпринимать мучи-

тельные, но недостаточные усилия, дабы избежать последствий действия этого принципа. С другой стороны — правления, отказывающие всякому фактическому суверенитету в суверенитете по праву; они основаны на этом утверждении и пребывают в постоянном поиске законной власти, подлинного закона, существование которого они признают, но никогда не льстят себе полным и вечным его обладанием. Только такие правления соответствуют интересам свободы, равно как и законам разума.

8. О правлениях, допускающих существование суверена на земле

Вплоть до новейших времен, несмотря на бесконечное разнообразие форм и значений, почти все правления предполагали существование суверена на земле и были основаны на этой вере. Различное строение власти, общественные верования, доктрины философов — все доказывает, что эта ложная и губительная вера постоянно владела миром: настолько велика сила наклонностей, подталкивающих человека к идолопоклонству в надежде обрести подлинного Бога!

Но если благородная и пленительная надежда вводила в заблуждение людей, то это не всегда происходило одинаково. Люди искали и полагали, что обрели законного суверена, в самых несхожих комбинациях, исходя из самых противоречивых принципов, получая самые разнообразные результаты.

Они испрашивали суверена то у единой воли, то у собрания всех волеизъявлений; здесь они искали его в постоянстве власти, в ином месте — в постоянном изменении последней; они искали его, переходя от системы к системе, от средства к средству, но влекомые всегда обмачивой надеждой; тем не менее их усилия не всегда приводили к плачевным результатам, не всегда были бесплодны.

Когда люди стараются осмыслить все попытки и классифицировать порожденные ими многочисленные правления, то признают, что большинство из них ока-

зывается связанным с одной из двух великих идей, каждая из которых содержит частицу истины; господство той или иной идеи в человеческом обществе зависит от места, времени, развития социальных связей и состояния умов.

В известные эпохи мысль рода человеческого обращалась преимущественно к природе и атрибутам совершенно легитимного суверена, к которому она устремлялась. Основываясь на смутном, но достаточно прочном чувстве, эта мысль признала, что суверену присущи единство и постоянство, поскольку это суть свойства истины, проистекающей из него. Существует только один подлинный закон, один истинный Бог, и истинный Бог неизменен, как и бесконечен, ибо *он есть то, что он есть.* Власть его безгранична и действительно суверенна, поскольку сущностью его является справедливость. Разум человека, созерцающего Бога, почтительно склоняется перед ним и не помышляет более о сопротивлении.

Когда люди, либо находясь под властью религиозных идей, либо по каким-то иным причинам, оказывались под воздействием этого чувства, когда их занимали большей частью природа и атрибуты божественной сути, они возносили хвалу монархии. Именно у нее испрашивали они законного суверена, коим был исполнен их разум. Из всех форм правления именно монархия наилучшим образом сочеталась с господствующим складом их мышления. Власть в ней также была едина, постоянна, возвышенна, ее легко можно было окружить верованиями и привилегиями, которые делали ее сходной с образом божественной власти. Подобно власти божественной, власть монарха была до известной степени безграничной, не становясь от этого непереносимой; при этом многократное повторение ее действий и близость ее к власти божественной не разоблачали ежеминутно ее так называемый божественный характер.

В иные времена и под воздействием иных причин род человеческий обращался к совершенно другому направлению. Взор человека обращался на землю. Он встречал там идолопоклонство; он видел, что имя, ат-

рибуты, власть божественная узурпированы невежественными и порочными силами. Тогда человек оказывался более озабоченным идолами, нежели самим Богом, он старался не столько возлюбить Бога, сколько отомстить ему. Единство высшего Бытия, незыблемость и безграничность его власти не входили в круг его привычного созерцания. В обществе еще господствовала потребность найти прибежище под законом Бога, но потребность эта проявлялась главным образом в виде враждебности и негодования, направленных против его так называемых представителей. Заблуждения и пороки реальных властей, порожденные последними враждебность и нищета поглотили мысль человека; он решил разбить сковывающее его иго. И, озлобленный в большей степени против ложных суверенов, нежели против идеи единого и бесконечного суверена, чей образ те посрамляли в его глазах, человек обратился к одному только человеку, точнее, к множеству людей — к демократии с тем, чтобы обрести наконец абсолютно легитимного правителя, к которому он не переставал взывать и которого он не переставал искать как раз тогда, когда, казалось бы, он был ближе всего к тому, чтобы отвернуться от него и забыть о нем.

Все формы монархического правления, с одной стороны, и демократического правления — с другой, были следствием двух рассмотренных ситуаций в существовании рода человеческого; обе эти ситуации были естественны и значительны, хотя и столь отличались друг от друга по своим принципам и результатам.

Между двумя системами идей и фактов, имевших свой источник в самых потаенных глубинах человеческой природы и способных на некоторое время почти полностью завладеть разумом человека, встречается еще и третья система, достаточно обычная и значительная для мировой истории, но, в отличие от двух предыдущих, не вытекающая из общих тенденций человеческого духа. Таким образом, эта система не могла ни быть возведенной в доктрину философами, ни стать объектом народных верований. Я хочу пого-

ворить о правлениях аристократических, т.е. о таких, где суверенитет по праву рождения принадлежит некоторому числу семей или людей из всего народа и страны. Таковы были Венеция, Берн, а также феодализм в целом на протяжении некоторого времени. Все эти правления являются детищем силы, и если время не изменяет их существенным образом, их способна поддерживать только сила, подобно тому, как в античности она поддерживала рабство. Причины монархии, демократии лежат в моральных потребностях и инстинктах человека; они представляют собой в той же мере системы, в какой и факты: не одна только сила установила их и служит основанием их долговременного существования. Аристократическое правление в самом строгом смысле этого слова и при условии, что оно остается последовательным в проведении своего принципа, есть лишь факт, обязанный своим происхождением завоеванию, а своей продолжительностью — угнетению. Оно по собственной воле и бесповоротно концентрирует суверенитет в своих руках, не сводя его к единству, выступающему природой суверенитета. Оно узурпирует полноту и незыблемость божественной власти, не воспроизводя даже ее образа. Оно лишает огромное число людей прав, коими на глазах у тех награждает других людей, ничем этих прав не заслуживших. Оно не отвечает ни одному из принципов, ни одной из общих наклонностей человеческого разума, ему нечего сказать, дабы легитимизировать себя, за исключением того, что оно существует и что оно наделено силой.

Существует немного примеров того, как аристократическое правление оставалось сильным, упрямо придерживаясь своего изначального принципа и не открываясь принципу демократии. Ведь если оно переменится, если перестанет наделять суверенитетом исключительно по праву рождения, оно совершенно изменит свою природу и может привести к весьма разумной системе, ибо сближается в этом случае с правлениями, не допускающими на земле существования никакого суверенитета по праву. Я разъясню это позднее.

Все системы объединяет претензия найти в этом мире, в какой-либо из земных сил суверенитет по праву, это факт, не требующий доказательств; сами системы в этом открыто признаются. Если я не ошибаюсь, дерзость и тщеславие этих претензий для всех очевидны. Но их следует рассмотреть повнимательнее, изучить их со всеми оговорками, во всех формах. Именно выявляя то, в чем каждая система выказывает уважение или отвергает подлинную природу суверенитета, можно разоблачить все тирании и сформулировать условия, представляющие собой принципы рациональной легитимности правления.

9. О монархии

Я говорил о моральных истоках монархии. Она берет свое начало в той вере в единство как незыблемость суверена по праву, что является основанием человеческого духа и направляет человека даже тогда, когда он, избрав демократическую систему, свергает всякий видимый образ единства на земле и отрицает всякого единого обладателя суверенитета.

В этом случае человек еще ищет единства в существовании коллективного суверена, которого, по странной игре слов, он называет единым и неделимым, хотя тот и является коллективным.

Но эта последняя гипотеза представляется сугубо научной и трудной. Философы еще могли находить в ней удовольствие, но на воображение людей она не оказывает никакого влияния. Коллективный суверен не обладает ни формой, ни местоположением, ни величием. Он не является даже тем видимым и наделенным душою народом, что трудится, работает, ходит по полям и улицам. Это народ, но только народ в идее, народ абстрактный, которого не слышно и не видно, который только в теории обладает бытием и волей.

Монархическая система в основе своей более искусна. Переместив суверенитет в земной мир, она персонифицирует его, наделяет его телом, местоположением, именем, блеском, т.е. всем тем, что может принудить людей поверить в него. Она действует по-

добно религиям, которые для того, чтобы запечатлеть идею Бога в умах народов, представляют ее в материальном обличье, помещают в храмы статуи и образы, наделяя их властью Бога.

Могущество этой системы также велико. На первый взгляд, ничто не кажется более искусственным, более противоречащим простым стремлениям разума; и тем не менее ничто не является более всеобщим, не имеет более длительного существования.

Не говоря уже об обширных и имеющих долгую историю монархиях Европы, разве можно забыть об Азии, где человечество также имело свою цивилизацию, свою славу, где монархия и даже деспотизм с незапамятных времен обрели свое отечество? Можно ли поверить, что одна только сила породила все это?

Все монархии обязаны своим существованием главным образом персонификации суверенитета, которая потворствует стольким могущественным слабостям, стольким благородным и законным потребностям нашей природы, которая столь легко увязывается с религиозными верованиями и воздействует на разум людей со всем необъятным могуществом веры.

Монархия прекрасно осознает источник своей силы; она отлично знает, что ей лучше всего подходит, понимает, что дает ей надежду на обретение того характера образа и представителя суверена по праву, образа, который присваивает себе монарх, чтобы придать единство своей власти. Она с трудом решается оставить этот образ. Нам известны монархические государства, открытые навстречу институтам свободы, допускающие законное сопротивление своему режиму, контроль за ним и даже раздел высшей власти. Монарх тем самым отказывается от фактического суверенитета. Полагаете ли вы, что он таким образом отказывается и от суверенитета по праву? Конечно же нет; вслушайтесь в язык, диктуемый ему инстинктом системы, в язык, которого придерживаются и все его приспешники. Монарх сам изменил формы своего правления, сам установил границы своей власти и избрал ее сторонников. Тем не менее он по-прежнему настаивает на том, чтобы называться сувереном. Он претен-

дует на сохранение по праву того, от чего на деле он отказался или утратил. И когда мы задаем вопрос защитникам системы, на чем основываются эти претензии, они отвечают нам, что суверенитет по-прежнему принадлежит монарху, и только ему одному, поскольку суверенитет неотчуждаем и неделим.

Если же суверенитет существует, если он когда бы то ни было существовал среди людей, то сторонники монархии, безусловно, правы, ибо истинно, что суверенитет по природе своей един и неделим. Сторонники суверенитета народа точно так же провозглашали это и в это верили. Точно так же, различая суверенитет и правление, они сохраняли суверенитет за народом, подобно тому, как приспешники монархии сохраняли его за монархом, даже когда монарх его утрачивал. Утверждение, будто бы некая сила обладает суверенитетом по праву, равносильно утверждению, что эта сила не может ни утратить суверенитет, ни разделить его.

Но плоды действия принципа рушатся вместе с самим принципом; и никакая власть в этом мире не должна быть единой и неотчуждаемой, поскольку никто не обладает и не может обладать суверенитетом по праву.

10. О единстве суверенитета по праву

Нет сомнений в том, что существует только один разум, одна истина, одна справедливость: «Тысячи дорог уводят нас от цели, — говорил Монтень, — и только одна ведет к ней».

Точно так же совершенно очевидно, что разум, истина, справедливость не могут ни отказаться от своего права, ни отчуждать его в пользу некоей силы или человеческой воли, каковой бы та ни была.

Таким образом, суверенитет един и неотчуждаем. Эти атрибуты внутренне присущи его природе.

Но о каком суверенитете, о каком суверене идет речь?

В действительности невозможно заставить себя восхищаться гордостью человека и суетностью его

усилий. В этом мире все разоблачает его претензии, все ускользает от его власти. В самом себе человек постоянно наталкивается на неуверенность, беспокойство, вечную борьбу между наукой и собственным невежеством, своими благими и дурными наклонностями, между силой, возвышающей его до истины, блага, и слабостями, низвергающими его в заблуждение и зло. Вокруг человека все сложно, переменчиво; он не замечает ничего, что бы не обнаруживало борьбу противоположных принципов, ничего, что бы не указывало на неизбежное господство изменения и разрушения. И вот перед лицом подобной картины, картины, представляемой ему всеми окружающими его вещами и им самим, человек говорит о едином, неотчуждаемом суверенитете как о праве, о благе, которое может принадлежать какой-либо из этих сложных и переменчивых сил, разрушаемых временем, продемонстрировав всю мятежность их природы и границы их действий!

Нет ничего простого и постоянного ни в человеке, ни на земле. Единство, незыблемость, суверенитет — возвышенные слова, одно только присутствие которых в человеческих языках свидетельствует о нашем величии; но самой судьбой мы обречены произносить эти слова, пребывая как бы в гордом предчувствии и таким образом, что они не могут быть применены к чему бы то ни было ни в нас самих, ни вокруг нас, ничто на законных основаниях не может стать их объектом. Одному только Богу принадлежит единство; в нем одном только и заключен этот единый и неотчуждаемый суверенитет, имеющий лишь один закон, закон, объемлющий все вещи и правящий ими в соответствии с извечно начертанным планом. Правда, люди — индивиды и народы — взывают к единству, к постоянству этой августейшей власти. Но если они постоянно стремятся и должны стремиться к этой цели, то они вынуждены приближаться к ней через заблуждения, страсти, непоследовательность, превратности их несовершенной и мятежной природы. Таким образом, единство суверенитета и его извечная незыблемость, как и сам суверенитет, чужды этому миру. Человеческий разум осмыслил их и получил свыше указание на то, чтобы претендовать на них; человек не

мог бы ими обладать. Но когда он кичится ими, когда земной суверенитет претендует на единство и неотчуждаемость, какими обладает божественный суверенитет, он неизбежно превращается в тиранию.

11. О том, что всякий фактический суверенитет должен быть разделен

Из вышесказанного вытекают два следствия: первое из них состоит в том, что несмотря на единство монарха, монархическая система совершенно не создана для того, чтобы удерживать себе во благо суверенитет по праву, которым не могла бы обладать никакая система; второе же заключается в том, что фактический суверенитет, обязательно существующий где бы то ни было в любом из государств, подлежит разделению.

Если в государстве существует некая воля, некая сила, одна и во всей полноте обладающая фактическим суверенитетом, она очень скоро начинает претендовать на суверенитет по праву и не потерпит, чтобы его у нее оспаривали. Если кто-либо является единоличным властителем, то ему стоит сделать всего лишь шаг, чтобы почувствовать себя непогрешимым. Александр был не так уж и неправ, когда провозглашал себя Богом; из полноты своей власти он выводил строгое следствие. Точно так же правы и те, кто, наделяя суверенитетом народ, избирают в качестве принципа «Vox populi, vox dei». И те и другие таким образом опускаются к подножию склона, на который их вознесли избранные ими принципы. Везде, где фактический суверенитет будет единым, суверенитет по праву будет узурпирован.

Разделение фактического суверенитета, необходимое для предотвращения этой узурпации, столь же необходимо и для того, чтобы подвести людей, — по крайней мере настолько, насколько они способны в этом преуспеть, — под господство подлинного закона, легитимного суверена. Этот закон люди стремятся постичь; его познание и воплощение в жизнь представляет собой мучительный труд. Поэтому всякая изолированная воля, всякая независимая сила чурается этой работы; она должна быть понуждаема к такого рода

труду и постоянно приводима к нему силой необходимости. И пусть же фактический суверенитет, воля, которая в конечном счете и должна управлять, будут плодом усилия, результатом сближения и столкновения властей независимых, равных и способных принудить друг друга к совместным поискам истины, дабы объединиться лишь в ее лоне. Но даже и тогда они будут далеки от постоянного согласия, настолько глубоко и неискоренимо несовершенство дел человеческих. Но только тогда люди смогут надеяться, что фактический суверенитет, легитимный в своем основании, будет таковым и в главных своих действиях, что он, как правило, будет сообразован с волеизъявлениями суверена по праву, что он приблизится наконец к подлинному единству, заключающемуся лишь в справедливости и разуме.

12. О равновесии властей

Вот что следует понимать под равновесием, балансом властей, излюбленной теорией XVIII века, отвергнутой в ходе французской революции, теорией, к которой нынче относятся слишком поверхностно, поскольку она не была приведена к своему законному смыслу.

Все это так; равновесие объединенных властей — пустое слово, их баланс — химера. Если бы цель, к которой мы продвигались бы подобным образом, была когда-нибудь достигнута, эти власти нейтрализовали бы друг друга; и вместо добропорядочного правления мы получили бы отсутствие всякой воли, всякого действия, всякого правления.

К чему же тогда, говорили еще, все эти искусственные и сложные комбинации? Основывать управление людьми на соперничестве, на сражениях, в результате которых мы всегда получаем лишь победителей и побежденных, означает оскорблять человеческое достоинство. Откажитесь же от так называемого равновесия, от баланса, который невозможно установить. Должна править общая воля; вполне достаточно иметь о ней представление; так пусть же она выскажется;

пусть закон будет ее выражением, а правление ее министром. В этом-то и весь секрет.

Заблуждение упорно, и потребность в постоянных метаморфозах его не устраняет. Путаницу в этот вопрос снова вносит напрасная надежда на земного государя.

Вынужденные искать его ради обретения защиты под сенью его закона, люди могут употребить на его поиски лишь несовершенные и лишенные изначальной чистоты силы, ибо такова природа людей. Для того, чтобы эти силы смогли приблизиться к предназначенной им цели, они должны хотя бы частично освободиться от свойственной им нечистоты; а для того, чтобы они могли таким образом очиститься, нужно, чтобы их принудили к тому иные силы. Возьмите человека в его индивидуальном существовании; считайте, что он стремится к благу и со всей искренностью желает развития собственного разума, морального совершенствования собственного бытия. Все философии, все мифологии, все религии подскажут вам, каким путем этого можно достичь. Нужно, чтобы над этим человеком довлела необходимость, чтобы он находился во власти враждебных страстей, пребывал то в несчастьи, то в долгих и мучительных заботах; нужно, чтобы испытания, опасности просветили его, исправили, беспрерывно укрепляли его в его колеблющихся решениях, способствовали бы развитию в нем всех возможностей разума и добродетели. Только такой ценой он продвигается вперед и возвышается до благородства, к которому стремится. Если все множество противоречивых сил было бы устранено с его пути, если бы он не познал ни опасности, ни сопротивления, если бы он свободно и без труда продвигался вперед под воздействием одной лишь своей воли, он очень скоро замедлил бы свой ход, а быть может, и вовсе окончательно сбился бы с пути. Что же говорить о власти, управляющей народами, если власть человека над самим собой постоянно нуждается в том, чтобы ей противоречили, чтобы ее подавляли, если она подчиняется разуму лишь при условии, что постоянно испытывает давление необходимости и предается вечной борьбе? Таким образом, не следует опасаться препят-

ствий, борьбы, — напротив, их следует ввести в качестве постоянно наличествующей потребности в действия правления. Природа правления сложна и переменчива, как и природа индивида; так пусть же и его жизнь будет исполнена трудов и испытаний подобно жизни человеческой. В этом взаимном подчинении равных и независимых властей речь идет не о равновесии и балансе, но о борьбе и труде. Система желает, чтобы всякая воля ощущала господина, чтобы всякая сила получала торможение. Несомненно, нужно покинуть поле битвы, ведь борьба лишь одно из средств; нужно прийти к воле, которой следует подчиниться, к силе, которая должна обеспечить осуществление этой воли. Но средство воспроизведет свое последствие; борьба будет постоянно вспыхивать вновь и вновь, власти же, которые она сталкивает друг с другом, без сомнения, утратят в этой борьбе порочные черты эгоизма, каждая из них постоянно будет делать шаги к разуму, высшему закону, познание и осуществление которого является их общей миссией.

Мудрое управление этой борьбой властей, установление их разнообразия и независимости с целью слияния в лоне подлинного единства — трудная задача. Особая ее трудность заключается в опасности легкого придания одной из этих властей чрезмерного и высокого превосходства. Нужно, чтобы это превосходство было передано и развивалось бы в руках власти, которая по своей природе и по своему положению давала бы наиболее верные шансы для раскрытия и поддержания подлинного закона. Но и такая власть должна постоянно пребывать в окружении препятствий, должна предпринимать все усилия для их преодоления. И если этой власти в ее победе будет оказана помощь, то в конечном итоге она победу заслужит.

13. О том, что никакой человеческий суверенитет не является неотчуждаемым

Дойдя до данного пункта своих рассуждений, я испытываю некоторое затруднение в подходе к этому вопросу; на мой взгляд, он уже решен, и сейчас было бы достаточно лишь высказать общие утверждения.

Если никакая человеческая власть по природе своей не может претендовать на обладание суверенитетом по праву, то никакая власть равным образом не может претендовать и на неотчуждаемость, т.е она не может утверждать, что в любом случае ее падение не будет легитимным, а права утраченными, что бы она ни делала и чего бы ни желала.

Как можно было утверждать подобное? И тем не менее это утверждали, хотя и избегая, отказываясь довести его до логического конца, не учитывая примеров, которые со всей очевидностью его опровергают.

Примеров хватает как в древние времена, так и в более близкие к нам эпохи. Кто осмелился бы сказать, что ни одно из правлений не заслужило своего падения, что не существовало тираний, совершенно законно свергнутых? Я почти испытываю стыд, приводя факты. Но так ли уж были неправы бравые конфедераты Рютли, освободившие Швейцарию от австрийского ига? Имели ли Нидерланды моральное право терпеть кровавый гнет Филиппа II? Возьмем примеры другого рода: совершил ли преступление св. Реми, признав сувереном Кловия, когда римские императоры впали в детство и стали неспособны управлять галлами? И должны ли были франки оставить погибать государство или призвать в качестве властителей первых Каролингов, когда выродившееся племя детей Кловия предоставило зарождающуюся Францию внутреннему распаду и бесчинствам сарразинов?

Стоит ли мне говорить об этом наводящем ужас деспотизме, который под именем Робеспьера уже в наши дни составил несчастие нашей страны? Такой ли уж незаконной была борьба против него и замена его иным правлением?

Стоит нам признать легитимным один только из приведенных случаев, и выдвинутый выше принцип окажется поверженным. Следует защищать право власти, но право не ее действий, а ее происхождения; ведь если действия власти никогда не могут заставить ее утратить свое право, то, безусловно, она получила это право вследствие своего происхождния, поскольку последнее не изменилось.

Странное смешение! Этот так называемый принцип в основе своей есть не что иное, как отрицание всякого права народов, формальное признание одиозной максимы, в соответствии с которой абсолютная и полная легитимность принадлежит установленному правлению, фактической власти. А между тем среди людей, проповедовавших это утверждение, многие погибли, отказываясь принять фактическое правление, защищая права власти, которой уже не было!

Я благословляю их непоследовательность, поскольку она доказывает, что человеку дозволено в той же мере полностью отрекаться от истины, в какой дано познать ее всю целиком. В древности тирания была повержена друзьями свободы. В новое время она претерпела сопротивление друзей старого порядка. Но будь то старая или новая тирания и каковы бы ни были противники, под чьими ударами она пала, ее крах был столь же легитимен, сколь и их сопротивление, ибо сопротивление, как и власть, черпает свое право в своей моральной легитимности, в своем соответствии вечным законам разума; и никакой человеческий суверенитет не является неотчуждаемым в теории, так как в реальности ему может недоставать моральной легитимности.

14. О политической легитимности

Что же такое эта иная легитимность, освящающая власть исключительно из-за ее давности и основывающая свое право на ее древности?

Это прекрасная и благотворная идея, введенная в мир естественными потребностями и тенденциями общества, которая вовсе не освобождает власть от случайностей, неотделимых от всех дел человеческих, и вовсе не придает ей суверенитета по праву.

В одной только монархической системе вошло в привычку рассматривать политическую легитимность. И напрасно. И правда, здесь политическая легитимность предстает в специфической и более очевидной форме. Но принцип, лежащий в ее основе, и его следствия встречаются во всех обществах, во всех системах правления.

Почему турийцы приняли ордонанс Каронда́са[1], возжелавшего, чтобы любой гражданин смог предложить замену основным законам страны, лишь явившись в общественное собрание с веревкой на шее, рискуя быть задушенным, если его предложение не будет принято? Почему все государства, как древние, так и современные, как республиканские, так и иные, требуют для изменения общих правил их конституции длительного обсуждения и особых процедур?

Да потому, что народы эти приняли в принципе в качестве разумной презумпции моральную и реальную легитимность их главных установлений. Отныне они признали за ними право управлять последующими поколениями; когда же речь заходит о том, чтобы лишить их этого права, которым они уже давно владеют, они колеблются и с трудом соглашаются поверить в то, что это право ими уже утрачено.

Таким образом, политическая легитимность не является специфической и исключительной чертой монархической системы. Повсюду эта черта где-либо да присутствует, связанная с каким-либо институтом. В монархии ею обладает королевский престол. В иных формах правления она присуща некоторым статьям конституции, некоторым законам, быть может, даже некоторым утверждениям или привычкам. Именно ради легитимности римского сената пожертвовал Брут столь любимым им Цезарем, подобно ему горцы Шотландии в 1745 г. пожертвовали собой ради Претендента[2]. Оба этих случая мало схожи между собой, но и в том и в другом людьми руководит одно чувство, поскольку в их глазах одна черта освящает политические институты. Так, в самых различных формах, как в республике, так и в монархии все время воспроизводится один и тот же принцип; речь идет о постоянной власти, призываемой в пользу определенных сил, определенных правил, возымевших право как в отношении будущего, так и в отношении прошлого, как в отношении детей, так и в отношении отцов, поскольку вследствие их древности, равно как и благодаря их собственным и действительным заслугам эти силы рассматриваются как благие по своей сути, как легитимные.

Таким образом, один принцип пронизывает все правления; и несомненно он вызван к жизни самой природой человека и общества для того, чтобы осуществлять всю полноту власти.

В своих институтах и господствующих над ним властях общество ищет именно моральной легитимности, т.е. соответствия воли этих властей и их действий законам справедливости и разума.

Ни один институт, ни одна власть не обладают сполна этой, единственно абсолютной легитимностью. Но когда прочно установившиеся институты и власти почитают и воспроизводят законы разума достаточно верно, чтобы удовлетворить главные насущные потребности общества, когда они тем самым пребывают в гармонии со своим материальным состоянием, с моральным уровнем развития, которого достигло общество, тогда общество считает их легитимными; они и являются легитимными в меру несовершенства общества и их собственного несовершенства.

Рассматривая управляющие им власти в качестве легитимных, общество заранее предполагает, что они таковыми и останутся. В данном случае презумпция, как естественное следствие подобного рассуждения, также совершенно необходима для общества. Настоящее для людей представляется недостаточным; как только они осознают, что настоящее от них ускользает, оно имеет в их глазах хоть какое-то значение только благодаря обещаниям, даваемым на будущее. Если бы наша природа не была таковой, если бы память и предвидение не распространяли жизнь человека далеко за рамки ее материальных проявлений, не было бы ни семьи, ни общества, ни народа, ни всего рода человеческого. Никакая традиция, никакие обещания, т.е. никакая моральная связь не объединяла бы между собой эпохи и людей. Цивилизация не передавалась бы от поколения к поколению в качестве получаемого каждым из нас с определенной долей доверия наследия, каким его оставили наши отцы, с тем, чтобы приумножить его и передать нашим детям. Для каждого индивида мир начинался бы заново, люди сменяли бы в нем друг друга, не оставляя никакого наследства, столь же изолированные, столь же неизменные, как и

животные, для которых не существует ни прошлого, ни будущего.

Презумпция легитимности не является, таким образом, и не могла бы явиться постоянно изменчивой презумпцией, которая ежечасно то исчезает, то возникает вновь в зависимости от каждого отдельного и преходящего действия власти. Провидение, создавшее человека во благо общества, а общество ради воспроизводства, возжелало, чтобы эти надежды были более прочными и более длительными. Когда надежда проникает в умы людей, она приобретает в них размах и силу веры. Факты способствуют ее развитию. Политическая легитимность, будучи единожды установлена, утверждает себя посредством влияния, которое она, в свою очередь, оказывает на укрепляемую власть. Сила, не будучи принципом правлений, постоянно оскверняла их доброе имя. Монархические, аристократические, демократические правления, там завоевание, здесь гражданская война, где-то ложь во имя Бога — все это отмечало первые шаги власти. Время течет и оказывает свое воздействие; принцип правлений, как порядок и власть подлинного закона, вступает в борьбу против изначальных пороков; власть упорядочивается и смягчается; под воздействием событий она постепенно приспосабливается к обществу, которое, также в силу необходимости, приноравливается к власти; между ними устанавливаются определенная гармония и законы, способные эту гармонию поддерживать; воздействия силы ослабевают, да и сама сила отходит, уступая место власти права. Наилучшее правление расценивается и как наиболее легитимное; полагаемое легитимным, оно становится и наилучшим: и под воздействием времени, которое одновременно укрепляет легитимность и делает ее более плодородной, предполагаемая легитимность правления подталкивает его таким образом к легитимности подлинной, выступающей единственной целью как усилий, так и уважения со стороны общества.

Такова в действительности природа политической легитимности. Она есть не что иное, как презумпция моральной легитимности; презумпция, устанавливающаяся в отношении институтов и властей лишь при

двух условиях. Первое — чтобы они в определенной мере удовлетворяли главным насущным потребностям народов, т.е. чтобы они обладали известной долей подлинной легитимности; второе — чтобы с течением времени они получали одобрение.

Кто откажет времени в праве на подобное воздействие? Народы взывают именно к моральной легитимности; и для того, чтобы знать, содержат ли ее законы и обладают ли ею власти, их принуждают пройти через испытания, получить большинство при голосовании, доказать тем самым или, по крайней мере, предположить их реальные заслуги. Если правления существуют на протяжении веков не погибая, то это тоже для них испытание. Ведь люди, составляющие поколения, также представляют собой большинство. Долговременное существование не является ни случайным, ни лишенным разумных мотивов. Никакая сила в одиночку не способна получить признание ряда последовательных поколений. Чем же представляется власть опыта, как не силой длинной череды голосований людей? Древние власти обрели политическую легитимность в тех же трудах и на том же основании, которых люди требуют и от новых властей, дабы признать их легитимность.

Поскольку власти обрели легитимность, они могут и утратить ее; поскольку легитимность появляется на свет и развивается, она способна и погибнуть. Не может погибнуть только то, что не имело начала, в привилегиях же вечности безжалостно отказано тому, что создано Временем. Те же причины, которые обусловили приспособление общества к своим институтам, привели и к тому, что позднее общество может эти институты превзойти, ибо, как правило, общество развивается гораздо быстрее, чем власть. Власть в этом случае утрачивает первое условие политической легитимности, то самое, что одно только и позволило сохранять эту легитимность на протяжении веков. Власть перестает отвечать состоянию и общим потребностям общества, т.е. она не обладает более достаточной частью подлинной легитимности. И тогда, наконец, разворачивается величественный и трогательный спектакль.

Имя времени еще некоторое время защищает то, что его рука, создав однажды, затем разрушила. Презумпция легитимности власти ослабевает либо предстает неустойчивой и побежденной. Но порожденное ею чувство еще живет и длится, хотя основание, на котором оно зижделось, мало-помалу проседает, подобно тому, как уважение к старцу переживает мудрость, дарованную ему долгой жизнью. Более того, нам кажется, что это чувство черпает в состоянии тревоги, в которое впало в этот момент общество, животворную, но быстро улетучивающуюся энергию. Озабоченные угасанием легитимности, в которую они верили, люди боятся остаться без законов и без законных властителей; из опасения потерять их они пытаются удержать свои старые предположения, прежнюю веру, которая раньше позволяла им без страха смотреть в будущее. Это стремление людей, достойное уважения и справедливое в своей основе, также имеет и свою полезность; оно ставит спасительную преграду всегда жестоким кризисам; оно поднимается против их бесчинства, даже карает и тем самым предупреждает их возвращение. Наконец, оно поддерживает политические институты, пока это еще представляется возможным, и сохраняет пошатнувшийся социальный порядок, пока новая легитимность, более сильная, хотя и более молодая, отчетливо поднимется на горизонте, привлечет доверие народов, успокоит их относительно будущего и, в свою очередь, окажется во власти времени, которое одно только и способно ее освятить.

15. О праве на сопротивление

Кто выступит здесь судьей? В этом состоит вопрос, сложность которого часто заставляла отвергнуть принцип, сам по себе неоспоримый.

Конечно же, люди были бы счастливы встретить где-либо судью, точно и заранее знать закон, способный высказаться о подобных разногласиях; знать благодаря определенным и общепринятым признакам, где начинается тирания, за какой гранью власть безвозвратно утрачивает моральную легитимность, составляющую основу ее права. И тогда сопротивление, из-

меняющее облик империй, стало бы писаным правом. И можно было бы в конституциях или кодексах определять условия падения власти, как и условия ее обычного осуществления, условия революций, как и формы правлений.

Но людям не дано ни вершить столь великие дела посредством своих законов, ни заранее предписывать лекарства против подобных несчастий. Тирания не обладает столь единообразными и простыми чертами, что их можно было бы заключить и обозреть в философском принципе или конституционном тексте. Никто не осмелится утверждать, что сопротивление, угрожающее существованию власти, бывает легитимным столь же часто, сколь часто власть заблуждается. Кто заранее и в самых общих чертах может сказать, когда исполнится чаша этих заблуждений, когда общество, лишенное законных средств и чаяний, должно в большей степени опасаться продолжения своего существования, нежели потрясений, способных его опрокинуть?

Несомненно, что этот час может настать, что в известные моменты люди вправе думать, что он пробил. Но не существует средства, способного свести факты к принципу или подчинить человеческому предвидению бесчисленные неуловимые обязанности, права, интересы, выступающие в качестве элементов этой загадочной проблемы.

Сложности и опасности, таящиеся в этой проблеме, до такой степени напугали честных людей, что те не могли потерпеть, чтобы она была когда-либо поставлена. Они полностью отрицали право на сопротивление, утверждая, что когда сопротивление уже готово изменить правление, оно всегда незаконно, что в подобных кризисах народ всегда предпочитает проиграть, нежели выиграть.

Я не считаю, что человеческий род доведен до такой крайности, или что он должен всегда страдать, нежели выбрать столь ужасный шанс, или что этот шанс всегда скорее дурной, нежели благоприятный. На самом деле существовали тирании, которые навсегда погубили бы свой народ, если бы тот согласился их терпеть, но существовали и народы, которые путем со-

противления обрели тиранию. Таким образом, сопротивление не является ни всегда незаконным, ни всегда пагубным.

Правда, оно всегда было связано с незаконными действиями и великими бедами. Таким образом, случаи, когда оно представляется одновременно законным и необходимым, достаточно редки и достойны сожаления. Но к чему их отрицать? Когда же такие случаи действительно представятся, мы ничего не выиграем от утверждения, будто они невозможны; вопреки всем опасностям, как и всем теориям, люди, дошедшие до последней черты, будут требовать своих прав, и если какой-то народ в состоянии сокрушить тиранию, то можно быть уверенным в том, что во всех случаях он откажется ее терпеть.

Иные, более легкомысленные или более отважные, провозгласили, что право на сопротивление принадлежит народу, который всегда властен употребить его и изменить по собственному усмотрению установленное правление. Провозгласив народ сувереном и не будучи способными сделать так, чтобы этот суверен управлял самим собой, они вложили его суверенитет в право разрушать, обновлять правление, как ему это нравится.

Идет ли речь о разрушении или о сохранении, суверенитет не принадлежит ни одной из сил на земле. И не важно, проявляется ли эта сила в бунте или угнетении; если мы не рассматриваем ее в отношениях с законами справедливости, разума, она — лишь только сила и сама по себе не обладает никаким правом.

Право на сопротивление, как и всякое право, носит подчиненный и условный характер. Оно не является внутренне присущим никакой воле, коллективной или иной. В моральных законах, откуда ведет оно свое происхождение, оно черпает также и свои правила, границы, условия.

Если действительно будет доказано — а пока что это не так, — что сила, вершащая судьбы государств, заключена в народе, т.е. в большинстве, народ не получит от этого никакого права восставать против своего правительства и изменять его в соответствии с капризами собственной воли. Если народ того хочет, говорят нам, кто способен помешать ему, если он на это

способен? Если бы еще речь шла о силах, имеющих одного предводителя и носящих одно имя! Но и в том и в другом случае время берет на себя труд разоблачить дерзкие претензии. Во всей цепи поколений, образующих то, что называют народом, не одно поколение, употребив свое могущество против правления, признавало затем свою ошибку и сожалело о ней. Ему довелось испытать еще большие беды, нежели те, что породили его гнев, бремя более суровое, чем то, что оно сломало; и последующие поколения могли научиться присваивать себе с меньшим высокомерием право изменять правительство своей страны. Вот уроки, которые Провидение держит наготове, чтобы противопоставить их воле, претендующей на суверенитет, не заботясь о том, чтобы выяснить, стремятся ли они получить этот суверенитет посредством восстания или посредством тирании, являются ли они волей народа или волей короля.

И пусть не говорят, что народ всегда верно толкует подобные волеизъявления; что в столь ужасных для него обстоятельствах действие его силы всегда определяется лишь необходимостью и разумом. Уже не раз, особенно в маленьких государствах, народ желал и совершал несправедливые, абсурдные революции, результаты которых он был вынужден разрушить спустя некоторое время путем новых революций. В крупных государствах по мере распространения и укрепления понимания общественных дел эти невеселые предприятия становятся все более редкими. Тем не менее непогрешимость, коей никто не обладает в области правления, точно так же не принадлежит никому и в области восстания. Склонность к бунту в человеке столь же сильна, как и любовь к абсолютному господству; а дух бунтарства даже против законного суверена, против подлинного закона есть коренной порок нашей природы. Принцип, наделяющий правом сопротивления волю большинства, придает этому фатальному и грешному духу доверие, энергию, не менее оскорбительные для разума, чем губительные для общества.

Повсеместно нужно распознавать истинный человеческий удел. Он всегда один и тот же — как в об-

ласти сопротивления, так и в области власти. Ни одна из сил сама по себе не обладает незыблемым правом увековечить свое господство. Никто не может требовать в свою пользу и на том же основании права изменять установленное господство. Как в одной, так и в другой претензии мы обнаруживаем узурпацию суверенитета и незнание его подлинной природы. Право на сопротивление в своем угрожающем и окончательном действии есть право, зависящее от случая, право проблематичное, и ни одна воля не может полностью присвоить его себе, никакая особая и постоянная сила не может обладать им на законных основаниях — на основе конституции или закона; последствия употребления этого права нельзя предвидеть, его осуществление нельзя заранее урегулировать, наконец, ему всегда сопутствуют внушающие ужас факты, и, таким образом, мы не можем заблуждаться относительно несовместимости этого права с законами справедливости и разума. Но так же верно и то, что при всех условиях, в указанных границах и с учетом всех перечисленных шансов на успех, это право неоспоримо; если бы это было не так, если бы право, даже будучи невидимым, как оно и существует, не довлело над властями, его отрицающими, род человеческий уже давно подпал бы под власть тирании, утратил свое достоинство, как и счастье.

16. О передаче по наследству монархической власти

Наследственная передача престола является той специфической формой, которая обычно свидетельствует о политической легитимности. Рассмотрим этот вопрос отдельно.

Легитимность здесь принадлежит не только законам и институтам, которые остаются неизменными, но также и людям, которые подвержены изменениям; точнее, существуют две совершенно различные легитимности: легитимность трона, самой монархии, рассматриваемой как политический институт, и легитимность династии, занимающей трон и дающей свое имя монархии.

Первая из двух легитимностей полностью соответствует легитимности всякого другого социального института. При монархии, как и при всякой иной системе, эта легитимность лишь освящает соответствие и постоянство системы правления, которая существует и продолжает существовать если и не совершенно в неизменном виде, то, по крайней мере, сохраняя постоянство как в форме, так и в главных своих чертах.

Наследственная передача трона значит нечто большее. Последовательности различных и преходящих фигур она сообщает подлинную и постоянную легитимность; она провозглашает легитимным не только то, что есть, но и то, что будет, правящего монарха и его не известных еще наследников. Она затрагивает, таким образом, фундаментальный принцип политической легитимности, состоящий в освящении воль и сил, всегда схожих между собой и прошедших испытание временем, с тем чтобы сообщить те же черты силам, которые в силу необходимости различны и еще погружены во мрак будущего.

Вторая легитимность, как и первая, подвержена случайностям. Таково следствие ее природы. И факты доказывали это неоднократно. Мы знаем, что монархическая система сохраняла свою легитимность, тогда как правящая династия ее утрачивала. В Швеции, в Португалии, в Англии не одна революция, санкционированная общественным мнением и временем, со всей очевидностью продемонстрировала различие между двумя формами легитимности, разделив их судьбы.

Тем не менее мы знаем, что почти всегда наследственный характер престола утверждался в качестве института как раз в момент наибольших потрясений, какие ему довелось испытать; в этот момент он заботливо поддерживался в качестве принципа, чтобы дать рождение новой легитимности другой династии.

И действительно, обе легитимности, различные по своей природе, тесно связаны друг с другом. Наследственная передача престола была введена в качестве условия и гарантии стабильности, самого существования монархии.

Природа монархической системы должна была подвести к этому следствию.

Я уже показал происхождение этой системы и источник ее силы. Она обязана ими персонификации суверена по праву, единственного по своей сущности, чье единство если и не воспроизводится, то по крайней мере представлено в единстве фактического суверена, отвечающего, таким образом, одному из наиболее глубинных верований человеческого духа.

Но не только единство присуще истине, разуму, суверену по праву. Ему в равной степени свойственна и незыблемость. Бог не умирает, равно как и его закон. Чего же стоит воспроизведение монархической системой единства подлинного суверена, если присущая ему незыблемость отсутствует в его представителе?

Наследственная передача престола должна была воспроизвести подобие, преодолеть смертную природу людей, вводя в правление образ непрерывности существования суверена по праву, подобно тому, как единство монархической власти отражало образ его единства.

Вот каким было участие нашей внутренней и моральной природы в этом институте; участие куда более значимое, чем это обычно предполагают, поскольку наиболее могущественным из всех человеческих атрибутов является сама природа человека. Таково значение видимых фактов, потребностей нашего подлунного мира, довлеющих над обществом.

Сильная власть — вот цель монархии. И общество часто нуждается в сильной власти. Потребность в ней очень переменчива и неодинакова. Но в определенные эпохи и при определенных обстоятельствах она ощущается с такой силою, что по общему, хотя и молчаливому согласию ей подчиняются все иные взгляды.

Перспектива постоянства, долговременности для силы власти не менее необходима, чем единство. Даже на престоле люди бывают преданы лишь тому, что обречено на долговременность. Ею пользуются интересы, страсти, личные пристрастия. Время охлаждает все вплоть до усердия по отношению к власти, которое обречено на смерть вместе с обладателем этой власти; даже сами короли для сохранения своего трона должны верить, что смогут оставить его в наследство своим детям.

Впрочем, уважение народов и вытекающая из него сила во всей полноте передаются лишь той власти, ко-

торая возымеет право и окажет воздействие на будущее. Итак, будем ли мы рассматривать монархию с точки зрения ее рационального принципа или с точки зрения социальной цели, будем ли мы сравнивать ее с моральными склонностями, которым она отвечает, или с общественными потребностями, которые она стремится удовлетворить, наследственная передача престола неотделима от нее и сопутствует ей как естественное следствие, как непременное условие.

Итак, в той степени, в какой монархическая система может быть благой и необходимой, в такой же степени благой и необходимой является наследование престола. Только оно позволяет обществу в полной мере воспользоваться преимуществами монархии. Более того: оно в то же время дает монархической системе средство борьбы против пороков системы, средство предотвратить самые серьезные опасности.

На первый взгляд, это может показаться странным. Ведь на самом деле главная опасность, которую представляет для людей монархическая система, проистекает из персонификации суверена по праву, всегда ошибочной и всегда, казалось бы, обещающей фактическому суверену власть более независимую, более обширную, нежели несут в себе разум и общественный интерес. Все, что поддерживает и подтверждает это заблуждение, погружает королей и сами народы в иллюзию, к которой они и без того склонны, и подталкивает их к деспотизму.

Таким образом, когда наследственная передача престола добавляет к таком свойству монархической системы, как единство, еще и свойство незыблемости, то, дополняя ее, она укрепляет персонификацию суверена по праву и тем самым придает большую силу заблуждению и опасности, которые могут быть порождены самой природой монархии.

Во всем этом есть доля истины. Но наследственная передача престола имеет и свои последствия и упрощает введение институтов, со всей своей силой выступающих против этой опасности.

Я уже упоминал о них; правление и общество неизбежно сосуществуют. Закон, регулирующий и понуждающий индивидуальные воли в их взаимоотношени-

ях, сила, заставляющая уважать этот закон, — только при этих условиях общество рождается и продолжает существовать, и эти условия есть не что иное, как правление, общественная власть.

Постоянное присутствие такой власти, таким образом, необходимо для самого существования общества. Эта власть не призвана действовать постоянно и повсеместно, в одиночку поддерживать и регулировать все взаимоотношения людей. Индивидуальные воли также представляют собой власти, которых обычно бывает достаточно для того, чтобы внести в эти взаимоотношения законы справедливости и разума. Моральный прогресс общества состоит даже в том, чтобы сделать менее частым вмешательство общественной власти по мере того, как власти индивидуальные, т.е. разум и воля граждан, очищаются и просвещаются. Именно таким образом в семье отцовская власть отступает по мере того, как ребенок становится более способным управлять самим собой в соответствии с разумом, собственной силой и собственной же свободой.

Но ни в семье, ни в обществе не наступает такого момента, когда власть могла бы устраниться и передать правление всеми действиями, всеми человеческими взаимоотношениями индивидуальным волям. Общество бесконечно обширно и сложно; постоянно существуя, оно беспрестанно обновляется и разнообразит свои формы; неравномерная цепь поколений, численность и подвижность социальных отношений, разнообразие интересов, борьба страстей и сил — постоянно обусловливают потребность во власти, высшей по отношению ко всем индивидуальным волям; ее воздействие может постепенно сокращаться, но ее присутствие необходимо, чтобы поддерживать совместное существование и регулировать контакты стольких элементов, расположенных к борьбе или к отделению.

Таким образом, само общество ощущает свое существование прочным и упорядоченным, подлинно социальным только тогда, когда оно ощущает присутствие власти, от которой общество ожидает длительного существования, ибо признает ее легитимность. И если власть кажется недостаточной или если общество ее дезавуирует, оно впадает в страшную тревогу, поскольз-

ку ощущает опасность распада, превращения в множественность, опасность перестать быть обществом.

Таким образом, в социальной власти есть нечто, требующее постоянства в качестве основного условия существования общества. Это само его существование, его наличие в качестве власти. И вне зависимости от того, действует власть или нет, нужно, чтобы она существовала, чтобы общество имело ее перед глазами и верило в нее.

Но если существование социальной власти должно быть постоянным и всегда наличествовать, то действие его не может претендовать на то же преимущество; оно, напротив, должно зависеть от условий, должно быть подвижным, подверженным случайностям и восприимчивым к изменениям. Как мы видели, это непременное следствие несовершенства всякой земной силы, всякой человеческой воли. Любая воля, любая земная сила и социальная власть, как и всякая иная, — легитимна лишь в той мере, в какой она действует в соответствии с разумом, с подлинным законом. И как только она начинает действовать, она подпадает под обязательство искать этот закон и подчиняться ему. И если ее действия не подчиняются этому требованию, она должна быть заменена; люди, на которых она воздействует, имеют право поставить ее перед такой необходимостью.

Каким образом они достигают этого? Трудности здесь огромны. Для того, чтобы общество продолжало свое существование и не пребывало в постоянных тревогах, нужно, чтобы и социальная власть, по крайней мере в своем существовании, также была устойчивой. Для того, чтобы действие этой власти было легитимным, нужно, чтобы власть постоянно получала торможение, подвергалась риску, была вынуждена модифицироваться, даже полностью видоизменяться, если она слишком отдаляется от законов справедливости и разума. Таким образом, мы имеем, на первый взгляд, две противоречащих друг другу потребности. Одна из них требует нерушимости власти, другая — ее подчинения и подвижности. Если общее существование власти подчинено той же борьбе, тем же превратностям, что и ее действие, то она будет лишена всякого постоян-

ства, и жизнь общества будет пребывать в постоянном беспокойстве. Если действие власти сопричастно незыблемости, нерушимости ее существования, то общество утрачивает всякую гарантию подлинной легитимности.

Совершенно ясно, что если существование власти и ее действие оказываются смешанными, если они объединяются в одном лице и принадлежат одной силе, то двойственная проблема, обозначенная выше, оказывается неразрешимой. Либо действие власти будет неизменным и независимым, как и ее существование, что обязательно породит тиранию, либо ее существование будет полностью подчинено всем превратностям ее действия, и в этом случае она будет неравномерной и может показаться неустойчивой и даже полностью отсутствующей, что также является великим злом.

И действительно, во всех случаях, когда власть и ее действия не были ни разделены, ни направляемы различными институтами, одно из двух этих зол поражало народы. Зададимся вопросом: почему большинство греческих и итальянских республик претерпевало столько волнений, столько потрясений? Откуда такое разнообразие отдельных судеб, столь часто несправедливых и плачевных, в общей судьбе граждан и судьбе государства? Почему, несмотря на изобилие славы, так мало подлинной справедливости, счастья и даже устойчивости? Да потому, что ничто не обеспечивало необходимого постоянства социальной власти: ничто не являлось опорой ее существования, остававшегося неустойчивым и подвижным, как и ее действие, от которого власть не отделял ни один институт. Обратите свой взгляд на иное; взгляните на азиатские монархии или на аристократию Венеции: все здесь монотонно, неподвижно, гнетуще; всякий прогресс в развитии общества подавляется в зародыше; общество не продвигается вперед, оно не возвышается над собой и не становится лучше; оно медленно распадается либо остается застывшим, подобно мумиям. Какая причина заставила общество так застыть? Да та же самая, что в иных местах его полностью поглотила. Здесь также существование и действия общества оказались смешанными; только они сконцентрировались в руках един-

ственной силы, воспользовавшейся своей устойчивостью, чтобы в самом своем существовании освободиться от какого бы то ни было контроля и изменения. Таким образом, хотя многообразие событий и породило самые противоречивые системы правления, повсеместно, где существование власти не было отделено от ее действий, повсеместно, где различные институты не разделили две крупнейшие потребности человеческих обществ, в них преобладали поочередно то хаос, то деспотизм, то беспокойство, то застой.

Итак, никакая система правления не будет достаточной и полной, если она не возводит это различие в принцип и не разрешает двойственную проблему, от решения которой не может освободить себя никакое общество. Из всех же институтов, возможно, только наследственная передача престола способна наилучшим образом достичь этой цели. Я ничего не могу сказать про государства, в которых наследственное право сосредоточено в одной-единственной семье, и одновременно ей же безраздельно принадлежит суверенитет. Чистая монархия и деспотизм могут различаться вторичными институтами и нравами; их общие принципы остаются теми же, и политическая легитимность монархов в этом случае лишь продлевает всегда незаконную узурпацию суверенитета. Но наследственная передача престола совершенно неотделима от подобной узурпации. Она могла, подобно многим другим институтам, подобно самим гарантиям свободы, быть обязанной своим происхождением силе и долгое время нести на себе ее отпечаток; но подлинный ее принцип иной. Ее следствием является именно четкое различение существования социальной власти и ее действия. Именно длительное существование этого различия, его постоянное наличие и освящает монархия, наделяя ее устойчивостью и нерушимостью. Кроме того, она дает возможность всякой свободе приспосабливать свое действие к условиям, опытам, формам, способным дать гарантию того, что монархия является разумной и справедливой, т.е. легитимной с моральной точки зрения. Она не наделяет престолонаследников никакой чрезмерной силой, никаким правом, которое было бы чужеродным или просто бес-

полезным. Она ставит их в изолированное, недоступное положение, исключающее любое соперничество, любое проявление честолюбия, положение, в котором сохраняется и проявляется в своем праве устойчивость, столь необходимая для социальной власти. Совершив все это, наследственная передача престола достигает своей цели и позволяет всем прочим институтам достичь своей. Являющаяся нерушимой в характерном для нее положении, власть вступает в действие лишь под сенью закона, доказывая каждым своим шагом легитимность этого действия; и впоследствии мы уже следим за ее действиями в лице ее агентов, берущих на себя ответственность, условную и изменчивую обязанность, доступную для всех сил, которые будут претендовать на то, чтобы быть достойными отправлять эту власть и которые в целях ее приобретения или сохранения будут беспрестанно доказывать, что отправляют они ее в соответствии с подлинным законом.

В этом заслуга подобного института; и именно этим, не нарушая подлинных принципов суверенитета, он, напротив, облегчает осуществление и господство последнего. Изменить природу человека и человеческий удел совершенно невозможно. Эта природа не является ни незапятнанной, ни простой, ни миролюбивой. В ее лоне действуют противоборствующие силы; в ней сталкиваются противоположные потребности. Общество стремится к тому, чтобы быть управляемым и свободным, устойчивым и подвижным. В нем все сложно, все скрывает борьбу, постоянную, но неизбежную. Таковы факты: политические институты не способны искоренить порок, и для того, чтобы его победить, у них есть лишь одно средство — противопоставить силам силы, потребностям потребности, урегулировать, наконец, законы и формы этой борьбы на арене, которую они никогда не смогли бы уничтожить, так как это — арена мира и жизни. Поскольку таковы условия существования человеческого общества, наследственная передача престола занимает в нем место, предписываемое ей потребностями, которые она и должна удовлетворить, не препятствуя тому,

чтобы другие места здесь были заняты иными институтами, вызванными к жизни иными силами. Она закладывает основы и упрочивает положение королевской власти, но не противоречит ничему, что призвано урегулировать и сделать законной королевскую власть в ее действии. Несомненно, этот институт имеет свои требования и таит в себе определенные опасности; он стремится к тому, чтобы институты свободы были сильными и способными предупредить узурпацию суверенитета, но в то же время и позволяет это осуществить, поскольку дополняет эти институты и тем самым заранее смягчает опасность их самого крайнего развития. Он также замечательным образом податлив течению времени, развитию законов и нравов, даже наиболее значительным изменениям в отношениях между обществом и его правлением. Правда, он в освящаемой им власти не разрушает неизлечимую ущербность человеческого удела и не освобождает его от всех случайностей. Но сила этого института такова, что, как мы знаем, он переживает падение людей, в чьих руках сосредоточен, способен противостоять ударам своих недругов и всегда возвращается в общество, дабы и дальше удовлетворять его потребности, вновь гарантируя устойчивость власти — эту общественную потребность, которой не могут избежать свободные народы.

17. О демократии

Заблуждение всегда укрепляет постоянное наличие содержащейся в нем истины. Я подверг это утверждение исследованию на примере монархической системы. Я поставил эту систему перед лицом подлинных принципов суверенитета. Она игнорирует либо грубо нарушает их, введенная в заблуждение или сама вводящая в заблуждение формами, в которые облечена власть, наделяет монарха единственным и неделимым суверенитетом, коим не обладает ни одно человеческое существо. И тем не менее ее формы и институты, подкрепляющие эти формы, вовсе не лишены какой бы то ни было легитимности. Они представляют под-

линную природу единственного суверена по праву, каковым является сам Бог; и тем самым они соответствуют неискоренимым потребностям человека, насущным потребностям общественного состояния. Именно здесь, в этой частичной легитимности, и черпает монархическая система ту силу, которую зачастую она обращает на принижение прав рода человеческого, на узурпацию власти Бога.

В демократических системах мы сталкиваемся с тем же явлением. И оно имеет свою правду. Эта истина даже более значительна и занимает большее место, чем какая-либо иная, в легитимном управлении обществом. Но тем не менее и демократии не чужда узурпация. Уже не раз она наделяла силой заблуждения и тирании.

Я хотел бы подвергнуть демократическую систему анализу, подобному тому, который осуществил по отношению к системе монархической. До сих пор демократическая система покоилась на двух принципах, противоречивых в своей основе, но к которым она поочередно взывает, пытаясь их примирить: личный суверенитет или право каждого индивида на самого себя; суверенитет народа или право численного большинства по отношению к меньшинству. От этих двух принципов требуют законной власти и свободы. Действительно ли они могут служить основой легитимности и свободы? И если они на это не способны, то откуда же происходит вера в них? Какова в них доля легитимности?

18. О личном суверенитете

Всякий человек — абсолютный хозяин самого себя. Никто, ни в какой момент, ни на каких основаниях не имеет на него права без его согласия. Никакой закон не является для него легитимным, если он не санкционирован его волей. Другими словами, — и это наиболее распространенная форма данного принципа — никто не должен подчиняться законам, если они приняты без его согласия.

Исходя из этого принципа Руссо исключал всякое правление, основанное на представительстве. «Воля, — говорил он, — не представима: она является самой

собой или она есть иное; третьего не дано». Если воля является единственным источником, единственным легитимным основанием власти человека над самим собой, каким же образом человек передаст эту власть другому? Может ли он сделать так, чтобы его воля находилась вне него? Такая передача воли даст ему не представителя, но господина. Всякое представительство, таким образом, есть ложь, а всякая власть, основанная на представительстве, тиранична, поскольку свобода — это суверенитет по отношению к самому себе, и человек свободен лишь в той мере, в какой он подчиняется только своей собственной воле.

Отсюда вытекает неоспоримое следствие. Руссо был неправ лишь в том, что не пошел в своих выводах дальше. Если бы он дошел до конца, он бы провозгласил незаконность любого закона, имеющего длительное действие, любой устойчивой власти. Какое значение имеет тот факт, что закон был вчера сотворен моей волей, если сегодня она изменилась? Разве я могу пожелать чего-либо лишь один раз? Разве моя воля исчерпывает свое право в одном-единственном акте волеизъявления? И поскольку она единственный господин, которому я обязан повиноваться, должен ли я на всю жизнь попасть под воздействие законов, от которых тот же самый господин, что и создал их, велит мне освободиться?

Вот следствие этого принципа во всей его полноте. Руссо не заметил его или не осмелился его заметить. Оно разрушительно для всякого правления, да что я говорю? — для всякого общества. Оно ставит человека в положение абсолютной изоляции, не позволяет ему давать никаких обязательств, устанавливать какие-либо связи, брать на себя обязательства в отношении каких бы то ни было законов, оно вносит разлад в самое сердце индивида, который не может завязывать никакие отношения ни с самим собой, ни с другими, ведь его прошлая воля, т.е. та, которой уже больше нет, имеет на него не больше прав, чем чужая воля. «Абсурдно, — говорит нам также Руссо, — что воля заковывает в цепи свое будущее».

Другие, менее последовательные, нежели Руссо, который просто не мог быть последовательным, приняли

этот принцип, не предвидя еще того замешательства, в которое он повергает разум. Все время повторяя, что никто не обязан подчиняться власти, которую не он признавал, законам, которые не он принимал, они льстили себя надеждой, будто бы на этом основании смогут построить все правление — правление совершенно легитимное, имеющее все права, все силы, необходимые для поддержания общества. И они приступили к делу. И тут внезапно проявилось первое затруднение. Каким образом дать людям закон, который был бы принят всеми? Каким образом можно объединить все индивидуальные волеизъявления относительно каждого закона? Руссо в этом вопросе не колебался; он выступил с осуждением многочисленных народов, крупных государств, силы любой центральной власти и провозгласил необходимость заключить государство в рамки небольших муниципальных республик, с тем чтобы затем объединить их посредством федеративной системы, сущность которой он не объяснил и, отвергая всякое представительство, был не в состоянии легитимизировать. Эта гипотеза была еще далека от утверждения безупречного принципа и решения проблемы. Тем не менее, казалось, что затруднение и непоследовательность преодолены. Другие были еще менее щепетильны. Под давлением затруднений они пошли на новые непоследовательности. Они лишили индивидов права в принципе подчиняться лишь тем законам, что проистекают из их воли, заменив его правом подчиняться законам, порожденным властью, проистекающей из воли этих индивидов. Таким образом, вопреки Руссо вновь возникла идея представительства. Была предпринята попытка преобразить его природу; оно является не представительством воль, говорили нам, но представительством интересов и мнений. Усилия их были тщетны; если воля индивидов является их единственным законным сувереном в основании представительства, легитимности представительства, то представлены должны быть именно воли.

Но дело продвинулось и еще дальше. Устранив огромное воличество индивидуальных воль в том, что касается самого закона, нужно было по крайней мере призвать их к созданию власти, в чьи обязанности

входила формулирование законов. Всеобщее избирательное право было непременным следствием принципа, уже столь жестоко нарушенного. На деле же всеобщее избирательное право никогда и не допускалось; правда, в теории оно широко провозглашалось. Почти повсеместно какие-то случайные условия, более или менее значимые, ограничивали право прибегать к избранию законодательной власти. Насколько мне известно, только два философа[3] с некоторыми колебаниями признавали это право в отношении женщин. Повсеместно его были лишены низшие слои, прислуга и многие другие. На каком основании? Ведь они также вовсе не были лишены ни воли, ни права подчиняться лишь законной власти. Итак, воля индивидов признавалась в качестве единственного источника легитимности их суверена; и в то же время огромное количество индивидов, быть может, даже большинство из них не были допущены к принятию какого бы то ни было участия в создании этого фактического суверена, которого представительство даровало всем!

Я мог бы продолжить; и, как свидетель зарождения правления, на каждом шагу я вижу нарушение принципа, который, как нам говорят, должен порождать это правление, и точно так же я вижу непоследовательность в преодолении затруднения или восстановлении разумных начал.

Я предполагаю, что дело завершено и правление создано; и я хочу выяснить, каким же будет теперь принцип, какими правами в отношении индивидов будет обладать власть, легитимность которой создана исключительно волею этих индивидов.

По мнению одних, индивидуальные воли, породившие власть, никоим образом при этом не утратили своего суверенитета; как и раньше, суверенитет принадлежит им в полной мере и на основании свободы. Сама власть в данном случае является лишь субъектом, призванным провозглашать законы, идею которых она получила, будучи постоянно подчиненной иной власти, которая рассредоточена в индивидах и которая, не имея ни формы, ни собственного голоса, тем не менее единственно всегда легитимна, всегда

способна отозвать или изменить по своему усмотрению своего служителя.

По мнению других, индивидуальные воли, создавая общую власть, в ней, так сказать, самоуничтожаются; они отказываются от самих себя в пользу представителя, который представляет их во всей их деятельности, во всем их собственном суверенитете.

Последнее, как мы видим, есть самый обычный и чистый деспотизм, деспотизм, примирившийся со всей полнотой принципа представительства, который отвергал Руссо, отрицая представительство, хотя в другом месте он закреплял этот принцип под именем суверена; это деспотизм, которым неоднократно пользовались правления, рожденные под воздействием подобных идей. Совершенно очевидно, что совсем не этого требуют от представительства и демократии друзья свободы.

Эта система, в большей степени кажущаяся правдоподобной и менее опасной, ибо она меньше подвластна воздействию со стороны фактов, тем не менее не особенно прочна. Прежде всего, если индивидуальные воли, породившие законодательную власть, призваны подчиняться ее законам, то сей факт относится к области их суверенитета. Каждый человек, скажете вы, является полным хозяином самому себе и пребывает свободным лишь в той мере, в какой он приемлет власть или закон, требующий его подчинения. Таким образом, единственно свободными будут те, кто примет законы так, как будто бы эти законы ими самими и были созданы, и будут подтверждать их столь часто, сколь часто им следует подчиняться. Тот же, кто будет призван подчиняться законам, хотя не приемлет их и не создавал их, либо тот, кто захочет изменить их, утрачивает свой суверенитет, т.е. свою свободу. Но если все происходит иначе, если воля законодательной власти не связывает породившие ее индивидуальные воли, то во что же превращается эта власть? Чем станет правление? И во что превратится общество?

Истина не ставит людей перед лицом такого количества смешений, затруднений и непоследовательностей. Не может такого быть, чтобы право народов на законное правление и право граждан на свободу было

основано на принципе, обреченном на постоянное колебание между двумя полюсами альтернативы: быть основанием тирании или разрушить общество. Зло заключено в самом принципе. Неправда, что человек является абсолютным хозяином самому себе, что воля его выступает в качестве законного его суверена, что никогда, ни при каких условиях никто не имеет права посягнуть на него без его согласия.

Когда философы изучали человек самого по себе, исключительно с точки зрения отношения его деятельности к его сознанию, то никто не утверждал, что воля человека была для него единственным легитимным законом, т.е. что любое его действие было разумно или справедливо, если оно было свободно и добровольно. Все признавали, что над волей индивида витает некий закон, именуемый разумом, мудростью, моралью или истиной, от которого он не способен освободить свое поведение иначе, как употребив свою свободу нелепым или преступным образом. Во всех системах, говорим ли мы об интересе или о внутреннем чувстве, о человеческом соглашении или о долге, спиритуалисты и материалисты, скептики и догматики — все сходились к тому, что существуют действия разумные и неразумные, справедливые и несправедливые; все были согласны в том, что если человек обладает свободой действия в соответствии с разумом и истиной или вопреки им, то эта свобода, выступающая в качестве способности, вовсе не составляет права, сама по себе является лишь нелепым и преступным действием и перестает быть таковым, если действие это добровольно, если его субъект имел основание и право совершить его, потому что он так пожелал.

Если индивид, прежде чем воспользоваться свободой, соотносится со своим разумом, он признает правило, предписанное его поведению моралью или разумом, он признает в то же время, что это правило создано не им, что оно не является произвольным продуктом его воли и что изменение или уничтожение этого правила от него не зависит. Его воля остается свободной подчиниться или не подчиниться разуму; но разум его, в свою очередь, не зависит от его воли и судит по

необходимости в соответствии с правилом, которое эта воля признала, но совершенно ему не подчиняется.

Рассматриваемый изолированно, сам по себе, индивид, таким образом, не может произвольно распоряжаться самим собой только в соответствии со своей волей. Его воля вовсе не является его законным сувереном. И вовсе не она создает и внушает индивиду обязательные законы, существование которых он не может отрицать. Он получает их свыше. Они приходят к нему из сферы, высшей по отношению к его свободе, из сферы, в которой нет свободы, где спор возникает не относительно того, чего хочет или не хочет человек, но относительно того, что является истинным или ложным, справедливым или несправедливым, соответствующим или противоречащим разуму. Снисходя из этой возвышенной сферы, чтобы войти в сферу действия и жизни, законы вынуждены пересекать область свободы, являющуюся пограничной для обоих миров; и здесь возникает вопрос, сочетается или нет свободная воля индивида с законами ее суверенного разума. Но каким бы образом ни разрешался этот вопрос, право создавать закон, т.е. суверенитет, не оставляет разум, дабы стать принадлежностью воли. В любом случае воля не обладает добродетелью сообщать детерминируемым ею действиям человека характер легитимности. Они либо обладают, либо не обладают этим свойством в зависимости от того, соответствуют ли они законам разума — единственного источника всякой законной власти.

Другими словами, человек в силу своей свободы вовсе не обладает полным суверенитетом в отношении самого себя. Будучи существом разумным и моральным, он является субъектом законов, которые он не сотворил и которые по праву вынуждают его подчиняться, хотя, как свободное существо, он обладает правом отказаться — но не от их принятия, а от подчинения им.

Каким же образом могло произойти, что исходя из человека, рассматриваемого изолированно и самого по себе в его отношениях с другими людьми, философы приняли принцип, которого они не могли принять в качестве основания их моральных доктрин, и превра-

тили его в основание доктрин политических? Как воля, которая в личном существовании индивида никогда не поднималась до ранга законного суверена, вдруг стала рассматриваться как занимающая это положение и как обладающая соответствующими правами, когда индивид вошел в социальное состояние, когда он оказался перед лицом других существ, обладающих той же природой, что и он сам?

Сам этот факт не вызывает сомнений. И вот какова его причина.

В сближении и столкновении индивидов, именуемом обществом, философов больше всего поражало то, что и на самом деле предстает нашему взору прежде всего как сближение и столкновение индивидуальных воль. Инстинктивное чувство истины внезапно предупредило их, что воля сама по себе и благодаря своей собственной добродетели вовсе не является законным сувереном человека. Если в самом индивиде и в том, что касается его личного поведения, индивидуальная воля не занимает столь высокого положения, то каким же образом она возвысилась до этого положения в отношении другого? Каким же образом человек от имени одной только своей воли распространит на другого законную власть, которой его собственная воля не обладает в отношении самой себя? Никакая воля как таковая не имеет прав в отношении чужой воли. Это совершенно очевидно; обратные претензии представляются возмутительными. Это проявление чистой силы, деспотизм.

Каким образом можно предупредить деспотизм? Каким образом можно отвергнуть претензии силы? Если бы социальные связи обнаруживали бы одни лишь воли, то проблема была бы неразрешимой. Казалось, философы и считали ее таковой; они позабыли, что воля это еще не весь человек, что в свои отношениях с себе подобными человек привносит также и рассудок, и свою моральную природу, и свой разум, являющийся более или менее полным образом вечного разума, разума абсолютного. Не видя отныне в социальном состоянии иной связи, кроме связи воль, они не смогли обнаружить и иной гарантии своей легитимной свободы, как их совершенная независи-

мость; для установления права воль на независимость они провозгласили их суверенитет, наделяя таким образом индивидуальную волю каждого индивида в противовес всякой другой воле полнотой права и властью, которой она вовсе не обладает в отношении самой себя; для того, чтобы освободить человека от капризов другого, они провозгласили, что его собственный каприз является для него единственным законом.

Безусловно, принцип, оказывающийся в отношениях человека с самим собой ложным и разрушающим всякую моральность, как всякий закон, не имеет значимости в отношениях человека с человеком. Как в одном, так и в другом случае легитимность закона и власти зависит от тех же условий, проистекает из того же источника, и источник этот расположен гораздо выше воли, поскольку то, что управляет, выше того, что подчиняется.

Два факта послужат мне в данном случае аргументом.

Кто не отрицал легитимность отцовской власти? Но кто утверждал, что власть эта столь же часто предстает в качестве незаконной, сколь часто послушание ребенка не является добровольным? И тем не менее воля наличествует в ребенке, и у него она имеет ту же природу, что и у взрослого человека, она так же дорога индивиду. Итак, вот вам легитимная власть, хотя в данном случае подчинение не всегда добровольно. Откуда же проистекает его легитимность? От превосходства силы отца? Нет, от превосходства его разума. Законная власть не принадлежит ни воле ребенка, которому еще недостает разума, ни даже воле отца, поскольку воля — юная или престарелая, сильная или слабая, — ни в коем случае не может черпать в самой себе какие бы то ни было права. Право это принадлежит разуму и тому, кто им обладает. Отец наделен способностью и обязанностью научить разуму ребенка, подчинить его волю своему разуму, пока разум ребенка не будет способен сам регулировать проявления своей воли. Из этой обязанности вытекает легитимность отцовской власти. Отсюда же проистекают и правила и методы хорошего воспитания, т.е. законно-

го осуществления этой власти. Право основано на превосходстве отцовского разума. Ни воля отца, ни воля ребенка не являются принципом этого права и не управляют по собственному усмотрению его применением.

Другой факт. Когда констатируется безумие или слабоумие какого-либо человека и общество в этом более не сомневается, то этого человека лишают свободы. По какому праву? Разве в нем умерла его воля? Коль скоро она выступает источником законной власти, разве не имеется она здесь в наличии, чтобы эту власть осуществлять? Но в человеке угас разум — его подлинный властитель, управляющий самой его волей. И нужно, чтобы закон приходил к нему извне, чтобы им управлял чужой разум, поскольку его собственный не способен более управлять его волей.

То, что верно относительно ребенка или безумного, верно и в отношении человека вообще. Во всех социальных связях как и в указанных моментах, в воздействии человека на человека, как и в его воздействии на самого себя, никто не имеет права создавать закон на одном только том основании, что он того хочет, равно как и отвергать закон только потому, что он того не хочет. Идет ли речь о командовании или о сопротивлении, об управлении или о свободе, воля не обладает здесь никаким правом, никакой законной властью; разум же обладает правом в отношении всех воль.

Таким образом, вместо того, чтобы возвышать все индивидуальные воли в ранг суверенов, причем суверенов соперничающих, их все следовало бы понизить до состояния подчинения одному суверену. Вместо того, чтобы утверждать, что всякий человек является абсолютным хозяином самому себе и что никто не имеет на него права без его согласия, следовало бы провозгласить, что ни один человек не является абсолютным хозяином ни самому себе, ни кому бы то ни было другому, но что никто не имеет права отказать в своем подчинении справедливости и истине. Одним словом, следовало бы упразднить повсеместно абсолютную власть, вместо того чтобы предоставлять ей убежище в любой индивидуальной воле, и признать за

каждым человеком право — на деле ему не принадлежащее — подчиняться одному лишь разуму, вместо того чтобы наделять его правом — которого он вовсе не имеет — подчиняться одной лишь своей воле.

19. О власти и о свободе

Таким образом рушится индивидуальный суверенитет, равно как все суверенитеты в этом мире. Таким образом выявляется подлинный принцип отношений власти и свободы.

Никакая человеческая воля не имеет прав против законной власти. Если эта воля ссылается на свободу, чтобы отказать власти в своем подчинении, она становится не более чем непокорной силой и порочит самое свободу, которая была дана человеку для того, чтобы сделать его подчинение законной власти достойным похвалы, а не для того, чтобы освободиться от него.

Ни одна из человеческих властей не освобождается от обязанности доказывать свою легитимность. И если на деле она от этого отказывается, то из двух моментов выбирает один: либо легитимность ей внутренне присуща и не требует доказательств, либо люди неспособны признать эту легитимность и не имеют права требовать никаких доказательств, относительно которых не могут вынести никакого суждения.

Я отвергаю первое из этих утверждений. Легитимность внутренне присуща лишь непогрешимости, но ни одна из человеческих властей не является непогрешимой. Второе утверждение имеет не больше оснований. Не существует двух природ человека, и если бы человек был не способен судить о легитимности власти, то такая неспособность была бы присуща как властителям мира, так и их подданным. И хотя интеллектуальные и моральные способности неравномерно распределены между людьми, они не являются привилегией немногих. Никто не обладает всем разумом целиком, все в той или иной степени ему сопричастны. Таким образом, всякая власть призвана доказывать свою легитимность, и судей по этому вопросу предостаточно.

Право на свободу заключается именно в том, что свобода сама по себе является правом. Поскольку, как

я только что сказал, свобода дана человеку с тем, чтобы сделать его подчинение закону достойным похвалы, никто не может на законных основаниях лишить его той силы, что он получил, для осуществления своего морального предназначения; никто не может ограничить эту силу, кроме как во имя подлинного закона. Таким образом, в той мере, в какой законная власть имеет право на свободу человека, свобода имеет права требовать от власти доказательств ее легитимности. И это право свободы не обусловлено ни так называемым суверенитетом индивидуальных воль, ни договором, основанным, по крайней мере единожды, на согласии всех воль. Если бы мы усматривали источник права на свободу в человеческой воле, мы бы слишком узко определяли его происхождение, а если бы основывали его на человеческом договоре, то давали бы ему слишком шаткое основание. Это право предшествует всем соглашениям, оно выше всех воль. Это право нашей божественной природы, отказывающейся подчиниться природе земной и обращающейся к Богу, из которого она проистекает, чтобы поклоняться лишь ему одному.

Такова подлинная связь — связь моральная и социальная — моей свободы и власти. Демократическая система очень часто забывала о природе этой связи, и данное заблуждение имело самые серьезные последствия. Но в действительности эта система имеет своей целью заставить власть беспрестанно доказывать свою легитимность. Она смутно предвидит подлинный принцип человеческого общества и предлагает себя в качестве его поддержки. В этом секрет ее силы, благосклонного отношения к себе, которое она легко порождает среди народов, но также и секрет ее заблуждений и таящихся в ней опасностей. Монархическая система — я имею в виду систему чистой монархии — и все системы, наделяющие правление суверенитетом права, занимают удобную позицию. Они абсолютным образом утверждают легитимность власти и таким образом слагают с себя всякую заботу о доказательстве этой легитимности, т.е. об установлении каких бы то ни было гарантий. Однако же подлинная проблема общества состоит вовсе не в этом. Эта проблема так же

двойственна, как и наша природа. Она состоит, с одной стороны, в том, чтобы поддерживать права легитимной власти, а с другой — в том, чтобы постигать эту власть. Законная власть не является фиксированной и хорошо известной данностью; напротив, она представляет собой изменяемое неизвестное, которое мы ищем и которое никогда в полной мере не можем обрести даже при самом строгом решении проблемы. Можно, если пожелаете, сожалеть о таком положении дел, но отрицать его невозможно, ибо таков удел человека, каким последнего создал божественный творец. Рожденный подчиняться, причем подчиняться истинному закону, человек обречен трудиться, дабы найти этот закон, а также трудиться, дабы утвердить его господство. Он должен защищать свою свободу от незаконных властей, а законную власть — от собственной своей свободы. На долю демократической системы выпадает эта двойственная задача. Лишая правление суверенитета, она обрекает себя на беспрестанные поиски законной власти вместо того, чтобы просто предполагать ее. Провозглашая права свободы, она тем не менее предпринимает все усилия, дабы склонить ее перед законной властью, поскольку общество существует только такой ценой. Таким образом, только демократическая система касается подлинного вопроса и только она одна пытается разрешить его со всеми его трудностями.

Однако она слишком легко дает убедить себя в том, что ей удалось разрешить этот вопрос. Демократическая система провозглашает суверенитет народа оттого, что утомилась искать легитимную власть, надзирать за правами свободы, и, дабы отдохнуть, она возвращается под сень тирании.

20. О суверенитете народа

Суверенитет народа никогда не понимался таким образом, что воля подавляющего большинства, вобравшая в себя все другие воли, станет законом, но меньшинство не обязано подчиняться решениям, принятым вопреки его воле.

И однако же именно таково следствие так называемого суверенитета, предписываемого каждому индивиду в отношении самого себя и принуждающего его подчиняться лишь законам, санкционированным его непременным согласием.

Согласие, как утверждают, является предшествующим и всеобщим. Входя в сообщество, гражданин заранее обязуется принимать закон, который будет санкционирован большинством.

Высказывающиеся подобным образом одновременно утверждают, будто бы человек не имеет права отчуждать свою свободу в пользу чужеродной силы, будто бы положение о том, что воля закрывает себя для будущего, является абсурдным.

Должно быть, они сами чувствуют заключенное здесь противоречие, поскольку пытаются найти другое решение. Они говорят, что гражданин, которому не нравится пожелание большинства, может выйти из сообщества; сообщество не имеет права удерживать его; если же он остается, то, значит, он предпочитает подчиниться, а не удалиться, санкционируя тем самым отвергнутый им закон действием, в котором ничто не стесняет его свободы.

Итак, вот вам общество, которое пребывает в постоянном разложении и будет очень скоро разрушено, если постоянно сменяющие друг друга меньшинства будут постепенно выходить из него; общество, в котором гражданин обречен никогда не жаловаться, всегда считать справедливым и законным то, что пожелает большинство, наконец, обречен полагать себя свободным, поскольку всегда волен выбирать между собственной волей и отчеством.

Знают ли эти люди, что такое отечество? Известны ли им все силы, связывающие человека с землей, на которой тот родился? Верят ли они в то, что человек волен распоряжаться своим существованием, как и своей личностью? Одним только мертвым достаточно шести пядей земли, неважно в каком месте. Живые же не довольствуются столь малым и могут перемещаться с легкостью. Жизнь человека сосредоточена там, где сосредоточены его интересы, чувства, привычки, все его

моральное и социальное бытие. Это-то и составляет его отечество, которое невозможно унести с собой.

Я не знаю более оскорбительного, более уничижительного, чем сказать человеку: «Ты оставишь все это, если не желаешь того, чего желаем все мы, и твоя свобода будет соблюдена, твои права не будут нарушены».

Подобный язык подошел бы варварам, странствующим по воле случая, не поддерживающим ни с одним клочком земли и его обитателями никаких отношений, никаких моральных обязательств, из которых, так сказать, и произрастает существование каждого гражданина. Как только общество, установившись, начинает развиваться, и вместе с ним развиваются и люди, факты со всей очевидностью разоблачают этот так называемый принцип. Он настолько несостоятелен, настолько ложен, что не способен долго удерживаться. Во всех странах, во все времена, коль скоро существует отечество, оно не желает верить, что гражданин, покидающий его, дабы избежать подчинения его законам, становится ему совершенно чуждым. Говорят, что он свободен удалиться, но при этом он не может забрать с собой ни все свое существование, ни даже всю свою свободу. Его страна, его сограждане еще провозглашают в отношении его права, еще налагают на него обязанности. И хотя тирания очень часто злоупотребляла этой верой, инстинкт народов постоянно санкционировал ее, отвергая, будто бы отечество сделало все, что должно было сделать, во имя свободы своих детей, коль скоро оно дозволило им его покинуть.

Те же, кто для утверждения суверенитета народа вынужден предлагать данное право как единственную и последнюю гарантию свободы, придают свободе слишком ничтожное значение и не способны поддержать то, что они ей позволили.

И пусть суверенитет народа откажется от этих пустых уловок, пусть он согласится предстать тем, чем он и является на самом деле — абсолютной властью численного большинства над меньшинством, иными словами, тиранией.

21. О праве большинства

Вот каким образом в демократической системе тирания возвращается под своим именем.

Я полагаю, никто не будет утверждать, что право численного большинства проистекает из силы последнего. Это было бы не просто грубым оскорблением святости права, но также и совершенно пустым утверждением. Ни человек, ни общество не сотворены таким образом, что сила — я имею в виду силу, которая дает власть, — принадлежит большинству и его материальному превосходству. Ведь заставляют повиноваться вовсе не руки, а сила, приподнимающая самое тяжкое бремя, вовсе не та, о которой идет речь в области подчинения и господства. Социальная сила представляет собой сложный моральный феномен, обусловленный бесконечным множеством причин и проявляющийся в самых противоречивых формах. Здесь она принадлежит священникам, там королям, в ином месте сенату, реже большинству, нежели какому-либо одному обладателю. В древних республиках материальная сила была за рабами, и тем не менее они оставались в подчинении. Таким образом, пытаясь свести проблему свободы к вопросу о материальной силе, мы ничего не выигрываем. Это невозможно. Напрасно будем мы провозглашать сувереном народ из-за одного только его физического могущества; от этого он не станет ни более свободным, ни более властительным. Вовсе не эта сила возводит в суверены или низвергает последних.

Я не хотел бы оскорбить демократическую систему утверждением, будто бы она основывает на этом принципе право численного большинства. Порой она прибегает к нему как к последнему средству, и в этом она совершенно не права. Но она совершает это в полном разочаровании и привлекает в пользу этого права самые благородные аргументы.

Заслуга этой системы, как мы видели, состоит в том, что она забирает у фактической власти, у правления суверенитет по праву и принуждает это правление доказывать свою легитимность.

Откуда берется это доказательство? Оно должно проявляться через внешние признаки, простой, ясный

факт должен открыть людям легитимную власть, подлинный закон.

Большинство мнений, всеобщее избирательное право, волеизъявления — таковым предстает этот необходимый факт в демократической системе. Он подчиняется большинству, ибо видит в нем доказательство разумности, справедливости, легитимности власти.

Непогрешимо ли это доказательство? Демократическая система предполагает это. Если бы она не основывалась на таком предположении, то по какому праву наделяла бы она народ суверенитетом, основанием которого выступает только непогрешимость? Чистая монархия и застывшая аристократия предполагают правление непогрешимым, признавая его суверенитет. Демократия лишает правление непогрешимости ради предположения, что непогрешимостью обладает большинство народа. Отказать в суверенитете правящей власти — это очень много; но это слишком мало, если суверенитетом наделить некую иную власть.

Не надо долго рыться в мировой истории, чтобы обнаружить в ней заблуждения — безмерные, самые упорные и совершенно очевидные заблуждения большинства. Христианская Европа возжелала угнетения евреев. Подавляющее большинство в Англии сочло себя вправе преследовать католиков. Нет ни одного народа, чье мнение не имело бы своих недугов, чья воля не освятила, даже не вызвала бы к жизни какое-либо ужасающее нарушение справедливости и права. Когда же народ обретал свободу, когда его законы принимались всеобщим голосованием, законы оказывались столь же ложными, как и его мысль, столь же несправедливыми, как и его воля.

Какое значение имеет тот факт, что подобные воли наделены могуществом, что власть их представляется неизбежной? Природа их совершенно не изменилась. Само по себе большинство представляет собой лишь силу; право же оно имеет, только выступая в качестве разума. Может так случиться, что на это большинство возложена окончательная власть; но окончательная власть не является легитимной только на том основании, что она окончательная; напротив, именно окон-

чательной власти и следует отказать в суверенитете по праву, поскольку он только и может ее узурпировать. Остерегайтесь этого; я не утверждаю, что окончательная власть должна быть заключена в правлении; я только утверждаю, что даже в лице народа такая власть не является ни непогрешимой, ни суверенной.

Именно здесь сполна раскрывается убогость человеческого удела. Рожденный, чтобы подчиняться истинному закону, человек ищет его, но постоянно рискует впасть в заблуждение. Если в общественных институтах об этом риске забывают, если какая-либо власть рассматривается как непогрешимый выразитель истинного закона, если какое-либо доказательство моральной легитимности власти оказывается основанным на уверенности, то принцип тирании проникает в правление, а принцип свободы оказывается изгнанным. Право на свободу основывается только на шансе на незаконность власти. Это право не может быть расширено до того, чтобы каждый индивид судил в свою пользу и по своему усмотрению, является ли власть легитимной; ведь тем самым бы возникал вопрос об индивидуальном суверенитете, который представляется более антисоциальным и не менее абсурдным, чем какой бы то ни было другой суверенитет. Но право требует, чтобы обсуждение этого вопроса всегда оставалось открытым, чтобы никакая сила — опирающаяся на большинство или какая-либо иная — не имела преимуществ в области подчинения, которое ей необходимо, чтобы избежать контроля со стороны общества. Человек должен подчиняться власти, легитимность которой только возможна, но ведь он подчиняется только возможностям. Наилучшим правлением является правление, открывающее самые широкие возможности; никакая система не способна дать большего: только такое правление основано на истине, только такое правление уважает и дает гарантии права, которое воспринимает человеческую ситуацию в качестве фундаментального принципа и никогда не теряет ее из виду, как в своих учениях, так и в своих интститутах.

22. О численном большинстве, или о всеобщем избирательном праве

При помощи каких средств можно достичь высшей вероятности в легитимности власти? По каким признакам ее можно распознать? В этом весь вопрос.

Совершенно очевидно, что если численное большинство открывает наибольшие возможности для легитимности власти, нежели какая-либо иная комбинация, если это и есть признак, дающий наиболее точное решение стоящей перед обществом проблемы, то всеобщее голосование действительно является правом.

Но так ли это на самом деле? Действительно ли наилучшая форма легитимности власти заключается в примыкании к численному большинству?

Иногда, но не всегда.

Не моя вина в том, что я не могу более просто и более точно ответить на этот вопрос. Это вина всех систем, которые стремятся ответить на данный вопрос иначе. Я затрагиваю здесь вопрос огромной значимости, вопрос, ответ на который беспрестанно меняется и смещается. Именно потому, что философы претендовали на единственное и неизменное решение этой проблемы, они все спутали и провозглашали то деспотизм, то анархию. Как Гоббс, так и Руссо, как де Бональд, так и Томас Пейн пытались найти законную власть. Никто не осмеливался признать, что желает чего-то иного. Но как одни, так и другие полагали, что вынуждены, дабы быть последовательными, раз и навсегда сделать выбор между всеобщим избирательным правом и полной зависимостью власти. Одни полностью исключали избирательное право, хотя вовсе не стремились к разрушению свободы. Другие утверждали всеобщее избирательное право, хотя были вынуждены на каждом шагу опровергать самих себя.

Неверно полагать, будто бы общество стоит перед подобной альтернативой. Неверно полагать, будто бы численное большинство всегда является — либо не является никогда — наилучшим доказательством леги-

тимности власти. Все это по сути своей условно, переменчиво; все зависит от различных состояний, в которых пребывают человек и общество. И, между тем, существует высший принцип, обусловливающий все эти вариации, ставящий определенные пределы праву на всеобщее голосование и в то же время создающий для него подлинную основу.

23. О праве на волеизъявление в семье

Противники права волеизъявления вообще, т.е всеобщей системы, позволяющей народу или какой-то части народа высказываться относительно моральной легитимности власти, торжествуют, приводя в пример семью. Здесь, говорят они, власть принадлежит женщинам, несовершеннолетним, которые во всяком ином сообществе вынуждены подчиняться, не имея права когда-либо касаться вопросов о власти, даже высказывать свое мнение или волю. Нечего и говорить, что в семье власть не связана общим высказыванием всех субъектов, что волеизъявление семьи всегда остается свободным и суверенным. Высказывать подобные утверждения значит судить лишь в общих чертах и на основе одной лишь видимости. Для того, чтобы гарантировать действенность права, Провидение вложило в сердца мужей и отцов чувства, заставляющие принять его влияние; Провидение возжелало, чтобы повседневная судьба власти, ее счастие, ее отдохновение, все ее существование были бы тесно связаны со свободным и добровольным подчинением всех тех, кто зависит от этой власти. Таким образом, посредством морального принуждения, посредством естественных гарантий оно создало в рамках семьи действительное право всеобщего голосования; и предстающее в действительности мощным орудием, хотя оно и не кажется довольно прочным, это право приводит здесь к тем результатам, которых люди ожидают от него в иных сферах, пытаясь урегулировать отношения между властью и свободой.

24. О праве на волеизъявление в малых сообществах

Я выхожу за рамки семьи. Я подхожу к сообществам достаточно малочисленным, которые под разными наименованиями: племя, община, город-государство или корпорация — включают в себя известное число семей либо индивидов, объединенных под знаком общей судьбы и общих законов определенной общностью происхождения, языка, проживания и интересов. Я рассматриваю наиболее благоприятную гипотезу. Я устраняю все последствия применения силы, которые издавна и столь тесно связаны с развитием человеческих сообществ. Я беру сообщество, которому были бы чужды завоевания и рабство, сообщество, которое не содержало бы ни господ, ни рабов, ни победителей, ни побежденных, которое бы естественно и без особых усилий искало в своих институтах не угнетения отдельных членов общества, но гарантий для всех.

Волеизъявление здесь имеет место уже в сильно ограниченном виде. Оно принадлежит одним только мужчинам, причем мужчинам, достигшим того возраста, когда развитие как силы, так и разума делает их способными самим управлять своей жизнью.

Имеем ли мы здесь уже дело с узурпацией? Не являются ли здесь женщины, которые рядом со своими мужьями имеют право волеизъявления, а также несовершеннолетние, постепенно обретающие это право в отношении своих родителей, исключенными из общественной жизни в силу их слабости? И не является ли первый шаг, который мужчина делает за порог своего дома, чтобы войти в собственно общество, актом тирании?

Если подчинение одним только легитимным законам имеет своим необходимым следствием право лично судить о легитимности законов и власти, то это действительно тирания. Первое из этих прав принадлежит женщинам и несовершеннолетним, как и мужчинам, и оно принадлежит им в новом обществе, равно как и в стенах их собственного дома. Это первое и общее ограничение всеобщего избирательного права будет, таким образом, также и первой и наиболее значительной несправедливостью.

Это невозможно: несправедливость в отношении трех четвертей рода человеческого не может быть постоянным фактом, неизменно признаваемым разумом человека.

Таким образом, существуют права постоянные и права изменяющиеся, права всеобщие и права, таковыми не являющиеся. Всякий человек есть обладатель и носитель прав первого рода на том лишь основании, что он рожден человеком и возносит свой взор к небесам. Права второго рода принадлежат индивиду в силу различных условий; и человек, не нанося оскорблений ни разуму, ни справедливости, может быть частью общества, где люди такими правами не обладают.

Все постоянные и всеобщие права сводятся к праву подчиняться одним только легитимным законам. Изменяющиеся же права все заключены в праве на волеизъявление, т.е. в праве лично судить о легитимности законов и власти.

Вполне достаточно одного лишь утверждения, что права первого рода всегда присущи индивиду независимо от того, какая власть воздействует на него и на общество, в рамки которого он помещен. Утверждение, что права второго рода варьируются в зависимости от индивидов и общества, со всей определенностью доказывается тем, что имеет место при переходе от семьи к собственно обществу.

Каков же принцип этих изменений?

Общество, каким бы простым оно ни было, помимо семьи, имеет множество других дел, требующих способностей, которыми женщины и несовершеннолетние не обладают. Где бы ни происходило обсуждение — в племени дикарей или в уже просвещенном городе-государстве, какой бы объект оно ни имело — военный поход или принятие гражданского закона, — совершенно очевидно, что в силу естественных и общих причин ни женщины, ни малолетние не способны урегулировать подобные интересы в соответствии с требованиями разума. Провидение обрекло одних на существование у домашнего очага; другие же еще не достигли полноты своего личного существования и своих способностей.

Отсюда со всей очевидностью вытекает первое ограничение права на волеизъявление, его легитимность, как и его необходимость. Способность, таким образом, выступает в качестве естественного принципа, необходимого условия права. Где недостает способностей, там нет и права.

Я мог бы без промедления признать сей принцип действительным даже для семьи. Если власть здесь принадлежит супругу или отцу, то это оттого, что именно в нем сосредоточены высшие способности. И если женщины обладают правом волеизъявления подле своих мужей, то это оттого, что в данной области они способны это право осуществлять. Дети же приобретают его постепенно, по мере того, как в них развиваются способности. Итак, здесь объединяется все: и принцип власти, и принцип права на волеизъявление, а также и та граница, за которой право на волеизъявление еще не существует, за которой право подчиняться лишь легитимным законам еще продолжает существовать, но существует в полном одиночестве.

Эти законы, необходимые для всякого общества, — еще смутные, хотя и могущественные в рамках семьи, где власть их обусловлена одной лишь силой вещей и почти не осознается теми, чьи отношения они регулируют, — со всей полнотой проявляются при переходе от семьи к более обширному сообществу. Принцип права на волеизъявление совершенно ясно открывается в легитимном ограничении, которое испытывает право. Этот принцип останется неизменным и будет иметь те же последствия при новых переменах, которые повлечет за собой последовательное образование обществ концентрических, но различных — что является первым результатом прогресса цивилизации.

Итак, мы имеем здесь право, обладающее переменчивой и сложной природой. Оно не является ни внутренне присущим всякому человеческому созданию, ни независимым от различных состояний общества. Его первейший и постоянный принцип — способность; его пределы варьируются в зависимости от соотношений способности индивидов с заботами общества, в котором это право должно осуществляться. Если общество расширяется, право на волеизъявление сужает-

ся. Если способности развиваются, право на волеизъявление расширяется. Оно будет менее широким скорее в более крупной нации, нежели в малочисленной, более распространенным у просвещенных народов, нежели у народов невежественных. Его законные границы беспрестанно перемещаются по причине материального и морального развития общества. Почти всегда они устанавливались произвольно и при помощи силы, очень редко — по справедливости и истине. Но когда все эти узурпации человеческой силы внезапно исчезнут, необходимость, являющая собой силу вечного разума, тут же замкнет право на волеизъявление в той сфере, в которой будет заключена способность его осуществлять в соответствии с разумом.

25. Следствие

Итак, вот к чему должны быть сведены претензии демократической системы.

Она может отказаться от всеобщего волеизъявления; но это не может быть ничем иным, кроме как обманом. Во всяком политическом обществе большинство индивидов, живущих под знаком закона, — женщины и несовершеннолетние, — в силу необходимости исключены из этого права.

После такого исключения и сведения тем самым политического общества к гражданам мужского пола, достигшим определенного возраста зрелости, можно выдвинуть лишь две гипотезы, в которых право на волеизъявление могло бы быть на законных основаниях распространено на всех.

Либо общество ограниченно и просто, чтобы общая способность всех взрослых граждан была достаточной для вынесения суждения о легитимности законов и власти.

Либо, несмотря на значительные размеры и сложность организации общества, вследствие развития человека общая способность всех взрослых граждан достаточно высока, чтобы они смогли вынести подобное суждение.

В обоих случаях, но только в этих двух, право на волеизъявление принадлежит всем, поскольку только

численное большинство создает наибольшую возможность для легитимности законов и власти.

Между двумя этими состояниями политического общества, первое из которых, быть может, никогда и не существовало, а второе, вероятно, никогда не будет достигнуто, широта применения права на волеизъявление варьируется и должна беспрестанно варьироваться, поскольку это право принадлежит на законных основаниях лишь способности.

Каким же образом демократическая система могла не знать столь простой истины и, противореча себе на каждом шагу, явно или неявно утверждать, что все граждане при помощи тех или иных сочетаний должны лично судить о легитимности законов и власти?

26. Об аристократическом правлении

Смешение прав постоянных и прав изменяющихся, прав всеобщих и прав специальных — такова, очевидно, основа заблуждений.

Существует правление, не впавшее в это заблуждение, признавшее это различие и сделавшее его основанием своего существования.

Но вводя в привычку данную истину, это правление исказило ее; оно восприняло ее лишь наполовину и, искажая принцип, заставило его служить основой тирании.

Это аристократическое правление.

Я открываю греческий словарь и обнаруживаю в нем, что слово ἀριστόι обозначает прежде всего физическую силу. Гомер употребляет его еще в этом смысле. Наиболее сильные были первыми: arister (ἀριστόι). Мало-помалу смысл слова расширялся; оно обозначало то физическую форму, то преимущества, которые человек получал по воле случая: богатство, знатное происхождение, а вскоре затем и репутацию, общественное признание, славу. Наконец слово достигло своего высшего предназначения: ἀριστόι обрело значение морального превосходства, добродетели, и arister просвещенного общества должны были быть наиболее добродетельными, наилучшими.

В истории этого слова читается история человечества.

Я уже говорил: аристократическое правление обязано своим появлением силе. Оно не было, подобно монархии, подобно демократии, первоначально укоренено в моральных склонностях рода человеческого. Завоевания породили первых аристократов, и шпага их прочертила ту грань, что разделяет особые права и права всеобщие.

Но по мере укрепления и развития общества физической силы оказывается уже недостаточно для поддержания класса людей, которые только и владеют свободой и властью. Иные элементы состязаются в создании социальной силы. Она рождается от богатсва, высокой репутации, блеска — т.е. от всех тех действительных преимуществ, которые и обеспечивают влияние. Это вторая эпоха в существовании аристократии. Тот, кто был наиболее сильным, стал наиболее богатым, наиболее известным, наиболее могущественным, но теперь уже не благодаря своим кулакам, но благодаря своему положению. Время закрепило в их пользу все преимущества, и поскольку по самой своей природе новая аристократия была менее абсурдна, менее нетерпима, менее угнетающа, нежели первая, то общество, хотя и страдало от ее власти, тем не менее продолжало развиваться.

Но это развитие должно было привести к такому моменту, когда аристократия претерпевала новые и более крупные метаморфозы, когда социальная сила, на которую она имела монополию, была, в свою очередь, поставлена под сомнение, когда общество, способное порождать и поддерживать более сильную в моральном отношении аристократию, потребовало в качестве своего права правления лучших.

Какие претензии! Аристократия с самого начала устрашилась их и сделала все, чтобы предотвратить их успех. Из опасения, чтобы люди не пожелали, как говорил Паскаль, «усилить закон», она попыталась «узаконить силу». И тогда аристократия превратилась в систему, и вот в какую.

Если право на волеизъявление, к которому сводятся все специальные права, не является всеобщим, то оно точно так же не является ни постоянным, ни неизменным. Поскольку его источником выступают способности, то тот, кто обретает способности, обретает и право. Дитя еще не мужчина, но оно им станет; и когда оно станет мужчиной, оно станет и обладателем прав, которые заключает в себе способность быть мужчиной.

Аристократическое правление попыталось сделать то, что бездумно желала бы сделать власть отца, если бы последний стремился помешать ребенку вырасти, остановить его в развитии в нем способности быть мужчиной и удерживать его под властью своего закона.

Основанное на распределении прав всеобщих и прав особых аристократическое правление лишило права второй их ипостаси, т.е. возможности быть изменяемыми, как и способности, из которых эти права проистекают; оно провозгласило права исключительными и вечными. Право на волеизъявление было связано с рождением вне зависимости от способностей. И поскольку аристократия опасалась того, что развивающиеся в иных сферах способности могут вступить в борьбу с правом по рождению и победить, то аристократическая система сделала все, чтобы помешать такому развитию вне своей собственной сферы.

Отсюда все институты, все практики, все максимы, характеризующие аристократическую систему. Все они имеют целью навечно сконцентрировать в руках исключительных обладателей права на волеизъявление все богатства, плоды просвещения, все те элементы социальной силы, которые в то же время являются и источниками политических способностей. Отсюда и отвращение к гласности. Помимо опасностей, которыми она грозит аристократии, гласность также подтачивает и поддерживающий ее принцип. Когда особые права связаны лишь со способностями, то для сохранения или получения этих прав нужно доказать наличие способностей, и доказательство это осуществляется при помощи гласности.

Но когда происхождение обусловливает право, то право это, как и само происхождение, является фактом простым, постоянным и не требующим доказательств. Аристократическая власть по природе своей примитивна, неотчуждаема и свободна от доказательств своей легитимности. А это как раз признаки, указывающие на узурпацию суверенитета по праву.

И не надо говорить, будто бы я слишком строго сужу о принципах этой системы, будто бы особые права никогда не были связаны исключительно с рождением, будто бы гласность никогда не была полностью уничтожена. Все это так; во все времена, во всех странах исключительное обладание обществом и властью не считалось зазорным. Борьба добра и зла, истины и заблуждения есть постоянное состояние мира; и в этой борьбе мир живет и держится истиною. Провидение не позволило аристократической системе, равно как и чистой монархии, стать столь же плохой, каковой она должна была бы быть, если бы была до конца рациональной. Нам известны институты, проистекающие из принципов справедливости и свободы, в обществах, управляемых принципом права по рождению. Они боролись против этого принципа. И когда принцип одерживал над ними победу, все — и общество, и правление, — слабело, все устремлялось к постыдному концу. Такова история Венецианской республики. В иных странах, как, например, в Англии, исход борьбы был более счастливым; принцип аристократической системы был отвергнут, смягчен, заключен в узкие пределы. Но рассматриваемый сам по себе и в своем значении в истории народов, принцип этот является не менее мрачным и не менее ложным. Он состоит в стирании весьма законного различия между всеобщими правами и правами особыми. Он наделяет последние независимостью и постоянством, тогда как они по природе своей они в сущности являются изменяющимися и подверженными изучению. Одним словом, он превращает их в привилегии, а наследственная привилегия права на волеизъявление есть не что иное, как суверенитет, коим никто не может обладать.

27. Каким образом демократическая система была искажена

Таким образом, демократическая система оказалась перед лицом двух узурпаций. При помощи одной из них , свойственной чистой монархии, суверенитет связывался с правлением, которому одному только и было позволено судить о собственной легитимности. При помощи второй, присущей аристократической системе, суверенитетом наделялся класс людей, который один только и обладал правом высказываться о легитимности власти. Здесь особые и изменяемые права были полностью уничтожены. Они существовали независимо от способностей, выступающих в качестве их принципа, и при условии никогда не подвергаться изменению.

[Здесь рукопись обрывается.]

Комментарии переводчика

[1] *Карондас* — ученик Пифагора, законодатель в Катане, убивший себя за то, что нечаянно оказался тормозом на пути осуществления внесенного им же самим закона (ок. 600 г. до н.э.).

[2] Первая половина XVIII в. в Шотландии была отмечена противостоянием дворянства и буржуазии юга страны, поддерживавших «славную революцию», а с другой стороны — аристократических кланов горной северной части («горцев»), выступавших в поддержку свергнутой династии Стюартов. В 1745—1746 гг. произошло новое выступление горцев и их окончательное поражение.

[3] Речь идет о Кондорсе и Гудвине.

Содержание

Бенжамен КОНСТАН
ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИКИ

Предисловие 23

Глава первая. О суверенитете народа. 26

Глава вторая. О природе королевской власти в конституционной монархии. 37

Глава третья. О праве роспуска представительных собраний 51

Глава четвертая. О наследственном собрании и о необходимости не ограничивать число его членов. 56

Глава пятая. О выборах представительных собраний . . . 60

Глава шестая. Об условиях собственности 75

Глава седьмая. О дискуссиях в представительных собраниях. 86

Глава восьмая. Об инициативе. 91

Глава девятая. Об ответственности министров. 92

Глава десятая. О провозглашении министров недостойными общественного доверия. 113

Глава одиннадцатая. Об ответственности низших чиновников. 116

Глава двенадцатая. О муниципальной власти, местных властях и о новом роде федерализма 125

Глава тринадцатая. О праве заключать мир и объявлять войну. 131

Глава четырнадцатая. Об организации вооруженных сил в конституционном государстве 133

Глава пятнадцатая. О неприкосновенности собственности. 139

Глава шестнадцатая. О свободе печати 153

Глава семнадцатая. О религиозной свободе 156

Глава восемнадцатая. Об индивидуальной свободе 175

Глава девятнадцатая. О судебных гарантиях 183

Глава двадцатая. Последние замечания 192

Приложения 196

Комментарии переводчика 259

Франсуа ГИЗО
О СРЕДСТВАХ ПРАВЛЕНИЯ И ОППОЗИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ

Введение 263

Глава первая. Двойственная необходимость. 264

Глава вторая. О нынешней системе правления 275

Глава третья. О превратностях судьбы и о составе правительства 284

Глава четвертая. Сессия 1820 г. 298

Глава пятая. Внутреннее управление и внешняя политика с 1820 по 1821 г. 318

Глава шестая. Подлинные основания правительственной системы 336

Глава седьмая. О средствах правления вообще 340

Глава восьмая. Национальные мнения во франции. 346

Глава девятая. Новые интересы 373

Глава десятая. Общественные страсти 389

Глава одиннадцатая. О Бонапарте и бонапартизме 401

Глава двенадцатая. О средствах правления, сосредоточенных в индивидах 411

Глава тринадцатая. Воздействия, которые могло оказать конституционное правление на партию старого порядка 428

Глава четырнадцатая. О средствах оппозиции вообще . . . 441

Глава пятнадцатая. О парламентской оппозиции 454

Глава шестнадцатая. О внепарламентской оппозиции . . . 475

Заключение 483

Приложение 4

Комментарии переводчика 501

Франсуа ГИЗО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: О СУВЕРЕНИТЕТЕ

1. О политическом идолопоклонстве 507

2. О том, что в основе этого идолопоклонства лежит легитимный принцип 508

3. Причины и границы политического идолопоклонства 510
4. О том, что не существует суверенитета на земле 514
5. Об отношениях суверенитета и правления 517
6. О принципе правления 521
7. О классификации правлений 525
8. О правлениях, допускающих существование суверена на земле 528
9. О монархии 532
10. О единстве суверенитета по праву 534
11. О том, что всякий фактический суверенитет должен быть разделен 536
12. О равновесии властей 537
13. О том, что никакой человеческий суверенитет не является неотчуждаемым 539
14. О политической легитимности 541
15. О праве на сопротивление 546
16. О передаче по наследству монархической власти . . . 550
17. О демократии 559
18. О личном суверенитете 560
19. О власти и о свободе 570
20. О суверенитете народа 572
21. О праве большинства 575
22. О численном большинстве, или о всеобщем избирательном праве 578
23. О праве на волеизъявление в семье 579
24. О праве на волеизъявление в малых сообществах. . . 580
25. Следствие 583
26. Об аристократическом правлении 584
27. Каким образом демократическая система была искажена 588
Комментарии переводчика 588

КЛАССИЧЕСКИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ

Художественное оформление *А.Сорокин*

Техническое редактирование
и компьютерная верстка *Н.Галанчева*

ЛР № 066009 от 22.07.1998. Подписано в печать 14.07.2000.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 31,1. Уч.-изд.л. 32,3. Тираж 1500 экз. Заказ № 396

Издательство «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН)
129256, Москва, ул. В.Пика, д. 4, корп. 2. Тел. 181-01-71 (дирекция);
Тел./Факс 181-34-57 (отдел реализации)

ППП типография «Наука»
121009, Москва, Шубинский пер., 6